Юрий Казарин



Беседы с Майей Никулиной

15 вечеров

Книга издана при поддержке Министерства культуры и туризма Свердловской области в рамках реализации проекта «Библиотека семейного чтения»

Ю. В. Казарин

БЕСЕДЫ С МАЙЕЙ НИКУЛИНОЙ:

15 вечеров

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2011

УДК 821.161.1-14
ББК Ш5(2=Р)6-335
К 143

З а п и с ь: Е. Ю. Дуреко, Е. В. Шаронова.

Р а с ш и ф р о в к а: Т. А. Арсёнова,
А. И. Бушланова (координатор), Е. Ю. Дуреко,
О. О. Сергеева, Г. Ю. Скорикова.

Казарин Ю. В.

К 143 Беседы с Майей Никулиной: 15 вечеров / Ю. В. Казарин. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2011. – 476 с.

ISBN 978-5-7996-0651-0

Книга «Беседы с Майей Никулиной: 15 вечеров» включает в себя письменную запись (50 часов звучания) разговоров поэта и ученого Ю. В. Казарина с выдающимся поэтом, писателем, историком, краеведом и мыслителем Майей Петровной Никулиной. Кроме того, в книге представлены избранные стихотворения М. Никулиной и очерк Ю. Казарина «Поэт Майя Никулина». Центральный сюжет цикла монологов замечательного писателя представляет собой движение исторической судьбы России, Урала, отечественной культуры и литературы. В целом в книге запечатлена история страны, нашего края и русской словесности от Майи Никулиной.

Для широкого круга читателей.

ББК Ш5(2=Р)6-335

В оформлении обложки использована
фотография В. Осипова

ISBN 978-5-7996-0651-0

© Казарин Ю. В., 2011
© Уральский федеральный университет, 2011
© Осипов В., фото, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие 6
Вечер первый 11
Вечер второй 36
Вечер третий 60
Вечер четвертый 85
Вечер пятый 108
Вечер шестой 129
Вечер седьмой 153
Вечер восьмой 174
Вечер девятый 197
Вечер десятый 217
Вечер одиннадцатый 238
Вечер двенадцатый 266
Вечер тринадцатый 289
Вечер четырнадцатый 312
Вечер пятнадцатый 338
Поэт Майя Никулина 366
Майя Никулина. Избранные стихотворения 435

ПРЕДИСЛОВИЕ

Майю Петровну Никулину в Екатеринбурге знают все. Она пользуется всеобщим уважением и как поэт, и как прозаик, и как историк, и как краевед, и как искусствовед, вообще культуролог, и как эссеист, и как библиограф и библиофил, как преподаватель, и как эксперт широчайшего профиля – от словесности и театра до камнерезного дела и железоделательного производства (в любом хронологическом направлении: от древнейших времен до нынешних). Многие, и я в том числе, смотрят на Майю Никулину (в узком кругу – просто на Майю) как на чудо. Она и есть чудо: красавица, умница, образованнейший человек, сильная женщина, пережившая массу невзгод, человек не просто «с принципами», но с честью, достоинством, совестью, мудрый человек; ее прямая осанка, сильный (долгий и краткий) взгляд, зеленые глаза, излучающие мысль, чувство и красоту; на мой ум (Майино выражение!), она – ангел, явленный в наш мир неслучайно. Чудо не бывает случайным и прихотливым. Чудо не судьба. Чудо спасает и организовывает пространство и время. Майя – время. Само время. Наша земная вечность и наше земное бессмертие. Майя – творец. И это – главное.

Знаю Майю 35 лет. И все это время ощущаю в себе и окрест ее земную, небесную, антропологическую, языковую, культурную, женскую и поэтическую энергию.

Поэзия – подлинная, чистая, воздушно-земная и земляная – родилась, возникла в Екатеринбурге в тот момент, когда появились на свет стихи Майи Никулиной. До Майи все было стихотворчеством, стихописанием – талантливым, бездарным, серым, ярким, чаще социально обусловленным и заказным. Майя выдохом своим поэтическим, выдохом-вдохом, вздохом преобразила наш уральский воздух звучащий, родила наш новый (в ином, истинном, первичном качестве) слух. И мы услышали. Майя воспитала своей поэзией, своей жизнью, своим примером несколько десятков талантливых, одаренных, интересных и ярких стихот-

ворцев, прозаиков и поэтов. Майя Никулина здесь, в этой «поэтической педагогике» действует по принципу «делай, как я» и «не делай, как все».

Майя положила начало редкому феномену – культуре поэзии, или поэтической культуре, которая не может возникнуть на пустом месте и сама по себе. Поэтической культуре нужны земля, вступившая с человеком в серьезные духовные отношения; небо, уступающее свою вечность и бессмертие нам, грешным; пространство, отзывающееся на взгляд и мысль поэта, способного отнимать у пустоты прекрасное, красоту; люди, задыхающиеся и расчеловечивающиеся без поэзии; историческое время, жаждущее переживания его и фиксации; материальная культура и культура духовная как память и как прапамять; и, наконец, талант. Поэтический талант.

Майя никогда и пальцем не шевельнула для того, чтобы ее услышали (публикации, книги, пиар и т. п.). Но ее услышали. Подлинное слышится всегда и везде. Жизнь поэта и человека Майи Никулиной – это жизнь земли (всей и со всей биосферой) и камня (кристаллография). Жизнь кристаллизуется и растет, как стихотворение.

Давным-давно задумал я (возмечтал) написать две книги (именно книги, а не статьи, эссе или еще что-нибудь): о Майе Никулиной и Алексее Решетове. «Написать» – сильно сказано. Точнее будет не «написать», а сделать. О Решетове сделал: «Материалы к биографии» (как мы тогда потеряли в проклятом компьютере статью Майи о Решетове? До сих пор переживаю и простить себе этот недосмотр не могу!). Сделал книжку (биобиблиографическую) о Борисе Рыжем – для родителей его прежде всего: они просто помирали от горя, и пришлось занять их этой общей работой над биографией погибшего поэта. И вот книга о Майе. Но книга иного, особого рода: это, скорее, книга Майи о себе, вернее, о своей душе, о своих думах, о своем опыте, о своих радостях, о тревоге, о литературе, об истории, об Урале, о войне и войнах, о друзьях и любимых и многом другом.

Книга о Майе Никулиной – это собрание ее монологов, записанных на диктофон (около 50 часов звучания) во время бесед с ней, происходивших весной-летом 2010 года.

Однажды после череды моих больниц, я понял, что если не начну работать над Майиной Книгой (так я ее мысленно называл) сейчас, сию минуту, сию секунду, то я не сделаю Ее никогда (именно так: Ее с прописной буквы!). Писать о родном, самом близком и бесценном друге трудно (хотя после наших аудиальных вечеров, через полгода я напишу большой очерк о Майе для книги «Поэты Урала» – спасибо Алексею Бадаеву, нынешнему министру культуры Свердловской области, за то, что заказал

мне эту книгу, точнее, заставил ее написать). О поэте писать в сто раз труднее. А о Майе, человеке возрожденческого типа и характера, просто невыносимо трудно. Почти невозможно. Мешала (и помогала!) любовь. Наша дружба. Наша преданность друг другу. Все – мешало и помогало… И я решил и решился.

Майя Никулина – человек необыкновенно скромный и сложный. Мое предложение записать на диктофон беседы с ней и потом, после расшифровки аудиотекста, издать книгу – мое предложение потратить на это все огромное количество времени, – Майя Петровна обдумывала недолго, но вместе с тем строго и пытливо выясняла: зачем и кому это нужно? кто я такая, чтобы записывать мои слова?.. В общем, можно, так сказать, обойтись и без этого. Не обошлось.

12 апреля (День космонавтики, годовщина полета в космос Ю. Гагарина) мы сели за стол в Доме писателя, включили диктофон, и я сказал: «Поехали!»

В то время я еще руководил (последние недели) Союзом писателей, но уже собирался уходить (здоровье и все такое). У меня была команда замечательных людей и две девушки-секретари: Елена Владимировна Шаронова и Елена Юрьевна Дуреко. Обе они буквально преклонялись перед Майей, ее талантом, умом, книгами, стихами. Встречались мы раз-два в неделю, иногда раз в две недели в течение апреля-мая-июня и начала июля. Мы сидели в моем кабинете за «заседальным» столом (в кабинете, кстати сказать, П. П. Бажова) с диктофоном, чаем, закусками на столешнице. Я тщательно готовился к каждой беседе (вопросы, проблемы, имена, тематика и проч.), девушки Лены запасались чаем, любимым Майей сахаром кусочками и снедью. Вести беседу было необыкновенно легко (мы все – друзья) и чрезвычайно трудно: Майя Петровна всегда норовила уйти от намеченной темы к своим любимым концептам: Урал, Бажов, камень, железоделательная промышленность, заводы, Севастополь, Великая отечественная война, Екатеринбург и др. Тем не менее мне с помощью обеих Лен удавалось как-то (невероятными усилиями) держать разговор не только в ушах, но и в устах своих. Иногда нам мешали-помогали посетители (незапланированное вторжение поэта Вадима Дулепова или сотрудницы Музея литературы Урала Анжелины Ивановны Рязановой, или Тамары Решетовой (жены-вдовы Алексея Леонидовича), или еще кого-то, кого Лена Дуреко как-то быстро и ловко выставляла. Потом мы просто стали закрывать на замок дверь в приемную Союза и Дома писателя).

Иногда, очень редко, к разговору присоединялись Лены, чем удивляли Майю, привыкшую уже к дуэту М. Н. – Ю. К., и раздражали меня, так

как уводили Майину мысль от намеченного мной обсуждения какого-то конкретного лица или события.

15 вечеров – цифра цельная: конечно, их было больше, но уж слишком они разнились по продолжительности. 15 вечеров – это не 15 тем разговора, не 15 событий и исторически значимых лиц; и это не 15 монологов, цельных, связных и завершенных. Почему «вечера»? Потому, что вечер не есть текст, но вечер, несмотря ни на что, все-таки текстом является. Текстом, характеризующимся свободной цельностью, вольной связностью (и симпатичной порой бессвязностью), и открытой настежь завершенностью: книгу можно продолжить! И это – хорошо и важно, так как разговор – это тоже и жизнь, и судьба, и любовь.

Монологи Майи Никулиной диалогичны, а диалоги Майи с Ю. К., Е. Ш. и Е. Д. монологичны. Так есть. Так получилось. И я этому рад, потому что в целом «15 вечеров» – это история жизни и судьбы М. П. Никулиной, России, Урала, русской культуры, русской литературы и поэзии от Майи Никулиной. Майя Петровна настолько цельный человек, что все, что она произносит, есть часть воздуха, земли, огня, воды, растений, событий, времени. Говорить с Майей Никулиной – все равно что говорить со временем. Мы в течение 15 вечеров беседовали со Временем!

Необходимо помнить, что беседы наши – это образцы русской разговорной речи, в которой вполне нормативны свобода, повторы, умолчания и стилистические вольности.

Главное техническое условие появления книжного варианта бесед – это расшифровка и подготовка текста (без переписки его кардинальной, а лишь с незначительной редакцией и редактированием). И здесь необходимо поклониться до земли тем, кто все это записал, расшифровал, вывел на бумагу и предоставил мне для окончательного вычеркивания, исправления и редактирования. Я безмерно благодарен Елене Шароновой и Елене Дуреко за общую организацию 15 вечеров, за запись бесед, за помощь мне и Майе в наших диалогах – ее монологах, за пищу и чай, за постоянную душевную поддержку, оказывавшуюся Майе и (особенно!) мне, тогда очень больному и державшемуся только на уколах. Лены, Елены создали пространство для времени этих наших странных вечеров, когда мы собирались, как заговорщики, затевающие некий (литературно-культурный) переворот *(шучу)*. Я чрезвычайно благодарен тем, кто перевел звучащую речи в письменную ее форму: Елене Дуреко, Оксане Сергеевой, Галине Скориковой, Татьяне Арсёновой и Александре Бушлановой. Именно последняя (и как мой литературный помощник) сыграла ключевую роль в появлении этой книги на свет Божий. Саша Бушланова подгоняла всю команду с расшифровкой, собирала материалы, все пере-

слушивала и правила, а затем, наконец, выдавала мне текст для окончательной «серьезной» правки. Бескорыстная – от сердца – помощь, работа всегда ценнее и качественнее любой другой.

Трудно определить точно жанр «15 вечеров». Беседы? Лекции? Семинары? Исповедь? Поучение? Монологи? Диалоги? Рассказы? Не знаю. Я уверен только в том, что история страны, культуры и литературы от Майи Никулиной нужна читателям, особенно сегодня, в эпоху новой посткнижной культуры, когда, несмотря ни на что, такие явления, как жизнь, поэзия и любовь, слава Богу, остаются самыми важными для тех, кто живет душой.

ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ

Ю. К.: Итак, твоя книга. Книга о тебе… Эта книга нужна прежде всего, на мой взгляд, людям пишущим, людям сочиняющим, людям, которые думают стихи. Людям, которые живут в поэзии, в музыке, в сферах, которые не подверглись визуализации. Литература вся визуализирована…

М. Н.: Ну как тебе сказать насчет литературы… Это другой жанр, другой вид искусства и практически сравнивать не надо.

Ю. К.: А поэзия и музыка не визуализированы, точнее они никогда визуализации не поддадутся, потому что это явление духовное, глубоко проникающее в бытие, в человека, в место в бытии человека и т. д. Давайте разработаем стратегию и тактику работы. Нужно сделать книгу разговоров с поэтом, где будут и монологи и диалоги, естественно. Чтобы получился такой хороший, майеникулинский кухонный жанр. Этой будет разговор о поэте, разговор о человеке. Есть такие случаи, когда жизнь поэта и поэзия неразрывно связаны. Есть такие случаи, когда жизнь не имеет к поэзии никакого отношения.

М. Н.: Нет, связи есть…

Ю. К.: Связи есть, но они бывают очень слабыми, а бывают капитальными. У Блока жизнь и поэзия – это практически одно, а у Бориса Чичибабинова жизнь и поэзия – абсолютно разные вещи.

М. Н.: Ну, видишь, это ведь и поэты очень разные.

Ю. К.: Майя, давай говорить о жизни, о поэзии, не искать каких-то мощных связей, слабых связей… Не знаю, что важнее в этой ситуации, когда есть такое существо – поэт. Вот передо мной человек сидит, а в нем есть поэт. Вообще, это одно и то же или нет? Понимаю, вопрос сложный, но ты ведь все равно об этом думаешь.

М. Н.: Ответить на этот вопрос очень трудно. Связь существует всегда – сомневаться в этом не надо. Просто если человек, который пишет стихи, да и прозу, если это художественная проза, пишет всем своим не только чувством, но и всем своим опытом, всей своей кровной памятью,

ошибками своих прадедов и прабабок – всем, то это пространство, которое есть в его работе, в конце концов реализуется в то, что мы называем художественным пространством. Чем более мощным пространством человек входит в свою работу, тем более мощное пространство он реализует. Вот я не далее как сегодня ночью, точнее, вчера в 7 часов вечера села, а сегодня кончила читать Ю. Бондарева «Последний залп», и там я нашла вещи, которые – я вообще очень ревностно отношусь к военной литературе, я пережила войну, я ее помню и постоянно о ней думаю, потому что для человека, который ее пережил, она навсегда становится основоопределяющим в жизни – несколько вещей, которые откровенно меня смутили. Не то чтоб я хотела править чужое произведение… Вот, скажем, *«сбитая смертью пилотка»* – с одной стороны, совсем неплохо. Но я вдруг вспомнила, что В. Некрасов «В окопах Сталинграда» так бы не сказал. Я читала огромное количество всяких писем, репортажей с фронта и видела очень большое количество необработанных фронтовых лент. Раньше в Севастополе это просто неделями все крутили, это был абсолютно доступный материал. Город был военный, закрытый, и вот мы все сидели и смотрели. Это чтение и зрелище очень поучительное. Поучительно вот в каком плане: ничего подобного у Некрасова нет. Что есть у Некрасова… Мы знаем, что ситуация в Сталинграде была такова: это была идеальная в оборонительном отношении ситуация, когда война была одновременно и отечественной и народной. Как сейчас стало известно, все партийное и все военное начальство перебралось на другой берег, за Волгу, а в городе осталась армия и жители. На сегодняшний день не подтверждается, что Сталин действительно издал такой приказ, чтоб жителей не эвакуировать, так как, если в городе никого не будет, солдаты не будут его защищать до последней капли крови. Жителей там оставили, но, естественно, не всех, а тех, у кого не было сил, средств, возможностей и связей, чтобы перебраться на тот берег. Таким образом, остался этот незащищенный народ – старики, женщины, дети и солдаты. Про Чуйкова я не говорю, Чуйков был на месте. Это была ситуация действительно народной войны. И дальше нам Некрасов показывает, как каждая единица, каждый человек, за которым весь этот народ стоит, каждый таковым себя в сущности и понимает. И очень это вот на что похоже: самая ближайшая аналогия «Севастопольские рассказы» Толстого. Где он прямо так и говорит, что вы никакого тут показного героизма не найдете, никакого бряцания оружием, никакого ажиотажа пафосного нет, люди занимаются своим делом. И также не сдают город Севастополь – это наше нравственное чувство, в которое естественно входит привязанность к своему родному дому, к своей земле, на этом все держится. И поскольку Некрасов

рисует нам каждого человека, за которым эта идея стоит, ему же ничего не надо объяснять.

Ю. К.: Я понимаю, о чем ты говоришь. Но давай посмотрим с точки зрения исследователя на Виктора Некрасова и на Юрия Бондарева. Оба художники, и нельзя даже сравнивать, кто лучше, а кто хуже. Но как человек Некрасов более древен, более продолжителен что ли…

М. Н.: Что касается «В окопах Сталинграда» – это да…

Ю. К.: Ты проецируешь на себя, потому что ты – человек известный в городе…

М. Н.: Нет, я человек неизвестный.

Ю. К.: Ты человек известный, уверяю тебя. Многие подходили и рассказывали, что видели тебя по областному телевидению, где ты много говорила и читала стихов. Ты – явление в городе и в России глубоко культурное, просто Россия не информирована. Точнее, информация приходит другого характера: не художественная, поэтическая и духовная, а, например, упал самолет, кто-то кого-то задавил, изнасиловал и т. д. Вот ты человек. Ты – красивая женщина.

М. Н.: Спасибо.

Ю. К.: Ты – образованнейший человек. Я образованнее человека не встречал, сколько живу, а я видел образованных людей. И одна из самых красивых женщин, которых я видел. Ты человек не просто образованный, а человек глубоко мыслящий и глубоко переживающий. Все пережитое ты невероятным образом эффективно, продуктивно преобразуешь в какие-то вещи. Например, в то, что лежит на столе: сборники стихов и очерки, посвященные краю, пещере и камню и т. д. Меня интересует вот что: ты поэт, ты историк, ты философ, как эти три разных рода занятия чередуются или совмещаются, или наслаиваются? Мне это интересно самому, потому что я тоже занимаюсь стихотворчеством и занимаюсь наукой.

М. Н.: Что касается ответа на твой вопрос, то, что я говорила про Толстого, про абстрактное чувство, это все туда входит. Мы только с тобой договорились до того, что Виктор Некрасов пишет своим мощным запасом, потому что он человек более длящийся, человек более длительно расположенный во времени. Обрати внимание вот на что: очень мощный человек, очень сложный человек В. Астафьев в конце жизни полностью обиделся на жизнь и умер со словами: *«Я пришел в этот мир добрый, родной и любил его безмерно. Ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье»*[1]. Виктор Некрасов никогда

[1] Слова из завещания В. П. Астафьева.

не обидится на жизнь. Он никогда не был диссидентом, никогда! И даже когда его отсюда выслали, никаких обид и никаких претензий он никогда не имел к своему отечеству. Этого просто не могло быть. И мне очень понравилась одна подробность. Когда в 90-е годы начался разговор о том, что всех диссидентов надо возвращать, В. Максимов заявил о том, что они ждали извинений от правительства или даже не знаю, от кого. Виктор Конецкий ответил на это: «Да какие извинения, о чем вы говорите! Некрасов бы приехал в первые полчаса». И вот эту разницу между одним замечательным явлением и другим… Ну, кто спорит, что это мощное явление?

Ю. К.: Вот ты поэт. Я считаю, что ты прежде всего поэт и в книгах своих прозаических, философских, и в других работах, в статьях и так далее. Как у тебя произошел этот переход, скажем, от поэзии к прозе, от прозы художественной к прозе научной?

М. Н.: Нет, научной прозы я не пишу. Это не мое. Я никогда не хотела работать в науке. Это не мое пространство, и мне там делать совершенно нечего.

Ю. К.: Почему ты в стихах не написала «Камень. Пещера. Гора»? У тебя ведь нет этого в стихах.

М. Н.: Об этом нельзя писать в стихах.

Ю. К.: Почему?

М. Н.: Ну ты же сам понимаешь, что поэзия не занимается тем, что передает информацию.

Ю. К.: Ты ведь не передаешь никакой информации…

М. Н.: О чем-то я все-таки там говорю. У меня даже есть один высокоумный товарищ, который мне говорит, чтобы я не становилась экскурсоводом. Что касается поэзии, давай сразу вспомним Мандельштама и Блока. Она начинается там, где все эти геологические слои, подвижки, все эти невероятные движения, вибрации от которых доходят сюда, и мы их здесь ловим. Это действительно, наверно, так. Я уже много раз говорила, потому что это меня ужасно удивило. Павлова Вера сказала, что писать стихи можно только о том, о чем стыдно говорить вслух. Это совершенно ужасно и какое-то такое очень вульгарное…

Ю. К.: Она просто мэйнстримщица.

М. Н.: Или, может быть, провокационное, для того чтобы привлечь к себе внимание. Поэзия занимается как раз улавливанием этих самых вибраций, которые, может быть, через какое-то время можно будет описать и в прозе. Но, допустим, когда Блок начинает нам петь о том, что

«*Над бездонным провалом в вечность, / Задыхаясь, летит рысак*»[2] – ведь это же страх! – и сейчас все это наше прекрасное, цветущее отечество ухнет туда и будет тонуть в крови. Прямо так вот можно одно за другим стихотворение читать – и слышно, что это движение усиливается, и мы приближаемся к этому краю, и при всем при том просвечивает еще рай, где *«Свирель запела на мосту / И яблони в цвету»*[3]. Это всем дано видеть, и тем не менее мы летим в бездну. Обрати внимание, жутко интересная вещь: он не дописал «Возмездие», потому что об этом говорить уже было не надо. Это уже случилось. Это уже случилось. Все.

Ю. К.: Майя, а кто у тебя самые родные поэты? Из русских только.

М. Н.: Ну, их, естественно, несколько. Мне было 4 года, когда меня потряс М. Лермонтов. Я до сих пор люблю его так же. Я перед этим читала Пушкина и так далее…

Ю. К: Сама читала?

М. Н.: Сама читала. Да у меня и Маша читает с 3 лет. Я даже прекрасно помню, где я его прочитала: у нас был такой двухэтажный сарай, с галерейками, чрезвычайно романтическое, приятное место. Что меня поразило в Лермонтове: не эта роскошная красота в говорении Демона, где действительно красиво, где все эти роскошные камни и так далее, а то, где он ведет разговор о событии, меня совершенно поразила фраза: «*На трупы всадников порой верблюды с ужасом глядели…*»[4]. И вот эти верблюды… Я стояла, я ходила, я не знаю, что было со мной. Что я поняла: ну солдаты, караван идет… Но ощущение ужаса, того, что смерть – навсегда, это что-то невероятное и зависит только от слова *верблюды*. Потому что это, во-первых, безумная фонетика, а во-вторых – это смотрение сверху вниз. Да что ты! И еще одно, сейчас я тебе скажу, вот что: *«Поныне возле кельи той / Насквозь прожженный виден камень / Слезою жаркою, как пламень, нечеловеческой слезой»*[5]. Где *прожженный* и *жаркий* – шипящие и рычащие, и вот они как сверлом это камень прожигают. Меня потрясло как раз вот это. Я «Демона» читала много раз. И как-то посреди ночи проснулась и поняла, что если сейчас его не прочту, то все, жизнь моя кончится. Вещь немыслимой красоты, совершенно загадочная, на мой ум, до сих пор не прочитанная. На мой ум, вся поэзия так и должна читаться. Она должна тебя волновать, колебать, вводить в какой-то тре-

[2] А. А. Блок. «Черный ворон в сумраке снежном…».

[3] А. А. Блок. «Свирель запела на мосту…».

[4] М. Ю. Лермонтов. «Демон».

[5] Там же.

пет, и мне совершенно не нужна информация, которую человек получает, нажимая какую-то кнопку, и ему идут какие-то данные.

Вообще, надо сказать, что есть фразы, которые до сих пор передо мной стоят. Например, фраза из «Бежина луга»: *«Побледневшее небо стало опять синеть – но то была уже синева ночи»*[6]. И эта неотвратимость наступления ночи – это просто невероятно! Вот эти чудовищные заряды, казалось бы, обычных фраз, я их слышала очень рано. Дело в том, что они, правда, слышны. Но, когда человек читает, он вычитывает содержание, он ищет информацию. И надо сказать, что те люди, которые читают стихи, совершенно не заинтересованы в информации. Чаще всего то, что в стихотворении есть, ты уже знаешь, потому что стихи – это вечная тема: жизнь, любовь, смерть, встреча, невстреча. Ну вечные.

Когда я начала читать древнюю литературу, я просто была совершенно потрясена и сейчас я потрясена «Сказанием о Гильгамеше». До Гомера, в сущности, все темы, над которыми бьется теперь великая философская литература, обозначены. И меня совершенно поражает, что в 4–3 тысячелетии до нашей эры человека волновало абсолютно то же самое: откуда мы, кто мы, куда идем. И вот, в конце концов, вспомним Достоевского: *«Тварь я дрожащая или право имею?»*[7] Над этим же самым бился Гильгамеш. Это совершенно удивительно. И удивительно то, что это все одето в совершенно другие одежды. Вовсе не в худшие, чем нынешние.

На мой ум, абсолютно никакого поступательного движения в искусстве нет. И не может быть, и не надо ждать. И вот, что меня прежде всего поразило в Лермонтове… Я и сейчас считаю, что Лермонтов оказал на русскую литературу гораздо большее влияние, чем Пушкин. Я не вижу прямых наследников Пушкина. А вот Лермонтова, этой его горечи… Блок – ну, конечно, Лермонтов, об этом и думать нечего. Обрати внимание, ты помнишь, какая природа у Пушкина? *«И равнодушная природа…»*[8] А у Лермонтова? *«Надо мной чтоб вечно зеленея, / Темный дуб склонялся и шумел»*[9]. Она у него одухотворенная и живая. У него есть стихотворение «Сон», ну это, в сущности, фантом. Он там сон в сон помещает, это повторение сигнала фантома, это что-то невероятное. Степень одухотворенности природы у Лермонтова с Пушкиным ничего общего не имеет. Зато именно отсюда пошел, конечно, Тютчев. Никакого сомнения. И даже Фет. Нет, я считала и согласна с тем, что Пушкин – наше все.

---

[6] И. С. Тургенев. «Бежин луг».

[7] Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание».

[8] А. С. Пушкин. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…».

[9] М. Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу…».

Какой разговор!.. Но я всегда удивляюсь, когда мне говорят, что Иосиф Бродский – пушкинская традиция. Ну, какая традиция…

Ю. К.: Нет…

М. Н.: Ну, конечно, нет.

Ю. К.: Это истерика цветаевская, постоянная, тщательно скрываемая.

М. Н.: Нет, по градусу – не цветаевская. Я от восторга дрожу, когда вижу, что Цветаева поэзию делала из истерики. Ну, это же классно! Что касается «*Мой милый, что тебе я сделала?!*»[10] – это в сущности все. Это не перекрыть. Вот сколько бы кто бы ни кричал, это не перекрыть.

Ю. К.: А Бродский русский поэт?

М. Н.: Европейский. Ты знаешь, я тебе скажу, еще когда Бродский ходил напечатанный на папиросной бумаге…

Ю. К.: Ты мне давала, он не произвел никакого впечатления.

М. Н.: Я тогда сказала: «Уверяю вас, этот человек уедет». Как только он начал расширять свое поэтическое пространство не за счет нутра, – то, что мы говорили про Виктора Некрасова, – а за счет излишних красот и слов, совершенно стало понятно, что он это отработает реально.

Ю. К.: Да, «мексиканский дивертисмент», «литовский дивертисмент». Какое мне дело до Трескового мыса?!

М. Н.: Я не знаю.

Ю. К.: И что такое «дивертисмент», объясните мне?

М. Н.: Тут я замолкаю, и вот почему: я не живала в Америке. Когда Дима Месяц жил в Америке, а он, как ты знаешь, очень талантливый человек, с идеальным слухом, на наших глазах проделавший чудовищную духовную работу. И когда он начал простынями писать такие «американские» стихи, я говорю: «Дима, что ты делаешь, для кого, зачем?» Я безумно счастлива, что он вернулся, что он это понял сам. Однако у Бродского никакой идеи вернуться не было.

Ю. К.: Когда ты сказала про Виктора Платоновича Некрасова, что он вернулся сразу, я вспомнил Бродского.

М. Н.: Мы все видели по телевизору, в Финляндии или в Швеции была какая-то конференция, и к нему подходят и говорят: «Ведь вот ваша страна, через море, через Финский залив, вам не хочется обратно?» А Бродский сказал: «Да, это та страна, где я имел несчастье родиться». Надо обливаться слезами благодарности и восторга за то, что Бог тебе дал такой язык. Вот мои товарищи сидели перед телевизором, и он такое сказал. Избави меня Бог сказать что-нибудь плохое о Бродском, но я во-

[10] М. И. Цветаева. «Вчера еще в глаза глядел…».

все не уверена, что его будут пылко и нежно любить много лет спустя. Не знаю, не знаю, сомневаюсь.

Ю. К.: Майечка, первым твоим потрясением стал Лермонтов, в 4 года. А потом какие потрясения были?

М. Н.: Когда мы учились в школе, у нас в доме была отличная библиотека. У моего отца вообще была блистательная библиотека. Надо сказать, что мой отец был человек отлично образованный, философию и поэзию читал в подлинниках. Мой отец поработал до революции только два года. Он кончил Императорский лесной институт. Он сам эту профессию выбрал, он землю очень любил.

Ю. К.: Петр…

М. Н.: Петр Михайлович.

Ю. К.: А Никулин, фамилия?

М. Н.: Это отца фамилия.

Ю. К.: Это их родовое.

М. Н.: Что, сейчас опять будешь копать по поводу моего дворянства?!

Ю. К.: Не-е-ет.

М. Н.: Дело в том, что это не самое главное. Вот почему нет смысла в поисках дворянства: в то время были люди, которые этот нравственный закон перенимали и уважали. Но ведь дворяне были и другие. Один открывает в усадьбе школу, другой – проигрывает девок в карты. Дворяне были всякие, равно как и крестьяне были разные. Идеальный пример, когда человек из поколения в поколение как высшую ценность перенимает нравственный закон своих дедов и прадедов.

Мы как-то были в Магнитогорске от журнала «Урал». И вот мы там с Николаем Яковлевичем, поскольку ты знаешь, что мы с Николаем Яковлевичем, как два добросовестных идиота: нам на столы кладут стопки рукописей, и мы с ними до ночи сидим, кто на встречу, у кого дела, – в общем, остались только мы. И вот сидим мы при этих папках, и заходит молодой человек и говорит: вот вы писатели, да еще журнал «Урал» называетесь, вот о чем надо говорить, кричать надо… И рассказал нам, в чем была причина его печали: когда он уходил в армию, еще варили хорошую сталь. Дело в том, что когда мы гнались и перегоняли Америку, и гнать нужно было все больше и больше, металл становился все хуже и хуже, и делали мы его, сокращая сроки плавки. И поэтому у нас получилось стали много, но плохой. И когда этот человек вернулся и встал к своей печи, он понял, что они делают плохую сталь. И он сказал: «Одному я рад, что дед мой умер, что он не дожил до такого позора. Как бы я ему в глаза смотрел, стоя около такой стали». Это совершенно та же самая картина.

Только там все держится на дворянской чести, а здесь все держится на идее мастерства. Ибо это наша уральская идея. Это одно и то же. Если мы будем говорить о старообрядцах, которые сделали нашу уральскую промышленность, и это будет то же самое. Самое ужасное – от этого наследства отказаться, отойти и забыть его. А поскольку все советское время из нас просто тщательно это выбивали, у меня на всех фотокарточках все мужчины были уничтожены: женская головка, а дальше вырезано. Все дело в том, что кто-то забыл, а кто-то ведь нет. Тут уже, товарищи, ты выбираешь сам. К вопросу о свободе, как говорят, что мы жили в условиях полного рабства и полной несвободы – с этим я не соглашусь.

Ю. К.: Я тоже.

М. Н.: Это твое личное дело. Что касается таланта: талант – это свобода. На мой ум, только так. Ну, посмотрите на О. Мандельштама. Как раз в советские годы это нам было просто с яркостью афиши и лозунга доказано. Вот, допустим, Ю. Олеша замолчал. Он своим даром распорядился так. Некоторые люди поняли, что надо приспосабливаться. Но, заметьте, кто как приспосабливался. Допустим, С. Я. Маршак навсегда забыл то, что он писал и о чем думал. Он занимался только детской литературой и переводами. Он не уронил своего лица, он стал хорошим литератором. Выжил так. Были люди, которые писали то, что положено. А были люди, которые, как Мандельштам… Нет, с Мандельштамом вообще все ясно. Он мог писать только то, что он слышал. Те самые вибрации, тот самый трепет, он его и фиксировал.

У меня есть один приятель в Воронеже, я его редактировала, когда он печатал несколько вещей в «Урале». Он мне иногда письма пишет и книги посылает. Он следователь. И вот из каких-то следовательских дел он выяснил одну очень интересную подробность: оказывается, когда два месяца Мандельштам жил в Воронеже, а ведь это были очень крутые уже годы, ему многие помогали, ему даже городские власти выделяли пособия и так далее. Это к вопросу о свободе.

Что касается еще вопроса о свободе: когда я начала собирать Мандельштама, а это были годы такие, что много моих товарищей и подруг много лет сидели без работы за одно то, что их подозревали, что они прочли воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам. За это можно было достаточно серьезно поплатиться. И я начала собирать Мандельштама. Началось все с того, что мне один мой друг подарил старый журнал, и там было напечатано три стихотворения Мандельштама. И поскольку у меня были знакомые в Москве и в Питере, я к ним обратилась с вопросом, есть ли у кого-нибудь что-нибудь еще. Все понимали, какое это небезопасное дело. То, что произошло дальше, меня потрясает до сих

пор. И, когда я говорю об этом, я понимаю, что мы абсолютно великий народ. И то, что произошло в эпоху капиталистической революции, народ так не подломили ни Гражданская война, ни Отечественная. И, возможно, ему придется приходить в себя достаточно долго. Так вот, я начала собирать эти стихи, и мне начали приходить конверты из Питера, из Москвы, из Воронежа, из Читы. Делалось это так: бралась папиросная бумага, на ней без интервалов печатались стихи. Обратного адреса никогда не было. Лист нужно было немедленно уничтожить и немедленно перепечатать, потому что по почерку машинки – у меня у самой были такие неприятности – можно было вычислить владельца.

Так вот я собирала Мандельштама, переплетала, и, когда вышло первое американское издание Мандельштама и попало ко мне в руки, переснятое на фотоаппарате, знаете, что меня потрясло? Мое собрание разнилось от того на восемь стихотворений. То есть здесь было практически все. То есть люди в Питере, в Москве, в Воронеже, в Чите, в Екатеринбурге на этих папиросных бумажках сохранили все. И когда нам говорят, что если бы не Америка… Вот, оказывается, нет.

И еще скажу вот что: если бы Мандельштаму было предложено – или Нобелевская премия, или вот это, он, конечно, предпочел бы прожить жизнь так, как он прожил. Ему нужно было быть поэтом этой земли, этого народа, и, конечно, он бы выбрал это. Ничуть не сомневаюсь. У меня сохранился только один конвертик и один листочек, напечатанный на машинке. Все остальное нельзя было хранить. Остальное я отдала в Музей писателей Урала, но не знаю, как они распорядились моим экспонатом.

Ю. К.: Майя, расскажи немножко, у папы в библиотеке какие книги были?

М. Н.: Отец мой был хорошо образован, потому что раньше всех образовывали очень хорошо. Раньше во всех технических институтах учили людей и держаться в седле, и поэзии, и танцам. Реальное училище. Он сам выбрал учебное заведение. Их так учили, потому что в то время считалось, что техническая интеллигенция на том месте, где она будет работать в промышленности, должна создавать культурную атмосферу. Уральская интеллигенция с этим, между прочим, очень хорошо справлялась. Из книг у него были и философия, и классика, и специальная литература. Все это во время Гражданской войны было спалено.

Ю. К.: А поэзия какая была?

М. Н.: А поэзия… Частично, что касается Блока, Гумилева, Северянина и так далее, это все даже осталось в моем доме. Серебряный век почти полностью. Все собирал отец, потому что мама еще дитя была. Отец не пропускал ни одного выступления Шаляпина, он видел всех: Есенина,

Блока, Северянина, Маяковского, Гиппиус. Он видел их всех вживую. И его рассуждения были чрезвычайно интересными. Скажем, по поводу Гиппиус рассказывал, как она была одета, тонкая талия, волосы. В переводе на современный язык – секс-бомба, но очень злая. Очень мне понравилось про Маяковского. Я у него спросила: «А Маяковский какой?» Он ответил: «Ну, в тот раз он был хорошо одет, я видел его еще когда он был неважно одет. А вот в тот раз в дорогом костюме, на вид высокий, хорошо сложенный, но очень плохо воспитан». Как вы помните, в 30-е годы, когда идеологический прессинг еще не распространился, издавали Пруста и Джойса. И Пруста, например, я читала в издании 30-х годов. Потом все прекратилось. Любимое мое – предвоенное издание Лермонтова, и Пушкина перед войной издали. Что касается того, что сгорело… Отец как из дома вышел, так просто больше не смог туда войти. Но кое-какие вещи из старого дома остались. А из книг – ничего. Вот если бы кто-то из маминой семьи остался жив, хоть один, судьба была бы решена – на корабль и в Бизерту. Императорскую эскадру же уводили туда, они хотели ее сохранить для отечества. Она же в полном боевом порядке, со всеми пушками и матросами ушла, и если бы хоть один мужчина был жив… Ой, я каждый раз когда стою там, думаю, это Бог меня не забыл, это Бог меня не забыл. Все хочу съездить в эту Бизерту, положить цветы туда.

Ю. К.: Мама была тоже благородного происхождения?

М. Н.: Мама была из дворянства.

Ю. К.: Маму как звали?

М. Н.: Маму звали Нина Викторовна. Да ты что, у бабушки даже где-то имение есть. Я не стала узнавать, потому что моя родная бабушка умерла здесь в войну, а двоюродная осталась… Красавица была невероятная.

Ю. К.: Как вы попали вообще сюда?

М. Н.: Сейчас расскажу. Моя бабушка только за три месяца до смерти нарисовала мне схемку, сказала, что вот там твой дом, сходи, посмотри. Я нашла его, и даже внук Гришенька маленький там у меня сфотографирован. История нашей семьи, что со стороны отца, что со стороны матери, мне ужасно нравится. Они разные, ибо в южной истории сплошные безумные страсти, испанский роман можно написать. А здесь столбовой эпос, сплошное мужество, терпение и служение. Отец никакой другой земли не хотел признавать и вообще видеть не хотел. Тем не менее он три года подряд ездил в Крым и жил там. Это очень интересно, это у меня описано как раз в «Месте». Значит, такова была судьба. И история их… Ну понятно, кто живет в Севастополе? Это флот. Там другим людям и делать нечего. Поэтому там были те люди, которые жили при флоте.

В начале XVIII века, когда к Петру I в армию служить приходили многие европейцы, был один серб по фамилии Христиан*о*вич или Христи*а*нович. Он служил в армии и заслужил имение. Моя прабабушка была последней сербиянкой. До нее они женились только друг на друге. История того, как она вышла замуж за прадеда, совершенно потрясающая. Вся их история полна немыслимых происшествий. Прямо роман на романе.

Она была очень красивая, вполне обеспеченная, с имением, с приданым и так далее. А прадед ехал к месту службы, и какой-то товарищ уговорил его заехать. Это было еще тогда, когда память о Крымской войне держалась и почиталась. И в доме собрались, значит, какая-то тетка, какие-то барышни, накрыли на стол, и моя прабабка, царственной совершенно внешности – у Маши ее глаза. Она выходит, и получилось, что с некоторым опозданием, все уже рассаживаются за стол.

Самое удивительно что: ведь у меня еще есть брат и сестра. Все семейные предания и рассказы были переданы моей бабушкой только мне. И когда бабушка умирала, сказала: все фотокарточки отдайте Майе. И даже все, что было у моих брата и сестры, – все это отдали мне. И все это у меня хранится, все послужные списки деда и так далее. Ну вот.

И поскольку моя прабабка вышла несколько позже, она была смущена и за обедом не принимала участия в разговоре, – а то подумают, что барышня невоспитанная, чуток задержалась, или, напротив же, капризница. И все пообедали, пошли пить чай на террасу или в беседку, я уже не помню, и когда все поднялись из-за стола, прадед мой, по фамилии Александров, обращается к отцу, к сербу-то, Христи*а*новичу-Христиан*о*вичу, и просит руки и сердца его дочери. Отец барышни был совершенно смущен, потому что так не делается, это почти неприлично. И он, не желая ставить этого молодого человека в неловкое положение, стал говорить о том, что, дескать, мы об этом еще и не думали, я, мол, и сам еще хоть куда, – а он был давно уже вдовец. И тут встает моя прабабка, сербиянка, и говорит, что она согласна. Он был совершенно некрасивый. Она – немыслимая красавица. Он был русский. Она была первой сербиянкой…

Ю. К.: Она была первой сербиянкой, которая нарушает традицию этнических браков…

М. Н.: Да, вот так.

Ю. К.: Я все время удивлялся: ты все время переводила сербов…

М. Н.: Сербов я люблю. Юр, я тебе сразу скажу, во-первых, сербы – они красивые. Если так сказать, самые красивые мужчины в Европе – конечно, славяне. Притом славяне северные, это мы, и славяне южные, это сербы. Понимаешь, в них есть воинственное, орлиное. Это первое. Второе. Юр, ну ты же помнишь историю Великой Отечественной войны:

с фашистами сражались только Советский Союз и Югославия в лице сербов. Там были всякие события, всякие темные стороны. Только сербы. Сербский поэт, которого я много переводила, мне однажды сказал: «Ну, я, Майя, уже вообще не знаю, что я написал, а что – ты». Потому что он сам партизанил.

Ю. К.: Это Цирилл Злобец?

М. Н.: Да, он очень интересный был.

Ю. К.: Ему сколько лет?

М. Н.: Да его уже нет, наверно, он меня постарше. Он воевал, а я в войну дитя была. Наверно, уже нет его. Но они успели еще сказать нам: видите, что происходит с нами? На нас пробуют, на вас отработают. Ты что, это правда! Не далее как в это лето на Крите мы сидели в маленьком таком населенном пункте. Там ведь деревней назвать нельзя, потому что все каменно, красиво, это у нас деревни. И подходят два товарища и начинают с нами разговаривать. И я у них спрашиваю: а вы по-русски говорите, почему вы по-русски говорите? Вот вроде бы как не могу я сказать, что вы из России. Так этот серб!

Ю. К.: Мы остановились на сербах и на твоем детстве. В четыре года ты начала читать. Открытие Лермонтова. Но я задавал тебе вопрос, ты от него опять ушла. Но это правильно, потому что ты всегда углубляешься и расширяешься.

М. Н.: Это мы рассуждаем, каких поэтов я люблю.

Ю. К.: Да. Только не люблю, а родные поэты.

М. Н.: Практически из зарубежных никого не буду называть.

Ю. К.: А ты языки какие-то знаешь, так, более-менее?

М. Н.: Да. Мы с Костей Белокуровым Рильке на немецком читали. Специально изучением языков не занимались, это ведь было никогда нам не надо. В былые времена я покупала польские журналы. Надо было – купила, прочитала. Костя-то ведь вообще знал все европейские языки, говорил, что у него только что-то с угро-финнами не контакт. А все остальное он спокойно. Но это знание было какое… Практически все мои друзья, которые знали иностранные языки, скажем, Костя Мамаев, говорить на них почти не могли, потому что было не с кем и незачем.

Ю. К.: Слушай, а ты вот Рильке в оригинале читала, он на тебя както повлиял?

М. Н.: Нет, но то, что Рильке потрясающий поэт, – это да. Совершенно потрясающий. Я вообще про влияние не знаю, поскольку ни про кого не могу сказать.

Ю. К.: Нет, не про влияние, а про родственность.

М. Н.: В Рильке меня потрясло вот что: то, что нам перевели у Рильке, в том числе Пастернак, это совсем не Рильке. Он как-то глубже, он в пространство подсловесное, геологическое, как говорит Блок, уходит гораздо дальше. И еще в нем много небесного, космического, от *там* живет. Потрясающий совершенно поэт.

А начали мы с Лермонтова, без которого невозможно. Про Пушкина я уже говорила, Пушкина называет каждый русский человек. Но к Пушкину у меня такое отношение: это явление нужно воспринимать совершенно особенным образом. Обычно воспринимается как? Вот сначала идут «Маленькие трагедии», потом «Повести Белкина», а потом идут стихи. Все это писалось в одно и то же время. Если это читать так, как было написано, то получается более мощный разговор, обступающий тебя со всех сторон, и это какое-то невероятное пространство, где прозаическая и стихотворная форма становятся частью одного общего говорения. В общем-то, договор с судьбой. Невероятно значительная, очень красивая штуковина получается. Где-то я слышала, что хотят так Пушкина издать. Я так говорю, потому что с самого начала так читала и не могу выделить…

Вот я сразу могу сказать, что могу у Лермонтова выделить стихи, которые я сколько раз читаю, столько раз я прямо – все, лечу. Точно так же, как сказала Анна Андреевна Ахматова про Мандельштама: все читают, читают, читают на литературном вечере. И вдруг словно лебедь пролетает – это Мандельштам. Вот так вот я тоже читаю, читаю, читаю, и могу сказать, что у Лермонтова есть несколько стихотворений, если бы мы делали, скажем, 100 стихотворений лучших в мире, он вошел, 50 – вошел, 10 – вошел, три – я бы и в три. Ибо, «*Наедине с тобою, брат*» – я ничего равного не слышала. Это что-то невероятное. Его ритмический рисунок, стать его, способ движения разбивает в принципе все научные представления о размерах и так далее. Это в принципе нечто абсолютно иное. Ибо эта магистраль, где пауза в каждой строке, делает что-то невероятное. Она, в сущности, короткую строку превращает в огромную. Не знаю. Точно то же самое делает «Выхожу один я на дорогу…». Точно то же самое. Вот когда мы пишем: скобочка, тире, скобочка, объясняя детям ямбы и хореи, так вот эти стихи абсолютно всю эту систему опрокидывают. Это все сделано абсолютно иначе. Я так скажу, что такие вещи есть и у Мандельштама. Где это такой размер – я так иду, как больше никто не ходил и никогда не пойдет. Вот это точно. А у Пушкина… Я понимаю, там вот… «*Редеет облаков летучая гряда…*» – это все прекрасно.

Ю. К.: Это пример адекватности поэзии и языка.

М. Н.: Если на то пошло, то мне, например, безумно нравится «Метель». Мне вообще очень нравятся «Повести Белкина». По-моему, это превосходно. Я считаю, что это необыкновенно гениальное решение, которое мог сделать потрясающий, талантливый человек. Пушкин, кстати, еще ведь очень умный. Очень мало авторов, про которых можно сказать, что он очень умный. Вот говорят, что писатель – гений, а он еще притом… Вот обратите внимание, читателю очень неприятно, когда автор сильно умный, он это воспринимает как качание кулаком под носом. Мы это запросто прощаем Пушкину. Это для нас, так сказать, главная в нем «замануха». Мы, можно сказать, за этим к нему и обращаемся. Поэтому я бы даже отдельных стихотворений не выделила, а вот у Лермонтова – да.

Значит, дальше было так… Ну, Тютчев, товарищи, он жутко интересный. Он себя особым поэтом даже не числил и не считал поэзию своим основным делом. И весь его образ жизни: дипломатическая служба, все его дипломатические присутствия, все эти его романы, дружбы… и поэзия. Последняя его фраза: «Что нового сегодня в газетах?» – и умер. Тем не менее то, что он оставил, конечно, очень здорово. Что же касается относительно природы, где темноты и хаоса не убывает, и тем не менее она одухотворена так, что она в какой-то мере внятна, – я считаю, что, конечно, это не Пушкин. Конечно, это Лермонтов.

Ю. К.: Получается, что Осип Эмильевич Мандельштам у нас возле Лермонтова и Тютчева…

М. Н.: Дальше должна так сказать. Я очень люблю Бунина, ну просто очень люблю Бунина. И я ужасно обижаюсь, когда его держат в поэтах второго и третьего сорта. Он просто потрясающий. В прозе его никто не сомневается. Никто лучше Бунина писать не будет. Нет, лучше Бунина прозу писать нельзя. Это точно. И даже то, что у нас есть классные прозаики, например, скажем, хороший писатель Казаков.

Ю. К.: Юрий Павлович.

М. Н.: Очень хороший, прекрасный писатель. Очень, очень хороший Ким. Прекрасный писатель. Есть, скажем, такой Коваль, который всю жизнь работал в детской литературе. Я, как вам сказать, я очень нежно отношусь к Блоку.

Ю. К.: А до Блока, там, Случевский, Анненский…

М. Н.: Ну Анненский… Анненский это, надо сказать, вообще совершенно уникальная фигура, которая отдельно стоит в нашей поэзии. Ни на кого не похож. Обычно, скажем, если говорим о поэте, то в какой-то мере, какие-то истоки призрачно или точно, или неточно уловить можно. А он… Если говорить о поэзии, которая перед ним стояла, то тут надо учитывать потрясающий момент: после Некрасова, поэтов некрасовской

школы, которые положили себя под тенденцию, как под танк, поэзия была просто разрушена. Она была просто разрушена. И когда сюда приезжал Рильке, и ему Дрожжина представляют как поэта, ну, товарищи, что об этом говорить. Она была в очень печальном состоянии. Я уже не говорю о том, что Николай Алексеевич Некрасов в плане нравственном был фигурой очень спорной, а это очень важно. Почему-то имеет чрезвычайное значение, когда читаешь и знаешь – хороший человек. Когда я читаю Некрасова, я имею в виду Виктора Платоновича, я знаю, что это человек хороший. Как только я упираюсь в историю огаревских денег – холод по спине. Желательно об этом не думать, желательно об этом не знать, но поскольку эта мина замедленного действия уже подложена в наше сознание, мы все на ней «спотыкаемся». Я не про это говорю. Я говорю про то, что он сделал в поэзии. Некрасов в поэзии сделал чудовищно много. До какой степени он раскрепостил наше ритмическое богатство – ну, потрясающе! Он сделал просто невероятные вещи. Там в этом плане очень много интересного, такой бесстрашный поворот к фольклору, к плачу, к причитанью. Ну, это просто страшно интересно. У него есть вещи, которые читаешь, можно подумать, что это Мандельштам написал: *«Чванливый Петрополь / Ничего не жалел для нее. / Но напрасно ты кутала в соболь / Соловьиное горло свое»*[11]… Несмотря на то, что он увлекся этой тенденцией, своей ролью носителя этого двоемыслия, он сохранил в себе очень хорошего большого поэта.

Ю. К.: Потрясающие стихи.

М. Н.: Потрясающие, это точно.

Ю. К.: А Анненский?

М. Н.: Так вот, сейчас до Анненского дойдем. Поэты некрасовской школы, которые начитались Веры Павловны, «Что делать?» и так далее… И вообще, товарищи, когда новые идеи вступают в жизнь, они несут мощное развращающее действие. Это ведь, между прочим, с некрасовских товарищей все и началось: непонятно, кто с кем живет, кто с кем спит, кто от кого детей рожает. Это считалось знаками новой жизни, свободного мышления. Это все тогда уже началось, до самой Ольги Сократовны. Эти люди прикрыты, поддержаны своим местом в литературе. Поэты некрасовской школы, которые немного в литературе сделали, преуспели в своей жизненной практике до такой степени, что там… сплошная печаль. Эта грусть-печаль дошла, между прочим, до самого начала XX века. Если мы посмотрим все эти любовные истории Брюсова и так далее, – это все тот же страшный ветер дует. Это все новые идеи, новые люди,

[11] Н. А. Некрасов. «О погоде».

совершенно то же самое. Больше того, этим, в сущности, щеголяли. Так вот эти люди разрушили поэзию очень сильно. И мы от европейской поэзии очень сильно тогда отстали. Там уже во всю символисты и так далее, а у нас чуть ли не крестьянские поэты. Просто такая пустотка была.

Ю. К.: Там вообще вся литература плохая была?

М. Н.: Как вам сказать…Если читать очень доброжелательно и внимательно, то можно вычитать и там что-то интересное. То есть заступиться за ту литературу можно, но уже трудно. Скажем, когда вот «Подлиповцы» – одна сплошная печаль и бедность, последняя фраза, где он протянул руку к нему и умер[12]. В этой протянутой руке что-то есть, что как-то поднимает всю повесть. Скажем тот же Решетников, совершенно нищий, бедный, ребеночек-сирота, это совершенно бедное, несчастное, заныканное детство. Там у него есть такая штука: он не на орлов смотрит и не на горные вершины. Это Лермонтов писал: *«Синие горы Кавказа приветствую вас! / Вы взлелеяли детство мое…»*. А этот смотрит на то, как кони переступают, и курица выклевывает у них из-под копыт. И если за направлением этого взгляда проследить, то безумную печаль этой души понять можно и пожалеть, не то что даже пожалеть…

Ю. К.: Оправдать.

М. Н.: Да, да, можно. Но дело в том, что я вам так скажу, что для того, чтобы этим заниматься и так подавать этих писателей, уровень гуманистического сознания в человеческом обществе должен быть выше, чем в нашем. Но я сейчас работаю в школе, и тут есть такое дело, если я возьмусь и научу, то я буду вынуждена недодать того-то, того-то и того-то. Того жальче. На этом пустом месте поднимается Анненский, хорошо образованный человек, который преподает в гимназии, притом даже не литературу. И надо сказать, что нигде никогда я не поймала его на том, что он жаловался на жизнь. Если на то пошло – порода, ее можно определить как верность высоким идеалам и принципам. Притом верность такая, как отметил Толстой, с молчаливым мужеством и терпением. Он абсолютно никогда не нуждался в том, чтобы его кто-то пожалел и понял. Он писал свои стихи. Скорее всего, потому что под ним было поэтическое зияние, а наши великие вершины Пушкина и Тютчева были уже далеко. Более того, тогда ведь на них и мода прерывалась, а под Анненским стоит величие нашей прозы. Вот просто сильно. Это его внимание к детали, присутствие сюжета. На мой ум, да.

Ю. К.: В нем же есть лермонтовская предельность душевная?

---

[12] *«Сысойко смотрит на всех дико, стонет… Вот он повернулся на бок и смотрит на Пилу. Пила открыл глаза, пошевелил губами и ничего не сказал… Потом он протянул к Сысойке руку и умер…»* Ф. М. Решетников «Подлиповцы».

М. Н.: Это я считаю национальным качеством великих поэтов. Я считаю, что Анненскому Ахматова, конечно, очень обязана. Потому что у нее тоже четкость, предельное внимание к детали, присутствие ее обязательно в самом нужном месте, притом чувство меры. И ничего лишнего. Ой, и умер-то как… просто сел на лавочку. Подошли, а он уж все: сердце не бьется. И надо сказать, что потом к нему очень ревностно и нежно относился Гумилёв, он его очень любил и всегда отмечал… Когда я говорю, что о нем стали говорить, это действительно было каким-то признанием. А ведь то, что было на рубеже веков, то в какой мере любили и ценили – скажем, Брюсова, – это было совершенно удивительно. На мой ум, он действительно не соответствует нашей национальной традиции вообще. Вот абсолютно.

Ю. К.: Качеством дара и таланта.

М. Н.: Поведения.

Ю. К.: Я имею в виду поэзию. Я не понимаю, как люди могут любить Брюсова, потому что там нет таланта.

М. Н.: Никакого трепета, никакой лебедь не летит. Хотя он очень умный человек. Тут надо еще, знаете, какую вещь учесть: что такое была последняя треть XIX века – начало XX-го? Это всемерное увлечение материализмом. Мир был объявлен материальным и, стало быть, подлежащим изучению. Это все потому что приближалась революция. И раз подлежащим изучению, значит, точно также подлежащим изменению и поправке. А раз материальным, значит, выстроенным, а раз выстроенным…

Ю. К.: Значит поддающимся перестройке.

М. Н.: Понятно, почему тогда и был Брюсов. Он был весь так построен. Я для себя этим и объясняю.

Ю. К.: Слушай, а Белый?

М. Н.: Ой…

Ю. К.: Ведь его же и Мандельштам ценил и считал…

М. Н.: Как тебе сказать… Если мне дадут лист и попросят подписать, что Белый – гений, я скажу: дайте, где подписать? И подпишу немедленно. Я с этим готова согласиться.

Ю. К.: Но ведь у него плохие стихи.

М. Н.: У него есть несколько хороших…

Ю. К.: У всех есть…

М. Н.: *«…в волнисто-седом парике, / в лазурно-атласном камзоле, / с малиновой розой в руке…»*[13] Это же, в общем-то, такой детский сон. Это Сомов. Это просто картинки Сомова. Знак времени такой. За этой деко-

[13] А. Белый. «Объяснение в любви».

рацией стоит одна печаль: это идиллия, которая убита навсегда. Они все фиксировали мир, которого больше не будет. И вот это *«…с малиновой розой в руке*…»… Вы обратили внимание, оно же посвящено маме. Вот так. Это мир, которого больше не будет.

Ю. К.: Майя, а Гумилёв?

М. Н.: Ой, Гумилёв… Еще про Белого. Что касается его прозы, на мой ум, проза его даже интереснее, чем стихи, может это неправильно, нехорошее сравнение… Вы читали все Джойса? Это гениально, это потрясно, это немыслимое цветение языка и безумная щедрость его употребления. Это просто огромное количество языка. Так у Белого тоже огромное количество языка, но с некоторым перенапряжением, что ли. С некоторым избытком.

Ю. К.: Изготовленности, сделанности?

М. Н.: Я считаю, что да. Вы обратили внимание, что его сейчас не читают? Ведь никуда от этого не денешься. Допустим, можно понять, что Джойса не читают. Джойс – это другое дело. Это, знаете, где-то там, это настолько не наша жизнь, что я даже могу понять человека, который…. Но Белый-то как раз наш…

Ю. К.: Джойса я в первый раз читал по-английски и понял, что если бы Толстой прожил еще одну, новую жизнь, то это был бы Лев Толстой на английском языке.

М. Н.: Я где-то года три как отложила его и сказала, что больше я Джойса читать не буду.

Ю. К.: О Белом мы уже сказали. К XIX веку мы еще вернемся, сейчас о Серебряном веке. Вот Гумилев…

М. Н.: Гумилева я знаю, прямо сказать, давно: *«…сыплется золото с кружев, / с розоватых брабантских манжет»*[14], – это мне еще отец читал. Это красиво. От этого никуда не денешься. Притом он постоянно удерживается на такой грани, что чуть-чуть перебери – и уже будет слишком красиво. Это русские наши писатели умеют делать с блеском. Когда я читаю «Чистый понедельник» Бунина, там этой красоты столько, что, кажется, сейчас мы умрем, и я, и он. Но нет, выживаем оба. Ну, правда, правда: и все эти пуховые туфельки и все… Мне каждый раз кажется, до конца не выживу – сердце мое треснет. Но с другой стороны, раз оно не треснуло у Бунина, то читатель выдерживает тоже.

Так вот, что касается Гумилёва, у него иногда тоже. Но красота она еще вот чем удерживается: это писано бесспорно мужской рукой, притом молодой и мужской. Надо сказать, что в поэзии это не так уж и часто. Что

[14] Н. С. Гумилев. «Капитаны».

касается всех шестидесятников, ну, Роберт Рождественский, я не скажу, что он хороший поэт, но это был так сказать, мужской почерк. У Маяковского был. Более того, там, у Гумилёва, масса обаяния даже чисто неопоэтического. Все эти экзотические страны, оружие, все эти стрелы, понимаешь ли… И в плане интонационном он очень интересный. Его потом сильно пограбили.

Ю. К.: Багрицкий вырос из него, в большей степени Эдуард. Ну, кто еще? Луговской.

М. Н.: Надо сказать, они эту игровую штуку несколько даже усилили. Ну, тогда, поскольку это все не издавалось, то бери, все твое.

Е. Ш: А ведь Лермонтов тоже был молодой.

М. Н.: Лермонтова ни с кем рядом ставить нельзя. Лермонтов был личностью чрезвычайного масштаба. Бунин, между прочим, за несколько лет до смерти сказал, что мы все приучены говорить, что наш первый поэт – это Пушкин, нет, товарищи, это Лермонтов. Лермонтов ведь до сих пор вызывает высокоболезненное и пристрастное к себе отношение. Вот Набоков полагал, что он не более чем высокоодаренный юноша. На мой ум, какой это высокоодаренный юноша! Это просто титан.

Ю. К.: Нет, ну Набоков же, по крайней мере для меня, в филологическом отношении – полный ноль. Если прочитать его лекции о Гоголе и так далее – это игра, которая была полностью претворена в серьезные вещи. Это чистая литература, которая была рассчитана на аттракцию, на внимание.

М. Н.: Ну то, что он – нерусский, я согласна. Ну, Юра, сейчас все так работают.

Ю. К.: Да, но Набоков был первый писатель. И потом Бродский пошел по его стопам.

М. Н.: Чудовищный такой разрыв, сдвиг очень печальный настал только тогда, когда он начал писать на английском. Те вещи совершенно другие. Притом они настолько хуже, что никуда тут не денешься.

Ю. К.: Мне Набоков нравится, его стихи. Он когда умирал, сыну сказал, что он – поэт, и этим он раскрылся, разоблачился. Сейчас вышел полный том стихотворений Набокова, и там четверть стихов просто очень хорошие. Это удивительно, потому что Набокова все знают как прозаика, и сейчас мы говорим о нем как о прозаике, а о нем нужно говорить как о поэте. Хотя там в предисловии какая-то женщина написала, что он – второстепенный поэт.

М. Н.: Ну, у нас и о Бунине все время говорят как о второстепенном поэте.

Ю. К.: Ну, Майя, Боратынский – второстепенный поэт или поэт пушкинского круга…

М. Н.: Поэт пушкинского круга – это понятие временно́е.

Ю. К.: Мне кажется, пора поговорить об Анне Андреевне уже.

М. Н.: Про Анну Андреевну мы уже начали говорить.

Ю. К.: Начали, но не договорили.

М. Н.: А я об Анне Андреевне и не собираюсь никогда много говорить. Я не имею никакого права выяснять этот вопрос. Меня смущает то, что меня смущать не должно, ибо это не мое дело. Я ведь умом понимаю, что это не мое дело. Ее эта вот позиция царственной особы и персоны номер один в русской литературе меня смущает безумно. Безумно. Ибо я считаю, что это вообще не ее дело. Зачем думать-то об этом?

Ю. К.: Это вообще не дело поэта.

М. Н.: Она, в конце концов, просто, если посмотреть на последние годы, была просто в роли. Но это не мое дело об этом судить, она была Анна Андреевна Ахматова, ей все можно. Что касается ее стихов… Анна Андреевна сделала великое дело, что в столь страшные времена сохранила традицию. И, может быть, я даже готова принять, что эта ее поза, королевская осанка и стать способствовали тому, что это все сохранилось. Она, в сущности, находилась ведь в ситуации весьма печальной, потому что женщине в литературе всегда труднее, и даже не труднее, а всегда хуже, поскольку ей там просто делать нечего, поскольку все, что она может сказать и знать, спокойно может сказать и знать мужчина. Единственное, чего не может сделать мужчина, – это родить ребенка. Все остальное он запросто сделает. Нет, ну правда, все остальное он запросто сделает.

Ю. К.: Мужчина завидует женщине, потому что не может родить ребенка. И поэтому мужчина лидерствует в науке, в технике, в философии и в поэзии тоже. Мужчина, как и женщина, хочет быть творцом. И, я думаю, не из Адама было выломано ребро и сделана Ева, а наоборот.

М. Н.: Когда Александр Невзоров, такой супермужик, по телевизору выступал, у него спросили: «Как вы думаете, кто сильнее, мужчина или женщина?» Он сказал: «Ну, конечно, женщина».

Ю. К.: Конечно, женщина.

М. Н.: Так вот, об этом я и говорю: ей практически делать в литературе нечего. Мужчина сделает все.

Ю. К.: А вот Цветаева?

М. Н.: Ну, и Цветаева тоже женщина в литературе.

Ю. К.: Эта позиция, с одной стороны, облегчена, потому что ты – женщина. С другой стороны, она гибельна. Потому что женщине прихо-

дится эту облегченность преодолевать, доказывать, что ты не облегченная. И, в конце концов, это женщину приводит к каким-то…

М. Н.: В позиции женщины есть одна вещь – она к смерти гораздо ближе. К смерти, к природе, к началу и концу гораздо ближе. В сущности, рождение ребенка – это смерть. Если мы вернемся во всякие эти мифологические, античные, докультурные времена, когда уже осмыслили все эти глубины, в которых мы сейчас копаемся, так оно и есть. И она к этому, конечно, гораздо ближе. И вот, как тебе сказать, это жутко страшная позиция, почему? Потому что послушаешь, встанет Бальзак, умный человек, кокетствует, по-моему, как женщина.

Ю. К.: То есть глупость?

М. Н.: Нет. Он не был глуп. Он был француз. Я тебе так скажу, что очень легко отработать себя на этом уровне. Очень легко, и все получится. С одной стороны. С другой стороны, очень трудно, учитывая, что я ближе к началу и к концу, и к смерти, и ко всему.

Ю. К.: Однажды в разговоре, давно, лет 20–25 назад ты про Марину Анкудинову, помнишь, был такой поэт, сейчас есть, сказала: «Да, она поэт, но она пишет маткой». Что это значит?

М. Н.: Это тоже самое, что я тебе сказала. Вот если согласиться, что я к этому ко всему ближе, то ставить именно на этом деле и пережать именно на этом. А пережимать на этом нельзя.

Ю. К.: А Вера Павлова просто играет на этом.

М. Н.: Это какое-то чудовищное нарушение законов природы. Здесь нельзя играть, здесь нельзя кокетничать. Еще существует требование к поэзии – искренность. Что это такое?! Я говорю, да вы что, товарищи, с ума сошли? Искренней как раз быть нельзя. Есть вещи, которые нельзя показывать. И я понимаю, что она находится, может быть, на месте, где все вибрации и трепеты слышны лучше. Но работать в этом месте, находиться в нем труднее.

Теперь что сделала Анна Андреевна. Она всегда сохраняла достоинство и благородство. Находясь на этом сложном месте, сохраняла их всегда. И, в сущности, очень мало мест, где можно сказать, что она играет, ломается, кокетничает. В стихах она этого практически не делает. В сущности, то, что она сделала в стихах, – это потрясающая смелость: она свою частную жизнь сделала темой большой литературы. Больше того, она больше ни о чем и не писала. А дальше работает все то же самое, что для мужчины, что для женщины: дальше какое время прет сквозь тебя, вот если измерение времени – будуары и спальни, в чем ее обвиняют, то это плохо. Но у нее-то ведь было не так. Сквозь нее все это поперло. Еще когда началась Первая мировая война, когда поперли все эти фольклор-

ные нотки. Это вообще очень интересно, когда у русского поэта вот это фольклорное, песенное прет из него. Это у нас просто какой-то генофонд.

Ю. К.: Да, да, да, самое начало XX века… «*Горькую обновушку другу шила я…*»[15]

М. Н.: Вот, я про это и говорю. Оно начинается тогда, когда судьба человеческая – судьба народная. И я становлюсь частью этого народа, частью этой языковой прорвы, которую я собой представляю. В этом отношении это, бесспорно, персона номер один. Может быть, она действительно была права, когда так вот к себе относилась, тогда трудно было не бояться. Меня совершенно потрясает и смущает, но я по-человечески это понимаю, я по-человечески готова всех понять и простить, но как такой красавец, такой роскошный мэн, как Луговской, безумно испугался, когда началась война. Эти молоденькие мальчики, вот, Павел Коган, вот они не испугались: «*Не до ордена. / Была бы родина / с ежедневными Бородино*»[16]. Притом, что еще интересно, ты посмотри на него: это же красавец мужчина. Ну что ты, Боже мой…

Ю. К.: И обделался.

М. Н.: Так вот, ничего такого с ней не случалось. И если ей, скажем, такая поза была нужна для того, чтобы не сойти с этого места, так сказать, все замолкает. Да, если так, то я замолкаю немедленно.

Ю. К.: А Марина?

М. Н.: Ну, если говорить об Анне Андреевне, то у нее есть действительно чистое, красивое. Очень не люблю, когда женщины пишут стихи, потому что они все сводят к одному: ты меня любишь, я тебя нет, вот стою и плачу. Я на всех семинарах говорю: девочки, спрячьте, вам потом будет стыдно, страшно и так далее. Я тебе больше того скажу, что они делают. Они делают то же, что Анна Андреевна Ахматова. Они из своей частной практики…

Ю. К.: Делают событие.

М. Н.: Да. Но то, что у них за душой, художественным событием не является. Ну не является. Это вне всякого сомнения. Что касается Цветаевой, надо сказать, что она человек очень сложный и трудный. Жизненную практику Цветаевой мы не в праве обсуждать, то, что ей досталось, было невероятно, было безумно тяжело и страшно. Что тут говорить. Правда, мне тут недавно показали передачу по телевизору про то, что ее чуть ли не убили. Это вряд ли. Ни для кого она никакой опасности не представляла. Нет, нет, конечно, нет. То, что она осталась и еще эти отношения

[15] А. А. Ахматова. «Не бывать тебе в живых…».

[16] М. В. Кульчицкий. «Мечтатель, фантазер, лентяй-завистник!..»

с мальчиком, и, заметь, мальчик ведь такой взрослый, такой красивый. Если бы мальчик был другим, все сложилось бы иначе.

Ю. К.: «Один из нас будет унесен отсюда ногами вперед», – сказал он ей незадолго до…

М. Н.: Это ужасно, ужасно. Притом мальчик-то ведь совсем уже не ребенок. Это молодой, сильный, красивый…

Ю. К.: В то время мальчики уже не были в 16 лет мальчиками. Была война.

М. Н.: Ну, может, некоторые и были.

Ю. К.: Эмиграция, переезды. Это же все очень взрослит.

М. Н.: А так, что говорить. Все равно они остаются, если взять всю нашу поэзию, дамами, персонами номер один. Если говорить о женщинах, тут все равно будут они. От этого никуда не деться.

Ю. К.: А Николай Алексеевич Заболоцкий? Как ты к нему относишься?

М. Н.: Мне кажется, что я уже не доживу до времени, когда его будут читать снова.

Ю. К.: Я читаю его почти каждый день. Позднего Заболоцкого.

М. Н.: Явление жгуче интересное. Талантливый человек, умный человек и с жутким слухом человек, с сильным чутьем человек. Но полное отсутствие такой душевной лирики – невероятно. Я просто даже в русской поэзии равного явления не знаю. То, что эти все литературные игры были в те времена… Но на мой ум, он интереснее всех.

Ю. К.: Там был Введенский очень талантливый…

М. Н.: Да. Но только отдельное.

Ю. К.: Ну «Ода» у него очень хорошая. Есть и смешные стихи.

М. Н.: То, что у него жило в стихах, он видел ужасно зорким, таким оптическим аппаратом, почти хищным. И несколько недобрым, что опять же совершенно нетипично для наших… И вот если бы не получилось полной такой ямы, у меня такое впечатление, что человек достаточно воспитанный и образованный может прочитать его, потом то-то и то-то и потом снова к нему вернуться. От недостатка этой доброты. Это только наше национальное качество. Ни немцы, ни французы, ни англичане такового не требуют. Доброжелательность именно во взгляде. Каким я взглядом зацепляю объекты жизни. Это по-нашему все должно быть. Так что очень может быть, что его по-новому можно прочитать.

Ю. К.: «Иволга», «Можжевеловый куст»… Это же просто потрясающе!

Кто еще был в XX веке? Их же много было на самом деле, но их очень мало…

М. Н.: Ты знаешь, при всем при том я же очень хорошо отношусь к Северянину.

Ю. К.: Я знаю.

М. Н.: Во-первых, фонетически он ужасно интересен. Что касается всяких философских смыслов, у него их может и немного, с этим я согласна. Но у него есть стихи, где *«В парке плакала девочка: «Посмотрика ты, папочка, / У хорошенькой ласточки переломлена лапочка…»*[17]. Это даже не пародия, это черте что. И еще: *«…И мы поедем домой, в Россию… / Ты шляпу шелковую надень: / Ты в ней особенно красива»*[18]. Понимаешь… Северянин – это последние вскрики уходящего культурного века, который был веком гуманистическим. Никуда не денешься, это так. Фонетическая красота, наслаждение, ему же самому нравится. А то, что он играл, – тогда все играли. Это такое время. Я, например, не нахожу, что, как сказал Быков, *«В шумном платье муаровом…»*[19] – это пошлость. Пошлости много и у Блока: *«Так вонзай же, мой ангел вчерашний, / В сердце – острый французский каблук!»*[20] Ее много по той простой причине, что ее очень много в жизни. Эта каша, этот животворящий бульон, в котором мы все варимся, на 95 % из пошлости и состоит. У Северянина того самого, о чем начали разговор, этого возраста, уходящего в глубь, было очень мало. Что же касается фонетических открытий, их было очень много, они были хороши, в них есть такая словесная радость. Знаешь, есть телесная радость, а есть словесная, и когда читаешь *«В шумном платье муаровом…»,* пошлости вовсе не удивляешься, а только смотришь на эту радостную игру по выгибанию этого звука в этом слове.

Ю. К.: Я Северянина читаю как Моцарта.

М. Н.: Да, притом ты знаешь, у Северянина ведь еще были очень интересные открытия. Хотя уже и у Анненского было. У него было много стихов, которые построены по принципу новеллы. Этим воспользовался Андрей Вознесенский, но это было открытием Северянина. У Северянина это было очень хорошо, чисто, недлинно сделано. Последняя строчка – и все пространство начинает работать под другим градусом.

---

[17] И. Северянин. «В парке плакала девочка…».

[18] И. Северянин. «И будет вскоре весенний день…».

[19] И. Северянин. «Кензели».

[20] А. А. Блок. «Унижение».

ВЕЧЕР ВТОРОЙ

Ю. К.: Помнишь, как-то ты мне сказала, что Мандельштам до сих пор остается непрочитанным.

М. Н.: Я и до сих пор так считаю, особенно когда все начали говорить, что Бродский – лучший поэт XX века. Мне было даже очень обидно. Мандельштам настолько лучше!.. Это дежурная формулировка. Просто нельзя так говорить. Там были еще Блок, Маяковский, Есенин…

Ю. К.: Это же не костюм: лучший – не лучший.

М. Н.: Я даже костюм не сказала бы. Костюм, ведь это же смотря куда я в нем иду. На охоту или на бал. В поэзии все держится вот на чем: так говорю только один я. Да и с кем ты можешь сравниваться, если так говоришь только один ты? Ни с кем. Корректно ли сравнение Пушкина с Решетовым? Решетов не мог так, как Пушкин, но и Пушкин не мог так, как Решетов. По силе он не поднимется, но по чистоте интонации…

Ю. К.: Это главное.

М. Н.: Пожалуй, да. В поэзии главное – интонации. Это совершенно правильно. И это есть у Мандельштама. Но кто его знает? И я боюсь, что это продлится. Потому что Россия в конце века в моральном и культурном отношении просто пала. Какая-то там Донцова, Устинова. Они всем известны. Та же Донцова совершенно спокойно с экрана телевизора сказала, что писатель должен идти к читателю с философскими, нравственными откровениями, и призналась, что у нее этого нет, что она пишет то, что пишет. Но это воспринимается как литература. Таким образом, то, что мне сейчас преподносят как литературу, это совершенно другой вид жизнедеятельности, я бы даже не сказала, творчества. Это совершенно другое. Для того чтобы хорошо относиться к Мандельштаму, нужно читать поэзии очень много, чтобы смотреть из глубины.

Ю. К.: И не только русскую…Рильке, Данте, «Разговор о Данте» – это же безумно сложная вещь. Мне кажется, что он написал такую книгу о Данте, чтобы о нем кто-нибудь когда-нибудь написал такую книгу. Он дал образец. Он же писал не о Данте, когда он там родился, умер…

М. Н.: Это не самое важное.

Ю. К.: Он писал о том, как Данте делал свою «Божественную комедию», сравнил ее с тканевым производством, с тканью.

М. Н.: Там не только это. Это же сплошная кристаллография…

Ю. К.: Там и кристаллография есть. Мне кажется, что он просто показал нам, будущим филологам, своим современникам, как должны писаться и выглядеть книги о поэзии.

М. Н.: Если говорить о Мандельштаме, там вообще никаких подступов, предтеч. Ничего. Но что совершенно поразительно: семья его была почти косноязычна, никто хорошо не говорил. Это знаешь на что похоже… Когда в глубинных пластах соль задавлена мощными геологическими породами, образуется трещина и она оттуда жутким фонтаном разносит породу… Это что-то невероятное.

Ю. К.: Ну, Шура был у него, брат, образованный человек.

М. Н.: Образованный человек, это же не языковой человек.

Ю. К.: Ну, помнишь, когда уже совсем было тяжело…

М. Н.: Ему бы было жить плохо всегда. Выписывай ему государственную пенсию, давай особняк. Поэту будет плохо всегда.

Ю. К.: Майя, а где жила ваша семья? Где ты родилась?..

М. Н.: Я родилась уже здесь.

Ю. К.: А семья откуда?

М. Н.: Это очень неоднозначно. Дело в том, что мой отец, Петр Михайлович, никакой земли другой не признавал, ничего видеть не желал, кроме Урала. Он совершенно сознательно выучился в лесном институте. Он был совершенно потрясающе образованный человек, трудяга, работяга. Я поздний ребенок.

Ю. К.: Сколько ему было лет, когда ты родилась?

М. Н.: 46, наверно. Отец мой был типа Шаляпина – большой. Есть такие русские люди, как Шаляпин, академик Вавилов.

Ю. К.: Майя, а ты в кого такая субтильная?

М. Н.: А я – в войну… Мама была такая. Мама и мамина мама. Вот как.

Ю. К.: А та голова… скульптура. Твоя голова. Кто, Волович делал?

М. Н.: Да ну брось! Марк. Марк Рыжков голову делал-делал, тут пришел хозяин мастерской, говорит ему: «Ну, Марк…» И эту голову об пол – шарах – и получилась Нефертити. В Египет когда ездила, туда, где всякие Тутанхамоны и Нефертити, заходить стеснялась! Ну, ужасно похожа. А так, ни на маму и ни на папу. Но фигурой на маму.

Ю. К.: Жили вы на юге России в основном?

М. Н.: Не жили мы на юге России. Это их семья жила в Севастополе. Отец жил всегда здесь. Он вятский. Он никуда отсюда никогда не хотел, хотел здесь работать в лесу. Так все и получилось.

Ю. К.: А почему он хотел работать в лесу?

М. Н.: Это история очень интересная. Началась Первая мировая война, и у них были ускоренные курсы, и его взяли на лесохозяйственную практику при уральском заводе, и он им так понравился, что они взяли его к себе лесничим. Это потрясающе. Отсюда я делаю вывод, что если бы не социалистическая революция, отец сделал бы потрясающую карьеру, так как он был трудоголиком, он очень любил работать, притом был жутко образован. Более того, ему все это очень нравилось. Очень умный, прекрасно начитанный.

Ю. К.: Про начитанность я бы хотел закончить. К семье потом вернемся. Мы не говорили о Мандельштаме и о Блоке почему-то не говорили.

М. Н.: Что еще надо сказать, очень интересная фигура Н. Заболоцкий, которого мы несколько смяли. Эта увлеченность материалистической философией и философией вообще, которая была жутко неоднозначна, и вообще, возможность осознать все умом и интеллектом вплоть до Бога, было такой мощности, что практически все люди были в этом завязаны. И вот вернемся к Заболоцкому. Эта философия была жутко неоднозначной. Если познакомиться, системно почитать Циолоковского, Чижевского – все это их пространство, где все мы живем: люди, звери, самолеты, пароходы. Да, и Вернадский тоже… И это все необязательно гуманизм, ибо кризис гуманизма тоже был. Еще у Платонова в «Ювенильном море» все это слышно. Это как раз не преклонение перед человеком. И у Циолковского ставка на то, что выживает сильный. Это все следствие увлеченности материалистической наукой и философией: раз мир познаваем, то он и переделается. Надо сказать, что все, что касается обэриутов, – это все у них очень слышно. Поскольку, реальной жизни должно соответствовать реальное искусство. А жизнь в их понимании строилась именно по этим законам. Так и у обэриутов, потому-то публика их не особенно любила. У них была такая игра, игра в бисер. И у Заболоцкого тоже.

Ю. К.: Но он же шире этого.

М. Н.: Что ты, конечно. *«По лугу шел красавец Соколов…»*[21] – никто никогда у нас не выставлял красавца-мужика в очках и с гитарой. А перед этим, когда появляется Лодейников, и начинается шевеление жуков и трав, получается, что все эти жуки ударялись ему в грудь и падали,

[21] Н. А. Заболоцкий. «Лодейников».

и Соколов шел по падали. Если взять раннюю поэзию Заболоцкого, он уже тогда начал вписываться в мир этого безумного круговорота в природе. И по сравнению с ранней поэзией, в конце он от этого научного, от материалистического взгляда, начал отходить. Я бы так сказала, совсем отошел. И когда он говорит: *«Да простит тебя бог, можжевеловый куст!»*[22], непонятно, к какому он богу относится, обращается. И эта огромность этого бога Вернадского, Чижевского, Циолковского, единство пространства и живущих в нем сохраняется. Но заряд милосердия и великодушия гораздо больше, чем в молодом возрасте. Именно поэтому молодой Заболоцкий гораздо меньше нравится читателю.

Ю. К.: Был гуманизм Пушкина, Толстого и Достоевского. Они разные, это три разных аспекта.

М. Н.: Там всюду есть совесть и справедливость.

Ю. К.: Богоискательство в себе, снаружи. Откуда взялись эти люди, другой совершенно нравственности? Чижевский, Вернадский, Циолковский…

М. Н.: Эти люди взялись вот откуда: как только начали появляться социал-демократы, Белинский. Писарев, Чернышевский и так далее, как только они были объявлены фигурами номер один, как только на похоронах Чернышевского кричали даже: «Ты Пушкина выше», тогда это все и началось.

Ю. К.: То есть прагматика победила? Прагматика революции.

М. Н.: Там есть еще один момент, на который практически никто не обращает внимание. Если почитать П. Н. Милюкова «История русской интеллигенции», там на примере Добролюбова и Белинского становится видна умалчиваемая сторона. Нам из них сделали героев. Просто-таки люди из кованой стали. Если читать Милюкова, я не говорю, что он снимает с них героический пафос, но там есть момент, которого нельзя не заметить, это момент некоторой обиды. Момент некоторой человеческой недостаточности, которую эти люди поначалу испытывали рядом с людьми другого ранга. С такими как, скажем, Жуковский, Пушкин. Испытывали, несомненно.

Ю. К.: Некоторую второсортность? По-другому не скажешь.

М. Н.: Да, их не блистательность, их не светскость. Отсутствие в них героизма в том плане, в котором он был присущ дворянству. Там есть чудовищные эпизоды, когда молодой Белинский роняет фужер и обливает белые панталоны чуть ли не Жуковскому. И в ужасе, не зная, что делать, желает только убежать. И такое мучительство в общении с людь-

[22] Н. А. Заболоцкий. «Можжевеловый куст».

ми было очень долго. Поэтому люди, которые стали верными революционно-демократической среде, находили в этом исцеление, защиту, щит и меч. Они находили свой первый сорт. Это просто ужасно.

Ю. К.: После революции все дворяне стали вообще пятым сортом. И у Заболоцкого получается, что вот это есть результат метаморфозы, метаморфозы, видимо, антропологической. Это ведь пошло все оттуда.

М. Н.: Тут есть немыслимо интересные вещи. Скажем, вот какие. Ты посмотри, открой словарь: культура и этнография. Если мы берем крестьянский двор, те обычаи, это будет этнография. А у Пушкина никакой разницы – вот это культура. И когда я первый раз прочла сон Татьяны, стояла свечкой несколько часов, когда там медведь и мост, потому медведь… знаешь, что такое медведь? Медведь со времени древних угров, значит с доисторических времен, – это значимый сон, это секс-символ, любовный символ. Это любовная связь. Любовник-жених. Волк – враг. Когда он нам говорит «*Татьяна, русская душою, любила русскую зиму*», это мы все понимаем, это русская душа, природа. Пушкин, кроме того, что он был культурным человеком, он был еще и человеком отзывчивым: как только раскопали древние черепки, он уже отозвался. То есть на все крупные культурные события он откликался тут же, ему они были жутко интересны. А ты посмотри на «Маленькие трагедии», это же Испания. Человек, когда это читает, он же это упускает. Медведь и медведь. И пушкинская женщина во сне этот образ видит совершенно естественно. И у Пушкина вся эта народность не в том, что герой в красной рубахе по ярмарке ходит, а в том дело, что Пушкин разницы в этом не видит, сам такой.

Тут еще вот какой вопрос: как читать «Евгения Онегина»? «Евгений Онегин» – это энциклопедия русской жизни. То, что это энциклопедия русской жизни, прочитывают очень немногие. Чтобы понять, что это энциклопедия русской жизни, нужно очень много прочесть. *«Легко мазурку танцевал и кланялся»*… Мазурка – самый сложный танец светского бала. Самые сложнейшие коленца. И далеко не все могли в нем отличиться. Везут ее на ярмарку невест. Семь суток ехали они. Семь и семь. Все понятно. Но дело в том, что частные лошади на всех станциях обслуживались в последнюю очередь. И эта энциклопедичность, картина, сменяющая картину, видна, только если я действительно все это знаю.

Ю. К.: А ты откуда это знаешь? Ты знаешь, просто потому что знаешь, потому что начитана. А есть, скажем, у Лотмана огромный том комментариев, у Набокова тоже что-то.

М. Н.: Дуэли допустим… Ну, дуэлями я вообще очень давно интересуюсь, потому что дуэли – это ярчайшее проявление нашего националь-

ного характера. Мы сразу к высшему суду, к богу. Мы жуткие максималисты, безбашенные. Еще одно, чтобы понять: я имею право судить Евгения Онегина на дуэли, если знаю, что более жестокой дуэли, чем русская дуэль, нет нигде. Французская дуэль – просто детские игрушки. И то, что он на это пошел, хотя можно было разрулить ситуацию… Но он на это не пошел. А масса людей этого не знают, и даже более того, считают это неинтересным…

Я, например, все, что касается описания природы, считаю безумно важным. Чувство, которое движет текст, должно иметь объем. И, скажем, когда после этого я читаю телеграфную прозу, кажется, что там никаких чувств нет. Там что-то иное. И когда увозят Хемингуэя из Парижа (женщина более богатая отняла его у менее богатой), мне ужасно трудно собрать себя в кулак и сочувствовать этому человеку. Но когда Бунин целыми кусками дает описания не важно, чего, накал этого описания соответствует накалу этого чувства.

После всего этого очень интересно, скажем, вот что: большинство людей, когда читают «Евгения Онегина», читают его как роман о любви. И имеют на это полное право. Самое интересное – читать «Евгения Онегина» как вещь про Пушкина. Про Пушкина там очень много.

Ю. К.: Давай отвлечемся от Пушкина на минуту, вернемся к Заболоцкому. Есть такой Михаил Ардов – сын Виктора Ардова и Ирины Ольшевской. У него есть книга о Булгакове. О «Мастере и Маргарите», который мы с тобой не любим. Я не люблю его благодаря тебе. Ты научила меня любить и не любить какие-то вещи. Он пишет такую вещь: булгаковские романы [особенно «Белая гвардия», очень хороший роман] относятся к числу последних романов, написанных теми, кто был дворянами. Там есть та самая вибрация, дрожь и сила поколений. В XX веке русский роман умер. Сейчас перенесем все это на Заболоцкого. Ведь это же совсем другое поколение, другая антропология. Но тем не менее Заболоцкий – поэт.

М. Н.: Ой, да что ты, конечно. Я, скажем, не люблю про некрасивую девочку[23].

Ю. К.: Я тоже не люблю. Про девочку, про актрису.

М. Н.: Но где красавец Соколов – это жутко интересно. Монголия, где они идут, где степная сила, и странно, что они не такие, и тем не менее… Монгольские стихи мне очень понравились.

Ю. К.: Да, монгольские стихи хорошие. Это, наверно, потому что он писал про культуру, которую не знал. Всегда легко работать на пу-

[23] Н. А. Заболоцкий. «Некрасивая девочка».

стом материале. Такой вопрос: как ты справедливо сказала, справедливо и точно, Ахматова своей такой позой охраняла дворянскую традицию, а она вообще существует, эта традиция? Я имею в виду не в чистом виде дворянскую культуру, а ту культура словесности, которая была в XVIII, XIX, XX веках.

М. Н.: Я уже неоднократно об этом говорила. Последняя золотая проза – это Ким. Еще Казаков. Вот хорошая проза. Что касается Анатолия Андреевича Кима, я с ним знакома и лично общалась. Но мне не нравится его «Белка»… Он тогда приехал в Москву, ему было безумно сложно, бедный корейский мальчик.

Ю. К.: Очень доверчивый.

М. Н.: Ему нужно было доказать, что он умеет так же, как они. Как Набоков.

Ю. К.: Ким уехал в Казахстан…

М. Н.: Да, Ким Москву не любит и не уживается там. В Киме потрясает вот что: уважение к дистанции. Сейчас у нас этика такова: сразу на ты, сразу – свои в доску, даже не панибратство, что-то хуже. Он же дистанцию уважает и не переступает. В конце концов, я не помню, как я сформулировала этот вопрос, но там что-то такое было… И в этом слышна древняя кровь и высокая порода.

Мы тут с ним ходили по городу, я ему рассказывала про всякие камни, и он уже потом сказал: «Как это я ничего этого раньше не слышал?!» Я ему: «А где Вы могли это слышать? В Москве этого не слышно. То, что Вы слышали, было слышно там, на Сахалине, но этого уже не слышно в Москве». И я не такой ему близкий приятель, чтобы сказать, что я бы на его месте вернулась. На мой ум, то, что сделало его классным прозаиком, – кровь и Сахалин, полная неподвластность штампам, которые существуют.

Человек приезжает в Москву начинает доказывать, что он так тоже может. Не надо даже брать весь этот бизнес от литературы. Тот же товарищ Акунин, который сейчас считается большим писателем, там сразу все понятно – сколько будет трупов, сколько чего. Все дозировано. Тот же Мураками. Их отличает только то, что они культурные люди, особо не наглеют. Кима это просто не может коснуться, это о него, как о камень, разобьется. Его рассказы «Луковое поле», «Шиповник и роза» – это последняя золотая проза. После этого великой русской прозы я не читала.

Ю. К.: Что это? Натура или свойство таланта?

М. Н.: Если говорить про Кима, я сказала, что это – его Сахалин, это его кровь.

Ю. К.: Его натура… К Заболоцкому.

М. Н.: К Заболоцкому. Вот, например об иволге: «*И тогда в моем сердце разорванном / голос твой запоет*»[24]. Эта его вписанность в круговорот природы совершенно та же, но масштаб ее уже иной. То же в «Можжевеловом кусте» – *«Да простит тебя бог, можжевеловый куст!»* Я уже не знаю, какой масштаб у этого бога.

Ю. К.: Ты посмотри, он ведь отступился от концепции «природа – лаборатория». После тюрьмы и ссылки он ведь стал более человеком. Раньше бог был просто ходячим концептом. Что такое обэриуты? Это концепция ломать язык по таким и таким правилам. Это не великий Хлебников, который просто писал, говорил так, потому что по-другому не мог говорить. Потом тюрьма, тюрьма жестокая, его избивали, мучили, довели до психиатрической лечебницы. Потом он ссылку прошел, получил сто километров от Москвы и минус восемьдесят городов. Просто стал человеком. Потому что на волне того техницизма…

М. Н.: Да, увлеченность была совершенно искренняя.

Ю. К.: Он стал человеком. И стал русским.

М. Н.: Насчет тюрьмы не знаю. Я об этом знаю немного. Самый близкий мне человек с таким страшным опытом – Костя Белокуров. Все, что с ним произошло, произошло не в результате тюрьмы. Он такой есть, у меня было ощущение, что тюрьма лишь немного что-то в нем поправила. Еще одно: человек молодой, который верит искренне, что люди вокруг живут так же и тоже верят искренне… Ну, ты посмотри, что вообще делается с глобальными увлеченностями. Всякие хиппи, сексуальные революции. Он был такой. Увлеченность была абсолютно искренней, и я охотно верю, что ему даже нравилось. Мне же нравится, когда Соколов шагал по падали, это же красиво, это такая страшная поступь. С другой стороны, это привело к тому, что появилась некрасивая девочка – а это чистое назидание. Об этом не нужно и говорить.

Ю. К.: А вот об Осипе Мандельштаме. Ты как-то сказала, что он неоцененный поэт.

М. Н.: Я и сейчас так считаю. Уровень нашей культуры падает настолько стремительно…

Ю. К.: Что так и останется…

М. Н.: Ну, может, останутся какие-нибудь узкие круги. Я вам уже рассказывала, что когда я его собирала, находилось много людей, которые его ценили, хоть и посадить запросто могли за это. Две мои товарки три года сидели без работы только за то, что хотели почитать воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам. Я же говорила, что когда чело-

[24] Н. А. Заболоцкий. «В этой роще березовой…».

век пишет, он пишет огромным объемом, но он ведь и читает всем этим объемом. Когда читали Коптяеву «Товарищ Анна», всем это казалось и интересно, и смело: она живет с мужем и любит другого. Тогда написать об этом, казалось, было невероятно смело. Но как тебе сказать, это нравилось многим людям, совершенно не отдающим себе отчет в том, что это не великая литература. Но, с другой стороны, лучше читать это, чем нынешние дамские бизнес-литературы.

Ю. К.: Что есть такого невероятного, дорогого в Мандельштаме?.. Например, Мандельштам сказал о Лермонтове «мучитель наш». Сначала он написал «и Лермонтов, учитель наш», а потом исправил на «мучитель». Для меня Мандельштам – мучитель мой, это феномен, я просто седею, умираю от счастья по имени «Мандельштам».

М. Н.: Ну если говорить об этом человеке, то в данном случае нужно к Лермонтову и вернуться. Несправедлива русская философия, русская литературная критика, особенно обвинения в безнравственности…

Ю. К.: Это история с письмами?

М. Н.: Да. Дело в том, что никто не знает, была ли эта история с письмами. Почему мы не поражаемся тому, что Мартынов встал и убил Лермонтова, хотя никакого оскорбления там не было, а с этими письмами все носимся. На мой ум, этим можно было бравировать, так было принято, гламурное хулиганство. И никто ничего страшного в этом не видел. Это мы всем легко прощаем. Лермонтов первый встал и вслух обвинил нас в полном нежелании собрать свою волю в кулак, что-то делать. Хотя, что очень интересно, это сделано сразу после Пушкина. А Пушкина мы очень любим, и совершенно справедливо. У меня даже была сделана выборка на несколько листов: Пушкин, где бы мы ни упали, всюду уже подстелил соломки. Правда-правда! На все случаи жизни, преуспел ты или не преуспел. И еще одно. Пушкин так и не думал. Пушкин полагал, что разумному человеку выгоднее сотрудничать с властью, и сотрудничал.

Ю. К.: Стипендии, долги, дружба с Бенкендорфом…

М. Н.: Пушкин все-таки не дописал историю Петра I. Николай полагал, что он это сделает. Но это не важно. Притом еще одно: Пушкин в нас никогда особо не нуждался.

Ю. К.: Что значит «в нас»?

М. Н.: В нас как в читателях. Но, с другой стороны, Пушкин никогда не был демократичным человеком в нынешнем понимании этого слова, никогда не был легко доступным. И всегда уважал в себе это. Так вот после такого Пушкина немедленно встает Лермонтов, притом, заметьте, в чудовищно молодые годы. И еще, заметьте, существует понятие «посвященный». Это человек, которого посылают на землю, чтобы он сказал

то, что никто другой сказать нам не сможет. И он нас обвиняет в полном отсутствии воли, в полном нежелании переменить то, что еще можно переменить, в нежелании жить сообразно человеческому достоинству, обвиняет громко и вслух.

Ю. К.: Он видел эту катастрофу, которая потом грянет.

М. Н.: Ну как же он не видел? *«Настанет год, России черный год, / Когда царей корона упадет…»*[25] Прежде чем он увидел этот год, он увидел еще другое: *«Любить… но кого же?.. на время – не стоит труда, / А вечно любить невозможно»*[26]. Иначе уже никто не умеет. Все эти потери чудовищного масштаба: вот они еще недавно были, «богатыри, не мы». И мы на это соглашаемся. Вот! Мы соглашаемся!

Ю. К.: И мы все спокойно относимся к тому, что мы не богатыри. А Мандельштам?

М. Н.: Мандельштам пожил несколько больше Лермонтова. Набоков говорил, что Лермонтов всего лишь обладал задатками, но я считаю, что Лермонтов абсолютно сбывшееся явление.

Ю. К.: Набоков нахал. Европейский нахал. Ко всему, что не приносит денег, они относятся так.

М. Н.: Что касается Мандельштама… Лермонтов видел это крушение эры гуманизма в начальном его состоянии: только что был Пушкин, богатыри, двенадцатый год… А Мандельштам видел, как распалась связь времен. И он видел, что связать это может только культура, только язык, только слово, только искусство. Только эта сфера человеческой деятельности. Я Мандельштама ставлю в ту когорту людей, которые слышали приближение этой катастрофы: Лермонтов, Мандельштам, Гоголь. Лесков еще слышал невероятно. Достоевский расписал по ролям. Слышал Блок. Мандельштам не был символистом: такая степень приближения к предмету ему не нужна. Он был со временем в каких-то странных, необыкновенных отношениях. Он был сам им напитан. Так вот, на мой ум, что касается его стихов Сталину, я не сомневаюсь, что это было искреннее увлечение. Его персоной увлекались многие, даже за рубежом. Вся интеллигенция фонарела от этой персоны. Это можно понять: человека умного, человека, живущего в искусстве, титаническая фигура привлекает всегда. И Александр Македонский привлекает, и Наполеон привлекает. И Петр I, хотя все жутко противоречивые.

То, что Мандельштам любил Лермонтова… Ну, человек такого уровня не мог не любить Лермонтова. И на мой ум, он его любил больше, чем

---

[25] М. Ю. Лермонтов. «Предсказание».

[26] М. Ю. Лермонтов. «И скучно, и грустно…».

Пушкина. Хотя в Мандельштаме, я тебе скажу, близости с кем-либо вычислить нельзя. Притом с первых стихов – что-то туманно-жемчужное, какой-то такой срез, который он первым услышал. В русском языке есть ведь и металл, и грохот, но Мандельштама, видимо, сильно пленило это жемчужное. Что поразительно в Мандельштаме: человек, в силу характера несильный, непрактичный, не умеющий жить, даже вызывающий странное постоянное негативное удивление людей, которые были готовы ему помочь, деньги, которые он немедленно проедал… Я говорила, както ко мне пришел товарищ, поднявший архивы, и рассказал, что в Воронеже Мандельштаму многие помогали, но он тут же все растратил, что выглядело как высокомерная неблагодарность. Чего, может быть, в нем и не было. Но не могу сказать, что он по-человечески был обаятельный человек. Вся его сила, вся его безумная доблесть – исключительно проявление художника. Это невероятно. Я равного явления просто не знаю. Абсолютная смелость.

Ю. К.: Вырвать у Блюмкина списки расстрельные, разорвать…

М. Н.: Блюмкин – человек, кстати, очень страшный, садюга, убийца.

Ю. К.: Или занять золотую десятку на хлеб и уехать на извозчике. Вот о Блоке мы еще не очень. Это, по-моему очень важная фигура.

М. Н.: Фигура важная. Очень красивая.

Ю. К.: У него есть и такие прекрасные стихи, и такие плохие.

М. Н.: Это очень интересно.

Ю. К.: Кстати, и вчера, и позавчера я читал, перечитывал Лермонтова. Стихи я читаю по-новому. Поэму «Демон» я воспринимаю точно также. Мне было 8 лет, когда я прочитал впервые. Восприятие точно такое же.

М. Н.: Я в 4 года прочла, оно меня поражает и теперь. С фонетической точки зрения «Демон» – божественная вещь. Вот, как оно начинается: *«Высокий дом, широкий двор…»*, вы чувствуете, что это строительство.

Ю. К.: У меня отношение к Блоку очень сложное. Там есть безвкусные, ужасные вещи.

М. Н.: Есть даже и невнятные. Во всем том, чем он прославился, когда находился под влиянием философии Соловьёва, который сам хороших стихов не писал, никакого трепета и никакой тяги нет. Но в то, что можно находиться под влиянием таких стихов, я верю. Я уже говорила, учитывая то, какого развала достигла поэзия после Некрасова, стихи ведь были очень плохие. А мы это держим за поэзию… А там какая-то музыкальность. Стихи молодого Блока мне не нравятся. Я люблю молодого Блока, как русские бабы: люблю, значит, жалею. Ну, царевич из сказки, рубашка

лебедями вышита. И эта запутанность философии, в которую погружен красивый, молодой, двадцатипятилетний мальчик… Понятно, что это начинался революционный дурман. Он – звезда, равных нет в России. Ну, очень красивый. Всю свою жизнь он был способен на красивые поступки. В плане поведения, уважения к другим он – бесподобный человек. Сейчас вспоминаю, как он читал лекции, и там три пьяных матроса заходили погреться в нетопленный зал, а он снимал пальто и в сюртуке читал, потому что по-другому он не мог. Тема, о которой он говорит, и человек, который его слушает, другого отношения не заслуживают. А эти его безумные отношения с матушкой!.. Вот что меня потрясает всегда: когда ему стали доставать путевку, когда он от голода отекал, умирал, не то что лечиться не было возможности, а просто поесть нельзя было, он и тогда сказал, что оставить Россию в такие времена – это просто предательство. И в этом весь Блок.

Ю. К.: И притом он замечательный филолог. Он вернул из XIX века Аполлона Григорьева. Я тут недавно его перечитывал. Был потрясен. Зачем он это делал?

М. Н.: Как зачем? Это был его карманный запас. Потому что он в этом находился и забыть он этого не мог. Со всем этим запасом Блок оказывается в страшных временах начала века: богоискательство, упование на то, что придет новый мир, жажда разрухи… Жизнь, которая тогда была, стремительно демократизировалась, во всех учебных заведениях и евреи, и крестьяне, и татары. Но пошлости и низости была просто прорва.

Ю. К.: Почему Блок умер?

М. Н.: Он же умер в шестнадцатом году, он сам об этом сказал. Написание поэмы «Двенадцать» шло уже другими силами. На немыслимых геологических глубинах происходит шевеление, сталкиваются геологические пласты, и он ужасно рано услышал это шевеление, отсюда вся его эта Русь татарская и все прочее. И притом этот век: погромы, террористы, провокаторы, мошенники – это началось сразу, взметнулось, как атомный взрыв.

М. Н.: Однажды Есенин сказал, кто действительно чист и прекрасен, так это Мандельштам.

Ю. К.: Есенин?

М. Н.: Да, да. Мне это жутко нравится, Есенин – очень тонкий человек. И я со временем все больше и больше убеждаюсь в том, что, на мой ум, «Анна Снегина» – лучшая поэма XX века.

Ю. К.: Да, очень хорошая поэма. Я отрывки из нее знал наизусть, поэтому в голове крутилась постоянно. Майя Петровна, а кто еще из это-

го времени, я имею в виду Серебряный век, дорог? Помнишь, там был Михаил Кузмин…

М. Н.: Как сказать, вот, скажем, Ходасевич – прекрасный поэт, всем хорош, но понимаешь, вот злость, обида не должны человеку голос переедать. Обида любой талант гложет, просто любой.

Ю. К.: Как в «Мастере и Маргарите».

М. Н.: Она мне просто слышится. Во всяком случае, многим именно это и нравится. Никакой обиды у Мандельштама я не вижу. Ну, взять хотя бы «*Твой брат, Петрополь умирает*»[27] и вообще все стихи о Петербурге – ни у одного поэта тех времен я не слышала такой безумной печали и ощущения беды от того, что происходит с этим городом. Гибнущая культура, поступь катастрофы, в которой все это тонет и тонет – ни у кого этого нет.

Ю. К.: А вот интересно, у Блока примерно в то же время, но чуть раньше – восемнадцатый год – у него «Скифы», там пафос совсем другой.

М. Н.: Это написано после «Двенадцати», это совсем другое дело. Что касается Блока, кто-то сказал, чуть ли не Шелли, что уж если есть что-то действительно божественно, то это поэзия. Во-первых, у Блока есть стихи, красота которых просто несудима. Что касается слуха Блока – это редчайший слух. Если взять «*Ты помнишь? В нашей бухте сонной / Спала зеленая вода, / Когда кильватерной колонной / Вошли военные суда*»[28], и уже в самом конце: «*Как мало в этой жизни надо / Нам, детям – и тебе, и мне, / Ведь сердце радоваться радо / И самой малой новизне. / Случайно на ноже карманном / Найди пылинку дальних стран – / И мир опять предстанет странным, / Закутанным в цветной туман*», – *-онный* переходит в *-анный*. Это стихотворение можно читать человеку, который абсолютно не знает русского языка. Безупречно. Еще: «*Свирель на мосту, / И яблони в цвету. / И ангел поднял в высоту / Звезду зеленую одну*, / *И стало дивно на мосту / Смотреть в такую глубину / В такую высоту*»[29] – абсолютно ангельское звучание. Пошлости у Блока много, но ничуть не меньше, чем в его жизни. Более того, если так говорить, я не знаю никого, кто бы более блистательно работал с пошлостью жизни, чем Блок. Она у него получалась. Что мне в Блоке очень нравится – «Двенадцать» выпадает, но если мы прочтем всего Блока («*В соседнем доме окна жолты…*» – «Фабрика»), то интонационно «Двенадцать» совершенно

[27] О. Э. Мандельштам. «На страшной высоте блуждающий огонь…».

[28] А. А. Блок. «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…».

[29] А. А. Блок. «Свирель запела на мосту…».

спокойно вычленяется, видно, откуда она идет, видна ее полная неслучайность. Это просто по строчкам выстраивается.

Ю. К.: Ты имеешь в виду слог времени.

М. Н.: Да. Мандельштам слышал где-то с античных времен. Блок слышал свое время. Мы уже однажды говорили о том, что он совершенно сознательно перестал писать «Возмездие», потому что время возмездия кончилось. Это абсолютно личная тема, она не нужна, более того, это вообще прощание с героями XIX века – там все эти демоны появляются и так далее… Что осталось от «Возмездия»? Что осталось? Зверское чутье, совершенно понятно. Притом он и ритмически чудовищно изменился. В каком ритме сделана эта вся его Россия, которую он безумно любил?.. И потом эта высокопробная, чистая печаль, которая так из XIX века и прет: «*Девушка пела в церковном хоре…*». Из Блока нужно сделать маленький сборник, и это будут просто все шедевры. Стихи совершенно потрясающие. Нам представлена, продемонстрирована жизнь поэта, не художника, не обобщенного художника, а поэта в то время, когда катастрофа уже сбылась, сбывается. Конечно, это невероятная вещь, когда «*В белом венчике из роз – Впереди – Исус Христос*»[30]… Он потом, говорят, очень расстраивался, кричал и плакал, но это показательно, если взять все эти богоискательские вещи и все их приветствия на любом уровне, то это абсолютно неслучайное решение.

Ю. К.: Венчик это вообще на покойника. Это не венец.

М. Н.: Конечно. Санкт-Петербург, кстати, был отдан на разграбление кронштадтским матросам, которые все были перекурены, все обвешаны этим краденым добром – жуткое дело, и, в общем-то, интонация, поступь этого безобразия в «Двенадцати» очень хорошо показана. Петербург – это город Блока, это не город Лермонтова. Город Пушкина – да, город Достоевского – да, но не город Гоголя, он его пугал. Блок, если прочитать у него все от и до, представится человеком прекрасным, великим поэтом, добрым, чистым, пережившим на себе все идеологические ужасы этого предкатастрофного времени. Досталось, конечно, ужасно. Есть у него отдельные стихи, которые просто прекрасны, великий поэт – он и есть великий поэт. И меня просто пугает эта наглость, с которой Дуня Смирнова с Татьяной Толстой говорят, что у него нет ни одного хорошего стихотворения и ему не хватает мастерства.

Ю. К.: Телевизионный экстремальный идиотизм. Аттракция, переходящая в аттракцион.

---

[30] А. А. Блок. «Двенадцать».

М. Н.: Товарищи! Вот как раз надо сказать, что в этом плане Блок – это изумительно прекрасная фигура. Что уж тут говорить-то. Они просто безнравственны.

Ю. К.: Потому что эстетика – это нравственность.

М. Н.: Притом совершенно понятно, когда Есенин лезет в формальные штуки, ему это совершенно не шло – ну вот тебе дудка полевая. И начинает переть мастерство, и начинается полная разруха.

Ю. К.: Приходится кричать, как Маяковскому…

М. Н.: Потому что это плохо. Точно то же самое произошло и с Маяковским.

Ю. К.: С Маяковским это была тотальная катастрофа.

М. Н.: Ужасно, ужасно. Ничего подобного с Блоком не произошло. И все его личные и даже интимные переживания, что мне нравится, сделаны в высшей степени благородно. Вообще, у русской литературы есть очень хорошая традиция, у нее есть своя совесть, и целомудрие в ней всегда присутствует. Против законов великой поэзии Блок не пошел бы никогда, более того, он никогда и не пробовал.

Ю. К.: Не великой, а подлинной, наверно.

М. Н.: От чего он умер?.. По-моему, от ужаса. То того, что он видел, что описано в «Двенадцати». Потому что сорокалетнего человека, который, в общем-то, не был болен, и вообще был всегда в прекрасной физической форме, и, более того, несколько лет назад был просто красавец мужчина…

Ю. К.: Притом он умер буквально за полтора года.

М. Н.: Притом кричал…

Ю. К.: Когда я в первый раз увидел рисунок Юрия Анненкова «Блок в гробу», я понял, что произошло просто нечто невероятное.

М. Н.: Приходим мы в музей Блока, он закрыт на ремонт. Нас не пускают. Мы говорим: «Да вы что, мы же можно сказать ваша парная столица, как вы можете нас не пустить?!» Они: «Какая парная столица?» Мы: «Как какая?! Екатеринбург». Они сказали: «Екатеринбург… Ну, тогда проходите». Петр знал, что делал, и говорил о том, что какого бы рожна устоял Петербург без Урала. Вспомнить, Полтавскую победу – первые пушки отлиты именно в Каменске-Уральском, на заводе. Так вот, мы туда приходим. Они все показали, рассказали, говорят: «А вот эта комната у нас еще не готова». Мы попросили показать: вся она просто побелена, голые стены, еще ничем не оформлена. Стоит просто стеклянный пенал, и на черной бархатной подставке стоит посмертная маска Блока. Ой! Эти слипшиеся от слез ресницы!.. Я им говорю: «Девочки! Оставьте комнату так!» Эта пустая комната, белые стены и на черном бархате – посмертная

маска Блока. Красота при нем осталась, он всегда был очень красивым человеком. Эта безумная худоба. Допустим, посмертная маска Марии Стюарт, которой отрубили голову: ну, прелестная девушка, нежное спокойствие. А тут одно только страдание. И вот эти слипшиеся ресницы – невозможно… Пережить такое очень трудно. «*Имя Пушкинского Дома / В Академии наук!*»[31] – это не лучшее его стихотворение, но оно последнее. Есть у него просто потрясающие стихи… Если взять даже самые популярные, все, что о России, очень хорошо.

Ю. К.: Блок умирает, Гумилёва расстреливают. Кто-то решает уехать, кто-то перестает писать и печататься. В 1922 году огромное количество поэтов уезжает за границу, в Берлин, в Прагу, в Париж. А здесь в 20-х годах появляется Багрицкий, в 30-х – Луговской. Вот ты как к этим товарищам относишься?

М. Н.: Это были советские поэты, а я вообще к советской литературе плохо не отношусь. Вот не отношусь. Я считаю, что к советской литературе точно также относятся и Ахматова, и Мандельштам, и Цветаева. Великой Октябрьской социалистической революцией весь их быт, весь их уклад жизни одним махом был сломан, выбит, как табуретка из-под висельника. И они вцепились в единственное, что у них осталось, – в язык. В культуру, в память. Их роль в том, что все это устояло, очень велика. Те, кого перечислил ты, очень квалифицированны и грамотны, еще добавь Мартынова, еще добавь Кирсанова. Очень ритмичные. Тем не менее удержали высоты именно те персоны. Но не могу сказать, что Луговской и прочие уронили честь литературы.

Ю. К.: А Пастернак?

М. Н.: Пастернак – очень сложная фигура, если учесть, что роман «Доктор Живаго» мне просто не нравится. Что касается стихов… Ну, поскольку наша литература просто потрясающа и, сам знаешь, насколько велика… Пушкин и Лермонтов писали одинаково, и Бунин, и Мандельштам. Понимаешь, что касается советских поэтов, Мандельштам сказал совершенно правильно (если бы это не сказал он, то сказал бы кто-нибудь другой, кто бы задумался над этим): после, скажем, теории Дарвина проза не может быть такой, как до нее. Сам мотор писания, само отношение не может быть таким же после того, что произошло только что, я имею в виду не только Гражданскую войну, эту бездну пролитой крови, я имею в виду как раз увлечение материалистической наукой, уверенность в том, что все можно познать, что все можно переделать после богоискательства, отказа от религии и чудовищных теоретических поисков.

[31] А. А. Блок. «Пушкинскому дому».

Я знаю и по отцу своему, что люди увлекались этим совершенно серьезно, точно так же, как серьезно увлекались всем этим парижские студенты в шестидесятых. Искренность увлечения тех людей, которые появились после того, как это все произошло, и у которых не было мощного личного контакта с прежней культурой, как, скажем, у Блока и Ахматовой, была просто огромна. Когда я была в архиве и смотрела документы о том, как строили Магнитку, как строили Уралмаш, я поняла, что это делалось на сплошном энтузиазме: люди действительно ехали строить. И когда говорят, что это все создано на костях… Нет, не только. Приведу один пример: Борис Ручьёв. Не врал человек, и в лагере сидел, и на войне ногу потерял, и всему этому остался верен. В тех людей я верю. Как сказал Маяковский: моя революция, пошел в Смольный, дайте работу. Пришел в Смольный, стал работать.

(Зашел В. Дулепов[32]*.)*

М. Н.: Ты что, плохо про Мартынова думаешь? Кто был ничтожный человек?

Ю. К.: Ничтожных людей нет.

В. Д: Мартынов был ничтожный человек, у него, кроме всех его шменей, ничего не было.

Ю. К.: Ну так нельзя.

М. Н.: Вот возьмем Печорина и Грушницкого. Это невероятно. Вы обратили внимание, что они говорят почти одно и то же, почти в одной и той же интонации, только один – человек крупномасштабный, а этот, как говорится, из чужого стакана пьет.

(В. Дулепов ушел.)

М. Н.: Я верю в их увлеченность великим новостроем. Почему? У них есть ритмические рисунки. Ты же знаешь, что ритмический рисунок не придумаешь. А ты обратил внимание, сколько у них новых ритмических рисунков? Притом в этих ритмических рисунках сплошная бодрость. Что касается Сельвинского… Сельвинский, как было принято в те времена, был несколько рационален и умен… Он строитель, делатель стиха. Между прочим, вот В. Хлебников не конструктор. Есть вещи, которые всем нравятся, которые мы все понимаем. Например, вот это: «*Русь, ты вся – поцелуй на морозе*»[33]. А есть вещи абсолютно непонятные и гениальные. Я уже не говорю про эти его предвидения, расчет катастрофических дат в истории России. Все: 17-й, 29-й, 41-й, все до 92-го – все расписано. И когда читаешь это, понимаешь, что этот непонятный кусок ему

[32] Вадим Юрьевич Дулепов – поэт, член Союза писателей России.

[33] В. Хлебников. «Русь, ты вся – поцелуй на морозе!..».

нужен, чтобы я потом на понятном, вышла как из чащи на поляну, и когда читаешь, это точно срабатывает. Это сконструировать невозможно. А те, да, конструировали. Ну, опять же, говорю, это было хорошо разнообразием ритмических рисунков – это значит, они видят жизнь по-разному. И все они все равно интереснее, чем комсомольцы-добровольцы. Про Демьяна Бедного я вообще не говорю: человек просто служил, художник на службе.

Ю. К.: Раз уж мы о поэтах заговорили, у меня такой вопрос: о живых. Кто сейчас из живых поэтов?.. Ну, вот Кушнер Александр живой.

М. Н.: Между прочим, Кушнер – поэт очень неплохой.

Ю. К.: Ты даже любила его раньше.

М. Н.: А я и сейчас к нему отношусь очень хорошо. Он, без всякого сомнения, культурный поэт, в нем есть деликатность, идеальное чувство меры. В нем есть очень много хорошего, работа никогда не прет наружу, стихи его никогда не заработаны, и вообще я в нем вижу прорву достоинств. Если кто-нибудь в университете будет писать диссертацию по поэзии 50-х, 60-х годов, это потрясающе интересно. И я отношусь к нему хорошо, я считаю его очень хорошим поэтом. Вот только чего в нем не достает: то пространство, которое он сам себе намечает как свое художественное пространство, мне его несколько мало. Вот когда он пишет: «*…увидит мельницу в окне прилежный пассажир…*», это, по сравнению, скажем, с горизонтом Пушкина или Мандельштама, или Блока, гораздо меньше. И он все время работает, не совершая никаких ошибок, в этих самых пределах. Существует такое понятие как профессиональная честность. Наверно, это правильно. Ну, раз ему дано это, он делает это.

Ю. К.: А энергия?

М. Н.: Вот! Что касается энергии. За счет этого идет не то, чтобы уменьшение энергии, но работа идет в какой-то малой амплитуде. Он никогда не совершает ошибок, он работает точно.

Ю. К.: А вот эти ребята, их уже нет: Давид Самойлов, Борис Слуцкий?

М. Н.: Борис Слуцкий – очень интересный поэт. Он сознательно совершенно не лезет в такую лирику, которая всем жутко нравится, льстит, которая российскому человеку жутко в жилу. Буквально на себе рубаху рвать, мы такие люди. Слуцкий так не работает. Что он делает? Он специально подсушивает интонацию, он специально работает в прозаическом словаре, он совершенно специально гонит прозаический синтаксис, но у него всегда сюжет драматический или на грани трагедии. Он работает так, по-моему, один. Я считаю, что Слуцкий у нас такой один.

Ю. К.: Как он такой появился, откуда-то же должен был вырасти?

М. Н.: Слуцкий дружил со всеми этими державными мальчиками: Кульчицким…

Ю. К.: Я имею в виду еще раньше, от кого взялся такой стих? От Маяковского?

М. Н.: Нет, от Маяковского, нет. Что-то подобное есть у Сельвинского.

Ю. К.: А Давид Самойлов?

М. Н.: Ну! Он намного лиричнее. Самойлов – значительное явление. Когда читаешь поэта средней руки, его кровь слышна. Вот Есенин, он не средний поэт, но по его стихам совершенно отчетливо видно, что он – русский поэт. Это просто всегда в нем и орет. Кровь как место, как память, как культура. Когда я читаю Кушнера, а это человек, живущий в Ленинграде, человек ленинградской школы, я по его стихам могу сказать, что он не татарин, не грузин. А у Самойлова такая лирика, которая очень нам подходит, очень с нами совпадает. Такие явления есть.

У меня на войне есть несколько любимых героев. Маршал Рокоссовский – красавец, щадил людей, старался избежать больших потерь. Цезарь Куников – совершенно замечательный человек, абсолютно гуманитарной профессии – редактор газеты, командир малоземельческого десанта, который так их натаскивал и так готовил, что малоземельческий десант стал… Знаете, что такое отвлекающий десант? А там получилось, что главный десант вырубили, и отвлекающий стал главным. Дали Героя Советского Союза посмертно. Нам больше нравится героизм былинного типа.

Иосиф Абрамович Рапопорт. Товарищи, это что-то невероятное. Трижды выдвигали на Героя Советского Союза, три раза не дали. Дерзость и смелость совершенно немыслимые. Просто легендарный герой. Был приказ форсировать Днепр. Раз приказ подписан, значит надо делать. Один раз попробовали – 27 тысяч потерь. Он войска отвел, несколько дней наблюдал и решил, что форсировать нужно именно в этом месте. Ему говорят: категорически нет, бросайте следующие 100 тысяч. Он ослушивается приказа, форсирует Днепр здесь, закрепляется на берегу. Героя Советского Союза не дали, почему? Когда они теснили немцев, один командир батальона бросил своих и убежал на другой берег. Он его вывел, не потеряв ни одного человека. И когда пришел, то командир стал его ругать, а он дал ему в морду. Другой случай: он должен был соединиться с американцами, один фронт на Эльбе, другой – на Дунае. У него было 75 тысяч народу. Стоит на дороге корпус немцев в 300 тысяч, с тяжелыми танками. Он делает следующее: приказывает всем надеть ордена и медали, звездочки на фуражке, подходит к немецкому танку, стучит по броне

«Пантеры» и говорит немцам: «Я – командир Сталинградской отдельной бригады тяжелых танков, сейчас придут тяжелые танки и артиллерия. Освободить дорогу». И немцы отводят свою технику. И он со своими прется. Он еще выдающийся генетик, ему чуть не дали Нобелевскую премию. Не дали, потому что выгнали из партии, а потом сказали: «Вступай обратно, нам нужны Нобелевские премии». Он отказался. И вот этот героизм совершенно легендарного плана.

У Самойлова его лирический накал совершенно русской лирической поэзии. Возможно, и с Кушнером случилось бы то же самое, если бы он был в 41-м году. Тогда судьба человеческая стала судьбой народной до такой степени, что не было национальностей. Был просто человек, вставший на защиту этой земли.

И что мне еще нравится в Блоке: у него есть наша любовь к отечеству. Толстой об этом говорил в «Севастопольских рассказах»: молчаливое, бессознательное величие, героизм. В нас не нужно воспитывать чувство долга, чтобы мы бросались под танки. Это все входит естественно в наше первоначальное нравственное чувство. И у Блока все абсолютно так же. Поэтому его «Русь моя, жена моя» абсолютно разницы нет.

Знаете, Александр Бек писал, о том, как нас учили ненавидеть немцев: нам ненавидеть очень трудно, нам проще любить. Он их учит, политрук, говорит: «Ты жить хочешь? – Хочу. – Жена у тебя есть? – Есть. – Ты жену любишь? Дети есть? Ты их любишь? Хочешь, чтоб их убили? Хочешь вернуться домой, к семье, Иванов? Это все твоя родина». На мой взгляд, абсолютно правильный подход. А вы знаете, как немцы голосовали за Гитлера? Вот вам будут рабочие места на военных заводах, и мы пойдем и этих недолюдков побьем. Ни в одной европейской стране так, как у нас, не будет. И политрук был абсолютно прав.

И никогда у нас, идя в атаку, не орали «За Родину!», это я, между прочим, говорила с людьми, которые Сапун-гору брали штурмом. Они мне рассказали, что такое взятие штурмом. Во-первых, когда арт-подготовка идет, то неба над тобой нет, и несколько часов над тобой сплошной огонь. Этот огонь выжигает весь кислород, и все, что надето на тебе, становится как жесть. Высыхает вся кожа, трескается все. Вся эта жесть выжигает тебя, и нечем дышать. И когда нечем дышать, люди рвут все на себе, бегут только для того, чтобы был ветер, кричат: «А-а-а-а!» Был этот, Ехлаков, который командовал бригадой отдельной морской пехоты, которая сдавала Севастополь и которая его брала. Его ранили, разбили бедро, и он полз. Много километров. Он полз, и мысль была только одна: бить надо этих сук, бить надо сук. Он говорит, что даже боли не чувствовал. Он рассказывал: они сидят, нет снарядов, нет ничего. И немцы понимают,

что или все убиты, или нет орудий. И они идут и, закатав рукава, распахнув рубаху, от живота веером стреляют. И дождаться нужно только одного: когда он начнет перешагивать через твой окоп, он рядом с тобой, тут его всем – руками, зубами, ножами. Чем угодно. Только одно – меня-то убьют – это не важно.

Были такие невероятные вещи: мы как-то сидели с Геной Шнайдером, люди приезжали в Севастополь на День Победы и еще осенью приезжали на взятие, всегда плакали на могилах. Один раз мне была такая высокая честь оказана: у меня спросили, есть ли у меня тут родня. Я отвечаю – есть. И они меня с собой взяли. Сильно выпившие были, обнимаются все, плачут. И один из них голову поднимает и Гене Шнайдеру говорит: ты с какого фронта? А Шнайдер, чтобы хоть что-то сказать, а он всегда так истово говорит: «Со Второго Белорусского». Ох, братцы! Что началось! Мы его потом отвезли. Это никогда не заживает, никогда не кончается.

Ю. К.: Ну, Самойлов. Война сделала из него такого интернационального поэта…

М. Н.: Самойлов, да, а все эти мальчики Коган, Кульчицкий… Поразительно другое – они уже до войны все знали.

Ю. К.: Ну, наверно, последний вопрос по поэтам: эстрадники, я имею в виду…

М. Н.: А вот хороший поэт Денис Новиков, мне Келя [А. Верников] как-то принес…

Ю. К.: Очень хороший поэт.

М. Н.: Он умер. Он совершенно русский поэт. Тут на все времена прав Мандельштам: язык определяет национальность, и больше ничего.

Ю. К.: Тем более сегодня.

М. Н.: Кровь, национальная принадлежность. Мы в свое время много занимались переводами. Я неоднократно говорила: «Ну, это все понятно, это советская поэзия. А где бы найти чего-нибудь другого?» И вот Евгений Александрович Евтушенко, хороший человек, нашел возможность, и мы поехали в командировку в Тбилиси. Я думаю, что они там меня помнят до сих пор.

Ю. К.: Почему?

М. Н.: Голова у меня была голая, все волосы отпали после того, как мне череп пробили. Голова была почти как у Юры, даже хуже, потому что там было три огромных шва. Я смотрела-смотрела на себя и поняла, что этого уже ничем не скроешь, нужно ехать так. Товарищи, за мной просто толпы ходили, телефон обрывали.

Ю. К.: Почему?

М. Н.: Ну не видели они такого никогда. А потом я поняла, что они наверно подумали, что я из каких-то безумно экзотических стран, потому что дети бегали за мной и орали: «Мадама, мадама». Ибо я с голой головой, и швы толще пальца.

Ю. К.: А когда это с тобой случилось?

М. Н.: В 87-м. Самое интересное, я была в красном костюме длинном и в красных шелковых сапогах.

Ю. К.: *(Смеется.)* Лысая Кармен…

М. Н.: Да, но надо сказать, что все остальное – глаза и брови – остались при мне.

Ю. К.: Евтушенко, Рождественский, Вознесенский – три имени…

М. Н.: Погоди, про Грузию. Там действительно были такие поэты, которые жили совершенно в другом пространстве, причем видно было, в каком. Там был один поэт, который мне так понравился, такой мужик классный, такая страсть, я б его с восторгом перевела, но тут произошел распад Союза. Он переведен, но очень плохо. Достаточно посмотреть, какая у них земля – очень маленькая, чудовищно отличающаяся от Армении. Не знаю, что там сейчас делается.

Что касается поэзии 60-х годов, с которой так носятся, я уже говорила, мне не нравится, ибо я считаю, что это не выдающееся явление литературы, а совершенно социальное, жизненное явление. Корни безумно интересной поэзии тех лет лежат в том, что сначала все говорили как бы одним голосом. Но, обратите внимание, появлялось лучше, чем они. Скажем, Тарковский. И то же самое было и в кино. Талантливые люди. Талант – это свобода и самостоятельность, вернее, самостоятельность – это и есть свобода. Почему их слушали, почему они были так популярны… Эти люди были вот какими: такая жизнь, как бы у всех одинаковая… Массово смотрели положенные фильмы, читали положенные книги, но это распространялось не на все сто процентов. Все это время нам каким-то креном излагается: надеть было нечего и так далее, и, в общем-то, это было так, но это не являлось главным в то время, вот в чем дело. Когда я смотрю фильм «Стиляги», я понимаю, что все было абсолютно не так. И когда Василий Павлович Аксёнов говорит, что мы все жили в тоске по Америке. Да наше поколение не слышало про нее, не думало о ней! Мне было бы понятно, если бы Василий Павлович говорил «я и мое ближнее окружение тосковало по Америке», а он говорит за все поколение. Я – то же самое поколение. Этого ничего не было. Точно также не было этого безумного книжного голода.

В то время в городе Свердловске было все: я читала Джойса, я читала Пруста, я читала Северянина, я читала Ницше. Другое дело, что люди

не больно афишировали эти книжные богатства. Но если что-то было надо, то через три дня какой-то Ваня или Петя принес бы тебе это. Другое дело, что не каждому бы дали. И именно поэтому все стали этим зачитываться. Только потому, что остался целый огромный пласт, который не читали. Если бы читали подробно того же Блока, Мандельштама… Маяковский был, хотя, вы знаете, я никогда не замечала безумной любви к Маяковскому. Маяковского любили люди преимущественно мужского рода, не такие, как сидящий передо мной молодой человек (*кивает в сторону Ю. К.*), а совершенно другие, не силачи, не богатыри. Точно так же, как Цветаеву любили люди благополучные. Ведь ее поэзия была вроде перчика к супчику. Благополучные женщины, читая ее, вытирали слезы. Вся эта классная литература была не прочитана, и потому все это казалось таким хорошим. Я не говорю, что эти люди были не талантливы. И у Беллы Ахмадулиной, и у Евгения Александровича есть несколько стихов, которые очень хороши. Просто Евтушенко такой человек, который живет стихами, для которого это форма существования. Еще Гоголь говорил, что есть две формы существования стихотворения: сразу, по горячему ожогу, и когда это отстоится и проконтролируется умом, памятью, чем угодно. Евгений Александрович относится как раз к числу первых поэтов. И многим это очень нравится, потому что…

Ю. К.: С пылу с жару.

М. Н.: Да. Все видят в этом ту саму искренность, которую я абсолютно не ценю. Какое вам дело, люблю я этого человека или нет?! И вообще, это не важно. Больше того, вы что полагаете, что «*Я помню чудное мгновенье*...» – это искренне? Ну, возьмем письмо, которое он своему Вульфу написал…

Ю. К.: Да, да. Про толстый зад Анны Петровны Керн.

М. Н.: Стихи пишутся не от искренности, не от соответствия правде, а от полного чувства правоты. Ну, тогда, между прочим, соответствия правде было очень мало, информации было мало, и вот это, в общем, входило в число вещей, которые были первостепенными. Что касается Евгения Александровича Евтушенко, у которого всегда была профессиональная честь и сейчас есть, он всегда говорил: «У меня есть несколько хороших стихотворений, все остальное – можно бы и не писать, но я писал». Очень приятное человеческое откровение. Это были люди, которые всегда жаловались: унижали, во Францию не пускали. Вы не можете представить, что тут делалось, когда он три года был невыездным. Я уже не говорю, что и Пушкин, и Лермонтов тоже никуда не ездили. Пушкин бы, может, и хотел, но куда бы он отсюда уехал? Где бы он такой язык-то нашел с такими-то возможностями!

Эти люди были нарядные, их постоянное вынесение на публику своей личной и даже интимной жизни тогда казалось свободой просто необыкновенной. Больше того, не будем забывать, что Евгений Александрович – очень обаятельный человек, в нем прорва жизненной энергии. Абсолютная чистота его энергии делала в нем красивым даже то, что в других было бы смешным. Он был ростом 1 м 93 см, у него была красивая фигура, красивые руки и ноги, красивый костюм, дорогие часы. Это все срабатывало. И когда он здоровался и делал так: «Пусть хранит вас…». Это у любого другого было бы ужасно смешно. Но не у него. Хотя были тут острословы… Когда он вышел на сцену и начал читать: «*Я кошелек. Лежу я на дороге…*»[34], В. Кочкаренко громко сказал: «А я чайник». И еще: они были все чудовищно увлечены своей ролью и своим успехом. Ну, и ведь правда, они стадионы собирали.

Для меня самым неинтересным был Роберт Рождественский. Интересного в нем только одно: у него такой мужской голос. Что касается Вознесенского, он мне нравится меньше, чем Евтушенко, он яркий, он живописный, он конструктор. Но вот понимаете, «*…остров синий, Крит зеленый*» сделать невозможно. Я каждый раз фонарею, когда это читаю. А вот то сделать легко. «*Бьют женщину. Блестит белок*»[35] – это всем безумно нравилось, казалось заморским. У меня вопрос только один: кто-нибудь сомневается, что бить женщину нехорошо? О чем мы говорим! Тогда мы, товарищи, говорим ни о чем. По этому поводу очень хорошо говорят нынешние школьники: «Ну типа ни о чем». Это очень хорошее определение. И когда его сейчас называют великим поэтом…

Ю. К.: Кто?

М. Н.: Да многие.

Ю. К.: Вознесенского – великим поэтом?!

М. Н.: Тогда была жива Ахматова, жив Пастернак, Самойлов, Слуцкий – люди куда как побольше. Это было обещанием перемен, которых действительно всем хотелось. Через несколько лет это было выражено еще более решительно. Только в несколько другом жанре. Когда с великолепной внешностью мальчик, Цой… Виктор Цой, на мой ум, интереснее. Как среди ромашек орхидея. Хотя тоже, обратите внимание, вы чувствуете, что понадобился другой жанр? Высоцкий почувствовал, он был гениальным явлением, тут даже сомневаться нечего. Когда мне что-то начинают доказывать, я говорю, давайте согласимся на том, что он был гораздо интереснее. Его стихи и звучали замечательно, и держался он прекрасно.

---

[34] Е. Евтушенко. «Я кошелек. Лежу я на дороге…».

[35] А. Вознесенский. «Бьют женщину. Блестит белок».

ВЕЧЕР ТРЕТИЙ

Ю. К.: Поговорим о войне?..

М. Н.: Маленькие дети у станков никогда не стояли, это работа очень сложная, она требует определенных ремесленных навыков, немалой физической силы, умения сосредоточиться и быть внимательным на определенный период времени. Смена длилась 12 часов. Детского внимания не хватит на 12 часов. Мы собирали макулатуру, собирали металлолом, носили воду, дрова – такую работу могли выполнять дети. Голодный ребенок просто не справился бы с работой на станке. Мы, допустим, с братом дрова пилили – мне 5 лет, ему 3,5. И мы так со всей силы навалимся… Но это другое дело: можем попилить и отойти.

Ю. К.: А ты помнишь начало войны?

М. Н.: Начало войны, объявление я не помню. Я хорошо помню уже осень 41-го года, потому что наши приехали из Севастополя – мамин брат, мамина мама. Это было очень заметно, сразу начали появляться беженцы, и мы стали являть собой классическую свердловскую военную квартиру: у нас была комната 20 метров, там жили десять человек. По статистике, в городе Свердловске на живое тело приходилось 1,5–3 метра.

Это был один из немногих в городе каменных пятиэтажных домов, с отдельными квартирами, там даже были ванные комнаты, но их не успели сделать, там даже была канализация, водопровод и электричество, но в каждой квартире стояла печка, которую нужно было топить дровами. Это был, на мой ум, самый красивый район нашего города – напротив Железновский дом, улица Розы Люксембург: вымощенная темной брусчаткой проезжая часть и белыми широкими плитами – мостовые. Каждые 1,5–2 метра стояли гранитные тумбы, улица вся в старых липах, вся в сиренях. А дальше Рязановская усадьба, Железновская усадьба, парки все были целы, Исеть была чистой, река каменная, старые особняки, так до Царского мостика, откуда начинался кусок старой улицы Архиерейской, нынешняя Чапаева. То есть дом стоял просто в старом Екатеринбурге, сохранившем все свой прекрасные места. Просто очень красиво.

В свое время ехали мы из Севастополя, это были советские времена, и все подвозили проезжих на машинах, и стыдно даже было спросить, сколько ты должен. И весь Крым от Керчи до Севастополя я обошла. И я вышла из самолета, направляясь в Севастополь, а это был закрытый военный город. Из самолета когда выходишь, обязательно кто-нибудь подхватывал, так я еще выбирала себе товарища, чтобы что-нибудь послушать интересное. Молодых не особо любила, потому что и так знала, что они будут говорить – золотые волосы, голубые глаза…

Ю. К.: А у тебя свои волосы какого цвета?

М. Н.: Они у меня такого… нежно-золотого цвета.

Ю. К.: Светло-русые?

М. Н.: Нет, не светло-русые. Золотые. Много причем. Вот, и едем мы, значит, а он оказался военный врач, причем весь мир оплавал, и мы разговариваем. Есть такой безошибочный прием: если любой человек, который приезжает в Севастополь, любому незнакомому на станции говорит, что Севастополь – самый красивый город на свете, – все, они уже друзья, обнимаются и так далее. Зашел разговор, и я чувствую, что он относится к этому как-то странно. Как будто не хочет показать, что он с этим не согласен. И тогда я говорю, что, по-вашему, Севастополь не самый красивый город? И начинаю назвать все города прибрежные, которые он, поскольку весь мир оплавал, мог полюбить. Питер? Нет, не Питер. Стамбул… Я называю, а он все – нет, нет, нет. Я ему говорю: «Ну, скажите, я все понимаю, любимый город, но какой?» А он как бы смотрит в окно, не хочет выдавать. Тогда я думаю, ну, действительно, неудобное положение. И я подумала, что сейчас попрошу остановить машину, выйду и подожду другую. Он, видимо, прочитав мои мысли, прочувствовав, поворачивается ко мне и говорит: «Свердловск». И закрывает глаза. Я ему: «Да что там хорошего!» И тут, ей-богу, у него в глазах жесть и слезы: «А вы не знаете и не говорите». Как раз перед этим пришел самолет из Питера, и я решила, что я сделаю вид, как будто я с того самолета и знаю толк в красивых городах. И я спрашиваю: «А что там, горы?» Господи! Что я, дура, сказала! А он говорит: «Нет, там не горы. Там камень». Я говорю: «А что там красивого?» Он: «Там все, красивое, даже воздух перламутровый». Я: «Может, там особенные воспоминания?» Оказалось, что он там был раненый, лежал в госпитале, обе ноги перебиты, а посылали расхаживать на костылях. И когда я поняла, где располагался его госпиталь – университет, угол Куйбышева-Белинского, я сразу поняла, что он прав, ибо он ходил разминать свои раненые ноги по улице Розы Люксембург, по Царскому мосту. Это роскошные мостовые, деревья. Все было цело, соловьи пели. Насчет перламутрового воздуха я уточнять не стала,

но стала его ловить. И надо сказать, что, когда ужасно длинные дни и короткие ночи, конец мая – начало июня, если вы придете к городскому пруду, сочетание воды и неба… правда, правда, абсолютно точно, жемчужно-перламутровый подбой на всех облаках. И я чувствовала, как он мне не хотел все это выдать, и сама об этом долго никому не рассказывала. Потом рассказала Белле Абрамовне Дижур, а та еще кому-то, еще кому-то. Видимо, это казалось забавным. Потом Белла Абрамовна уже переехала в Нью-Йорк, приезжает от нее посыльная, привезла мне какие-то сувениры. И встретились мы где-то возле филармонии. Мы с ней идем, и она говорит: «А правда, что у вас в Екатеринбурге воздух перламутровый?» Я говорю: «Правда». И вот подходим мы к пруду, поднимаем головы, и у нее вырывается восклицание. Они [небеса] такие, знаете, яблочно-нефритово-серые, и все это с бледно-розовым оттенком. Действительно, перламутровая раковина.

Ю. К.: С огромной семьей поселились в двадцатиметровой комнате. Взрослые работали, сколько у вас было детей-то?

М. Н.: Отец дома почти не бывал, потому что он заготовлял лес фронту. Значит, бабушка моя, ангел мой хранитель, моя мама, мама мамина, которая приехала с Севастополя, она здесь умерла, и могила потерялась. Никто не был виноват, потому что не бывало ни выходных, ни отпусков, и когда на могилу пришли, там найти ее уже было невозможно. Еще дядя Боря, мамин брат из Севастополя, тетя Ната, его жена, и Галя. И нас трое – я, Боря и Ира. У них потом еще родился Володя, но уже когда им какое-то другое жилье дали.

Ю. К.: А Ире сколько лет было?

М. Н.: Она была меня на три года старше. Наша работа была какая: прокорм собственной семьи. Карточки давали, я вам сейчас скажу, что давали на детскую карточку: 400 граммов крупы, 250 граммов темного сахара, 250 граммов жиров, полкило считалось мяса, чаще всего это была банка тушенки, 200 граммов хлеба на день. Пенсионерам, то есть моей бабушке, давали меньше. Что касается служащих, это моя мама, им давали, скажем, крупы не 400 граммов, а 600, но это не всегда. Рабочим давали еще больше.

Ю. К.: Это ведь не каждый месяц?

М. Н.: Не каждый, иногда не было. Почему все в очередях-то стояли? В очередях все стояли потому, что не хватало. Рабочим, скажем, тем, кто на мартеновских печах, – по 800 граммов хлеба. Голод начался сразу. Настоящий голод. Случаи людоедства были, у нас говорили об этом, но частых таких случаев не было. Были случаи людоедства в блокаду, и этих людей даже демонстративно расстреливали, и было специальное место,

где их расстреливали, но люди не приходили, силы экономили. В один месяц 690 человек расстреляли, в другой – 360, потом – 320. Но это уже стал несколько больший паек на карточку, потому что меньше стало людей. Здесь таких случаев не было, но голод был в деревне самый настоящий.

Летом 1943 года дети начали умирать от голода, сюда поступили данные, что детей надо спасать. Естественно, горком партии. Ждали 50 человек, на них выделили какое-то питание, а пришли 186. И то, что случилось здесь, когда я в архиве держала эту квитанцию, что такая-то, такая-то… Товарищи, вы не можете представить. Эти голодные бабы, с этими голодными детьми от этих крошек… Ну, вот столько на месяц (*показывает руками примерно длину стакана*) от этого стакана сахара половину несли в пользу голодных деревенских детей. Так вот, всем было понятно, что того, что давали на карточки, даже если варить очень экономно (понятно, что все варили всякие похлебки), хватит максимум на 10 дней.

Ю. К.: А что вы ели?

М. Н.: Город спасла картошка. В 1942 году весь город раскопали под картофель: все скверики, все парки, вдоль улиц, кругом, кругом. Скажем, от моста железнодорожного на востоке до УПИ (города же не было, все построили только после войны) были сплошные картофельные поля, у нас там была делянка. Охранять их, кстати, тоже было детское дело. Ибо дисциплина была, как в армии: каждый человек считался военнообязанным, и уход от станка приравнивался к дезертирству. А поэтому, естественно, взрослые не могли стоять в очереди, стояли дети, реже бабушки и дедушки.

Ю. К.: У вас сколько огородов было?

М. Н.: У нас был один участок на Вторчермете, а другой – на Генеральской, вдоль железной дороги.

Ю. К.: А большой был участок?

М. Н.: Нет, не думаю, что большой. Понимаете, за осень 1942 года город раздулся вдвое по населению. 617 предприятий были перевезены на Средний Урал, потому что завод же можно подцепить только к профильному заводу. Поэтому в деревню нельзя поставить. В основном это все на себя приняли Челябинск, Свердловск и Тагил. С заводом ехали семьи, мы бегали смотрели. Разгружались они так: человек стоит у станка 12 часов, а потом три часа дополнительной работы – идет разгружать. Женщины стирали кровавые ватники, белье. Станки выгружали, и люди к ним вставали сразу, когда не было еще ни стен, ни крыши, это чистая правда. Люди точили артиллерийские снаряды при температуре минус 30 градусов. Вешали лампочки на ветки, а потом ставили над ними стены

и отопление. Вместе с этими людьми приезжали их семьи. Семьи после бомбежки, раненые, тиф, вши, грязные, немытые.

Я уже говорила, я несколько месяцев читала документы, которые никто не читал, потому их все считали очень скучными – это протоколы профсоюзных и партийных собраний по Уралмашу за всю войну. И вопрос номер один еда, потом – мыло. Мыла не было, практически всю войну. Мыли золой, ну, иногда выдавали какое-то такое черное, ужасное, им мыли голову.

Ю. К.: А бабушка, папина мама, да, была главной?

М. Н.: Это не папина мама, а сестра, Александра Михайловна. Но поскольку отец мой был уже очень немолодой человек, она была старше его на 13 лет. Мы так и жили при ней, как при нашей бабушке. Самое главное нам было дожить до начала мая, когда появлялась трава. Как только появлялась крапива, корень лопуха, саранки, липовые почки, ростки сосны – мы съедали все. Щавель, в районе парка Маяковского – его были целые поляны, – мокрицу… У нас были холщовые сумки, куда мы это собирали, ну, надо сказать, сначала сами наедались, а потом домой это все несли, а потом наша баба Саша в корытце это все посечет, а потом в кастрюлю, туда бросит этой вот крупы, и получалась такая похлебка. Я уже рассказывала, как она нас кормила. Поскольку бабушек было очень мало, женщины на завод уходили, ставили своих детей под наше окно. Все они были уверены, что она – их бабушка, потому что… война ведь как была устроена: тут живут люди из Ленинграда, тут из Белоруссии, тут из Казахстана…

Ю. К.: Война роднила людей.

М. Н.: Да, товарищи, не то слово. Если существовала эра милосердия, то это была она. Моя бабушка привела домой женщину, которая потеряла карточку. Все эти дети, с которыми она водилась, до взрослых времен полагали, что она их бабушка. У меня до сих пор лежат фотокарточки с подписями от их матерей, мол, спасибо, что наши дети выжили. И когда мы домой-то прибегаем, мы-то по праву, наша бабушка, наша кастрюля, хватаем миски, первыми встаем, потому что наша, кровная бабушка. Вот, все же быстро очень стали умными, есть такое выражение – в войну детей нет. В войну, товарищи, никого нет. Есть только живые и мертвые. И у живых одна работа – чтоб мертвых не стало больше и чтоб собой их число не пополнить. И эту главную работу не надо было понимать. Со времен войны саранок и просвирника у нас нет. Мы сожрали все. Просвирник, когда зернышко готово, становится твердым и невкусным. Надо его съесть, пока оно зеленое. К счастью, транспорта в городе было не-

много, и трава была чистой. Мы все перепробовали, но сразу поняли, что нельзя есть желтые стручки акаций.

Ю. К.: Почему?

М. Н.: Ну нельзя. Такой результат получается. И мы поняли, что яд – переморо женная гнилая картошка. Тогда еще черемухи росли в старых дворах, там мы все паслись. Мы первые-то подходим, а потом они все насмелились, тоже стали подходить. Бабушка моя поварешкой подчерпывает, естественно, наливает. И стоит с закрытыми глазами (я уже взрослая была) и у нее спросили: «Баба Саша, ты почему глаза закрывала?» – «Да чтоб Господь упас своему не зачерпнуть погуще». Тогда было то, что сейчас кажется совершенно смешным: что чужого горя не бывает, что все дети – это мои дети… С тех пор, как все освоили фразу «это не мои проблемы», великого русского народа просто не стало.

Ю. К.: Один уважаемый мною человек сказал, что война была самым страшным и одновременно самым светлым событием в истории России…

М. Н.: Ну что страшным, так это уж точно. Посмотреть, как вши ползут с тяжело больного человека, такой плотный, шинельного цвета… Вот правда, вши – это знак беды. Вши были практически у всех. Вши – они такие гадюки, кого-то больше любят, кого-то меньше. Может, температурный режим. На мне, например, почти не водились.

Ю. К.: Ты – ангел. Ангелы вшивыми не бывают.

М. Н.: Не в этом дело. В том-то и дело, что то, что моя бабушка привела женщину, которая карточки потеряла, это на сегодняшний день одновременно и страшная, и светлая страница.

Еще про госпиталя… Те, кто был постарше, писали письма, помогали, как могли. Мы-то маленькими были и этого делать не могли. Но мы просто стояли, и раненые выходили, гладили нас по голове, трогали руками, мы ведь еще с собой меньших тащили. И мы прекрасно понимали, что мы делаем: они видят, что мы живы, и им легче верить, что их дети тоже где-то живы. Нам открывали ворота, мы прямо с этими зелеными ртами, с сумками, потому что там, где мы паслись, университет был огорожен забором. Откроют ворота, и мы идем. Но самое удивительное – никто нас этому не учил. Умирало людей страшно много, особенно в первый год, самый страшный.

Вспомним, что рассказывает Астафьев: все бегут, бегут, и тут же стреляют, бомбят, все осыпается, и тут же танки и машины прямо по людям едут, размалывают всех на руки, ноги, головы. И когда машину трясет, это значит, ты едешь по людям. И когда машину подкидывает, это значит, ты едешь по целому трупу. Наше отступление было ужасным,

и совершенно правильно, что нам долго об этом не говорили. Можно это объяснить так же, как сейчас объясняют: необученные солдаты, нехватка вооружения. На троих давали одну винтовку, и то старую – это правда. Была еще одна причина: моим соседом был на старой квартире человек, который был комиссаром дивизии, которая одна из первых в стране получила название гвардейской. Он мне рассказывал, как учили солдат ненавидеть врага, русским это дается очень трудно. Они пленному дают закурить, надевают свою шинель…

Ю. К.: А пленные немцы были в городе?

М. Н.: Да, про пленных сейчас расскажу. Так вот и, как он говорит, что мы только ни делали! Проходили одно место, там церковь, они загнали в эту церковь тысячи наших пленных, закрыли дверь, и все они там замерзли, и когда дверь открыли, они там все смерзшимся комом. И держали эту церковь открытой и проводили повзводно и побатальонно, показывали. И когда начали освобождать землю, увидели эти сожженные деревни, виселицы, рвы, тогда уже никого учить было не нужно. А как это было, очень интересно, если кто-нибудь читал Александра Бека «Волоколамское шоссе». Там Панфилов – это просто Суворов XX века, редкостный и замечательный человек.

Я это просто очень неслучайно вспомнила, года два назад слышу как… Молчанов, что ли, может, путаю, телеведущий, таким, знаете, интеллигентным размеренным голосом говорил, что это все пропаганда, товарищи, что не было боя под Дубосеково, где все погибли и остановили 28 танков. Вот этого боя конкретно не было. Но было несколько боев, где, например, один двадцатилетний, его звали истребитель танков, остановил 20 танков. Когда начинают вносить в войну вот такие правки, это просто ужасная подлость. Что касается Панфилова, как они там учили людей тому, что надо хотеть жить. Я бы с этого просто начинала все образование, не только в институтах, но и в школах.

Ю. К.: Почему так было? Я понимаю, что мы люди очень терпеливые, самые терпеливые, даже жареный петух нас клюет, мы терпим, терпим. Почему?

М. Н.: У нас совершенно другие отношения с землей, с природой, ни у кого ничего подобного нет.

Ю. К.: У нас и пространства другие.

М. Н.: Вы все обратили внимание, что мы единственные живем на нежилом месте, вы обратили внимание, что когда в Канаде были зимние олимпийские игры, там цвели крокусы и нарциссы. А у нас практически не бывает лета. Мы сами пришли из достаточно теплого лояльного климата Киевской Руси, мы сами пошли на северо-восток, и на протяжении

веков наша нация складывалась в условиях, при которых мы не знали границ, в которых живем. Мы сформировались в беспредельном пространстве, упирающемся в север и полярную ночь. Когда мы увидели страны, где собирают по три урожая в год, и для этого даже делать ничего не надо, потому что эти три урожая все равно будут… Понятно, что нам никогда не понять друг друга. Мы совершенно другие. Сюда нужно включать всю Европу, потому что Гольфстрим греет Скандинавский полуостров, в Швеции спокойно цветут розы, и вызревают вишни и яблоки. У нас ничего этого не вызревает. Они все живут на земле, в таких условиях, когда с природой можно спокойно и легко договориться. Мы не можем договориться. Она не может нам пойти навстречу, мы должны ее принимать такой, какая она есть. Таким образом мы со своей земли получим что-то, прокормимся и выживем, если мы будем греть ее своим телом, обливаться слезами и потом. Тогда мы получим свою пайку.

Ю. К.: Причем не три пайки, а одну.

М. Н.: Для того чтобы мне прокормить свою семью, я должна не такой участочек, как, скажем, в Турции обрабатывать, а громадный кусок земли. Сельскохозяйственный сезон у нас – три месяца, а на Средиземноморье и почти на всем юге Европы – десять месяцев. А у нас три. За эти три месяца мы должны все это перепахать, окучить, полить потом и кровью…

Ю. К.: Уберечь!

М. Н.: Уберечь от всяких насекомых, от животных, убрать урожай. Вспомним наши пословицы: делу – время, потехе – час; долго запрягает, да быстро едет и все такое прочее, потому что зима у нас девять месяцев, мы можем лежать на печи. Вы обратили внимание, товарищи, что штурмовщина – это наш национальный способ работы. Все учат к экзамену в последнюю ночь. Это нормально, потому что это наш национальный способ жить. Более того, обратите внимание, мы были очень к селу привязаны, мы нашли с ним единство, контакт и союз, в XX веке и в конце XIX-го Россия кормила хлебом всю Европу. И это держалось до тех пор, пока не убили, пока не разорвали эту связь.

Так вот, возвращаясь к госпиталям. Нас никто этому не учил, мы все делали сами. Умирало огромное количество людей, особенно в первый год. Их, видимо, хоронили ночью, как мне рассказывала одна женщина, которая работала в похоронной бригаде. Они взрывали землю и складывали по десять человек, потом присыпали, снова укладывали десять человек… Сейчас эти участки застроены, и это ужасно. Это ужасный грех. Видимо, каких-то особых людей хоронили не так. Может, это были командиры, может, герои, не знаю. Мы по молодости лет не справлялись.

Иногда было так, что даже в какую-то минуту начинал играть военный оркестр. И, услышав звуки этого оркестра, мы выбегали из своих джунглей и становились за машиной, нас было человек двадцать-тридцать, и машина шла медленно от госпиталя, от университета на Куйбышева до моста через Исеть. У шофера, видимо, много было других дел, и после моста он прибавлял скорость. Но от госпиталя до моста мы шли такой процессией, а все были полуголодные, в заедах, в коростах. Ну кто поухоженнее… Мы-то поухоженнее были. Мы с этими зелеными ртами, сумками… Самое поразительное, что мы в то время прекрасно понимали, что это такое. Мы понимали, что мы были родиной-матерью, оплакивающей своих сыновей. Ну уже у многих похоронки были, прочее.

Ю. К.: Это была не игра.

М. Н.: Да что ты! Какая игра! Что касается игры, мы вообще ни во что не играли. У нас не было игрушек, у нас не было книжек детских. Как-то у меня спросили, какие мы детские книжки читали. Я ответила: «Ну, что вы, была же война. Мы были заняты ну просто все время». И это совершенно серьезно. Точно также понимали, что танки – это наша победа. Когда танки со страшным грохотом шли по улице Розы Люксембург, а она же гранитная была, у них из-под гусениц вылетали искры, мы все тоже выбегали. Бежали, кричали: «Ура, победа!» То, что мы тогда понимали, это невероятно. Я уже рассказывала, что как-то возле бани нашли убитую женщину и у нее в сумке нашли три четверти булки хлеба. Мы, наверно, месяц опомниться не могли – за что же ее убили. Вот если хлеб-то не взяли, тогда за что? Страшно было, очень страшной была баня. Там был страшный пропускник. Людей вновь прибывших, вшивых, там прожаривали. Нас туда иногда пускали. Когда между партиями был зазор, минут 15–20. И этот запах жуткий, ужас! В баню стояли в очереди мы, и за хлебом стояли в очереди мы. Я вообще говорю, что все это знаки беды: вши – знак беды, номера на руках – знак беды.

Ю. К.: Это было детство? Или это было взрослое детство?

М. Н.: Ты знаешь, я не могу тебе сказать, что это было. Это было что-то другое. Но каким-то образом, может быть, тогда люди были другого воспитания, может быть, люди тогда просто знали, что о детях нужно заботиться больше, чем о себе. Родителей мы тогда практически не видели, мужчин не было вообще, да и маму видели очень редко – 14-часовой рабочий день, без выходных, без отпусков… Тем не менее не знаю, как они умудрялись это делать – мы знали, что мы – любимые дети. Я помню, нам шили из шторы на дверях такое пальтецо… Из байкового одеяла такое платьице… Мама моя обязательно вышивала какой-нибудь цветочек или красивую пуговку. Я много-много лет берегла пуговку, которую мама

мне пришила. Да я тебе говорю, школу уже кончала, ни одной девочки не знала, у которой было бы два платья. Мы были нищие абсолютно.

Я помню, у отца осталось несколько дореволюционных листов бумаги и карандаши, мне их подарили на день рождения.

Ю. К.: Может быть, вообще поставить памятник картошке?

М. Н.: Давно пора скинуть Ильича с нашей площади, посадить картофельную гряду и поставить памятник – баба и детки у гряды. Такая тягловая сила войны. Они-то еще, надо сказать, от своих-то пайков отказывались в пользу детей. И еще: мы все делили. Лучше меня никто не делил, я могла это сделать просто с аптечной точностью. У нас одна девочка умерла от голода, и мама ее очень убивалась. Тогда баба Саша моя решила, что надо устроить поминки, чтобы душе было легче. И сварили нам компот и пирог. Пирог я уж не знаю какой. Ну его разрезали на кусочки меньше ириски. У меня братец был, а братец мой такой был – ну чистый ангел. А через наш двор бабы ходили в баню со своими тазами. И как-то они идут, и одна из этих баб дает ему кусочек сахару. В ротик. Он его схватил и побежал. Она ему кричит вслед: «Мальчик, мальчик! Ешь, это сахар». А он, знаете, почему побежал? Он его быстренько вытащил и побежал домой – делить. На всех.

Ю. К.: А победа как пришла?

М. Н.: Победу я помню очень хорошо, победу я помню прекрасно. Я помню, как Левитан: «После тяжелых и продолжительных боев сдали город…» Штурмом взяли Севастополь, и моя мама с тетей Натой побежали на базар. И мы все ждем – сейчас нам печенья напекут – и стоим, смотрим, а они купили мешочек муки, а это оказался мел. И они стоят, обнялись над этой миской с мелом и плачут. А дальше все – победоносное шествие по Европе. Я тебе больше того скажу, у меня и сейчас есть любимые сражения. Операция «Багратион» – это верх полководческой мысли, я ее читаю стоя. Это гениально. Говорили про всех текстом стандартным, перечисляли, какие взяли города, поэтому масштаб операции был незаметен. Так говорят, что, дескать, три последних дня бабушки и дети сидели на Площади 1905 года и ждали победы. Меня там не было. Я не сидела. Чего не было, того не было. Но День Победы помню. Поскольку наш дом отапливался кочегаркой, рядом были кучи угля, и мы стояли на этих кучах угля, а день был холодный, дождливый такой, дождик моросил, мы все прыгали, чтоб согреться. И вдруг кто-то закричал, причем стало понятно, что произошло что-то такое, чего раньше не происходило, потому что никто не кричал, когда получали похоронки. Потом еще кто-то закричал. И потом женщины стали выбегать на балконы и что-то кричали и плакали. И потом все начали выбегать на улицу, увидели нас, начали

обнимать – все, победа, победа! Это очень хорошо помню. Но плакали ужасно, в три ручья. Плакали ужасно и понятно почему – кто вернется, тот вернется, а кто не вернется, тот уже никогда не вернется. Живые и мертвые. Всю войну мы были как бы в промежуточном состоянии.

Е. Д: Вы ждали победу?

М. Н.: В последнее время уже никаких сомнений не было. Ждали, как сказать, самого факта называния.

Ю. К.: А когда это началось? В 44-м?

М. Н.: После Курской дуги никаких сомнений вообще не было. Вообще-то, после Сталинграда, конечно. После Сталинграда стало ясно, что в плане духовном с нами просто сделать ничего нельзя. Правда, посмотрите Виктора Некрасова.

Ю. К.: А в школу ты пошла уже после войны?

М. Н.: Да, в школу я пошла в 1945-м, в тринадцатую, прямо под моим окном.

Ю. К.: Она была, как сейчас, какая-то английская?

М. Н.: Тогда, к счастью, все школы были русскими. Это же надо, как мы низко пали, что у нас главным предметом стал английский. И все эти английские школы – это уронение нас всех мордой в грязь. И пребывание там. Главные предметы в наших школах должны быть история и литература. А все остальное – совершенно спокойно. Я вижу, как в нашей школе люди сдали по два языка, скажем, европейский французский и европейский английский. Гриша совершенно спокойно сдал. Я бы не стала никогда учить английский. Я бы, допустим, славянские выучила, польский там. Английский мне не нравится: ужасный, страшный язык, фонетически ужасный. Со всеми скомканными изуродованными гласными…

Ю. К.: На прошлой встрече ты сказала: «Русский язык, с его возможностями…» Что в русском языке есть такого, чего нет в других языках?

М. Н.: Во-первых, словарный запас. Потом сама по себе многозначность каждого слова. Этого я в других языках не видела. Безумное фонетическое совершенство… Я других языков не знаю, но, если на ухо, то испанский язык очень красивый. Еще мне, например, очень нравится немецкий. В нем есть чекан, поступь, ощущение силы. Чего совершенно не слышу в английском. Я боюсь, когда, например, говорят на японском и китайском. Когда глава государства говорит жутко высоким голосом – просто страшновато, я теряюсь.

Ю. К.: А словообразование русское?

М. Н.: А что словообразование русское? У нас полная свобода. А наши свободные ударения? А совершенно прекрасный, интимный язык – польский, как будто тебе на ухо говорят, но фиксированные ударения.

Ю. К.: Синтаксис русский.

М. Н.: Русский синтаксис – это русское мышление.

(М. Н., Ю. К., Е. Ш. и Е. Д. сидят в приемной и пьют чай.)

М. Н.: Не так давно я была в Питере, в одном из своих любимых дворцов. Сделан он очень стильно, весь из серых мраморов, и там сделали выставку современного искусства. Ну, товарищи, зачем же так дворец-то оскорблять! Я прямо говорю, что мне оно не нравится, но даже не в этом дело. Пройдя по всем этажам, я поняла, что этим людям абсолютно нечего сказать. Поэтому они постоянно дербанят то Сталина, то Ленина. Там была одна картина… Все помнят картину, на которой Сталин и Ворошилов, за ними – Москва, Кремль, небо. Так вот, там была картина, я не знаю, может, перерисована, может, даже переснята в натуральную величину, и там внизу большими красными буквами написано: «Малевич». И так еще: стена. На стену прибита деревянная грубая рама. Не то, что для картины. А прямо из досок. Два гвоздя, и на них висят два старых изношенных пальто. Одно бурого цвета, другое – черного. И внизу фамилия автора. Вот мне тут над чем думать? И таких вещей просто полно. Не могу понять. Ну, кто этого не может? Я возьму и поставлю старые туфли – одно и то же. Тем более на Западе это делали давным-давно. И уже не делают, отыгрались. Притом все это было в таком блистательном дворце, просто немыслимо. Я не знаю. Может, это кто-то покупает…

(Все переходят в кабинет.)

Ю. К.: Покупают, покупают. Саша Шабуров же делал инсталляции и продавал их на аукционах. У него есть инсталляция «Аленка на Кавказе». Вот что это такое: стоит огромная бутылка портвейна, на нем написано «Кавказ». И на нем шоколадка «Аленка». Какой-то идиот выложил за это тысячу долларов.

М. Н.: А ты видел у него такую картинку: ящик с прозрачными стенками, на краю этого ящика сидит со спущенными штанами Шабуров. Голым задом в ящик. К ящику подходит товарищ, нажимает кнопку, и в ящик за Шабурова падают монеты. Чем я тут должна прельститься, очароваться, я не понимаю.

Ю. К.: Молодые говорят: прикольно же! А я тоже не понимаю. Давай уже о войне закончим. Сегодня 10 мая, вчера было 65 лет со дня победы. А я вот что хотел спросить: почему тебя назвали Майей?

М. Н.: Это не имеет отношения к празднику. Навали меня вот почему: моя родня, дворянская, естественно, имела свои традиции, свои имена. И когда у мамы родилась первая дочь, решили, что как отец захочет, так и назовем, назвали Ириной. Второй родилась я. У них есть семейное имя Наталья. Мою бабушку звали Натальей, очень красивая женщина. А ког-

да я родилась (это было очень похоже на историю рождения мной моей дочери Маруси), мама совершенно умирала, погибала. Мне-то, вообще, сказали, что ладно если сама жива останусь, а про ребенка даже и думать нечего. Я еще была вся беленькая-беленькая. Все сербы черноволосые, темноглазые. А про меня, решили, что, дескать, не жилец будет, родовым именем не назовем. И моя баба Саша, как меня вынесла из больницы, так меня с рук не спускала. Поскольку она решила, что этого ребенка в обиду не даст. И более того, я всегда ходила за ней. Держалась за ее юбку. Куда она – туда и я. Такое было мое место. Тогда дали имя мне самое дальнее. В имени Майя философская нагрузка невероятная. Древняя Индия, загадка, иллюзия. С другой стороны, Майя – это древнегреческая нимфа. Притом родители прекрасно осознавали, что делали, давая мне вот такое, из глубины веков, имя. Такая была история. Чтобы уже не обижать ни чьих амбиций, ни чьих претензий дали имя со стороны, самое дальнее.

Ю. К.: А тебе нравится имя Майя?

М. Н.: Теперь очень нравится.

Ю. К.: А раньше?

М. Н.: Раньше, как тебе сказать, вообще-то, мне всю жизнь нравились три имени – Нина, Мария и Майя. Нина – так звали мою маму. Это богиня-прародительница.

Ю. К.: А этимология может восходить к народу майя?

М. Н.: Ну кто его знает, про майя не знаю. Вообще, так ли это произносилось, так ли звучало, неизвестно.

Ю. К.: У меня всегда твое имя соотносилось с Южной Америкой, с Мексикой.

М. Н.: Жутко хочу туда съездить, но это очень дорого. 14 часов на самолете. А я рейсы, скажем, в четыре часа, летаю на пределе.

Ю. К.: Значит, имя дочери уже заранее знала?

М. Н.: Конечно. Машенька родится, Машенькой назову.

Ю. К.: А Григорий? Внук-то?

М. Н.: Ты что! Гриша маленький когда был, у него спросили, почему его Гришей назвали. Он говорит: «Меня так назвали, чтобы Майя могла произносить свое любимое имя». А какое у Майи любимое имя? Григорий Александрович. Кто? Печорин.

Ю. К.: Я сразу просек.

М. Н.: Что касается Григория Александровича, я его очень люблю и уже никогда не разлюблю по самой уважаемой причине: Лермонтов, когда его писал, любил его. Это слышно. Это видно, он просто одной любовью и написан. В конце жизни этого уже не было, но когда писал, да, любил. Цветущей душой писано.

Ю. К.: Майя, я вот школу не люблю, а ты как к школе относишься?

М. Н.: Наше отношение к школе было абсолютно уникальным. Сейчас расскажу, почему. Во-первых, для нас школа это была уже не война, это был другой мир: не на завод, не собирать траву, не стоять в очереди, хотя первый год тоже стояли. Во-вторых, у нас отношения между собой и с учителями были абсолютно уникальные, поскольку их определила война. Старшего мы уважали, потому что он больше страдал. Поэтому у нас с учителями были очень хорошие отношения. Это была женская школа. Вообще очень разумно – мужские и женские школы. Это очень разумно, потому что в раннем обучаемом возрасте мальчики и девочки чудовищно различаются, их надо учить по разным программам. Девочки гораздо разумнее. Гораздо организованнее. Девочки до старших классов опережают мальчиков так стремительно, что мальчиков вынуждают на дурацкое поведение – пинки и дерганье за косы. В старших классах все выравнивается.

Ю. К.: А стихи ты в школе уже писала?

М. Н.: Да, писать начала очень рано. Сначала записывал отец, я их все уничтожила. Отец меня очень уважал, держал за умного человека. Надо сказать, не все родители это могут. Это надо взять на вооружение всем родителям. Как-то отца вызывают в школу, что-то говорят. А он отвечает: «А Майя мне все не так рассказала. Вы что, полагаете, что она своего отца обманывала?!» Отец мой был очень умным человеком.

Ю. К.: То есть ты никогда, с ранних классов, не бросала писать стихи?

М. Н.: Я никогда не писала сплошняком, чтобы так постоянно.

Ю. К.: А как ты писала?

М. Н.: Ну, как сказать… Был какой-то кусок времени, когда вообще не писала. Вот про школу. У нас учителя все были со старым образованием, гимназическим. Совершенно серьезные знающие люди. Перед тобой стоял не какой-то заморыш, а, ты знаешь, настоящая дама. Это для женской школы очень важно. Девочек должны воспитывать дамы. Программа тех школ была очень хорошая. Я тебе расскажу, как мы учились. Когда проходили Толстого, мы читали «Детство. Отрочество. Юность», «Севастопольские рассказы», «Казаки», «Хаджи-Мурат», «Анна Каренина», «Воскресение», ну, и «Война и мир». Вот так вот. Когда мы учили Пушкина, мы его проходили от и до.

Ю. К.: А ты как училась? Какие лучше предметы шли – гуманитарные или естественные?

М. Н.: Я училась всегда очень хорошо. По всем предметам. Медаль мне не дали только по идеологической причине. Меня вывесили уже в списках…

Ю. К.: Школа закончилась, а что потом?

М. Н.: Уже вывесили списки, а потом мне выставили еще одну четверку, по-моему, по тригонометрии, хотя по тригонометрии я никогда не имела долгов. Меня такие вещи не волновали никогда. Даже когда меня из университета выгнали, я не озаботилась. После школы я поступила на геологический факультет.

Ю. К.: В наш Горный?

М. Н.: Нет, тогда геологический факультет был в университете, со всякими сложными предметами, со всякими там минералогией, палеонтологией, с кристаллографией. Более потрясающей науки я не встречала. А потом закрыли факультет. Это глупость, на Урале он должен быть. А там было так, когда я поступала в университет, нужно было идти на экзамены, а меня увезли с аппендицитом в больницу – ой, со мной всегда происходят невероятные истории! Они решили, что это обыкновенный аппендицит и сделали местное замораживание. А оказался гнойный. А замораживание уже отходит. И слышу, врач надо мной говорит: «что-то она хрипит у нас». Тут спохватились, язык вытащили, подморозили. Да, ну зато через это трагическое обстоятельство я познакомилась с двумя просто титанами уральской медицины – Аркадий Алексеевич Лидский и другой, Сахаров. Совершенно два замечательных мужика. Лидский такой высокий, ходил исключительно в белом костюме, в штиблетах, всегда чисто выбритый. Тогда как Сахаров ходил в пижамных штанах, в тапках без задников и в майке. Очень живописные. Меня после такого казуса положили в раковую палату. Я оттуда когда вышла, остался один день или два до конца сдачи экзаменов. Ну и еще сколько-то дней до зачисления. И мне было предложено сдать все восемь экзаменов за эти дни, два или три. А я с этими швами, с распоротым животом… Я все эти экзамены сдала. И только один человек (я не могла ни стоять, ни сидеть), которому физику я сдавала, он только один сказал, чтобы стоя сдавала. Поступила. А потом, когда начали учиться, поехали в колхоз. Поскольку я была с распоротым животом, я им картины рисовала для кабинета с видами скал и гор. Естественно, держалась сама по себе, что было истолковано как буржуазный нигилизм, который я всю жизнь ненавижу. Тогда были советские времена, и все в группе были исключительно рабоче-крестьянского происхождения. Были дети служащих, через черточку – интеллигенция, они или вылетели оттуда или ушли сами, к концу учебы их уже не было. Год проучились и снова поехали в колхоз. В колхозе жили в каком-то бараке, без стекол, и на нас ночами падал снег. Наше существование там еще продлили. И люди решили, а некоторые были ведь очень бедные, в таких шапочках шнурованных, все решили, что сейчас сядем в поезд и уедем. В тот вечер, когда было принято это решение, меня даже не было

в бараке. А потом мы пришли, взяли свои вещи и вместе со всеми уехали. А потом решили, что это было чисто показательной акцией, и виноватых нет. Выгнали из комсомола и отовсюду, и потом ведь три года нельзя было никуда поступать. Нужно было зарабатывать себе советскую биографию. Исключенных было трое. И нужно было или всем вместе ехать – один год проработать, – или едут все, или это не зачтется. Поскольку мальчики были хорошие, серьезные, я поехала. Так получилось, что их оставили в конторе, в Магнитогорске, а меня, как я потом выяснила, по приказу сверху, отсюда загнали на буровую станцию, где жили только убийцы и насильники. Не убийц и насильников было только два человека – я и начальник участка. Так что вот так я туда и попала. Северный Казахстан. Там-то я на тракторе-то и ездила.

Ю. К.: Сама рулила?

М. Н.: Нет, рулил Васька. А я была прицепщиком, это адская работа. Во мне было весу 40 килограммов, а штуковина, которую я поднимала, была гораздо тяжелее. Нужно было еще цистерны ото льда отколачивать. Жуткое дело. Сугробы и один барак, который заносит снегом с головой. Это совершенно советская история. Совершенно ясно, что здесь никогда не будет руды. Чисто по геологическим данным здесь руды не может быть, но для коммунистов же нет невозможного. И вот бурят. По восемь буровых летом и три зимой. Я на эту буровую залазила… Таскала трубы, дикая тяжесть. Я всю жизнь таскаю тяжести. Безумно смешно.

Ю. К.: Ты там год пробыла?

М. Н.: Там я пробыла не год, а четыре месяца, по причине самой уважительной. У меня на ногах вообще нет ногтей. Обморозилась до такой степени, что на улицу выходить не могла, лица у меня вообще не было. Там вообще, конечно, не буду вдаваться в подробности, но там были одни убийцы и насильники. Со всеми вытекающими обстоятельствами. Там после вечерней драки сутки не впитывалась в коридоре кровь. Я про это рассказывать не люблю.

Е. Ш: Вы же там единственной женщиной были?

М. Н.: Поэтому говорить не буду. Тут появилась бабушка из народа, видит, лица на мне нет, были только два зеленых глаза, а все остальное – фарш. Пришла бабушка из народа и принесла мне литровую банку. Она варится 14 или 12 часов, берется какой-то жир, в нее добавляются по часам всякие лечебные травы, потом эти вытаскиваются, другие варятся. Мне сказали мазать, что бы ни было. Терять мне было нечего. Я стала мазать, на лице образовалась корка, как керамическая, она стала трескаться, и из этих трещин текла сукровица и гной зеленого цвета. Поскольку я не могла выходить в таком виде, какая работа могла быть? И тут все – зано-

сило дорогу снегом, и не каждый месяц можно было пробиться. Пришла я в Магнитогорск за документами, пришла к этому начальнику, этот начальник встает и припомнил все буквы, которые можно было вспомнить: «Я-то думал преступника отправляю, а тут девочка. Ребенок, вот тебе документы, все, подписываю. Домой, к маме». Я приехала домой, надо сказать, еще лет семь потом ходила закутанная шалью, даже дольше. Ну, вот эта бабушка, народ, народ пришел на помощь. Там пили, конечно, все по-зверски. Этот Васька пьяный приходил, доползал и ложился поперек моей двери. А одну ночь не дополз. Они в два топора мою дверь рубили… Человек, наверно, знает, душа знает, что будет.

Приехала сюда-то, а меня никуда не принимают. Стала работать у мамы в бухгалтерии в ЖКО. Иду как-то, и навстречу идет Давид Абрамович Биберган, папа композитора Вадима Бибергана. Очень хороший человек. И говорит, я тебя возьму, приходи, будешь у меня учиться. А тогда организовывали совнархозы, и в совнархозы шла масса людей, которые имели ВПШ (высшая партийная школа). И были институты, которые учили на инженеров. И у него была лесная промышленность. Надо сказать, что там были такие любопытные люди, которые действительно знали, что это им нужно. Серьезно к этому относились. Для меня это имело один положительный результат – я поняла, что экономистом не буду никогда. Это дело под характер. Это особый дар. Для этого душа должна иметь какой-то особый крен, чтобы видеть все пространство, которое действительно за этим стоит. Оно должно быть внятно и интересно. Я понимаю, что оно есть, но мне оно не нужно. Но, с другой стороны, лишних знаний не бывает. Я его окончила и тут пошла… Советский Союз был во многом государством фантастическим. Эту странную фантазийную его структуру как-то не отразили. Оно было даже не страшным. Не успели человека догнать, он убежал, о нем забыли, он живет. У меня была знакомая, у которой отца и мать расстреляли, она принадлежала к семье, которая подлежит полному уничтожению. Квартиру закрыли, и должен был прийти человек, опечатать. Она сидела на табуретке, от страха дверь прикрыла. Соседка видит, что девочка тут, и увела ее к себе. О ней забыли, девочка выжила. Когда я пошла в университет, никто ни о чем не вспомнил, мне никто не задал ни единого вопроса.

Ю. К.: На филфак?

М. Н.: Да, сдала экзамены: литература, сочинение, немецкий… Я и литературу хорошо знала. И историю хорошо знала. Вопрос был по маршалу Рокоссовскому – я про него знала все, какое вооружение было, какие полки, абсолютно все, где ложные аэродромы… А это был 45-й год, когда союзники ротами сдавались в плен немцам. Они немедленно

обратились к верховному главнокомандующему, то есть к Сталину, чтобы немедленно было начато наступление, чтобы подтянуть часть войск. Я начала свой рассказ так: по состоянию на такое-то число такого-то года, эти двинулись во столько-то, эти во столько-то. Один товарищ говорит: все, хватит. Другой – нет, пусть продолжает, я никогда ничего подобного не слышал. Я им все рассказала. На чем мы и расстались. Я оттуда ушла сразу же на заочное. А что мне с ними делать? Там сидят люди после школы. К тому же послушала сколько-то лекций и ушла. И совершенно правильно сделала.

Самый фантастический случай был, когда я была в состоянии родовой горячки пошла сдавать логику. Я не дошла до корпуса, где филфак, пришла на Куйбышева. Нашла логику, взяла учебник. Все выучила, сдала. Преподаватель мне говорит: «Одного не могу понять, зачем вам на филфаке математическая логика?» Ну, нужна, так нужна. Я выучила и сдала математическую логику. Самое интересное, прошло два или три года, я снова встретила этого человека. Это, оказывается, был какой-то выдающийся ученый, имя которого упоминается во всех учебниках по всему миру, который в силу того, что очень мозговитый, времени на решение житейских проблем не имел. Где бы он ни работал, его постоянно изживали, поскольку его присутствие делало всех остальных людей идиотами. И, наконец, он как умный человек понял, что нужно с этим завязывать и пошел работать механиком или фрезеровщиком на механический завод в Кургане. Потом вспомнили его, нашли: он стоит у станка на механическом заводе в Кургане. Когда его нашли, начали приглашать, он сказал: «Нет, нет, я тут стою, никому до меня нет дела, думаю о своем». Вот такому человеку я сдала математическую логику. А на филфаке никто ничего не заметил.

Ю. К.: А у кого диплом писала?

М. Н.: Диплом писала у Субботина[36]. Эта работа мне никогда не нравилась. Просто приехал Кочкаренко и сказал: «Ты что, Майечка, диплом надо писать о том, на что тебе наплевать. Никогда не надо писать отчетную работу о том, что тебе нравится».

Ю. К.: А когда с Володей познакомилась?

М. Н.: Я с ним познакомилась в 62-м. Я никогда ни с кем не знакомилась. Всегда исходила из того, что Бог с кем надо – сведет, с кем надо – разведет. Наверно, я была совершенно права. То, с кем меня бог свел, это было то самое. Что мне надо. Баба Саша всегда говорила, что ничего искать не надо, все само тебя найдет. Это было в библиотеке, там сидели денно и нощно, и поскольку у меня там работала любимая подруга Гера,

[36] А. С. Субботин, профессор, в то время заведующий кафедрой советской литературы.

мне давали читать те литературы, которые другим не давали. Все можно было прочесть. В городе Свердловске было абсолютно все. И как-то вечером, поздно, мы уже уходим, а в зале идет какое-то мероприятие, мы туда заглянули, а там люди на трибуне, красные плечи, какая-то круглая голова. Я на цыпочки поднялась, не видела его лица, не знала, как его зовут, и отшагнула в коридор с абсолютной уверенностью, что за этого человека я выйду замуж, и у меня будет дочка Маша. Пока мы ходили, одевались, они выходят из зала, и Вова тоже. В те времена все читали стихи. Все писали стихи. Знакомства заводились необыкновенно просто: можно было спросить, читал ли ты такую-то книгу или попросить сигаретку, и дружба твоя уже идет полным ходом. Когда мы выходили, он подходит и говорит: «Девочки, вы куда?» А мы шли тогда к Лидке, у нее родителей не было дома. Мы все шли тогда к Лидке, уж не помню точно зачем, какая-то у нас была «высокая цель». Читать Вертинского на польском языке *(улыбается)*. Он: «Ну, тогда я пойду с вами». Тогда это решалось необыкновенно просто. Мы сидели там всю ночь, разговаривали, а утром я пошла на работу. Я всегда работала. С 18 лет работаю, уже 55 лет. Я всегда говорю, это безумие – столько работать. Жуткое дело. И вот мы пошли – я утром на работу, Гера тоже на работу, в библиотеку. А он не знаю, куда пошел. Лидка осталась. Я тогда работала в академии коммунального хозяйства, исследовала все старые сады и парки. Товарищи, это все очень интересно. Как говорится, в России нужно жить долго, копать глубоко.

Ю. К.: Значит, поэтому ты и знаешь город так хорошо.

М. Н.: Ну так вот, и когда я пришла с работы, прихожу к Лидке. Вова у нее, и вроде бы как вот и хорошо, говорит, а то я тут уже истосковался весь. И идем ко мне, приходим ко мне домой, а он тогда жил на Эльмаше.

Хотя, надо сказать, он был здесь личностью известной: девушкам безумно нравился…

И приходим мы домой, говорю: «Ну, Вова, значит, последний трамвай ходит отсюда без пятнадцати одиннадцать». А он: «Зачем ты мне это говоришь? Я больше никуда не пойду. Я дома». Я считаю, что это правильно. Это не хулиганство и не хамство. Человек говорит такие вещи только в том случае, когда он имеет на это право, которое сообщено из других пространств. И еще одно: очень мало людей, которые это вообще могут. Судьба сложилась таким образом, что Маша действительно дочь Вовы Кочкаренко.

Ю. К.: Ну, она похожа на него.

М. Н.: Да. Но никакого такого особого места в моей жизни он не занимал, его всегда занимал кто-то другой, и, вообще, я всегда жила одна. Он ни в чем не виноват: он был человек, рассчитанный на очень короткий

срок пребывания в жизни. А у меня на таких людей какое-то зверское чутье. Помню прекрасно, как что-то он сказал, а я говорю: «Да ну тебя, тебя уже и в живых-то не будет». И это точно так и есть. Люди, которые рассчитаны на очень короткое пребывание в этой жизни, живут совершенно на других скоростях, спрашивать с них ничего нельзя. И грех – не грех, я понимаю, но спрашивать с них ничего нельзя.

Ю. К.: Ведь он поэт был.

М. Н.: Он действительно умер очень рано, ему было 35 лет, а уехал вообще… Родилась Маша, его забрали в армию, потом он уехал на Камчатку… Он всегда жил где-то там на северах, потому что ему нужно было успеть.

Ю. К.: Там больше свободы.

М. Н.: Да! Там практически советская власть была совершенно относительна, бюрократия была совершенно относительна.

Е. Ш.: Он туда работать ездил?

Ю. К.: Да просто сбежать от этого дерьма советского.

М. Н.: И больше того, то, что мне досталось, это совершенно честно, потому что нет такого мужчины, который бы это вынес. Я не хочу их унизить и так далее, просто это не для мужчины. У меня были все больные люди, они лежали, несколько лет до туалета не могли доходить. Этого мужчины выносить не могут. На Эверест залезть могут, покорить Тихий океан могут, спасти кого-нибудь из огня могут, а этого не могут. И я всячески способствовала тому, чтобы он уехал, потому что это правильно.

Ю. К.: А эта разлука была мучительной для тебя?

М. Н.: Ты знаешь… Нет.

Ю. К.: Не было мучительным?

М. Н.: И я тебе скажу, не надо думать ни про кого плохо. Я тебе скажу, в чем тут дело. Каждый человек возвышенное и земное связывает по-своему, каждого по-своему, это жутко трудно. Я много-много лет страшно занята была. Я спала по два часа в сутки, по три, я не спала сутками. Слава Господи, что я спокойно могла не спать.

Ю. К.: У тебя рекорд-то какой был?

М. Н.: Семь суток. У меня уже руки так вот дергались. И, как тебе сказать, и еще одно товарищи: на Машу мама моя и бабушка просто всю жизнь положили. Когда мы начали лечить Машку, и мне сказали поить ее отварами из трав через каждые 40 минут, мы круглосуточно это все толкли, парили. Думай об этом что хочешь, я ни о чем другом просто не думала. Маша моя всегда была немыслимо очаровательной, она была такой ребенок… Ни разу не сказала «нет», ни разу не сказала «не хочу», ни разу не топнула ножкой, не закапала ни одного платьица, это был просто ангел.

Ю. К.: Ты публиковалась, наверное, не сама, не бегала…

М. Н.: Ну что ты, никогда.

Ю. К.: Первая книжка – 69-й год.

М. Н.: Это сделала Эмма Бояршинова.

Ю. К.: А Володя когда погиб?

М. Н.: В 76-м.

Ю. К.: Это значит Маше сколько… 12 лет было.

Е. Ш.: А севастопольские ваши друзья?

М. Н.: О! Мои севастопольские друзья – это лучезарная страница моей жизни. Во-первых, я правда безумно люблю Севастополь и много про него знаю. Вся моя родня – Севастополь. Севастополь действительно необыкновенный, красивый город. Севастополь – это дважды Россия. Севастополь – это такой оселок, на котором Россию постоянно проверяют на прочность. И надо сказать, что традиции там держались очень долго. Сейчас Украина делает все, чтобы их убить. Когда я познакомилась с Севастополем, там еще держались эти традиции, ходили красавцы офицеры с кортиками. Все друг с другом здоровались на улицах. Когда подходил троллейбус, мужчины делали шаг назад, женщины садились, это что-то невероятное. Тогда где-нибудь сидишь ночью, подходит патруль: «У вас все в порядке? – Все в порядке». Ну, что-то невероятное. Там никто не закрывал квартир. Никто не проверял билетов в кино и в театр. Что касается моих севастопольских друзей, это были люди из горноспасательной службы Крыма, олимпийские боги, длинноногие красавцы. Все тренированные, плавали как рыбы, летали как птицы, все рыцари без страха и упрека. Было такое ощущение, что их хватит на три жизни. Никого нет. Никто не дожил до сорока.

Ю. К.: Давайте уйдем от личного, потому что мы сейчас устанем. Мы не договорили про Пастернака и совсем не говорили про Тарковского. Тарковского мне жалко.

М. Н.: Тарковского… В то время, когда я купила вот такую стопку и раздавала всем своим знакомым, он практически не был никому известен. Тарковский, во-первых, это явление высококультурное. Что мне еще очень нравится: рядом с тем, как легко добывалась известность во все эти оттепельные годы, когда были все эти лихие и крутые мальчики, он ничего не сделал для того, ничего, напротив, соблюдал дистанцию. Ни в каких отношениях он с ними замечен не был. Что говорит о том, что он как был сам по себе, так и есть сам по себе. Тарковский очень интересен. Вот, во-первых, язык. Это такой роскошный, чеканный русский язык. Ну вы же все обратили внимание как эти, шестидесятники, уступили, разве у них такой язык? Они легко переходили на разговорную интонацию. Ну, это все понятно, почему. Успех, который они имели, от этого очень зависел. Собе-

седник Тарковского – не массовый слушатель и зритель. Никакого отклика на сегодняшние социальные события нет у него, поскольку человек, работающий по-крупному, работает с более обширными пластами времени. Те товарищи жили в абсолютно конкретном времени. Их отклики на события были просто сиюминутными, были ведь вообще репортажи со строек, в этом видели живой ритм жизни, но кто об это сейчас помнит? Тарковский всегда жил во времени просто очень большом. Тарковский, пожалуй, ближе всего к Мандельштаму, только энергия не та. Он ведь и однообразней по ритмическому рисунку. Собственно говоря, Мандельштам-то просто пределен. Все стихи Тарковского, безусловно, красивы. Красоту нельзя делать искусственно. Но она непременно должна быть.

Была у меня такая встреча. Ходила я по Русскому музею, там висит портрет Феликса Юсупова, а Феликс Юсупов безумно похож на одного из моих друзей. И я каждый раз к портрету подходила, смотрю – да, похож. Смотрю я и вижу, такой мужичонка ходит, седенький, как будто из какого-то райцентра. И он смотрит на Феликса Юсупова и даже руки к груди прижимает. На нем надет двубортный костюм коричневый, как он его сшил в 47-м или в 48-м году, так, когда едет в большой город, надевает. И вот он все ходит, ходит и видит, что я тоже подхожу. Я встала, и он ко мне подходит, кулаки сжал и говорит: «Красиво нарисовано». Ну что ты! Такая нетленная красота перед тобой, лучше мужик сказать не мог. Как умел.

Стихотворение должно быть красиво написано. В нем должна быть красивая поступь, которая слышится. Это все Тарковский делал. Притом не искусственно. И то, что он первоклассный поэт – вне всякого сомнения. И то, что он был не замечен, мне очень даже нравилось. Он не для массового читателя и слушателя поэт. Это всегда меня очень радовало.

Ю. К.: Точно так же, как Никулина Майя тоже не для массового читателя.

М. Н.: Вот и хорошо.

Ю. К.: Здесь, в Свердловске, в Екатеринбурге, в 70-е годы, я помню, были…78-й год где-то, у нас постоянно была чехарда с руководителями университетского литобъединения после смерти Бориса Марьева. И пришел Яков Гаврилович Танин. Мужик он ничего был. Фронтовик, но, как и все в то время, слабые люди, я имею в виду слабые на культурную традицию, в нем этой традиции не было, поэт он был никакой. Он меня достал, я с ним поссорился, нагрубил даже страшно – жалею об этом, все-таки он был старше меня. Он любил повторять такую фразу: «Вот Тарковский – эстет, но не поэт. А Майя Никулина – эстет, но поэт».

М. Н.: Хорошая шутка.

Ю. К.: Я обижался и за тебя – что значит «НО поэт»? И за Тарковского обижался. Такая уступка. Проходят годы, я сейчас понимаю, что он

не закладывал тот смысл, который я понимаю. Тут об энергии речь идет. В Майе Никулиной больше энергии.

М. Н.: Юра, ну ты же понимаешь, что, в конце концов, речь всегда идет об энергии. Что касается красоты, тут совершенно все понятно. Это как корабелы говорили: самый надежный, самый устойчивый и самый скоростной корабль – самый красивый. То есть во всем сделанном красота – это знак качества.

Ю. К.: Это правда, что Тарковский был самый красивый мужик конца XX века?

М. Н.: Да, Тарковский был очень красивым. Но знала я и красивее. Это была та самая красота, истинная высокопробная, первое ощущение от которой – этого не может быть.

Ю. К.: О Пастернаке мы не договорили немного.

М. Н.: Пастернак – чрезвычайно емкая, богатая фигура, для разговора просто неизбежная. Почему? Потому все люди, которые пишут стихи, очень многие, полагают, что воплощенный поэт, такая фигура, это и есть Пастернак, поэтическая работа которого заключается в следующем: сплошное чувствилище, сплошной орган слуха, зрения, обаяния, осязания. И все, что раздражает эти органы слуха, зрения, обаяния, осязания, немедленно обрастает словами, притом набираемыми в огромном количестве, пафосно, горячо. Все это просто скручивается в свиток, ну просто город. Все это очень интересно, но есть ведь такой огромный искус полагать, что так и нужно. Так нельзя. Так можно только Пастернаку. Когда у него «*…и плавает плач комариный…*»[37] – это очень хорошо. Когда он слышит и откликается на эти раздражители, – это классно. Но когда раздражителем становится, скажем, Великая Отечественная война, и когда он пишет: «*В неистовстве, как бы молитвенном, / От трупа бедного ребенка / Летели мы по рвам и рытвинам / За душегубами вдогонку*»[38] – это абсолютно тот же принцип, но здесь Великая Отечественная война. Избавь меня Бог сказать что-то плохое про Пастернака, он великий поэт. И там, где он чувствует слышит, видит, осязает и реагирует, – классно. Что касается стихов о войне, только одно-единственное где: «*В этом году / Слово за флотом*»[39] – тут ощущение перемен. Вот камертон Великой Отечественной войны (*начинает напевать и выстукивать ритм*): *«Вставай, страна огромная, / Вставай на смертный бой…»*. Люди, ко-

[37] Б. Л. Пастернак. «Степь».

[38] Б. Л. Пастернак. «Преследование».

[39] Б. Л. Пастернак. «В низовьях».

торые писали о войне, большие поэты, средние поэты, вот этот смертный бой… Ничего подобного он не слышит, не знает.

Ю. К.: Ты как-то сказала: «Юра, есть птички – воробей и соловей. Воробей все клюет: зернышко, червячка. Попадется конское яблоко – и навоз будет клевать. А соловей ест только червячков». И поэты также, видимо.

М. Н.: Юр, это абсолютно вопрос профессионализма. Это каждый должен для себя решить: это я могу, а этого я не могу.

Ю. К.: Ну, вот ты мне говорила, я еще пацаном был: «Юра, главное в поэте – это чувство объема, чувство вкуса и чувство меры». У Пастернака, мне кажется, нет чувства меры. У Бродского не было чувства объема.

М. Н.: Пастернак, это я не в плане его ругать, кроме себя, в жизни ведь никого не видел. И, в общем-то, кроме себя, ничем не интересовался. Я не держу это за грех. Если мне скажут, что Моцарт также делал, да ради Бога! Но вот в чем дело: там, где он слышал свое, ему было простительно то, что многим непростительно. Исключая стихи о войне. И лучше бы он их не писал. Тут просто видно, что такое Пастернак. Каждая моя встреча с Пастернаком заканчивается одинаково: читаю, читаю, читаю, а потом – Боже! Как люблю Бунина. Потому как никогда такой энергии у Пастернака не было. Ты помнишь, в «Орде»? Почти эпический рассказ, как темной грудью ребенка кормит.

Ю. К.: Получается, что Пастернак – это поэт детали, мелочи.

М. Н.: Так и должно быть.

Ю. К.: Он пишет массу стихов, и чтобы сказать как Мандельштам: «*В Европе холодно. В Италии темно. / Власть отвратительна как руки брадобрея*»[40], Пастернак выписывает сто стихотворений. Я сейчас читаю книгу Дмитрия Львовича Быкова, я разлюбил и Быкова и Пастернака.

М. Н.: Ой, дашь мне почитать, я не читала.

Ю. К.: Конечно, дам. Я начал читать с восторгом, потому что вижу, что Быков любит Пастернака. Потом в середине книги я понял, что меня обманывают: и «1905-й год» хвалит, и «Лейтенанта Шмидта». Это вещи абсолютно недостойные русской культурной поэзии. Это написано, чтобы тебя не расстреляли. Я понимаю, когда Ахматова писала стихи, чтобы спасти сына. Пастернак, опережая события, отмывался заранее.

М. Н.: Это образ жизни. Когда домработница в белом переднике подает салфетку. Приходишь, открывают и спрашивают: вам назначено? Это оторопь просто. Как одна моя товарка любила-любила Пастернака, потом его разлюбила, наслышанная про его страдания… «*Как гордимся*

[40] О. Э. Мандельштам. «Ариост».

мы, современники, / Что он умер в своей постели!»[41]. Так вот моя товарка, вся дрожа, переехала в Переделкино и спрашивает: «Скажите, где дача Пастернака?» Она думала, что это домик в три окошечка. И услышала ответ: «Вы вдоль нее идете». И все.

Ю. К.: Для себя хотел бы прояснить вот что: мы тут как-то с Еленой Владимировной Шароновой даже чуть не поругались из-за этого. Она поняла так, что ты сказала, что Лермонтов больше Пушкина. А я ей говорю, что нет…

М. Н.: Я говорю, что влияние Лермонтова на русскую поэзию больше, чем у Пушкина. Ибо никаких прямых последователей я не вижу. Больше того, судя по тому, как пошла наша история, какой у нас национальный характер, все-таки мы зверски страстные люди. Я вообще считаю, что поэт интересен тогда, когда он один такой.

Ю. К.: Пушкин закрывал всю историю XVII–XVIII веков.

М. Н.: Мы же с тобой совсем забыли похвалить Василия Кирилловича Тредиаковского…

Ю. К.: К Державину и Тредиаковскому потом вернемся. Ломоносова вообще не трогали, Кантемира.

М. Н.: Мне вообще нравится XVIII век.

Ю. К.: Смотри, Пушкин закрыл германский век, романское влияние, три века в языке и в культуре.

М. Н.: Ну да, на русском языке дворяне тогда почти не говорили.

Ю. К.: Лермонтов, как ты правильно сказала, ниоткуда появляется, пишет «На смерть поэта» и становится номером один. Видимо, они просто разные функции выполняли. Пушкину нужно было просто зафиксировать состояние языка XIX века. Он умер, потому что ему просто нечего больше было делать.

М. Н.: Это кто сказал, чуть ли не Блок, что он умер, потому что он выдышал свой воздух.

Ю. К.: Лермонтов пришел… Пушкин сказал: все, можно. Как в армии. Так же Пушкин сказал Лермонтову – можно. Лермонтов сделал Полонского, Григорьева, Некрасова, отчасти Анненского.

М. Н.: Очень во многом Достоевского.

Ю. К.: Разные не функции, миссии.

М. Н.: Ты знаешь, я полагаю, что великие персонажи являются в истории не просто так. Существует такое слово – посвященные, наука его оплевывает. Посвященный – это человек, которому дано сказать то, что никто другой сказать не может. То, что они были почти рядом, это ведь страшно даже.

---

[41] А. А. Галич. «Памяти Б. Л. Пастернака».

ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ

Ю. К.: О Лермонтове. Лермонтов – это был просто великолепный кавалерист, командир, отчаянный рубака, военный человек. У каждого военного человека была вторая профессия. У Пушкина же не было никакой другой профессии, кроме того, что он был дворянином, а Лермонтов был…

М. Н.: Дворяне в то время служили все. Это было обязательно.

Ю. К.: Я знаю. Там после Павла I Александр I отменил военную службу как обязательную… Статская была.

М. Н.: Но Пушкин тоже начинал служить.

Ю. К.: Он был статским.

М. Н.: Зато Пушкин первым попробовал жить литературным трудом, но у него это не получилось.

Ю. К.: Да, не получилось. Долг сорок тысяч золотом.

М. Н.: «Современник» ничего не принес, кроме долгов. Ни один «Современник» не разошелся по миру.

Ю. К.: Так ведь и сейчас… Сейчас такая же ситуация.

М. Н.: Конечно.

Ю. К.: Я и говорю, что Лермонтов был профессионал в другом деле. Скажем, ты – историк. Профессиональный историк. Ты – профессиональный краевед, ты – профессиональный преподаватель. Я – профессиональный преподаватель. При этом мы еще стишки пишем, да? Лермонтов тоже профессиональный военный, вот что я имею в виду. Пушкин не был профессионально никем, он был последним вольным поэтом. Он мог жить, как хотел.

М. Н.: Да ты что!

Ю. К.: Лермонтов попадает на гауптвахту, а потом перевод в армию… и там погиб. Один отпуск у него был. Он приехал в один отпуск, потом эти письма дурацкие… И потом началась уже эпоха профессионалов-дворян, дальше все где-то работают.

М. Н.: Скажем, Донцова и Устинова живут весьма богато.

Ю. К.: Ну, это не литература.

М. Н.: По мне, между прочим, я бы и не согласилась жить так.

Ю. К.: Нужно было прогибаться.

М. Н.: Это называется, я извиняюсь, «чего изволите?». Зачем мне это надо?..

Ю. К.: Им говорит редактор: «А тут вот, знаете, у вас девушка одна, она какая-то блондинка или полноватая. Давайте, сделайте ее все-таки шатенкой и высокой, 90-60-90». Наташу Ростову метр восемьдесят.

М. Н.: Я ведь, прежде чем говорить, их всех перечитала. Стыда нет. Без стыда теперь жить легче. Совесть – понятно, это вообще очень большое отягощение. Но меня удивляет другое: товарищ Донцова сама вслух по телевизору так и говорит: «Для того чтобы писать, не нужны какие-то моральные ценности, какие-то философские идеи. У меня это ничего нет!» Тогда что ты делаешь в литературе?! Вот так, совершенно не стесняясь.

Ю. К.: Тогда это не литература.

М. Н.: Что касается деталей… Я, конечно, понимаю, что такое деталь… Но «*Ночь, как верблюд, легла и отдалила / От головы крестец…*»[42]. Самое главное: ты помнишь начало? «*Долина серая, нагая, / Как пах осла…*» – ну все, товарищи, хуже ада. «*Но тут семь дней жила моя подруга…*» – и все, и никакого «*паха осла*». «*Я сел на холм, где был ее намет, / Тут ветер дует с севера и юга – / Он милый след не заметет*». Больше никаких красок. «*Песок остыл. Холодный, безответный, / Скользит в руке, как змей». / Горит, играет перстень самоцветный – / Звезда любви моей».* И все. Это – Бунин. Здесь семь дней жила подруга – и все, и все это отодвигается, все приобретает совершенно другое значение. Мне еще очень нравится, тоже классная строчка: «*Ты, сердце, полное огня и аромата, / Не забывай о ней. До черноты сгори*»[43].

Ю. К.: Ну что, ты как себя чувствуешь?

М. Н.: Ничего.

Ю. К.: Нормально?..

М. Н.: Я в Иерусалиме в старом городе была в гостинице, где останавливался Бунин, там ничего не изменилось: те же камни, тот же дом, выход на площадь. Ничего-ничего! Такое ощущение, что он сейчас вышел, в ту сторону пошел, а я пришла с этой.

Ю. К.: Это где было, в Грассе?

М. Н.: Нет, это в старом Иерусалиме.

---

[42] И. А. Бунин. «Имру-Уль-Кайс».

[43] И. А. Бунин. «Кадильница».

Ю. К.: Ммм… Он же много жил в Грассе.

М. Н.: Там он жил, как говорится, в конце… А здесь он еще, так сказать…

Ю. К.: Он очень любил путешествовать, не мог сидеть на месте… У тебя сейчас идут занятия по истории…

М. Н.: Нет, у меня там стоит выставка, и там все выставлено, что положено на месяц: крупа, сахар – все это лежит. А тут у меня алюминиевые ложки, алюминиевые тарелки, суп, каша из отрубей и кисель. Кисель мы, конечно, брали пред тем, как гнилую всякую картошку терли на крахмал, а потом разводили воду с крахмалом – получался кисель.

Ю. К.: Это выставка, посвященная войне – пайкам, карточкам, да?..

М. Н.: Да. Сначала: Урал – фронту. Там одна витрина (поскольку воевала практически вся таблица Менделеева), в которой все выложено вплоть до драгоценного камня берилла, который добавляли в танковую броню для прочности. И тальк воевал, и асбест воевал для шин автомобильных…

Ю. К.: А берилл вместе с изумрудом воевал?

М. Н.: Нет, вместе с изумрудом александрит и фенакит. А берилл и изумруд… Практически это одно и то же, потому что изумруд – это берилл, набравший полный цвет. И тут же фенакит, и тут же александрит – безумно дорогие.

Ю. К.: Это в гимназии номер 210? А ты сколько там работаешь уже?

М. Н.: Лет 16 уже.

Ю. К.: Ма-а-а-а-ма!

М. Н.: Какие 16! Больше. Эту школу поскольку я придумала, это моя идея. С самого начала, 17 лет…

Ю. К.: Гриша был первым выпуском у тебя?

М. Н.: Гриша был первым.

Ю. К.: С первого выпуска уже прошло 4 года, так? Значит, 21 год, что ли?

М. Н.: Нет, почему… У нас дети же с 4 лет. 17 лет получается, да… Вот сейчас молодежь какая странная пошла: никаких девушек. Все сидят: компьютер, кнопочки, восточные игры. Это же ужасно!

Ю. К.: Это проклятие на два поколения.

М. Н.: Ну я понимаю, что это проклятие…

Ю. К.: …а потом оно пройдет.

М. Н.: Я понимаю. Я все говорю: «Гриша, посмотри, какая красота пропадает!»

Ю. К.: Слушай, а какие еще предметы ты там ведешь?

М. Н.: Я уже уходить хотела… Я вела языкознание для школьников – совершенно классный предмет, дети у меня были вот с такими башками. К тому же никто не уставал, никто не баловался, радовались, что их чему-то учат. Это – наука обо всем.

Ю. К.: А учебник вышел, кстати?

М. Н.: Нет. Нет, никому это не надо.

Ю. К.: Ты проводишь уроки, я знаю, прямо на природе.

М. Н.: Да, с детьми.

Ю. К.: В Палкино ездите, печи там смотрите, да?

М. Н.: Палкино – замечательное место, ты был там? Древние печи стоят там – это невероятно!

Ю. К.: …железоделательные печки.

М. Н.: Меня просто поражает – такого больше нет нигде в мире: стоят древние печи. Ученые бьются уже много лет, чтобы объявить там заповедник. Нет, ничего подобно! Их интересует только то, с чего можно взять и выкачать немедленно деньги. Вот правда! Я когда привезла туда французов, они ползали у меня на коленях и руками их гладили. Печей там много! Я вот говорю: как делали печку? Ставили валун (люди были всегда очень умные). Валун такой большой и такая природная выемка, они ее углубляли туда, под стенки, тут делали сток – это был горн, нижняя часть печи. Ну, каменная печь за тысячу лет, конечно, разрушилась по камешкам. А это все осталось! Я говорю: вот, товарищи, тут пробивали, и стекал металл. И вот это остаток от древнего поселка: каменоломня, откуда они брали камни… Все есть.

Ю. К.: У тебя же такие природные уроки не только печкам посвящены. Я знаю, вы в Синячиху, например, ездите.

М. Н.: Да. Синячиха – прекрасное место. Сейчас поедем в Невьянск.

Ю. К.: А что там? Башня?

М. Н.: Ну да, башня… Сейчас они там хотят восстановить кусок старого цеха и т. д. Заводской Урал уходит, разрушается… В Екатеринбурге, в «старом городе», уже больше ничего нет. В Тагиле еще можно что-то посмотреть, но он уже тоже «оброс этажами». А вот есть такая идея – в Невьянске реставрировать старый завод, было б очень хорошо, если б сделали. Посмотрим, не знаю, что получится. Стоит ведь это все очень недешево. Но все это приносит очень неплохие деньги, если этим заниматься с толком.

Ю. К.: Если разработать маршруты…

М. Н.: Вот французы сюда приехали, им дали какое-то официальное лицо, они сказали: «Здесь ничего интересного, делать здесь нечего». На следующий год приехали – со мной познакомились. Шестой год едут-

едут-едут. Я их привезла в Каменку и рассказала, что такое река Чусовая. Вы знаете, что такое река Чусовая? В мире ничего подобного не было! Есть Урал, где Петр I поставил нашу промышленность. Самый мощный в мире завод, который при царе был, – Екатеринбургский железоделательный завод. Это чистая правда. Завод был полного профиля, 30 цехов. Что такое «полного профиля»? – Руду загружаем, выплавляем металл и из металла делаем все, что надо. Не только военную продукцию, но все: дорогую посуду, проволоку, листовое железо – все делаем. А дорога в то время была одна – река Чусовая. Это единственная река, которая течет с Урала в Европу. В Сибирь, скажем, – Тура, Исеть. А тут – река Чусовая. Река Чусовая – мелкая, с каменным дном, ужасно капризная горная река и очень петлявая. Но это единственное место, по которому можно было гнать железные караваны. Железные караваны – это пушки, ядра и вообще железо. Значит, вот их нагружали – это баржа или дощаник – и они немедленно садились на дно, потому что в реке не было воды и не было течения, чтобы его поднять и толкать. Тогда делали следующее: на каждом притоке ставили плотину – накапливался пруд. В итоге: здесь – пруд, здесь – пруд. А дальше получается следующее: вот я нагружаю караван и спускаю в этот пруд. Река толкает караван. И по всей реке такая история.

Ю. К.: Прямо барки стояли на реке…

М. Н.: Шлюзы построены, обводные каналы… Я сама специально, чтобы рассказывать детям, приехала на Чусовую, где Межевая утка (Межевая утка – это разграничение: здесь порты Демидовские, а здесь – Строгановские), и перешла реку Чусовую, товарищи, только юбку подняв! Вот и вся река Чусовая. И по такой реке гнали… Это жуткое дело! Это немыслимый труд и какая должна быть потрясающая четкость работника! И после этого мне говорят, что русские плохие работники?! Я говорю французам: «А вы пойдите встаньте в реку – это ж видно, что она же никакая!» Там стоит мужик, рыбу ловит – посередине реки в резиновых сапогах до колена. …И вот так [судно] спускали – вода «ахает» – и так по всей реке…

Ю. К.: …организовывали поднятие воды.

М. Н.: Кроме того, там ведь берега, как стены каменные. Так вот, этот дощаник, на который грузили металл, истирался до такой степени, что когда он доходил до базы, где впадает Чусовая в Каму, он годился только на дрова. Заметьте, каждый год здесь строили флот!

Ю. К.: Одноразовый…

М. Н.: Да, одноразовый флот. Каждый год! То, что здесь было, – это невероятно. Это нужно изучать в школе, все дети должны это знать. А нам что говорят? Нам говорят только одно: «Там хорошо, а у нас – плохо»!

Ю. К.: В Каменке углежоги жили, они снабжали углем всю железоделательную промышленность.

М. Н.: Тоже жуткая работа! Жуткая работа, самая страшная смерть. Вся металлургия работала на древесном угле. Во всем мире. Мы еще не отставали ни от кого. Нужно было лес пережечь в древесный уголь. В зависимости от того, в низине оно растет или на вершине, от пород дерева – укладка разной степени сложности, для этого нужно быть большим профессионалом. Вот его укладывали, зажигали, закрывали вот таким слоем дерна, и без доступа воздуха он превращадся в каменный, в древесный уголь. Сам. Но нужно было проходить и проверять, чтобы тепло со всех сторон было однородное, одинаковое, чтобы уголь был хорошего качества. И вот самая страшная смерть была – это провалиться туда, потому что никто тебя не вытащит. Жуткое дело! Так вот: эти угольные кучи («кучонки» называются) были по всему Уралу, ибо уголь должны на завод возить постоянно. Есть в Сысертском музее открытка: большой Сысертский пруд и на нем – сейчас покажу – такая вот лодочка, а на маленькой лодочке – короба с углем. Он же легкий. И на пруду – десятки лодочек, все с углем. Тут стоит человечек, на завод везет уголь. Мало того, что все это интересно, все это – весьма героическое дело. Были люди, которые в это так вживались, которые это так любили, что расстаться с заводом не могли. Это те, которых это место держит. Есть те, кого не держит, а этих – держит.

Ю. К.: Есть силы еще? Я боюсь, что ты уже устала.

М. Н.: А что еще?

Ю. К. :Я хотел бы про уральских поэтов спросить.

М. Н.: Ой, про уральских поэтов вопрос сложный. Ты сам понимаешь, для того чтобы поэзия существовала, нужен воздух, в определенной степени насыщенный культурой. Дело в том, что как бы ни были могущественны заводы, как бы они ни были прекрасны, это несколько не тот воздух.

Ю. К.: Это не та культура.

М. Н.: Это очень высокая культура! Дело в том, что металлургическое производство – это очень наукоемкое производство, умные люди обязательно при печах были, без этого не мог работать завод. Но совершенно определенного профиля. Притом раньше, в XVIII веке, это были просто мастера, стоящие при печах. В XVIII веке начали появляться инженеры (в XVIII веке поначалу совсем не было своих специалистов: брали иностранных. Они, конечно, были очень честные и достойные люди, хотя бы тот же де Геннин, но они не были людьми нашей культуры и не работали на создание этой структуры. К тому же они жили тут временно. Потом

начали появляться наши). Что касается каждого иностранного мастера, в договоре у каждого было, что он должен обучать русских, но это не все делали. Многие относились к нашим точно так же, как нынешняя Европа, с неким таким презрением, поскольку они лучше, а мы – хуже. Но люди, преданные делу, скажем, такие титаны, как Демидовы… Но сами понимаете, что это были люди только при печах и т. д. Хотя, если разобраться в том, что они знали, почитать их письма, где они пишут все: о качестве известки, песка, глины – ну это что-то просто невероятное, как много знали. Но это совершенно профильные люди. И вот когда у нас стали появляться русские инженеры в XIX веке, в 30-е гг., например, стали появляться горные журналы и т. д., то есть появились люди, которые не просто работали, но были еще и людьми, выполняющими культурную миссию. Так их и учили: горных инженеров, металлургов, дорожных и т. д. Ну вот, например, Гарин-Михайловский был дорожный инженер – очень такой пример выразительный. Так вот, когда они стали появляться, климат стал несколько меняться. Почему трудно было измениться здешнему климату? Здесь все называлось не «город», а «завод» – и были только те люди, которые необходимы заводу. Лишних людей здесь просто не было. Человек, который, так сказать, пишет стихи или прозу, просто заводу был не нужен. Канцелярист, который записывал, – это ладно, экономист там, бухгалтер… А этих просто не было. А начали появляться они достаточно поздно. Начали они появляться, когда в 61-м году отменили крепостное право на Урале… «Золотой век» на Урале – это ужасно интересно. Вообще, промышленники на Урале, купцы – это все жутко интересные люди, широкие, крутые, орлы, но они все старообрядцы. Вообще, промышленные церкви старообрядцы поставили. Но, надо сказать, что правительство всячески препятствовало тому, чтобы дети старообрядцев получали хорошее образование. И поэтому, когда в XIX веке начались вот эти единоверческие церкви как раз для того, чтобы ослабить старообрядцам, во-первых, карьерный рост, а во-вторых, чтобы их дети не учились, и вот когда стали появляться здесь инженеры другой закалки, а тем более, когда стали появляться ученые мощного, крупного масштаба, допустим, тот же Фёдоров, который стал основателем науки кристаллографии…

Урал был настолько богат, всего здесь было настолько полно, что помощи ученых долго не требовалось. Я беру каелку, руду кайлаю и в печь везу. И вот когда стали иссякать в какой-то мере месторождения, то возник вопрос: почему? И тогда стали приглашать ученых, например, Фёдорова, Карпинского. Эти ученые, когда сюда попадали (скажем, завод их приглашал на зарплату), очень многие жили здесь подолгу, потому что трудно было расстаться. Человек, который занимается геологией, с Ура-

лом расстается с большим трудом, потому что здесь невероятный геологический рай, здесь сплошные геологические чудеса. Но когда здесь появились вот эти инженеры, ученые, и когда появились эти химии, сразу атмосфера начала меняться. Музыкальные вечера, домашние театры – это все началось очень бурно. И еще одно (я об этом уже говорила): во времена Мамина-Сибиряка в городе было 30 тысяч населения. Города же были просто очень маленькие, потому что, действительно, главное – промышленность.

Когда такое изменение пошло, климат в городе стал решительно меняться. Самым заметным был, конечно, Мамин-Сибиряк, хотя, скажем, здесь был Казанцев, который на местные темы писал (он сам из семьи золотопромышленников был). И даже ставили драмы, пьесы. Но высокопрофильной литературы еще не было. Несколько позднее Носилов хорошие этнографические сочинения писал… Что касается первой поэзии – вот Елизавета Гадмер, женщина красивая с судьбой трагической, но вот стихов хороших это еще не обещает. Правда, не было воздуха, которым здесь можно было б дышать. Это точно. Хотя, между прочим, уже были домашние библиотеки… Вот скажем, литературный салон, заметьте, был один – у Марии Якимовны Алексеевой, жены Мамина-Сибиряка. Все-таки один на город! Если посмотреть, чем они там занимались: всякие эпиграммы друг на друга, розыгрыши, разговоры о литературе. Дружеский круг… Кто туда входил? Адвокаты, скажем… но это не то. Не люди, которые будут профессионально заниматься литературой. Самыми профессиональными там были как раз Мамин-Сибиряк и Мария Якимовна. Мария Якимовна ему руку-то поставила. Это вне всякого сомнения. Это конечно, я ничего не придумала.

Е. Д.: А в ваше время Вам хватало этого воздуха?

М. Н.: Когда?

Е. Д.: Ну вот в ваше время?

М. Н.: Сейчас, сейчас мы до этого времени дойдем… Действительно, воздуха было мало. Потом в какой-то мере он начал крепнуть, город сильно вырос после революции. В революцию и Гражданскую войну – это сильная разруха, заводы встали, что для Урала очень тяжело: остановка заводов – это остановка жизни, это очень тяжело переносится. А потом начался подъем, когда стали строить большие заводы, когда Свердловск стал флагманом социалистической индустриализации, когда строили огромные заводы – Уралмаш и т. д. Вот тогда сюда пришло много народу, много молодого народу. Ибо это строили не только на костях зэков, это не совсем так. Здесь правда было очень много людей, которые любили это дело, и энтузиазм был неподдельным. В Магнитогорске был

Борис Ручьёв, который… ну, правда, почитайте – это все правда, никакое не вранье. Более того, Борис Ручьёв – интересный поэт. Да это все понятно: то, что он хотел сказать, это он и сказал – вот этот энтузиазм комсомольской молодости, когда они построили город, и вот он стоит. Какие-то литобъединения начали возникать там, где люди уже пробовали заниматься литературой профессионально. Это было как раз где-то в эти годы, перед войной. Во-первых, в эти годы заводы стали подниматься, это правда, здесь повлялись умные люди, всякие инженерные, конструкторские и пр. – они должны были быть здесь. Воздух категорически менялся, но этого было еще недостаточно, чтобы здесь хорошо писали.

Что касается писавших в предвоенные годы, я никого не могу выделить, чтоб сказать: «Вот классный поэт». По причинам, знаете ли, многим. Вот, скажем, возьмем Николая Алексеевича Куштума. Я говорю про Николая Алексеевича, потому что я с ним была знакома, как-то с ним разговаривала. Он сам подошел со мной познакомиться, я бы никогда не подошла… У него был свой, такой интересный, приятный голос, такой, знаете, фольклорно-частушечно-залихватский. Такой вот: «…та-та-та-та-та, та-та-та-та-та, а к концу второй недели дружба в драку перешла»! Вот это был он сам. Николай Алексеевич Куштум лично рассказал мне историю создания песни *(поет):*

Кто тебя до самой зорьки ждал
И по переулкам замирал от страха,
Кто тебя по кабакам спасал
От ударов финского ножа.
Так что же, брось, ну брось,
Жалеть не стану, я таких, как ты,
Мильон достану (или «вагон»),
Ты же поздно или рано
Все равно ко мне придешь.

Так вот эту песню написал Николай Алексеевич Куштум. История очень интересная. Он, как вы знаете, был невысокого роста… Очень часто (это просто закон природы!), когда мужчины, скажем, «моего размера», они безумно любуются вот такими орлами, мужиками! Это правда, всем охота таким быть! Тут природа права. И вот Николай Алексеевич точно также поступал. Однажды в городе Ростове-на-Дону, который тогда был бандитской столицей («Одесса – мама, Ростов – папа»), едет он в автобусе или трамвае, и вдруг видит: стоит эдакий мэн: плечи – во! голова – во! И подходит к нему кондуктор и говорит: «Билет!» И тут он втягивает плечи… – понятно, что билета нет. И тут Николай Алексеевич сует ему свой билетик, спасая мужскую честь. Мужик билетик

предъявляет, соскакивает на остановке и уходит. И вот через несколько дней идет он по улице, к нему сзади подходят два таких же орла и говорят: «С нами пойдешь, Ваня». Приводят его в какой-то дом, сидит там этот товарищ: оказалось, «пахан», авторитет номер один. Вот он говорит: «Ты меня выручил, я твой друг, тебя больше никто не тронет, все девки – твои, вся водка – твоя. Все. Живи, как хочешь! Я тебе гарантирую, что я тебя прикрою». Николай Алексеевич, надо сказать, с одной стороны, обрадовался, с другой – испугался… Такое освоить, знаете, тоже нужно иметь ресурсы… Вот так. Но само по себе, что он вот в это «орлиное гнездо» попал!.. Да… Сколько-то они там пообщались, потом сложилось так, что надо было уезжать, и он оттуда уехал. И вот эту песню он написал. Эта вот песня, она вполне «контачит» с тем его молодым голосом, от которого он категорически отказался… Знаете, не думаю, что потому что его заставили, нет. Вот просто время «пережало». Дело в том, что не обязательно нужно было наступать на горло своей песне, иногда просто время решало за тебя. И вот так, если его читать, по строчкам кое-где это прослеживать, то просматривается, что этой залихватской лихости уже нет. Чего очень жалко.

Надо сказать, для того, чтобы устоять, надо быть, товарищи, как Тарковский. Тогда, чтобы тут ни творилось, нужно жить не в конкретном сегодняшнем дне, а в каком-то ином. И, решая свои проблемы в конкретном времени, так сказать, оставаться в этом, что, в общем-то, не каждому дано. И для этого нужно иметь, правда, другую закалку. И вот с очень многими людьми вот это произошло (как с Куштумом).

А дальше скажу так: поэтому никого особо выделить не могу, что тут вот кто-то, например, очень хорошо писал. Не знаю. На Урале есть один путь – путь Мамина-Сибиряка. И то – номер два. Номер один, конечно, Павел Петрович Бажов. Здесь есть одна фигура, очень мощная фигура человека, который чрезвычайно, очень много сделал для нашего миросознания, мировоззрения. Вы представляете, что получилось: когда вышла «Малахитовая шкатулка», Урал был весь в заводах, в лагерях, весь уже в предвоенной горячке и флагман социалистической индустрии. И вдруг выходит… Люди читают Данилу Мастера – и все немедленно заявляют: «Да, это я». То, что произошло, было абсолютно невероятно. Надо сказать, что до сих пор никто, кто бы ни предлагал нам какого-нибудь «Каменного пояса», где там облаяли Демидовых, никто никогда не стер впечатления, оставленного «Малахитовой шкатулкой». Что правда, то правда. Больше того – собственный его жизненный опыт… как вам сказать… Вот если я – это земля, я буду жить так, как все живут. Вот маленький дом без удобств, грядка картошки во дворе, подшитые валенки… Как все, так и я.

Хотя, между прочим, как депутат Верховного Совета, мог спокойно жить в Москве в квартире со всеми удобствами. Никогда бы этого не было! Урал в этом отношении… и сейчас кое-что осталось. А тогда это было четко: это ему все помнили, это все понимали, и когда он умер, в лютый мороз, несколько кварталов очередь стояла – «Вот это наш человек!» Этот масштаб и калибр еще никто не переплюнул. Еще и потому, что этой работы больше никто не выполнит. Никто больше не может вернуть нам память на 10 тысяч лет в глубину только потому, что он это уже сделал. То, что он сделал, – это потрясающе, ибо он этот мощный угорский пласт поднял, всех этих угров древних (потому что все эти древние металлурги, все это были угры)… Мы пришли на землю, насыщенную памятью, и мы, в силу безумной нашей восприимчивости, эту память вдохнули и понесли в себе. Сами того не понимая. И Бажов преподнес нам это как наше собственное. И мы это восприняли – как родниковую воду выпили. Это очень здорово. Вот так, так что, на мой ум, это фигура титаническая.

Так, что касается того, что было здесь в мои молодые лета. Что касается, допустим, Льва Сорокина, Шкавро, Станцева… Ой, такой был майор! Крутой, лихой… Кстати, очень хороший был товарищ, очень хорошо ко всем молодым относился. Я вам так скажу: меня никогда не волновало печататься, издаваться и быть признанной – меня никогда это не волновало! Поэтому я никаких сложностей, перипетий не знала, меня это не мучило – не нужно мне это было. Но надо сказать, то, что касается вообще молодых, то да. Конечно, особо дороги не давали… Вы знаете, все было как (я вам об этом уже говорила): в советское время все было исключительно честно. Все было гораздо честнее и правдивее, чем сейчас. Если ты работаешь на власть – она тебя оплачивает, чем лучше ты работаешь, тем лучше она тебя оплачивает. Писателей это касалось в полной мере. Если ты к ней нейтрален – то и она к тебе нейтральна. Все было абсолютно ясно. Но тут существовала градация гонораров: самые высокие и ниже. Я никогда не получала много, самая низкая зарплата всегда была моя. Но я, кстати, об этом только потом узнала, меня это никогда не волновало, это действительно чепуха.

Но были люди молодые… Скажем, Слава Терентьев, Володя Кочкаренко, мне за них очень обидно, потому что для них это… Они бы работали иначе. Дело в том, что есть люди, которым это очень надо. Что же касается мужчин, то это вообще им надо. От природы. Их труд должен быть замечен, отмечен… Это правильно. Что касается бабы – она и есть баба: если я ребенка на коленки посадила – «Да идите вы со своим признанием! Вот у меня какая Манечка…». Я и сейчас знаю, что моя Манечка гораздо лучше Нобелевской премии. Нобелевская премия рядом с моей

Манечкой – просто прах. Вы что! Так что вот… Мужчины устроены иначе. Когда у человека первая книжка выходит в 40 лет – конечно, это подло настолько… Для человека талантливого нет ничего разрушительнее в жизни, чем обида. А никакое там не сидение в кочегарке!.. Да что вы там говорите! Это были салоны тогда литературные, там классные люди тогда сидели… И больше того – это никого не унижало. В то время никаких сильно талантливых людей здесь не припомню.

Что касается Бори Марьева… Боря Марьев был человеком значительным, интересным, он был фигурой. Боря жил в своем времени. Боря болел проблемами марксизма, его очень увлекал этот Маркс. Я ему говорю: «Боря, ты что, с ума сошел? С чем ты носишься?», а он мне говорит: «Вы, женщины, не понимаете». Как он сказал когда-то: «Ну вы понимаете, Майечка – она какая-то камерная… как… как Мандельштам». – «Боря, стоп!»

Все дело ведь не только в том, печататься или не печататься. Люди ведь хотели, чтобы их признавали, чтобы они «играли роль». Во влиянии, в услышанности – вот в чем дело. А так-то кто тебе мешает писать? Купи пачку бумаги и пиши. Но вот эти места, еще раз говорю, на которых люди сидели, – они были оплачены и т. д. – они были заняты. И двигаться никто не хотел. Еще скажу: люди, которые на этих местах сидели, они, правда, честно отрабатывали свой хлеб. Мне трудно это предположить, но я могу это предположить… Может быть, они правда были искренни?.. Кто его знает?.. Я вам скажу, почему так думаю.

У меня есть один старый знакомый, который был за Сталина: «Я буду за Сталина! Потому что мы сидели все голодные в избе, и нам не в чем было выйти на улицу, но пришли люди со списками, дали нам пальто и ботинки. И я – за Сталина». Этот человек правду говорит. Поэтому, действительно, ситуация в этом отношении была достаточно напряженная: молодые мальчики, которым хотелось…

И еще я вам скажу: я не могу сказать, что люди здесь в 60-е годы писали хуже, чем московские. По-моему, нисколько. Более того, я до сих пор полагаю, что у Геры Дробиза есть очень хорошие, умные стихи. Но Гера Дробиз, к сожалению, предпочел быть юмористом… Его «Прощание с голландкой» – это очень хорошая вещь! Саша Воловик уехал в Израиль – очень умный, образованный человек. Но фигурой номер один считался Боря Марьев только потому, что он соответствовал времени идеально. И еще потому, что он был внешний знаковый лидер. Не подпольный лидер, который контролирует ситуацию, а который кричит громче всех. Самый заметный. А поскольку он был человек очень открытый, к нему можно было прийти, вокруг него всегда были люди. Хотя я и

тогда считала, что у Геры и у Саши Воловика стихи были интереснее, чем у Бори, но ко времени больше всего подошел он. Тогда ведь было такое время, когда писали сплошь все. Атмосфера начала меняться в войну: город Свердловск нежданно-негаданно вдруг превратился в мощный культурный центр. Сюда перевели академические институты, Эрмитажевские коллекции. Приехали всякие писатели, артисты. А потому уже городу было нельзя ронять планку. Здесь были очень хорошие театры, филармония… Это тогда город стал зверски читающим. Что касается 60-х годов, то об этом, товарищи, даже трудно говорить: мало того, что все стихи писали, но и все кругом читали! Господи, кто на Свердлова залезет – со Свердлова читает, кто на забор! Кто откуда, все сплошь… Бывало, идешь по улице – кто бы ни шел там, спросишь: «Новую книгу читал?» – все, дружба! пошли вместе! И пили. Да, и пили. Сейчас столько не пьют. Все эти люди – Слава Терентьев, Боря Марьев, они отличались. Была прорва людей, которые стали писать…

Ю. К.: Лобанцев…

М. Н.: Да, Лобанцев… Но всегда были люди категорически нестандартные. Скажем, был здесь Юра Трейстер – мой верный, преданный друг.

Ю. К.: Кто такой?

М. Н.: Да Юра Трейстер – это тот самый, который… я вам сейчас прочту. Ничего не осталось от его творений. Когда Вова Кочкаренко устремился на Камчатку… Я Юру так отговаривала! Я говорю: «Парень, ты с ума сошел! Ты совершенно другой человек. Там, где они выживут, ты не выживешь…». Ну Юра там и погиб. Очень умный человек… Такого печального, очень интересного ума… Стишочек у него такой был:

Это было под Энском,
Это было давно.
Может быть, при Керенском,
Может быть, при Махно.
Станционный смотритель,
Нигилист молодой,
Не взирая на китель,
Щеголял бородой.
И однажды под газом,
Прошептав «I love you»,
На перроне под вязом
Он увлек попадью.
Это был под Энском,
Это было давно.
Может быть, при Керенском,

Может быть, при Махно.
Над Россией заря
Октября поднималась –
Так что, в общем-то, зря
Попадья упиралась.

Ю. К.: *(Смеется.)* Классно!

М. Н.: Да классно, конечно! Очень глубокого, нестандартного ума был человек. Он мне написал стихи, которые я до сих пор помню, они у меня целы. Он мне написал такие стихи:

Ты помнишь, я тебя тогда у Нила встретил:
Я был рабом, ты проходила мимо,
Царица мира, дочь Звезды,
Ты аметист с браслета уронила…
Не оскверню молитвой слуха,
Я только камень покажу.
Я снова раб, тебе служу,
Царица, вели не опускать ресниц…

Вот понимаешь, Нил, Египет, аметист – ничего этого он не знал. Но вот такой…

Ю. К.: …талант.

М. Н.: Талант, да. Очень любопытно, как уехал он на Камчатку. Товарищи, я его держала за руки! Потом приехал и говорит: «Я там борюсь со скупостью» – «С чем ты, Юра, борешься?» – «Со скупостью». Я говорю: «Юра, помилуй! Какая скупость? У тебя гроша никогда не было! У тебя копейки не было! А как борешься?» – «Вот, – говорит, – получу зарплату, выхожу и раздаю алкашам…» – «Ну, Юра, – говорю, – классно». Вот так борется со скупостью. С какой скупостью? Вот стал, значит, улетать: раз – не улетел, собрал деньги – пропил. Второй раз собрал деньги на билет – пропил. Третий раз… Я говорю: «Юра, я даю тебе деньги – уезжай…» Сижу я, значит, приходит Валька и говорит: «Ты знаешь, где Трейстер?» Я говорю: «Нет». – «Он сидит в ДРИ и пьет». Я говорю: «Ну-ка, поди, сюда его верни». Вот привел Трейстера, я говорю: «Юра, давай так: давай, мы тебя проводим. Я тебя посажу прямо в самолет». Проводили мы его, посадили, и я ему сказала: «Юра, как только ты прилетишь, немедленно посылай мне телеграмму!» А через день приходит мне телеграмма: «Прибыл благополучно. Крейсер».

Ю. К.: *(Смеется.)*

М. Н.: Внизу написано: «Подтверждаю: “Крейсер”. Диспетчер такой-то». *(Смеется.)* Это все к тому, что никакого единообразного го-

ворения здесь не было. То, что я вам рассказывала, – это человек совершенно другого калибра, другого уровня. Но я, конечно, еще не говорю про Костю Белокурова – человек такого потрясающего ума, такой немыслимой образованности, такое бывает раз в век. Жуть! Как он сказал: «Все европейские языки знаю, но вот с угро-финнами у меня не контакт!» А так: немецкий, английский, французский, итальянский, испанский, славянские языки… Но с угро-финнами не контакт. Это я говорю к тому, что тогдашняя атмосфера в городе очень менялась. Никакого единого железного настроя уже не было.

Ю. К.: Воздух появился.

М. Н.: Да, появился. Обычно было как? Когда человек начинал чуть-чуть обретать какое-то имя, он немедленно уезжал в Москву. Ничего особенного он там не значил, никаких особых высот не достигал. Можно считать, ситуация изменилась тогда, когда люди, которые пишут хорошо, стали оставаться жить здесь – и им этого места хватает. Между прочим, те люди – Вова, Слава – это было одно дело, а что касается того, когда был Юра Казарин, Леня Ваксман, Сережа Кабаков, Аркаша Застырец, – это, товарищи, были абсолютно другие люди. Они абсолютно разные! А ведь между ними разница каких-то 15 лет.

И сейчас, между прочим, все очень меняется. Сейчас город категорически отличается от столиц: у нас никто не пишет коммерческой литературы, никто не занимается литературным бизнесом. То есть никто на потерю лица не идет. Это просто здорово! Что касается Сережи Кабакова, которого я всегда любила отдельно, он сейчас та-а-ак Катулла переводит! Просто с ума сойти можно, настолько здорово, хорошо. Жизнь, конечно, смягчения климата и улучшения не обещает. Прогнозы делать трудно, жизнь есть жизнь… Существует путь Оли Славниковой, она уехала и пишет то, что нужно там. Или вот Слава Курицын: ничего хорошего он сейчас не пишет, но тем не менее там, и классную книгу о Набокове написал.

Ю. К.: Саша Иванченко же вернулся…

М. Н.: Когда он уезжал, я ему говорю: «Саша! Вот ты-то думай!» Потому что, если уж говорить, то Саша Иванченко – не Оля Славникова. То есть я не то что сравниваю, но они совершенно разные люди, разный голос…

Ю. К.: А у тебя никогда не появлялось мысли уехать?

М. Н.: Я хотела уехать только в Севастополь. В Севастополь много лет хотела уехать… Но, Юрочка, Бог не фраер! Пока вся моя семья лежала больная…

Ю. К.: Время ушло…

М. Н.: Да, Юра… Ты не можешь себе представить, как я Богу благодарна. Что бы я там делала, если б уехала к ним туда, на Украину? Я более того скажу – все мои блистательные товарищи – горноспасатели, они этого бы никогда не пережили. Это жуткое дело. Представить трудно, как правительство, государство может разрабатывать план по оскорблению, дискриминации, поливанию грязью такого героического места, как Севастополь. Это что-то страшное. И то, что у них там было (называется «третья оборона»), когда они все с лозунгами стояли: «Севастополь и Россия»; «Утрата Севастополя – национальный позор». Там когда корабли пошли в Абхазию, в Северную Осетию, они сказали, что мы не пустим вас назад… А там же все сделано очень по-хитрому: вот так вот бухта, а тут выход к морю. Вот наш флот здесь, а здесь – украинский. Не выпустить – запросто. Там подлости же полно. Так ведь на берегу стояли с плакатами…

Ю. К.: Аренда 43 млрд, что ли, в год… Самая дорогая база в мире.

М. Н.: Это Борис Николаевич Ельцин.

Ю. К.: Самая дорогая база в мире. Это, во-первых, Хрущёв сначала, а потом товарищ Ельцин.

М. Н.: Хрущёв никогда не отдавал Севастополь. Никогда! Мурманск, Владивосток, Севастополь и Калининград всегда были в прямом управлении Союзом и никогда не передавались никуда. И Лужков совершенно прав. У меня в пакете документы лежат изданные, что Бахчисарай и Севастопольские места Украине никогда не принадлежали.

Ю. К.: Как получилось тогда это все?

М. Н.: Ельцин дал «добро». Кравчук… я два раза слышала, как он по телевизору говорил, что Крым давайте нам, а то за нас не проголосуют, и мы потеряем такого союзника. Хотя искать союзника в кравчуках – дело пустое. И он говорит: «Я его два раза переспросил: “Как?! Вы Крым нам отдаете?!”». Это исключительно Ельцин. Это ужасно. И то, что говорил Лужков, которому запретили въезд в Севастополь, он говорил, что все же документы правомочны, мы можем в Европейский суд идти. Они у меня лежат в пакете изданные. Там был такой Третий оборонный штаб… Это все правда: Севастополь никогда не принадлежал Украине. Если так честно-то говорить, при нынешнем вооружении флот запереть в Черном море!.. Да ты что!

Ю. К.: Легко…

М. Н.: Запросто. Из любой точки Турции – до Мурманска, так о чем говорить…

Ю. К.: Но есть еще Балтийский флот. Северный флот… И никакие украинцы там не артачатся…

М. Н.: Нет, было, конечно, совершенно героическое дело, когда наши стали уводить флот оттуда, и когда там их напрягали с украинской присягой. Жуткое дело мужики вынесли!

Ю. К.: В фильме «82 метра» моряки в море уходят – с головой…

М. Н.: Это ужас какой-то… Когда у них День флота (это праздник номер один), все на улицу выходят, обнимаются, дарят друг другу цветы, все эти роскошные офицеры, мальчики в формах… Последний раз я была в Севастополе в позапрошлом году: ни одного человека в мундире в Севастополе не было. Вот до чего дошли!.. Я проутюжила всю набережную… Ни одного! Вообще, все более и более страшные времена наступают. И никому не стыдно!

Ю. К.: Страшные в каком смысле?

М. Н.: В плане полного расчеловечивания. Просто ужас какой-то…

Ю. К.: Майя, мы остановились на уральских поэтах. Может быть, мы продолжим? Я бы хотел об Алеше Решетове отдельно поговорить.

М. Н.: Вот про Лешу Решетова мне говорить трудно.

Ю. К.: Мы можем вместе говорить. Алешу я узнавал на твоей кухне. И ты мне, я помню, подарила книгу «Чаша», квадратную такую.

М. Н.: Надо сказать, к нему всегда хорошо относились в Перми, его всегда прекрасно издавали. И такой, допустим, ситуации, как у нас, с нашими ребятами молодыми, у него не было. А наши ребята умирали от того, что книг их не издавали. С Лешей этого никогда не было. Они относились к нему как к достойному внимания.

Ю. К.: Вот интересно, к нему и власти нормально относились, издавали книги.

М. Н.: Да-да-да. Вспомним, ему же в центре Перми дали большую трехкомнатную квартиру.

Ю. К.: Это удивительно. Уникальный случай, получается.

М. Н.: Да нет, как тебе сказать… Леша, слава тебе, Господи, как всякий человек истинно талантливый, политическими, идеологическими, социальными проблемами, слава Богу, не занимался.

Ю. К.: Он писал «чистую лирику», как говорят, да?

М. Н.: Вообще, зависимость человека пишущего, хоть он прозаик, хоть поэт, окромя журналиста, от всяких идеологий, тоталитарных режимов гораздо меньше, чем нам это постоянно внушают. Гораздо меньше!

Заметьте, что во всех наших руководящих писательских инстанциях сидели не какие-то совсем дураки, ухо-то они имели.

Ю. К.: Да-а-а… «Паровозики» нужно было писать. У Лехи были паровозы? Ну, были…

М. Н.: Это не паровозы. Что касается темы войны или работы под землей… А он работал в шахте!

Ю. К.: Дело святое.

М. Н.: Вот он работал в шахте, и, надо сказать, что человек, работающий в шахте и не могущий оттуда уйти (а он ведь мог уйти, но не ушел), человек, «удержанный» шахтой, имеет с трудом совершенно особые отношения. Помнишь, приходил к нам в литобъединение такой Коля Жеребцев?

Ю. К.: Да.

М. Н.: Очень хорошие стихи пишет, очень хорошие… «Перепелки» его превосходны. Я ему сказала: «Все, Коля, все! Забудь свои туристические песни!» Он как раз институт кончил, работы нет, то-се, поехал в Тагил, там у него всякие печали жизненные, пошел он в шахту – и что? «Я, – говорит, – даже представить не могу, чтобы я где-то в другом месте работал».

Ю. К.: Нет, ну мне кажется, любая работа…

М. Н.: Нет, шахтная работа совершенно особенная. Как Урал дал истории России какое-то новое измерение, подземное, точно так же происходит и с человеком. Ты в шахте был?

Ю. К.: Да. Был. Это состояние как-то связано с геологией?

М. Н.: Ну как тебе сказать, не с геологией… В шахтах до сих пор живы все приметы, все эти обереги… Как Коля сказал, в шахте до сих пор вагонетку называют каретой Хозяйки. И то, что Коля записал, – вот эти все разговорчики – это нынешний фольклор. Это у нас на университетскую практику выходят и разговаривают с бабушками у калиток. Вы посоветуйтесь с Павлом Петровичем Бажовым: он всегда говорил со всеми попутчиками, может, кто разговорчивый найдется. Фольклор вполне жив, и ходить можно не только по бабушкам. Человек, оказавшийся там, попадает в очень интересную среду, интересную морально, духовно, языково и т. д. А Леша сам об этом говорил, когда он оказался под землей. То есть угол зрения и насыщенность зрения это меняет очень даже сильно. Вот эта часть, что касается труда, всегда была гарантирована, дело это честное, чистое, красивое и пр. Я не знаю, кто сидел в руководстве Пермской организации. Я не хочу их ни хвалить, ни ругать – я их просто не знаю. Но дело в том, что интонация Леши Решетова действовала даже на человека, лишенного шестых и прочих чувств. В этой интонации есть что-то невероятное, что-то национально нам свойственное, целомудрие… От этого все давным-давно отказались. Потом еще любовь-жалость, которая от этой энергии никуда не уходит.

Е. Д.: И при том, действительно, настоящая…

М. Н.: Да, настоящая. Позиция «человек – земля», «человек – природа» у него совершенна такая, какую мы веками исповедуем. У Леши Решетова другая позиция. Если уж на то пошло, то эта же жилка национальная была и у Есенина. Тут как-то по телевизору Татьяна Толстая и Дуня Смирнова, разговаривая, по-моему, со Степановой, обругали Есенина, что вот, мол, одни сопли и слюни, я люблю тебя, ты – меня нет. У Есенина нет таких тем. У него вообще нет в этом плане понимания, толкования, даже потребности нет. У Есенина любовь – это цветение. Весна и цветение, созревание летом. Все его сравнения с деревом, с цветком, с полем… У Леши есть эта привязанность к временным циклам, которая лежит в основе нашего национального миросозерцания. Я не думаю, чтобы он когда-то об этом думал, я не слышала, чтобы он занимался мифологией. Но дело в том, что, если это человеку дано, то и заниматься не надо. Эта его интонация пробирает просто всех. Вообще, главная его сила – интонация. Но то, что он в ней делает!.. Интонация была и у Мартынова, и у Кирсанова, и у Сельвинского, и у Слуцкого… Но каких они высот добиваются… Скажем, вот прелестное стихотворение: *«Я буду кормить тебя ивовым медом, и хлебом пшеничным. Пойди за меня!»*[44] Совершенно понятно, что никто не пойдет, никакого встречного ответа не будет. Но дело в том, что это совершенно не важно… Мощность его зова была такова, что отрицательная или положительная ответная реакция уже не важна. Он пространство отрицательное перекрывает запросто! И вот в этом плане никто лучше него не делал.

И еще: Решетов понятен практически всем, кто его читает, но уровень его это не снижает. Так вот, интонация Леши Решетова делает такое, что они нравятся, они не примитивны, они не простоваты – они остаются его стихами, они хороши и т. д. Самое главное, что они пленяют в каком-то позитивном плане. Есть такие вещи… Я, когда читаю «Журавли» Бунина (что такое «Журавли» Бунина? Это рассказ «Журавли улетели!» – бежит мужик, лошадь, этот его красный лоб, он орет весь в ужасе, потом падает на землю и – кулаками бьет – и все!..), и какая-то такая суть национальная, принадлежность наша к немереным просторам прямо так встает в тебе – и все. Когда читаешь Решетова, хотя и в другом качестве, – она в тебе встает, она в тебе есть, она в тебе жива – и это очень хорошо. У него масса стихов просто очень красивых. Мы об этом тоже говорили: стихи должны быть красивыми. Если читать одни стихи и ничего о нем не знать, то они ощущаются как замечательное явление. Вопрос о том,

[44] А. Л. Решетов. «Родная! Опять високосная стужа…».

что нужно знать о человеке, которого ты читаешь, который тебе нравится или не нравится, – вопрос открытый.

Ю. К.: Иногда лучше не знать…

М. Н.: Да, иногда лучше не знать. Что же касается Леши, то у него классическая советская, убийственно героическая биография: отец расстрелян, мать в лагере, эти старые дворянские корни, бабушка героическая, очень красивая женщина, которая спасает семью. Можно подумать, что автор этого сюжета – Бог, это поразительно! И вот что меня всегда удивляет: такая биография (вот эта бабка, которая их спасала, господи… Все это я прекрасно знаю, у меня была бабушка, у нее была машина «Зингер», мне было столько же лет, у меня была такая же война – это одно и то же, что всем выпало, одна и та же начальная ситуация), которая может вывести в человеке бойцовую, героическую линию поведения, а в нем абсолютно этого нет.

Ю. К.: А «Зингер» какая была? Ручная или ножная?

М. Н.: «Зингер» была и ручная, и ножная.

Ю. К.: У бабушки моей ножная была.

М. Н.: «Зингеры» были и такие, и такие. Иметь машину «Зингер» – это было спасение.

Ю. К.: Юбки, штаны, наволочки, трусы…

М. Н.: Да ты что! Тогда фабрики не шили ни лифчиков, ни трусов. Легкая промышленность делала только шинели…

Ю. К.: А вот почему ты три раза уже сказала, что появление стихов – это явление объективное, то есть оно не зависит от того, сколько поэтов талантливых живет в данный момент в этом месте? То есть эта вибрация либо есть, либо ее нет…

М. Н.: Что касается Урала, то это энергетически насыщенный регион.

Ю. К.: Да сейчас везде вибрации.

М. Н.: Если припомнить людей, которые разбирались в этом, Урал любили – Урал не всюду был одинаковый. Рудные места с древних времен считались местами силы. Но, вообще-то, Урал энергетически безумно насыщенный регион. Это правда. Мифология настаивает на этом. Все эти пустоты, что под нами, и громадные, дублирующие внешние хребты подземные хребты – медные, железные, золотые… А что касается слышимости: вот того, кого каменная болезнь зацепит, того не отпустит. Кто слышит – тот слышит, кто не слышит – тот не слышит. Другое дело, что вот это надоба в людях, которые слышат, зависит от густоты культурного воздуха. Ибо ни в Перми, ни в Екатеринбурге, ни в Челябинске очень долгое время никаких мощных литературных сил просто не было. До той

поры, пока это был просто завод, и нужны были просто заводские кадры. Притом интересно, что в первую очередь это появилось именно в Екатеринбурге, поскольку он единственный на Урале назывался не «завод», а «город». Он был бюрократический центр, мозговой центр – все здесь было… Обрати внимание, что происходит с Тагилом на наших глазах. Тагил был всегда абсолютный завод, и больше ничего. (Но сейчас-то, в связи с замолканием заводов, обстановка там ухудшается.) Это ведь где-то лет 35–40 назад, когда Тагил начал расти, там появились разные институты, театры и прочее, там, обрати внимание, появились люди… Женя Туренко неслучайно собрал вокруг себя людей, которые достаточно много слышали и достаточно интересно писали.

Ю. К.: То есть там тоже воздух появился.

М. Н.: Да…

Ю. К.: То есть три фактора: земля, воздух культуры и талант?

Е. Ш.: А вот Алтай? Там как?

М. Н.: Алтай, товарищи, это совершенно особое место. В европейской культуре, в европейской цивилизации традиции священного места нет вообще. В азиатской культуре – это просто непременное явление. И священных мест есть несколько. В Азии есть несколько священных мест. Алтай – одно из ближайших к нам, чудовищная энергетическая насыщенность священных мест.

Е. Ш.: Это да… Но со средой там тоже негусто.

Ю. К.: Они уехали все в Москву.

М. Н.: А вот потому они все в Москву и уезжают. Есть люди, которые… шаманы – не шаманы (шаманами в буддизме называются)… они ведь охраняют святость Алтая, они все эти места знают… Алтай в этом плане находится на совершенно другом уровне. Там эти чудовищные духовные вибрации слышат не только художники и поэты…

Ю. К.: Там горы грандиозные…

М. Н.: Вы что, Алтай в этом отношении, вне всякого сомнения, большой…

Ю. К.: Это понятно. А взять Москву?

М. Н.: Видишь ли, когда-то это было: *«Москва, Москва, люблю тебя, как сын, / Как русский, – сильно, пламенно и нежно!»*[45] Когда она была сердцем России, никаких вопросов не было.

Ю. К.: А где сейчас сердце России?

М. Н.: Оно где-то не в Москве… Так ты посмотри, что сейчас в Москве делается! Если посмотреть телевизор: чудовищные сюжеты – при-

[45] М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя, как сын…».

езжающие, желающие быть проститутками, фотомоделями, актрисами и т. д., и т. д., «открыть свое дело», «делать карьеру»… Москва ими-то и полна. Тут как-то показывали, кажется, в «Модном приговоре» (ну неважно)…

Ю. К.: (*Смеется.)*

М. Н.: …одну барышню, которая себя называет «мастером (даже не мастером, а как-то…) маникюрного сервиса». И когда ее спрашивают: «Почему Вы так называетесь?», она не может назвать себя маникюршей, поскольку приехала в Москву делать карьеру, открывать свой салон. Так вот таких «мастеров маникюрного сервиса»… «ногтевого»! Вот как – «ногтевого сервиса»…

Е. Д.: Уборщик волос!

М. Н.: Вот правда… Я помню, не далее как в позапрошлом году с Машей были в Москве и зашли (ну ни я, ни Маша на деревенских сильно не похожи) в какое-то кафе. Я даже не говорю про цены. Поскольку мне что-нибудь съесть – это проблема, решили спросить: «У вас нет кусочка хлеба?» – «Хлеба нет». – «Ну булки какой-нибудь…» И эти барышни мне говорят: «Хлеба им! Дер-ревня! Мы вообще хлеба не держим!» Вот это нынешняя Москва: то, что они хлеба не держат, – это знак качества.

Ю. К.: Угу.

М. Н.: Это просто ужасно! Питер, на мой взгляд, еще удерживает культурные позиции, и даже очень заметно. Во многих направлениях. Мне очень нравится: у них в музеях три четверти идет бесплатно… Заходишь в музей, берешь билет – за внутренние выставки с тебя не берут. Всюду так делают. Притом еще говорят: «Смотрите на здоровье!», «Добро пожаловать!» – это просто поразительно. А вот в Юсуповский музей заходишь, они извиняются, что у них платно, у них что-то там сложное с подчинением… И еще хорошо: всюду фарфоровая чашка, фарфоровое блюдце, фарфоровая тарелка, даже где-то на краю Кронштадта, крайний дом, в маленькой пирожковой – тебе ставят фарфоровую тарелку. Никаких этих наглых пластиковых стаканчиков, ужасных бумажных тарелочек! Еще чрезвычайно высокое качество всяких сувениров. Ибо сувениры, хоть тебе, как говорится, в Хургаде, хоть тебе в Париже, есть дешевые и дорогие. А дешевые – просто дрянь. Так вот, дешевой дряни в Питере почти нет. Все художники, которые рисовали раньше политбюро, сейчас такие профессионалы… Притом в прекрасном состоянии сады и парки: ни одного желтого листочка, ни одного сухого! Как называется усадьба, бывший Константиновский дворец, которую Путин восстановил?.. Ни одного вялого листа! Я там спрашиваю: «У вас людей много?» – «Ну больше ста». Мне очень нравится, что город на это денег не

жалеет. Очень дорогими цветами украшают. Это очень хорошо. Скажем, в Павловске в прошлом году были повторены первые цветники такими, как их построили. Это очень дорогое удовольствие.

Ю. К.: Ну в Питере история, стиль, культура…

М. Н.: Питер, надо сказать, и должен их дать. И будет давать. Питер вообще удивительный город: с одной стороны, это нерусский, чисто европейский город, с другой стороны, как раз наоборот, потому что это и безумная теснота европейского города, но это и чудовищная мощь, ширина улиц Питера, вообще всей его площади. Фантастическое впечатление производит город Калининград (бывший Кенигсберг), где абсолютно европейский, даже немецкий город, расположился на славянском пространстве по славянским принципам. И в городе огромные куски шевелящейся травы, кругом фонтанчики. Идешь – вот так! по грудь! …Потом мало того, что он [Питер] построен на безумном преодолении силы нежилого места, если вспомнить петербургскую мифологию, они строят-строят, ничего не получается… Без помощи небес обходится история одного единственного города – это Екатеринбург, которому не понадобилась небесная помощь, но понадобилась помощь подземная. Где явилась чудская царица – та самая царица, которая увела чудь под землю, ту самую, про которую академик Паллас говорит в петровские времена: «Повсюду встречаем мы следы неизвестного нам народа, очень, однако, сведущего в горном деле». То есть они все ушли туда. Это очень интересно. Конечно, Питер строился как некая двуединая чаша: город на болоте на краю империи был уравновешен мощным уральским промышленным районом, без которого не было бы Питера…

ВЕЧЕР ПЯТЫЙ

Ю. К.: Мы говорили о Москве, о Питере…

М. Н.: Русский народ, может быть, и не нищий, но мы шибко умеем быть богатыми. Притом наша роскошь всегда хороша. Когда я вижу стены, облицованные кварцитом в Эрмитаже, или постамент Николая Первого… Это, товарищи, очень дорогой и труднообрабатываемый камень! Когда ты входишь – сколько там камней в украшении? Несколько десятков, у меня все подсчитано в Исаакии или в Храме-на-Крови… А сень-то вся!.. Вот это просто прекрасно! Вот это русский народ! Вот эта сень (ее никто не видит), она на том месте, где упал Александр, царь-освободитель, – вся та, внутренняя, сторона (где никто не видит) была покрыта драгоценным камнем. Мне это очень нравится… Поэтому на Питер еще можно надеяться до тех пор, пока… Питер до сих пор с российских пространством связан крепче, чем Москва. Когда я слышу, когда те же девушки, и даже Познер говорят: «Завидуют!», я никак не могу понять, как люди, живущие в Иркутске, или в Тобольске, или в Красноярске (где огромная река и огромные горы!), как они могут завидовать живущим в Москве?! Насколько я замечаю, самое распространенное отношение немосквичей к Москве – это смущение и стыд.

Ю. К.: Раньше было недоумение какое-то, а сейчас…

М. Н.: Когда ты выходишь из поезда, и к тебе подходит товарищ носильщик, и у него полная грудь орденов (может быть, они не его! но…) – в другом городе на такое хамство никто не поведется. Более того, когда я нахожусь в Тобольске… Тобольск – это старый изумительный город, «там русский дух, там Русью пахнет» – вот это про Тобольск. Я вообще не понимаю, как человек, имеющий отношение к этому городу… Какая зависть? Вы что! Я прекрасно понимаю… вот Осипов, который сейчас в Москве, когда отработает, вернется в Тобольск – у него там дом. Что сейчас Москва, что сейчас ее художественная продукция, просто не знаю.

Ю. К.: Ну понятно. Она сейчас детерминирована Западом…

М. Н.: Ну как сказать… То, что сейчас делают абсолютно все… Я уже не говорю про дам этих, у которых литературный бизнес. Допустим, тот же Акунин – вполне культурный и грамотный писатель – но это, как сказать, это все «конструкция». Для этого нужен определенный профессионализм: этого-то должно быть столько-то и столько-то, все взвешенно, все идеально, в одном месте труп появляется, в другом – стреляют. Все понятно. Это все делают не бездарные люди. Другое дело – зачем они это делают?

Ю. К.: Деньги… Вот Леша: у него даже не было никаких позывов уехать…

М. Н.: Что касается Леши, то для меня это тоже большой пробой… Как он говорил: «Никогда в жизни не видел моря». Понимаешь, в советское время съездить к морю…

Ю. К.: …огромные деньги.

М. Н.: Нет, это сейчас огромные деньги. Я всегда получала гроши. Меньше всего получали библиотекари и музейщики, они были самые нищие люди. Но к морю съездить было можно. Более того, тогда ведь так было принято: люди ночевали где-нибудь в стогу, под скалой. Совершенно не обязательно было снимать номер с видом на море, никакой потери лица не было в этом. Его ситуация героического существования… Я не к тому, что противостояния, мне самой безумно не нравится жизнь-борьба, мне безумно не нравится идея конкуренции, я совершенно не могу понять, как в результате соцсоревнования выяснится, что ты лучше меня… Это все ужасно. И в этом я его прекрасно понимаю… Но съездить к морю – совсем другое дело. Тем более у него в Грузии: родня… грузины народ такой, они бы тебя приняли…

Ю. К.: Они умеют… и любят это дело.

М. Н.: …и любят.

Ю. К.: А он не был там, в Грузии?

М. Н.: Да он нигде не был.

Ю. К.: Он в Москву ездил…

М. Н.: В Питере был. Нигде не был…

Ю. К.: Как-то странно… Нет, наоборот не странно: чем лучше поэт в провинции, тем лучше…

М. Н.: Зачем?

Ю. К.: Уезжают в основном из-за коммерции какой-то…

М. Н.: Я прекрасно понимаю Распутина, не оставившего Иркутска. Я прекрасно понимаю Астафьева. Астафьев – другой человек, у него было и честолюбие…

Ю. К.: …это очень большой писатель.

М. Н.: Очень большой. Понимаешь, у нас есть такая дебильная установка: «Счастье, когда тебя понимают». Она совершенно ошибочна! Дело в том, что, если у меня что-то над душой есть, то уже не важно, будет ли это кем-то востребовано и понято – мне этого уже не надо.

Ю. К.: Да…

М. Н.: Валентин Григорьевич Распутин совершенно естественно, нормально смотрится в Иркутске. Мне безумно нравится, что для него важно, что его там ценят и любят, что когда его там избили, чуть не убили, когда он пришел в себя и сказал, что особо строго ребят не судите, дескать, молодые – глупые… И очень нравится, как город к этому отнесся.

Дело в том, что ощущение своего места – это большая доблесть. Человек, который выходит из деревни в более крупную, потом – в райцентр, потом – еще куда-то, потом – в Москву, все, товарищи, он никогда нигде не остановится, никогда себя не найдет. Потом будет Париж, потом будет Нью-Йорк… Это дорога в никуда. Мне совершенно понятен Терентий Мальцев, который всю жизнь прожил в своей деревне. Человек был при деле; для того, чтобы это дело вершить, длить, он должен быть на своем месте. Советская литература существовала, это очень интересное явление (мы еще вернемся к нему и будем его изучать); так вот люди (казах ты там, грузин или азербайджанец…) выходили на какой-то уровень, и начиналось свершение большой общесоветской литературы – с большой утратой национальных черт. Нужно было быть очень талантливым человеком, чтобы их в себе сохранить.

Так вот, мы как-то ездили в Грузию. Советская литература – это явление нам знакомо, давайте посмотрим на месте. И там действительно были люди (я там некоторых перевела) – это совсем другое дело, там действительно слышится иное отношение… Чтобы это переводить, нужно эту землю увидеть. Ты же просто как в каком-то ковровом шатре… Тем не менее нашли мы там таких людей. Они очень были рады, что мы туда заявились… Там был один Бесарион Харанаули, он никуда не собирался уезжать. Совершенно правильно. Потому что, если, допустим, перебраться в ту же Москву, эта живая связь кончится, этот питающий слух может просто прерваться (скорее всего, они это просто понимали). Так что то, что Леша жил в Березниках, это вообще удивительно. Это не его родной город, это некрасивый город. Но тут есть такое дело: все, что касается города, который чем-то большим жив (в Екатеринбурге это было прекрасно видно: все наши гранитные мостовые, малахитовые крыши, обилие листового и кованого железа – это все символизировало собой великое назначение города Екатеринбурга. Это место, где энергия земли встречается с энергией человека, мастер встречается с горой, земля – с под-

земельем… Это наш герб. Плавильная печь – это код металлургии, все понятно), но Березники, как ни говори, – это шахтный город, это связь с подземельем. Обратите внимание, что Соликамск… первая наша горнодобывающая промышленность Урала. Видимо, влияние общеуральского рудокопного дела как-то срабатывает. К тому же Леша как человек достаточно чуткий, чувствующий отношение, он понимал, что он там не чужой человек. И еще одно: что делать, товарищи, в Москве? – Абсолютно нечего! Стиль Москвы – это сплошная амбициозность, это там ценится. Больше того, иногда это, может быть, некрасиво… это потрясающее первое место внешнего рисунка роли! Этим Леша никогда не обладал.

Е. Ш.: У него же нет ни одного стихотворения, которое как-то было бы с шахтой связано…

М. Н.: А я не говорю, что он поэт шахтерского труда.

Е. Ш.: Я понимаю это…

Ю. К.: Нет, у Решетова есть шахтерские стихи.

М. Н.: Есть-есть. …но момент удержания и поддержания есть. Он там работал очень долго. Больше того, это была чисто символическая работа. Он стоял при весах, где вешают соль (если вспомнить: «соль земли», «пуд соли съесть» и т. д.). Ты можешь для себя представить – десятилетиями стоять на весах!.. И еще одно. Я была в соляной шахте: магия невероятная! Магия безумная! Это что-то просто потрясающее! Со стен соляной шахты на тебя глядят птицы, звери, люди… Это что-то немыслимое! Магия соляной шахты просто удивительна, она человека во как держит! Бóльших чудес я не видела… Какой там Эрмитаж!

Ю. К.: А почему в Пермь поехал?

М. Н.: В Пермь почему поехал? Ну, он к тому времени ушел из соляной шахты…

Ю. К.: Почему?

М. Н.: Наработался, наверное… Как тебе сказать, я в соляной шахте провела часа четыре: это нелегко, она начинает есть, кусать. Эта работа не больно легкая. Во-первых, в Перми он стал литературным консультантом. Ему там квартиру дали… А у него, как говорится, бабушка, мама, дочь покойного брата. Люди, которых надо было как-то обустроить. Но пермская квартира так и пропала. А вообще, я не знаю, как ему жилось в Перми. У меня такое ощущение, что не очень… В Березниках его существование было каким-то более естественным, чем в Перми.

Ю. К.: Ну, переходим «на кухню»? Когда все это началось-то?

М. Н.: Что касается Леши Решетова, то познакомил нас Яков Андреев. Яков Андреев был у нас кем-то вроде министра иностранных дел. Все эти иностранцы, все эти переводы, все эти, так сказать, сербы, словенцы

и грузины – это все Яшино дело. Ему это нравилось, он с этой работой справлялся, у него получалось, хотя, конечно, такой таранный Яшкин характер… Но тем не менее это большая работа, и он ее всегда выполнял.

Ю. К.: Все он сам делал. Это его личное начинание.

М. Н.: Это было жутко трудно! Все эти связи, договариваться надо…

Ю. К.: …тексты…

М. Н.: Все эти доставал тексты, с ними связался… С испанцами, с чилийцами, это же ужас!

Ю. К.: …с американцами…

М. Н.: …в том-то и дело…

Ю. К.: Это отдельный разговор.

М. Н.: Он, наверное, принадлежал к числу людей, которым нужна была причастность к большому делу. Это была абсолютно его воля, его энергия, он все делал сам.

Ю. К.: Он в Москве всех знал: звонил Окуджаве…

М. Н.: Со всеми познакомился сам, притом, заметь, вовсе не для того, чтобы что-то от этого иметь. Яков в этом отношении – я вам гарантирую – он никогда бы шагу не сделал для того, чтобы где-то там напечататься! Ничего подобного! Это никогда его не интересовало… А вот тут дело организовал. Ведь это он взял все подстрочники… Так вот, он познакомил нас в Березниках (притом в такое очень для меня трудное время: Машка жутко болела, из больниц не вылазила. У меня все больные были, все болели. Я с этих пор: только не белое. Белое – знак беды. Врач, больница, хирургия…) Ну мало того, что он нас познакомил, он мне привез (я не знаю, что он сказал ему обо мне, я не слышала) от Леши письмо. И там лежит (ну это надо быть Решетовым, товарищи!) его портрет: на траве лежит человек (лежит на животе, руки вот так) и пьет воду из родника. Это он мне такое послал для знакомства… Он был очень хорош собой. Здесь он желает не то что понравиться, произвести какое-то впечатление…

Ю. К.: Он приятный…

М. Н.: Ну молодой-то он был похож на грузинского князя… Просто очень хорош собой: у него было такое с четкими чертами лицо, очень интересное. Так вот, так он лежит на земле, уткнувшись в траву, лица просто совершенно нет. Это, между прочим, очень показательный жест. Дело в том, что… он был очень красивый, поэтому он так поступил (что мне очень понравилось!). При таких стихах, в сущности, можно сказать, что это не важно… Но на самом деле это не так.

Внешность человека пишущего имеет очень большое значение. Я когда читаю Кушнера (к которому отношусь очень хорошо, мы об этом уже говорили), я всегда слышу, что он небольшого роста. И все это слыш-

но, видно. В стихе поступь есть, какой-то шаг. Это все связано, без всякого сомнения, с внутренним энергетическим зарядом. Ну и вот, была у нас связь телефонная и письменная. Я об этом писала: в то время в моде был стиль немедленного братания, снесения всех барьеров, неуважения к дистанции. Это казалось современным, это реализация скорости и все такое прочее. В то время это было так модно.

К примеру, спускается Евгений Александрович Евтушенко по лесенке, и стоит девушка, он говорит: «Вы не меня ждете?» По законам того времени стоило отвечать: «Тебя» – и все, и, как говорится, ваша дружба уже решена. Надо сказать, что были люди, которые в этой стилистике достигали очень больших высот, и это, уверяю вас, было красиво. Люди, которые умели это делать, которым это шло, делали это очень грациозно, красиво, на хорошем энергетическом нервном уровне. А Леша Решетов был не такой. Он даже, когда в начале письма здоровался, писал это непременно в две строчки. Потому что, вот если я пишу «Здравствуй, дорогой Юрочка!» в одну строчку, значит, я мало тебя, гада, люблю. Надо писать: «Здравствуй», а «дорогой Юрочка!» надо писать отдельно, потому что отдельность твою, Юра, я должна ставить превыше всего.

Ю. К.: Угу…

М. Н.: Может быть, это у него все воспитание бабушки, может, эта его какая-то старая дворянская кровь, просто он делал всегда только так. Что еще относительно его непереезда в Москву: он абсолютно не владел никаким современным стилем общения, контакта. Не владел, и все. Что ему, надо сказать, очень шло. И еще одно: не будем забывать (это, может быть, тоже сыграло какую-то роль, я в этом не копалась, это не мое дело) – он был очень пьющим человеком. В чем я его прекрасно понимала. Как-то, я помню, несколько раз говорить по телефону он просто не мог. А потом, через некоторое время, он это все объяснял (это большое достоинство) прямо так: не мог, потому что был пьян, потому что было ему просто тяжело. «А я выпью бутылку «Солнцедара» – и все забуду». Я, честно говорю, что если б мне было предложено купить, я бы тоже пошла и купила ему бутылку. Какой разговор? Вообще-то, товарищи, жизнь – это страшная штука. В его раскладе – тоже страшная (если взять все эти его лагери, нищету и т. д.). Страшная! И, в общем-то, я всегда к этому отношусь так: если правда «я выпил «Солнцедара» – и я забуду», я пойду и эту бутылку тебе куплю. Но Яков, конечно: «Так, Никулина-а! Закрыто, день рождения. И не забудь его поздравить».

Ю. К.: Да-да-да…

М. Н.: Надо сказать, Яков делал очень хорошее дело – никогда не забывал Лешу. Всегда к нему заезжал, там кашеварил, потом приезжал

сюда, т. е. он как-то там его раскачивал, таким образом, отвлекая его от… Яков безумно пиететно, с трепетом относился к людям талантливым, к людям означенным, к людям замеченным. Допустим, к Евтушенко – ну просто со слезами. Леша Решетов был в этом ряду… (Леша, вы знаете, не был никогда замечен, озвучен. А вот Яша, как бы так сказать, допер, услышал сам и т. д.) Так что в этом отношении Яков совершенно прав. То, что он делал, было хорошо.

Ю. К.: Вот есть такая формула, что поэт всегда в катастрофе. У Решетова катастрофа ведь была абсолютно всенародная?

М. Н.: Да.

Ю. К.: Сколько народу было пострадавших, там, в 37-м…

М. Н.: Сплошь!

Ю. К.: Всегда, когда Лешу читаешь, чувствуешь, что там какая-то катастрофа есть. Какая?

М. Н.: Ты посмотри, что сделали со страной с 17-го года, даже раньше, когда пошел весь этот разврат большевистской агитации… Ведь Виктор-то Петрович Астафьев совершенно прав, но он говорит просто про крестьян, но то же самое сделали и со всеми остальными. Людей, которые тысячу лет занимались своим животворящим, плодоносящим делом, которые были крестьяне, хлеборобы, у которых были устойчивые отношения с этой землей, которые друг без друга жить не могли, у них эту связь разрушили, их просто убили. Но то же самое сделали и с дворянством. Это же ужас, что делали с людьми! Были люди, которые поразному на это реагировали. Вот Юрий Олеша замолчал (ну, правда, он еще и Россию не любил). Кто-то категорически сменил тему (о чем очень хорошо написано у Надежды Яковлевны Мандельштам, где они все стали советскими писателями)…

Ю. К.: Катаев, Федин, Фадеев…

М. Н.: Ну, Федин – это вообще очень небездарный человек, очень! Фадеев – очень талантливый человек. Вот он написал «Молодую гвардию», а ему говорят: «Добавьте то-то и то-то». Ну как вообще надо ответить: «Да иди ты!..». А он садится и добавляет! Это вопрос ужасно сложный. Вот этот прикорм власти, то, что ты занимаешь какое-то место, ведь это, наверное, как-то сказывается на человеке? Никаких контактов, все, я ухожу в Березники, под землю, и с вами не работаю. Но ведь это не все могли. Поэтому, конечно, катастрофа ужасная. Я вообще не знаю, когда мы от нее и оклемаемся, а особенно после капиталистической революции.

На мой ум, народ не прикончила ни Октябрьская революция, ни Отечественная война, а капиталистическая революция – да. Вот эта скорость

и легкость, с которой все решили, что важнее рубля ничего нет, я этого никак не ожидала. После войны голод здесь был, мы еще школу кончали. Кроме картошки и квашеной капусты, мы ничего не ели. Я кончала школу: у меня на фартуке было 28 штопок (мама мне их заштопывала как бы типа вышивки), 28! А туфли у меня были, помню, отец притащил вне себя от радости – обе на левую ногу, одна на размер больше, другая на размер меньше. Это я так школу кончала. Вот так. То есть жизнь была просто жуткая, тяжелая, и тем не менее это еще люди как-то пережили. Во всяком случае, в брежневские застойные (застой, товарищи, – это стабильность) времена стало ясно, что вовсе даже народ жив, еще очень жив. Я не знаю, умные люди говорят, что надо 2–3 поколения подождать, я уже не увижу… Но вот капиталистическая революция добила народ, да… Русский народ ведь сильно нестандартный, он больше ни на кого не похож, таких других народов нет. Я сейчас понимаю, что люди – титаны экономики и скорых денег, они, конечно, никогда не смогут опомниться, но, может, какие-то другие… Не знаю. Дай бог, но очень трудно надеяться. Во всяком случае, во времена Брежнева была вполне человеческая жизнь…

Ю. К.: …сносная.

М. Н.: …сносная жизнь. Нам тут говорят, как мы ужасно жили… Вот в том-то и дело, что нет! Недостаток туфель, платья или ткани на что-то, или то, что плохо одеты, или что у меня не хватает свежей ветчины (да пусть даже мяса!) – это никто не расценивал как катастрофу, как крах, как что-то унижающее мое человеческое достоинство.

Ю. К.: Была передышка нормальная.

М. Н.: Ничье человеческое достоинство это не унижало.

Ю. К.: Была передышка между страшными какими-то событиями.

М. Н.: Да.

Ю. К.: Да, а холодильники у всех были набиты жратвой.

М. Н.: Другое дело, где что. Каким путем все это доставалось. Ну, наш народ был всегда очень инициативный. Наши недостатки, недостатки нашего правления – очень даже интересно… Вот эти жуткие годы бедствий привели к тому, что у людей были человеческие отношения. Поскольку денежных отношений не было, были человеческие отношения. Вот сидим мы на работе. Мы – Областная детская библиотека, и по всей области наши сотрудники. И вот звонят девочки из Заречного – яйца там появились! Мы встаем, помню, 38 градусов холода, берем сумки, шаль, чтоб яйца заворачивать, и от лица всей библиотеки садимся на автобус, с каждого по десятке – и едем на автобусе в Заречный яйца покупать. К концу работы возвращаемся, все счастливы, все это понесли домой.

Как вам сказать, это не было плохо, было плохо, что яиц не было… Но хорошо – что? Что люди позвонили, что мы поехали, что девки в это время за меня работали, что работа не остановилась, все по-человечески решается. И еще одно: мы на работу (дети растут) все приносили. Другие дети носили. Это был не секонд-хенд, это был человеческие родственные отношения. Это было нормально и хорошо.

Ю. К.: Да… На кафедре моей у кого маленькие дети приносят для меньших детей вещи, я отношу вещи…

М. Н.: Правильно-правильно. Ты, что любишь, оно само на тебя выходит. Это факт.

Ю. К.: Мне кажется, что Алексей Леонидович такой человек, который притягивает прямо к себе какие-то несчастья, грубо говоря. Видимо, потому что он рожден был в страшное время, отца не знал… И любовь несчастная, и работа тяжелейшая, и мама сидела, потом с бабушкой они тоже жили несладко и т. д., и т. д. И сам он такой… феноменальной скромности, внешности, на самом деле, он был некрупный мужик…

М. Н.: Что касается притягивания несчастий – я понимаю, что такие люди есть, меченые. Теперь так: что касается, допустим, любви несчастной, я не знаю одного – я не знаю, нужна ли была ему счастливая.

Ю. К.: *(Смеется.)*

М. Н.: По этому поводу у меня вполне серьезные соображения, совершенно не пустые. Если уж говорить о любви, то это самое, чем все люди любящие заняты (ты меня любишь, я тебя – нет), – это совершенная чепуха. И нечем тут заниматься. Если ты меня любишь, а я тебя – нет, значит, ты не мой человек, я не твой человек. Самое страшное – это как раз любовь счастливая *(шепотом)*. Если она у меня есть, то занят я только одним – как бы ее удержать. А жизнь, время идет. Стало быть, я поперек жизни становлюсь. Любовь счастливая смертью нагружена до такой степени, до такой степени *(шепотом),* что дальше уже не бывает. Есть такая частушка, я ее очень люблю, Нонны Мордюковой, очень хорошая:

Как тебя провожала – за вагон держалася,
Тебе плакать не давала, сама заливалася.

Вот Его увозят на войну, а Она вагон держит! Вагон уйдет… Счастливая любовь – это держание вагона. Это практически то же самое, что цепляться за время – а оно уйдет. Единственная возможность его удержать – это, как в сказке, умереть в один день. Тогда мы его остановим, тогда мы его перехитрим, но вот такой ценой. Это первая печаль. Есть вторая: куда эта любовь девается *(шепотом)*: вот он смотрит – щека бархатистая, кудри… Еще два года назад я отдал бы 15 лет жизни за одну

любовь… Вот что ты, боже мой! Далеко не все люди этого хотят, далеко не все…

Ю. К.: Понятно…

М. Н.: Потому как это очень тяжелая вещь, это страшная вещь. Любовь вообще всякая смертельна. И чем она ближе, тем она смертельней. Я не уверена в том, что она была ему нужна. «*Я встреч с тобой боюсь, а не разлук*»[46]. Все сказано. Это ведь, в общем-то, как прыгать… ну я не знаю, ладно там, в котел. Иванушка три раза прыгал – царевичем вышел. Все то, что у него в эту сторону написано, я тебе говорю, – *«Родная! Опять високосная стужа…»*[47], все – полное понимание не того, что этого не будет, а полная ненадобность такового. Так и больше никак. Надо исходить еще из того (Леша Решетов был человек умный и тонкий), масса романов держится на нерве, на какой-то стилистической игре (я ничуть этого не отрицаю!), это все человека занимает… Но к любви как таковой это имеет отношение весьма относительное.

Ю. К.: Он объяснялся тебе в любви?

М. Н.: Я об этом не буду говорить. Я относительно объяснений в любви говорить не буду. По причине очень уважительной. Люди поразному к этому относятся, есть люди, которые желают оставить это только своим делом, своей тайной – они имеют на это полное право. Единственное, что я могу сказать: если б я кому говорила, то захочу – скажу, а что мне кто говорит – это их дело.

Ю. К.: Вспомним кухню. Брежневские времена. Я помню, я молодой был еще, писал стихи… Мы мыкались в университете, руководители литобъединения менялись… По редакциям мы походили: «На смену!», «Вечерка», «Урал»… Нигде не берут. В какой-то момент мы – бум! – с тобой встретились: ходили к тебе на литобъединение, а потом попали к тебе на кухню. У меня создалось впечатление, что не только в Екатеринбурге, но и до Дальнего Востока – пусто. Нет поэтов таких, как ты. Поэтов такой силы, энергии. Но кухня же существовала и до меня. Когда началась кухня?

М. Н.: До вас было не так, как при вас. У меня тогда еще были родители, которые постоянно болели. Я этих всех людей прекрасно знала, они у меня бывали… Но мне не нравилась поэзия шестидесятников. Тогда все это нравилось, они все писали так за редчайшим исключением. Не так писал Саша Воловик, Гера Дробиз. Потом еще Маруся маленькая была… Да и еще одно: я тогда вообще помирала. Не могу сказать, что

[46] А. Л. Решетов. «Я встреч с тобой боюсь…».

[47] А. Л. Решетов. «Родная! Опять високосная стужа…».

кто-то сидел месяцами и годами. Бывали, но недолго. Тогда все больше были у Марьева, поскольку Марьев соответствовал всем запросам того времени. При мне оставались люди, которые им не соответствовали. Среди них были очень интересные люди. Например, Юра Трейстер. Он был в высшей степени интересный человек. Он вообще говорил поразительные вещи: «*Я был рабом, ты проходила мимо…*»[48]. Он полагал, что если есть какая-то самая надежная близость, если есть какие-то любовные отношения, единственное, что может удержать эту ситуацию надолго во времени, – это полное рабство. Рабство – это то, о чем все мечтают, но не желают признаться. Это как будто ты плывешь в море или валяешься на лугу. Вот ты мнешь траву или плывешь, огибаешь волны, и тебе кажется, что главное здесь – ты, а на самом деле это совсем не так… Мысль эта мне чрезвычайно нравится. В то время никто никогда не мог сказать ничего подобного, только Трейстер. Он был по-настоящему умный человек, очень начитанный. Он приходил ко мне очень часто. Еще одно: у него был потрясающий нюх на штучных людей! Но вот так вот он собой распорядился: отбыл на Камчатку. Что касается его писаний, ничего не осталось…

Ю. К.: А Костя Белокуров?

М. Н.: Костя-то у меня вообще тут жил неделями, месяцами… Когда я родила Машу, была у меня родильная горячка, я осталась вне всякой группы в университете. Но меня это совершенно устраивало. Я то с одной группой, то с другой ходила сдавать. Как-то сижу я в университете, читаю «Героя нашего времени» (я его все время носила с собой, не расставалась никогда), а через плечо смотрит один и говорит: «Ой, Майя, какая книга у тебя интересная!» Я ему сказала: «Забудь, что ты сюда заглянул и это сказал! Ты преподаешь литературу в старших классах». В нашей группе было два человека, которые читали все и даже больше, – это я и Костя. А его как раз только выпустили из лагеря: 1 год и 7 месяцев в одиночке и потом, по-моему, 4 года не в одиночке. И он очень печалился: у него была какая-то статья политическая… Его-то выпустили, а ребята там остались. Он был в полном одиночестве здесь. Мы с ним тут же познакомились и сошлись. Он ко мне на кухню перекочевал, потому что я выходить из дома не могла в силу того, что я была с больной семьей. Человека более умного и образованного, чем Костя, я не знала. Костя – вообще чудо, которое рождается раз в век. Он знал литературу, историю, историю религий, историю философии. Философов он читал в подлинниках. Читал он вообще на всех европейских языках, говорил только, что с угро-финнами

[48] Ю. Трейстер. «Ты помнишь, я тебя тогда у Нила встретил…».

у него не контакт. Познания его были столь невероятны… О чем с ним ни говори, Костя знал все. Причем на чрезвычайно высоком уровне. У него были глобальные знания по любому поводу. Но он не считал, что он какой-то всезнайка. Когда речь шла о поэзии, он говорил: «Ты разбираешься в этом лучше». Он и сам стихи писал, но немного. Тогда все писали, это было практически неизбежно. Но он был какой-то несчастливый человек. Он не слышал никаких подсказок судьбы.

Ю. К.: Но ты же видела, как он на тебя смотрит?.. Он любил тебя страшно.

М. Н.: Я все это знаю. Мне трудно об этом говорить. Я к нему всегда очень хорошо относилась. Но я ему говорила много раз, что это не в нашей власти. Но, с другой стороны, скажу вам, не думаю, что для него это было глобальным несчастьем. Это не был момент, разрушивший его жизнь. Тут не было никакого обмана. Мы с ним проводили огромное количество времени. Это было лучшее время в моей жизни. Дело в том, что если я с кем-то сплю в обнимку, – это еще не самые близкие отношения. Это далеко не так. Есть люди, которые этого не понимают.

Вот Геша… Он мне говорил, что с Ай-Петри видно Турцию. Залезли. А дальше Геша делал так: когда мы дошли, Геша отходил. Он оставляет тебя наедине с этим открытием. Что касается Ай-Петри, Геша говорит: «Ну, Майя, ну, не видно. Но пахнет-то Турцией!» Что касается его [Кости] тюрьмы и заключения, и это, я думаю, не тот факт, который разрушил его жизнь. Причина его несчастливости лежит далеко. Это какая-то кровная причина. У них в семье было такое старое предание, которое передавалось из поколения в поколение: тот самый старец, в которые император Александр I ушел, Федор Кузьмич, когда жил в Сибири… там была крестьянка, которая родила от него сына… Костя как бы отсюда… Если это так, то мне этого объяснения достаточно. Бабушка моя была средоточием народной мудрости. Она мне всегда говорила: «Не клянись, это страшный грех!» Потому что если ты изменяешь клятве, ты изменяешь и свое жизненное направление, и направление того человека, кому ты клялся. Если это легенда семейная, то мне этого достаточно.

Иногда жизнь заставляла Костю страдать невероятно, но он никогда ничего для себя поправить не мог и не хотел.

Ю. К.: Он всегда такой темный был, в темной, несвежей одежде, но такое ощущение от него светлое было…

М. Н.: У него руки красивые были…

А правда говорят, что умение стрелять – это врожденное качество?

Ю. К.: Да. Главное – не зрение, не руки, не осанка. Главное – терпение и наблюдательность. Как-то я заболел пневмонией, мы были в лагерях

в Камышловском районе три месяца. Я приехал оттуда скелет скелетом, как из тюрьмы. И там соревнования устроили. Я пришел из санчасти, чтобы что-то взять, а у них идет какое-то соревнование, и каждый взвод выставляет лучших бойцов. Кто-то стреляет, кто-то гранату мечет, кто-то подтягивается. Мне говорят: «Юра, метни гранату». А граната была не спортивная, а настоящая оборонительная. Нужно было добежать до рубежа, на котором обозначен окоп, прыгнуть в окоп и бросить оттуда гранату, посмотреть, как она долетела, и во время взрыва вернуться обратно в окоп. Ну, я метнул дальше всех. Правда, я метал диск в свое время…

М. Н.: В Севастополе в горах полно гранат, оставшихся в скалах. Там до сих пор костей, останков сколько угодно. Где-то лет пять назад нашли два скелета. Остатки самолета нашли.

Ю. К. Что-то я все без хлеба ем…

Е. Д.: Принести?

Ю. К.: Да. Это я девчонкам в упрек. Три женщины сидят, которым я посвятил стихи в черной книге[49] – Дуреко, Шаронова, Никулина. И еще загадочная Елена. Ну, я понимаю, что это перебор. Но что я сделаю. А больше там баб нет. Только Тамара.

М. Н.: Все правильно. Много не бывает. Вспомним Египет: вот Рамзес – фараон великий, потому что детей много. У фараона было 140 детей, значит, велик.

Ю. К.: Марк Рыжков…

М. Н.: Если писать историю города и людей, которые его украсили, туда должны войти Брусиловский, Волович и обязательно Марк Рыжков. Он был профессиональный врач. Он был воплощенное милосердие, доброта, великодушие, бескорыстие. Мало людей, которые обладали набором этих качеств.

Ю. К.: А как вы познакомились?

М. Н.: Я с ним познакомилась следующим образом: сидели мы у Якова Андреева. И тут зашел Марк. Яков нас познакомил. Мы пошли домой, прошли квартала три, он остановился и говорит: «Чем я могу тебе помочь?» А это был период, когда у меня все болели. Я сказала: «Я не могу пользоваться твоей любезностью…» Тем не менее он меня спасал, маму спасал, Машу спасал, Гришу спас. И перед смертью своей он мне сказал, какие лекарства можно, какие – нельзя.

Марк переводил армян и притом очень хорошо. На мой ум, это лучшие переводы с армянского. Переводил он следующим образом: он шел напролом, не зная, как можно, а как нельзя. И поэтому все получалось.

[49] Ю. В. Казарин. «Каменские элегии. Часть вторая» (2010).

А еще он не отличал плохих стихов от хороших. Движим он был только одним: любовью к армянам и к армянскому языку.

Однажды он поехал в Ереван. Самолет прилетел ночью, а до первого автобуса еще оставался временной зазор. Марк стал оглядываться в темноте и вдруг различил в небе розовый треугольничек. Он спросил: «Что это я вижу?» Ему ответили: «Арарат». А Арарат видно очень редко, гора находится за пределами Армении. Это знак доброжелательности, ему ужасно повезло. Его потрясла Армения и армянский язык.

Армянский язык похож вот на что: в нем есть призвук такой, как будто на металлическом блюде подкидывают железную мелочь. Этот язык полюбить можно. Мне трудно представить, что можно полюбить английский или французский, но армянский – можно. Армяне – народ интересный: у них мифологическое сознание, они от всей души рассказывают, что была великая Армения от моря до моря… Но при всей мифологической, красивой, детской привязанности к своему отечеству, полумифическому, я не встречала там людей, которые читают и знают армянскую поэзию. Это не входит в «джентльменский набор» для массы людей.

Марк познакомился там со многими поэтами. А переводить он стал исключительно для того, чтобы этот контакт с Арменией был максимальным. Любовь была такова, что каждый год, когда он ездил на курорт, он поступал следующим образом: договаривался с врачом и с курорта срывался в Ереван. Я его абсолютно понимаю, потому что сама многие годы ездила в Севастополь, в Севастополь, в Севастополь. Начал он переводить все, что ему попадалось. Были и плохие, и хорошие поэты. Но он этого не понимал и не замечал. Доблесть его переводческая был такова, что он даже Паруйра Севака перевел, перед которым пасовали все московские переводчики. Обычно московские переводчики переводят плохо. Даже Пастернак переводит плохо. Они не соблюдают интонацию, поступь стиха меняется… Ахмадулина плохо переводит. Я не хочу их за это ругать, потому что они были при своих стихах… А Марк писал свои стихи, но он понимал, что это не высокая поэзия. А это мало кто понимает.

Как-то ко мне в журнал «Урал» ходила женщина со своими стихами: ходила-ходила, женщина неглупая, приятная, но говорить не о чем… Как-то я ей говорю: «Мне понятно Ваше желание выразить жизнь, которая уходит, время… Но ведь поэт – это еще избранник Господний…». А она: «Ну, какая разница!» Вот типичный ответ графомана. А Марк понимал. Вся наша дружба и содружество началось с того, что он стал мне показывать свои тетрадки и листки. Марк Николаевич спасал и лечил весь город Екатеринбург. Кто бы к нему ни обращался, он всех спасал.

Ю. К.: Он был терапевтом?

М. Н.: Ну, он врач широкого профиля был. А вообще он был главным патологоанатомом города. Поскольку он человек был в высшей степени жизнеутверждающий, он в морге устроил так называемый живой уголок: картины, музыка… Он в морге проводил очень много времени, работал в две смены. Паруйра Севака он перевел просто классно. Самое удивительное, что при своей жуткой загруженности, при своей занятости, он был человеком невероятных достоинств. Расскажу одну историю: то ли у него, то ли у его жены умер кто-то из родителей, и достался им в наследство старый «москвич». И дальше началась у него адская жизнь, потому что он возил всех: у кого-то бабушка приехала, кому-то картошку привезти, у кого-то кошка заболела… Отказать он никому не мог, возил абсолютно всех. Возил-возил, изнемог совершенно! Но ему никогда не приходила в голову мысль, что можно кому-то отказать. Но однажды машина сломалась, и нашелся какой-то автолюбитель, который взялся эту машину чинить. Но починка затягивалась: то купить, другое купить. А автолюбитель тот в полном кайфе от этого. И вот, с одной стороны, починка никак не кончится, а, с другой стороны, хорошо ведь… Вот чинят они, чинят, и Марк говорит: «Вообще-то, мне эта машина не нужна». Детали все стоят дорого, достать их трудно. Машина старая, никому не продашь… *(полушепотом)* Бери ее… И тут они нашли друг друга. Не знаю, отдал он ему деньги или не отдал, но он ее продал.

А однажды он приехал на курорт. Пил чай в аэропорту, пиджак свой, поскольку было тепло, повесил на спинку стула. Подошел к нему какой-то товарищ, чтобы что-то спросить. Пока этот товарищ у него что-то спрашивал, другой товарищ вытащил у него из пиджака кошелек. Когда Марк пиджак надел, оказалось, что денег у него нет. Но, заметьте, он не бросился Лере, жене, домой звонить, чтоб ее не волновать, он позвонил какому-то приятелю. Никогда я не видела ни одной бабы-дуры, которая бы желала своему ребенку, чтобы он добрым был, великодушным, милосердным, всем помогал. *(Общий смех.)* Это такой божий дар, это происходит само собой. А врач он был божьей милостью, это правда. Общаешься с ним – и лекарства не надо! Как-то он мне сказал: «Если ты хочешь, чтоб я тебе сказал, что с твоей головой все нормально, пожалуйста, я тебе скажу».

Ю. К.: А Яше он помогал?

М. Н.: Да.

Ю. К.: Он же умер раньше Яши?..

М. Н.: Да, ему было пятьдесят три.

Ю. К.: А Марк просто любил людей или для него имело значение то, что ты – поэт?

М. Н.: Да, он имел склонность к людям талантливым… Это вне всякого сомнения. Он сам переводил талантливо. До сих пор люди, которые его знали, вспоминают его с благодарностью и восторгом. Никогда я не слышала, чтоб он жаловался на жизнь или на людей.

Ю. К.: Он же был смертельно болен?

М. Н.: Я ему как-то говорю: «Марк, ну что вот ты опять с курорта поехал в Армению?.. Может, лучше было остаться там…» Он ответил: «Не имеет значения». Наверно, он знал.

Ю. К.: А Костя Мамаев как появился?

М. Н.: Мама Кости Мамаева преподавала у нас в школе литературу. Преподавала она весьма своеобразно, но правильно. Я считаю, что учить надо только тех, кому надо и кто может учиться. Недавно где-то я услышала, что в Германии 6 миллионов неграмотных. Они знают, где кафе, где заправка, но Рильке они читать не могут. Мы знали, что есть у нее сын Костя. Марья Львовна, его мама, была очень интересная женщина. Как-то она меня во дворе встретила и к себе зазвала. Она мне сказала очень интересную вещь: «За свою жизнь я испытала и очарования, и разочарования в своей работе, поиски разных методик и так далее. Но я поняла, если ты чему-то научил, куда-то двинул хотя бы одного человека – это неплохой результат твоей жизни». У них была роскошная библиотека. В те годы об их библиотеке ходили легенды, лучшей библиотеки в городе просто не было.

Ю. К.: Я бывал у них, но не видел библиотеку. Они мне ее не показали.

М. Н.: Костя закончил УПИ. А он человек очень умный. А у такого человека все получится: он может заниматься химией, математикой, делать авиамодели и вышивать крестиком – все получится. Все, что он делает, прекрасно. Он не стал работать по своей профессии. Получилось это так: он поехал в Новосибирск на стажировку, ему дали какую-то зарплату, и он, имея эту зарплату, зашел в магазин. А тогда была эпоха дружбы с Китаем, и китайцы поставляли нам высокопробные вещи, не то, что сейчас: книги, художественные альбомы, вазы. Я помню, что я покупала китайские акварели целыми наборами. И вот Костя увидел очень красивый какой-то альбом и купил его, потратив все свои деньги. Он целую ночь на этот альбом глядел, а утром он решил прочитать, что написано под картинкой. Купил словари, справочники. И вот таким способом он выучил китайский. А потом на протяжении многих лет он в городе был единственным переводчиком с китайского. Вот этим он и жил. Чем он себе обеспечил свободный распорядок дня, что трудно было сделать. Когда мне рассказывают про безумно тяжелую жизнь Бродского... Ссылка

в Новгородскую деревню! Никто не упоминает то, что он ни разу не зарабатывал себе куска хлеба тем, что ему не нравится делать. Он всю жизнь делал то, что ему нравится. Большего счастья в жизни не бывает. А Костя нашел то, что ему нравилось. То, что он делает руками, очень красиво. Его деревянные поделки великолепны. Помню, как-то Маша с Сашей были в Швейцарии или Австрии и взяли с собой несколько Костиных вещей. Они отнесли эти вещи в антикварный магазин, где им сказали, что вещи прекрасные, но они продают не вещи, а имена. Человек он, конечно, выдающегося ума. Его образ жизни свободного человека обеспечил ему возможность делать то, что ему интересно. И надо сказать, что его книги «Письмо и речь» и «Деревянный рай» – классные вещи.

Ю. К.: Мы тогда дали ему Бажовскую премию, да?

М. Н.: Да. Но в Екатеринбурге нет людей, которые могут это понять. Художник и его вещь…

Ю. К.: Взаимоотношения человека и материи…

М. Н.: Да, да! У него много книг, но вот эти две…

Ю. К.: У него суждения странные. Я как-то даже с ним очень сильно поссорился. Мы сидели у тебя в большой комнате, разговор зашел о «Маленьких трагедиях» Пушкина. Я что-то сказал о том, что мне они нравятся, а он ответил: «Маленькие трагедии» – это дерьмо». Не помню, что его спасло. Может, ты была рядом. *(Смеется.)*

М. Н.: Да, он относится к числу людей, которые на все имеют свою точку зрения. Он в высшей степени самостоятельно мыслящий человек. Но тут часто бывает такой крен: я самостоятелен в своих суждениях настолько, что не учитываю мнения других.

Ю. К.: Это нетерпимость.

М. Н.: Да, это нетерпимость. Но в целом то, что он пишет, очень интересно, этого никто никогда не писал и не говорил. Что касается такого отношения к Пушкину: если он чем-то одним увлечен, он всецело на этом сосредоточен. Но литературу он очень хорошо понимает.

Ю. К.: Может, про Андрея Петровича?

М. Н.: Андрей Петрович вполне романический герой. Если вставить его в роман, интересный персонаж будет. Андрея Петровича я знаю давно. Его исследование «Слова о полку Игореве» – это блистательная работа, но здесь нет людей, которые могут ее оценить. Некоторую его нынешнюю отъединенность я вот этим объясняю. Андрей Петрович относится к числу таких людей, которым нужна постоянная подпитка в виде внятных и слышных оценок его работы. Это я всегда говорю, чтоб меня оставили в покое, мне ни от кого ничего не надо. А для него это рабочий режим, тонус. Я помню, как делалось это «Слово…», как они все обсуж-

дали. Понятно, что эта работа достойна большего. Андрей Петрович – человек очень интересный. Отец его умер очень рано. Он был старше его матери на 20 лет. Андрею было пять лет, когда отец умер. Он вообще во внешней поддержке со стороны семьи, друзей очень нуждался. Это не плохо. Когда он был молодой, он лазил в горы с альпинистами… Это для него что-то значило. Один человек лезет в горы, а другой человек, буддийский монах, мысленно там был тысячу раз. И то, что сейчас полный упадок интереса к гуманитарной сфере, это для него очень болезненно. Семья у него очень интересная. Надо сказать, что наши судьбы постоянно пересекаются. Наша дружба была обусловлена и решена, мы где-то встречались, когда нас еще и не было.

Что касается его стихов… Ну, стихи бывают разные, вы знаете. Мне ближе другие стихи, но его профессиональная честность не вызывает у меня ни малейших сомнений. И еще одно: что мне очень нравится – у него есть хороший вкус к истории и историческим событиям.

Е. Ш.: Как Вы с ним познакомились?

М. Н.: Тогда все со всеми были знакомы. Тогда познакомиться можно было с кем угодно. Даже если б испанский король шел по улице, с ним можно было бы познакомиться. Такое было время. Но это делалось в приличных рамках, без панибратства. А сейчас в девять часов по улице страшно идти… Отношения были тогда очень хорошие. Максимальная человеческая открытость. Помню, мы были у Бори Марьева, а он жил тогда в бараке, и в этом бараке у него рояль стоял. Так вот за роялем Тоня мыла голову. И это никого не смущало. Никто в ту сторону и не смотрел. Это было нормально.

Ю. К.: А Серега Кабаков?

М. Н.: К Сереге я отношусь особо. Он абсолютно мифологический человек. Серега относится к таким людям, которых учить нельзя, так же как Гоголя. Серега же поступал в университет, но после того, как он мне три месяца объяснял, как много значит щит Ахилла… Он был способен потрясаться Гомером просто до основания…

Ю. К.: Случай один расскажу. Серега был способен увлекаться чем угодно, он мог увлечься Карлом Марксом! Однажды притащил Серега сайгака на плече. Он работал на железной дороге вместе с Андреем Комлевым, они работали в вагоне-холодильнике, мясо возили по стране. И вот принес Серега сайгака. Майя с травой в котле его приготовила. А Серега говорит: «Вот читаю Маркса, умнейший человек…». Майя молчит, нормально отнеслась к этому. Через некоторое время я, желая пошутить, говорю: «Читаю Маркса, умнейший человек…», на что Майя: «Ты что делаешь! Не читай это!» *(Смеется.)*

М. Н.: Как экономист Маркс очень интересный. Я прочла все, я знаю, что говорю. Но, с другой стороны, Боря-то Марьев был увлечен Марксом не как экономистом, а его революционной практикой.

Что касается моего знакомства с Марксом – очень смешно… Помню, приношу я в университет три бухгалтерских книги – конспекты Маркса. И мне говорят: «Ты что, правда это читала?» Я говорю: «Ну, да». *(Смеется.)* Я к тому времени экономический факультет закончила, и это сочинение экономическое показалось мне интересным.

Серега был таков: кого читает, тем и пишет, тем и наполняется. Работал он одно время в цехе холодной прокатки. Нам его строили немцы. Пока они его строили и работали там, все прекрасно работало. Как только немцы уехали, листы стали слипаться. Наши стали думать так: неудобно к немцам, они только уехали, надо решать своими силами. Решили поставить двух таких мужиков (для чего Серега и пригодился), чтоб они эти листы раздирали. И Серега рвал эти листы.

Вообще ему все было интересно. Постоянно его одолевали глобальные идеи. Интересно, как он говорил, что помнит себя в полгода: мама или бабушка полоскали белье, а он, маленький, на сухом белье лежал, играя ручками и ножками. И он говорит, что помнит, как он вот так плыл. Серега говорил: «Да что я! Вот дед у меня был!..» Как-то дед у него ходил в лес на охоту, ружье вот так *(показывает)* положил и идет, силой своей играючи. И тут в дерево прыгнула рысь, и дед от страшного возмущения эту рысь схватил, задушил и в руке принес домой в полном негодовании! *(Кричит.)* Сереге от деда что-то точно передалось. У Сереги есть очень хорошие стихи: *«…и болото промолчало, только бабка старая сказала: «Умрешь, дитя, тебя я не увижу…»*.

Ю. К.: *«Визгливые струи / любви деревенской / к горе подступили – / и смята, как шапка, гора»*.

М. Н.: Познакомилась я с ним так: принес он мне четыре тетради рукописей. Я их все добросовестно прочитала. Притом он еще не умел ничего записывать в строчку, это выглядело как линейное письмо. И вдруг в последней тетради на странице написано: «*Это звонница-колокольница расплескала звон по околице…*» Я ему сказала: «Сережа, год ничего не читай. А вот это прочти еще сто раз и вот к этому вернись». У него есть классные вещи. Про Катулла[50] я не говорю: «*Лесбия белый цветок / на груди у себя потеряла. / Лесбия, где мой цветок? / Лесбия, дай посмотреть*».

[50] Стихотворный цикл Сергея Кабакова «Темы Катулла».

А человек он вот какой: звонит мне и говорит: «Майечка, ты представить себе не можешь!.. Сегодня еду в трамвае и вижу человека – *(шепотом)* Есенин!» Вот Серега такие вещи слышит и понимает. Такому человеку в нашем мире, денежном, рациональном, очень трудно.

Ю. К.: Помнишь, была история, где нужно было шкаф переставить? Мы с Сашей Калужским пробовали – никак. Шкаф был набит книгами. В этот момент пришел Серега, и один взял его и перенес куда надо.

М. Н.: Мы как-то провожали кого-то из Перми на поезд. А у Сереги в двенадцать часов начинается смена. Он рассчитал, что ему надо в половине двенадцатого уйти, чтоб успеть. В половине двенадцатого поезд уходит, и мы с Серегой побежали. А я была в сапогах на каблуках. Бежать я, как Серега, не могла. Тогда Серега взял меня под мышку и, имея меня под мышкой, жутким галопом понесся. Он был просто богатырь: у него голубые глаза, рыжеватая борода…

Ю. К.: Да… Я был Добрыня Никитич, Серега – Илья Муромец, а Валера Мухачёв – Алеша Попович.

М. Н.: Мы же все хотели сделать такую фотокарточку…

Ю. К.: Кельт! Саша Верников…

М. Н.: Ну, Кельт… Про него говорить трудно. Кельт – ужасно талантливый человек. Он, в сущности, писатель высокой прозы. С Кельтом я познакомилась, когда ему было восемнадцать лет, он учился на первом или на втором курсе иняза. Принес рассказы. Первый я прочла, это было неплохо. Потом я прочла два других и сказала ему: «Саша, если ты когда-нибудь захочешь получить Нобелевскую премию, ты ее получишь». Совершенно своя интонация, стилистически безупречная вещь – а перед тобой мальчик восемнадцати лет. Кельт у меня жил месяцами. Кельт был человеком очень интересным. Хотя он и учился на первом курсе, он жил сам по себе, с родителей дотаций не брал. В институт, где он учился, он ходил только раз в месяц – получать стипендию, чему все преподаватели были рады, потому что он язык знал лучше, чем они. А ситуация у него сложилась такая: его во младенчестве отдали няньке, которая была многоязычной. Ну и понятно, что Кельт заговорил. У него жуткая склонность к языку, он язык учит просто запросто. Когда Маша моя писала диссертацию, ей нужны были французские философы, а в переводе их не было, так вот она их всех перевела сама. И когда Кельт это увидел, он взял у меня Марселя Пруста на французском языке и первые четыре страницы заглядывал в словарь, больше – нет. Редкие способности!

Ю. К.: Он же очень артистичен… Темперамент бешеный.

М. Н.: Да, Кельт зверски темпераментный человек. Однажды пришел, несет вот такую коробку, в коробке – бутылка вина и стаканчики.

Знаете, где он ее взял? Отобрал у мужика около Центрального гастронома. Вот такие шутки. Шутил по-крупному. Это все было от избытка мотора. Кельт был зверски умен, зверски талантлив и как-то готов с самого начала. Я всегда ему говорила: «Саша, я боюсь только одного… Идеально, когда чувственный опыт идет вровень с интеллектуальным или даже несколько его опережает. Но у тебя интеллектуальный опыт опережает все остальное настолько, что я боюсь, что ты будешь доверяться своему уму и будешь подтягивать все остальное с помощью мозговых, логических построений. Это опасно». Но Кельт пошел в цирк, в чудачества, и для его возраста это было нормально. Сейчас он пишет стихи – очень хорошие. Но он и прозу, думаю, будет писать. Кельт с самого начала имел все задатки для писателя высокопробного. Он не увлекался сюжетом, не придумывал его, его интересовали глобальные вещи: человек и время, человек и место, человек в пространстве временном и географическом. И при этом он ведь был жутко молодой! Некоторые из ранних его рассказов, например, «Бухара», хороши и сейчас.

Кельт не уехал отсюда, хотя мог бы, вот почему: Кельт жутко любит землю, он страшно к ней привязан как к источнику энергии, как к живому телу. В Москве этого не слышно. Кельт жутко к земле привязан, расстаться с ней не может. Некоторая его приостановка в прозе и переход на стихи понятен: землю лучше слушать в стихах. Стихи у него есть очень хорошие. Но я думаю, что он еще к прозе вернется.

ВЕЧЕР ШЕСТОЙ

Ю. К.: Ты сказала, что Бродский – поэт европейский…

М. Н.: Я бы не сказала, что поэт он абсолютно европейский. Он – поэт русский, но с большими поправками, которые внесло время. А поскольку он человек, вне всякого сомнения, жутко талантливый, он стал слышать эти изменения раньше и раньше начал их осуществлять. Когда он писал «Ни страны, ни погоста…»[51], когда он распространялся на папиросной бумаге, все его держали за здешнего, а потом, когда текста стало больше, чем жара, я сказала: «Вы увидите, он отсюда уедет. Он эту географию осуществит. Он это пространство отработает». Новые русские – это ведь не только те люди, которые наворовались, катаются на яхтах; это люди, для которых взаимоотношения *человек – душа – Бог – родина* изменились абсолютно. Если посмотреть сначала, то это даже очень интересно: вот «Путешествие за три моря» Афанасия Никитина, когда я дочитываю до конца, я просто встаю: он говорит, как прекрасны другие земли, но потом говорит: «Русская земля! Нет такой другой! Храни ее Боже!» А в XVIII веке – Державин, Тредиаковский. «*Начну на флейте стихи печальны / Зря на Россию сквозь страны дальны…*»[52]. Очутившись в Париже, вот он что говорит-то! А заканчивает: *«Россия-мати! Свет мой безмерный!*» И эта строка одна держит на плаву стихотворение… Мы же говорили о Блоке: оставить родину – это предательство.

Ю. К.: А «Письма русского путешественника»?..

М. Н.: Когда началось деление, которое грубо назвали славянофильством и западничеством, началось размежевание, которое долго не было заметно. Я тут посмотрела, как Феликс Разумовский говорит о турецкой войне. Это заметно вот где: военачальник, вот Суворов, вот Кутузов – «*слуга царю, отец солдатам…*». И вот это «*Богатыри – не вы!..*»[53].

---

[51] И. А. Бродский. «Ни страны, ни погоста…».

[52] В. К. Тредиаковский. «Стихи похвальные России».

[53] М. Ю. Лермонтов. «Бородино».

Помнишь, когда умирает Кутузов, Александр I просит у него прощения, а Кутузов отвечает: «Я бы тебя простил, но простит ли тебя Россия?» Еще это жутко сказалось в Крымской войне, где один за другим адмиралы умирают со словами «Не оставляйте Севастополь». Феликс Разумовский говорил про генерала Скобелева. Скобелев при абсолютной смелости имел стремление к тому, чтоб казаться, выглядеть, позировать.

Что касается 60–70-х годов… Вот Аксёнов говорит: «Все мы жили мечтой об Америке». Никто даже не думал об этом, не то что не тосковал! Да не было этого! Тут показывали фильм о Бродском, 60-е годы, там они все поют с пафосными лицами «Лили Марлен». Какая Лили Марлен?! Вот они прикалывались-прикалывались, пели-пели «Лили Марлен» и – уехали. Это заметно стало рано. Вот, скажем, диссиденты: ну, хорошо, плохо здесь, то надо управить, другое, но я не видела, чтоб кто-то из них взял и пошел в сельскую школу преподавать, делать что-то. Надо сказать, что все эти чудовищные несвободы жутко преувеличены, можно подумать, что все жили в аду, и спасение – либо в Европу, либо помирать. Но это не так.

Но готовность Бродского к тому, что он уедет, была. Его безумный интерес к английской поэзии, к европейской жизни. Меня не удивляет, что он сказал про «Ни страны, ни погоста…», что эти стихи читать не будет и написал их не он, а другой человек в другой жизни и в другой стране. Но Провидение существует и карает жестоко: эта история, когда он год после смерти лежал в гробу, не опущенном в землю. Просто ужасно. Но мировоззрение, настроение его, которое привело к тому, что он уехал отсюда легко, было заметно. Русский, но не совсем. И еще одно: наш великий поэт, которого мы признали, национальный герой – Владимир Высоцкий. Никогда такого отношения к Бродскому не было и не будет.

Ю. К.: Я как-то думал о Бродском… «Осенний крик ястреба» читаешь и понимаешь, что это язык не русский, хоть и написано по-русски. Это английский синтаксис, искусственно сделанная строфа. Взгляд на мир не русского человека. Но эффект от стихов – русский. Где в конце дети бегают и кричат по-английски: «Зима, зима!»…[54] Язык не русский, писал не русский, но в итоге это русские стихи. Но это не везде так. Есть у него и плохие стихи.

А вот жар, ты сказала, исчез, а появился текст… Может, просто изменилось качество жара?

---

[54] *И, ловя их пальцами, детвора / Выбегает на улицу в пестрых куртках / И кричит по-английски «зима, зима!»*. И. А. Бродский. «Осенний крик ястреба».

М. Н.: Это хорошо заметно на русской песне. Количество жара и накала соответствует количеству слов. А у него слов становится все больше, больше…

Ю. К.: Жар – это что? Эмоции? Выражение чувств?

М. Н.: Это, конечно, больше. Это энергия, это воля.

Ю. К.: А как она возникает, эта энергия?

М. Н.: Это не только чувства. Это и память крови, и воля, и характер, и мощность места, которое тебя держит. Стихи, конечно, у одного и того же человека бывают разные… Этой мощности может быть больше или меньше.

Ю. К.: Кто самый мощный по энергии в XIX веке?

М. Н.: Ну Лермонтов…

Ю. К.: А в XVIII-м?

М. Н.: Ой… Державин, конечно, да… Понимаешь, у него есть такая штуковина, которая меня каждый раз пленяет, – детская важность. Когда дети говорят с такой немыслимой важностью. Серьезный тон. Глубина серьезности моей ответной работы может быть измерена серьезностью авторского тона.

Я когда прочла у Бунина «Имру-Уль-Кайс»… Имру-Уль-Кайс – это арабский поэт. Арабская поэзия – это просто чудо, это такая красотища, такая мощь. Я познакомилась с ними благодаря Бунину. Я нашла Имру-Уль-Кайса – это VI век. Это мощь, это жар!

Ю. К.: А в XX веке была энергия у кого самая сильная?

М. Н.: Ну Мандельштам… Но только Мандельштамом мы не обойдемся. Бывает энергия явленная, а бывает как сжатая пружина. Это надо учитывать. В поздних стихах Заболоцкого энергии не меньше, чем поставленная, придуманная энергия Маяковского. Я не люблю Маяковского. Но прежде чем сказать, что я его не люблю, я его всего прочитала, включая даже письма и записки. Когда мне говорят: «*А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?..*»[55], товарищи, это придумано!

Ю. К.: Это же стыдно!

М. Н.: Это же для него было работой, игрой, актерством…

Ю. К.: Это же был первый эстрадник…

М. Н.: Ну, не один он. Это был вообще первый выход поэзии на эстраду.

Ю. К.: Слушай, так получается линия-то Державин – Лермонтов – Мандельштам…

---

[55] В. В. Маяковский. «А вы могли бы?»

М. Н.: Мандельштам хорошо относился к Лермонтову. Но еще обязательно надо указать Тютчева. Там были интересные поэты, но, как ни выстраивай, я никак не могу выстроить линию Пушкина. Я не вижу ее.

Ю. К.: Ну это нормально. Непонятно, откуда Пушкин взялся. Он взялся ниоткуда. Поэтому он и растворился во всех. Может быть, у Ахматовой Пушкина больше всего.

М. Н.: Ахматова – последний часовой, защищавший честь классики, хранитель священного огня…

Ю. К.: О Бродском-то все?

М. Н.: Ну, о Бродском… Чтоб о чем-то объективно говорить, надо это любить. У меня не хватает души любить Бродского. Но никто от этого не хуже и не лучше. Я – человек ужасно ограниченный, я не могу понять человека, пишущего на русском языке, у которого хватило доблести оставить Россию. У нас были эмигранты, но они Россию не оставили, они увезли ее с собой. Еще меня смущает, что Бродский – карьерный человек. Нобелевская премия, все эти его звания, лекции в университете – это ему все нравилось. Меня это ужасно смущает. Я считаю, коли тебе Бог дал, вынеси это с достоинством… А сейчас карьерные соображения – это нормально. Просто Бродский услышал это раньше. Вот Донцову спрашивают о ее тиражах, которые в двадцать раз больше тиражей Достоевского. Она отвечает, что единственное мерило популярности – тиражи. Стало быть, она соглашается, что она в двадцать раз лучше Достоевского… Лучше мне много о нем не говорить.

Е. Ш.: А его проза?

М. Н.: Я понимаю, что он умный человек. Таково обаяние умного человека: даже если ты считаешь не так, ты не будешь с ним спорить. Талант есть талант. Может, красота только убедительнее таланта. Это Божий дар, а с Божьим даром не поспоришь.

Я вам тут картинку принесла… Это Геша на Колыме, а это Геша, когда они спасали музей Грина. Три раза под бульдозер бросался!

Ю. К.: А про Гешу что-нибудь расскажешь?

М. Н.: Геша – человек, которых больше нет. Их человечество больше рожать не будет. Но в этом есть страшная логика: они никогда бы не могли жить в такой жизни. Люди такого ранга чудовищно редко встречаются на свете, поэтому тем людям, которые не склонны понимать такую редкость, он кажется идиотом, бродягой. Нет таких слов, которыми можно охарактеризовать Гешу. Уже одно то, как он говорил… «Почему ты не пришел, Геша?» – «Мне было стыдно». Ну не скажет другой человек, что ему было стыдно! Он читал Грина, высоко его ценил, ставил его в один ряд с Толстым и Достоевским.

Геша говорил: «Уйти навсегда – ерунда, это все делают! А уйти и вернуться – Господи, какой ужас!» Таких вещей обычно никто не замечает. А про любовь он говорил вот что: «Если ты любишь, уже не важно, как я живу, с кем я живу, где я живу и даже живу ли я вообще…» Это совершенно правильно. Он прав, потому что и смерть ничего не меняет, если любишь. Но говорил он так далеко не со всеми, с чужими людьми он мог нести всяческую развлекалочку…

Ю. К.: Он учился у нас?

М. Н.: Да. Но учиться ему было очень трудно, потому что его, как Сережу Кабакова, не нужно было учить. Его потрясающему чутью можно было доверять всецело. Работа, которой они занимались, археология, была под идеологическим надзором. Это правильно: археология – наука на грани чуда, поэтому ее надо курировать. У Геши с землей и со временем были особые отношения, поэтому это была работа для него.

А Нина Николаевна [жена Грина]… Ты от Сахновского узнал об этом?.. Нина Николаевна очень его любила. В жизни существовало человеческое достоинство такого уровня, которого сейчас нет. Человека, наделенного достоинством такого качества, которое было у Грина, у Петникова[56], больше нет…

С Петниковым я встретилась странным образом. Володя Кочкаренко узнал, что он живет в Старом Крыму, и позвал меня к нему. Я к тому времени ничего у него не читала, но Володя знал всю поэзию тех лет наизусть, и я поняла, что я в этом смысле защищена, и мы к нему пошли. Расскажу, что такое человеческое достоинство в то время. Он – ближайший друг Хлебникова, Хлебникова он очень любил. Была Первая мировая война, Петников где-то на войне затерялся, а Хлебников влюбился в его невесту. И когда Петников вернулся, и ему об этом сообщили, он был жутко рад. А Хлебников стал от него бегать и прятаться, потому что ему было неудобно.

Когда он вернулся с войны, о нем все забыли. И тогда он поступил следующим образом: он не стал себе искать какого-то места в литературе, потому что никакого места у него уже не было. Он перебрался в Старый Крым. На сегодняшний день Старый Крым – это благоухающая пыль. И вот он стал жить там в маленьком домике с женой и собакой. Мы первые люди, которые пришли к нему как к поэту. Он был очень хорош собой: ярко-синие глаза, загорелый…

Ю. К.: А чем он жил?

---

[56] Петников Григорий Николаевич (1894–1971) – русский поэт, переводчик.

М. Н.: Жил переводами с разных языков. Переводил сказки, предания. Я ему очень понравилась. И мне он понравился. Мы когда уже пошли, он говорит мне: «Вот у тебя все есть. Тебе больше ничего не надо, кроме себя». А Володе он сказал: «Ты все должен делать, чтоб ей было хорошо».

Ю. К.: А ты читала ему свои стихи?

М. Н.: Я – нет, а Володя читал ему и свои, и мои стихи. Что касается моих начальных стихов, то это вообще история странная… Мне было 20 лет, когда я услышала стихотворение целиком во сне. Качество этого стихотворения меня удивляет до сих пор, поскольку я совершенно не такой человек. Стихотворение звучит так, я помню его всегда:

Когда бы мне в веночке лаковом
лежать в глазетовом гробу,
старушки бы легко оплакали
мою печальную судьбу.
Меня б одели в платье белое
и туфли – так уж повелось.
Живут же все с такими бедами,
чего уж этой не жилось?..
А ты не верь такой напраслине,
другую милую люби,
купи себе рубашку красную,
гармонь нарядную купи.
И только после, перед выносом,
войди в мой невысокий дом
и огляди с порога искоса
и скрипни узким сапогом.
И плач угомонится песенный,
и стихнет шепот в уголке,
Когда ты прикоснешься весело
к моей прощающей руке.

Я никогда не знала, что такое несчастная любовь. Для меня ее просто не бывает. В таких случаях я всегда говорю: значит, ты не туда не посмотрел. Еще вот несколько было ранних:

Словно вижу: туманом повита,
приклонится к земле трава,
и коню твоему под копыто
упадет моя голова.
Взбудораженный запахом крови,
ты поднимешь ее на копье
и в закатное небо бросишь
незакатное имя мое.

Это не моя тема. Это не я…

Что касается Петникова, именно Петников нам сказал, чтобы мы не ходили к Нине Николаевне, жене Грина. Она совершенно нищая женщина, и она страшно от этого мучается. Она была бы рада принять гостей, но это не ее гости. И мы не пошли. Это действительно было так, Нина Николаевна выстрадала очень много. Во время войны она эвакуироваться не могла, потому что у нее была больная мать, да и от могилы Грина, я думаю, она бы никуда не поехала. Для того чтобы получать какой-то паек, она работала уборщицей в комендатуре, ее за это считали немецкой овчаркой, сотрудничающей с немцами. Ее за это чуть не посадили. Жила она, естественно, очень тяжело и бедно. Я Нину Николаевну не видела никогда, а вот Геша с ней был в близких отношениях, и она даже подарила ему морскую фуражку. У них были очень хорошие отношения, она ему очень доверяла. Гена был из числа тех людей, которых она не стеснялась.

Вы читали книгу, где местные литераторы о себе рассказывают? «Автограф»? Там есть два фрагмента про Гешу. Про бригантину и про банджо. Спокойно в это верить можно, так как это с ним происходило. Точно так же, как был случай, когда он стоит на втором этаже у открытого окна, а парни стоят внизу, и Геша шагнул вниз. Ну, это нормально: его зовут, и он шагнул навстречу.

Ю. К.: Вот история с Ниной Николаевной…

М. Н.: Она всегда хотела, чтоб ее похоронили вместе с Грином. Историю эту я слышала много раз, и у Сахновского она описана… Я не знаю, как к этому относиться. Потому что в их компании рассказывались потрясающие истории, одна блистательнее другой. Точна ли вот эта история на 100 %, я не знаю. Сам Гена один на один мне об этом не говорил. То, что они говорили в компании, была и правда, и мифы.

Ю. К.: А про Высоцкого-то?

М. Н.: Ну вот, они сидели обсуждали технологические подробности, и в это время зашли два парня. А через полчаса ушли. И они говорят: «А ведь это Высоцкий был…» Видит, что мужики при деле, и ушел.

Ю. К.: То есть Нину Николаевну, возможно, перезахоранивали?..

М. Н.: Не знаю точно. Я допускаю эту мысль. Они были готовы это сделать.

Ю. К.: Они были довоенного рождения?

М. Н.: Нет, послевоенного. Их родители вернулись в разрушенный Севастополь, и они с ними.

Мои тетя и дядя поехали в Севастополь, и они поехали туда, чтобы поднимать город. То, что отдали Севастополь, – это очень плохой знак.

Ю. К.: Давайте закончим про кухню. Аркадий Застырец.

М. Н.: Аркаша был замечательной красоты человек. Стильный, изысканный. Его манера садиться, вставать, разводить руки, говорить – все было стильно, цельно. А я красивым людям доверяю всегда, несмотря на назидательную модель «зачем вы, девушки, красивых любите?» А девушки правильно делают, что красивых любят. Ибо девушки заботятся только о том, чтобы у них был красивый и умный ребенок. Прекрасная есть частушка: *Во дворе стоит туман, / Сушится пеленка. / Вся любовь – сплошной обман, / Окромя ребенка*. И это совершенно правильно с точки зрения природы, потому что жизнь продлилась, цель достигнута, а все остальное – плод нашего воображения.

Еще Аркаша был «хорошим мальчиком», хорошо воспитанным, никакой крутизны, никакой позы. Уже за одно это можно было обратить на него внимание. И еще было очень интересно: что же пишет такой красивый человек? А учился он тогда в классе девятом вместе с моим племянником. Что еще мне нравилось в нем: Аркаша оставался человеком семейной идеи, а родители у него – артисты – разошлись, не жили. Вот что интересно: обычно, когда родители расходятся, дети не приветствуют это и занимают позицию отторжения, а Аркаша был держателем семейной идеи. А так как он был из думающей, читающей, интеллигентной семьи, он уже тогда был человеком из достаточно обширного культурного пространства. Тогда считалось нормой к окончанию средней школы знать всю русскую и мировую классику. Аркаша был начитан гораздо выше нормы. Потому что он понимал, что французов надо читать на французском, поляков – на польском и так далее. В те времена он выполнял словесную работу, которая была ужасно интересна для наблюдения со стороны, ибо он начал сливать два словесных ряда, которые спокойно могли бы существовать неслиянные, – улично-облегченно-разговорный и книжно-интеллигентно-усадебный. Начали получаться вещи, которые получали самостояние особого рода. Для человека столь молодого – это сложная задача. Я все те его стихи помню. И он был занят этой работой. Очень хорошо и замечательно, и интересно, и важно для человека, который собирается жить в пространстве литературы, – серьезность, глобальность этой занятости. Для него это не было боковым занятием.

Еще одно: он всегда был человеком порядочным, добродетельным. Он таким и остался. Его семейная идея проросла и отразилась на всей его последующей жизни. Меня постоянно гложет мысль: Аркаша очень рано женился, потому что он был человеком семейной идеи. Если б это было не так, если б он стал альпинистом или океанологом, или бросился плавать по северным морям, или открывать дальние страны, он бы писал не так. Он остался при том пространстве, которое было унаследовано им

с детства. Он ему верен, он там прекрасно работает. На сегодняшний день Аркаша – единственный человек, у которого сонет получается живым. У остальных – мертвяк. Если бы он стал горноспасателем или пошел бы с караваном в пустыню, было бы не так. Посмотрите на «Нафталин».

Ю. К.: Да-а-а-а! Мироздание в сундуке.

М. Н.: «Нафталин» сделан роскошно. Точно, как выстрел. Блистательная вещь. И когда была презентация его последней книги, там тоже слышно, что ему не помешало бы дополнительное жизненное пространство. Я постоянно слышу в нем возможности, которые могли бы реализоваться. Он – потрясающий работник. Посмотрите на то, как он перевел Вийона. Никто так не перевел. Обратите внимание: не было здесь такого, что здесь прямо глушь, застой, провинция, и живут здесь одни дураки, идеологией задавленные. Самые хорошие переводы Лермонтова сделал Саша Калужский, здешний человек; самые хорошие переводы Вийона сделал Аркаша Застырец, здешний человек; и сейчас Сережа Кабаков прекрасно переводит Катулла. Уверяю вас, это не случайно. Это говорит о том, что уровень культурного напряжения здесь существовал. Это все абсолютно не случайно.

Ю. К.: А сейчас каково это культурное напряжение?

М. Н.: А сейчас, по-моему, по всей стране это культурное напряжение теряется. Упадок просто чудовищный. Но в Екатеринбурге все-таки уже сформировался какой-то культурный воздух, которым можно дышать. Об этом говорит то, что люди, которые пишут хорошо, остались в городе Екатеринбурге. Все зависит от того, одно поколение мы потеряли или два. Если одно, то это можно будет наверстать, если два, то я даже не представляю, как это можно будет сделать. Нельзя закрывать глаза на то, что люди почти не читают, а поэзию не читают вовсе.

Ю. К.: Я заметил, что на филфаке вот уже лет пятнадцать не было людей, пишущих стихи. А вот последние три года стали появляться студентки, таскающие мне стихи.

М. Н.: Для этого надо что-то делать. И делать надо не с университета, а гораздо раньше….

Ю. К.: Бабки исчезли…

М. Н.: Главные воспитательницы. Самые главные законы жизни мне оставила бабушка Саша: «Не расходишься, так належишься»; «Далеко ничего не ищи, все – тут».

Ю. К.: А еще про клятвы она тебе говорила…

М. Н.: Да, она говорила, что клясться нельзя. Это большой грех. Клятвопреступник губит жизнь свою и тех людей, которых он втягивает в клятву.

Сейчас дети уже не знают, что такое колыбельная песня. Никому не поют колыбельных, все в компьютерные игры играют. У меня есть страшное наблюдение: когда ребенок рассказывает содержание американского мультика, слова ему не нужны, ибо там нет содержания. Одни междометия. А колыбельные – это такая фонетика, это такое воспитание! И если тебе с первого дня рождения до пяти лет поют колыбельные, а потом сказки читают – это воспитание лучше университетского.

Ю. К.: У Аркаши внук балет полюбил…

М. Н.: Аркаша и сам театральный человек.

Ю. К.: Койнов?

М. Н.: Существуют настоящие мужчины, их мало. Но вот это можно сказать про Сашу Койнова. Он был сирота, жил в деревне, в бедности… Нам всем досталось, мы все нищие, но все-таки не в такой степени, как ему. Саша был жутко привязан к своей деревне, и каждый год он туда ездил. Как отпуск – он туда. Как-то раз он приехал – руки на колени, голову опустил. Я: «Что, Саша?» Он: «Нет у меня больше дома». Он мне рассказал, что люди в деревне спиваются, что они уже перетопили все заборы, стайки. Он туда приехал, и никто его не узнал – до такой степени упились. Потом он уехал отсюда в Иркутск, женился. Сейчас не знаю, где он. Очень достойный, мужественный человек. Надо сказать, что это удивительно: из такой глухомани, нищеты такой начитанный человек, за всем следил, доброжелательный!..

Ю. К.: Очень гордый. Не любил, чтоб его жалели.

М. Н.: Да, я даже припомнить не могу, чтоб его кто-то жалел. Все к нему относились очень хорошо. То, что он писал, мне очень нравилось. Но он никогда никуда не лез, ничего не просил. Хотя я уверена, что он был бы доволен, если бы это все было где-то напечатано, издано. Стихи его все-таки были услышаны и прочитаны людьми того круга, который тогда существовал.

Ю. К.: Он абсолютно деревенский человек, но выглядел как дворянин. Есть у Лермонтова такой персонаж – доктор Вернер. Только Вернер представляется темноволосым, а Саша – блондин. Доктор Вернер: молчаливый и всезнающий.

М. Н.: Я не помню, чтоб он когда-нибудь был на кого-то обижен… Он всегда вел себя безупречно. Ему по-другому нельзя было. Но вести себя безупречно – это жутко трудно.

Ю. К.: Барый Гайнутдинов?..

М. Н.: С Барыем у меня связана смешная история. Звонит мне Барый и спрашивает, можно ли ему прийти с каким-то другом ко мне. Я: «Приходи». Пришел Барый, привел друга – темноволосого, смуглого. И мы

все сидим на кухне на полу. Товарищ Барыя говорит: «Вот я всегда хотел посмотреть, как живет русский писатель». Я ему говорю: «Ну, ты к месту пришел. Вот перед тобой сидит целый круг русских писателей – смотри». Идет разговор, мы стали читать испанских поэтов. Товарищ Барыя принял активное участие в этом чтении. И он смотрит и говорит: «А сколько у вас комнат?» Я: «А у тебя сколько?» Он: «У нас на комнаты не считают. У нас считают на дома». Я: «Ну и сколько у тебя домов?» Он: «Ну, в городе один и еще где-то в провинции». Дальше он стал рассказывать, что у них там все растет, но самое вкусное растет у нас. Оказалось, самое вкусное – это земляника. Я говорю: «А где это – у вас?» Оказалось, что его отец – губернатор. Но ему здесь очень нравилось, ему не хотелось уезжать. Этого человека привел Барый. Барый живет в Москве. Он принадлежит к числу тех людей, для которых это важно. Здесь для него был перевалочный пункт.

Что касается Валеры Мухачёва, он уехал отсюда по причинам глубоко уважительным: он оставил одну семью, другую… И вот эта третья.

Ю. К.: Мальчик у него очень красивый был… Ангел просто.

М. Н.: Ну, Валера сам был очень хорош собой. В нем была тонкость какая-то, черные кудрявые волосы и глаза цвета топаза. Мальчик у него – второй – в консерваторию поступил, а третья у него – девочка. Валера был с Андреем Танцыревым в паре. Кстати, очень эффектная пара. Валера высоко ценил Танцырева. Настолько высоко, что как-то так относился к своим стихам… Зря, в его стихах были интересные вещи.

Но он ушел в прозу и делал там то, чего в стихах делать нельзя. А в прозе он ушел в воображаемое, фантазийное пространство, построенное изысканно, умно, красиво. И перешел он на большие объемы, в стихах это невозможно. Если его большой роман прочесть целиком, там можно усмотреть очень интересные идеи. Особенно композиционно: один сюжет прорастал в другой, одно содержание переходило в другое. Этот роман для общения с читателем был сложен. К тому же наклевывался читатель, который будет читать Донцову и Акунина. Если сейчас считается, что Акунин – великий писатель, то тут уж надо сливать воду…

Как у него дела в Москве, я не слышала. С ним поддерживает отношения Костя Мамаев. Но ни о каких его успехах литературных я не слышала. Да и в Москве с этим сложно.

Ю. К.: А у Валеры в прозе не было чего-то от Набокова?

М. Н.: Валера целиком находился в пространстве вымышленном, воображаемом. А Набоков в совершенно реальном, живом пространстве располагался.

Ю. К.: Как ты относишься к Набокову? Я его не люблю.

М. Н.: То, что он написал на английском, мне не нравится. Меня сводит с ума, когда русского писателя надо переводить на русский с английского. Кроме того, там постоянно есть такие штучки, нужные для того, чтобы удержать внимание читателя, шокировать его. Он очень умный человек, и первые его вещи, написанные на русском языке, говорят о том, что это большой писатель, не нуждающийся в этих штучках. Ни в «Даре», ни в «Других берегах», ни в «Защите Лужина» этого нет, потому что ему этого не надо.

Ю. К.: И в «Даре» это есть. Если читаешь его на пятый раз, понимаешь, что он и тут аттракцион тебе устраивает. Когда там идет чистая лирика, а потом появляются драки Чернышевского с Добролюбовым… Это мерзко, по-моему. Он постоянно немного нечестно поддерживает внимание читателя.

М. Н.: Чернышевским и Добролюбовым я интересуюсь, потому что это наша история. Про этих товарищей можно было многое сказать. А те штучки он придумывал для развлечения.

Ю. К.: Кто-то, не помню – кто, называл Достоевского журналистом. Кто больший журналист – Достоевский или Набоков?

М. Н.: Ой, не знаю.

Ю. К.: Ну ты Набокова любишь?

М. Н.: Я Бунина люблю. *(Смеется.)*

Ю. К.: А стихи Набокова?

М. Н.: Стихи лучше прозы.

Ю. К.: Он, когда умирал, сказал, что он – поэт. Не прозаик.

М. Н.: Ну и Бунин тоже.

Ю. К.: У Бунина проза выросла из стихов.

М. Н.: Я полагаю, что твоя задача жутко трудная. Мне как-то предлагали написать книгу о Бажове, я отказалась, поскольку я не уверена в том, что то, что я напишу, нужно еще кому-то. Писать, конечно, лучше от первого лица, это обеспечивает максимальную свободу моего отношения к материалу. Но тут очень трудно быть объективным, трудно отобрать материал.

Ю. К.: Объективным трудно быть в отношении?

М. Н.: Да. Это трудно.

Ю. К.: Можно впасть в апологетику или, наоборот, в отрицание.

М. Н.: Я тебе могу рассказать про собственную жизнь, и будет что-то невероятное. И это будет чистая правда. Можно рассказать историю и попроще, и она тоже будет правдой. Но есть вещи, о которых говорить нельзя. Если я на себя со стороны, с высоты своего возраста смотрю, я вижу, что я – явление нестандартное. Потому что я никогда в жизни не

ходила ни на один вечер, ни какие танцы, ни в какие салоны, я никогда не красила губы, не надевала белое венчальное платье… Эта часть жизни меня никогда не интересовала. Зато меня волновали другие вещи, которые других не волнуют совершенно. Нет, например, разницы между тем, как я люблю живого человека и Лермонтова.

Ю. К.: Ну что, о чем поговорим? Можно поговорить о работах твоих, о библиотеке, можно поговорить о поэтах XVIII века, можно что-нибудь про хозяйство.

М. Н.: Про поэтов XVIII века потом. Надо сказать, что Россия XVIII века, товарищи… Ой, Боже мой! Какие люди! Титаны! Титаны совершенные! Какая роскошь! Какая богатая, немыслимая страна! Какие дворянские усадьбы! Какое богатство! Это вам не во Франции, не в Италии строить, у нас тут лед и снег. Все: мосты и острова, пруды, система каналов – какая роскошь! Просто что-то невероятное. Само по себе промышленное освоение Урала – что-то невероятное. Больше, мощнее, чем в XVIII веке, мы, пожалуй, никогда не бывали. Надо сказать, что вот это русское отношение, что я и земля – это одно целое, и разрыв невозможен. Вот тогда все это и было! Ну, просто очень здорово! Но, между прочим, тогда уже пошли все эти масоны и так далее, вот уже тогда началось деление на славянофилов и западников. Но XVIII век – просто блистательный век у нас был, это верно! А люди какие… Потёмкин! Боже мой! Это что-то! Невероятное что-то, да!

Ю. К.: Я знаю три места, где ты работала, – это библиотека, журнал «Урал» и гимназия.

М. Н.: Ну, в библиотеке я работала очень долго.

Ю. К.: Я даже помню, мы ходили туда.

М. Н.: Да. И надо сказать, что сейчас, когда приходит книга, и на ней уже напечатаны все шифры, аннотация, она, согласно этим данным, ставится на полку, в библиотеках сидят люди, которые книг практически не читают. Я вот несколько раз пробовала обратиться с каким-то вопросом в библиотеку Белинского, и выяснилось, что они книг просто не читают. То есть сейчас работа в библиотеке – чисто механическая работа.

Как-то тут однажды к нам приезжал советник Клинтона. Он заведовал библиотекой Конгресса, а поскольку, как оказалось, его личный интерес – это история русской интеллигенции, мы с ним весь день проездили в машине (я ему что-то показывала, говорила), и вот я выслушала его интересное мнение, с которым всецело согласна, что отличие библиотекарей нынешнего пошива – механическая расстановка книг и механическая по заявке их выдача – от тех библиотекарей, которые были раньше, огромно. Раньше были библиографы. Такого глобального профессиона-

лизма, который был у библиографов, сейчас просто нет. Мы когда работали в библиотеке, я была там единственным человеком, который читал все. Вот все книги, которые привозили в библиотеку, все журналы, а также все газеты – абсолютно все. Вот я являюсь человеком, который читал не десятки тысяч книг, а уже, по-моему…

Ю. К.: За сотню.

М. Н.: …ну за сотню свешивает – чудовищное количество!

Ю. К.: 150 тысяч книг.

М. Н.: О-о-очень много! Я вот сейчас иногда прихожу по старой памяти в библиотеку, что ни возьмешь в руки, на всех карточках одна подпись – моя. Мало того, что мы их читали, мы их подробнейшим образом расписывали: допустим, о том-то и о том-то – на странице такой-то и такой-то. Вот до такой степени тщательности! Ибо в старой библиотеке работали вот таким образом. И, в общем-то, это была работа, которая мне нравилась. Почему? Потому что я всегда любила читать и читать могла сколько угодно. Некоторые люди читают и устают. Я – нет. Я, допустим, беру «Моби Дика», и пока я его не прочитаю, я от него не отойду. Я могу взять том Пастернака – и прочитать от и до. Я этому ужасно рада! Я считаю, что это меня Бог не забыл. Поэтому меня работа эта устраивала. У нас там еще работали девочки, все такие неглупые, все университетские, все жутко инициативные, мы детям устраивали всякие мероприятия, всякие «елки», всякие путешествия по книжным сюжетам… Все это было изобретательно и талантливо, девки действительно были очень неглупые. Но сейчас таких библиотек уже просто нет. В общем, сейчас библиотека – нечто совсем иное, потому что сейчас разница между знанием и информацией утрачена, а это вещи, товарищи, почти несовместимые. И скажем, когда я беру ящик и по какому-то интересующему меня вопросу передо мной стоит 200 книг, и я, перебирая, ищу то, что мне надо, я, по крайней мере, знаю, с каким глобальным вопросом я связалась. Когда мне по компьютеру выдают книгу с одним ответом, я ничего не узнаю. Ну вот это неправильно, это неправильно!

Ю. К.: За тебя кто-то уже подумал, нашел и выбрал.

М. Н.: Ну конечно! Мне как раз очень нравилась эта старая форма работы, поскольку я сразу, как вот в это пространство входила, и когда достаю один ящик, второй – и все об этом, и я вижу, какие люди об этом – это одна работа, а когда теперь нажимаешь кнопку, и тебе ответ – это другая работа… С этой стороны мне работа нравилась, хотя платили нам… Ну, товарищи, меньше, чем библиотекари и музейщики, в Советском Союзе никто не получал. Я всегда, на всех своих работах, всегда получала меньше всех. И сейчас точно так же. Вот так вот, никаких амбиций, ника-

ких претензий к судьбе не предъявляю. Когда как-то, помню, к нам приехали (ну, какая-то декада была) чехословацкие библиотекари (мы устроили им прекрасный прием, они были от нашей библиотеки в восторге, у нас здание было такое прелестное) и спросили: «Как же, вы, женщины, на такие деньги?..» Мы им и отвечаем: «А мы работаем не из-за денег». Они, видимо, истолковали это так, что у нас мужья там типа летчики. Вот так. Тогда, товарищи, муж-летчик – это было что-то… Ну и вот, ни о каких деньгах никто никогда не думал. Мы были методическим центром и ездили по всему Уралу. Это было тоже очень хорошо, потому что, во-первых, на Урале очень много замечательных, красивых мест, которые можно было посмотреть в таком вот частном порядке, и потом еще одно: понимаете, тогда была жизнь такая, какой сейчас нет, она утрачена навсегда. Вот мы приедем в какую-нибудь глухомань, где под полками грибы эти (ну от сырости) растут… В сельских библиотеках были прекрасные фонды! Это сейчас вот…

Ю. К.: Все разорили! Закрывают библиотеки.

М. Н.: Вот, понимаешь, прекрасные фонды!..

Ю. К.: На 40 % сократили.

М. Н.: Деревенские библиотеки, я смотрю: древнекитайская философия, дневники Байрона – ради Бога!

Ю. К.: Мы были в Тавде. Это, в общем, город зэков. То есть люди освобождаются с зоны и там оседают, на поселении… И там есть библиотеки. И там до сих пор люди ходят в читальню семьями. То есть в провинции как раз это и сохранилось еще…

М. Н.: Ой, да ты что!

Ю. К.: В провинции!

М. Н.: Мне не нравится, что это провинция, если это, товарищи, Урал, то это не провинция. Я однажды в Синячихе, помню, как-то шла с Иваном Даниловичем Самойловым. Я безумно его почитаю, и поэтому… Ну героический человек! Вот пока такие люди есть…

Ю. К.: Он еще архитектурой деревянной занимался, да?

М. Н.: Он не архитектурой деревянной занимался, он обыкновенный землемер. Давайте я вам расскажу его историю, это просто невероятно. Я считаю, что вот это классический русский человек. Вот я говорю, что, допустим, Бродский не герой, а вот Иван Данилович никогда бы в жизни он не согласился с тем, что он герой. Но вот это и есть тот самый героизм – не который от наших беспорядков, а который… Вот он сам по себе, понимаешь, подвижник, героическое явление.

Значит, суть такая. Он из семьи крепкого крестьянства, которую советская власть разорила полностью. Его даже в школу не брали, поскольку,

он, мол, такой-сякой, кулак, враг народа, но потом сказали: иди в сельский поселок, в заводской, там берут в школу, он там окончил школу. В общем, как он сказал, из дома выгнали, растащили мебель, на улицу вывели – все, что можно было претерпеть от советской власти, он претерпел. Никогда, нигде – ни в его книгах, ни в личном разговоре – никогда я не слышала, чтобы он как-то пожаловался. Вот когда я слышала от Василия Аксёнова, как он «претерпевал»… Это ужасно! А вот здесь была этика такая: это неприлично. Вот я, слава Богу, жив-здоров, надо мною небо, вот моя жена и дети – какие жалобы?.. Так вот потом он окончил школу и выучился на землемера, техникум какой-то окончил. Сами понимаете, сколько он мог получать. Тут началась война. Естественно, он пошел, Родина же в опасности, и вот, когда его ранили в первый раз, потом второй, и второй раз что-то у него было с ногой, понятно, что больше воевать не будет, лежит он в госпитале, смотрит в потолок. И я этому человеку говорю (а я была уже тогда с ним знакома, много раз слышала, была полна немыслимого почтения и уважения к нему): на Урале-то были потолки расписные, и вот он посмотрел на этот потолок и сказал: «Вот эти расписные потолки…» И вот он идет домой, и когда он пришел сюда, то он увидел вот что: ну война, товарищи, мужиков нет, в деревне голод и все такое, и всю эту красоту жгут в печах, потому что народ голодает (в деревнях было хуже, чем в городе, потому что там даже продовольственных карточек не было). И он понимает такую вещь: вот сейчас последнее эти несчастные бабы жгут… На Урале жили в расписных домах, как в центре букета… Вот Женя Ройзман сделал, понимаешь ли, музей Невьянской иконы, а то, что сделал Иван Данилович, – это, в сущности, даже и больше. Женя молод, красив и небеден, вот так. И вот Иван Данилович понимает одно: если сейчас это исчезнет, то этого больше не будет никогда, что эту красоту нельзя будет повторить, потому что никто ее не будет помнить, и надо ее удержать. И тогда он стал – можете себе представить? – землемер, у него были одни сапоги и одни штаны, потому что все свои средства, все свои деньги он тратил на то, чтобы удержать вот эту самую красоту. Стал он собирать эти расписные стенки, потолки, лари, сундуки. Пришел однажды он к бабке одной, а та и говорит: «Так что, Иван Данилович, я бы рада была, но обезножила я, вот на печи лежу, купи мне дрова». Три года он ей дрова покупал – вы можете себе представить?

Ю. К.: Да-а-а-а…

М. Н.: Да. А когда умерла, разобрал все – полотенца, все эти расписные посудины, туеса, половики… Собирал-собирал-собирал, все думал, что пропадет. Потом есть в Синячихе собор XVIII века, изумительной красоты, превращенный в руины (я вам говорила, что я его видела, я его

видела, каким он был, вся вот эта лепнина пооббита, вместо окон такие зияния, а он такой – как кокон кружевной стоял, в нем было что-то, склад, что ли…). И вот он задумал поднять собор. А деревня очень маленькая уже. Там, где стоял собор, раньше был завод (кстати, Яковлева). И вот я была, когда он и его жена Клавдия Ивановна этот собор мыли. Это был конец октября, грязь непролазная… И он сидит, снял сапоги, ноги босые, – видимо, уже напахался, а она – вот так вот грудью налегает на эту палку, и вот волной вот такой высоты, волной грязи гонит ее. И вот я пришла, сапоги сняла, тут мы с ними познакомились. Да, и я видела сама – это была руина. И закончилось все тем, что он поднял этот собор, отреставрировал его, и говорит: «Вот только золота мне не найти». Он прекрасно понимал, что советская власть на реставрацию собора никаких денег не даст. И тогда он пришел и говорит: «Люди! Собор надо бы поднять, иначе дети наши не увидят, какая красота была на земле!» А у него мечта была, если собор-то этот поднимут, он же никому не нужен будет, пустой, так он туда все эти росписи перенесет – типа музей был бы.

Собрались мы, пять пенсионеров… Я несколько раз видела в течение этой работы, как они очищали оконные проемы… Все здание они подняли, они вернули всю лепнину… Главный работник был Иван Данилович. Всю лепнину! Все абсолютно сделали! Все купола! Подняли весь собор сами, по кирпичику по камешку, сами! Да притом стройматериалы, кирпич – сам платил, можете представить, из зарплаты землемера? И тут собор уже был готов, Б. Н. Ельцин был уже нашим генсеком, и где-то они там проезжали (а он же был такой… самодурный человек, импульсивного плана), и как-то он этот собор заметил. И Ивану Даниловичу оказали какую-то помощь, когда этот собор был уже готов. Но все равно это было очень хорошо. А поскольку оказали помощь, то он стал на эту территорию свозить гостей… Изба, усадьба XVII, XVIII, XIX веков, часовня одна, часовня другая, ветряная мельница, часовня на погосте, сторожевые башни, кузница, и устроил там такой большой деревянный музей под открытым небом. Некоторые товарищи говорили – ну, это, мол, непрофессионально сделано, по этому поводу всем остальным лучше молчать. Нашелся один человек! И все, что он сделал, сделал он один. Правда, Бог ему жену такую дал, Клавдию Ивановну, которая ему во всем помогала.

Я просто (я туда постоянно езжу и детей вожу) вижу, как у него постепенно все прибывает, прибывает, да больше того – когда я последний раз видела его в Коптелово он мне рассказывал, как они разбирали сторожевую башню (ее там где-то хотели сносить, она на заводскую территорию пришлась), и он выпросил то ли день, то ли два (товарищи, а ему уже было лет… он меня на 10 лет старше), и вот они залезли туда, и поскольку

там все было очень старое, работали только руками, все руками разбирали. А башня-то высокая. И вот, говорит, сидим, ну понятно, что ни попить, ни поесть, и в туалет не спуститься, поскольку уж если спуститься, так забираться-то обратно сколько я времени потрачу? Так вот чтоб время не тратить, сидели весь световой день и на веревках по бревнышку спускали. И все это снова собрали в этой Синячихе… Ну, просто совершенно невероятный человек! Совершенно замечательный! Так больше того, он, прекрасно понимая, за какое он дело взялся, он не просто был доброходлюбитель, он все это изучил. Золочение и так далее – он по всем этим вопросам стал докой, поскольку понимал, что помощников у него не будет. Он все это изучил и совершенно профессионально ко всему подошел.

Ю. К.: Так он описывал памятники, да?..

М. Н.: Конечно, он и сохранил все, теперь там музей, и там все есть. Три года назад он умер и похоронен прямо возле церкви. Я даже французов туда привела, и так я им о нем рассказала, что они перед его могилой встали, чтобы поклониться. Ну, просто удивительный человек! Он написал (притом сам!) книгу «Сокровища Нижней Синячихи». Так вот. Ну хоть бы ползвука каких-нибудь обид, о каких-нибудь репрессиях! Боже мой, только о деле! Вот что нужно изучать, и на таких примерах делать жизнь! В конце концов, я не могу сказать, что это неудачная жизнь. Это великий человек, проживший прекрасную, сознательную, великую, честную и, надо сказать, счастливую жизнь! Ибо когда я видела, как-то он стоял на крыльце и смотрел на это все, и вот у него лицо – лицо счастливого человека.

Ю. К.: Ангела увидел.

М. Н.: Ну да! (У меня Машенька, когда маленькая была, она сначала улыбалась, а потом открывала глаза, говорила, что это ангелы ее смешат.) Вот ангела увидел! Вот это, на мой ум, вне всякого сомнения, русский человек. Вот это жизнь, прожитая по законам, которые нам должны быть совершенно понятны и близки. Вы бы посмотрели, как он с людьми общается. Это что-то невероятное! Когда там собрались музейщики, я там про какой-то музей сказала, так он ко мне обратился: «Как вот ты хорошо говоришь! Какая ты умная!» Я: «Иван Данилович, да Вы что говорите!» Вот так, он еще был удивлен! Не себе удивляется! Это что-то невероятное!

Но на этом не кончилось. Он поднял большую церковь в Алапаевске. И у него была мечта – в Коптелово очень большой красоты церковь! И вот мы с ним по этой церкви ходили. Я ему и говорю: «Иван Данилович! Давайте вот сейчас… Вот вы у нас уже, можно сказать, народный герой. И начальство против вас никогда не пойдет. Давайте вот напишем, мы

только объявим, что вы высказали такую идею, и, уверяю вас, найдутся люди, которые дадут деньги, найдутся, если вы скажете!» Он: «Ну вот как я могу сказать, ведь я уже старый!» Я говорю: «Все мы не вечны, но вот вы только объявите, что, мол, поднял бы я, так все…» Но вот не пошел он уже на это, побоялся, что не хватит сил, не успеет, и церковь эта, она стоит в Коптелово, и ее уже, думаю, не поднимут. И книгу, надо сказать, написал очень хорошую. Книга эта была издана в последние советские годы, и цена ее была 50 рублей. Я и говорю: «Иван Данилович, да Вы что! Таких цен сейчас нет, понимаете! Сейчас нет цен 50 рублей, нет! Сейчас книга стоит 500 рублей!» – «Так как же я могу!..» – «Все равно ведь купят, еще и рады будут!» И что вы думаете? Не убедила. 50 рублей – цена ее.

Е. Ш.: А дети у него остались?

М. Н.: Сын. Больше того, я вам расскажу, какое значение было Ивана Даниловича в Алапаевске. Там появились самодеятельные художники (притом жутко интересные, две женщины), там появились какие-то фотографы, люди стали писать стихи…

Ю. К.: Ну, в общем, воздух появился…

М. Н.: Да, вот один Иван Данилович надышал культурный воздух на весь Алапаевский район.

Ю. К.: А Серега-то Кабаков у нас из Алапаевска…

М. Н.: Да-да-да. И, надо сказать, благодаря этому в Алапаевском районе у них поднялся хороший музей в Коптелово. В последние годы до революции была такая идея – сделать экспериментально, но бесплатно, естественно, среднее образование. И вот район один Урала попал под этот эксперимент. И там уже эксперимент не был проведен, поскольку тут революция, но уже были сделаны школьные здания. Так вот в одной деревне сами жители удержали вот это школьное здание (ходят моют, чистят эти парты, топят избу). Это все Иван Данилович. Да он никого и не воспитывал. Да он просто был.

Ю. К.: Был, да.

М. Н.: Притом денег у него никогда не было, какая там машина, и они каждый день, особенно летом, пешком с Клавдией Ивановной из Алапаевска в Синячиху собор мыть ходили. Совершенно замечательный человек был!..

Ю. К.: Вернемся к библиотекам.

М. Н.: Да. И между тем, пока мы ездили в то время, мы видели очень много прекрасных мест, и таких людей и такой образ жизни, которые сейчас утрачены навсегда. Мы, допустим, когда приезжаем, а там ни лавки, ни столовой – то есть ничего нет, и вот нам библиотекарши волокут еду: «Девочки, девочки…» Притом ты не можешь себе представить: «Ой, вот

у меня дочка поет, давайте я вам ее приведу, послушаете?» – «Приведите». Знаешь, это вот такое событие было, культурные люди все-таки. Когда мы приезжали в Верхотурье, товарищи, вы знаете, вот я сейчас, когда говорю, мне кажется, что это сон, вымысел, но это чистая правда. Вот мы приходим: «Ой, девочки (а мы по двое ездили)! Что вы мне такое изладите?» А мы просто приезжали и все им делали. Сделаем им каталог на год, потом приедем и снова продлим. Потому что там работали тетки, вполне такие хорошие, душевные, то есть матери были совершенно спокойные, попить она ребенку даст, в туалет его сводит, на улицу босиком не выпустит, как говорится, они и при книжке – вполне надежно… И я считаю, это очень хорошо, они с работой справлялись, а что касается описания книг – это мы им делали. Очень, по-моему, такой правильный стиль работы. Так вот, «Может, вам грибной икорки взять, может, вам пирогов испечь?» – ты приходишь, а тебя так встречают… Просто невероятное что-то. Поскольку мест у нас очень много, и я не знаю, до какой степени (сейчас уже не бываю там так часто), но еще где-то в первые капиталистические годы Синячиха меня, помню, потрясла (как раз вот мы там были с Иваном Даниловичем): собрались там люди, и зашел разговор, что, мол, зарплату не платят (а там маленький старый металлургический завод, зарплату не платят уже несколько месяцев). Мы им: «Ну и что вы там, ребята, как живете?» – «Ну, там вот огород, грибы-ягоды…» – «Понятно, грибы-ягоды, но, вообще-то, сапоги-то, к примеру, починить на что-то надо…» – «Так что ж, по-вашему, завод закрывать?!» Представляете, вот они согласны, что они будут жить так, лишь бы завод не закрывали. Вот это и есть то, о чем я говорила, что эта земля – это место, где энергия земли встречается с энергией человека, и нельзя допустить, чтобы произошел разрыв. Вот так. И еще что хорошо – ведь у нас же все дети в библиотеках выросли, при книгах, в красивом здании, это было даже очень хорошо.

Е. Ш.: А какое здание?

М. Н.: Ну, на Карла Либкнехта областная детская библиотека, красивое здание.

Ю. К.: Красивая библиотека, да.

М. Н.: Красивое здание. Его строили, помню, в начале века.

Ю. К.: Это был частный особняк?

М. Н.: Нет, не частное здание. Какой-то общественник его строил…

Ю. К.: Я говорю по времени, как Оперный театр.

М. Н.: Да-да-да.

Ю. К.: Ладно, а потом ты попала в «Урал»?

М. Н.: Вот пока я работала в библиотеке, у меня баба Саша умерла, отец умер, Вова умер, мама ослепла, Маша болела все эти жуткие годы. А потом я еще работала в библиотеке, когда пришел Дима Месяц со своими стихами. Он был в «Урале», а они его отправили в библиотеку: мол, иди в библиотеку, там сидит такая женщина, пусть она посмотрит… Они не взяли на себя ответственность. И приходит Дима Месяц – очаровательный молодой человек, очаровательный, обворожительный, такой олененочек…

Ю. К.: Глаза у него еще такие шибко живые…

М. Н.: Такие глаза, да… Шапка кудрей. Приятный молодой человек, да. И вот приносит он эти стихи, мы сидим с ним в зале. И я, значит, просмотрела стихи и говорю ему: «Ты песни, что ли, туристские писал?» – «Откуда, – говорит, – знаете?» – «Ну, Дима… это слышно». А вообще, песни туристские писать смешно. И вот как я разобрала его стихи, он сказал (он, кстати, очень талантливый, очень умный и способный на невероятную перестройку и работу глобального масштаба): «Давайте работать». И вот мы эти стихи собрали, и получилась его первая подборка. Стихи такие молодые, такие бесстрашные, и это вообще очень видное явление… Дима окончил физический факультет и писал уже диссертацию (он ее защитил), талантливый физик, папа у него, так сказать, гениальный ученый мирового масштаба и все прочее… Но папа у него, обратите внимание, Геннадий Андреевич, человек совершенно редкий. Он первый образованный человек в семье, то есть Геннадий Андреевич сделал потрясающий рывок из никуда в академики, вот такой он рывок сделал потрясающий, что он продвинулся за Диму, и Дима занимался уже не физикой, а языком. Вот когда я все это прочла, сказала ему: «Дима! Ты не будешь физикой заниматься, все с тобой совершенно ясно». Человек может откуда угодно уйти, но вот отсюда уже не уходит, поскольку это самая предельная инстанция.

Вот как-то много лет подряд ходил ко мне все и приносил стихи свои плохие один товарищ. Тогда была эпоха (не ты, иди ты!.. – *отмахивается в шутку от Ю. К.)* освоения нашего тюменского нефтеносного района, и этот мужик заведовал отрядом каким-то (авиация, вертолеты), и вот ходит-ходит, ходит-ходит, и вот мы уже много лет были знакомы, и я говорю: «Слушай, ну скажи мне, ради Бога, вот зачем?.. Ты посмотри, ведь ты прекрасный мужик, у тебя прекрасная работа, ну все пред тобой: и земля, и небо, и деньги, и бабы – ну что тебе еще надо?..» Он мне и говорит: «Все отдам, все – за одну хорошую строчку!» Вот, товарищи, это просто невероятно…

Ю. К.: Вот дает!..

М. Н.: Ну, это просто невероятное что-то!

Ю. К.: Это русские, абсолютно сумасшедший народ…

М. Н.: Ну безбашенный совершенно! Вот что прекрасно знают европейцы, а мы никак не желаем знать – что и сколько стоит. Больше того, не просто не желаем знать, но и сопротивляемся. Вот все бы отдал за одну хорошую строчку. Вот так.

Ю. К.: А Диму можно было бы приписать к кухне?

М. Н.: Дима же появился уже, так сказать, на исходе…

Ю. К.: Но все равно…

М. Н.: Нет, Дима – человек очень интересный, вообще очаровательный. Вот так мы и познакомились с Геннадием Андреевичем… У того, конечно, была уже тема оставлена для Димы…

Ю. К.: Он считал, что Дима продолжит его дело.

М. Н.: Да, и еще тот человек, у которого Дима писал и защищал диссертацию, сказал мне: «Майя Петровна! Знаете, что… Дима – очень талантливый физик!» И я ему: «Это, знаете, уже не ко мне. Это к… выше! Это уже не ко мне!» Я и Геннадию Андреевичу сказала: «Геннадий Андреевич, сами понимаете, это будет так, и иначе никак!» Дима – совершенно взрослый человек, никогда не занимался литературой, совершенно к ней равнодушный, притом атмосфера Томска, где Геннадий Андреевич делал чудеса, вот этот институт и все такое прочее… Геннадий Андреевич, действительно, ученый глобального масштаба, я, правда, очень долго не могла понять, что он сделал (я и сейчас с трудом это осознаю, это не нашего ума дело), но мне один товарищ, тоже ученый и тоже из академии, сказал: «Я тебе объясню, чтоб ты поняла. Вот «звездные войны» – слышала когда-нибудь об этой идее? Так вот Геннадий Андреевич сделал идею звездных войн бессмысленной.

Ю. К.: *(Смеется.)*

М. Н.: Это все для того, чтобы понять масштаб его открытия. Товарищи, я честно пробовала даже читать, но это не для меня. А Дима-то, представляете, в какой атмосфере он жил: в атмосфере высокого научного напряжения, где люди все были жутко увлечены этим делом. И поэтому он, конечно, попал в сложную ситуацию… Но выхода у него абсолютно не было. Он пишет очень хорошо. Мало того, что он писал классно стихи… Мне не нравились только те его стихи, которые он написал в Америке, где пошел вот этот длинный Бродский…

Ю. К.: Ну понятно, он попал под обаяние…

М. Н.: Нет, у меня уже было такое ощущение, может, действительно, стоит уехать отсюда туда, остаться без общения на родном языке, вообще без этой кормящей почвы, чтобы понять… А какие он песни пишет!

Классные песни, совершенно такие русские, душевные, трам-тара-рам. И прозу хорошую пишет, вот этот последний его роман очень хорошо написан. Слава тебе, Господи, у него сейчас трое детей, это прекрасно, я очень рада, что у Геннадия Андреевича есть трое внуков…

Так что вот Дима появился уже в конце этого периода. Понимаете, на самом деле человек писал туристские песни, и там ребята же пели их, они им нравились… Я когда эти песни прочитала, я подумала: «Так, может, те наши товарищи, которые писали все те наши бардовские песни, может, они тоже?..» Тогда так было востребовано это, что они и не подумали делать что-то другое.

Ю. К.: То есть погибли?..

М. Н.: Да кто его знает. Такая мысль у меня была, да. Так вот Дима на моих глазах писал совершенно классно, совершенно своеобразно, совершенно ни на кого не похоже. Поскольку он не имел специальной такой поэтической начитанности, которую имеют люди, которые готовятся к тому, чтобы писать стихи, он совершенно не знал, как можно, как нельзя, как правильно, как неправильно, как хорошо, как плохо. Поэтому, с Божьей помощью, он говорил так, как слышал, и вот получалось замечательно. С тем он отсюда и уехал… Я и сейчас его очень люблю, очень ценю то, что он делает… Но одно для меня осталось совершенно непонятным: как человек, обладающий абсолютной свободой (а у него все, что он захотел, немедленно было бы исполнено), захотел уехать в Америку?.. Я никак не могу понять. Вот почему, товарищи, не в Тибет, ни в Гималаи, почему не на дно океана – не могу понять. Мне бы даже в голову это не пришло, имея такие возможности, поехать в Америку. Я бы даже не то чтобы не подумала поехать туда, я бы даже не рассматривала это как вариант… Вот что удивительно!.. Это для меня осталось непонятным. Ну не знаю, почему. Не объясню. Но этому я удивляюсь до сих пор. Он мне, правда, из Америки часто звонил и всегда говорил: «Не любите вы Америку!» Как же я могу ее любить? Естественно, я ее не люблю, я и Германию не люблю, Англию… Но не в этом дело… Во-первых, ну как я могу любить то, что никогда не видела и не слышала? А во-вторых, то, что я люблю, это место уже занято, а то, что на это незанятое место он выбрал Америку, меня совершенно поражает.

Ю. К.: Ты пошла в «Науку Урала»…

М. Н.: Да, и пошла в «Науку Урала» я вот почему. Тогда же в мире начали происходить всякие разные изменения, и тогда Геннадий Андреевич Месяц, очень хороший человек, широкомыслящий, без всякого такого чванства своим тотальным положением… Он очень крупномасштабный, очень хороший человек. А он был человек умный, он полагал (и совер-

шенно справедливо), что классность научного подразделения определяется классностью гуманитарных институтов, и вообще гуманитарных, так сказать, проявлений. Это совершенно правильно, потому что это заметно, понятно, это может быть прочитано и усвоено многими, в отличие от, например, физики металлов; физика и химия понятны только каким-то специалистам, а вот работа институтов истории, языка и т. д. становится внятной, ясной сразу. И у него была такая идея: сделать лабораторию литературы, газету, что я вот, мол, вам отдаю ее, и вы можете с ней делать все, что угодно. И у него была газета хорошая.

Ю. К.: Да, я помню.

М. Н.: Газета, пока мы там с Аркашей работали, была очень хорошая. Очень хорошая, да! Она у нас вся расходилась, вот просто очень хорошая! Была прекрасная литературная страница, мы там печатали и Мережковского о Лермонтове! И вообще, у нас была действительно очень хорошая газета, а как раз вот случился Аркаим, и получилось так, что она стала штабом по защите Аркаима. А поскольку Геннадий Андреевич действительно сделал очень многое, правда… То, что я сейчас вам скажу, товарищи, это правда – ведь к нам действительно приходили потрясающие письма – что Уральское отделение должно выйти в знак протеста из Академии наук, что «если чиновникам не нужен Аркаим, то он нужен нам!» Это же правда! Делалось что-то невероятное! И тогда как раз нашли останки царские, газета этим очень занималась, многие документы первые опубликовали, и Аркаим. И тут произошло невероятное дело. Мы сделали письмо от художественной интеллигенции Урала и послали его, в том числе в президиум академии. Так вот это письмо за три дня (по телефону) подписали абсолютно все. Вот вы знаете, ну, Бог помогал! Вот я только снимаю трубку, мне говорят: «Да!» – и подписывают подтверждение. За три дня мы собрали все. И послали в этот президиум, а в президиуме у нас такой закон, что на письма такого рода должны отвечать, и Геннадий Андреевич нашел выход. Ну, он умный человек, не мелочный! Да, дело в том, что Аркаим был уже обречен, плотина была уже построена, и это единственный случай за всю историю СССР, когда вытащили объект тогда, когда было закрыто финансирование. И тогда нашли такой выход: мы его выкупим, заплатим все деньги, которые потрачены на создание плотины. Он того стоит, это действительно памятник уникальный. Вот я и говорю, что была свидетелем того, что в науке, оказывается, напряжения ничуть не меньше, чем где-нибудь в театре или в кино…

Ю. К.: *(Смеется.)*

ВЕЧЕР СЕДЬМОЙ

Ю. К.: Итак, газета «Наука Урала» и Аркаим.

М. Н.: В «Науке Урала» мы работали хорошо, поскольку там был Геннадий Андреевич Месяц, который нам полностью руки развязал, сказал, что мы можем делать, что хотим. Во-первых, тут были всякие разные идеологические и политические перемены, но я этим никогда не занималась, этим занимались другие. У меня была гуманитарная сфера, гуманитарная наука. Аркаим стоит сейчас самого дорогого и пристального внимания, но поначалу, когда все это начиналось и открывалось, там была сплошная любовь, братания, все ночи не спали, только ходили, обнимались и радовались. Это можно понять. Они очень долго этого ждали, они прямо так вот на ощупь, так сказать, к этому шли. За всю советскую историю это был первый случай, когда памятник вытащили уже из-под готовой плиты.

Самое поразительное насчет инициативы… Интерес, народное волнение были таковы: нам шли письма такого содержания, что, если б я не держала их в руках, я б просто не поверила, я б решила, что это журналистская подстава. Это всем известно, это делается, и, как говорится, в этом нет ничего страшного. Но это была чистая правда. Когда приехали туда, люди просто шли, дорог никаких не было, они просто шли по степи: что вы тут такое делаете, что вы тут за город такой открыли…

Это вообще, надо сказать, абсолютно знаковое явление во многих отношениях. Более полутора веков мировая наука искала место, откуда арии двинулись в Индию. В Индию, в Иран и т. д. Естественно, что Европа исход полагала где-то на своей территории, поскольку… ну это правда, это древняя цивилизация, это действительно чрезвычайно высокий уровень миропонимания… Но тем не менее не было никаких данных и памятников не было. Памятников, что это Египет или там древняя Персия. Не было. Была помощь только лингвистов, больше помощи неоткуда было ждать. По корням выслеживать, по родству и близости, и как они сходятся и расходятся, и как между собой род с родом соседствует… Но

этот путь никогда не был подтвержден. Аркаим – это первый памятник, который дал: вот это арии были. Где-то в конце 60-х годов (у меня книжка даже куплена, стоит на полке) Мэри Бойс, такая известная иранистка, очень большой авторитет в этой сфере знаний, сказала, что следы ариев надо искать восточнее, в сухих степях, к востоку от Волги

Ю. К.: А Аркаим – само слово, название?.. Тюркское?

М. Н.: Как тебе сказать… Ну ты знаешь, что у нас с названиями на Урале… Название-то ведь нынешнее. Хотя существует очень много толкований. Существует такой легендарный царь Йима, который, дескать… Ну, миф традиционный: Бог сказал, что идут холода, не хватит урожая для того, чтобы накормить народ и скот… И лучше всего что сделать? – найти место, обнести его двойной стеной, свести туда людей, мастеров, скотину, животных… Но это действительно было так. Действительно было изменение климата, случилось то, что боги сказали: не хватит тепла и урожая, чтоб накормить людей и скотину. Возможно, город-то они построили, но тем не менее они ушли. Значит, и царь, которого звали Йима, – поэтому Аркаим. Название нынешнее. Как называлось раньше? В этом отношении Урал молчит. Это величайшая загадка.

Мы ничего не сказали, ничего не писали, кроме вот настенных росписей, наскальных рисунков: гора, центральная Азия, Индия, прямо туда и уходим, прямо в Тибет… Мифологическое родство, которым никто всерьез не занимался, – Урал, Алтай, внутренняя Азия, Тибет – мифологически спокойно доказывается. Это работает как единое пространство. По данным науки, в то время на Урале жили предки угров… «В то время» – это 2–3 тысячелетие до н. э.

А дело вот в чем: Аркаим сейчас описан как памятник чисто археологический, как место, где жили арии. Но он, вообще-то, памятник для археоастрономов… Но у нас на Урале нет археоастрономов. И поэтому люди, которые потом обрабатывали и описывали Аркаим, единство их великое, их привязанность и спайка распались, так как одни считали, что достаточно описать его вот в таком виде, а другие считали, что надо все просчитывать археоастрономам. Археоастроном – чудовищно редкая квалификация. Но я держала в руках, они у меня лежат дома, рецензии, которые написаны на книгу К. К. Быструшкина. Уже вышло три таких тома. Вот первый том я редактировала. Я была литературным редактором. Он абсолютно умный, самоотверженный человек, подвижник, не жалеющий ни сил, ни собственной жизни, ни времени. Сейчас его материальное положение наладилось, но тогда ему даже было сложно приехать на автобусе в город, приехать сюда. Но вот Аркаим как объект, доступный изучению прежде всего археоастрономии, – вот этим занимается К. К. Быструшкин.

Книги все жутко интересные, умные, сложные… Но мы с ним нашли такой хороший ход. Это жутко сложно, это все равно не поймут, как теорию плазмы… В конце каждый главы мы сделали достаточно обширное резюме, в котором все понятно. Если тебя это зацепит, то сиди и копайся. Если человек захочет, то он все, что угодно сделает. А если не захочет, то ему хватит этого.

Там у него есть изумительно интересные, захватывающие, интригующие трактовки, понимания, прочтения древней мифологии – так, как она должна прочитываться. А как мы читаем? Ну, мы берем, например, Куна и считаем, что читаем мифы Древней Греции. Мы ни в коем случае их не читаем. Мы к ним даже не прикасаемся. Мы читаем сделанное европейским автором для европейских читателей краткое изложение. Мы все ненужные подробности уничтожаем. Но самая суть и самое главное – вот в этих подробностях.

Скажем, вот огромное количество чисел… Вы знаете, как древние к числам относились… Мифы числами просто набиты. Вот у меня в книге «Камень. Пещера. Гора» приведен пример об «Одиссее». Когда я работала в библиотеке, я проводила эксперимент: я опросила огромное количество людей, о чем «Одиссея». И все сказали одно: что вот… возвращается Одиссей с войны… Но миф вообще не об этом. Миф не прочитывается. Ну, здесь Гомер. Гомер дисциплинирует, полоть Гомера не каждый осмелится. Но чисел в мифах очень много… То, что постоянно интересовало и цепляло Рериха… Наша православная церковь не любит Рериха и выступает против него. У него взгляд на мир, с церковью не согласующийся. Его внимание к тому, что существуют сюжеты, которые абсолютно вечны, и существуют у всех…

И вот подробности, которые делают картину мира цельной… Вот, например, миф о Гильгамеше: на грудь она надела украшения, достойные груди, на шею она надела украшения, достойные шеи… А для нас – навела макияж и надела бижутерию. Поскольку все это так раскладывается по полочкам, значит, все это важно. Это все для них важно. В этих книгах есть масса интересного для человека, который вовсе не археоастроном и даже не историк… Когда это читаешь, понимаешь, что эта тысячелетняя, вечная мудрость не уступала нашей. Они почти все сказали. Нам бы заниматься только тем, что все это выискивать, прочитывать. Может, мы бы сильно поумнели и жили иначе… Но этого не происходит и, надо думать, этого не будет происходить.

Поэтому я книгу К. К. Быструшкина очень высоко ценю. Если найдутся люди, способные прочесть хотя бы мифологическую часть, – это будет замечательно. Кроме Константина Константиновича, никто этим

больше не занимается. Но даже если его работа останется – это очень хорошо.

Аркаим – очень важное открытие. Арии здесь были, и пошли… Кавказ, Иран, Индия… Вы же знаете, что все они иноприродные лица, они не монголы, не китайцы. Они пришли откуда-то отсюда. До конца и сегодня никто не знает, откуда они пришли. Ведь и сюда они откуда-то пришли. Тутошнее пребывание их позволяет понять, что мы живем на земле, культурно освоенной в древние времена, в очень древние времена. Как только открыли Аркаим, стали собираться клубы и компании, стяжения и поездки. Например, была поездка Аркаим – Полевской. Казалось бы, ничего общего. Но что касается Бажова, он вытащил эту древность и сделал ее чуть ли не карманной ценностью нашей, мы приняли это немедленно. В моих глазах это делает большую честь русским, которые сюда пришли и тем самым сделали чрезвычайно много для формирования нашего самосознания. Во-первых, мы не ушли с этих гор, и приняли идею высоты и подземелья (мы же формировались как народ равнинный, у нас этого не было, в трехмерный мир внесено измерение – дополнительное измерение, мы его сразу приняли). Это очень хорошо. И второе: гении правы. Достоевский прав: эта наша всеотзывчивость – это правда. Не знаю, в какой мере она цела, сейчас, кажется, сейчас мы ее теряем… Но то, что мы пришли на землю, где жили угры, башкиры и так далее, и все это вдышали как свое – это здорово интересно! В этом отношении Аркаим – памятник замечательный. Мы стали как бы центром, штабом таким… В то время челябинские борцы под руководством Геннадия Борисовича Здановича тоже не бездействовали. Когда я познакомилась со Здановичем, тоже самоотверженный человек, но его просто запинали не знаю как… Когда мы в это дело с нашей академией встроились, стало ясно, что они героически начали борьбу совершенно бесперспективную, потому что деньги были освоены, плотина была построена… И они начали открывать Аркаим. И вот они находят этот Аркаим. Его можно понять. Его никто не хотел услышать. Но тут произошло невероятное событие: мало того, что подключились студенты, местный народ, далекий от археоастрономии, от передвижения ариев по земле, они стали писать письма, совершенно потрясающие. Мы выполнили важную работу. Это все очень трудно. Когда я написала семи нашим ведущим археологам письма в высшей степени почтительные: мне не нужно от вас заключение (я понимаю, что памятник только что открыт), но в двух словах – ваше отношение или самая краткая оценка для того, чтобы… ну люди-то изо всех борются, стараются… Никто ни звука. При этом я не частное лицо, мы же это сидючи в академии. Никто ни слова. С одной стороны, я могу их понять, по-

скольку никто не желает прослыть в науке авантюристом и спекулянтом, и прежде чем делать какое-то заключение, они должны иметь какое-то основание считать так, а не иначе. Но, с другой стороны, вот Мэри Бойс, я вам говорила, сказала, что надо искать следы ариев к востоку от Волги, в сухих степях – уже этого одного достаточно… Но ни один человек.

И когда мы поняли, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, мы решили эту огромную народную инициативу организовать. На письмо, которое у нас было, нельзя было не ответить. Но, к нашему счастью, Геннадий Андреевич – человек великодушный, умный, с мощным кругозором… Таких людей очень мало. Обычно если человек профессор (я тебя не имею в виду) или тем более академик… если, например, академик биологии или математики, он считает, что он академик вообще и знания его предельны. А Геннадий Андреевич мог спокойно сказать: «Вы разбираетесь в этом лучше, чем я». Это просто невероятно, но он это может. Была масса планов, как его (памятник) обиходить. Но это недешево обходится. Но нам не жалко денег только на выборы, у нас есть деньги только на выборы. Это недешево, но это правда памятник очень интересный. Думали, оставить это так, один кусок – под стеклянный купол, второй – полная реконструкция, как оно было, смотровые площадки, там огонь горит… В общем, эта практика в мире существует. И сейчас народу туда много едет, тогда вообще туда народ валом валил. Но этот памятник нельзя терять еще вот почему: это ни один был Аркаим, это была мощная цивилизация, страна городов. На сегодняшний день больше сорока городищ. Действительно, там, на Южном Урале, Северный Казахстан, до Тобола дела вершились большие. Оставлять без внимания это просто не надо.

Я всю жизнь замечаю, что археология в плане идеологического воспитания имеет огромное значение. Люди любят чудеса. А тут – вот чудеса, где уж большее чудо найти. Археология вот чем хороша: человек, не зная никакой подоплеки, никаких исторических фактов, впечатлен тем, что это из вечности вытащено, этот объект. Это впечатление производит. Он давно закопан, но я вообще детям говорю в школе, что надежда вся на них. Вырастете, почувствуете, что это ваша земля, и вы ее хозяева: пойдете – и сделаете. Все это осталось: стеклянный купол, смотровые площадки… И ваши внуки будут ходить и смотреть. Еще не поздно. Пролежал столько тысяч лет, пролежит еще. Да тут еще в связи с тем, что это было такое время: была международная конференция археологов (очень интересно, кстати), было оживление…

Поначалу после капиталистической революции (терпеть не могу капитализм и демократию. Никак не могу понять одного: как можно счи-

тать устройство мира на деньгах хорошим? Это полное падение. Ну, полное. Ниже падать нельзя. Деньги *(презрительно)*, ну, я не знаю… Слава, героизм… Ну, почитать хоть XVIII век… Исключительно поучительно. Там речь шла о славе, о служении отечеству… Но если б это было главным мерилом… Нет, главное мерило – деньги! Вот это просто ужасно. Надо немедленно признать, что это очень плохое устройство жизни, а нас заставляют верить в то, что это хорошо…

Но тогда было какое-то оживление, еще благодаря тому, что Геннадий Андреевич – человек очень широкий, контактный, все это приветствует. Газета у нас была занята хорошими делами, а ушла я оттуда только потому, что Валентин Петрович стал меня звать в «Урал». Я сказала: «Знаете, Валентин Петрович, говорю вам совершенно честно, как на Страшном суде, подойдите к Геннадию Андреевичу, если Геннадий Андреевич скажет, что он не против, тогда я уйду». Что касается художественного журнала, то это мне ближе, чем наука. Художественная жизнь при всей своей сложности, мучительности, трагичности где-то чище. Поскольку там работают одинокие охотники. Вот мои материалы, сама своей душе плачу, сама синим пламенем горю… Чем связан человек, который пишет? Редактору не понравится? Да плевать я на тебя хотел! И не так ты мне и нужен, потому что у меня всегда есть прекрасный выход: написал гениальное произведение, положил его в стол и умер… Это мой одинокий, одиночный труд, за который я сама отвечаю исключительно своей душе. Если я сволочь (а это видно, если я сволочь), корыстный (ну, это видно), нужно быть зверски талантливым человеком… Вот Гончаров. Жуткий характер был у человека… Тем не менее романы его читаешь, и почти нигде тебя не скребет эта мысль, что что-то тут не чисто. «Обломов» вообще жемчужная вещь. Поразительно. А если вспомнить все эти его обиды на Тургенева, что он крадет у него сюжеты… Рядом с ним люди маялись и мучились, потому что его ни с кем нельзя было примирить, ничего нельзя доказать. А читаешь – вроде ничего. А еще в науке ведь в какой-то мере коллективный труд, бюджет, программа – очень сложно. Я бы никогда не пошла в науку по этим самым причинам. В науке мне нравилось (вот я – Галилео Галилей), когда наука была как художественное творчество. Я включила свой телескоп, одна гляжу на звезды, одна своей головой рискую и говорю, что земля вертится. А нынешняя наука совсем не то.

Ю. К.: Ну а гуманитарная сфера?.. Есть же Бахтин, Лотман… Они были вне школы, вне чего-либо…

М. Н.: Вот мне тут очень понравился математик, которому некогда за миллионом съездить, дабы не отвлекаться. Но сейчас, когда книга о по-

эзии должна быть развлекательной, ну я понять не могу этого… Главная задача автора – снять с читателя любую возможность работать и думать.

Что касается «Урала»… Мне тогда казалось, и сейчас кажется, «Урал» никогда не был принципиально хуже читаемым журналом. По уровню поэзии он не уступал просто никогда. Вот взять 60-е годы: там были Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, их тогда в журналах приветствовали. У нас не приветствовали, но у нас люди писали совершенно на таком же уровне, не хуже, не на худшем уровне. Что касается прозы… «Диафантовы уравнения» А. Ромашова… Вот это интересно читать. Это ритм, напряжение. Это мало кто умеет делать. Для журнала «Урал» это было чрезвычайно важно. Урал – ведь это трудовой, заводской край. Все люди тут этим живы, этим заняты. Это за последние годы город Екатеринбург чудовищно изменился, стал городом торговым, офисным, но до самого последнего советского издыхания он был трудовым городом.

Ю. К.: В какие годы ты работала в «Урале»?

М. Н.: 87, 88, 89, 90, 91, 92… Крушение Советского Союза. Для работы журнала «Урал» это годы были очень интересные. Как вы знаете, народ мы особенный. Уему нам нигде нет. Меры мы не знаем. И пусть! Пусть не знаем. Тогдашнее понимание свободы было невероятным. Тогда нам шли такие рукописи!.. Я сижу, напротив – Николай Яковлевич Мережников, тут еще Костя Белокуров, рядом – Валера Исхаков… Я сижу… Я вот так вот сижу *(показывает)*. Я читаю… Свобода – значит, можно все. Я читаю рукопись, никто не видит… Я помню один роман… это был кошмар! Ну поскольку свобода есть свобода… Прежде всего она – на самом низшем уровне – уровне сексуальном. Вот, значит, пришел мне такой роман. Дело происходит в научно-исследовательском институте. То, что там происходило, я даже не знаю, как это называть… Описано это как механическое действо. В чертежной, в буфете, на чердаке… Да что с человеком делается? Ну, допустим, он озабочен, но неужели он полагает, что все до такой степени озабочены?! *(Смеется.)* Ужас какой-то! Было просто страшно писать рецензии… Я в этом отношении – чистый Штирлиц. Я два месяца мозги чешу, прежде чем придумать фразу, которая бы никого не обидела… И однажды мне пришла… Я эту авторессу знаю: – Ты же с ума сошла, у тебя дети! – Ну, напечатай!.. – Я тебе рукопись твою верну, ты мне потом спасибо скажешь.

Вообще, были вещи очень интересные. Пришел товарищ, такой классический российский тип, такой калика перехожий, нигде постоянно не жил, то там, то сям. «Гулящие люди» называлось это в XVII веке, разрешалось так жить. Ну, душа у него такая была, не держала его на одном месте. Внешне он замечательный был: прозрачные голубые гла-

за, седая борода. И он принес шесть папок. Страшно интересная вещь. Если б я была очень богатый человек, я б за свои деньги это издала, чтоб это просто лежало в моей квартире. Это глазами народа увиденная народная жизнь: он из раскулаченной семьи, что было с дедом, что было с бабкой, все набито этнографией, песнями, причетками, приговорками. Потрясающе. В зоне он жил, и пасечником он был, и садоводом… И все это в таком вот духе. С присказками, с песнями. Ну, классный материал! Я была обеими руками за. Но мы бы были вынуждены на пять лет закрыть журнал и печать только это. Кусок из этого выбрать было нельзя. Зверски интересно.

Потом нам была одна принесена толстенная про Соньку – Золотую Ручку. Намного интереснее, чем ныне показывают в кино. Так круто все! Точно такая же штуковина – огроменная…

Ну, это я к чему… хочу сказать, что были люди, которыми эта навязанная свобода понималась вполне грамотно. На мой ум, журнал «Урал» уступал столичным журналам раньше только в одном – в критике. То есть она была всегда, не отставали от времени, раньше это считалось признаком квалификации журнала, но в доблести выражения, в личной отваге говорящего она уступала. Поскольку здесь прислушивались к тому, что там скажут… Вот сейчас С. Беляков там – сейчас и критика вполне нормальная. Печатали достаточно любопытные вещи, тогда же журнал был гонорарным. Интересные вещи там были. Но потом все это начало падать. Зарплату нам там не платили, гонораров не платили давно. Но героическая деятельность Валентина Петровича, совершенно героическая, когда он с утра ходил по чиновничьим кабинетам, ни к чему, конечно, не привела. Это было то же самое, что нам только что было заявлено: журнал – это продукт, он должен быть реализован. Но журнал как продукт не может быть реализован по той цене, которая назначена. Так не бывает. А если вы помогаете филармонии, театру, то почему не журналу?!

Деньги на журнал дали только Николаю Владимировичу Коляде. Я считаю, что это в высшей степени талантливый человек. Что касается его как режиссера, за последние годы самый интересный и потрясающий текст – это колядовский «Гамлет». Ну, это грубо, местами даже до скабрезности доходит, но это мощно!.. Все мне предлагают иллюстрацию идеи, одевают Гамлета в бархатный камзол, или там… в зависимости от видения режиссера. А Коляда – во плоти. Надо сказать, что плоть Средневековья была не самая надушенная, не самая красивая. Уровень этой мощности и грубости, который предлагает Коляда, это действительно очень интересно. Совершенно понятно было, что журнал будет совершенно другой.

Я журнал «Урал» никогда не осмелюсь ругать, я к нему хорошо отношусь. Они печатали несколько вещей, были несколько вещей, не редактированные, в общем-то, сырой материал. Теперь у них другой стиль работы. Я вполне понимаю все их трудности. Опять же они без денег. Тем же рогом в ту же стенку. На следующий номер же денег нет. Но журнал «Урал» настолько дешево обходится, настолько грошовый, что смешно поднимать этот вопрос.

А из журнала «Урал» я – в школу. К тому времени мы придумали уже эту школу… Я и Маша. А Алексей Бабетов просто гений. Если идею какую-то родить, это я – пожалуйста. Директор гимназии в общем раскладе (чиновники, министерство, управление), как я сказала: ты – Чуйков в Сталинграде. Это Сталинград. Работать в сегодняшней школе – это невероятно. Уже достаточно введения этого ЕГЭ. Дело же не в том, что дети будут нервничать. Если детей приучить работать в таком ритме, они не будут нервничать, и все сдадут. Вон наши который год сдают прекрасно. Ужас в том, что все остальные предметы, кроме ЕГЭ, становятся ненужными. Больше ничего не надо. Все остальные предметы переходят в разряд не просто второстепенных, а в разряд абсолютно ненужных.

Говорили наш президент академии Ю. Осипов и некая журналистка, она действительно понимает в науке, и была озвучена очень печальная цифра: из количества нынешних поступающих максимум один процент желает идти в науку. Больше никто не желает идти в науку, все хотят быть банкирами и менеджерами. Наука стареет стремительно, без поддержки научные школы разрушаются. Во время Отечественной войны самая мощная была чья наука? Гитлеровской Германии. Атомная бомба, ракеты – все это гитлеровская Германия. Часть этой науки, большая часть, перекочевала в Америку, частично – сюда. Сегодня есть две страны, у которых есть фундаментальная наука – США и мы. Они ее не потеряют. У них приток молодых кадров в науку постоянный со всего света, а у нас не приток, а отток. И самое поразительное – почему? Потому что там платят столько, а здесь – столько. Суждение, совершенно немыслимое во времена академика Вавилова или Раппопорта: человек не то что бы не осмелился сказать – мысль такая в голову не приходила. И больше того, нам это представляют по телевизору как доблесть.

Ю. К.: То есть главное сегодня – проблема чести, достоинства, совести, нравственности?

М. Н.: Честь была отменена в 1917 году. Сегодня нет ни чести, ни стыда. На сегодняшний день нельзя понять, что такое достоинство. Ибо достоинство – это жить сообразно законам чести. Ярчайший пример того, что значит жить достойно – судьба императорского флота, эскадры чер-

номорской, севастопольской, которую офицеры из-под красных, которые уже наступали, увели в Бизерту. В Бизерте уже распоряжались французы. Это были их колониальные владения. Но поскольку у нас никогда не было надежных союзников… Император Александр II был прав: у России есть только два союзника – армия и флот. Все остальные нас всегда бросали. Это совершенно точно, достаточно вспомнить вот что: в 1945 году мы вступили в Германию, и Черчилль о чем хлопочет? О том, чтобы силами войск американских, французских, английских и сдавшихся в плен немецких остановить Советский Союз. Вот он о чем хлопочет! Такие у нас союзники! Но в то время французов побили, они предоставили в Бизерте базу для этого флота. Наши выехали оттуда офицерским училищем, они выпускали новые кадры, они были в полной боевой готовности. И когда французы отказали им в месте, спустили флаг, они все сошли на берег, и все стали жить на берегу в мусульманской Бизерте. Морские офицеры – цвет нации – работали на самых страшных работах: на дорожных, в пустыне, землемеры, разметчики, а их жены – прислугой, прачками. Никто не попросил другого гражданства. И жили так, вели себя так, что когда они стали строить храм, все местные – и католики, и протестанты, и мусульмане – помогали, несли деньги. И последние из них, оставшиеся в живых, все умерли достойно. Сейчас что такое «достойно» надо рассказывать на примере. Потому что если я вам расскажу по словарю – сообразно законам чести, – это ни для кого ничего не значит, потому что законов чести больше нет.

Ю. К.: Итак, придумали вы школу…

М. Н.: Школу мы придумали вовсе не на пустом месте. Перед этим я 20 лет работала в библиотеке… Я уже тогда абсолютно точно знала, что самый потрясающий возраст для образования: от трех до семи лет. Не с семи лет, когда ребенка ведут в школу. Когда в семь лет ребенка ведут в школу, он уже потерял пять лет. Вот раньше, этим временем, вспомним: *«Ах! умолчу ль о мамушке моей, / О прелести таинственных ночей, / Когда в чепце, в старинном одеянье, / Она, духов молитвой уклоня, / С усердием перекрестит меня / И шепотом рассказывать мне станет / О мертвецах, о подвигах Бовы…»*[57]. Это был тот самый возраст, когда дети от бабушек, нянюшек и мамок осваивали могущество языка, все ритмические рисунки (ведь что такое колыбельные песни, прибаутки: *с гуся вода – с Ванюши худоба* – это народная культура). А как это было? Еще моя бабушка… Каждая травка тебе называлась, где какая птичка поет… Это все было. Сейчас это все совершенно потеряно. И сей-

[57] А. С. Пушкин. «Сон».

час, когда в садике – два притопа, три прихлопа, змейкой и паровозиком дети ходят, – этого совершенно недостаточно. Если я веду детей (мы это все в школе делали) змейкой и паровозиком, я спокойно им расскажу, как работает паровоз, и они абсолютно все поймут. «Я вам сейчас расскажу, и вы больше ни у кого спрашивать не будете. Почему уральский завод рождался из-под плотины? Утром умываетесь? Кран открываете, ручки подставляете? А если сильно откроете? – Она мне спину сломает». Все, ты все понял. Если я сильно эту воду, которая спину сломает, пущу, она начнет работать… Что и требовалось доказать. Было у меня такое наблюдение, что ни в каком другом возрасте, человек не слышит так подводное движение текста – интонацию, ритм.

Мы постоянно детям складывали на стол Лермонтова, Пушкина, Гёте, Есенина, Мандельштама, Бунина, Барто, Маршака, Михалкова – вот ты возьми, посмотри, что тебе понравится. Никто никогда не выбирал Михалкова, Маршака. Вот это то, что у нас в школе читают. Ибо дети совершенно не любят навязанного назидания. И то, что они говорят об этих текстах… Когда я в первый раз услышала – у меня крыша поехала… Пятилетний мальчик был… У меня были такие занятия – надо было к чему-то привязать: весна, лето, зима, осень. И вот этот мальчик берет «На севере диком…». Я ему: «Это про зиму?» Он: «Это не про зиму, это про любовь». И вот этот мальчик, на глазах слезы, срывающийся голос: «Это не про такую любовь, как по телевизору!» Это пятилетнее дите. Без малейшей подсказки. «Мороз, Красный нос»: «Это про богатырство стихи! Мороз – он богатырь и есть, вот он идет, он проверяет, крепость, надежность проверяет». И я им сказала: «Вы знаете, это часть большого повествования, там есть другие части: «*Есть женщины в русских селеньях…*» «Это тоже про богатырство! Он – богатырь, она – богатырша». И когда я процитировала им конец *«И Дарья стояла и стыла / В своем заколдованном сне»*, пятилетние дети сказали мне: «Значит, он взял ее к себе!» Поняли, про что «Мороз, Красный нос»? Пятилетние дети. Просто невероятно.

У меня была задумана такая штука: литературоведение для нечитающих. Идея такая: надо было взять рассказик, который можно прочесть мгновенно, и тут же разобраться, что и как. Начали мы, конечно, со страшилок. Детям нравятся страшилки. Почему? Для чего тебе надо, чтоб душа замерла? Да чтоб я знал, что она есть! Дальше, пожалуйста, – давайте «Майскую ночь или утопленницу», душа уже готова, да и Пушкина «Русалку», Лермонтова «Русалку». *«Русалка плыла по реке голубой, / Озаряема полной луной»*[58]*; «По небу полуночи ангел летел, и тихую песню*

[58] М. Ю. Лермонтов. «Русалка».

он пел…»[59]. Они мне говорят: «Это же одно и то же: вот там русалка – нечисть, а там – ангел». «А она не виновата!» – говорят они. Это девочка сказала. Мальчики начинают отставать от девочек в этом возрасте. Мой ребенок, Григорий, в пятилетнем возрасте написал гениальный стих: *Волки встречаются чаще / Елки становятся гуще, / Значит, мы с вами из пущи / Перемещаемся в чащу.* Я ему говорю: «Гришенька, а чем же чаща гуще пущи?» А он: «Да тем, что там Ч!»

Ю. К.: А помнишь, у Геши Шнайдера «Ах, туманы-растуманы…»? Прочитай его.

М. Н.: *Ах, туманы-растуманы / Дождик проливной. / Мой пиджак, во-первых, рваный, / Во-вторых, не мой.*

Ю. К.: А он писал стихи? Или это единственное?

М. Н.: Нет, стихов из тех парней не писал никто. Ну один был – Миша, красавец, изумительно пел. Знаете, это воплощенная молодость. Молодость – это не жар. Молодость – это Байкал. Вода очень холодная, но ты в нее прыгаешь, и тебе кажется, что это кипяток. Человек разогревается потом. А в молодости – природа, никакого еще осознанного, грамотного, человеческого градуса у молодости нет. Именно поэтому нам все эти молодые стихи нравятся: там прямо ярость прет. У него был прекрасный голос. Воплощенная молодость. Я даже репертуар помню. *(Напевает, выстукивая ритм пальцами)*: «*Свадьба не праздник – святой ритуал… В жены мужчина женщину взял – жизнь искалечена…Сколько, мужчина, тебе пережить, выплакать горя сколько! Весело-весело будете жить – горько-горько-горько!»; «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи…»* То, что они говорили и делали, было очень хорошо.

(Возвращается к рассказу о школе): Так вот, и поскольку я все это уже знала… Дети совсем не любят детскую литературу, они любят взрослую. Скажем, есть вещи, когда я так скажу: дети животом отличают высокопробные вещи от невысокопробных. Есть такая книга «Рассказы о природе» Снигирева, по-моему. Она была включена в литературоведение для нечитающих. Допустим, там рассказик кончается криком чайки: «Что она кричит? Птенцов, что ли, своих потеряла?» А в следующем абзаце про жадный клюв или лапки. Вот я им прочитаю, а они все говорят: «Вот этого не надо. Про жадные лапки». Душа уже на пределе. «Что она кричит, птенцов, что ли, своих потеряла?» Вот здесь надо заканчивать.

А тут как раз Гриша у нас подрос. Мы решили устроить так, чтоб дети узнавали природу, мифологию, язык, чтоб они хорошо говорили.

[59] М. Ю. Лермонтов. «Ангел».

Мы в этом плане очень многого достигли. Когда наши поступали в Академию госслужбы, там экзаменатор сказал: «Ну, что, это же дети из «Корифея». Они откроют рот и говорят». Потому что я им четыре года говорю: «Давай, отстаивай свою версию», – и отстаивает, и слова находятся, и все находится. Надо заставить человека говорить от себя. Не надо задавать им вопросы, на которые нужен ответ *да* или *нет*. Задавайте такие вопросы, на которые нужен большой, обстоятельный ответ. Вот у меня Грише было пять лет, я ему говорю: «Гриша, я опаздываю, поди послушай, там говорит Явлинский, мне расскажешь. Пошел и все понял. Говорите с ними на таком уровне, которого вы от них ждете. Вот у меня был предмет «Языкознание для дошкольников» (такие предметы не нужны в школе, которые ориентированы на ЕГЭ): если я говорю про клинопись, я им показываю – вот глиняные таблички, даю им палочки – они у меня пишут. Прошу написать цветочек или восьмерку – ребенок видит, что это невозможно. А прошу нарисовать галочку – нормально. И все понятно, и ничего не надо объяснять. Как легче – вот так. Я им рассказываю про Гильгамеша, они мне: «На следующий урок тоже. Это же еще». Это первая вещь, где друг пошел спасать друга. Не любимую девушку, не мать, не отца – друга! Были у меня несколько уроков, где мы с детьми делали-делали-делали. Вот стрелы. Я выдаю им палочки, выдаю резачки – строгайте эти палочки, потом их надо протягивать сквозь шарики. А я им рассказываю: у Одиссея – стрелы, и наши богатыри – стрелы, и у Пушкина – «*Ломит он у дуба сук / И в тугой сгибает лук*»[60], а они мне тем часом делают эти стрелы. И вот в начале урока я спрашиваю, какая должна быть стрела, все говорят: должна лететь, легкой должна быть и т. д. Ну максимум 12–13 определений. А в конце урока, когда они мне сделали эти стрелы, до 72 определений дошло!.. Стрела должна быть выструганной, выглаженной, выровненной и так далее. Совершенно понятно, что слово наживается рукой.

Ю. К.: А твой учебник? Судьба учебника?

М. Н.: Находился для этого даже художник… Я им говорила: не тратьте деньги, ничего не выйдет. В самом начале у меня там было про рисуночное письмо – все это протягивается до сегодняшних дней спокойно. Вот у меня был кусок ткани (я забыла, из какой я страны привезла), там были знаки майя. Безумно сложно. Ужас какой-то! Это безумно детей привлекает. У меня был один мальчик, он всю тетрадь исписал иероглифами. Это безумно сложно, а дети сидят и их вырисовывают! В этом что-то есть. Писали на дереве, на камне – и мы с детьми тоже на этом всем

[60] А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане…».

пишем. Это не составляет ребенку ни малейших трудов. Но это не игровая форма. Это не игра. Мы в это не играем, мы это делаем. Один ребенок маме об этих уроках сказал: «Мама, уйди, здесь – наука!» Дети говорили, что это уроки обо всем. Ну, это правильно.

Что касается языка – это точно. Вся история человечества настолько осажена историей языка: вот тебе каменный век, шумеры, Египет, финикийцы, к тому же тут органически подтягиваются и корабли… Дети в этом возрасте склонны во все это верить. Вот когда я говорю о Минотавре, я беру на урок моток и кинжал бронзовый – дети кожей все чувствуют. Я бы взяла на себя смелость открыть школу в «Эрмитаже». Мы один год занимались в «Музее писателей Урала»: это дисциплинирует детей, никто ни разу не съехал по перилам, ничего не дернул… Все то, что вокруг тебя, впитывается само собой… Они у меня все камни собирают, коллекции у них, приносят мне… Говоришь: «Найди мне пирит или принеси мне пирит». Это очень разумно. И все, они заняты делом. Не просто ходят, а что-то ищут, выбирают. У меня, когда этот предмет был в расписании, в шестом классе дети у меня знали 35–40 горных пород и минералов…

Есть три жутких несчастья в жизни. Первое – это неудачные дети. Ведь это Бог тебя наказал. Ужасно. Второе – заниматься делом, которое тебе противно. Поэтому я всегда говорю: не делайте из Бродского мученика, он – счастливчик, он всю жизнь занимался только тем, чем хотел. И третье: заниматься делом, которое не для тебя. Была у меня одна знакомая училка – мученица. Дети ужасные, учителя ужасные, бабы – сплетницы. Ад. Вдруг встречаю ее: выкрашена в блондинку, счастливая, бросается мне на грудь. Ушла в ателье приемщицей, счастлива безумно, жалеет только об одном: почему я такая дура? Потому что дура! И больше не почему. Самая частая причина – глупость. У нее после 40 лет хватило ума уйти – совершенно счастлива. Вы обратили внимание, что происходит? Вот уборщиц стали называть офисными менеджерами. Это уже престижно. Или мастер ногтевого сервиса. Жуть какая-то.

Ю. К.: Как ты думаешь, введение ЕГЭ, искоренение, изгнание природных школьных дисциплин, Богом данных, к чему приведет?

М. Н.: Общий уровень культуры: что люди читают, как они реагируют на театральный спектакль, как они говорят на троллейбусных остановках – упал просто немыслимо. Я всегда очень любила слушать, что люди говорят, выходя из театра, наблюдала, в каких местах они хлопают, что они говорят о прочитанных книгах. В советское время все заметное – что написал Распутин, Астафьев, Васильев, Белов и т. д. – считалось неприличным не читать. На журналы стояла очередь. Было у меня не-

сколько читателей, которые знали, что говорить, когда будет обсуждение. Не принять участие в обсуждении было нехорошо, неприлично. А сейчас смешно обсуждать, что написала Донцова или Акунин – просто смешно. Никто и не обсуждает. Это же касается и школы.

Мы когда учились в школе, у нас были учителя еще со старым образованием. Мы слышали и видели, что это такое. Помню, у нас была учительница русского языка, Елена Ивановна, женщина уже немолодая, больная, внешности стильной. А мы были бедны, как не знаю кто: как костюмчик приобрела в шестом классе, так до выпускного класса в этом и проходила. А Елена Ивановна была женщина еще из той культуры: кофточка всегда абсолютно белоснежная, стояла всегда с идеально прямой спиной… Это все чрезвычайно важно. У меня была бабушка, из дворянских бабушек моих. И вот мы к ней приезжаем с Машей (это я рассказываю о том, что такое человек той культуры): три раза в день менялись розы – белые, пурпурно-красные, кремовые. А когда готовили обед, они делали компоты, фруктовые салаты… Вот в компотах и салатах лежали ледяные цветные звезды. И я как-то говорю: «Вот не лень тебе звезды морозить…» Она от негодования встала: как это лень! В доме девочка! Никогда я ее не видела в домашних тапочках, без прически… Обязательно под каждое блюдо – тарелочка. Под вилочки были фарфоровые подставочки. Дело в цветных звездах! У нас были учителя вот этого уровня: как они стояли, как они садились, как они говорили – вот этого никто никогда не говорит. Когда начинают ругать советскую школу, я всегда за нее вступаюсь. Это была работа совершенно героическая, так как учителя всегда получали жутко мало. У нас совершенно особенное было отношение: на всех нас обрушилась война, и мы были как бы однополчане. Что касается образования и воспитания, которое школа осуществляла… И когда ругают это и говорят про идеологический принцип – это не был идеологический прессинг. Память о войне и о героях войны – это не идеологический прессинг. Это держалось 50-е, 60-е, 70-е годы. Это всегда держалось. Это перестало держаться, когда появились учителя другого поколения, и это не было фактом их биографии. Наше к ним уважение, почтение и восхищение было абсолютно искренним. Это не была идеологическая обработка.

Ю. К.: Но были же и политические мероприятия… Комсомольские собрания, пионерские собрания, обсуждения постановлений ЦК. Но все это производилось формально. Все знали, что это – игра.

М. Н.: Точно! И все это понимали. Вот сейчас показывали кино про Бродского «Полторы комнаты» (которое я никак не могу понять и принять), там сцена: директорша вбегает и истерическим голосом кричит:

«На колени! На колени! Сталин умер!» Не было этого. Я прекрасно помню этот день. Нам пришли и сказали, что не будет занятий. И мы пошли с моей товаркой в кино. Нам сказали: «Девочки, как же вам не стыдно: в кино в такой день!» А мы: «А мы не ушли, нас отпустили!» Уровень человеческий и формальный различались прекрасно.

Ю. К.: Кстати, о Бродском и о людях, которые уезжают из моей страны. Мне кажется любая цельная личность, способная к деятельности какой-то, творчеству, всегда свободна, ей все равно, какой там строй, какая формация. Это ерунда полная….

М. Н.: Юра, я с тобой полностью согласна. Я вообще не вижу здесь холопства и рабства, про которое мне постоянно дуют в уши. Когда меня постоянно призывают брать пример с Чехова, который учился по капле выдавливать из себя раба, я возмущаюсь: почему вы мне Бунина не приводите в пример, который не выдавливал из себя раба за отсутствием необходимости, видимо?! Чехов был таганрогский мещанин, Бунин – столбовой русский дворянин, почему вы приводите Чехова? Приведите Бунина! Почему не выдавливал из себя раба Блок – он жил в это же время. Даже Достоевский не был этим одушевлен и занят. Никто этим не занимался: ни Гоголь, ни Пушкин.

Ю. К.: Для нас с тобой – это катастрофа. Я имею в виду стирание следов, традиций, культуры… Но для людей, которые сейчас живут, это новые, другие люди – для них это нормально. Ведь стали говорить: *население, территория, административный округ, муниципальный округ*… Слова *город, село, деревня* исчезли. Это государственный язык. Тот самый, с которым Бродский якобы боролся. Только я не понимаю, зачем он с ним боролся, ведь его просто нет. Он меняется каждые десять лет.

Майечка, а дальше у нас XVIII век. Давай начнем с истории, ты же любишь…

М. Н.: Я вообще XVIII век проходила бы упорно, подробно, в деталях. Я понимаю, что ужасов и кровищи там было много. Но тем не менее нельзя на ужасы и кровищу смотреть так, как это сделано, допустим, в картине П. Лунгина «Царь», где все эти пыточные штуки вклинены в плоть фильма исключительно для развлечения публики. Это ужасно. Потому что это понравится и привлечет внимание.

Ю. К.: Экзотика. Голливуд.

М. Н.: Я давно заметила, что когда наши художники начинают делать так, как в Голливуде, получается ужасно. Это просто падение. Не надо нам делать, как в Голливуде.

Ю. К.: А между прочим, Лунгин же снял еще «Остров», смотрела?

М. Н.: Смотрела. Фильм «Остров», на мой ум, гораздо лучше, чем фильм «Царь». «Остров» очень хорош по пейзажу, по цвету… Мне там показалось избыточной вещь, без которой и так все понятно, – это появление этого адмирала, который выжил.

Ю. К.: Ну это литература. Зато дочка там была хорошая, которая тявкала…

М. Н.: Но этого не надо. Совершенно неважно, выжил он или нет. Вся его связь с землей яснее без лишнего объяснения. Но лишнее объяснение – большой грех. Но в целом фильм очень хорош.

Ю. К.: Вернемся к XVIII веку?

М. Н.: Почему бы я его изучила подробно? Это самый подъемный, пафосный, знаменательный для нас век. То, что Россия сделала в XVIII веке, невероятно. «Богатыри, не мы». Подъем XVIII века перекрывает весь ужас и всю кровь. Как мне говорят: «Петербург был построен на костях». А я: «Да, на костях, но Петербург!» Как-то мне один молодой человек сказал, что Екатеринбург тоже на костях. Нет! Люди, которые строили Екатеринбург, приходили сюда сами. Масштаб дела привлекает русского человека. Мощность русского человека привлекает всегда. Нам не растратно и не ужасно работать во имя светлого будущего. В истории России есть несколько безупречных страниц: создание флота, постройка Севастополя…

Ю. К.: Майя, а откуда такой топоним Севастополь?

М. Н.: Достойный славы. Греческий.

Ю. К.: Ставрополь…

М. Н.: Ставрос – крест по-гречески.

Ю. К.: То есть они так называли, потому что там была греческая…

М. Н.: Ой, по многим причинам там называли. Там действительно была Греция: климат – классическая Греция. Само мироустройство точно такое же, как в Греции. Очень интересно, как Геша объяснял, что такое греческий город: ни один человек не имел право строить свой дом так, чтобы заслонить соседу вид на море, небо, землю. Все греческое мировоззрение, религия представляют человека частью природы, наравне с морем, небом, землей… А римский театр похож на перевернутый шлем: ни земли, ни неба. Только на фоне того, что ты обустроил сам своей волей победителя. Римский театр стоит как знак завоевания.

Что касается XVIII века… Все памятники того времени жутко трогательны: как человек свято верил в возможности разума!.. Это век великих географических открытий. И хотя там были Колумб, Магеллан, но плыли они исключительно с коммерческой целью – за пряностями. Хотя они правда были героями, но плыли с коммерческой целью.

А ты посмотри на наших: Д. Лаптев, С. Дежнёв, А. Чириков и т. д. Люди на свои деньги снаряжали экспедиции и шли, ведомые далью. Главный принцип нашего национального характера, культуры и искусства – за далью даль. Нас это не пугает, а затягивает. Так они это делали сами. Беринг – невероятно! Цель какая? Узнать, есть ли пролив между Азией и Америкой. Вот он чем ведом. А Россия только-только поднялась из ничего. Мы ведь до Петра I торговали пушниной и парусиной для английского флота, уважать нас было не за что. Никто даже не знал, где мы и что мы. Во времена Ивана Грозного европейская наука сомневались в том, что есть Урал. Европа полагала, что ничего и нет. Строгановские земли по западному склону Урала, а дальше никто представления не имел, что там есть. А как только мы через этот Урал перешли, остановить нас было невозможно.

XVIII век: на крошечных суденышках по Ледовитому океану до Америки! К концу XVIII века там обосновали такую коммерческую фирму «Русская Америка»: пушнина, рыба. Закрепились на Аляске… А ведь мы только что встали на ножки! Для того чтобы кормить «Русскую Америку», ибо Россия жутко далеко, а то, что близко – Колыма, мы спустились до туда, до Голливуда. Это место, докуда дошли русские, проявив притом исключительную гуманность. Я читала книгу об этом американского автора, мы-то почему об этом пишем?! Там у нее постоянно сталкиваются русские и испанцы. Русские всюду – спасатели, а испанцы – палачи. XVIII век продемонстрировал: при нашем движении через Сибирь в Америку, при наших войнах с турками… Турки после каждого боя всем нашим отрубали головы. Ничего подобного никогда не было на нашей совести. XVIII век – мы прошли до уровня Голливуда. «Русская Америка» была предприятием коммерческим. Но как мы там обосновались: роднились, женились… К тому же, вспомните, что мы прошли! Амур – далеко не южная река! Колыма, хребты… Если вспомнить, как умирал Беринг, его засыпали землей, он не мог согреться… Без технической помощи… Наши крошечные кораблики, никаких навигационных приборов. Когда они прошли мимо друг друга и не увидели друг друга в ледяном тумане… Вот так мы и открывали все это – в ледяном тумане. Никто ничего подобного не сделал. Мне ужасно обидно, что никто этого не знает, никто не знает этих имен. Тогда народ находился на уровне максимального духовного подъема и физических возможностей.

А наши воинские заслуги – да-а-а! Я понимаю, что Петербург строить было безумно сложно, и, конечно, на костях… Но вспомним XIX век, когда мы строили Николаевскую железную дорогу: «*А по бокам-то все*

косточки русские… Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?»[61] Строительство этой дороги в наших условиях в десять раз дороже, чем в Европе. Там теплые маленькие страны. Когда нам говорят о нашем техническом отставании, которое стало заметно к середине XIX века, это все объясняется тем, что там теплые маленькие страны, а у нас – огромная и холодная. Ни одна страна никогда не строила такой дороги, как мы, – от Москвы до Владивостока.

А научные исследования! Мы исследовали полярные пустыни, высокие широты только. Это просто невероятно. Что касается Урала, руководителем этой экспедиции был молодой человек 15 лет! Это говорит о том, на каком подъеме был народ. Он написал научный отчет, который очень долго не терял своей научной ценности. А уральская промышленность! Ни одна страна ни в какие времена не достигала таких чудовищных скоростей, такой плотности строительства. За 25 лет мы вышли на европейский рынок. Но самое-то главное – на диком месте! То есть человек приходил с топором в дикий лес, разгонял волков и ставил завод. И если посмотреть технологию – картинки есть. Вот, например, «Описание сибирских заводов» у де Геннина – очень интересно. Основатели нашего города – Татищев и де Геннин. Татищев написал первую «Историю государства Российского», а де Геннин – первое научное сочинение или даже учебник по заводскому делу: там есть очень хорошие картинки и технология описана. Как строили нашу плотину: сначала строили временную плотину, а дальше в дно вгоняли сваи из лиственницы, потому что лиственница в воде твердеет и каменеет. Но в дно-то – это значит в гранит. Нашу плотину никогда не чинили. Ну, украшали сверху, но не чинили. Вот уровень строительства, наши технологии!.. Когда я смотрела то, что показал Л. Парфёнов об Урале, мне было обидно, ведь надо было говорить-то об этом. Екатеринбургский железоделательный завод был самым лучшим заводом в мире в технологическом отношении. Невьянские печи из тех древесно-угольных печей были самыми мощными в Европе. Ведь это все делалось не просто с кондачка, это строились первоклассные заводы.

Часто говорят, что мы вторичны, используем опыт Европы… Но что касается технологического производства, то все зависит от уровня руды, от климата, от качества леса. Все европейские технологии надо было поправить на наши условия, и все они были поправлены. Это даже у Бажова есть. В договорах всегда указывалось, что инженеры зарубежные должны учить наших, но это выполняли далеко не все. Генерал де Ген-

[61] Н. А. Некрасов. «Железная дорога».

нин был очень порядочный и честный человек, но такие были далеко не все. Очень часто они относились, как это описано у Бажова: *русский рапот есть глупость*[62]. Поскольку мы все безбашенные такие, немцам мы казались придурками. Дело в том, что мы другие люди, головы у нас устроены по-разному. Но тем не менее основы инженерной мысли все закладывались в XVIII веке. Здесь были особые условия: руда была хорошая, лежала очень близко, ее добывали даже с поверхности. Только в последней трети XIX века, заводчики стали обращаться за помощью к науке. Таким образом появился Е. С. Фёдоров – основатель кристаллографии, А. П. Карпинский и т. д. Вот только тогда – потому что руды становится меньше, иссякает месторождение. А до этого таких проблем не было. И лес казался бесконечным, настолько его было много. Однако толковые заводчики (были заводчики, которые работали только на карман, а были такие, которые действительно к заводскому делу прикипали) вели эти геологические исследования, подсаживали лес. Что касается технической интеллигенции… Я не понимаю русскую художественную интеллигенцию, ибо она так страстно готовила Великую Октябрьскую социалистическую революцию, так ее призывала, шла на такие далеко не невинные вещи…

Ю. К.: А по какой причине она себя так вела?

М. Н.: По причине того, что она занимала в истории отечества место, которое казалось ей недостаточным. Техническая интеллигенция была всегда очень высокого уровня. Вот один пример: когда на заводе работал Грум-Гржимайло – это ум и голова, металлург мирового класса, который любил только огненные печи. Вот это уральское отношение к работе! Вот языков он не знал, театра не любил, а любил только огненные печи. Я всегда говорю, что каждого человека, живущего на Урале, надо сводить в шахту и на металлургический завод. Ты из шахты поднимаешься другим человеком. Он так любил свою работу, что за те годы, что он работал… Это Салдинские заводы, самые лучшие и самые дешевые рельсы в России. Вот что такое инженерный ум. Когда он там работал, на заводе не было никаких волнений, никаких недовольств. Дело в том, что инженерам платили очень хорошо. Некоторые инженеры жили здесь просто по-барски. Но рабочие видели, что вот этот человек этого стоит. Я рада, сейчас есть Демидовский институт, они выпускают книги, открывают правду о некоторых исторических событиях, которые были искажены советской историографией. Все это складывалось, конечно, в XVIII веке. Городу было всего 18 лет, и приехавший сюда немецкий

[62] Вероятно, Майя Петровна ссылается на сказку П. П. Бажова «Иванко-Крылатко».

академик сказал: кто хочет познакомиться с горнодобывающей промышленностью, тому следует посетить только город Екатеринбург – средоточие, символ, вершина промышленности. А Невьянск, вот эта башня – средоточие инженерных чудес XVIII века. Первый громоотвод. Мы себя совершенно не любим.

Ю. К.: Да почему не любим-то? Мы любим себя, просто им плевать (извините) на нас. Какая разница, кто первый придумал? Придумали – и пользуемся.

М. Н.: Мы совершенно не гордимся, совершенно не рады…

Ю. К.: Так это, может, и хорошо, что не гордимся.

М. Н.: Отчасти да. Это уральские мастера! Пока есть камень и мастер, я еще не такое сделаю. Но камня становится меньше, мастера уходят, не оставив за собой наследников.

ВЕЧЕР ВОСЬМОЙ

Ю. К.: Мы остановились на XVIII веке.

М. Н.: Да, возвращаемся к XVIII веку. Что касается литературы, то это невероятно. Что касается силлабической системы – ее спасает только то, что в ней есть печаль. Но она очень нудная. В ней есть большой минус: она сама собой какая-то нравоучительная. Чего не должно быть в поэзии, и чего не выносит русский читатель. Ты лучше ругайся матом, чем поучай меня, качая кулаком под носом. В ее звучании заключена назидательность, нравоучительность. Система эта любимой быть не могла, поскольку она нашему мировоззрению и характеру претит. Но русская народная песня существовала, и эта традиция прорастет с середины XVIII века. С какой скоростью! От силлабических виршей поэзия стала очень быстро наращивать рисунки, как быстро стало в ней прорастать звучание народной песни. Разломали эту систему, как клетку. В конце XVIII века уже был Державин, это просто первоклассный поэт. Интересна скорость наращивания возможности ритмической. XVIII век – это, конечно, век просвещения. И по всей Европе – ставка на разум, и везде эта ставка от начала до конца срабатывала. У наших товарищей эта ставка тоже срабатывала (Кантемир, например; сами жанры – оды, поучения), но заметьте, что делалось: Тредиаковский, например, с самого начала ставил на чувство, хотя он работал в этой же клетке, в этой же системе.

Ю. К.: Он же [Тредиаковский] первый и вылез из этой клетки. А он ведь был старше Кантемира!

М. Н.: Это просто жутко интересно. *«Начну на флейте стихи печальны: / Зря на Россию чрез страны дальны <…> Чем ты, Россия, не изобильна? / Где ты, Россия, не была сильна?»*[63] Тут уже век просвещения сдается. Это же восклицание от всего сердца! Он уже очень от Кантемира ушел. Это совсем другие стихи.

Ю. К.: Тут уже уверенность в других силах.

[63] В. К. Тредиаковский. «Стихи похвальные России».

М. Н.: Он другое слышит, его другое интересует. Тут впервые в поэзии впервые фонетика работает как фонетика: «*Вонми, о! небо, и реку, / Земля да слышит уст глаголы: / Как дождь я словом потеку; / И снидут, как роса к цветку, / Мои вещания на долы*»[64]. Это же просто потрясающе красиво! Фонетика во всей своей мощности работает. Там есть старого языка слова, но это неважно. Просто здорово. Тредиаковского я за это очень отличаю. Все эти его страдания, поиски справедливости на том поле, где ее найти невозможно, подметные письма – все это очень трогательно. Но он ведь не к разуму взывает, а к чувствам. Потом там появились Майков, Богданович… Там есть стихи, которые следует считать хорошими стихами. Ломоносов вообще очень хороший поэт. Эти его оды науке просто блистательны, ничуть не устарели. Такой напор, не иссякающий на длиннющее стихотворение – «Ода на день восшествия…», он ведь держится, нигде не сдается. Он – государственный поэт, это великодержавное, государственное мышление, где никакого формализма, никакой механики, где чисто человеческим чувством все согрето. Он не выступает как советский поэт (вот у меня такой голос, но раз надо – я напишу так) – он говорит своим голосом. Вот это и есть XVIII век.

Ю. К.: А Барков?

М. Н.: Это явление русское. Русскому национальному характеру свойственна ярость с придурью. Чем нам нравится В. В. Жириновский? Эта придурь может иметь всякие оттенки. У него была такая. То, что он писал, это в русском фольклоре, в сказках было. Но я не согласна с В. Ерофеевым, когда он, защищая свою «Русскую красавицу», говорит, что это у нас всегда было, но это никогда не было для широкого пользования, это было для закрытого общества, для клубно-корпоративного пользования. Оно всегда держалось в литературе, но никогда не было магистральным.

Ю. К.: Барковские оды гениталиям мужским и женским – это же русский Катулл… Это до безобразия здорово! Это отвратительно хорошо!

М. Н.: Вот великий фараон. Вот его 167 детей. Этим он доказывает свое величие. Да, в этом есть кондовая правда, с которой спорить невозможно. Но другое дело – как я это подаю. Можно сделать это неприличным, можно это таковым не делать.

Ю. К.: Сколько раз я читал эти оды: уверен, что это катуллианство. Он не говорит о конкретных этих вещах, предметах, он говорит о другом. Это метафора. Символ. Суть жизни. Примитивная и прямая суть жизни.

М. Н.: Вот только что перевел Серега «Свадебный гимн» Катулла. Это великолепно. Там описывается, как ведут новобрачную, все эти по-

[64] В. К. Тредиаковский. «Ода XVII. Парафразис Вторыя песни Моисеевы».

стели… Это великолепно. Но для этого надо обладать определенной профессиональной доблестью – потяну или не потяну. Это очень интересно, мне нравится, что в нашей литературе это есть. Я природу вижу и согласна ее уважать. Природа есть природа, она нас старше и умнее, и плевать ей в глаза глупо.

Так, Ломоносов. У Ломоносова уже работает фонетика. У Кантемира и у Хераскова она еще не могла работать. «*Где мерзлыми борей крылами / Твои взвевает знамена…*»[65] Здесь согласных только *з* и *в,* а гласных только *е* и *а*. Из пологой *е* в широкую *а*. И еще одно, чем мне нравится XVIII век, – сознание очень повзрослело, возмужало, поумнело. Посмотри, что у Ломоносова про кузнечика, человеческая свобода и счастье в чем заключается? – *«…не просишь ни о чем, не должен никому»*[66]. А скоро Пушкин скажет: «*Зависеть от царя, зависеть от народа – / Не все ли нам равно? Бог с ними. / Никому / Отчета не давать, себе лишь самому / Служить и угождать…*»[67] Ничего подобного еще 50 лет назад нельзя было сказать. А теперь можно. Еще мне поэзия XVIII века нравится тем, что там любовь к отечеству не придумана. Она – естественное состояние души, и жить можно было только так. Служение любезному Отечеству. Это не потому что так положено, а потому что я правда так живу. XVIII век мне вообще всегда очень нравился. Много там было варварства, но варварство – это мощь и мощность.

XIX век, конечно, тоже надо бы учить не так, как у нас учат в школе… Вот это вот расслоение на западное и европейское, масонские ложи… И это процвело до того, что русские поэты, уезжая, говорили: «Это написал не я, это было в другой стране, и ко мне отношения не имеет». Но самое потрясающее – это исключения: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Все наши титаны были свободны. Белинский? Белинский был почти как Троцкий. До такой степени он жаждал свободы, что ради идеи этой и народ губить не жалко… Я во многом не могла понять, как можно сказать, что Пушкин или Гоголь теряют в художественности. Я не могла ему простить его отношения к «Выбранным местам…» Гоголя. Все, что писал Гоголь, – об этом самом. Когда Белинский поднялся против этого, он практически перечеркнул всего Гоголя напрочь. Для литературного критика такого уровня такая слепота непростительна. XVIII век – вершина нашей крепости, могущества и скорости. А в XIX веке мы начали поти-

[65] М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

[66] М. В. Ломоносов. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же».

[67] А. С. Пушкин. «Из Пиндемонти».

хоньку сдавать, отставать: в технике, в дорожном строительстве. Но я не вижу ни малейшего отставания в культуре. Никакого.

Ю. К.: Раньше же культура с цивилизацией, с техникой, с наукой развивались нормально, совместно…

М. Н.: А теперь расходятся. В результате этого страшного расхождения сегодня человечество предпочитает удобство высоким ценностям.

Ю. К.: Одичали мы. Расчеловечились. Отупели. Никто ничего толком не знает. Кто такой Гумбольдт, да даже и Келдыш.

М. Н.: Или Цвиллинг… Никто уже не знает.

Ю. К.: Или Блюминг…

М. Н.: Покажите мне человека, который знает Цвиллинга и скажите, почему улицу надо назвать именем Цвиллинга. Вот я знаю, кто такой Цвиллинг, и ни в коем случае нельзя называть улицу таким именем.

Ю. К.: Да уже Ленина не знают, Майя Петровна! А самое красивое какое название улицы в Екатеринбурге?

М. Н.: Мне нравится «Старый Каменный мост». Это на Малышева. Еще «Царский мост». Он на Декабристов. Оба моста очень красивые, но застроены так, что их ниоткуда не видно.

Ю. К.: А еще какие места красивые у нас?

М. Н.: Улица Розы Люксембург была красавица невероятная. В начале улицы Розы Люксембург, перед Центральной гостиницей, стоял костел на гранитном постаменте, как ваза на комоде, на этой площади. Улица Розы Люксембург был заставлена небольшими домами, и за этим следили. Допустим, если бы ты захотел построить дом в четыре этажа, тебе бы запретили. Она была вся в сиренях и в липах, благоухающая. А еще там были самые красивые в городе мостовые. Проезжая часть была из некрупных черных гранитов, и поскольку она была обкатана и объезжена, они выглядели как матовая кожа. А тротуары были из плит (величиной с этот стол): чем был уважаемее, богаче, солиднее хозяин, тем более хорошо обработанные и крупные плиты лежали возле его дома. Через каждые полтора метра стояла гранитная тумба. Красота невероятная. Я помню, как по всему этому шли танки. Это был потрясающий кадр. Танки шли по черной мостовой, и искры летели у них из-под гусениц, а мы бежали по этим белым тротуарам и кричали: «Ура, победа!» Дальше улица эта переходила в усадьбы, которые сходили к реке. Усадьба Рязановская с громадным парком, с речкой Малаховкой протекала через улицу Розы Люксембург. Эта речка текла через усадьбу Рязановскую, там был парк очень дорогих пород. Помню, почему-то мы его называли черный берлинский тополь, листья как у фикуса – лаковые, глянцевые, темно-зеленые. Усадьбы вырубали, а потом на дубовые аллеи высыпали мусор,

а мы гуляли в них, будучи детьми. Я помню, как мы шли по этой дубовой аллее, я видела самые большие изумруды в своей жизни: приехала одна женщина, Елизавета Африкановна, у нее отец держал здесь ювелирный, и она приехала попрощаться с родным городом, и у нее в ушах висели вот такие изумруды (*показывает*)…

Ю. К.: С большой палец, да?

М. Н.: …вот такие изумруды идеальной чистоты. Они были настолько тяжелые, что мочку ей порвали. Помню, как она наклоняется ко мне и говорит: «Вот как раз на мою жизнь хватит».

А потом был дом Самарина, до Железнова, все они парками выходили к реке. Парки были с насыпными горками… Там прошло мое детство, я жила в исключительно красивом городе. Насыпные горки, фонтаны, широкие ступени к воде, чистая река, из которой поили лошадей в войну, поливали огороды и полоскали белье. Река от красивого Старого Каменного до Царского текла по сплошной парковой зоне. К реке сходили ступени, стояли вазы.

А еще была очень красивая улица бывшая Ассирийская, ныне – Чапаева. Там тоже парки к реке… Невероятно красивое было место, и город мог оставить его заповедником, ведь улица Розы Люксембург была цела еще 20 лет назад. Если б мы оставили этот район, к нам бы ездили как в Венецию. Улица была правильно озеленена: старый Екатеринбург озеленялся только липами и лиственницами. Когда под руководством отца моего озеленяли то место, где городок Чекистов, – точно так же: только липы. Улица была замечательно хороша. И у города была возможность оставить всю зону эту целиком. Прямо до реки, все парки спустить к реке. Было бы что-то невероятное. И это не такие страшные затраты. Единственное, что нужно было – это не строить там стеклянных башен, но их именно там и построят. Сейчас от бывшей Механической (Горького) до реки Исети все снесено – и пустое место. На том берегу мост, и от этого моста река начинала быть судоходной, уже считалась большой. Самое интересное, как она была стиснута в камень на территории завода, а потом начинала… И вот эта ее домашность, вольность ее течения украшала город. Она делала город заводской и промышленный город парковым и дворцовым. Усадьбы все были очень красивые, и парки все очень хорошие и дорогие. Я уже туда не хожу: боюсь, что сердце мое не выдержит. Настолько жалко.

Вы заметили, что сейчас наши улицы не выглядят широкими? Потому что держался главный принцип застройки: на высоких местах ставить только высокие дома, скажем, на Вознесенской горке, а по склонам – ни за что. Город имел рельеф, и были видны семь горок. Сейчас ничего не

видно, смяты все. После того, как над Вознесенской горкой построили этажи, горки не стали. И я говорила с главным архитектором города, он сказал, что ничего нельзя сделать, потому что продано все.

Ю. К.: Ну существует же генеральный план развития города *(с иронией)*…

М. Н.: После того, как мы получили такой ответ, вопросов мы больше не задавали. А места были красивые. Я уже не говорю про старый город. С Вознесенской горки был виден хребет. Уральский хребет был виден с балкона Дворца пионеров. А визовзский завод? Визовский завод, по мнению специалистов, – самое красивое заводское сооружение рубежа XIX–XX веков.

Ю. К.: Ну что, о красивых людях?

М. Н.: О красивых людях!

Ю. К.: О Жене Ройзмане?

М. Н.: О тебе поговорим! *(Смеется.)* Я доверяю красоте всецело и никогда не поверю, что природа может совершить такую ошибку. Если красивый человек, значит, в нем обязательно что-то есть. В Свердловске очень много красивых людей. Я никогда не видела женщину красивее моей матери. Пройдите по улице: красивых женщин у нас несравненно больше, чем в Париже.

Ю. К.: Очень много красивых женщин на углу Ленина – Карла Либкнехта.

М. Н.: В те годы, когда мы все были нищие и голодные, когда красота ценилась чрезвычайно высоко, потому что это подлинник, в те годы ценить можно было только подлинники, вот мы их и ценили. Красивых девочек и мальчиков знал весь город, это было принято, и не знать их считалось невежливым. Когда Женю Ройзмана выбирали в думу, подошли ко мне две девочки агитировать за него. За Женю Ройзмана меня не нужно агитировать, но я им сказала: не говорите «за Женю Ройзмана», ну как минимум «за Евгения Ройзмана».

Совсем недавно были в музее Невьянской иконы, и одна из моих школьных товарок написала, что в городе Екатеринбурге есть истинные подвижники, которые для поддержания культуры делают все, что в их силах. То, что сделал Женя – это замечательно. В тот раз мы говорили про Ивана Давидовича Самойлова – это человек вселенского масштаба, герой России. Или Артур Эванс, который поднял критскую цивилизацию. И Женя. Это явления одного ряда, так как сделал он это по велению души, он знал, что он для города делает. Он знал, что далеко не все знают и ценят эти иконы, но он их вернул в наш каждодневный культурный обиход. Невьянская икона, действительно, дорогого стоит. Икона – вообще явле-

ние мирового масштаба. В русской иконе Невьянская икона занимается совершенно особое место.

Судьба наших икон вам известна: когда была гонима церковь, уничтожались иконы. Массу икон спасли музейщики – тоже подвижники, так как многие ради этого рисковали своей жизнью. Я в одной деревне видела, как икона по лику разрублена, и из нее сделаны полки в сенях. Нельзя сказать, что когда рушили церкви, люди туда бросались и на груди выносили эти иконы… Нет, не было этого. Также и про расстрел царя: это сделали здешние люди, местные люди. Также и про иконы: это делали местные люди, это они их рубили пополам. Но были и другие люди, которые поступали иначе: спасали, берегли и детям своим оставляли.

Старообрядческие иконы еще интересны потому, что старообрядцы сыграли огромную роль в истории Урала, в промышленном освоении Урала. Старообрядцы свою икону, свои верования и обряды очень любили, ценили и никому в обиду не давали. Подвиги самосожжения свидетельствуют о том, что веру, Богом данную, нельзя реформировать в угоду земным надобностям. Явление старообрядчества очень интересное. Хорошо, что память о нем осталась. Вы имеете представление о том, что икона – вещь дорогая. Иногда иконы достаются даром. Если человек иконы собирает сознательно, это большие деньги. Еще больше денег нужно, чтоб икону восстановить. И не каждому человеку это можно доверить, не каждую икону нужно восстанавливать. Это работа, требующая очень серьезных знаний.

То, что Женя Ройзман относится к этому максимально серьезно, достойно уважения и восхищения. Серьезного результата можно достичь, когда человек всецело чему-то отдается, максимально сосредотачивается на этом. Вот у Жени невероятная степень сосредоточенности. Это несмотря на то, что он абсолютный супермен, красавец, звезда, спортсмен, гонщик… К тому же он обладает массой достоинств, которые украшают мужчину с античных времен. Доблесть, смелость, великодушие, готовность рисковать. С таким букетом, даже если б он ничего не сделал, он бы все равно являлся украшением нашего города. И еще: не думаю, что писание стихов является делом его жизни, но у него есть собственный голос, который узнаваем и которому он не изменяет. Что касается оценки его как поэта… Ну, хорошее стихотворение – это такая редкость… Скажем, 5 хороших стихотворений – это потрясающий результат жизни. То, что делает Женя Ройзман – это его почерк, его стихи, среди которых есть очень интересные, совершенно состоятельные. Еще одно его качество, которое сокрушает меня всегда: при его достоинствах он мог бы вести себя как угодно, мы бы ему все простили и восхищались бы им,

но он ведет себя всегда как хороший мальчик. Ни разу не видела, чтоб он повысил голос, позволил себе более размашистый жест, чем это позволительно, а как он одевается, как читает стихи… Помните, носили красные пиджаки? Помню, когда Муслим Магомаев вышел в парчовом пиджаке, это было расценено как доблесть и смелость. Приди Ройзман в парчовом пиджаке, хоть в камзоле XVIII века, я скажу, что это будет великолепно. Но он никогда такого не делал. И еще одно: щедрость только тогда щедрость, а не купеческая показуха, когда она сопряжена с великодушием и благородством, когда ей не хвастаются, не тащат ее впереди себя. Вот так делает Женя всегда. Женя помогал огромному количеству людей, но я не слышала, чтоб он когда-то вслух об этом рассказывал.

Когда я проезжаю мимо церкви на Уралмаше, где написано, кто ее построил, – это очень плохо. Надо церковь построить и уйти, нельзя говорить, кто ее построил. Надо сказать, что на Урале меценаты были очень щедры. Скажем, приют для бедных детей, детей-сирот: им давали образование, приданое, но они никогда никому ничем не были обязаны. Потому что этот дядя это делал для себя, для спасения души своей, для города. Прекрасно, что Женя делает также. И вот то, что он делает это для города, – это просто замечательно. Женя все всегда делает молча, никому об этом не рассказывает. И я не буду говорить, раз он молчит. Но примеров знаю много, и каждый из них удивителен. А музей? После открытия он месяц работал бесплатно, без всяких билетов. Обычно презентации и открытия используют в своих целях, чтобы как-то оправдать расходы, но Женя делает наоборот. Ни от кого я никогда не услышала не то что негативного, но даже нейтрального отзыва о Жене.

Ю. К.: Я слышал много негативного о нем в мэрии. И когда один из начальников культуры узнал, что мы с ним товарищи, он перестал со мной общаться.

А какая связь между землей и языком?

М. Н.: Я имею в виду еще и человека. Связь существует между землей, человеком и языком, на котором этот человек говорит. Наш народ формировался на пространстве немереном, прикрытом с запада и с юга: тут половцы, а там Европа, которая нас никогда не пускала на запад. Пути нам были открыты только на север: в лед, в снег, в ночь, в черное, в смерть и на северо-восток.

Ю. К.: Как эти огромные пространства, немереная Россия влияет на язык?

М. Н.: Принцип нашей жизни – за далью даль. Огромность наших гласных. А откуда взялось безумное наше [ш]? Вспомни, когда к нам пришли греческая азбука и греческий ум, что к этому было добавлено

Кириллом и Мефодием для того, чтоб это стало нашим? Были добавлены шипящие, потому что природа наша сплошь шипит, жужжит, чавкает. Когда появились старославянские, как шатры раскрывающиеся, шипящие, купольные носовые гласные – это все было то, что человек слышал, живя на этой земле. Что касается нашей всеприемлемости и того, что мы в себя спокойно принимали и полонизмы, и германизмы и т. д.: нашего так много, что от нас не убудет. К тому же мы все немедленно обкатывали про себя. Например, как мы из «тартуффеля»[68] сделали *картошку* по принципу *бабушки, ладушки, варежки, подушки*! И таких примеров очень много. Когда мне говорят, что мы вторичны и «косим» под Запад, я с этим никогда не соглашусь!

Когда у нас в VIII веке строили роскошные усадьбы, делали парки такие же, как в Европе, но ни один в России не устоял, все немедленно превратились в пейзажные. Хотели было сделать классический парк, а отойди от дворца на 10–20 метров – лопухи и крапива. Но никогда никого это не шокировало и не оскорбляло. Перед парадным фасадом еще какую-нибудь клумбочку выложат, а дальше – все не так. На реках и прудах жили утки, по парку ездили не только на каретах, но и верхом. Как тут устоять классическому парку? При таком огромном пространстве земли твой парк естественно переходит в лес. В Питере это все прекрасно видно. Я не могу сказать, что Гатчина и Павловск – пейзажный парк, нет, это природа. Все наши классические богатые усадьбы с прудами, с масонской символикой и так далее – немедленно все превращалось в лес. И то поколение, которое все это строило, к старости уже жило в природе.

С языком все было также. Например, польский язык. Очень красивый язык, интимный, кажется, что он создан только для того, чтобы друг с другом на ухо говорить. Дивные шипящие… Но может ли интимность существовать на огромном пространстве? Нет! Я помню, в деревне я просто выпрямилась от восторга, когда услышала, как баба кричала: «Мару-у-у-у-у-у-ся, по-о-о воду пойде-о-о-ошь?» Попробуйте крикнуть такое на польском с его шипящими, закрытыми словами и фиксированным ударением.

Ю. К.: Польский язык подчинился латыни, потому что они переняли предпоследний ударный слог из латыни. Они восприняли чужое ударение, сделали его своим, органичным.

М. Н.: Мы воспринимаем огромное количество смысловых единиц, фонетику, но что касается ударения, мы свою вольную волю никогда не

[68] Русское слово *картофель* (*картошка*) восходит к немецкому *kartoffel*, которое, в свою очередь, является видоизменением итальянского слова *tartuffel*.

отдадим. Когда мне говорят о холопстве русского народа, я спрашиваю: «А вы русский язык слышали?» Как-то я в Турции слышала, как на задах какого-то ресторана рыбного разговаривали наши бабы. И вот одна баба другой говорит: «Я ему говорю: «Куда идешь-то? Куда идешь-то? Нет ведь там ничего!» Ты узнаешь? Немец или англичанин может идти туда, где нет ничего?! Бабы, срывая глотки, орут ему, что там нет ничего, а он идет! В то время, когда это все складывалось, в VIII веке, мы в мощности языка потеряли много: потеря купольных носовых и роскошных шипящих. Но язык – живое тело, с этим не поспоришь.

Начала я читать книгу про Пастернака[69]. Она мне сразу не понравилась, хотя читается она хорошо. С самого начала он впадает в очень серьезные ошибки, которые связаны с интонацией, в которой он пишет. Я понимаю, что делает интонация безграничной и всеобъемлющей любви: я вытаскиваю предмет своей любви из сравнительного ряда, он становится несравненным, чем я обеспечиваю ему достаточную высоту, а себе – свободу говорения. Я признаю за любовью это право: моя мама самая красивая, мой ребенок самый лучший – это естественное положение вещей, и нарушать его не надо, но когда речь идет о таком сочинении… Я сразу напоролась на то, что Пастернак якобы ищет смысла в словах, а Мандельштам якобы стремится к бессмыслице. Это абсолютная глупость. То, что в этом плане сделал Мандельштам, практически не делал никто. Для Мандельштама отсутствие какого-то качества не есть пробел и пустое место, это новое качество и новое состояние. Никакой утраты смысла здесь нет. Когда он говорит: «*Бессонница. Гомер. Тугие паруса…*»[70], – он сразу начинает с немыслимого масштаба. *Бессонница* – это не есть не сон, это совершенно особое состояние, может быть, даже состояние измененного сознания. *Бессонница, Гомер* – мощность, античность. *Тугие паруса* – движение и скорость. Получается, что он враз вводит три немыслимо огромных пространства. Или: «*Мы смесь бессолнечную пьем*»[71]. *Бессолнечная смесь* – это не тьма. «*И блаженное, бессмысленное слово / В первый раз произнесем…*»[72] Ну что тут говорить! Это всегда новое состояние, которое не есть недостаточность. Поэтому в этом плане Быков совершенно не прав.

Когда пишут об обожаемом, становятся необъективными, что-то теряют. Мандельштам сразу начинает с максимально крупного «*Я по лесен-*

---

[69] Быков. Д. Л. Борис Пастернак / Серия : ЖЗЛ. М., 2005.

[70] О. Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…».

[71] О. Э. Мандельштам. «Твое чудесное произношенье» *(И столько воздуха и шелка / И ветра в шепоте твоем, / И, как слепые, ночью долгой / Мы смесь бессолнечную пьем»)*.

[72] О. Э. Мандельштам. «В Петербурге мы сойдемся снова…».

ке приставной / Лез на всклоченный сеновал, – / Я дышал звезд млечных трухой, / Колтуном пространства дышал»[73]. Пастернаку, для того чтобы просто крутиться, хватает запаха, звука, тактильного ощущения. А дальше идет словесное строительство, которое он ведет так, как птица строит гнездо, это производит самое чарующее впечатление на читателя. Когда экстазное состояние читателя кончается раньше, чем у поэта, – это плохо. Некоторым не кажется, но, если копаться (избави Бог копаться в поэзии), неточностей у Пастернака и случайных слов много. Когда я читаю: «*Прибой, как вафли, их печет*[74]», – это ужасно. Вы видели, как вафли пекут?

Ю. К.: Майя, это дурновкусие.

М. Н.: Да, но он этого не знает. В этом плане, я считаю, что прав Иван Алексеевич Бунин: если он не видит точно, что за птица сидит, он никогда не скажет *дрозд* или *скворец*, он скажет *птица*.

Ю. К.: Антиэффект от книги Д. Быкова получается оттого, что Быков – человек необразованный, не имеет научного склада ума. Он сделал классификацию по разным основаниям. Он взял несколько замечательных поэтов: Ахматова, Маяковский, Мандельштам, Блок – сопоставительные главы. Он взял эту парадигму, Пастернака он оттуда изъял, и ему пришлось придумывать отрицательные качества для Ахматовой, Маяковского, Блока, чтобы опустить их ниже Пастернака. А это уже преступление. Это не научный подход, несмотря на то, что, я понимаю, что он работает апологетично по отношению к Пастернаку.

Мне рассказывали случай: ребенку исполнился месяц, пришли гости. Мать ведет гостей в детскую комнату, там стоит колыбелька, в ней – ребенок. Ребенка, видимо, не переворачивали, когда он долго спал, поэтому у него голова кривая, еще диатез, весь измазанный зеленкой, укаканный, уписянный… И она говорит: «Смотрите, какой красивый мальчик! Это я вам объективно говорю, не как мать». Вот тоже самое сделал Дмитрий Быков с Пастернаком. Мать-то я оправдываю, а Быкова нет. Вот это влияние посткнижной культуры, когда все визуализируется. Быков создает визуальный облик гиганта.

М. Н.: Мне тут сказали, что Вознесенский – величайший поэт… Ну вы что, товарищи? Тогда скажите мне, кто Пушкин? Если Вознесенский – величайший поэт, то кто тогда Пушкин?

Ю. К.: Вспоминаю слова Иосифа Бродского, который по поводу Вознесенского и Евтушенко сказал, что если уж сравнивать Вознесен-

---

[73] О. Э. Мандельштам. «Я по лесенке приставной…».

[74] Б. Л. Пастернак. «Волны» *(«Передо мною волны моря. / Их много. Им немыслим счет. / Их тьма. Они шумят в миноре. / Прибой, как вафли, их печет»)*.

ского с Евтушенко, то Евтушенко более поэт, чем этот трюкач. Примерно так он сказал.

М. Н.: Да. В нем больше жизни, человеческого тепла. Я вообще всегда бросаюсь грудью защищать Евтушенко. Во всех его розовых шубах и пестрых пиджаках…

Ю. К.: …и ужасных жилетах!

М. Н.: …во всем этом есть радость жизни. А еще у него есть прекрасное, очень редкое качество: есть люди, которые в тот момент, когда говорят, абсолютно правы. У Евтушенко вся поэтика на этом построена.

Ю. К.: Я прочитал его книжку «Записки шестидесятника». Я удивился тому, как он себя любит и как он не различает своих стихов. Бывает, там идет просто чушь собачья, а рядом хорошие стихи. У него же есть хорошие стихи, что говорить.

М. Н.: Ну да, может, 1/10 из всего, что у него есть, – хорошие стихи, а остальное… В светлые часы он прекрасно понимает, чего он стоит.

Ю. К.: А ты же с ним встречалась?

М. Н.: Я с ним встречалась, да.

Ю. К.: Давайте вернемся к паркам…

М. Н.: В Екатеринбурге всегда были люди, которыми город имел право гордиться, которых в городе ценили. Но в Свердловске-Екатеринбурге добиться того, чтоб тебя город принял, очень трудно. С одной стороны, Екатеринбург – абсолютно старообрядческий город, с кондовой моралью, но, с другой стороны, это город передовой, всегда принимавший новое, потому что металлургическая промышленность очень наукоемка и очень зависит от новаций. И это уживалось. Вот один очень интересный пример. Приезжает сюда Мамин-Сибиряк с Марьей Якимовной Алексеевой, чужой женой. Марья Якимовна была дочерью старообрядца. Отец ее – управляющий заводом, а потом – заместитель управляющего по технике тагильских заводов. Это чудовищно высокая должность. Из приписных крестьян. На Урале все было совсем не так: среди приписных крестьян были очень богатые люди.

Ю. К.: Это казенные крестьяне?

М. Н.: Да, они были приписаны к заводам указом 1821 года. Но они не были крепостными. Отработав сколько положено, крестьянин мог уйти.

Ю. К.: А в чем разница между крепостными и казенными?

М. Н.: Казенные – то есть государственные.

Ю. К.: То есть они жили не на территории завода, но были приписаны к заводу?

М. Н.: Всех приписали к заводам, чтоб обеспечить безостановочный технологический процесс. Сами понимаете, строится Екатеринбург… Открывается 6 школ, чтобы сразу учить людей и ставить людей в цеха. Программа гимназии в XIX веке – это что-то невероятное: латынь, греческий, старославянский, французский, рисование, черчение. Немыслимой сложности программа. Жесточайшая дисциплина: не курить, не сквернословить, не перечить учителю. Если ты без разрешения гимназии пошел на частный вечер или в театр, тебя могли исключить. К обучению здесь относились очень серьезно.

Так вот тот пример, который я хочу показать: приезжает Мамин-Сибиряк с чужой женой, они покупают дом на Толмачева (она покупает этот дом на свои деньги, у него не было ни копейки). Ее семья категорически против этой связи. Его семья категорически против, его родная мать, хотя жила рядом, ни разу не зашла в дом, где он жил, потому что была не согласна с тем образом жизни, который он выбрал. А дальше было так: они прожили 13 лет, и это был первый в городе литературный дом – там проходили музыкальные вечера, были обсуждения литературных произведений. И город Екатеринбург со староверческой моралью эту пару принял. А потом появляется дама-разлучница, актерка, с которой у Мамина начинается скоротечный роман. Марья Якимовна поставила ему руку, это она сделала его писателем. Это ее заслуга всецело. Он это понимал и писал матери, что больше, чем на половину, обязан за все Марье Якимовне. Она была прекрасно образованная женщина. Она выправляла ему все тексты, выполняла жесткую редакторскую функцию. И он признавал, что всем ей обязан. Но такие вещи обычно не прощаются, и, надо думать, они расстались бы все равно. Но тут появляется дама-разлучница… И этот роман город не принимает. Тот приняли – с чужой женой, а этот нет. И получилось так, что город не принимает, появляются неодобрительные рецензии в газетах, а он один остается в качестве рыцаря, защищающего честь дамы. Защитить честь дамы можно было единственным путем: посадить в возок и увезти. Так они и сделали. Они уехали в Петербург. С Марьей Якимовной он даже не простился. Не оставил даже записки. Вот это очень интересно: эту пару город принял, а ту – нет. Мамин потом сказал, что нигде его не читают так плохо, как в Екатеринбурге. Об этом пишут мало, но это классический роман. Мамин – это человек-земля. Если он объявил, что это его любимый город, то или молчи, или сиди здесь, как Павел Петрович Бажов… А через год Мария Морицовна, его вторая жена, умирает в родах, оставив ему больную девочку. Поначалу он пишет матери, что он умер для Екатеринбурга, но дальше вся его жизнь – сплошная тоска по Уралу, он страшно пил, ни о чем другом писать не мог, ничего

другого не знал. Не знаю, как долго бы продлилась эта разлука, если б его девочка, совершенно больная, перед смертью не приехала сюда и не примирила его с городом. Этот дом, который он купил (сейчас музей Мамина-Сибиряка), он купил на гонорар за «Приваловские миллионы». И эта девочка подарила дом городу.

И если посмотреть, кого в городе уважали… Например, вот был И. И. Симанов, городской голова… Даже когда он оказался банкротом, город продолжал его уважать. Что касается наших времен, я никогда не замечала, чтоб здесь каким-то особым уважением пользовались расстрельщики. Поскольку на Урале существует правило: мастер не может быть плохим человеком. А человек, который не при деле, он и есть плохой. Если посмотреть, как меняли караул в последние расстрельные дни, отмечалось, что людей брали случайных, которые не были мастерами. А так дети с двухлетнего возраста знали имя директора завода.

Ю. К.: Да, когда я работал на Уралмаш-заводе, имя директора и главного инженера знали все. Я до сих пор помню.

М. Н.: То, как человек проявляет себя в деле, то, какие взаимоотношения у него с землей, – все это становилось основанием для уважения к нему или неуважения. Вот я вам уже говорила про Павла Петровича Бажова: здесь никого никогда публично не хоронили. Когда выставили гроб, было жутко холодно, но люди шли сами и стояли. Потому что было за что. Но напиши Павел Петрович «Шкатулку» и переберись в Москву, этого бы не было.

Ю. К.: Как ты относишься к аллегории, которую придумал наш современник Алексей Кузин: он взял троих – тебя, меня, Е. Изварину. И выстроил следующую иерархию: Майя Никулина – Хозяйка Медной Горы, Евгения Изварина – Огневушка-Поскакушка. Это было обвинение в тоталитарности нашей. И ты как Хозяйка Медной горы никого в поэзию не пускаешь. Одного Казарина пустила туда – Данилу-Мастера.

М. Н.: Я считаю, что это не сильно умно. Люди, которые хоть в какой-то мере меня знают, они знают, что мне абсолютно ничего не надо ни от кого и абсолютно все равно, кто и чем занимается.

Ю. К.: Это глупость, но в этой глупости есть что-то сакральное.

М. Н.: Я согласна вот с чем: если я считаю это место своим, я никогда его не оставлю.

Ю. К.: И я. Мне квартиру двухкомнатную давали в Москве, я не поехал.

М. Н.: …никогда и ни за что. Что касается кухни, то ведь она действовала по принципу чужие здесь не ходят. Хотя заходили сюда многие люди, никого здесь никогда не обижали.

Ю. К.: Меня же Комлев не признавал…

М. Н.: Ну, Комлев – это другое дело. У нас с ним особенные родственные связи, которые обозначились, когда еще нас не было на свете.

Ю. К.: Да он просто влюблен был в тебя. И до сих пор… У него губы дрожали, белые были, когда он мне о твоих стихах говорил.

М. Н.: Когда мне такие вещи говорят, я говорю: «И слава Богу!» Лучше кого-то любить, чем не любить. И еще одно. Кельт прекрасно понимал и слышал все. Кельт – незримая пружина любого действия…

Ю. К.: И Кельт манипулировал…

М. Н.: Ну, я бы не сказала…

Ю. К.: Он не тобой манипулировал, а обществом.

М. Н.: Да, это такая высокая игра.

Ю. К.: И иногда по башке получал…

М. Н.: Там кто не получал!

Ю. К.: Я не получал ни разу.

М. Н.: Юра, ты говоришь глупости. Ты был самый высокий, широкоплечий. Ты помнишь Андрея Громова? Он был очень талантливый художник и прозаик. Как-то он устроил: «Вы тут, такие-сякие, сидите, смотрите, не знаю на кого… А рядом сидит гений!» А рядом стоял Геша. Рост у Геши – 1,98. А Громов – махонький, но в нем всегда какой-то петушиный задор был, что свойственно мужчинам маленького роста. Геша с высоты своих двух метров взял его и говорит: «Андрюша, ты что, а если я ударю тебя?»

М. Н.: Так вот, тут достаточно трудно уважения добиться. Я знаю несколько человек, без которых духовной наполненности города нельзя представить. Во-первых, это Ниаз Курамшевич Даутов. Доблесть города, обожавшего Даутова, надо ценить очень высоко: ведь он был нетрадиционной ориентации, а тогда это было просто невозможно, это было абсолютное табу. Он был тенором в нашем оперном театре. Человек с безупречным вкусом, очень любил город. Он был человек очень образованный, культурный, добрый и милосердный. Все знали его нестандартную ориентацию, но это ни для кого ничего не значило, ничего не решало. Многие его поклонницы умерли в старых девах, не встретив ничего равного.

Расскажу вам одну историю: одна была у меня знакомая, совсем не хороша собой, из нищей семьи, донашивала бабкину плюшевую кофту. Она была девочка начитанная, любила театр, искусство, но денег на билет у нее просто не было. Она приходила к театру – просто поприсутствовать. Он ее заметил. Подходит он к ней и говорит: «Пойдемте со мной!» И он провел ее в театр как свою знакомую. Он ей давал всякие книги читать.

Таких поступков на его совести было очень много. И при этом уважение к нему было пиететное, несмотря на всем известную подробность.

Был у меня один знакомый из Театра музкомедии, помню, как-то он обмолвился, что любит южный борщ. Это услышали его поклонницы, прибежали к моей маме (она была южанка, прекрасно готовила) и попросили ее, чтоб она сварила им этот борщ для него. И вот они этот борщ завернули в шубу и на санках ему отвезли.

У нас вообще одно время были очень хорошие театры. Маренич, например, из оперетты. Сейчас оперетта – какой-то пошлый жанр, а тогда – это жар, азарт, легкость – все то, чего не хватало в жизни.

Ю. К.: Люди ходили туда свободы набираться…

М. Н.: Это сейчас там все голые, а тогда все были одеты. У него прекрасное чувство юмора…

Ю. К.: У Маренича?

М. Н.: Да. А Константин Петрович Бруднов? Город был просто потрясен и смят. В то время цветов достать было нельзя, все цветы лежали у его ног. Но про него мы уже говорили.

Ю. К.: А Штоколов здесь был?

М. Н.: Да, был и пел. Тогда здесь было много хороших артистов, а сейчас человек чуть что – и сразу в Москву. Тогда ценилась красота, красивый голос. А сейчас без всего этого спокойно можно обойтись. А тогда, помню, здесь был такой Борис Федорович Ильин. Он мне сказал самый лучший комплимент в моей жизни. Я что-то говорила, он услышал: «Кто это говорит? Готовая Клеопатра! Больше ничего не надо – только голос!» Он был хорош собой: стать, прямая спина… И когда он играл «Таланты и поклонники», он считал, что должен выглядеть помоложе. На нем была надета белая то ли поддевка, то ли барчатка из тонкого сукна. Когда он говорил с матерью, он делал так *(показывает)*: стул разворачивал и садился к зрителям спиной и работал только голосом. Получалось здорово. Теперь никого не смущает ни отсутствие голоса, ни плохая дикция. Во всех театрах были артисты, которых любили и уважали, но никто никогда не занимал такого места, как Константин Петрович. У меня был один знакомый, который устроился работником сцены, для того чтобы видеть Константина Петровича чаще. Когда Ахматову спросили, видела ли она гения, она ответила, что видела, и гений этот – Ф. Шаляпин. Если б спросили меня, видела ли я гения, я б ответила, что это Константин Петрович Бруднов.

Ю. К.: А он здесь постоянно жил?

М. Н.: Да, он жил здесь постоянно. Вообще человеку гениальному жить безумно трудно, человеку красивому жить трудно. Я знала человека

такой немыслимой красоты, к которому никто не подходил. Что такое талант или гений? Представьте, он выходит на сцену, и там все хуже него. Это просто невыносимо. Я всю жизнь потрясалась, как жил Лермонтов? Как он учился в Школе гвардейских подпрапорщиков? Это просто невыносимо. Трудно быть богом.

Я познакомилась с Константином Петровичем, когда уже он далек был от сцены, когда его слава уже была позади. Когда я вошла в комнату, он стоял прямо под люстрой (не в углу где-то, не в кресле!), он как-то сделал так руку *(показывает)*, и показалось, что света стало больше.

Что делает гений в жизни? Он формирует пространство. Что делает Пушкин или Лев Толстой? Они формируют пространство. Каждый по-своему. Безумно любить Пастернака – такое же чье-то право, как любить Мандельштама или Евгения Онегина. Мне там тесно. *«Бессонница. Гомер. Тугие паруса. <…> Сей длинный перечень…»*[75] Ну это с ума можно сойти. Пастернак этого не делал никогда, он в этом просто не нуждался, он создавал воронку, которая должна тебя закрутить. Пространство, которое открывал Мандельштам одной строкой, необъятно для человека. Поэтому его многие не любят. Пространство и время – это одно и то же, есть места в мире, где это видно – Греция, Египет, Урал… Человек это делает одной строкой! Я очень гордилась собой, когда я додумалась вот до чего… История складывалась так, что римское все ушло в Европу: дороги, администрация, армия, цивилизация… А греческая духовность, которую римляне повторяли, копировали, вытаптывали, но ничего не могли с ней сделать… Любимый мой Аполлон *(на Юру похож!)*, где он идет… Такие у него там тяжелые ноги. Он не идет, а он уходит. Уходит, и больше его не будет. Греки умели это делать, а римляне нет.

Ю. К.: А что мешало? Цивилизованность?

М. Н.: Ну да. Мы явились естественным приютом и преемником по праву греческой духовности. Мне безумно нравилось их искусство, литература. Я считаю, что она и сейчас высочайшего уровня. *«В остром копье у меня замешен мой хлеб. И в копье же / Из-под Исмара вино. Пью, опершись на копье»*[76]. Невероятно хорошо! Когда я стала читать Мандельштама, он сплошь и рядом говорил об этом…

Ю. К.: Так, о Воловиче…

М. Н.: Еще Марк Николаевич Рыжков. Спросите горожан: Воловича и Брусиловского назовут все. А я еще называю Марка Николаевича. Марк состоял весь из доброты и милосердия. Это жутко трудно: его «потребля-

[75] О. Э. Мандельштам. «Бессонница. Гомер. Тугие паруса».

[76] Архилох. «В остром копье у меня…».

ли» все. Не все назовут и Г. С. Мосина. Я всегда его называю. Потому что в те времена Мосин и Брусиловский вместе работали, у них была общая мастерская, но картин Мосина мало в наших музеях, хотя его картины – это Урал. Урал рисуют узнаваемо далеко не все. Посмотрите, как иллюстрируют московские художники «Малахитовую шкатулку»! Какой-то обязательно златокудрый олень, люди в лаптях! Никто здесь никогда не ходил в лаптях. Посмотрите, какой у Мосина Данила-Мастер! Он весь как каменный, и глаза у него светятся, потому что он Хозяйку видел! Точно такой же Ермак: он стоит, как камень, и лодка плывет на фоне скал, и он будто из этих камней вышел. Здешним героем признается человек, который из этой земли вышел, и всякая измена земле человека автоматически изгоняла из этих списков. Мосин – художник, который это все отразил. Никто никогда этому никого не учил. Ни один из здешних художников не рисовал портрет Хозяйки, потому что нельзя. Это москвичи – спокойно, потому что они не знают всех этих реалий. Но Мосин и Волович рисуют так хорошо, потому что они здешние люди. Мосин вообще очень здешний человек: и по манере работать, и внешне. Но картин его я вижу мало. Умер он быстро. Рак. Тогда были Мосин и Брусиловский, они парой работали и прославились они парой: Мосин и Брусиловский. Весь город их знал. А теперь вот от этой пары остался Миша Шаевич. Хотя Мосина знать и помнить надо.

Ю. К.: Миша о нем очень хорошо говорит…

М. Н.: Что касается Миши, если представить все человечество как горные породы, то Миша – это чистое золото. Сложно говорить о Мише потому, что он в высшей степени добродетельный человек. Хотя сейчас это слово кажется смешным. Добродетельный человек – это человек, который не способен сделать недоброе дело. И при этом никто об этом не должен знать. И он с этим не носится, нисколько этим не гордится, он этого просто не замечает. Не могу привести примеров, потому что он сам об этом не говорит. Его отношению к жизни надо учиться. Сам Миша – человек киевский, не здешний. Он очень талантливый человек, он мог уехать отсюда давно, но он этого не сделал и не сделает, потому что эту «привязку» к земле он чувствует и уважает. Да, он ездил в Америку и оставил там все картины, но по причине крайне уважительной: потому что Геннадий Сидорович Мосин умер, не успев осуществить свою мечту – он хотел иметь свой иллюстрированный каталог, хорошо изданный. Миша сделал это для Мосина. Так он понимал дружеский долг: раз Геннадий Сидорович не успел это сам, то это сделал Миша Шаевич.

Ю. К.: А ты Эрика Неизвестного знала?

М. Н.: Нет, я его не знала. Но я дружна была с его родителями – с Беллой Абрамовной и Иосифом Моисеевичем. Весь чудовищный огонь, жар и пыл Эрика – это, конечно, Иосиф Моисеевич…

Закончу про Мишу. Даже одного этого примера достаточно. А он точно так же относился ко всем своим родственным, дружеским, приятельским и семейным отношениям. Не считаю себя вправе приводить примеры. Мне ужасно нравятся его отношения с этим городом: его здесь уважают и любят, и он никогда не пойдет на то, чтоб это обмануть и оскорбить. Что касается юмора и иронии (хотя я этого не люблю, мне кажется, что это возникает тогда, когда нет отваги и доблести на открытое чувство), но что касается Миши Шаевича, это совсем другое дело. Как-то идем мы по улице: Женя Евтушенко в какой-то шубе, с ворохом роз, Гера Дробиз, я и Миша Шаевич. На Мише надета какая-то куртка с кучей молний, мальчикового вида. И тут Гера говорит: «Миша, какая-то курточка на тебе сегодня модная!» И Миша говорит: «Курточка как курточка – носим потихоньку». *(Смеется.)* А у Миши дочь очень плохо училась, и как-то пришла к нему Белла Ахмадулина, он представляет ей свою семью, жену и, наконец, дочь: «А это дочь моя. Между прочим, круглая отличница!» А все прекрасно знают, как она учится *(Смеется.)* Фирменный юмор Миши Шаевича – это просто здорово.

Есть такая доблесть, которая сейчас не ценится, но я ее жутко высоко ценю: ценить то, что следует ценить, и не ценить то, что не следует ценить. А у нас сейчас ценить надо то, что объявлено престижным. Но ценить надо совсем не это: мать, бабушка, семья, надежность, верность, душевная чистота – это сейчас ни в грош не ставится. Сейчас мы живем в страшное время: ценности меняются на удобства. Тут Мишу не раскусишь. Только высокие ценности.

Вот случай: когда у Воловича умерла жена, Тамара, и он очень переживал и мучился, помог ему Миша… Есть у него какой-то градус тепла… Вот утром Виталий Михайлович встает, идет к Мише – кофе пить.

Ю. К.: То есть вытащил его Миша?

М. Н.: Нет, Виталий Михайлович сам очень сильный человек. Но какое-то время они просто не расставались. Понимаете, когда человек талантливый, ему прощается масса вещей. Например, чудовищный, немыслимый, клинический эгоцентризм Пастернака мы считаем нормальным: это ему очень идет, это его манера жить, так появляется его талант. Найдите мне у Миши Шаевича, талантливого человека, не то что эгоцентризм, а хотя бы какой-то эгоизм на том уровне, который был бы заметен посторонним глазом. Не просечете.

Ю. К.: Еще Леша Решетов такой был.

М. Н.: Леша Решетов был несколько другого типа человек. Но не будем о Леше. Это разные сферы проявления. Что касается Виталия Михайловича, я его очень люблю, знаю много лет. Все, что я сказала о Брусиловском, можно сказать и о Воловиче. Ибо он человек совершенно надежный, серьезный, обстоятельный, полный доброжелательности. Когда я прочла у Быкова, что у Пастернака была трагическая жизнь, я просто упала: какая трагическая?!

Ю. К.: Да-да! И при этом рядом был Мандельштам, Ахматова…

М. Н.: Он выдавал своей семье 10 тысяч в месяц на житье, я получала примерно 750 рублей. Все учителя, литераторы, музейщики – все его читатели – все получали 600–700. Дело даже не в деньгах. Квартира, любимые женщины, все сбывшиеся и счастливые любови, окружен всегда вниманием и почитанием…

Я вам рассказывала, как одна моя товарка, всю жизнь ему сострадающая и считающая его мучеником, пошла поклониться его праху. Идет и спрашивает у кого-то: «Где здесь дача Пастернака?» Ей отвечают: «Вы вдоль его дачи идете». Никакой трагической жизни. Что у него, что у Бродского. Я категорически не могу признать серьезной жизненною неприятностью непечатание. Это неприятность?! Значит, ты сильно самолюбивый человек, если для тебя это неприятности.

Ю. К.: Это литераторы же… И Бродский, и Пастернак были талантливыми поэтами, но и могучими литераторами, которые выстраивали свою карьеру. Зачем он написал «1905 год»? А «Лейтенанта Шмидта»? Быков объясняет это тем, что Пастернак вдруг влюбился в Шмидта… Нельзя влюбляться в смерть, в ужас.

М. Н.: Не за что влюбиться в Шмидта! Нельзя влюбиться в такого человека.

Ю. К.: Вот еще о Виталии Воловиче… Помнишь, Рина приезжала? Я там выступал, что-то говорил о городе… Пару недель назад заходит ко мне Волович и говорит: «Вы так хорошо говорили о Екатеринбурге!» Великий художник пришел к какому-то там стихотворцу…

М. Н.: Юра, не кокетничай! Это тебе не идет!

Ю. К.: Я не кокетничаю. Я говорю правду. Я просто был потрясен: художник пришел сказать, что я хорошо сказал о городе, подарил альбом о Екатеринбурге исчезающем…

М. Н.: Почему я заговорила о «трагической» жизни Пастернака. У Виталия Михайловича действительно очень тяжелая жизнь. Отрочество и юность его, когда мать его приезжает сюда, война, голод, всего не хватает, туберкулез…

Ю. К.: Они эвакуированные были?

М. Н.: Я вам скажу, только это не записывайте. <…>

Это его Тамара поднимала и вытаскивала из этого туберкулеза. Представь, что было в то время: надеть было нечего, есть нечего… Вот уж этого Пастернак не знал. Тут появилась Тамара, которая его очень любила, была ему очень преданна, она его вытащила и спасла от этого туберкулеза. Она была совершенно здешняя, и у нее в родне даже были старатели, которые здесь золото добывали. Он к этой земле, с которой все это пережил, относится поразительно. И город это ценит. То, что он сделал для города, переоценить невозможно, ибо старый Екатеринбург сохранился только на картинах Воловича. Он уже просто возле бульдозеров стоял, рисуя эти последние домики и воротца.

Было тут несколько смешных случаев. Холодно как-то было, он рисует дом под снос на улице Куйбышева, идет бедная старушка и снизу вверх заглядывает к нему и говорит: «Похоже». *(Смеется.)* Рисует он как-то камни на Чусовой и черное небо. А возле него ходит какой-то мужичошка, крякает у него за спиной, очень хочет включиться в процесс, но стесняется. И, наконец, не выдержав, говорит ему: «Ты что?! Небо-то ведь… еще синее». *(Общий смех.)* Виталий Михайлович – человек очень душевный, добрый, и он говорит: «Ну ты понимаешь, у меня синей краски нет…»

В плане чисто человеческих показателей, про него можно сказать то же, что и про Мишу. А еще вот чем он меня поражает: испокон веков считалось, что если я очень хорошо воспитанный человек, ты не знаешь, плохой у меня характер или хороший. Если ты про меня знаешь, что я обидчива, да отходчива, значит, я плохо воспитанный человек.

Что касается Воловича, я всю жизнь поражаюсь: более идеально воспитанного человека просто нет. Хотя он вовсе не шелковый и способен до последнего отстаивать свою точку зрения до совершенно героических проявлений. Например, когда мы два года назад принялись спасать город от разрушения, он как раз в это время сломал позвоночник и лежал в больнице. Я с ним говорила по телефону и сказала ему: «Ни в коем случае не появляйся в мэрии. Это нервно и так далее». Он сказал: «Нет, я приду». И вот он является в мэрию в корсете, на костыле, лицо желтое, щеки запали… Поначалу, когда я посмотрела расстановку сил, установка была такая, что всех нас сейчас подавят как клопов. И тут встает Виталий Михайлович: «Вся жизнь моя связана с этим городом. Я его люблю, я в нем служу. Я заявляю вам, господа, это недостойно и стыдно!..» Направление той беседы его явлением было переломлено.

Ю. К.: А потом мэр всех косвенно обозвал дураками. Все выступали против постройки второй башни, а он сказал: «Недостроенный объект

нельзя показывать ни женщинам, ни дуракам». На этом его речь закончилась.

М. Н.: Их аргументы были какие? Мы, мол, не архитекторы и не строители. А город разве строится для архитекторов и строителей? Найдите тогда чистое поле и стройте там…

Ю. К.: Ну, его же еще искать нужно…

М. Н.: Сразу скажу, я никогда не видела проявления антисемитизма. Вообще все расовые предрассудки категорически не свойственны русским. Они, наоборот, со всеми роднятся, братаются. Конечно, у нас есть такое, что мы самые-самые-самые, но это вовсе не то, с чем англичане шли в Индию, или с чем немцы шли покорять в Европу. Ничего подобного. Все говорят: империя, империя… Я ничего не вижу страшного в Российской Империи, напротив, я ничего не видела равного. Очень бы хотелось посмотреть, что бы там получилось с империей Александра Македонского. Ничего подобного Российской Империи никогда не бывало.

Ю. К.: Да и в советское время…

М. Н.: Когда я приехала в Армению, я в магазин стеснялась зайти… Когда я увидела 17 вариантов джинсовых костюмов, когда у нас тут год надо было копить… В Грузии я увидела впервые 7 сортов творога. А раньше я думала, что творог это и есть творог… Я даже не знала, как о нем спросить. Можно подумать, никто никогда этого не видел!

Что касается еврейских погромов, это не было проявлением антисемитизма русского народа, это была предреволюционная горячка. Тогда людей раскручивали со всех сторон, и воздух был наэлектризован до такой степени, что правильно сказал Мандельштам: молодежь рвалась в террористы, как Петя Ростов на Бородинское поле.

Сейчас я читаю мемуары Беллы Абрамовны[77], как они тут ютились в хрущевке… У них была очень хорошая квартира: квартира была в одном из лучших в городе домов, на Якова Свердлова: высокие потолки, просторные комнаты. Я не могу утверждать, что это сделала сама Белла Абрамовна… Ее передвижение в Америку… Я ее знаю очень хорошо: она была движима только одним – она безумно любила Эрика. Она получила на него две похоронки! К его чести надо сказать, что он не хотел уезжать. Он уехал только тогда, когда ему Хрущев пообещал, что у него 25 лет не будет заказов. Уехал он не ради славы и денег, он был выше этих соображений. Славы ему и тут хватало. Для Беллы Абрамовны объяснение вот такое для меня. Когда мы учились в школе, еврейский вопрос выглядел так: одна девочка приходит и говорит: «А вы знаете, девочки, а у Васи

[77] Белла Абрамовна Дижур – мать Эрнста Неизвестного.

папа еврей!» Для нас было одно и то же: еврей, бухгалтер, военный. Мы ничего подобного никогда не знали.

Ю. К.: Но была же терминология *нацмен*. Я не слышал, чтобы слово *нацмен* произносилось пренебрежительно. Это я говорю о деревнях, о поселках рабочих.

М. Н.: Никакого негатива в этом нет. Позиция Беллы Абрамовны и Иосифа Моисеевича была такая: мы здесь живем, с этими людьми, их законы – наши законы. И пока был Иосиф Моисеевич жив, вопроса такого не стояло. Что касается их гениального сына, на лицо он был похож на Беллу Абрамовну, но что касается мотора, энергии – Иосиф Моисеевич. Но с Эрнстом я никогда не была знакома. Я вообще никогда не ищу знакомств. Кого надо, тот сам придет. Жить надо естественно.

Ю. К.: Вот недавно фильм был документальный по каналу «Культура», показывали Эрнста в Нью-Йорке. Как он о России говорил!

М. Н.: Огромные мастерские при советской власти – плевое дело. Хотя просчет был огромный, ибо в чем нуждался тот режим, так это в монументальном искусстве.

ВЕЧЕР ДЕВЯТЫЙ

Ю. К.: Майя, итак, люди Екатеринбурга.

М. Н.: Екатеринбург невозможен без Павла Петровича Бажова. Как Питер невозможен без Блока, Достоевского.

Ю. К.: Ты видела Бажова?

М. Н.: Нет, я была маленькая девочка. Хотя я его видела много раз: каждый день он ходил, вдоль Железновского дома, шел к Чапаева через Царский мост, под нашими окнами он проходил. Но знакома я с ним быть не могла, потому что я была маленькая девочка. Есть люди, которым, например, очень обязана Москва. «*Москва, Москва!.. люблю тебя как сын, / Как русский, – сильно, пламенно и нежно!*»[78] Никто не сделал для этого места больше, чем Бажов. Бажов сделал для Урала то, что Гомер сделал для Греции. Еще одно он успел: если б он сделал это в войну, три года оставалось, это бы уже не было услышано. Успел – Бог не фраер! Почему он это сделал?.. Если б не умер его сын, может быть, он этого бы и не сделал… Коренная тайна передается в последний час человеку, на которого ты всецело надеешься и который эту коренную тайну не уронит и понесет дальше. У него два сына умерли во младенчестве. Остался последний. Мальчику 16 лет. Странной смертью умирает. Он ездил на практику с мальчиками из техникума. Они стояли на перроне, и что-то взорвалось: с одного мальчика даже пуговка не отлетела, а этот – в клочки. И тут Бажов понимает, что коренная тайна остается при нем.

Ю. К.: Что такое коренная тайна?

М. Н.: Это сказано про уральских мастеров. Очень много коренных тайн уходит, когда у мастера нет достойного преемника, равного ему. Точно по такому принципу работали все бабки, здравницы, знахарки. Мужчина передает мужчине, женщина – женщине. Желательно человеку знающему, надежному, нравственному, который не пустит эту тайну на деньги. Если такого человека нет, то очень много этих тайн ремесла ухо-

[78] М. Ю. Лермонтов. «Москва, Москва!.. люблю тебя как сын…».

дит. Эта тайна – самое главное, это опора твоей жизни и твоего мастерства. И когда Алеша погиб, семья голодала, картошкой жили: и он, копая грядку, проговаривает это все про себя, потому что материал он собирал и записывал еще с младых ногтей, но тетрадки пропали в Гражданскую войну. Он прожил жизнь для того, чтоб в конце жизни положить «Малахитовую шкатулку». Он очень хотел получить хорошее образование университетское, но денег не было. А после духовной семинарии ему было предложено бесплатное образование в Духовной академии. Там очень хорошее образование. И он отказался. И после объяснил почему: в сказе не должно быть религиозных мотивов. Он совершенно прав.

Он – водолей, а водолеи в отличие от «чашу эту мимо пронеси», как раз наоборот – нарываются. Сама знаю, сама такая. Хватало ума у нас с моим одним обожаемым человеком бегать по тоннелю в Крыму – а там не спрячешься. Однажды мы выбежали из него – и поезд идет. В минуте! И у Павла Петровича: революционные искания, эсеры, партизаны – что только с ним не было! Он все это попробовал. Он и писал очень много, но как человек совершенно честный говорил, что это не писательская работа, что писал это по заданию.

Ю. К.: Интересно, он написал только одну вещь – «Малахитовую шкатулку», и все.

М. Н.: Много он чего написал. Как-то зашла речь издать всего Бажова, но зачем?!

Ю. К.: Так же как и двадцатитомник Мамина-Сибиряка не нужен.

М. Н.: В его жизни, в отличие от жизни Пастернака, чистейших, первостатейных бед было полно.

Е. Д.: А у них детей больше не было?

М. Н.: Были дочери! А Егор-то Тимурович Гайдар не его ли внук? И когда Алеша умер, он стал писать, чтобы избыть эту боль. Так он сам объяснял. Но, вообще-то, он написал потому, что времени больше не было: сына нет, сам он старый, время подпирало. Когда была издана «Малахитовая шкатулка», Урал уже был флагманом социалистической индустрии, уже появились танковые заводы и лагеря. Если Павел Петрович Бажов явился в жизнь, для того чтоб вернуть нам нашу историческую память, это была последняя минута. Услышали все. Урал – лагерный край, край заводов – все склонились к Бажову.

Ю. К.: А может, так и сложилось с эвакуацией, благодаря «Шкатулке»? Могли ведь и в другое место эвакуировать?

М. Н.: Вопрос об эвакуации первый раз встал в Первую мировую войну. Тогда решили, что это трудно технологически, жутко дорого и – самое главное – профильный завод может быть подсоединен только к про-

фильному заводу. И когда у нас построили Магнитку, Вагонку, Уралмаш, Эльмаш, все заводы к ним и подсоединились. Надо сказать, что это заслуга партии ВКП(б). Это жуткий труд: все это демонтировать и перевозить. Были случаи, когда станки ставили в снег, на ветках – лампочки, и при минус тридцати градусах точили снаряды.

Обратите внимание, сказы не все хорошие. Есть слабые. Но главный корпус текстов – в самое время. Когда тут уже стали делать танки, и отсюда люди пошли добровольцами на фронт, это были люди, поверившие в то, что они со своей земли, которая старше египетских царей…

Ю. К.: Это сердце России, получается… Вот Бажов – гений. И Пушкин – гений. В чем разница?

М. Н.: Они выполнили совершенно разную работу. Они пришли в жизнь с совершенно разными миссиями. Вот одна фраза Бажова, которую я, по-моему, первая процитировала: *«Природа Урала имеет свой богатый и красочный язык. Это язык русской Илиады»*[79]. Он знал, что он делает! Урал – это угры и арии. Это жутко древний регион. И он понял все абсолютно правильно. До тех пор, пока земельные богатства под нами есть, будет жива идея мастерства. А пока будет жива идея мастерства, все будет услышано. Закон уральского мастера был такой: не деньги заработать, не славу обрести, а показать красоту и могущество камня. Фантастика – сделать Каслинский павильон. Он не был выставлен в номинации «Художественное искусство», нет – «Металлургическая промышленность». Когда его привезли из Парижа, где он сорвал всеобщие аплодисменты и золотую медаль, его же выбросили… Вокруг него 20 лет лопух и крапива росли. Считалось так: поскольку мастерство есть, снова наклепаем. Бажов успел, но при последнем выдохе, сейчас никто бы не услышал «Малахитовую шкатулку». Когда я написала «Камень. Пещера. Гора», мне пришло письмо от одной женщины, в котором она пишет: «Я всю жизнь жила для того, чтобы дождаться того, что кто-то об этом скажет». Значит, не одна я знала. Всегда ведь как трактовалось? Абсолютно в социальном плане: униженные рабочие, которые, несмотря на ужасы крепостного права… Там в помине этого нет.

Ю. К.: По своей воле шли туда.

---

[79] Фраза эта процитирована Майей Никулиной в ее эссе «На вечном камне» (журнал «Урал». 2004. № 9): «Писатель Ф. Гладков вспоминает момент встречи Павла Петровича Бажова с горой и камнем. Гладков оставался в машине на дороге и описал происходящее с надлежащим пафосом и снисходительной иронией столичного человека: дикий хаос, обвалы скал и камней, “жуткие в своей загадочности и первобытные нагромождения” и т. д. Вопрос его, обращенный к Бажову, тоже был несколько ироничным: “Что вещает Вам Хозяйка гор?” Ответ был предельно серьезным: “Природа Урала имеет свой богатый и красочный язык. Это язык нашей русской Илиады”».

М. Н.: Гора держит. Мастерство держит. Про Данилу-то мастера вспомните! Там же все сказано. Мастер «*оброк Данилушке назначил пустяковый*…»[80], а времени – делай сколько хочешь. Черным по белому написано. Он хотел сделать из камня живое. Там, конечно, есть и барысамодуры, но это знак времени. Каждое время по-своему жестоко. Это характеристика времени. А Степан Петрович?[81] Откупился, из крепости вышел, жена вольная, дети вольные, и сын – снова мастер. Хозяйка вовсе не помогает рабочим, потому что они бедные, несчастные. Там, наоборот, есть рабочие, которые дрянные люди. Наоборот, они наказаны. Человек-мастер – человек здешний, человек, который понимает суть взаимоотношений человек – гора, таким она помогает по причине уважительной: она персона вечная, ее роман с камнем длится в вечности. Поэтому герои ее живут в разное время. Главный закон взаимоотношений человек – гора, который сформулирован у Бажова: никакого счастья человеку отдельно от земли и горы не будет. Все мастера у Бажова выписаны гениально. Они заинтересованы только в одном: мы с вами уже говорили о том, что такое счастливая вечная любовь, – я хочу только одного, чтоб она длилась, я хочу видеть тебя всегда. Не личного счастья, не благосостояния. Герой смертен, в связи с этим появляется другой герой, носитель и охранник этой мудрости. В советские времена это все держалось, потому что у него ведь сказы на все времена. Какая разница, какая власть – помещики, царь, советская власть… И про нынешние времена у него сказано: денежка-то хуже барской плетки.

Ю. К.: Это же метафора, да? Малахитовая шкатулка… Это может работать как метафора: я в гору не иду, но я в другой горе работаю.

М. Н.: Это может работать так, может и не так. Вот если как Вознесенский считать, что метафора – натурформа, то это будет так…

Ю. К.: Я имею в виду, что этот закон распространяется не только на горное дело, но и на отношения тебя и языка, тебя и философии и так далее.

М. Н.: Во всех предисловиях к «Малахитовой шкатулке» пишется, что малахитовая шкатулка – изделие уральских мастеров. С меня шкура слазила, когда я читала эти предисловия. Малахитовую шкатулку вынесла Хозяйка Медной горы, а сама шкатулка сделана горными мастерами, которых никогда никто не видел. Ни один живой мастер не брался даже исправить что-то. Это не нами делано. Вы обратили внимание, что у юве-

[80] П. П. Бажов. «Каменный цветок».

[81] Герой сказа П. П. Бажова «Медной горы Хозяйка».

лиров есть такой закон: никогда не поправлять чужое. Это уважение к чужой работе…

Ю. К.: И со стихами также. Видишь свои ранние стихи и не можешь их поправить…

М. Н.: Да-а-а…

Ю. К.: А Пастернак поправил бы! *(Смеется.)*

М. Н.: Если взять уровень эгоизма по десятибалльной системе, то у Пастернака, конечно, будет десять. Мандельштам, по сравнению с Пастернаком, вообще о себе не думал, альтруист. Иначе быть не могло, поскольку те немыслимые пространства, которые волновали Мандельштама, не позволяли ему относиться к себе как к величине первозначимой. А у Пастернака – да. В сущности, у него много стихов, где вообще ни о чем не говорится, только его реакция. Но этот азарт накрутки читателя держит зверски. Пастернак очень заразный. И когда люди читают его, они начинают раскручивать так же. А вот Мандельштам нет. Маяковский заразный. Вознесенский заразный.

Ю. К.: Вознесенский же прямой ученик Пастернака. Это мне Витя Смирнов сказал, когда мы еще студентами были.

М. Н.: Пастернак лучше в таком случае.

Ю. К.: Конечно! Пастернак – поэт.

М. Н.: Когда он эту воронку начинает раскручивать, она же тебя втягивает.

Ю. К.: Павел Петрович понимал, что он сделал?

М. Н.: Да. Вне всякого сомнения.

Ю. К. Насколько я знаю, Павел Петрович не очень заботился о своей литературной судьбе?

М. Н.: Нет. Он вообще считал, что не важно, будет напечатано или нет. Он надеялся на то, что, может, услышит кто. Мне кажется, он понимал с самого начала, что он сделал. То, что о нем написано, недостаточно. Скажем, его отношение к фольклору – он всегда искал интересного собеседника… Молва… Средоточие живого фольклора.

Ю. К.: То есть получается: язык, идея и форма шкатулки? То есть книга-шкатулка? Гениально получается…

М. Н.: Чем я больше над ним думаю, тем он мне больше нравится. И еще одно: он оставил образец того, как надо жить. Я не знаю равного примера. В этом смысле еще мне кажется очень поучительным и прекрасным пример Пушкина: его отношение к жене, к родителям. Всем ведь известно, что Надежда Осиповна его не любила, но он-то! Он всегда к ней нежно и почтительно относился. А как он бросился устраивать эти дела: они не были бедные, просто хозяйство было запущено, и он сам, ничего

в этом не понимая, бросился это устраивать. И что касается его отношения к людям, которых он считал своими друзьями, – это потрясающе.

Ю. К.: Майя, а ты когда-нибудь думала о своей литературной судьбе?

М. Н.: А у меня нет никакой литературной судьбы. Какая у меня может быть литературная судьба, если мне все равно – печатают меня или нет, издают или нет.

Ю. К.: Но у тебя же книги есть, в Союзе ты…

М. Н.: Я тебе расскажу, почему я в Союз вступила. Никогда бы я не пошла. У меня мама болела, у нее была опухоль мозга, она ослепла и 15 лет жила слепая. Она очень переживала и мучилась, всегда говорила: «Что я сделала с твоей жизнью?..» Очень это ее печалило. Она понимала, что у меня было сколько угодно вариантов в Москве… Она понимала, что я могла в любой момент решить все иначе. И только для того, чтоб она успокоилась (а для нее это что-то значило), я вступила в Союз. Это первое. А второе: оказалось, что это много значит для моей дочери Марии. У меня нет самолюбия, тщеславия, честолюбия даже в зародыше. Это плохо. Оно должно быть хоть в какой-то мере. А у меня ни в какой мере этого нет. Я имею на это серьезные объяснения. Но это ужасно хорошо, что у меня их нет. Если б у меня это было, жизнь моя превратилась бы в каторгу. Это прекрасно. Это Бог меня наградил. Мама же видела, что сестра моя и брат живут гораздо лучше, чем я… Это что-то значило для мамы, что-то значило для Маши, вот потому я вступила в Союз.

Ю. К.: Ну а Борис, Ирина? Они помогали тебе?

М. Н.: Ты знаешь, я никогда ничего плохого не скажу про своих братьев и сестер. Но человек, который живет на 1000 долларов в месяц, не может понять человека, который живет на 1000 рублей. Как говорил Гена Шнайдер: «Для того чтобы бы понять дельфина, Майя, надо быть дельфином». Совершенно точно. Но я никогда не жалуюсь на свою судьбу.

Ю. К.: Помимо твоего безволия в смысле карьеризма, у тебя же сложилась судьба очень серьезная литературная, общественная. Тебя же в городе все знают.

М. Н.: Но я ничего для этого не делала…

Ю. К.: Давайте о музыке.

М. Н.: О музыке со мной нельзя говорить. Это не для меня совершенно. С музыкой у меня так: как-то говорили, что есть какая-то хорошая песня из «Титаника», я у Гриши спрашиваю: «Гриша, а где там песня была?» «Титаник» – плохой фильм, но там есть одна классная вещь: корабль как тело! Его гибель и содрогания!.. А остальное – драматические

слюни, сопли, голливудская чушь. Но гибель этого огромного тела!.. Рядом с этим я, конечно, никакой песни не слышу.

Ю. К.: Но в стихах же у тебя есть Моцарт, Шуберт…

М. Н.: Я их слышала всех, конечно. Вот у кого роман с музыкой был, так это у Пастернака. Единственное, что я люблю – это русские народные песни в самом кондовом исполнении.

Ю. К.: Я помню, как ты раньше, 30 лет назад, рассказывала о Моцарте!.. Я помню, мы слушали музыку.

М. Н.: Ну конечно, я же не могу отвергать то, чего я не знаю. Это уж предельная невоспитанность. Поэтому я ее слушала, естественно. Есть такая точка зрения, что музыка лучше слова. На мой ум, музыка не лучше слова. Ничего предельнее слова нет.

Ю. К.: В поэзии музыка есть только составляющая, компонент…

М. Н.: Там же своя музыка…

Ю. К.: У Мандельштама есть самая настоящая музыка в стихах. Стоит только почитать его вслух для себя: понижения, повышения, контрапункты – там все есть. У Баратынского есть музыка. А у Заболоцкого музыки нет.

М. Н.: Когда говорят: «У вас такие хорошие стихи, что их хочется спеть», – это ужасная ругня! Это самые плохие стихи.

Ю. К.: А твои стихи когда-нибудь пели?

М. Н.: Ну, Леня-то Ваксман! Ты забыл, что ли?

Ю. К.: Леня сам поэт…

М. Н.: Да, у него есть несколько великолепных стихов.

Ю. К.: Перейдем на кино?

М. Н.: На мой ум, есть два категорически разведенных полюса – поэзия и актерство. Ничего более враждебного нет. Это два совершенно разных полюса, они никогда не поймут друг друга. Поэтому артисты всегда очень плохо читают стихи. Что касается кино, в былые времена мы смотрели абсолютно все, что выходило. Самое первое наше кино – это были трофейные фильмы, которые сыграли очень большую роль в нашем мировоззрении. В совершенно разоренной, нищей стране на нас обрушиваются кружева, шляпы, страусовые перья, безумные романы, коляски, кареты… Мы эти фильмы смотрели по раз 10–15. С одной стороны, это явление восполняло дыру полного отсутствия не то что красоты, но достатка. Мы же были глобально нищие. А с другой стороны, то, что это неправда, несерьезно, мы понимали. Все трофейные фильмы никогда не вызывали восторга: «Ах, какая там красота!» Отстраненность, нездешность, то, что это не наше, – это понималось. Но все это смотрели, и это было даже хорошо, потому что уровень полной неимущности нашей был

просто невероятен. Получается так, что у нас с раннего детства была привычка смотреть подряд все кино. Подряд все кино и смотрели. Это же было очень дешево: утренний сеанс стоил 10 копеек. Сейчас говорят, что это идеологическая обработка… Мол, показывают вам «Кубанские казаки», когда наши нищие колхозники, без паспорта… «Кубанские казаки» и смотрели все как сказку. «Сказание о земле Сибирской» – это тоже смотрели как сказку. С другой стороны, среди советских фильмов были шедевры.

Ю. К.: Мы даже считали с Леной Дуреко. Мы взяли Тарковского «Зеркало», «Андрей Рублев», у Михалкова мы взяли «Неоконченная пьеса для механического пианино», мы взяли Козинцева «Гамлет», взяли «Летят журавли», «Судьбу человека»…

М. Н.: Я могу добавить: «Весна на Заречной улице» про чисто человеческие отношения, про то, что человек склоняется к общечеловеческим ценностям и в этом он прав остается. Еще я должна сказать про советское кино вот что: в советском кино были очень красивые люди: Сергей Столяров, Дружников, Ливанов, Бабочкин – просто высокопробные красавцы! Сейчас лица тех, кто снимается в сериалах, невозможно запомнить. Тамара Макарова была красивая женщина.

И еще, что было интересного в советском кино: за жизнью актеров мы следили. И в этом отслеживании мы как зрители всегда были на стороне высоких человеческих ценностей. И в романе Пырьев – Ладынина[82], все были на стороне Ладыниной… Это было очень важно. Это сейчас: пожалуйста, выходит и голой задницей машет. Ему можно, он особое место занимает! А раньше было не так: он занимает особое место, поэтому ему нельзя! Я помню, мы с Аркашей очень любили смотреть плохие картины. Если смотреть их постоянно, это жутко поучительно.

Людей, которые учатся в киноинституте, я бы заставляла сотнями смотреть плохие картины. В некоторых плохих картинах есть такие загубленные идеи, такие возможности!.. И еще я целиком просмотрела «Рабыню Изауру». *(Общий смех.)* Мы все ждали, сколько серий это все продлится. Меня поражает, почему кинокритики до сих пор не напишут об этом серьезное исследование: почему весь мир, как безумный, кинулся смотреть эту ерунду, почему всех стало привлекать это растянутое время, немыслимые ситуации, ходульные люди?! Почему никто не займется этим феноменальным явлением?!

---

[82] Ладынина Марина Алексеевна – советская актриса театра и кино; Иван Александрович Пырьев – советский кинорежиссер. В 1936 году Иван Пырьев и Марина Ладынина вступили в брак, который просуществовал до 1954 года.

Ю. К.: Может, это был образец первого в истории России иноземного бескультурья? Так же как вот вышел сейчас «Прожекторпэрисхилтон»: я посмотрел первые выпуски, больше не могу.

М. Н.: Что касается иноземного бескультурья, три четверти телеканалов демонстрируют нам цветущее иноземное бескультурье.

Ю. К.: И нам это нравится.

М. Н.: Ну мне не нравится… Но людям нравится.

Ю. К.: Но мы не люди.

М. Н.: Вот «Иваново детство» – очень хорошо. Обычно кино получается хуже, чем литературное произведение. А вот в этом случае кино лучше!

Ю. К.: Я еще один случай знаю, когда кино лучше, чем произведение. «Собачье сердце» Булгакова. Читать невозможно. Помнишь, «Дьяволиада», «Записки на манжетах» – скучно.

М. Н.: Экранизация – это очень сложная работа. Скажем, даже «Дама с собачкой», которая уже считается классикой, хороша тем, что мы все любим Баталова[83]. То, что мы вычитываем из произведения: деревья, туманы, травы – все это выпускается. Получается жутко обидная недостаточность. Как-то я видела фильм – экранизация рассказов Бунина (режиссера не знаю, ночью показывали). Я досматривала стоя! Там очень много природы: с дождями, с ветками, стучащими в окно, струи воды, запотевшие окна. Кажется, когда это показывают, просто растягивают время, но на самом деле оно размещается на должном пространстве. Очень интересно с «Войной и миром»: у них другой менталитет, им непонятно, зачем князю Андрею этот дуб, никому никогда не понадобился дуб. Но мы же без него не можем! Это главное для нас, поскольку наша вписанность в природное пространство другая.

Ю. К.: Когда я был в Индии, я учил английский таким образом: я взял «Улисса», взял словари и прочитал всего Джойса на английском. Решил пойти тем же путем с индийскими студентами: взял «Войну и мир» и начал с ними читать. Вот доходим до фрагмента, когда Андрей остановился у дуба и стал с ним мысленно говорить. Индийская аудитория ржала. Они не понимают, как это человек разговаривает с дубом. Зачем? Европейцам тоже надо объяснять, зачем князь, богатейший человек, разговаривает с дубом, когда он должен заниматься чем-то другим. Ну, хотя бы богатство свое сохранять.

М. Н.: Что делают наши богатейшие люди… Никто никогда не умел так быть богатыми, как русские. Мне безумно нравится пример Михаила

[83] Баталов Алексей Владимирович – советский и российский актер.

Семеновича Воронцова[84]: она [Елизавета Ксаверьевна Воронцова[85]] – богатейшая невеста, за ней деньги Потемкина, за ним – ни единого гроша, но он самый престижный жених. Почему? Корпус кавалерийский в Париже – по бабам и так далее: поистратились, в долгах, лошадей продали. Он всех садит на новых лошадей, на всех надевает новые мундиры и без единой копейки возвращается в Россию. Эту штучку всегда надо рассказывать, когда мы говорим об Александре Сергеевиче Пушкине и его романе с Елизаветой Ксаверьевной. Воронцов никогда не падал до ревности к Пушкину! Ему и в голову это не приходило. И в ответ на это Александр Сергеевич пишет: «Полу-милорд, полу-купец…»[86], а мы верим Пушкину, потому что это наше все.

Ю. К.: А этот миф о том, что Елизавета потом родит девочку от Пушкина, это правда? Девочка черненькая была…

М. Н.: Да, роман у них был. Я всегда говорю, что неприлично и нехорошо не любить Пушкина, если он тебя любит! Это безнравственно, это неправильно. У Пушкина было четыре романа – одновременно! И Амалия Ризнич[87], и Каролина Собаньская[88] – демон его. Перед свадьбой с Натальей Николаевной он пишет письмо Собаньской: «Я живу только для того, чтобы упасть к Вашим ногам и сдохнуть от блаженства». Это просто невероятно. Он их навещал каждый день. Пушкину надо поставить памятник! Товарищи, это наше все! Ведь он не мог от одной к другой просто так – надо было прийти домой, переодеться, умыться… Титан! Что касается девочки Сони, Михаил Семенович обожал ее. Портрет девочки всегда висел у него в кабинете. Что касается того, что черненькая…

---

[84] Воронцов Михаил Семенович (1782–1856) – российский государственный деятель, граф, с 1845 года светлейший князь, генерал-фельдмаршал, генерал-адъютант; почетный член Императорской Санкт-Петербургской академии наук (1826); новороссийский и бессарабский генерал-губернатор (1823–1844).

[85] Воронцова Елизавета Ксаверьевна (1792–1880) – светлейшая княгиня, статс-дама, почетная попечительница при управлении женскими учебными заведениями, фрейлина, кавалерственная дама ордена св. Екатерины; адресат многих стихов А. С. Пушкина; жена Новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова, сестра генерал-майора графа В. Г. Браницкого.

[86] А. С. Пушкин «Полу-милорд, полу-купец…».

[87] Ризнич Амалия (1803–1825) – первая жена одесского негоцианта сербского происхождения Ивана Ризнича, с весны 1823 г. по май 1824 г. проживавшая в Одессе. В первый период южной ссылки Пушкина была предметом его пылкой и мучительной страсти, адресат нескольких его стихотворений.

[88] Собаньская Каролина Адамовна (1794–1885) – графиня, дочь киевского губернского предводителя дворянства, жена генерала И. О. Витта.

Я портрет ее прекрасно помню. Я в Воронцовском дворце много времени провела. Дворцы сильно, товарищи, пообобрали.

Ю. К.: Хохлы?

М. Н.: Не знаю, кто. Но пообобрали сильно. Там были вещи уникальные: был там сделанный по личной просьбе Феликса Юсупова[89] сервиз, он был не обливной, а хрупкий, матовый. Я все приходила посмотреть на него. Так что портрет Сони помню очень хорошо. С другой стороны, Елизавета Ксаверьевна сама его выбрала. Он был достойной парой. Михаил Семенович – был человек во многих отношениях замечательный: работяга чудовищный, администратор хороший. У него, на мой ум, была одна слабость, которая его не украшала: почему-то он, имея такие достоинства, имел еще и желание стать военачальником.

Ю. К.: О театре мы не будем говорить?

М. Н.: Тогда вообще было принято смотреть все городские премьеры. Но тогда это не было сферой развлечения. Это было сферой культуры. Как вспомню, как в лютые холода носили туфли в газетке! А сейчас в театр – в сапогах и в джинсах.

Ю. К.: Осталось у нас два разговора – о прозе вообще и о тебе, о твоих книгах. Но ты о себе не любишь…

М. Н.: Я собой в своей жизни занималась чрезвычайно мало. У меня на себя времени никогда не было. Если б не стихи, я бы прожила, не имея о себе никакого представления. Я поняла, что «да, это я!» в Севастополе. Про Севастополь и про всю мою родню всегда говорили только мне. Это мы с мамой нашли всех наших потерянных родственников.

Ю. К.: А как в семье относились к твоим стихам?

М. Н.: Юра, ты мне задаешь вопрос, на который сам знаешь ответ. Отец относился очень ревностно. Отец вообще считал, что я человек очень умный и способный.

Ю. К.: А какое было отношение к твоему писательству?

М. Н.: Никто никогда этого не видел. Этого факта не было. Отец, правда, пробовал это собирать, но я это пожгла. Я не люблю, когда на меня обращают внимание, когда меня трогают… Я считаю, что это абсолютно мое личное дело.

---

[89] Юсупов Феликс Феликсович (1887–1967) – князь, граф Сумароков-Эльстон. Принадлежал к одной из наиболее знатных и богатых российских фамилий, сын княгини Зинаиды Николаевны Юсуповой (последней в роду, ведущем происхождение от ногайского хана Юсуф-Мурзы, а родоначальником имеющем племянника пророка Мухаммеда) и Ф. Ф. Юсупова (старшего), графа Сумарокова-Эльстон, в 1915 г. – генерал-адъютанта, главного начальника Московского военного округа. Единственный наследник фамильного состояния Юсуповых.

Ю. К.: Ну а написала ты стихотворение – надо же кому-то показать!

М. Н.: Никому не показывала.

Ю. К.: Мандельштам говорил о собеседнике. О провиденциальном собеседнике. Ну а когда не с кем поговорить?.. Когда ты стала взрослым человеком, тебе же необходим был собеседник?

М. Н.: Когда я стала взрослым человеком, я стала санитаркой, уборщицей, кормилицей. Это наполняло мою жизнь на 100 %. Если учесть, что я была ужасно больным человеком: голова болела у меня всегда… Но рядом были люди, которым было в тысячу раз хуже. Я помню, у меня так болела башка, что если с ровным промежутком меня три человека обгонят, я отключалась. Я не могла ездить на трамвае, на троллейбусе… Постоянно укачивало. Помню Маша, ангел мой розовый, подходит к бабушке и говорит: «Нина, она еще тепленькая!» *(Смеется.)* Классно! То есть жива.

Отца мы здоровым не видели никогда. Это проявлялось очень тяжело и мучительно. Но мама была как ангел… Да еще бабушка с народной мудростью. А мама моя выглядела очень молодо, была очень красивая. Мы, когда выросли, стали говорить: «Да ты что, зачем тебе это терпеть!» Мама даже запрещала говорить об этом. Границы моего домашнего поведения были заданы. Отцу я сочувствую ужасно. Он сделал блистательную карьеру. Человека в 22 года взяли лесничим на завод. И все сразу появилось: дом, прислуга, лошади. А он еще к тому же безумно любил работать. Человек понимал, что это его место. Когда уезжал старый лесничий, он подарил отцу кабинет свой.

А мама… Когда случилась революция, ей было шесть лет. Эти люди, с которыми она осталась, были прекрасно воспитаны. Мать ее никогда бы не позволила унизить их страхом… Все, что касается Севастополя, Черного моря, это такая мощь, это ты так прикрыт! Мы с мамой всегда мечтали: «Война кончится, и мы поедем домой. Там море и корабли».

Как-то прихожу домой, Машке было 9 месяцев, мама ей рассказывает про Мамаев курган и адмирала Нахимова. Когда мы с Машей приехали в Севастополь, ей было два года, она встала на Приморском бульваре и сказала: «Вот здесь адмирал Нахимов затопил корабли».

Так, отец начал это собирать и переписывать. Но я все потом пожгла. Отец мой был человек зверски начитанный. Не пропускал ни одной премьеры. Всех видел: Маяковского, Есенина, Гиппиус, Северянина… Когда он приехал сюда, у них был театральный кружок, они Островского ставили. Это не был медвежий угол, это было вполне культурное место. Но тут устроилась Великая Октябрьская Социалистическая революция. Я просто очень рано поняла, что ему досталось здорово, что это очень жутко

пережить. Мама всегда говорила: «Зато у меня дети». Она, вообще-то, права: все остальное неважно.

Стихи в молодые годы я никому не показывала. Не могу сказать, что в этом нуждалась. А в оттепельные времена появились Боря Марьев, Вова Кочкаренко, Гера Дробиз, Юра Трейстер. Юра Трейстер читал больше всего. Поскольку он был по своему внутреннему устройству очень не чужой мне человек. Я никогда, естественно, нигде не выступала. Мне это не нравилось и сейчас не нравится. Хотя, надо сказать, что 60-е годы были неоднородные. Скажем, здесь была очень видная фигура – Ленечка Шаргунов, сейчас – отец Александр. Из института его выгнали. 60-е годы: тут же Тарковский, Ахматова… Люди начали читать. Но редко кто замечает, что то, что культивируется и нравится, – несравненно хуже. Это схлынет «водой быстротекущей», как написано в Библии. Разница была невероятной. Разница должна была ухо резать, но мало кому резала.

Когда эти товарищи появились, они знали мои стихи. Тогдашние мои стихи были не такие, как сейчас. От них почти ничего не осталось. Я даже не могу их оценить. Боря Марьев кому-то говорил: «Это чистая, культурная, милая, камерная… ну как у Мандельштама». *(Смеется.)* Боря – типаж трибунный. Все его увлечения марксизмом были не в критиканском, не в экономическом духе, а совсем искренние. Боря вообще был собой очень увлечен. Он сделал для города большое дело: собрал людей, консолидировал их. Это очень трудно. А тогда он был вообще в пацанском возрасте. То, что с ним произошло, – классический случай, который имеет объяснение. Это эффект интеллигента в первом поколении: его начитанность, стихи кажутся таким большим отрывом от начального уровня, что разумной оценки они этому дать не могут. Нужно быть абсолютным самородком – Сергей Александрович Есенин. Но Сергей Александрович Есенин не был интеллигентом, он был крестьянином в N-м поколении. А крестьянская культура – очень серьезная культура. А язык? Сказки, прибаутки, поговорки – все это было живо.

Быков говорит, что Пастернак говорит обо всем, а Мандельштам говорит только о себе и больше ни о чем. Все зависит от того, какое огромное пространство за тобой стоит. Если я, как Мандельштам, включаю в себя от Шумера до Сталина и дальше… Быков идет странным путем: посмотрите у Блока, сколько начинается с «Я», ну что, это значит, что он только о себе? Что это за глупость? Что за механический подход?

Ю. К.: Это современный подход. Отрицание какого-либо лиризма, откровения.

М. Н.: Ну нельзя это о стихах говорить. Пусть это будет сказано о психологии… О том, каким способом человек ищет выходы…

Ю. К.: Человек может познать мир только через себя.

М. Н.: Вот я живой человек, а чем я еще располагаю? Больше ничем. Моя мать – это я? Я. Моя дочь – это я? Я.

Ю. К.: Быков – иронист. Они все иронисты. Они не иронисты, а нигилисты. Они нигилируют культуру, традицию.

М. Н.: Иронисты – это и есть нигилисты. Да, все правильно.

Ю. К.: Блок понимал это очень хорошо. Он сказал прямо: «Стихотворение, которое больше 20 строк, не лирика». Поэтому «Скифы» у него не лирика, нечто другое.

М. Н.: Я недавно прочла «Скифов», между прочим, жутко современная вещь. Блок – это наш человек. Очень переживаю и страдаю, когда ругают Блока. Я в таких случаях всегда вспоминаю слова Н. С. Гумилёва, который, между прочим, был его соперником и очень ревностно относился к его славе: «Когда я думаю о Блоке, я знаю только одно – это лучший человек на свете». Когда я о нем думаю – бедный! Эта мать истеричная, Любовь Дмитриевна, тетушки… А он как ангел-хранитель всю жизнь. Вечно они его садили на заранее подготовленное место. Ужасно. Я еще понимаю, что Цветаева и Ахматова обругали Наталию Николаевну. Баба, даже самая умная, есть дура. Потому что она перед лицом природы права: я – гениальная баба, и я – дура в сущности одно и то же. Мужик-то тоже где-то дурак, но лучше. Баба она всегда в обороне, любая другая баба для нее враг. А мужчина лучше. Зато, товарищи, совершенная женщина – абсолютно богоравное явление. Вот Наталья Николаевна была совершенная женщина. Этого-то ей не могли простить Анна Андреевна и Марина Ивановна.

Ю. К.: И Анна Андреевна, и Марина Ивановна проявили здесь свое абсолютно бабское отношение, потому что и та, и другая ужасно любили разбираться в любви, в бытовой ее части. Их не творческое, а жизненное поведение было бабским.

М. Н.: Да, при их уме могли бы сдержаться!

Ю. К.: Особенно Ахматова. Ведь она была человеком сдержанным, воспитанным. У Цветаевой было немножко другое происхождение.

М. Н.: У Цветаевой был темперамент пояростнее. А еще она была настолько склонна к поставленному, срежиссированному, литературному роману, который не имеет никаких связей с реальной жизнью, только для того, чтоб взять перо в руки и это все фиксировать. Не будь она таким поэтом, ее можно было бы в этом обвинить. Но кто ее ругает! Для меня Цветаева, как Герцен. Я была бы готова ее в чем-то обвинить, но она за все отстрадалась. Так же как Герцен отстрадал свое честно.

Ю. К.: Ты имеешь в виду историю с Гервегом[90]?

М. Н.: Да… И не только. Причем человек-то был ничтожный [о Гервеге], который пользовался ситуацией в своих корыстных целях. А жена его? Ставка в воспитании исключительно на высокие мысли – это большая ошибка. Возвышенное и земное разводить нельзя. А если вспомнить про Некрасова с Панаевой!.. Потому что все было разведено в пользу возвышенного. Тут надо смотреть на Павла Петровича Бажова. Он увязывал не возвышенное и земное, а подземное! Страшные категории он увязал совершенно безболезненно.

Еще есть одна деталь, которая меня поражает. Когда кончилась война, русские бабы поняли, что война кончилась, смерть отступила, и надо утверждать жизнь. А утверждать было нечем: надеть было нечего, нарядиться было не во что. И вот они бросились делать немыслимые вещи – вышитые занавесочки, вышитые салфеточки… У всех одинаковые цветы на окнах, у всех одинаковый рисунок на окнах – виноград или смородинки. Как это делалось? Было такое правило: я иду по улице, вижу рисунок, мне он понравился, я стучу и прошу себе его. И вот что меня поражало: в доме Павла Петровича Бажова были шторки вот этого типового рисунка. Как все жили, так и они жили. Это невероятно. Также все делились отводками. Я всегда говорю, что один добрый человек одним только своим явлением делает незначительным все мировое зло. Так же одна какая-нибудь черта русского человека делает незначительной всю его пьянь и рвань. Мне безумно нравилось, что цветы выставлялись лицом на улицу, к городу и миру.

То, что сделал Павел Петрович Бажов, не мифы. И по этому не можно жить, а должно жить! А сказок много есть с печальным концом. Например, в румынских, болгарских сказках жена, чтобы наказать неверного мужа, кормит его мясом своих детей. А что есть печальнее сказок Андерсена?.. Что касается Бажова, это не было с его стороны ни жертвой, ни обдуманным шагом. Формулу человеческой независимости никто не выразил проще и понятнее, чем Бажов. *«Умный человек правильно рассуждает, а я могу рассуждать только по-своему»*[91]. Мне вчера по телевизору стали рассказывать, каким мужественным человеком и страдальцем был Вознесенский! Это были баловни судьбы! Все было совершенно

---

[90] Гервег Георг (1817–1885) – немецкий поэт и публицист, близкий друг семьи Герценых.

[91] Эта фраза П. П. Бажова процитирована М. П. Никулиной в ее историко-культурологическом исследовании «Камень. Пещера. Гора». (См.: Никулина М. П. Камень. Пещера. Гора // Избранное : в 2 т. Т. 2 : Проза. Екатеринбург : ИД «Союз писателей», 2007. С. 158.)

наоборот. Он якобы был очень мощным человеком, который вынес всю травлю. Какую травлю? Я тут читала, что пишет Галина Вишневская о своей травле, вот цитирую точно: «Травля доходила до того, что мое имя в афишах писали не крупными буквами». Это травля?! А в это же время был Шаламов! А у Бажова жизнь была полной самых невероятных, чистейших бед. Страшнее смерти ребенка ничего не может быть. Потерь было очень много. И тем не менее, я уверена, что то, как он жил, он считал для себя естественным, удобным. Что естественно, то и удобно. По Пушкину. Умный человек должен жить естественно.

Ю. К.: Урал – это еще и золото.

М. Н.: Да. Нашли золото. Они построили там поселок Вознесенский. Они делали то, что до них никто не делал – они сделали товарищество по открытию сибирских золотоносных мест. Были они старообрядцами. Все они были богатыми людьми, но понимали, что только со своим богатым карманом сибирское золото не взять, поэтому они объединились. Самое поразительное то, что они сами пошли, никто ничего не оплатил им, сами пошли. Они сами в этой ледяной воде работали, рукава их тулупов вмерзали в лед, прежде чем они понимали, золотое это место или нет.

Поиски сибирского золота начались с блестящей криминальной истории, не могу понять, почему до сих пор не снимут об этом фильм! Был у нас в Березовске один каторжник. Егор Лесной. Этот Егор Лесной сбежал. Он был опытный каторжанин и человек, сведущий в золоте, у одного купца родилась совершенно справедливая мысль: если он сбежал, то не просто так, не под волков же в лес он сбежал, опытный человек так не поступит. И он нанимает сыскную группу. Ближайшее место, куда можно было сбежать, – Алтай. Эти люди отследили там Егора Лесного. Обратили внимание, что он как-то странно живет: землю не пашет, на охоту не ходит, рыбу не ловит, но чем-то же живет. Ничего не делает, а сыт, обут, одет. К тому же заметили, что он ведет странный образ жизни: то его нет, то появляется. Они увидели, что и вокруг него есть странные люди: приходят по темноте, уходят засветло. И когда они к нему явочным порядком зашли, он был уже убит.

А дело было вот в чем: тогда науки геологии как таковой у нас еще не было. Здесь всего было много, золото поначалу просто поверху лежало. На Урале реки золотые были все. То место, где мы живем, называлось екатеринбургской золотой долиной. Все притоки Исети были золотые. Река Нейва, Реж – все были золотые. Потом (сейчас) золото кончилось. Павла Петровича Бажова читали? Там же все ясно сказано. Последнее место, где добывали золото в Екатеринбурге, – напротив дендрария за Царским мостом. 1837 год. Едет сюда Юрьевич, адъютант, и там написа-

но: «Едем по сплошному золоту». А дальше сказал так: «Нигде не видел такого здорового, красивого народа». Если взять описание Урала у Ремизова или в летописи, например, то Урал описан как рай. Плодовые леса, благоуханные поля и реки со сладкой водой.

А Егор Лесной вот что сделал. Опытным путем он сделал наблюдение: вот Березовск. Там мы добываем золото. Какие там горные породы? Гранит, березит, лиственит, пушкинит, кварц и так далее. Совершенно понятно, что если золото живет с ними, значит, если я в другом месте встречу эту компанию, то значит, там есть золото. Вот так он опытным путем туда пришел.

Для того чтобы по полному бездорожью, по ненаселенной тайге пройти от Екатеринбурга до Забайкалья, можете представить, какие нужны деньги? Эти люди не только нашли эти месторождения, но и построили там поселок Вознесенский, в котором были школы, больницы, церкви. И еще они придумали теплые промывания. Они сами вмерзали в лед и голодали – они все поняли на себе. Очень важно, что уральская технология была поправлена на местные условия. Они поняли, что если рабочие не будут вмерзать рукавами в лед, дело пойдет лучше. И они придумали эти теплые промывания. И промывали золото в поселке Вознесенском теплой водой. Дело шло хорошо, и золото текло рекой, пока не спохватились сибирские купцы. Они стали с ними судиться и выжали их из Сибири, потому что количество взяток, которое пришлось давать, стало таким, что дальнейшая добыча стала невыгодна. Они оставили свои базы и вернулись сюда. И когда они сюда приехали, тогда и сложился облик золотого века Екатеринбурга. Именно этот город сейчас гробят и ставят эти стеклянные банки. Когда они приехали, они жили очень богато. Все это с поправкой на русскую придурь. Придурь лучше корысти, лучше жадности. Когда один товарищ захотел летом кататься на санках, возили две недели соль. Прокатился – сорвал охотку. Жители Екатеринбурга любили золотой век Екатеринбурга.

Ю. К.: А особняк, где располагался «Уральский следопыт»?..

М. Н.: Этот особняк появился позже. Когда золотой век кончился, здесь был прекрасный горный начальник, герой Бородинского поля, Владимир Андреевич Глинка. Вот это и был его дом. Все правильно: начальство должно было быть обязательно при плотине, при средоточии энергии. Тогда была горная аптека построена, Малаховские дома, обведен гранитом пруд. Много было интересных вещей. Скажем, горный начальник вдруг подумал: «Как же так, дома построили, а людям отдохнуть-то негде…» Купцы немедленно скинулись, построили театр. Приезжает труппа. Местной публике труппа очень понравилась: барышни все мо-

лоденькие, талии тоненькие, дескать, девушки, живите у нас всегда. Не получилось: девушки были крепостные матушки Ивана Сергеевича Тургенева Варвары Петровны. Что сделали купцы? Скинулись снова и выкупили девушек. *(Общий смех.)* Много фактов, которые и сейчас приятно послушать.

Когда начали строить заводы, сложилась такая ситуация: казенный завод – государственное, а частный – это мое. Я тебя пущу на своей земле золото добывать? Конечно, нет. И вот наши купцы, поняв это, к тому же они имели склонность к грандиозному масштабу, в Сибирь-то и рванули. Может, все бы устояло и дольше, если б не отменили крепостное право. Отмена крепостного права была для них катастрофой.

Ю. К.: Почему катастрофа? Рабочие разбежались?

М. Н.: Нет, не так. Когда организовывали заводы, часть рабочих привозили из других губерний, но они оставались крестьянами. Не все люди прикипали к заводу. Вот пример: умирает Акинфий Демидов. Остаются у него три сына – Прокофий, Григорий и Никита. Один, Никита, хороший заводчик, Григорий тоже ничего, заботливый хозяин, а Прокофий немедленно продает завод, свою долю. А наследство Акинфий оставил сыновьям большое: 28 заводов, 96 рудников, 36 крупных сел, мелких не считал. Если хочешь гордиться своим Отечеством, почитай историю Урала. К заводам прикипали не все. Человек, который осознал себя крестьянином, крестьянином и оставался. Уральские рабочие жили хорошо: нашим давали участок земли, у них была обязательно работа на заводе, им разрешали пользоваться заводскими прудами, лесом. Если внимательно прочесть Павла Петровича Бажова, все будешь знать: «*Пошли раз двое наших заводских траву смотреть. А покосы у них дальние были*»[92], – значит, они держали скотину. У всех был приработок. Заводские рабочие, которые таковыми себя осознавали, не хотели с заводов уходить. Но были подсобники и так далее, которые бы с удовольствием вернулись к своей крестьянской участи. Сами понимаете, как работает горнодобывающая металлургическая промышленность: цикл не должен прерываться. Если он где-то прерывается – остановка. Вот это и случилось. Заводчики, как вы понимаете, бывают плохие и хорошие. Хорошие – те, которые понимают, что условия жизни рабочих – часть технологического процесса, и чем условия лучше, тем лучше работает завод. Плохой заводчик считает, что цель завода – деньги в карман. Все это легко отслеживается на истории Урала. Идет Пугачёв по Уралу. Часть рабочих присоединяется к Пугачёву и бьет своих хозяев. Часть рабочих хватает в руки вилы, топоры и защи-

[92] П. П. Бажов. «Медной горы Хозяйка».

щает завод. Что было у нас в Сысерти? Рабочие встали, у кого что было, скинули Пугачёва с горы, дальше он не пошел. Мы можем делать вывод: значит, рабочие на Сысертском заводе жили хорошо.

Безостановочная 150-летняя работа заводов создала впечатление, что это естественное положение. А заводы начали вставать. Руда начала кончаться. К этому никто не был готов, потому что руда стояла горами. Над Тагилом стояла огромная гора. И над Кушвой стояла гора. И когда начались сбои, люди болезненно к этому относились. Люди оклемались достаточно быстро. Произошла интересная вещь: в полном смысле слова, за ум взялись. Все поняли, раз по-старому жить не получается, надо жить по-новому, значит, нужны новые знания. Стали обращаться к науке, приглашать инженеров. Купцы скинулись, построили гимназию. Стали появляться курсы всяческие. Газеты, театры, банки. Поскольку люди были вынуждены всерьез на себя посмотреть, чтоб понять, что делать, возник интерес к земле как к таковой, к месту. Это было начало краеведческого изучения Урала. Появилось УОЛЕ[93]. Они сразу начали переводить свои журналы и издавать их на иностранном языке. Это говорит о том, что из себя представляла техническая интеллигенция того времени. Очень серьезно работало общество. Членами общества были и купцы, и предприниматели. Все они здесь работали от всей души. А дальше все бы снова поднялось.

Ю. К.: Например, прерывался цикл: пересыхала речка, кончился лес, руда. Это я понимаю. Но подъезжаешь к городу, в котором есть крупный завод, – вокруг пустыня. Речка пересохла, леса нет, горы срыты… Вот это что?

М. Н.: Заводчики были всякие. Горы бы срыли все равно. В Великую Отечественную войну никто ни с чем не считался. На северном Урале свели лес, и он больше никогда не вырастет. Что касается леса, его же надо подсаживать, надо оставлять куски старого леса, но это большая наука. Иногда виноваты сами заводчики. Например, лес вокруг Невьянска извели сами Демидовы. Договор у них с Петром был такой: они поставляют ему оружие, он не вмешивается в их дела. Демидовым нужно было любым путем выполнить слово, данное Петру. Поэтому лес вокруг Невьянска пропал очень рано. Толковые заводчики старались этого не делать. Поскольку здесь климат жестокий, уход за лесом и реками должен был осуществляться постоянно. Все это и было. За всю историю работы Уральских заводов один единственный раз мы со своими пушками опоз-

[93] УОЛЕ – Уральское общество любителей естествознания. Одна из крупнейших научно-краеведческих организаций Российской Империи и СССР.

дали – это Крымская война. В целом Урал работал как незаменимый район. Это нам дорого давалось. Надо сказать, что всю войну Исеть была чистая, в ней белье полоскали, а вся эта безумная потрава началась потом. Самая безумная потрава – цветная металлургия и химия. Земле вообще наше присутствие не полезно. И если мы хотим все-таки здесь присутствовать и присутствие свое здесь как-то продлить, стоит прислушаться к Павлу Петровичу Бажову: никакого нам отдельного счастья без земли не будет.

Ю. К.: Недавно показали снимки из космоса наших Тюмени, Сургута, Нижневартовска, где насчитали несколько десятков неконтролируемых газонефтяных пожаров… Страшно.

М. Н.: Мне тут объяснили: вот где ярко-зеленый цвет – там живая земля. Чем она бледнее – тем она хуже. Потом она буреет, потом становится цвета ржавчины. Когда мне это объяснили, стало жутко.

ВЕЧЕР ДЕСЯТЫЙ

Ю. К.: Вчера нашел деньги (и немалые) на издание книги писателя N.

М. Н.: Я к этому отношусь, как Блок. Блок – мой верный, надежный друг, который всегда говорил так: «Каждый человек имеет то, что он хотел». Я терпеть не могу, когда мне помогают.

Ю. К.: А ты сама помогать любишь? Есть у меня товарищ, который говорит: «Никогда не делай никому ничего, если тебя не просят. Не помогай никому, если тебя не просят».

М. Н.: Ну, как тебе сказать…

Ю. К.: Допустим, заходит ко мне человек. Я вижу, что он – калека, что ему плохо, что он пишет хорошие стихи, я вижу, что я могу ему помочь, я ему говорю: «Садись». Девочки делают чай, мы пьем чай, я говорю: «Так, мы ищем деньги на книгу, издаем книгу. Что у тебя болит? Болит у тебя то-то…» Я звоню знакомому такому-то, тот звонит врачу, мы его отправляем… Я должен был сделать это или нет?

М. Н.: Если он пришел с этим сам – конечно.

Ю. К.: Нет, он пришел просто…

М. Н.: Нет, я знаешь, как… Я встаю и немедленно делаю. С упорством чистого идиота. Я помню, однажды приводит ко мне один мой приятель какого-то иногороднего человека, которому надо защищать диплом в университете, а у него что-то там случилось, и диплом надо срочно перепечатывать. И я всю ночь сидела и печатала на машинке этот диплом. В девять часов села, до полседьмого я набрала весь его диплом, он взял его в папочку и пошел защищать. Я ему все сделала. У человека это, видимо, в первый раз в жизни. И в последний. А потом иду я с работы, а он стоит у подъезда и говорит: «А чертежи?» Я говорю: «Знаете…» Ладно еще напечатать, но начертить! Я даже не умею чертить. И он на меня обиделся. Таких случаев в моей жизни было много. Как-то иду я домой, сидит женщина (вот тут у меня такая небольшая лестничка при переходе Декабристов-Луначарского) и заливается слезами. Ну, она вся одутлова-

тая какая-то – видно, что больная. Я ее спрашиваю: «Что такое?» И она мне объяснила: ее выписали из больницы (у нее что-то с ногой, но еле ходит), ее муж поехал ее встречать, но по дороге у него случился сердечный приступ, и его увезли в больницу. Ей из той больницы позвонили, сказали, что он приехать не может, а она уже сидела одетая в вестибюле. Все, они ее выставили из больницы. Сестра ее перевела через дорогу, а дальше она идти не может. Я ее к себе привела. Она у меня жила, пока муж за ней не приехал. Я бы так сделала хотя бы потому, что моя мама, я тебя уверяю, сделала бы точно так же и больше никак. Никаких других решений у меня и быть не могло. Но я не считаю, что это помощь, это совсем другое. Я вообще исхожу из того, что если тебе что-то выпадает, то надо это вынести с максимальным достоинством.

Я не люблю никого просить. И чудовищно мало людей, от которых я помощь принимаю. И не желаю, чтобы она была мне оказана. Это для меня тяжело. Больше того, я не считаю это за достоинство. Наверное, это не достоинство, но зато все, что я делала, я все делала одна и сама. Зато ребенок мой – *мой* ребенок, вот это *моя* мама, вот это *моя* бабушка, вот это *мое* все… Если было в моей жизни что-то мое – так вот это мое. Это немало. Этого вполне достаточно. А поскольку, кроме этого, были еще стихи… Если б не они, я бы о себе знала меньше.

Ю. К.: Давай о книгах поговорим.

М. Н.: Ну давай.

Ю. К.: Самая первая книга как вышла?

М. Н.: Первую мою книгу сделала Эмилия Ивановна, Эмма Бояршинова. Она очень хорошо ко мне относилась. За это, правда, ее уволили с работы. Но она не любила об этом говорить, потому что была очень достойным, в высшей степени порядочным человеком, и, как всякий порядочный человек, она никогда бы не согласилась носиться со своими страданиями и гонениями. И поэтому она не любила об этом говорить.

Ю. К.: А Эмма полюбила твои стихи, да?

М. Н.: Эмма стихи мои любила, она и ко мне относилась так…

Ю. К.: А где она тебя откопала?

М. Н.: Ну тогда ведь все друг друга знали. Эмма вообще была человек, жизненный опыт которого достоин изучения и максимального уважения. Я с ней, в общем-то, не была согласна только в одном: она полагала, что писание стихов – это миссия… Я же полагала, что это исключительно мое личное дело.

Ю. К.: Правильно.

М. Н.: Притом я полагала, что именно так полагали Мандельштам, Блок… И больше того: иначе полагать нельзя. Вот это мое личное дело,

я сама за это отвечаю. И прав Арсений Тарковский, который писал о том, что когда человек думает о читателе, он пропал.

Ю. К.: Это Блок сказал.

М. Н.: Да? Ну, значит, он повторил. Это совершенная правда. Но Блок, если уж на то пошло, был идеально воплощенный поэт. И по образу жизни, и по внешнему виду – по всему внешнему рисунку роли. К тому же он красавец! Это чрезвычайно важно для поэта. Блок очень любил Озерки и ходил туда гулять, а это очень далеко, просто жутко далеко – это километры, километры, километры… И он все пешком. Я спросила как-то у одной старой женщины: «А почему он пешком-то туда ходил, если так далеко?» Она говорит: «Так ведь любил…» И правда! Я поняла: шел, потому что любил! Это исключительно блоковское решение, я была безумно рада, что есть люди, которые до сих пор это слышат и считают это законом: «Потому что любил». Так вот Эмма была человеком жесточайшего нравственного закона, что я считаю правильным.

Ю. К.: Что значит «жесточайшего»?

М. Н.: Это значит, что для меня есть закон, который нельзя нарушать ни в коем случае. Допустим, нельзя бросать своих родителей. Нельзя бросать своих детей. Этого делать нельзя! Спроси меня хоть на Страшном суде: любовницу бросить можно? Я отвечу: да ради Бога! Если она от этого никаких безумных страданий не претерпевает, если дети не оскорблены, да ради Бога! Не это важно. А вот что касается какого-то унижения разрушительного, которое вносит в твою семью погибель и разлад, вот этого делать нельзя. Главным образом, я повторю, ни в коем случае нельзя оставлять своих родителей, особенно когда они старые, и детей. Потому как это точное соблюдение горизонтали-вертикали: связь *дети–родители–дети–родители* нарушаться не должна. Если она разрушается, то разрушается связь времен. А что касается горизонтальной связи (жены–мужья–любовники и т. д.), это более сложная связь, она работает в гораздо более сложном режиме. Вот здесь договориться невозможно. Надо просто исполнять закон.

Эмма считала, что законы ненарушаемы во всех проявлениях. И надо сказать, что она прощала и себе, и людям совершенно все. Я всегда говорила, что если ты любишь человека, то простишь ему совершенно все. Но с другой стороны, ты никогда не полюбишь человека, если он корыстный, мстительный, мелочный, завистливый. А если он не такой, так чего его не простить-то! Ради Бога, сколько угодно.

Вот Эмма была в этом отношении гораздо более строгих правил. Исполнение этих строгих правил вгоняло меня в трепет. Она очень любила Борю Марьева, она его любила как человека, она его любила как явле-

ние, она его почитала как поэта (несколько переоценивала, тем не менее она считала так). Но я, с другой стороны, ее понимаю, потому что, я уже об этом говорила, он действительно много сделал для напряжения литературной жизни города, для того чтобы город осознал, что такая жизнь в нем вообще есть. И она к нему относилась с жутким пиететом. Однажды Боря Марьев написал заметку о какой-то книге (тогда было принято откликаться на все вышедшие книги), а людям, которые это курировали, показалось, что это слишком хорошо, и тогда Боря смягчил, исправил, сделал, чтобы это было не слишком хорошо. Эмма с ним не разговаривала, не здоровалась несколько лет. *(Смеется.)* Мне – абсолютно все равно. С другой стороны, я ей говорила, что если бы это сделала она, я бы по-другому отнеслась, потому что я знаю, какой она человек, но я знаю, какой человек Боря…

Она вела многолетнюю постоянную переписку со многими людьми, которые писали стихи на уровне ниже среднего, у которых не было возможности общения, некоторые из них были прикованы к постели. И вот она на протяжении многих лет тщательно все это анализировала, притом никто об этом не знал, никогда эта работа не афишировалась. Скажу такие беспощадные слова, но это правда: ее голос, ее поэзия – это вечное девичество, это страшный ужас, оставленный нам Второй мировой войной, когда из целых выпусков в школе не оставалось мальчиков. И эти хорошие, добродетельные, нравственные, душевные девушки, готовые любить своих детей, так и умерли с этими своими качествами… Этот героизм никем не был замечен, были замечены только воинские подвиги. Если б вы знали, что из себя представлял нравственный закон того времени!.. Это было ужасно. Сколько было женщин в то время, притом хороших, способных родить здоровых детей, но никого на них не было – они немыслимо придерживались нравственного закона: вот она бы сдохла, но на чужого мужика она бы не позарилась!

Я знавала одну женщину, которая многих выручила в войну, она занималась подпольными абортами… Тогда за это была тюрьма, и тем не менее она устроила в такие места нескольких женщин… Так вот она никогда никому ничего не сказала о том, что она делала, потому что дети не должны знать этого, мать в глазах ребенка должна быть совершенно чиста. И она никому никогда… Притом она ругала их всю жизнь: они были для нее такие-сякие, потаскухи – как только она их не крыла, но она их ругала одна в своем саду, в огороде на гряде. Но никто никогда этого не слышал, это было страшной тайной, которую никогда никто не должен был узнать, потому что у них дети. Мораль того времени – это одна из страшнейших бед.

Эмма была скромной, деликатной, мужественной – это все было оттуда. Если взять с кем она общалась, ее подруги, девочки, которые в 17–18 лет ушли на фронт санитарками, – очень хорошие женщины, они не заслужили того, что им выпало… Эмма своих подруг очень любила. Они вместе пели, Эмма им играла на гитаре… Я была их сильно моложе, мне этого не досталось. Мы из тех, кто выжили не чудом, мы должны были выжить, иначе, если бы мы погибли, зачем нужна победа в войне? Мы, дети, которые выжили, мы могли встать и все это восполнить, поднять. Эмма была человек из прошлого поколения.… Это была героическая позиция, это была очень тяжелая участь. Ну, хотя бы ребенок был!.. Я знала одну медсестру, которая от раненых троих детей родила: один мальчик славянский, другой кавказский, третий вообще какой-то… Они, как ни странно, были похожи друг на друга, погодки, стояли друг за друга горой. Но с ней даже вот этого не случилось… Вот такой человек была Эмма Бояршинова.

А о книге я и рта не раскрывала, она сразу поняла… Уж в те годы вопрос каких-то публикаций меня вообще не интересовал. Интересовал меня вопрос издания один единственный раз в жизни – это «Камень. Пещера. Гора», и то по причине чисто прикладной. И еще был один раз, когда я была заинтересована – это книга про убийство царя. У меня там было два интереса: во-первых, я очень не любила революцию, а во-вторых, я всегда жутко сочувствовала царской семье. Мне вообще всегда нравился наш последний царь, я знаю, что он был не очень хорошим царем, но он был очень любящим отцом…

Ю. К.: Эмма сама отбирала стихи?

М. Н.: Эмма мои стихи любила. Я помню, она отсюда убрала какие-то стихи. Но о том, что у нее были какие-то неприятности из-за моей книги, она мне не сказала. Более того, она говорила, что давно хотела уйти на творческую работу. А обо всех неприятностях ее мне сказали совершенно другие люди. Когда вышла книга, в 1969 году, я в это время была в Севастополе. Где-то я слышала, где-то это даже зафиксировано, как говорили, что, дескать, Майя Никулина даже плакала, когда ей сказали, что «Дом и сад» в магазинах не покупают. Это абсолютное вранье. Во-первых, пункт первый: я никогда не плачу (вот, допустим, я прихожу домой, где мой отец, который уже год не мог дойти до туалета, держит на руках мать, которая вся в синих пятнах… Вы что? Я плакать, что ли, буду?), во-вторых, я никогда не видела, чтобы она продавалась. Я вообще своих книг в продаже не видела. Она была издана самым маленьким тиражом, и, как я узнала потом, я получила за нее самый крошечный гонорар. Но я об этом не знала, я вообще ничего не знала, что касается организации всего этого

литературного производства, не знала, что гонорары существуют разные и так далее. Меня этот вопрос не интересовал в принципе. Когда я на работу устраивалась, я никогда не спрашивала, какая у меня будет зарплата. Никогда. И впредь не спрошу.

Ю. К.: *Показывает М. Н. автограф ее стихотворения и письма 70-х гг. М. Н. говорит, что у нее этого нет, просит девочек снять для нее копию.*

М. Н.: Знаешь, что интересно? Твои письма из Индии. Вот это классно! Товарищи, вы только представьте, человек сидит там за границей, куда все только и мечтали попасть, и пишет: «Вам хорошо, у вас зима, снег…» *(Смеется.)*

Ю. К.: А потом была книга «Имена». Через десять лет вышла. Только у меня ее кто-то украл, у меня ее нет.

М. Н.: Не помню, кто ее делал. Это плохая книжка. И корочка дрянная… Да больше того, как они написали: «*Баба Саша над грядой реет / скворушком воскресным*». Вместо «ангелом воскресным»!

Ю. К.: А потом «Колея»… «Колея» – просто потрясающая книга.

М. Н.: «Колея» – да… В «Колее» очень хорошая картинка. И название хорошее. Ох, сколько этих «колеёв» в Крыму! Пещерные города, и по дороге этой самой… Они же ведь на деревянных колесах, колеса были из цельного дерева, а значит, очень тяжелые. И в камне – колея. Есть места, где мне почти по колено! Это такая вечная дорога. Идти по этой колее – это просто невероятно… То есть ты идешь по дороге, которой тысячи лет!.. Встреча с вечностью абсолютно реальна: это – камень. Это придумала не я, это еще в древности прекрасно понимали. Жизнь человеческая – 50–70 лет, ну 100 лет. А жизнь камня!.. Я у одного коллекционера видела камень, которому 2,5 млрд лет. И вот ты держишь в руке 2,5 млрд лет. Притом, что еще касается камня… Встреча с камнем – это совершенно интимно. Я ведь камень на груди ношу, на пальце, я его вообще могу к сердцу, как ребенка, прижимать.

(Показывает фотографии.) Это все Крым… Конечно, это все Геша («Ты, как реченька…»). Мама умерла в ноябре 1981 года, а Геша в феврале 1982 года. Никто не мог говорить так, как Геша! Товарищи, он мог говорить первоначальный голый текст – как гром! Человек так не говорит, он так боится. Это невозможно, потому что это значит – становиться природой, а человек настаивает на том, что он от нее отделен! Когда он уезжал, я ему сказала: «Гена, ну как я приеду… Мама уже умирает, от нее отойти нельзя…» А он мне: «Скорее приезжай, поздно будет». Никто так больше не говорил. Эти люди занимали совершенно особое место, для них главная любовь была земля, они на полном основании были частью

природы, и, напротив – у них были жуткие пробелы в человеческих отношениях. Я спрашиваю: «Миша, ты детей-то своих любишь?» – «Да, не знаю…» Вот этого он не знал, а то, что он хотел умереть, прижавшись спиной к горе, это он знал… В этом они правы, в этом их сила. А там – сплошные пробелы. Когда дело касалось выяснения человеческих отношений, они опускались к каким-то первоначалам. Я помню, как он смотрел на меня и говорил: «Ты не можешь меня оставить, Майя». Их время кончалось. Они уходили один за другим. Их время вообще было раньше. Надо сказать, как они держались (ведь такие люди были не только в Крыму): они постоянно поддерживали отношения с ребятами с Колымы и т. д. Такие люди в то время были. Их больше нет нигде. Такие люди были везде, и, надо сказать, такое странное братство всегда поддерживалось. Летит Гена сюда с Колымы… Вот котел, про который я говорила, Гена его привез с Колымы. Этот котел у него вымогал очень высокопоставленный мужик. А Гена – человек очень деликатный, он не может кому-то так прямо отказать… А я помню, мы в этом котле наделали греческого мяса. Товарищи, это был пир богов! На стол были поставлены светильники античные. Ну что вы: Олимп! Эти люди были просто олимпийцы. И вот Гена в то утро садится в самолет и летит с котлом в Свердловск. Самолет останавливается, Гена выходит в тулупе, с котлом и бородой, поначалу не замечая, что страшная жара… И тут подходит к нему товарищ, на вид узбек или таджик, и говорит ему: «Ты куда, брат, летишь?» А тот самолет сел в Душанбе… Посадили его спьяну не в тот самолет. Но, надо сказать, все быстро утряслось, его без всяких денег посадили в самолет на Свердловск. Он прилетает и звонит: «Я где-то стою…» Я говорю: «Ну, давай любое место называй, есть что-нибудь заметное?» – «Ну тут памятник… Так, Майя, нет, это не он. Ну не Ленин…» – «В сквере? Так, понятно, под Свердловым!» Прихожу я, он стоит с этим котлом… Да, это братство существовало…

А потом начались эти ужасы, когда стали вырубать виноградники в Крыму. Это был знак того, что их время прошло. Эти виноградники сохранились с начала XIX века, это результат чудовищного труда, их нужно было приспособить к этому климату… И еще одно: если б вы знали, как выращивают дорогие сорта. Это я все знаю. Выращивать дорогие сорта – это труд такой: люди, когда виноград начинает созревать, не уходят оттуда, потому что, если гроздь вызревает и одна ягодка плохая, ее нужно выщипнуть подушечками пальцев. Не ножом, чтоб не повредить, не поцарапать… Вот так вот. И на это на все посягнуть! Первую гроздь надо было отдать либо красивой женщине, либо ребенку, либо старой женщине – но не самому. А плохое вино ни в коем случае нельзя продавать – его

надо вылить. А тут начались такие времена, когда стали травить виноградники…

Ю. К.: А вот название «Дом и сад» – это?..

М. Н.: «Дом и сад» – это мое название. И «Колея» – это мое название. «Душа права» – не мое название. «Имена» – мое название. «Бабья трава» – это мое название, но можно было бы назвать просто «Трава». Нет, «Бабья трава» – неплохое название, мне нравится. Тут есть один подтекст, которого никто не знает, но я знаю. Это знают все старые бабки. Бабьей травой называется трава определенного назначения… Этого, может быть, никто не знает, но я-то это помню.

(Рассматривают иллюстрации.)

Это что-то он даже, я полагаю, хотел похожее на меня изобразить, но не вышло… Вот это мне очень нравится.

Ю. К.: Да-а-а! Это мой любимый.

М. Н.: Очень хороший.

Ю. К.: А тут мне нравится автограф твой…

М. Н.: Это не я придумала… Это придумал, тут написано, художник Арбенин. Да, он был хороший художник. Я помню, даже как-то с ним обсуждали создание альбома старых построек… Это был бы бесценный альбом…

Посмотрите, что стало с городом! Это очень трудно пережить. Все люди из того поколения, которые поднимали Севастополь, умирали, оттого что они не могли вынести уровень этого срама – они умирали от стыда. Это люди, которые в ямах, в норах жили – и поднимали все это. От стыда, от ужаса. И вот эти точно так же. Они умирали – вы не представляете себе, как…

Вот когда Гешу машина сбила… Это просто удивительное было место, его из окна моего севастопольского было видно. Как-то, помню, я там была поздней-поздней осенью, и мы шли с ним и с еще одним его товарищем к моему дому… А они, зная, что я жутко хочу жить в Севастополе, говорили: «Не уезжай, оставайся!» И Геша говорит: «Вот сейчас ты уедешь, и я умру», – и ложится прямо на этом месте, где его потом машина собьет. Как-то мы ехали на машине, они останавливались и из машины выходили – до того они все это любили, и как бы обидно было в машине быть. Геша вышел из машины, лег, и ладони к земле прижал: «Хорошо-то как, Господи!» Он мне говорил: «Майя, если ты умрешь не здесь, я тебя привезу сюда, чтобы ты была дома». А лег он тогда вот именно на этом месте… А вообще таких вещей делать нельзя! Это то, о чем мне бабушка говорила: вот, черт, говорит, увидит, ему понравится…

Да, их время уходило, оно просто иссякало – это было видно. Даже то, как они начали один за другим выбывать… Один стоял на автобусной остановке в Симферополе, и когда автобус пошел, он на каких-то полметра подал назад и столкнул его, он упал на поребрик… Перелом основания черепа. Среди бела дня! Просто-то что-то невероятное. Потом начались какие-то странные вещи: у другого крыша поехала… А потом пять человек из них встретились на хуторе Пятницкого. А хутор Пятницкого – это их дурка. И это уже был знак, который надо было прочитывать совершенно однозначно. Такие дела.

Ю. К.: Среди твоих книг у тебя есть любимая?

М. Н.: Нет, никакую не могу назвать. Они у меня лежат где-то…

Ю. К.: Ты хочешь сказать, что тебе все равно, были бы они, не было бы их?

М. Н.: Сейчас-то я уже не могу сказать, что все равно. Все то, что писалось, я от этого отказываться не собираюсь. Я за это Богу только благодарна. Что касается изданий, я не понимаю, как это вообще может кого-то волновать…

Ю. К.: Помню, как в 79-м году ты подарила мне книжку «Имена». У тебя тогда глаза такие были… Смущенные…

М. Н.: Да это потому что ты мне, Юра, нравишься! Я всегда безумно радуюсь, когда мне кто-то нравится. Это Божье благословение. Я знаю, что есть люди на земле, которые – твои. Как только я понимаю, что человек – мой, я признаю это, признаю все его права на меня, на мое время, на мою жизнь, на все остальное… Мне это не в тягость. Это я принимаю как радость и Божий дар. Но то, что таких людей немного, – это естественно, их много быть не должно. Единственное, что могу сказать – это мгновенно опознается, не нужно быть с человеком знакомым год, чтобы понять, твой это человек или нет. Я вообще полагаю, что люди не появляются просто так. Я не ходила в детский сад, не ездила в пионерские лагеря, я никогда не любила находиться там, где много людей, поэтому каждый человек, который появлялся в моей жизни, появлялся, надо полагать, неслучайно. А некоторые, наоборот, любят находиться там, где много людей… Самая страшная участь, самая кошмарная – это быть артистом. Я никогда точно не знала, кем я хочу быть, я много кем могла бы быть, но артисткой – избави Бог!.. Для меня это какой-то срам, падение, ниже которого не бывает… Я думала: «Боже, как они живут? Что он про себя знает? Ведь его же нет!» Особенно я переживаю, когда человек с фактурой, с внешностью, и его нет – это какой-то ужас. Тогда как человек, который пишет стихи, повести, шьет платья, ремонтирует мебель – это я понимаю, это его работа, и он есть.

Ю. К.: А сколько у тебя рассказов написано?

М. Н.: Ой, я точно не знаю. Еще какие-то дома есть, надо будет посмотреть…

Ю. К.: Надо вообще посмотреть, может, ты принесешь… Для книги, которую мы будем делать. Девочки расшифруют, и мы можем сделать это как приложение.

М. Н.: …там есть «Дорога Шемов», «Невесты», «Леня», «Которая бежала». Одна женщина мне сказала, что «Которая бежала» – это смерть. Но там черным по белому написано, что это жизнь!

Ю. К.: Ну это ведь одно и то же.

М. Н.: Не-е-т. Историю рассказа «Которая бежала» я знаю. В Крыму был человек, красивее которого я никого в жизни не видела. В этом плане жизнь у меня безумно щедрая. Мало того, что у меня очень красивая мама и вся ее южная родня, а когда я бабушку увидела, я вообще офонарела… Идет по Ялте дама 76 лет – и все мужчины шеи сворачивают. Ну, вообще, вся моя южная родня – это… Если «Сто лет одиночества» писать, мало не покажется! Моя прабабка, красавица, сербиянка, помещица, вышла замуж за некрасивого. Она в первый раз его увидела – и все, тут же решила, что выходит за него замуж. Хотя она была богатая, красивая, а он… Она первая вышла замуж за русского. При том у них были такие отношения, что она не выносила с ним расставаться, она хотела с ним на турецкую войну поехать. И у нее родились шесть дочерей: три красавицы, и три – нет. Вы можете себе представить, каково было…

Ю. К.: …трем страшным?

(Все смеются.)

М. Н.: Безумный, чудовищный, романический сюжет судьба отработала. Там был ужасный роман с безумным красавцем…

Ю. К.: Она влюбилась, что ли, в кого-то?

М. Н.: Не-е-ет, она всю жизнь с мужем не расставалась. Ты что! Когда моя бабушка своего мужа хоронила, она упала в могилу! Там безумные совершенно страсти, «Сто лет одиночества» отдыхает… А дальше было так: муж одной сестры-красавицы влюбился в другую красавицу. Естественно, она не была замужем, потому что она была совсем юная. А дальше моя прабабка-красавица проклинает эту дочь, и вся семья размежевалась: кто принимает эту сторону, кто другую… Это было страшное событие, ибо мать должна своих детей любить, грудью защищать. Все романы, все должно отступить – она должна защищать своего ребенка до конца. Дети из этих дочерей были только у тех трех, которые не попали под проклятье естественным образом, потому что у них были мужья, и они не могли занять какое-то место в этом романе. А у остальных трех не

было ничего. Вот так. И потом вся эта семья потерялась после войны, и мы с мамой всех, кого могли найти, нашли. И вот мы приехали в Ялту, и моя мама, тогда еще просто замечательно красивая, говорит: «Вот мама моя была бы сейчас, наверное, такая же…». И я смотрю: там стоит царица. Я говорю: «Мама, подойди!» Она говорит: «Да нет, неудобно». Тут двери автобуса закрываются, и я выталкиваю маму из дверей. И вот так мы нашли эту бабушку, она была героиней того романа. Она сказала: «У меня детей нет, вы будете моими внуками». И она велела после себя все фотографии отдать маме. Все это досталось мне. И все, что я об этой семье знаю, все было рассказано только мне. Я всех теток нашла! Я все это помню, знаю… Сюжеты просто потрясающие!

Был у нас дома старый-старый чемодан. Он таскался, таскался, таскался, потом от него начала уже крышка отваливаться… А я выбросить ничего не могу. Ну рваные чулки еще могу, а вот чемодан – не могу. Он разваливался, и я его стала уже разбирать на части: смотрю между картонкой и подкладом лежит вот эта шапочка. Она была сделана под шапочку жокейскую… Вот сколько же лет она там лежала, как она там оказалась!

Е. Ш.: А что это за камень?

М. Н.: Этот камень – блистер. Это редкая вещь.

Ю. К.: Ну что, Майя Петровна, о чем поговорим? О поэзии и литературе?

М. Н.: Я сейчас закончу о рассказе «Которая бежала», а потом перейдем к поэзии и литературе.

Была я в городе Сочи. Иду я, и вдруг поперек меня, как стрела, пронзившая мое сердце, становится мысль: что я, дура, здесь делаю?! И я мгновенно отправляю в Севастополь телеграмму о том, что 7 ноября я буду в Херсонесе утром: *7 ноября в Херсонесе. Майя.* А она в Севастополь пришла в странном виде: *седьмого Херонея Майя*. Понятно, что такая телеграмма не могла никому ничего объяснить, и, конечно, когда я утром в Херсонес приехала, я там человека, которому эту телеграмму отправляла, не застала.

Надо сказать, что у меня в Крыму была совершенно особая жизнь. Тогда это был город совершенно закрытый, военный и очень маленький, и всюду, где теперь городские улицы, там была пустая степь, ничего там не было. И там настолько никого не было, что я ходила по тем путям, которыми наша армия прошла, в одном купальнике, сандалии и платье волоча в руке… Когда начинали маки цвести, я ходила зигзагами, а потом оборачивалась с холма и смотрела: на красном оставалась зеленая тропинка. Вот такая была счастливая жизнь. И вот прошло лет десять,

может, больше, и как-то ехали мы на машине, и кто-то из попутчиков рассказывал, что видел, как в этих местах ходила девушка, одна, в купальнике, платье неся в руке… И я понимаю, что это про меня! Через десять лет! То, что это про меня, – точно, там просто больше никогда никого не было!

Ю. К.: Преобладание пространства над временем…

М. Н.: Так вот, приезжаю я в Херсонес… А этот человек, которому я телеграмму отправляла, был совершенно особенным человеком. Допустим, нам надо было где-то встретиться, если я приходила на час раньше, он там уже был. Если приду на четыре часа раньше – он там уже был. И, в конце концов, стало ясно, что не стоит вообще расставаться, расходиться, раз все уже так само собой решается. Когда я ему телеграмму подавала, я была уверена, что он ее получит. Но раз его там не оказалось, у меня появилась одна-единственная мысль: значит, где-то эта связь порвалась, и что-то случилось…

Куда я бежала, я вам не могу сказать. Но то, куда я бежала, – это и есть тот путь, который в рассказе описан. Все-все-все, по шоссе, до горбольницы, через площадь Ушакова, весь этот путь – все там описано абсолютно точно. Там был еще один интересный момент: я бегу по шоссе, и кто-то меня догоняет на машине легковой: «Девушка, девушка, давайте я Вас подвезу!» А я бегу так быстро, как он на машине едет. Он: «Да, девушка, постойте!..» А я убегаю и убегаю. А я убегаю-то почему? Потому что если распалась эта связь времен, значит, надо где-то связывать… И он мне в спину говорит: «Да что Вы с такой красотой делаете в этом военном городе?! Вам надо жить в Одессе!» *(Смеется.)* Я была в восторге от Одессы, но это не мой город, а вот Севастополь – мой. И вот все эта дорога, которой я бежала, описана абсолютно точно. Главное, что я бежала только потому, что остановиться не могла.

Ю. К.: Как Форрест Гамп…

М. Н.: Остановиться было невозможно…

Ю. К.: Ну, давай… Поэзия – не литература.

М. Н.: Ну, понимаешь, доказательств я не имею. Научных доказательств, которые я могу опытным путем устроить и повторить неоднократно. Потому что если доказательство построено только опытным путем, это может быть случайность. Потому я должна повторить его неоднократно, и только тогда это будет служить доказательством. Существует наука, которая занимается литературой и поэзией, которая называется литературоведение. К литературоведению я отношусь настороженно, поскольку, на мой ум, в этой науке можно доверять только тем людям, которые пишут сами. Когда пишет Блок, или пишет Мандельштам, тогда – да, но когда пишет человек, который сам не написал ни единой строчки, и

вообще не знает, на каких дрожжах это поднимается и что это такое, то тут получается такая странная вещь: он пытается анализировать что-то им незнаемое, и очень может быть, что это не поддается такому анализу, который к этому прикладывается. Я вот, например, так до сих пор и не поняла, что товарищи литературоведы считают художественным образом. То, что они считают художественным образом, сводится к тому, что существует текст и какое-то украшение текста. Вот, скажем, посмотрим на уровень определений, метафор, аллитераций… Но нет же никаких аллитераций, весь этот звон и гул создается сам по себе! Аллитерация есть только в том случае, если я верю в свое определение аллитерации. Вот, скажем, у Ломоносова, мне очень нравится: *«…где мерзлыми борей крылами / Твои взвевает знамена»*[94]. Не понимаю! Никакая это не аллитерация! Это так и слышится, и потом, это, конечно, не спровоцировано.

Ю. К.: То есть аллитерация – это явление искусственное? То, что мы считаем аллитерацией, это не аллитерация, а свойство поэтической речи?

М. Н.: Да! Литературоведы анализируют то, что поддается научному анализу, но тут есть большая натяжка, ведь они анализируют что-то придуманное, что-то искусственное. С одной стороны, я могу понять, для чего это делается – для того чтобы читатель понял. Но это только сбивает читателя.

Ю. К.: Они предлагают читателю примитив.

М. Н.: То есть читатель должен предполагать чудовищную низость, что Пушкин придумывал эти звуки для того, чтобы строка гремела, – это ужасно. Но когда я читаю сочинения по литературоведению, меня постоянно заставляют поверить, что это так. И если верить вот этой науке, то получается, что поэзия – это жанр литературы, потому что она поддается анализу, которым анализируются все остальные произведения. Но я категорически с этим согласиться не могу. Единственное, что когда-то заставило меня остолбенеть и офонареть и что чудовищно подходит для понимания того, что такое поэтическое существование в этом мире, язык в поэтическом своем выражении, – это наука кристаллография.

Моя встреча с наукой кристаллографией была очень интересной: я тогда училась на геологическом факультете, была я совершенно одинокая девушка, потому что ходила я с залатанным животом после операции… И науку кристаллографию преподавал один товарищ, очень красивый, романической внешности. Оказывается, у него жена и ребенок погибли, трагический, романтический такой налет на нем был заметен…

[94] М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на всероссийский престол Ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года».

То, что он свою науку любил, было совершенно ясно, потому что этой наукой нельзя заниматься без любви. Он, видимо, принадлежал к числу тех лекторов, которые читают, ориентируясь на какое-то лицо. И вот он выбрал мое лицо. А я этого просто выносить не могу, и я не стала ходить на его лекции. Хотя наука кристаллография мне понравилась. И я взяла и стала изучать эту науку дома. И когда я ее открыла, крыша моя совершенно поехала, ибо, как вы понимаете, нет более внятной гармонии среди хаоса, чем стихотворение среди разговорной речи и кристалл среди земли, песка, камней и так далее. То есть самая сокрушительная гармония – это стихотворение и кристалл. Даже человек, совершенно равнодушный к идее гармонии, согласится с этим: или булыжник лежит, или кристалл! Особенно, если это идеальный кристалл. Идеальный кристалл – это, товарищи, столбняк. Так вот наука кристаллография говорит о том, что существует геометрический закон расположения первоначальных строительных частиц, из которых камень собирается. Когда вот такой закон, кристалл выглядит так, когда такой – так, и так далее. И все это можно расписать точно так же, как мы расписываем ударную/безударную строку: существует такой тип кристалла, такой и вот такой, точно так же существует такой ритмический рисунок, такой и вот еще такой. Я не встречала науки, которая могла бы так внятно это объяснить. Заметьте, камни никто не делает искусственно, их никто не может сделать по заказу, они произрастают сами по себе, и по форме кристалл может быть разный. Они растут сами по себе, это само естество.

Точно так же со стихами: идеальные стихи нельзя написать по заказу, они не строятся из кирпичиков. Закон их роста, то, какими они будут, – все это определено с самого начала. Форма содержательна, форму и содержание нельзя делить. И наука кристаллография в этом отношении – просто идеальная поэтика. Когда я это заметила, мне было семнадцать лет, и это меня совершенно поразило и удивило. Наука кристаллография для меня единственное научное доказательство того, что поэзия должна анализироваться по другим законам, и того, что она практически выпадает из литературы как таковой. Если она и может быть исследована, то только так, как могут быть исследованы формы кристалла. Это точно. Поэзия – это не соцзаказ, нет, конечно, стихи можно писать по заказу, но это все будет не высокая поэзия. А дальше – читайте Блока, читайте Мандельштама «Разговор о Данте»: когда анализируются стихи, происходит опускание на ту глубину, где движутся, где сталкиваются геологические пласты, геологические структуры.

Ю. К.: Это метод кристаллографический, да? Структура поэтического языка и структура кристалла…

М. Н.: Дело в том, что если человек пишет стихи, которые действительно считаются стихами, то они пишутся совсем не так, как нам сказал В. В. Маяковский. Ну не так! Если писать по пунктам, это повторимо, это можно сделать…

Ю. К.: Если это повторимо и если это можно сделать – это уже не поэзия.

М. Н.: Вот это я и хочу сказать! Если я делаю по рецепту, значит, это не поэзия. Поэзия делается без рецепта. Человек, который это делает, в сущности тебе об этом точно ничего не скажет… Как сказал Пушкин: *«…паруса надулись, ветра полны; <…> Плывет. Куда ж нам плыть?»*[95] Куда? Куда подует!

Хотя, конечно, существует такая наука – версификация, которая сама по себе очень хороша. Раньше этому учили в гимназиях. Когда надо поздравить кого-то, стихи на случай – это наука очень хороша. Надо сказать, что некоторые люди это делали блистательно, хорошо!.. Но никто никогда не расценивал это как поэзию. Еще одно: для того, чтобы писать серьезную прозу, надо очень много знать. Нужны конкретные, огромные знания, фактология огромная… К тому же нужен непременный контакт с вещами, чтобы я стала частью того, о чем я пишу. Для того чтобы писать стихи, нужны абсолютно другие вещи. Знать много – всегда хорошо. Но вот, например, Пушкин пишет (жутко показательно) «Капитанскую дочку» – прекрасная вещь, золотая проза, сделанная по золотой мере. О том, что не вошло в золотую меру, он пишет в «Истории пугачевского бунта». Потому что виселицы, смерти, весь этот ужас не нужен для реализации того, о чем я пишу в повести «Капитанская дочка». Пушкин сюда приехал, встретился с огромным количеством людей, подошел к той речке, к той крепости, он постоял на этом месте, он стал, насколько это возможно, частью того времени и того места – и получилась «Капитанская дочка». И заметьте, на этой же огромной базе ни одной стихотворной строфы не появилось, хотя там было множество открытий и потрясений. Даже пары строф не появилось. Пара строф появляется совершенно с другого места, совершенно с другого заряда. Скажем, «Медный всадник». Там можно знать очень много, но идет текст совсем другой: там все доведено до предельного накала, и из этого делаются стихи. Иногда говорят, что это лирическая проза, что это почти стихи – да ничего подобного! Лирическая проза – это и есть лирическая проза, и как раз не стихи. Вот когда я пишу гениальное прозаическое произведение (например, «Войну и мир» или «Бесы»), – это конкретное время, это конкрет-

[95] А. С. Пушкин. «Осень (отрывок)».

ный идеологический выход, иногда может быть настолько конкретным, что по пунктикам можно разложить… Вот возьми «Бесы» Достоевского: там по пунктикам расписано, что нас ждет, и этот прогноз сработает в определенном конкретном времени. Но вместительность поэтической строки – это просто жуть какая-то! Вот мы уже говорили, например «*Бессонница, Гомер, тугие паруса…*»[96], – это ужас, что вмещено в эти строки, это просто какой-то кошмар! Поднято все пространство с догомеровских времен! *Тугие паруса* – мало того, что это корабль, это ветер, это море, это скорость, это движение… Но первым стоит слово *бессонница*!..

Ю. К.: Да-а-а!

М. Н.: *Бессонница…* Я вам уже говорила, что я с Д. Быковым не согласна: никаких бессмысленных слов у Мандельштама нет, отсутствие качества у Мандельштама есть новое качество, новое состояние. Бессонница – это очень сложное понятие, которое совсем не сводится к невозможности заснуть. И еще одно: тут сразу же вводится нормальное состояние сознания и измененное, потому что бессонница, как и сон, – это измененное состояние сознания. Мало того, что он поднимает мир жутких тысячелетий, да еще и в двойном освещении! Это просто невероятно! Проза этого просто не сможет сделать. Проза может делать замечательные вещи, но, скажем, вот на каком уровне: есть такой немецкий прозаик Эдуард Мёрике, он писал очень много, но все забылось. Есть у него одна вещичка маленькая «Моцарт на пути в Прагу»: Моцарт едет в оранжевой карете ставить «Дон Жуана» в Праге. Вроде бы все хорошо, все прекрасно: карета, Моцарт, «Дон Жуан», Прага но… Проза это может сделать, но не в больших объемах, эпическое полотно этого никогда не поднимет. Моцарт – как некий херувим, который уходит, улетает – но ведь там об этом нет ни звука! Там есть только легкость движения… Максимум легкой оранжевой движущейся невероятной жизни прет за собой такой же максимум смерти. Вот в этом отношении это просто классная вещь! Мне очень жалко, что она забыта. Этого нельзя сделать и в кино. Только в поэзии. В прозе (да и в поэзии) испанцы это умели делать: Мачадо, например. Там страсти и смерти столько!.. Страсти столько, что смерть будет. Это умел делать еще японец Кавабата. Японцы вообще умеют это слышать, правда, в каком-то страшном виде… Вот она его так любит, так любит (взаимно!), что осталось либо расстаться, либо умереть.

Ю. К.: И умирает…

М. Н.: И умирает…

---

[96] О. Э. Мандельштам. «Бессонница, Гомер, тугие паруса…».

Это все делает поэзия. Вот, скажем, у Юры есть стихотворение, где пилотка и лодка рифмуются: *«… и на кусте качается пилотка. / И в толчее густого комарья / играет на волне пустая лодка»*[97]. Там вообще ничего больше нет, но жизни там так много, что сейчас будет смерть – и она там есть! Никто с такой чудовищной емкостью на таких немыслимо маленьких масштабах не умеет делать такие вещи. Это умеет делать только поэзия. Это что-то удивительное! Это точно так же удивительно, как ювелирка каким-то странным образом сочленится, совмещается с монументальным искусством уже в силу того, что обрабатывается камешек, которому миллиарды лет и который стоит страшных денег… То есть я, с такой крошечкой работая, общаюсь с какими-то глобальными вещами. Так работает абсолютно вся поэзия. И поскольку поэзия умеет делать то, что никто не умеет, она подчиняется закону, которому никто не подчиняется. Закон этот не осознан, не назван и не может быть назван, потому что даже тем людям, которые это делают, его не сформулировать, их долг – его слушать и ему подчиняться, но вовсе не их долг его формулировать и объяснять. Чем больше я читаю стихи, тем больше я в этом утверждаюсь. Вот удивительно, что это заметно даже на объеме строки! Скажем, есть стихи – вот сплошная графомания, но там!.. Вот я одну строку помню: «*Как кукла мертвая, мертва…*». Ну это же здорово!

Ю. К.: Да-а-а-а!..

М. Н.: Есть такая песенка, которая просто набита подобными вещами, всплесками высокой поэзии. Речь идет об аварии: «*Машинист поехал дальше, / Махнув по воздуху рукой, / А трупы в ужасе лежали, / Объяты страхом и тоской*». Это как-то совершенно по-особому страшно! Но страх начинается, заметьте, когда он «*махнул по воздуху рукой*»… Значит, мы уже едем в каком-то другом пространстве… Когда поэзия как таковая начинает сбываться, это просто столбняк.

Ю. К.: А какие-то признаки другие, не физические, есть?

М. Н.: Ну, во-первых, конечно, воздействие. Когда я читаю прозу, я что-то узнаю, я кому-то сочувствую, более того, мне сообщаются мысли, которые я готова принять как высокопробные. Когда, допустим, Толстой убивает князя Андрея за то только, что он недостаточно доверял жизни, это ужасно, но я признаю его правоту. Потому как Анатоль Курагин, какой бы он сволочь ни был, доверял жизни гораздо больше. При таком раскладе мне выделяется какая-то роль в общении с этим.

Но я никаких знаний, никакой информации не получаю, когда я читаю поэзию. И думать я начинаю, если я начинаю думать, совершенно

[97] Ю. В. Казарин. «Все позади – судьба и лебеда…».

с другого места. Меня подвигает на какое-то думание нечто другое, мне остается трепет, глобальное волнение, который мое внутреннее пространство, как тектонические плиты, сдвигает… В моем внутреннем пространстве, которое я, допустим, считала устойчивым, удобным, комфортным (ужасное слово! Я умираю, когда говорят «я в шоке» и «мне комфортно». Боже ты мой! Какой кошмар!..) происходит сдвиг.

Ю. К.: А есть же поэтическая имитация?

М. Н.: Это очень печальный вопрос. Дело в том, что большинство людей, которые читают стихи, любят стихи среднего уровня.

Ю. К.: А средний уровень – это и есть имитация.

М. Н.: Там бывают проблески, прожилочки поэзии. Но они их любят не за это, они их любят за то, что это понятно им самим. Им кажется, что они причастились чему-то возвышенному. Вспомните, я вам рассказывала про одну женщину в Богдановиче, которая меня спросила: «А у Вас для души есть что-то?» Видимо, что-то вроде «*Любовь не вздохи на скамейке…*». Но, с другой стороны, вспомним пятилетнего мальчика, который сказал, что «*На севере диком…*» – это про любовь. Людей, которые будут в поэзии серьезно нуждаться, было, есть и будет мало. И с этим надо согласиться, потому что это правильно. Есть ведь ужасно интересные вещи: когда я работала в библиотеке, мы с девочками договорились не выдавать Асадова, говорить, что у нас его нет. Но те люди, которые считали, что Асадов – высокая поэзия, они же читали Есенина, а Есенин – это поэзия. Это, значит, есть такие поэты, такие величины, которые… нет, я не считаю, что они находятся на границе… Ну, сравните у Есенина поэму «Анна Снегина» и некоторые его вещи… Быков говорит, что лучшая поэма того времени – это «Спекторский» Пастернака, нет, лучшая поэма – «Анна Снегина» Есенина.

Ю. К.: Лучшая поэма – это «Демон»… *(Смеется.)*

М. Н.: Да, лучшая – «Демон», но она до сих пор никем не понята. И такой должна остаться. *(Шепотом.)* И вот по какой причине: я однажды держала в руках натуральный рубин, который весь восток считает более мощным, чем алмаз. Когда его держишь, испытываешь робость и трепет, ибо в нем стоит огонь, жар, который, уверяю вас, может вырваться… *(Шепотом).* И когда я его держу, я ощущаю эту возможность. Почему так, никто объяснить не может, точно так же с поэмой «Демон» – объяснять не надо. Что касается Есенина, он настоящий поэт, очень талантливый, очень хороший, у него есть другое… Повторяю слова его тещи (которая, естественно, его не любила – кому нужна такая пьянь и рвань): когда она подошла к его гробу (а он лежал с разбитым лбом…), она сказала, что она все ему готова простить, ибо она увидела замученного ребен-

ка… Она правильно сказала, ибо существует такой закон природы: если ты меня не полюбишь как мужа, как брата, как любовника, как товарища, я тебя достану – ты меня полюбишь как замученного ребенка. В Есенине щемящей нотой присутствовало поэтическое начало. То, что он безумно нравился женщинам, я прекрасно понимаю. Это правильно. Молодой-то он был очень хорош собой. Так вот, что касается «Анны Снегиной»: в русской литературе была такая традиция, такое особо качество, которое я безумно любила, – целомудрие. Это в наше время считается, что чем больше я голый, тем больше я современный. И вот «Анна Снегина»: *«Не знаю, зачем я трогал / перчатки ее и шарф…*», и дальше – *«Обиду мою / на болоте / оплакал рыдальщик-кулик…»* – это просто потрясающе, не замечать и не хвалить это просто ужасно! И когда мне кто-то говорит, что Есенин плохой поэт, это ужасно стыдно, это отвратительно и просто безнравственно. Почему он так пронимает: у него есть вот это качество – замученного ребенка и еще какая-то песенность, которая по-любому пробивает тебя, если ты русский человек.

Так вот, что касается поэзии, она совершает какую-то внутреннюю перестройку души благодаря сверхволнению, сверхтрепету, который она вызывает. В каких-то стихах это получается с первой строки, какие-то надо читать дольше…

Вот последнее, что я читала и что было хорошо, – это Новиков. Вот этот трепет, накал там есть… Этим совершенно не владеют ироники, ибо там, где появляются юмор, ирония, там вот этого накала просто нет. Вся концептуальная поэзия – абсолютно этим не владеет, ибо это поэзия на случай, это своеобразное выражение мысли, которая кажется мне интересной. Это вообще к поэзии имеет сомнительное отношение. И когда мне говорят, что Пригов – гениальный поэт, я испытываю глубочайшее смущение. Назовите как-нибудь иначе! Неслучайно как-то на одном выступлении, чтобы привлечь внимание к тому, что он гениальный поэт, он сидел на унитазе и спускал спускалку. А Блоку это не надо, и Есенину не надо. Вот когда тебе это надо, значит, уже думай, в какой мере ты поэт… Мы все знаем, как отличается натуральный камень от искусственного, натурально выросший кристалл от отграненного. Вот и поэзия точно так же отличается от версификации.

Ю. К.: Вот я об этом думал… Есть искусственные кристаллы…

М. Н.: …которые на вид красивше!

Ю. К.: Они более хрупкие, что ли? В чем кайф-то?

М. Н.: Когда вырастает кристалл, эта вся структура вырастает в нем сама. Когда граненый кристалл, я беру кусок камня и выпиливаю кристалл… Это, в сущности, скульптура из камня. Чтобы понять эту разницу

и то, что такое поэзия, это «Разговор о Данте», там сказано: идея камня, памятник самому себе… Вот точно так же делает поэзия: бери язык, чувствуй душу – и будет поэзия.

Ю. К.: У Мандельштама еще метафора тканья… Он брал большое полотно.

М. Н.: Это придумано гораздо раньше. Это не Мандельштам. Это «Ригведа»: в рассуждении о мысли, там говорится: «Не постигаю ни нити, ни ткани…»

Ю. К.: Я читал ее по-английски…

М. Н.: Там же много томов, может, ты это не видел… Это уже там сказано.

Ю. К.: Ну, значит, это правда.

М. Н.: Древние люди говорили о сущностно важном, о том, что таким всегда останется. Мы просто этого не замечаем.

Ю. К.: Там, где появляется соц-арт, постмодернизм, поп-арт, там поэзия заканчивается. Есть традиционализм – то, что у меня за спиной, то, что меня толкает вперед. Есть модернизм – то же самое, но модернизированное: ты можешь уйти влево, вправо, но все же ты идешь в том же направлении. А постмодернизм – когда ты никуда не идешь, ты берешь то, что было у тебя за спиной, и перелицовываешь это…

М. Н.: Если говорить о современном театре, кино, литературе, первое, что заметно: человеку сейчас не о чем сказать. Человек не пришел для того, чтобы сказать какую-то глобальную мысль. Вот если кто-то скажет, что Достоевский пришел для того, чтобы сказать нам, предупредить нас: братцы, вот они, бесы, – это достаточная причина. То, что ты назвал традиционализмом, в сущности, это единственный путь, другого просто нет. В свое время умнейший человек и любимейший мною И. А. Бунин, который умел формулировать мысль совершенно точно, сказал: «Заумное есть глупость». Точно так же вот это разрушение жизни – это, в сущности, надругательство над ней, а стало быть – смерть, а значит, не жизнь. И когда берутся эти выдержки, эти цитаты, и подаются мне под другим соусом, мне это жутко не нравится. Нет, можно проявить какую-то изобретательность, все это делать можно, но значительное и большое должно быть серьезно. Вот ты как хочешь, но серьезная литература, серьезная поэзия должна быть о серьезном. В их основе должна лежать серьезная мысль. Когда я читаю товарища Акунина (я не говорю про известных вам девушек – это литературный бизнес, я об этом говорить не буду), он пишет по крайней мере культурно. Но когда он культурно и грамотно делает игрушку для забавы, например, из Турецкой войны, вот тут я с ума схожу.

Ю. К.: Это тот самый выпиленный из камня кристалл.

М. Н.: Да! Да! Он загодя заботится и просчитывает его форму, количество граней…

Ю. К.: Бродский то же самое делал.

М. Н.: Когда человек ничего не знает об этих событиях, он читает это как некую развлекательную вещь, которую тотчас забудет. В фильме «Турецкий гамбит» была одна атака под Горни-Дубником, там мой дед участвовал. Под этим Горни-Дубником мы положили цвет армии лейб-гвардии, то есть двухметровых красавцев. Ну русские воюют так, что отступать не могут. Но туркам было мало, турки еще прошли и этим красавцам поотрубали головы, поотрубали и пораскидали… Так вот от этого меня освобождают. Там действует хорошенькая барышня и так далее. Раз это развлекательная вещь – зачем мне отягощаться-то? А на мой взгляд, лучше тогда вообще ничего не говорить, вот просто ничего. Вот это ужасно. Все, что сейчас делается в театре и в литературе, делается на таком уровне: от серьезного, важного, сущностного меня освобождают. Мне это очень не нравится. Я признаю, что в профессиональном отношении это по-своему интереснее. Когда люди смотрят «Турецкий гамбит» и говорят: «Какой хороший фильм. Какой милый главный герой!» Да, он милый, он очень милый, но если я вынесла только это – это какой-то кошмар.

Да, во-первых, сейчас нечего сказать. На всех выставках современного искусства это видно (мы как-то в Питере были с Машей) – ну нечего, у человека своих глобальных мыслей нет. Во-вторых, вы обратили внимание на то, что гениев больше не будет?

Ю. К.: Почему?!

М. Н.: Они не востребованы.

Ю. К.: Ну и что! А природа?

М. Н: Ну не знаю… Может быть, что-нибудь там природа повернет. Но вот как-то в них не нуждаются, над ними надо думать, их надо переваривать, они тебя перестраивают… В гениях больше не нуждаются.

Ю. К.: Будут! Будут! Если есть бездны, то будут и гении.

ВЕЧЕР ОДИННАДЦАТЫЙ

Ю. К.: Майя, как ты относишься к прозе поэта?

М. Н.: Проза поэта – дело сложное. Вся сложность в том, что у нас и Пушкин, и Лермонтов, и Бунин классно работали и в прозе, и в поэзии, а потому нельзя взять и сказать, что одно от другого радикально отличается. Хотя они отличаются. Вот такие были наши титаны.

Ю. К.: Был Пастернак, Мандельштам…

М. Н.: Да! Мандельштам – вообще потрясающий писатель. Более того, Блок писал великолепно! Просто прекрасно писал! Другое дело, что каждый писал с поправкой на свои человеческие качества… Про русскую прозу я скажу то же самое, что и про русскую поэзию: я равной литературы не знаю. Конечно, я могу быть сильно необъективна, потому что для того, чтобы говорить так досконально, нужно читать в подлиннике. А переводчиков, которые переводят адекватно, очень мало. Рильке – очень крупная величина. Я честно прочла Рильке на немецком, после чего мне стало понятно, что он не переведен. Мы имеем нечто другое. Кроме того, у Рильке настолько своеобразная степень увязки возвышенного и земного, что равного ему найти просто безумно трудно. И то, что сделал Пастернак, – это не Рильке. Это хорошие стихи, но нет этого у Рильке, у него вообще стихи о другом…

Что же касается прозы, дело в том, что русский язык все поправляет в лучшую сторону. С какого бы ты языка ни перевел, получается очень красиво, потому что у нас красивый язык. Это самый страшный искус, перед которым останавливается переводчик… Я понимаю, что каждый переводчик старается сделать так, чтобы это было читабельно, чтобы это было в жилу – его конкретные задачи мне ясны. Я прозу не переводила, но на моих глазах моя дочь Маша в процессе написания диссертации пришла к выводу, что отечественным переводам с французского можно доверять не совсем. Она их все перевела заново. Она пошла даже дальше. Для того чтобы утвердиться, что она права, она сделала замечательную вещь: она перевела Камю, ранние рассказы, которые у нас вообще не были пе-

реведены. Переводы мне очень понравились. Я таких никогда не читала. И я поняла, что Камю говорит со мной совсем с другого места, совсем не с того, куда его авторы ставили передо мной раньше. Вот он где-то меня динамит, динамит, а потом идет кусок, который становится совершенно ярким, прозрачным… Так вот после того, как я встретилась с Машкиными переводами, я попросила, чтобы она перевела мне Пруста. Ну и Пруст точно так же: он на французском выглядит не так. Поэтому надо читать в подлинниках. Везде, где я бывала, я ходила и слушала, как говорят. Испанский язык очень красивый. В Грузии красиво послушать. В Армении мне очень понравилось. Самое безумное, самое сложное – это переводить с украинского. Украинский язык – это не что иное, как сниженный по своей мощности, потерявший качество, пространство, русский.

Ю. К.: Одна американка сказала, что украинский язык – это карикатура на русский.

М. Н.: Да, это просто смешно. Мы как-то Кельту подарили Байрона – утомились хохотать! Байрон в переводе на украинский – это просто… этого просто нельзя делать! На мой ум, не написать на украинском ни «Полтаву», ни «Медный всадник»…

Ю. К.: А что произошло с украинским языком?

М. Н.: Я не хочу прослыть каким-нибудь ненавистником какого-нибудь народа, но я сразу скажу: единственные, к кому я никогда не буду хорошо относиться, – это немцы. Вот какие бы мы ни были безбашенные кретины, мы никогда не делали то, что делали они… Мы не можем снимать волосы и набивать ими матрасы. Мы не можем этого.

Что касается украинского языка, мы когда-то жили вместе, Киев – мать городов русских, у нас общая история. Говорили мы когда-то на языке, обладающем равной мощностью – на древнерусском: в нем все гремит, грохочет. От этого же никуда не денешься. А потом то ли самые безбашенные, то ли самые пассионарные люди рванули с достаточно теплых и плодородных степных районов, где все растет и никакой смертельной зимы нет, в сторону северо-востока, то есть в ночь, в смерть, в черноту – тут должны быть какие-то совершенно особые люди. И какую-то мощность, тяжесть языка они поперли с собой. А люди, которые остались там, в достаточно благополучном месте… Заметьте, они были не мореходы, не кочевники…

Ю. К.: А русские, что, кочевники? Мы же пошли на Урал, на Сибирь…

М. Н.: Когда мы сюда шли, мы не думали, что здесь есть Урал и Сибирь.

Ю. К.: Может, в русских какой-то гений познания сидит?

М. Н.: Меня опасно об этом спрашивать, ибо я со всем хорошим, что о нас говорят, немедленно соглашаюсь. Они [украинцы] остались в благополучном месте, защищенные от тех жестоких отношений с природой, на которые шли мы. Ну то же самое, что в Европе, где всюду климат такой, что с ним спокойно можно договориться. Мы не можем климат пересилить, не можем с ним договориться, мы можем только влиться в него, влюбиться, вжиться, стать им, стать частью его, со всей его мощью черной ночи…

Ю. К.: Это называется детство. Ребенок всегда чувствует себя частью природы. Ребенка в любое место сунь – и он станет частью леса, частью степи… Ментальное состояние у нас – детство. Русские все – дети. Поэтому мы и безбашенные.

М. Н.: Вот такая мысль мне пришла в Крыму (поскольку я очень много времени провожу там): они очень не любят Крым. Камень, земля… Крым требует того, чтобы я полила их своим потом и кровью, ведь там камень. Они не любят Крым. А мы с ним сжились.

Вот что мне всегда нравилось в нашей литературе, что она всегда говорит о чрезвычайно важном, она всегда отвечает на вопросы: откуда мы, кто мы, куда идем. Обратите внимание, скажем, герой французской литературы – Растиньяк, который перемещается штурмом от дамы к даме, и он вполне герой! Там есть два Растиньяка – который это смог пройти и который не смог. Тот, который смог пройти, – герой. И когда мы все это читаем, мы понимаем, что и женщины любят его за дело. Это правда герой. У нас такого героя нет. Вот самых таких основополагающих героев, которые у них во Франции правда герои, у нас нет. Обрати внимание, какие мужики у них всегда играют это! Лучшие просто! Потому как он для них герой. Дальше меня поражает другой герой в европейской литературе… Я не говорю про японскую литературу, там совсем другая философия, другое отношение к жизни, я это регулярно читаю… Но мы мало понимаем друг друга. Но вот я когда это читаю, это для меня красиво. В этом мы сходимся. Во всем остальном мы понимаем друг друга недостаточно.

Что касается европейской литературы, там, скажем, очень хороший писатель Фицджеральд. У него золотая рука. Это человек, который может сказать живое слово.

У испанцев есть одна идея – идея гордости, которая мне жутко нравится и которая у нас трактуется как гордыня. Но у испанских писателей это сделано так, что она остается гордостью, спасительной и возвышающей человека. Еще, что мне нравится: вот эта их безумная страстность никогда не позволяет им впасть в сентиментальность. Все

существование испанской культуры на южно-американской земле само по себе чрезвычайно интересно и невероятно. Я равного ничего не знаю. С одной стороны, то, как они пришли туда, – это страшный грех, это просто ужас, они изничтожили несколько мощнейших культур… И, видимо, люди там были с совершенно особенным представлением о жизни и, видимо, с чудовищными знаниями, а они это все гробили… Они вырезали миллионы людей. Тех людей осталось мало. Но из тех людей получилось нечто похожее на нашу мордву, чукчей, чувашей, на то, как наши язычники, оставаясь язычниками, сделали вид, что они приняли христианство. Те люди до сих пор своим обычаям верны: они носят одежду с определенным орнаментом, определенных цветов… У Латинской Америки ужасно красивая мифология. История мифологии тоже интересная: испанцы же сначала все сожгли, а потом начали собирать, записывать задним числом. Я полагаю, что мощность того, что осталось, даже испанцев пронзила. То, что получилось у испанцев, получилось под чудовищным воздействием мифологии. Поэтому получилась литература совершенно классная.

Ю. К.: О чем бишь мы? Да, о нас, о русских.

М. Н.: Да, мы тут с Юрием Викторовичем жаловались друг другу на то, какой у нас несчастный характер. Несчастье всей моей жизни в следующем: я никому ни в чем отказать не могу, хотя это плохо. Это глупость. Надо научиться это делать, потому что это разумно и хорошо. Но другое дело, как бы это было теоретически… Вот приведу пример, как один наш общий знакомый решил это теоретически. Константин Николаевич Мамаев – очень умный человек, сам он пишет и занимается философией, и не на уровне потребительском, а на самом серьезном. Были товарищи, которые были заинтересованы в его суде об их творениях. Так вот один товарищ все добивался его, чтобы он посмотрел его философские сочинения. Ну, в конце концов, он взял, посмотрел, и когда тот пришел к нему и робким голосом спросил: «Ну что? Что вы можете сказать о моей работе?», тот совершенно спокойно, глядя ему прямо в глаза, сказал: «Ну я, вообще-то, такой … не читаю». Вообще совершенно классно! Все тихо, спокойно, не повышая голоса. Все все поняли. Больше никто не приставал. Но это надо уметь. Ну вот если бы это сказал Юра, на него бы человек очень обиделся… Ну просто человек настолько уникальный, самобытный, что ничего похожего нет! Он потом сказал, что это было сказано в плане чисто жанрового определения с такой же интонацией, как если бы он сказал: «Я пьес не читаю вообще».

Е. Ш.: Юрий Павлович Казаков – это продолжение традиций русской прозы?

М. Н.: Юрий Павлович Казаков – просто русская проза. Военная проза стоит несколько особняком, поскольку здесь есть то, что удерживает на хорошем уровне любое прозаическое произведение: судьба человеческая и судьба народная. Все совпало. Вот существует «Василий Тёркин», про которого Бунин сказал, что это гениально. Но жанрового определения «Василию Тёркину» я дать не могу; это, конечно, не поэма. Что это такое? – это просто «Василий Тёркин». Военная литература стоит как бы особняком. Я к ней всегда хорошо относилась. Там есть интересные вещи. Отношение к природе, к врагу, к отечеству – все в ней есть. Эти главные магистральные линии русской литературы совпали в ней. Единственное, что особняком стоит – «Повесть о настоящем человеке», потому что это вещь, сделанная на заказ, на потребу. Она сработала, в основе ее лежит жизненная правда, но она стоит особняком. Или, допустим, такая вещь, как «Молодая гвардия», когда сказали Фадееву усилить роль коммунистической партии. Он берет и усиливает. Вот это трудно понять, хотя само по себе, когда шестнадцатилетние дети принимают мученическую смерть, это совершенно достаточно для того, чтобы получилась хорошая книга.

Что касается послевоенной литературы… Такие книги давно забыли. Я не верю, что силу духа поддерживают такие вещи. Что касается «Белой березы», ну это такая придуманная вещь… Заметьте еще, что после войны начали заново издавать русскую и зарубежную классическую прозу. Но я не осуждаю послевоенную прозу и такие вещи, как, скажем, «Товарищ Анна»: было полно одиноких баб, которые хотели читать про женскую судьбу. Там ведь было про человеческие отношения: про любовь, про семейную жизнь… Ничего такого бесчеловечного, никакой вопиющей пошлости или подлости там не было. Это было просто… да просто не Лев Толстой и не Достоевский.

Что касается Гроссмана, я о его книге даже говорить не буду, она для меня отпала от корпуса военной литературы, так как была написана намного позже, когда общественное мнение начало меняться: поначалу, когда магия победы держалась, на человеческие отношения смотрели сквозь это, а потом это все изменилось. Люди, которые родились после войны, на это смотрели по-другому. Заметьте, это они начали читать Евтушенко и Вознесенского, а не мы. Мы понимали, что они выполняют другую работу. Мы чувствовали разницу между этим и, скажем, Тютчевым, Пушкиным, Лермонтовым… За нами была война и победа, а за ними – не была. Они ждали перемен и по ним страдали. Жизнь тогда была сильно не такая, какой нам ее сейчас описывают. Это была жизнь, наполненная смыслом, любовью, хлопотами, заботами. Да, она происходила в жесто-

чайших условиях, но вовсе не каждая минута ее была наполнена идеологическим смыслом. И то, что я люблю Петю или Колю, для меня всегда было важнее, чем то, что сказали на съезде партии. Это жизнь. Жизнь всегда побеждает. Когда я, например, читаю «Кысь» Татьяны Толстой – ну не знаю. Это никакая не доблесть – оплевать то, что давно побеждено и отмерло. В той жизни какие-то жизненные пределы и высоты были ничуть не ниже, чем в нынешней. Предел человеческой любви, мужества, доблести и терпения был гораздо выше. Те люди были нацелены на то, чтобы жить, растить детей. Помните, я про занавески рассказывала? Бабы встали на смертный бой, чтоб наполнить жизнь красотой. А потом это все было объявлено пошлостью и осмеяно. Напряжение жизни было ничуть не меньше. То же самое касалось чтения – всегда, во все времена: и во времена Гомера, и тогда, и сейчас были люди, которые различали плохую литературу и хорошую.

Что касается Юрия Казакова, это очень хорошая классическая русская проза, но это, товарищи, рассказы. Я считаю, что его можно спокойно упоминать рядом с Буниным. К тому же он, вне всякого сомнения, любит то, о чем пишет. Он обо всем пишет очень деликатно… Нет, писатель очень хороший, что тут скажешь. Все это очень хорошо читать, потому что это писал наш человек про нашу землю. И мне это очень нравится.

Ю. К.: Теперь, может быть, о Симонове? О прозе его?

М. Н.: Когда Симонов написал «Живые и мертвые», это читалось просто нарасхват по той простой причине, что наш читатель был приучен к тому, что в литературе можно вычитать что-то такое, что тебе не скажут. Он описал начало войны: это же безумный ужас. Наверное, правильно, что об этом никто не говорил в сорок втором, в сорок третьем… Наверное, правильно. Потому что когда тебе приходит извещение, что муж твой или сын без вести пропал… Притом наше отступление и бегство было ужасным. К тому времени, как объявили войну, мы уже четыре часа вели бой. Да почитайте у Жукова… Какого ранга была рассеянность! Теперь мы, понимаете, можем все это объяснить. Скажем, такие командармы, как Ворошилов и Будённый, красные кавалеристы, совершенно были не приспособлены воевать в условиях этой войны. Отступали мы очень быстро, сдали все… Но в это же самое время была Брестская крепость. Но именно в это время была допущена блокада Ленинграда… А в целом растерянность была полная, да… Это потом мы научились воевать, и воевали просто классно! Про некоторые операции – просто наслаждение читать, как это все было задумано.

Что касается Симонова, люди привыкли ему доверять: «Жди меня, и я вернусь…», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…» – это все

было известно, это учили в школе. Но тогда еще не были известны подробности, которые наши пишущие товарищи должны учитывать. Скажем, как он снимал посвящения, потому что разлюбил. Мелочный, дурацкий поступок. То, что он хорошо относился к Сталину, это принимали, а то, что снял посвящения, – не простили. Это нехорошо.

Но сейчас его книга к числу читаемых не относится. Несмотря на то, что военная тема до сих пор востребована. А «Живые и мертвые» – это мы все знаем.

Ю. К.: А Владимир Богомолов?..

М. Н.: Ну, Богомолов что сделал? Он, с одной стороны, обладал уникальным материалом, но из него получился действительно очень хороший писатель, который все это смог выстроить, удержать. У него есть рассказ про солдата, который стоит несколько часов под дождем и не имеет права пошевелиться, он уже потерял счет времени… И потом выходит девочка, ребенок, и вот она там кружится, играет, а потом вбегает в дом. И ему без нее стало скучно. Ну, это просто очень хорошо! Вот война, а вот человеческая душа. Таких вещей, кстати, у него очень много, он вообще это делать умеет.

Ю. К.: Богомолов, Воробьёв – да, хорошие писатели. Кондратьев…

М. Н.: Что касается Кондратьева, это было все прочитано внимательно, с душевной приязнью. Но это все уже никому неинтересно, мы это все уже знаем.

Ю. К.: Слушай, а Василь Быков?

М. Н.: Василь Быков для меня, вне всякого сомнения, хороший писатель, совестливый.

Ю. К.: Катаев…

М. Н.: Это не проходной писатель! Катаев – очень интересная фигура.

Ю. К.: А вот Трифонов, Нагибин, Носов…

М. Н.: Про Трифонова мне очень трудно говорить. Это не для меня… Что касается деревенской прозы, она интереснее: драматизма больше, печали больше, потерь больше. Ведь Россия была крестьянская страна, вся наша культура, вся наша этнография – все оттуда вышло! И, в общем-то, они были последними людьми, которые это вживую помнили, которые это честно любили. Это наши корни, которые терять не надо, иначе мы потеряем сами себя. Вот если мы сейчас от этого откажемся, если мы сейчас эти корни отрубим, то никакой нравственности, которая будет нас в жизни на плаву держать, у нас не будет. Они тогда к этому относились еще, как к чему-то живому. Более того, почитай «Живые и мертвые»: вся крепость, все источники силы народа – все они оттуда идут! Сейчас всего

этого уже больше не будет. Но на мой ум, вот этого содержания – жутко печального – так никто и не услышал. Распутин говорил о том же самом: корней не будет – нас не будет. Но что касается городской прозы, мне об этом трудно говорить. Я ничего особенно глобального там для себя не вижу.

Ю. К.: А Катаев?

М. Н.: Ой… Катаев – это само по себе очень интересное явление. Катаев, вне всякого сомнения, человек очень талантливый, очень способный и жизнеспособный. «Белеет парус одинокий…», «Хуторок в степи…». Он, видимо, сделал то же самое, что делал Алексей Толстой: раз надо жить по этим условиям, то мы, не потеряв человеческого лица… Вот поэтому так вот.

Ю. К.: Лучше Крапивина-то.

М. Н.: Их нельзя сравнивать. Катаев описывал реальные факты. Крапивин описывает ситуацию придуманную, писателем устроенную. Это две большие разницы! Там я читатель, а здесь соучастник. Сравнивать нельзя!

Ю. К.: Катаев же учился у Бунина… *(Смеется.)*

М. Н.: Когда Катаев пришел к Бунину и попросил его что-нибудь написать, Бунин ему написал: «Заумное есть глупость. Иван Бунин». Иван Алексеевич Бунин вообще всегда был способен на красивые поступки. Мне очень нравится случай, когда он едет по Парижу, зол был на что-то, матерится девятиэтажным, а рядом сидит шофер, из русских эмигрантов, весь в восторге, говорит: «Мсье, наверное, моряк?» – «Мсье академик. По жанру изящной словесности». Вот такие дела.

Что касается Нагибина и Трифонова, ругать их – Боже избавь! Но когда там находят какую-то глобальную проблематику, я не знаю… Вот глобальную проблематику в «Мертвых душах» я вижу, а там – нет.

Ю. К.: Я думаю, что о деревенщиках надо отдельно говорить: Распутин, Астафьев…

М. Н.: Астафьев – не деревенщик. Астафьев – это нечто гораздо большее. Да и Распутин не деревенщик… Да, о них давайте отдельно.

А я вам расскажу историю о том, как у меня не случилось романа с Валентином Распутиным. Ахматова рассказывала о том, как у нее не случилось романа с Блоком, а у меня есть история о неслучившемся романе с Распутиным. Приезжаем мы на Байкал: я, Келя [Кельт], Валера Мухачёв, Саша Калужский. Саша в то время жил там, вот мы туда и нагрянули. Город, в котором жил Саша, был полон нестоличного обаяния, мне он очень понравился. Идем мы как-то по городу, о чем-то рассуждаем, и к нам вдруг подсоединились три товарища. Пошли с нами, в разговор

вступили – о Достоевском, о Кафке… И тут мы проходим церковь, в ней – музей. И я, подняв голову на обезглавленные купола говорю: «Классно, наверно, ночью в музее!» И товарищ один говорит: «Так давайте зайдем!» Достал ключи, мы завалились в музей, все пересмотрели, позвенели во все бубны, на всех нартах пересидели… Потом мы поехали на Байкал. Пока был день, было тепло, красиво, хорошо. А когда стало темнеть… Байкал, вы знаете, это прорва ледяной воды. Вода настолько ледяная, что у тебя возникает ощущение, что ты столбом в него вмораживаешься, так как в нем невозможно дышать и двигаться. Парни пошли за матрасами, а я стояла на длинном балконе пансионата, в котором мы поселились. На мне надето два свитера, полотенце на шее и одеяло шерстяное сверху. Стою я на балконе и курю. Вдруг смотрю: внизу идет человек с детской, милой улыбкой. Я с балкона свешиваюсь, он поднимает он ко мне лицо и говорит: «А вы чего не танцуете?» Я ему: «А вы чего?» *(Смеется.)* Дальше спрашивает: «Ну как вы тут?» Я ему отвечаю: «Да все зависит от того, сколько одеял, что ты ешь, что ты пьешь… Холодно». Он: «Да вы хоть не вздумайте к ихнему Байкалу подходить». Поговорили мы с ним, он ушел. Стою я дальше, он опять приходит, мы опять поговорили. Парни матрасов набрали и вернулись. Я к ним пришла и говорю Кельту и Валерке: «Там такой парень симпатичный. Улыбка прелестная. На артиста какого-то похож, а артист тот на Распутина очень похож». Вдруг приходит Калужский и говорит: «А там Валентин Григорьевич с друзьями приехал…» Я тогда этого совершенно не связала. Пошли мы на следующий день на пляж, к озеру. Рядом с нами компания какая-то. Калужский на них показывает и говорит: «Так вот же Валентин Григорьевич…» А там стоит этот парень, с которым я разговаривала. Потом мы оттуда уехали. А вскоре вышла книга «Слово о полку Игореве» Комлева. А Валентин Григорьевич, я знаю, был очень неравнодушен к Отечеству и к истории отечественной литературы. Я взяла и надписала ему эту книгу и отправила. Через некоторое время приходит мне в ответ его двухтомник. В двухтомнике письмо. А в письме спрашивает, помню ли я его. *(Смеется.)* Я была безумно рада, что он такой симпатичный, а не некрасивый, как мне представлялось. Вот такая история: романа у нас не было.

Ю. К.: Поговорим о камнях, о камушках?

М. Н.: Хранящую, жизнеутверждающую энергию камня лучше всего носить в энергии женской, то есть в серебре. Серебро – это очень красиво, некоторые камни нужно носить в серебре. Что касается алмаза, то весь XVII век алмаз жил в серебре, и правильно! Потому что, окружив его цветным металлом, мы его свечение собьем. Ну вот сейчас его можно делать в белом золоте… Но белое золото обладает мужской энергией,

а серебро – женской. Белое золото от хорошего серебра на глаз отличается чрезвычайно мало.

Ю. К.: А что значит «твой камень»?

М. Н.: Твой камень – это традиция не уральская, это традиция европейская. А европейской традиции я не склонна тесно и близко доверять по той причине, что в нее вмешиваются продавцы камня. Они могут в рекомендательные списки включать тот камень, который нужно продать, потому они постоянно варьируются, и мне это не нравится. Либо надо уже обратиться к древности: торговля камнем древних интересовала гораздо меньше, чем само общение с ним.

Еще мне очень нравится уральская традиция. Наши камни открыли достаточно поздно, отношения у нас с ним сложились особые. У нас камень был знаком места, нагружать его мистическими значениями было не нужно. Зачем окружать камень мистическими значениями, если я его корзинами ношу?.. Поэтому у нас так сложилось: если ты на этот камень глядишь, и тебя к нему тянет – вот и возьми его, вот он твой и будет.

Ю. К.: В Индии есть крепость Голконда, которую построили мусульмане в Средние века. Там есть уникальные вещи. Там есть, например, телефон средневековой: ты подходишь к воротам, стучишь в окошко, представляешься, говоришь, к кому ты. Стража поворачивается и спокойным голосом говорит: «Казарин. К хану». Через пять километров стоит еще одна стража – слухачи они называются. Слухач стоит и слушает. А Голконда – это имя рубина и вина. Рубина огромного, с конскую голову. Когда я в Индии говорил, что я с Урала, они сразу реагировали: «О-о, камни! Камни там есть…» В Индии знали, что Урал – это камень.

А почему вещь, изготовленную из малахита, нельзя в руки брать?

М. Н.: Вот я часто встречала такую фразу: «Малахитовая шкатулка – замечательное изделие уральских мастеров». Малахитовую шкатулку уральские мастера в руках не держали! Ее вынесли из горы. Она была изделием тех самых горных мастеров, которых никто не видел. И когда она в руки попала к барыне, и та хотела ее переделать под свои украшения, мастера ей что сказали? – не нами делано, поправлять мы не можем… Она явлена у Бажова именно в этом виде: это мощность и неразгаданная тайна уральских недр. Жена Степана не могла эти бусы надеть, потому что она земная женщина. И ее все это тянуло, холодило, душило… А вот Танюшка, у которой глаза зеленые, а волосы черные, отец которой Хозяйку видел, ей все это было к лицу. Надо сказать, что вся эта мифология очень красивая. Сейчас, в век прагматический, она считается смешной, и ее в пору забывать, но она очень красивая.

Как выбирали камни… Проба делалась так: брали камень, заворачивали в полотняный мешочек и клали под подушку: если тебе плохое, мучительное снится, значит, камень не твой. Он не есть плохой, он не твой.

Ю. К.: А малахитовая шкатулка – это что? Загадка? Тайна недр, тайна мастерства?.. Тайна отношений человека с недрами.

М. Н.: Да, конечно. Ведь сами наши недра есть малахитовая шкатулка. Открывается она, а там богатства набиты…

Ю. К.: А, может быть, она рассмотрена как ящик Пандоры?

М. Н.: Как ящик Пандоры, я не знаю… Вообще, еще с шумеров, с Древней Греции подземное царство – царство смерти. И тот же Аид, властитель царства мертвых, по совместительству хозяин подземных недр. И Гильгамеш идет искать секрет бессмертия в недра, ибо так оно и есть. Я детям рисую так: вот могилы, в которых мы хороним наших любимых бабушек и дедушек, а вот шахта… То есть они над нами. Мы включаемся в толщу каменного неба… Даже когда видишь макет или чертеж шахты, дрожь берет, а уж когда туда едешь… Вот могилы – два метра. Это же страшное дело… То есть они, наши бабушки и дедушки, в могилах, далеко над нами, далеко вверху.

Ю. К.: Получается, что камни – это даже не знаки, а предметы, которые связывают два мира?

М. Н.: Ну конечно! А что касается традиции, она связывает и мертвых, и живых. Камень – это память. Камень – это знаки земли. Как было в старом Екатеринбурге? Чем я более уважаемый человек в городе, тем лучше обработанные плиты гранита лежат вдоль моего дома. Если я буду уважать землю, честно работать на ней, то она мне откроет свои богатства.

XVIII век был безумным подъемом, бумом: все собирали, как безумные, минералы. Все цари, императоры и т. д. Жена Павла I, например, так еще и сама обрабатывала камень. У Екатерины еще было… Ну там больше по бриллиантам. Они у них кучками на столах лежали, когда они в карты играли. XVIII век был веком бриллиантов. Они были везде, во Франции, в Европе – повсюду… Хотя я до сих пор считаю, что есть камни покраше бриллиантов. Потом во всем мире отошла мода на минералогические коллекции, а у нас нет. Потому что у нас это не знак времени, а знак места. Это способ показать, что мы чтим и слышим землю, на которой живем. УОЛЕ тут инициативу проявило интересную: они устроили так, чтоб в каждой школе была коллекция камней. Все это прекратилось после победы Великой Октябрьской Социалистической революции. После революции связи с землей отрицались как ненужные. Если я в шахте работаю, то я – кто? Или я соработник земли, я с ней договариваюсь, и она дает мне

возможность на ней работать, или я сволочь – обворовываю свою землю. Это разница. У нас на Урале это всегда понималось.

Ю. К.: То есть большевики придумали себе новую эпоху, новое время, им не нужно было это место, это пространство…

М. Н.: А ты не помнишь, что ли, отношения большевиков с местом, с пространством? Мы были местом, которого не жалко.

Ю. К.: Я имею в виду, что они выдумали некое время, чтобы это пространство покрыть этим искусственным временем… Люди стали завоевателями земли. На самом деле время и пространство – это одно. Мне кажется, что камень – это не только знак пространства, но и времени.

М. Н.: Да, конечно! Меня поражает, как маленькие дети чувствуют камень: они сразу понимают, настоящий это камень или нет, кожей чувствуют…

Ю. К.: Получается, что камень – это лучшая земля?..

М. Н.: Как считают на Урале, камней злых, добрых, отводящих болезнь, нет. Бажов считал, что это от безделья-рукоделья трепотня. Дело в человеке. Все дело в том, каков человек: вот каков человек, так и будет к нему камень. Что касается веры людей в камни, нельзя к этому относиться несерьезно, ибо этому тысячи лет!

Ю. К.: А бирюза – интересный камень…

М. Н.: Бирюза у всех народов считается хорошим камнем. Миф есть интересный: она, дескать, возникла из костей людей, умерших от великой любви. То, что у нас продается, это не бирюза, а подделка: это камень от природы серо-белый, но он впитывает краску, и становится голубым. Но есть и живая бирюза, она, правда, очень хороша. Это такой камень дневной, под солнцем, на загорелой коже – замечательно. Красивый, очень красивый. Надо сказать, что есть вещи бирюзовые немыслимой красоты.

Ю. К.: А ты какие камни носишь в основном? Меняется ли у тебя набор камней или есть постоянный какой-то?

М. Н.: Я вообще камни ужасно люблю. Я их любила всегда. Мы когда были совсем маленькими, война же была, игрушек у нас никаких не было, и мы играли камнями: малахит какой-то дробили, пиритами стучали, разводили костерочек за сараем, на заднем дворе, кидали туда куски вермикулита, и он делал в костер так: пух-пух-пух! Где мы брали этот вермикулит – не знаю! Что касается хрусталита и пирита – мы их брали как на Шарташ идти в сторону Березовского, тогда это можно было под ногами найти. Мне посчастливилось жить в городе, полновесно украшенном камнем. Я жила в самом красивом районе города – в районе Розы Люксембург, Рязановские усадьбы, Железновская усадьба, Царский мост. Мостовые и тротуары – равных в городе не было. Мостовые были из гра-

нита темного цвета, похожего на лощеную кожу. Тротуары из огромных гранитных плит. Вдоль всей улицы стояли гранитные тумбы… Раньше вообще в городе лежало очень много громадных валунов. Я бы эту традицию вернула: раз люди положили – значит, пусть лежит. Перед нами был Железновский дом: совершенно целая усадьба, насыпная горка, на ней беседка, спуск к реке, мраморный фонтан – все это было совершенно цело, потому как в войну у людей не было энергии и силы на разрушения. И мы по всему этому ходили, в совершенно каменном таком городе… Что касается камней, я вообще не могу понять, как можно сказать «бриллианты – лучшие друзья девушек»? Чувства можно дарить в чувствах, а в бриллиантах – это уже пошлость. Но про бриллианты – это от полного незнания. Поскольку есть камни немыслимой красоты, таинственности, какой-то чарующей, невероятной мощности.

В древности отношения с камнем входили в систему отношений с природой вообще. Я отбрасываю вот эти достаточно комические европейские… А восточные – очень интересные. Они очень разные. Они камни наделяют и свойствами ясновидения… И существует масса историй о камнях, которые рассказываются совершенно серьезно и т. д. Я всегда в это верю. Потому что я это знаю по себе: как только начинает болеть голова, я все с себя сдираю… С другой стороны, я помню, Леонида Анатольевича Устьянцева жена, как только заболевает, сразу идет – только бы за изумруд взяться, и все, ей полегчает.

Помните Антея? Я все вспоминаю письма Мамина-Сибиряка… Я так и не понимаю, почему этого до сих пор никто не напишет, это самое главное, страшное, поучительное, красивое событие во всей его жизни, когда он заявил, что это его любимая земля, она его спасение, она его вдохновение, она для него все… А потом находится женщина [Мария Гейнрих], и он с этой женщиной эту землю покидает. Дальше вся его жизнь была болезни, несчастья, женщина умирает, ребенок больной. Если его письма почитать, это ужасно: «Я умер для него» (то есть для Екатеринбурга) – матери такое пишет в письме. А через год пишет, мол, плачьте вместе со мной, Бог наказал меня. Поразительно… То есть если ты вслух, письменно и большим тиражом объявляешь, что ты без этого жить не можешь, значит, все. Ни в коем случае клятвы нарушать нельзя. Я вот вспомнила недавно «Живи и помни» Распутина… И баба Саша моя говорила: ни в коем случае клятвы нарушать нельзя! Нарушение присяги (в «Живи и помни») – совершенно то же самое, что нарушение клятвы. Так что какие-то отношения все же есть. Классических мастеров мало интересовали слава, деньги… И существовал роман с камнем. Любовь к камню. А во всякой любви меня интересует только одно: чтобы она

длилась. Я согласна платить, страдать, но чтобы она длилась… Вот так и в любви к камню: важно было, чтобы этот роман не кончился. Поддержать его можно единственным способом – от этой земли, от этого камня.

Ю. К.: А вот природные сооружения?.. Которые природа сама возводит?.. Чертов палец, Семь братьев…

М. Н.: Здесь есть какие-то глубинные и совершенно потрясающие вещи. Что касается Семи братьев и т. д. – это мифология распространенная. Сами сооружения – продукт выветривания. Горы жутко старые… Это делается миллионы лет. А у нас это все переводится в область мистики. Но это не мистика. Это природа. Мысль о том, что природа умнее нас, уже высказывалась, но она очень многим не нравится. Мысль о том, что она все время нам хочет что-то сказать… Более того, если читать древнюю мифологию, она постоянно нам что-то говорит, говорит, говорит, а мы постоянно закрываемся и закрываемся. Это просто невероятно. Это очень страшно. Не знаю, это, может быть, инстинкт самосохранения, а может быть, глупость… Если инстинкт самосохранения – это еще ничего. Но это такая страшная самоуверенность: человеку кажется, что, выделив себя из природы, он становится сильнее. А он становится ничем.

Ю. К.: Он становится тем, что он есть. Человек – это наночастица природы. Не более. Это не квант, а просто вообще – ничто.

М. Н.: Я помню, были мы как-то в Киргизии. И наш вагон забросали камнями и разбили весь вагон. И когда это все началось, никто ж не понял, что это такое, а Гриша маленький был, и вот Гришина голова *(показывает)* – и я его закрываю, и в этот момент падает вот такой камень рядом *(показывает)*! А когда мы спали, я слышала рядом какие-то странные звуки, и само качество этих звуков мне показалось странным: как будто какие-то рвущиеся крики. Как будто мы летим, обгоняя крики. И я стала думать, что это такое могло бы быть. А это на самом деле люди, которые кидали камни, орали. И света нельзя было зажечь… И всегда эта свобода выглядит ужасно. Я всегда говорю: прежде чем говорить о свободе, давайте разберемся в терминологии: что это такое? Ну вот, лежал вот такой вот слой битого стекла. Мне очень понравились товарищи проводники, которые пришли и сказали, что, мол, раз вы свиньи, вот и поедете, как свиньи…

И вот когда я была в Киргизии, в то самое лето читала в газете статью, которую пишет доктор наук киргиз, и там было описано то, что происходит, по пунктам и т. д. Что нам сейчас делать? Главное, что нам сейчас делать: все силы бросать на то, чтобы удержать здесь русских! Если русские уедут, мы останемся в том, чего и достойны: мы останемся в раннем Средневековье.

Ю. К.: В голой степи, на голых камнях.

М. Н.: Это я к тому, что движение времени относительно. О чем я?.. О том, что человек потерял чудовищно много, считая, что он победил природу.

(Чаепитие.)

Ю. К.: Литература – совершенно природное явление. А там это – профессия.

М. Н.: Совершенно точно. Мне абсолютно нравится, что у нас так. Писатель – это должно быть не профессией, а единственный способ жить. И даже больше того, например, Ломоносов или Тредиаковский, для них – жить и служить своему Отечеству.

Ю. К.: Я как-то готовился к докладу в Министерстве культуры о Союзе писателей и изучал материалы по союзам писателей в Америке, Европе. В Америке знаешь, сколько членов союза писателей? – Одиннадцать миллионов, потому что профессия писатель включает в себя рекламщиков, сценаристов, журналистов – тех, кто пишет буковки.

Е. Ш.: А как Вы к зарубежной литературе относитесь?

М. Н.: Я не знаю. Мало зарубежной литературы, которую можно сравнить с русской. Я уже вчера об этом говорила, что надо читать в подлиннике. Они считают своего Виктора Гюго национальным гением номер один. Для того чтобы поэзию ценить, надо быть там. Французы, надо сказать, нам очень чужие, они совсем другие люди, как и все по отношению к нам европейцы.

Ю. К.: На чем мы там остановились?

М. Н.: Остановились на Булгакове. Там есть такая штука: обидели – написал… Товарищи, ну и что! Что в этом такого? А потом погром и пожары, и все эти ее летания на метле только за то, что написали плохую рецензию.

Я понимаю, что обида – это чудовищно злющая сила. Больше того, обида – это вообще страшная сила. В Советском Союзе масса людей считали себя непонятыми и обиженными и держались на этом всю жизнь! И то, что его не печатают, и все это сносилось на происки жуткого режима – здесь совсем не это. Обида.

Ю. К.: Тридцать лет назад сидел у тебя на кухне, ты говорила, что с обидой жить нельзя.

М. Н.: Нельзя. Пастернак абсолютно прав, что писал о природе с восхищением. И он абсолютно прав, что вокруг него природа распускалась, шевелилась и увядала снова, и что этот клубок восхищающих вещей никогда не убывал.

Ю. К.: А «Доктор Живаго?»

М. Н.: «Доктор Живаго» мне не нравится. Он мне не нравится по самым простым соображениям: я считаю, что он плохо написан. И ничего с этим поделать нельзя. Очень хорошо написан роман «Обломов», очень хорошо написан роман «Отцы и дети», гораздо лучше, чем «Дым». А этот плохо. Можно на это не обращать внимание, но это заметно.

Но ничего страшного нет, если человек, который написал несколько превосходных вещей, решил написать это. На мой ум, вся история, которая описана в «Докторе Живаго», вся это политическая кутерьма до сих пор мешает нам прочесть роман так, как его можно было бы прочесть. Но в целом: я перечитывать не буду.

Ю. К.: А Булгакова связывают с Гоголем из-за чертовщины.

М. Н.: Я никогда бы не стала связывать Булгакова с Гоголем. Самой лучшая вещь у Булгакова, на мой ум, конечно, «Белая гвардия». Она правда очень хороша. Там сам материал, сам предмет авторского внимания – все хорошо, все первосортно. Там есть тяга…

Ю. К.: Поземка такая. О России… Там любовь, а не обида.

М. Н.: Это кукольный, мещанский взгляд на мир. Мне очень трудно представить: вот у тебя дом, у тебя любимая жена, у тебя прислуга в белом переднике – ты обижен-то на что? Здесь-то на что обижаться? Мы-то пережили такие вещи. Народ как таковой пережил такие ужасы, такие страшные вещи, что читатель может понять, что это обида, что это недооценка.

И еще, что меня поражает: если тебя читают, переписывают, ходят полные залы – обижаешься-то ты на что? Вот это совершенно удивительно. Что касается Гоголя, то я считаю, что они даже рядом не лежали. У Булгакова эта линия придумана, идеально отстроена, все места расставлены, каждый выполняет свою функцию – это все совершенно точно. Все это увязано во времени простом – все понятно.

Ю. К.: Все это по-европейски функционально.

М. Н.: Все это функционально и хорошо, профессионально сделано, что на читателя производит впечатление, потому что эта тяга, которая держит читателя в напряжении, там абсолютно есть. Ничего подобного в помине нет у Гоголя. У Гоголя вся эта нить – хтоническое, допотопное, ужасное – правда есть. И некоторым дано ее почувствовать и услышать, притом обязательно должен появиться Вий.

У меня на спецкурсе говорили, что кошечка в «Старосветских помещиках» страшнее, чем Вий, потому что Вий – это понятно, его ожидаешь: чертовщина усиливается и усиливается. Совершенно понятно, что сейчас будет что-то сверхстрашное.

Ю. К.: Можно и не показывать.

М. Н.: Можно и не показывать. Не случайно он в кино всегда появляется не страшным. Лучше бы было его и не показывать. Посмотрите, что с кошечкой. Была любимая кошечка – она пропала. И вот она является откуда-то, и она уже чужая. Вот в этих вещах Гоголь слышен как никто другой.

Более того, Гоголя эти вещи касались напрямую: они постоянно присутствовали в его жизни. Сама история появление его на свет уже сама собой невероятна. Его батюшка уже был взрослым человеком, не женился – все ждал знака. И снится ему сон, что он входит в церковь, и Богородица поворачивается, и он видит младенца. Через некоторое время он заходит в гости к помещику, и выходит женщина с младенцем на руках. Младенцем оказалась девочка. И это он счел как знак. Потом они были преданы друг другу до такой степени – она на сносях еще в бричке ездила поля осматривать, потому как это судьба: Бог свел их. Три первых были выкидыши, а в четвертый раз Николай Васильевич родился. И это все было ему известно.

Надо сказать, что вся его жизнь – приезд в Петербург, письма матушки – это просто сумасшедший дом. Надо сказать, что его матушка, которая была хороша собой, полагала, что ему даны особенные права и полномочия. И предполагалось, что раз он писатель, то все, что им ни написано – это эталон.

У Гоголя у самого было немыслимое количество свойств, совершенно особенных. Что же касается его отношения с этой нечистью, вне всякого сомнения, он ее слышал.

Гоголь, конечно, это гений невероятный. И более того, это правда страшно. Это не занимательно, как у Булгакова, про что постоянно склоняются киношку снять. С пространством Гоголя работать безумно трудно и страшно. Но если взять «Гробовщик» – маленькое произведение – там просто так и веет. Мне вообще нравятся «Повести Белкина», если сравнивать их с «Маленькими трагедиями», где Пушкин пытается поговорить с судьбой со всех сторон. И поэтому совершенно неслучайно появляется смерть. При всем при этом, кстати, Пушкин во все это верил, все это знал, когда сейчас читаешь, можно подумать, что все это случайно. А на самом деле это совсем не случайно. У Булгакова не так.

Ю. К.: Вот интересно: Булгакова очень легко можно экранизировать. А вот Гоголя – нет. И Пушкина – нет.

М. Н.: Нет. Сколько раз делали «Вия» (и Куравлёв играл), но, надо сказать, это в слове страшнее. Гроб, летающий в церкви, в слове страшнее. Не механика! Когда это духовное напряжение – механике конец!

Ю. К.: У Гоголя «Вечера на хуторе…», там же смешно. Вроде должно быть страшно.

М. Н.: А где тебе смешно? – «Майская ночь, или Утопленница» – не смешно. «Вий» – не смешно.

Ю. К.: «Ночь перед Рождеством».

М. Н.: А, ну «Ночь перед Рождеством» – да. Но, надо сказать, что черт в фольклоре, чисто в народных представлениях представал в абсолютно житейском, бытовом плане. И здесь абсолютно так. У нас существует множество сказок «О попе и работнике его Балде» вот из этого фольклорного ряда. Гоголь же фольклор очень любил во всех слоях, сам собирал и матушку просил, чтобы записывала.

Ю. К.: А «Мертвые души»?

М. Н.: Когда нам говорят, что «Мертвые души» – это Россия в период зарождения капиталистических отношений, я этого не вижу. Нет, конечно, можно «выщелкать» это оттуда, когда он торгуется. Но главное содержание не в этом. Самое главное, что сказано в «Мертвых душах» – это езда, путешествие, которое кончается путешествием в никуда.

Ю. К.: Еще можно сказать, что это проза, которой никогда не будет. Ты читаешь ее как стихи. О Коробочке, о Собакевиче, о Манилове, о Плюшкине – это все стихи.

М. Н.: Когда читаешь Гоголя, что бы ни читал, очень хорошо бы сначала прочесть «Выбранные места из переписки с друзьями». Потому как он правильно говорил, что все, что он пишет – все тут: все мои мысли, все мои темы. Это читать надо обязательно. Когда это прочитываешь, многие вещи Гоголя, скажем, «Старосветские помещики», читаешь по-другому. Старосветские помещики – это люди, которые любят друг друга, рядом с которыми сад, который постоянно цветет и плодоносит. Это – рай. Это полное понимание, это близость – это рай. И совершенно не случайно, когда появляется наследник, который купил там землю, рай кончается. Если почитать внимательно, то там нет никаких богатых и бедных, униженных и оскорбленных, вся их прислуга – это одна семья, сплошная родня. И живут они только тем, чтобы любить друг друга и порадовать чем-то друг друга. И когда она помирает и говорит супругу: «Не хорони меня в новом платье, мне все равно в чем лежать. Одень меня вот это серенькое с коричневыми цветочками». На последнем дыхании она делает то, что может сделать. И совершенно понятно, что, когда ты умираешь, вот что надо делать. И совершенно понятно, что не надо делать. Рай разрушен.

И понятно, что он уже начинает разрушаться, когда она уходит. Он теряет потихоньку человеческий облик, смысл жизни. Смысла жизни

нет почему? – Потому что они жили так, как себя вели. И когда два условия эти выполняются, наступает рай. И совершенно не нужно, чтобы было огромное имение, колонны, экипажи. А потом все кончается.

И надо сказать, что «Старосветские помещики» – совершенно важное для Гоголя произведение. Точно так же, как и «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Совершенно ясно: вы в раю. Что вы делаете? – Вносите разлад вот в это все. Один «гусаком», другой еще чем-то. Вот эта ненависть, обида, и как только она начинает расти и крепнуть – все.

А если мы перейдем на «Мертвые души», там есть идея рая, и есть идея отдаления от него. И все персонажи расставлены по убыли жизненной энергии, поскольку у нас нет более горе-человека, чем Плюшкин. А про Плюшкина, прямо скажем, больше уже и нечего сказать.

Вот Чичиков едет от одного к другому со своей идеей, между прочим, скупать мертвые души (идеей не то, чтобы не райской, а дьявольской), и жизни становится все меньше и меньше. Ноздрев, Собакевич – жизнь все убывает и убывает. Хотя, заметьте, Коробочка – практически старосветская помещица. Надо сказать, и Манилов тоже, если бы не этот дебилизм – мания нового. В каждом еще есть что-то, но практически все уже кончилось. После Плюшкина ехать уже некуда, после Плюшкина – пустыня. «Мертвые души» прекрасно начаты и прекрасно завершены.

Ю. К.: В одном томе.

М. Н.: В одном томе. И «Куда ты несешься, Русь?» – для меня загадка только одна: знал ли это Гоголь или не знал?

Ю. К.: Знал и поэтому сжег второй том.

М. Н.: Да, он знал, что рая на земле не будет. На мой ум, это как раз проявление того, что мы уходим как раз от того, что хотим от жизни.

И дальше ехать некуда: Плюшкин, который был похож то ли на бабу, то ли на мужика. И когда он достает эти засохшие чернила, кулич, который лежал полгода – все, это уже почти небытие. Дальше последняя инстанция. Я полагаю, что, конечно, знал. И тут такие вещи, чисто житейского плана: Гоголь, как мы знаем, состояния своего не имел. Жил он практически на то, что давал государь-император. Я всегда защищаю государя-императора: замечательный он был. Это просто поразительно. Я же вам уже рассказывала про жену Тютчева, которая в нервном припадке, прижав к себе чудом спасенных детей, после пожара пишет кому: не мужу, не отцу, а государю-императору. Потому что максимально надежная помощь от государя-императора. Это так и есть. Радищев, приговоренный к виселице, он оставляет свою жену и детей государю-императору. Другое дело, что нам нигде это не пишут и не говорят. Более того,

если читать допросы декабристов, заметишь, что он говорит: «Почему ты считаешь, что только ты можешь думать о судьбе России?» России он [Николай I] был очень предан. Единственное, что ставят ему в вину – это Декабрьское восстание. Во-первых, эти люди были все цареубийцы…

Ю. К.: Да.

М. Н.: Единственное, что я бы ему пожелала, если бы я могла что-то пожелать: не вешать никого. Отправь всех сидеть – были бы верные слуги государя.

Ю. К.: Почему он это сделал?

М. Н.: Дело в том, что Александр I знал все про заговор. Документы о заговоре регулярно клали ему на стол. Но Николай же не знал. Пусть даже он знал об отречении Константина, но о заговоре – нет. И когда он говорил: «Почему ты считаешь, что только ты можешь думать о судьбе России», я ему верю. Говорят, что это актерство, потому, что когда он это говорил Пестелю, он стоял лицом к стене. Что касается баб, никогда не считала, что это его минус. И еще одно: он обожал свою жену. И как часто говорили его дочери: «Кажется, что все существование папá сводится к тому, чтобы делать мамá что-нибудь приятное». И еще одно, ты посмотри на весь XIX век: я цыганка или я еще кто-нибудь – какое это имело значение! Мои дети носят его фамилию, они наследуют его имение, они наследники его славного имени. Я как жена думаю только об одном: что мой муж был герой на Бородинском поле. Чтобы дети знали, что их батюшка – герой.

Что мне еще нравится в русской литературе. Мы все читали и совершенно не обращали внимание на чудовищно важные вещи, а если читать русскую литературу серьезно, то там черным по белому сказано, только на чудовищно высоком уровне, как надо жить, что есть основа твоего жизненного преуспевания, не в плане капитала, а того, что тебе нужно, чтобы прожить достойную жизнь. Вот этого ни в одной литературе не сказано.

Давайте посмотрим на «Войну и мир» – об этом романе написано огромное количество работ о глубинах народной войны и как она была побеждена Кутузовым. А давайте посмотрим вот на что: кто остался. Вот война – жесточайшее испытание, которое перемалывает все: всякую человеческую душу, все наши мировоззренческие позиции, усадьбы горят, все страдает. Кто остается в результате этого испытания? – Прежде всего, Наташа Ростова. За что? – Максимум жизненной энергии, максимальное доверие к жизни. Наташа Ростова совершенно права, она будет точно такая же, как ее мать, и ее дети будут любить ее точно так же, как Наташа Ростова любила свою мать. Потому что прорва жизненной энергии.

Вы обратили внимание, что Соня? Прелестная девушка, притом, заметьте, всю жизнь себя посвятившая великой идеальной любви. А что Наташа Ростова, она ее кроет совершенно растительной оценкой. Пустоцвет, бесплодная – и все. Даже если бы она вышла замуж за того же Долохова, Наташа Ростова пустоцветом бы не была. Вот на эту оценку никто не обращает внимания, а она имеет просто решающее значение.

Толстой не оставляет в живых двух самых красивых людей: Элен и Анатоля. Он их просто убивает – самых красивых, в которых воплощена красота. При этом Элен – ладно, гадина. Но, что касается Анатоля, мне он нравится, и все его пьянки-гулянки. И Наташа тут совершенно права, потому что у него была прорва этой энергии, больше, чем в прекрасном, благородном князе Андрее Болконском. Вот вы посмотрите, что делает Толстой: кого он выводит и кого он оставляет. Главными героями остаются толстые, некрасивые, добрые, душевные, понимающие. Пьер, который абсолютно русский человек, такой же безбашенный придурок. Наташа Ростова, про которую говорят, что она в самку превратилась. Она не в самку превратилась, а родила детей, которых воспитает, и будут хорошие люди, такие же, как ее родители и брат.

Ю. К.: Он же еще оставил Николая и Марью.

М. Н.: Совершенно верно. Марья была умная, добрая, и она, между прочим, доверяла жизни. Она была полна той самой любви, которую мы называем «к ближнему». И когда посмотреть, кто остался после этого чудовищного движения, кто, с точки зрения, попал и выжил – тогда становится все понятно. Вот они, с точки зрения его авторского гениального расклада, максимально живые люди. Остается сын Андрея. Единственное, в чем я чудовищно сомневаюсь, что Пьер разделяет взгляды декабристов.

Ю. К.: Скорее всего, Андрей, если бы остался…

М. Н.: Да-да. Что касается европейской литературы (про японскую, китайскую не буду), у них нет таких героев. Именно поэтому мы любим Обломова, именно поэтому он герой романа. Не умный Штольц, а именно Обломов, потому что он такой, какой есть. Он герой романа, притом еще и роман хорошо написан, очень красиво. И хорошо снята эта Обломовка у Михалкова – эта, правда, Россия, это нам понятно и нравится.

Вот это все в русской литературе мне очень близко. Поскольку все наши писатели болеют за судьбу Отечества и очень за нее переживают, то их провидческие способности поражают.

Я хочу сказать про Тургенева: «Отцы и дети», как мы знаем, нигилисты и все прочее. Это жутко интересная вещь: человек достаточно богатый. Матушка его по-своему несчастная женщина, поскольку не на-

шла душевного спокойствия в плане нахождения рядом: с мужем у них не получилось. Но очень интересны его способности смотреть прямо в самую точку. И когда он описывает дворянского мальчика, захотевшего уйти в народ. Но чудовищно глупейшая, немыслимая идея! И видно, что он будет осмеян, все погибнет, что это путь не просто пагубный, но и смешной, глупый и никуда, ни к чему не ведущий. И тем не менее это сделал Тургенев. Это сделал не Чернышевский, который занимался только взглядом в будущее. А это сделал Тургенев, который практически этим не занимался, которого весьма занимали роковые страсти и так далее.

За счет чего? На мой ум, он был, правда, очень русским человеком. И это видно, прежде всего, в «Записках охотника». Такая красивая вещь, если бы ее не комментировали, как явно направленную против крепостничества. Ведь там крепостничество – это знаки времени и ситуации. Но там, где «Бежин луг», где человек и природа. И вот он охотник, он туда уходит, и вот это ощущение наступает. Крестьянин ты или барин ты – вот ты уходишь туда – и все.

Что касается Базарова (роман очень красивый), то он его просто убивает, потому что он делает то, чего делать не надо. И написан роман без всякого нравоучения. Действительно, приехали в имение два друга… Ну, просто очень хороший роман, что и говорить.

Поэтому русскую литературу всегда буду хвалить.

Ю. К.: А у Толстого какая самая лучшая вещь?

М. Н.: Ну не «Воскресение». «Воскресение» – это то, где он начинает кого-то поучать, там он создал героя главного специально для того, чтобы он выполнил его поучающую программу.

«Севастопольские рассказы» – очень хорошая вещь. Вот он когда приезжает, сам офицер, и сам становится частью этого места, этого времени, этого народа, который сражается. И та позиция, которую он занимает – это то, что он понимает, что не надо искать какого-то героического подвига, потому что это будничное поведение. И он не с высоты откуда-то смотрит. И потом мне очень нравится – это, с одной стороны, атмосфера севастопольского боя, а с другой – это и Кутузов, и Суворов, и Нахимов – все становится в ряд, соединяется в русскую оборонительную войну.

(Чаепитие.)

М. Н.: Всю жизнь расплачиваюсь за прекрасное. У меня есть античное колье. Правда, настоящее античное колье, оно мне досталось от Вовы. Они же все были такие каторжные. У него дед был двухметровый, которого вывели из дома и расстреляли. Был высокий и красивый – самый подходящий.

Ю. К.: Таких и выбирали.

М. Н.: А его всю семью запихали в вагон и увезли: Володину бабушку, ее сестру и их детей. Потом их выбросили в степи, а дело было уже осень, в надежде на то, что они все там издохнут. Но там были мужчины, которые повели себя как настоящие мужики: выкопали землянки. В общем люди перезимовали, остались живы. А потом Вовин отец… У того судьба интересная. Они были поляки. И Вова был поляк. А его мать, у нее было трое детей, для того чтобы спасти их, вышла замуж за красного командира. За это Вовина бабушка перестала с ней разговаривать. Навсегда.

Ю. К.: Фамилия Кочкаренко, да?

М. Н.: Да, фамилия у них была Кочкаренко. И дети остались живы. А он потом стал классным военным, командовал первой танковой бригадой у Рокоссовского, а потом у Жукова.

Ю. К.: А что, вживую Рокоссовского видел?..

М. Н.: Ну как тебе сказать, как выглядел Рокоссовский? – Как славянский витязь. Рыцарь без страха и упрека. Абсолютно бесстрашный, абсолютно лишен чванства. Очень красивый, 1,95 ростом, потом зеленые глаза. Притом всегда очень заботился о людях, которые вокруг него живут. Как говорил Вовин отец, звал по имени-отчеству всех своих радистов, писарей и так далее, и на «вы» с ними общался.

Ю. К.: А чем не материал для нового «Льва Толстого» Отечественная война? – Я имею в виду Первую Отечественную войну, Вторую Отечественную войну.

М. Н.: Я не знаю, будет ли у нас «Толстой» или «Достоевский».

Ю. К.: А Достоевский? – Не любишь ты Достоевского?

М. Н.: Нет, ну как тебе сказать?

Ю. К.: Вот и у меня больше предпочтение, нет, не предпочтение – симпатия, к Толстому, чем к Достоевскому.

М. Н.: Я сейчас хочу перечитать «Бесы». Но повторно я больше хочу перечитать Толстого. У Пушкина есть такие вещи: начатое, неоконченное, которые он незначительными считал. Пушкин вообще писал необыкновенную прозу. Гений он и есть гений: когда я у Пушкина прочла *«миловидная Грузия»*[98], я обомлела. Если даже человек и поймет, то он никогда не осмелится произнести это вслух. И можно сказать, что рядом с Арменией это именно так. Грузия – это нега, ухоженная благополучная земля, а Армения – ни зелени, ни деревьев: на голом камне голые деревья стоят. И вот рядом с такой Арменией совершенно правильно, что *миловидная* Грузия. Пусть так она теряет в своем заряде, но по-другому про нее сказать нельзя.

[98] А. С. Пушкин. «Путешествие в Арзрум».

Что касается Достоевского, у него есть определенное мучительство: туда затягивает. И я охотно понимаю, что есть люди, которые это не выносят, потому что это на уровне не только интеллектуальном, но и на физиологическом трудно переносить. У него когда начинался эпилептический припадок (он за день его чувствовал), этот момент предчувствия он слышит и осознает (я знаю, я сама столько лет с таким диагнозом жила). И мощность этого затягивания мне даже нравится. И охотно верю, что, может быть, это сильно кому-то не нравится.

Достоевский был не то, что пророк, но много знал о русском человеке. Одного не знаю, то, что его униженные и оскорбленные – это его постоянная тема всегда сопряжена с истерическим накалом. Это и постоянно смущает.

Вообще, что касается темы маленького человека в русской литературе, я не знаю, так ли ее нужно называть. Дело в том, что эти исходные наши данные, что есть у нас народ, который, сойдя на дальней станции – трава по пояс, я увижу. Понимание народа Толстого мне ближе. Вот когда встал против Наполеона, вот тогда можно увидеть его максимально суммарное лицо. Дело в том, что я это сама видела и пережила в войну, когда все отказались от своих уникальностей и особенностей и превратились в нечто, что победить невозможно. Поэтому все европейские войны категорически отличаются от наших. Читайте «В окопах Сталинграда» – вот это оно и есть. Когда что-то случится, все становятся народом. А вот, скажем, один человек, который является носителем – не знаю.

Вот почему «униженные и оскорбленные»? Я не согласна с тем, что Акакий Акакиевич – это тема маленького человека.

Что касается «Бедные люди» – это совершенно русская традиция: взять человека и пожалеть. Конечно, Достоевский совершенно классный писатель, что и говорить.

Ю. К.: Его Набоков называл журналистом. Видимо, ориентировался по «Преступлению и наказанию».

М. Н.: Да, он писал для журнала, да, был вынужден писать частями, чтобы каждая часть максимально быстро была донесена до читателя.

Ю. К.: Объем.

М. Н.: Да, объем. Ну, как сказать, с Набоковым можно согласиться. Может, он отчасти и прав. Хотя это чисто формальное суждение.

Ю. К.: Вообще русский гуманизм от XIX века к XX веку явно редуцировался.

М. Н.: Если на то пошло, на мой ум, вот еще Бунин, если взять все его хутор, усадьбу, барина, крестьян, где все это в одной природе, одной душой живы. Бунин помнил свой век гуманизма, он в нем даже жил.

Он его всегда любил. И больше того, то, что он его увидел в этом самом российском исполнении, где любовь крестьянки к барину была не холопством и не рабством.

Но Чехов, по-моему, уже его [век гуманизма] не видел и даже не тосковал.

Ю. К.: У Чехова вообще не все так просто. У него «Дама с собачкой» – просто замечательная вещь.

М. Н.: Про Чехова мне говорить трудно. Понимаешь, я когда читаю Чехова, я понимаю, что он классный и большой писатель. Меня, конечно, смущает, что его очень любят в Европе. Они не могут любить Бунина, потому что эта безумная страстность, вот эта ужасная влюбленность в жизнь – они этого не умеют делать. Им Чехов понятнее, они о нас судят по Чехову. Но это не так. О нас лучше судить по Бунину.

Ю. К.: На Западе вообще ряд странный: у них Толстой, Достоевский, Чехов и Горький. Ну потом еще Булгаков идет. А потом обрывается эта линия.

Е. Ш.: А Набоков?

М. Н.: Мы его стали принимать, когда у нас уже стало так: что там похвалят, то мы и принимаем. Это очень плохой симптом. Потому что мы перестали не то, что себя уважать, мы перестали самих себя в себе слушать.

Ю. К.: А вот эти малые писатели: Куприн, Андреев… Кто там еще был?..

М. Н.: Что касается Андреева… Понимаешь, все эти вещи про бедного мальчика, спешащего на господскую елку… Это не самое главное. Это тенденция. Это веяние времени. Это начинает говорить о том, что человек начинает жить не в таком времени, а в ином. Но, когда я читаю Бунина, я узнаю свою русскость. Чего в помине нет у Чехова и быть не может, но спокойно живет у Бунина. Те же самые «Журавли». Чехов этого не слышал, а Бунин главным образом только это и слышал.

Чехов, в сущности, не мог понять, что такое дворянская усадьба и дворянское гнездо, ибо он по крови не имел к этому никакого отношения. И поэтому, что касается «Вишневого сада»: меня там очень многое смущает. Усадьба – это такая мощная культурная крепость. И я понимаю печаль Бунина, потому что кончается век гуманизма. И у Блока, и у Мандельштама это хорошо слышно. Но у Чехова – нет. Я понимаю, что у него есть эта фиксация тревожного времени, которое, конечно, чем-то чревато. Но у Бунина все это уходит в никуда, в пропасть и больше не будет никогда. А у Чехова – идет.

Но я нисколько не сомневалась в том, что Чехов – великий писатель. Но, на мой ум, он уже в другой эпохе – как бы за перевалом. И масса

вещей, которыми многие восторгаются, говоря о его деликатности, меня смущают. Хотя, может быть, он был и прав, понимал, что уже ничего не вернешь.

Ю. К.: А Толстой Алексей Николаевич?

М. Н.: Алексей Николаевич Толстой это писатель, конечно, профессиональный, мастеровитый, очень не бездарный. Но человек, который задался целью выжить. Выжить в переломанном и по-новому устроенном мире. И мало того, что выжить, но жить хорошо. И он поставил свои незаурядные писательские способности для достижения этой цели. Надо сказать, что он это выполнил, сделал – какой разговор. Вещи, которые он написал, я уже перечитывать не буду. И совершенно не случайно, что власть Советов с ее особыми эстетическими критериями регулярно поэтизировала произведения Алексея Николаевича Толстого.

Можно и так сказать: ну что же, это европейский подход к работе. Он профессионал, он понял, что писать надо не так, как вы, товарищ, Варлам Шаламов, и не молчать, как вы, товарищ, Олеша. А вот надо писать и работать, как я. Пишу – и живу хорошо. Что это вполне способ жить отнюдь не самый подлый: не писал доносов, не подписывал всяких подлых документов.

И еще одно: только на Страшном суде узнают, так он думал или не так. Были же белые офицеры, которые переходили на сторону красных. Были, наконец, ученые, который оставались и работали. Вот так.

Ю. К.: А как советские писатели? Бабель, например?

М. Н.: Не знаю, Бабель – фигура очень любопытная, достаточно авантюрная. Конечно талантливейшая личность. Смешно этого не видеть, нельзя. То, что он сделал – язык вот этот его, – не делал никто.

Я вот, что хочу сказать, хотя про Бабеля написано и наговорено достаточно много (и разоблачающего), я про Бабеля ничего такого как раз сказать не хочу. Там было артистичного, авантюрного высшего пошиба очень много. Как, например, летчик, который работает сразу в трех разведках. Понимаешь, вот, когда я несу американцам секретные данные – я предатель Родины. Но, когда я рискую своей жизнью, работая на три разведки, я какой-то мечтатель. Это люди делают потому, что им, наверное, это нравится, они без этого жить не могут. И такое максимальное напряжение является единственным условием проживания жизни. Такие люди есть, и забывать об этом нельзя.

Точно так же Бабель в ответе за свои произведения. Даже рискнуть – взять себе в полюбовницы жену заведующего карательной конторы. Это же черт-те что!

Я считаю, что это так. Если бы это было по-другому, он бы мог остаться в Париже и писать дальше. Он мог бы себе найти другую полюбовницу – мог бы.

Ю. К.: Странно, да?

М. Н.: Может быть и странно. Но с другой стороны, для человека пишущего важно постоянно находиться в максимальном напряжении. И притом он ведь имел выход на материал. Поэтому про Бабеля могу сказать, что он зверски талантливый человек. Очень талантливый.

Ю. К.: А Зощенко?

М. Н.: Зощенко я очень люблю. Очень печальный, очень умный поэт. Очень достойный. Зощенко сразу понял, что самое страшное – это пошлость в людях. Это ведь еще Блок прекрасно понимал.

И то, что он понял, что этот мир будущего – светлый коммунистический рай – уже тогда был пошлым до невозможности. Он и прекрасно понимал, что если уйдут все законы и правила реалистического гуманизма, то останется одна пошлость.

И еще его герои, в силу ситуации и своего положения, никогда не знали об этих законах. И самое удивительное, что это нисколько не смешно, а печально. Еще мне очень нравится, что Зощенко интересовался природой человеческого таланта, очень много об этом писал. То есть его интересовало самое лучшее, что есть в человеке – талант, талант проявленный. Поскольку существуют два этих чудовищных полюса, которые никогда не поймут друг друга, это – пошлость и талант. А дальше понятно: вот *этого* будет все больше и больше, а *этого* – меньше и меньше. Потому что для *этого* есть условия в настоящем, а для *этого* их уже нет. Потому что один может поступить как Алексей Толстой, а другой…

Пошлость может стать сильнее таланта, но есть такой талант, который – все.

Ю. К.: А много таланта в жизни?

М. Н.: Нет, понимаешь, пошлости в действительности очень много, но она не агрессивна.

Ю. К.: Но она необходима.

М. Н.: Ну, да. Давай так: она неизбежна. Все зависит оттого, из какой чашки ты пьешь – из чего строишь свою жизнь.

Вот сколько мы сейчас вспомнили прекрасных романов, куда совершенно спокойно можно было вводить житейские, постельные сцены. Да ты что! Например, у Толстого, хотя, заметьте, он сам был великий грешник. И надо сказать, что все высокопробные великие писатели никогда не шли на это. Вот так, если посмотреть: «Отцы и дети» – вот ба-

рин, вот девушка ребенка от него понесла. Но ничего такого здесь нет. Даже в «Обломове» – даже там.

Пошлость уже начала появляться у Олеши. «Зависть» Олеши читать страшно: обилие физиологических подробностей, пуканье и так далее. Я преклоняюсь, конечно, перед Юрием Карловичем, но перечитывать больше не буду. Но, с другой стороны, смотрите, что он делает. Он этого делает так много, он это возводит в такую степень, что надо искать другое слово.

Я знаю одну вещь, которая не может никак сработать, и еще, наверное, лет 300 так проживет. Это «Божественная комедия». Здесь безумно сложно: ужасный инженерно-математический расчет. Я почти не встречала людей, которым она очень нравится. По техническому чтению многим она нравится гораздо больше: просто красивая вещь. А так, там всего-всего напихано, и дело, конечно, не в том, что она показывает, кто за что наказан. Там есть и другое. Мы вправе рассуждать о ней в плане содержательной части: сюжет, действие…

Ю. К.: Но ты права абсолютно: там геометрия есть.

М. Н.: Там чудовищная, страшная геометрия. Там рассчитано все. Там есть что-то такое невероятное. Я сколько раз думала: может быть, нам еще рано это знать. Там нет ничего случайного, и вся эта великая математика должна сработать.

ВЕЧЕР ДВЕНАДЦАТЫЙ

Ю. К.: Мы говорили о Распутине…

М. Н.: Да, он к земле имеет особое отношение. Это почти ни с кем не случается. Это – ужасная редкость, просто жуть какая-то. И вообще, очень много ошибок, скажем, в определении: когда мне говорят, что Астафьев или Распутин – деревенщики… Какие же они деревенщики?! Это люди, у которых есть место (*бьет пальцем по столешнице*), и они на этом месте все поняли. А у тех людей, которые создают так называемую «городскую прозу», такого места нет.

Ю. К.: Майя, а кто из уральских писателей?..

М. Н.: Ну, из уральских… *(Смеется.)* У нас есть Бажов.

Ю. К.: Ну, Бажов.

М. Н.: Бажов – это что-то невероятное!

Ю. К.: Мамин, Бажов…

М. Н.: Да, Мамин-Сибиряк – это качественно другое явление, потому что, видишь ли, у Мамина-Сибиряка представилась возможность, нашлись такие причины, обстоятельства, которые сподвигнули его с этой землей расстаться. Каких обстоятельств у Бажова быть просто не могло! Такого разлучения просто не могло быть.

Денисов-Уральский. Денисов-Уральский *(с интонацией перехода к новому предмету обсуждения)* – это художник, ювелир, коллекционер, собиратель, камнерез, который безумно любил Урал, его камень, его пейзаж – просто безумно любил! Я вообще всегда говорила и буду говорить, что можно расстаться с человеком, с любимым, товарищем, – это переживешь. Но с землей… Больше, страшнее трагедии не бывает. Так вот Денисов-Уральский отбыл из Екатеринбурга, с тем чтобы пропагандировать *там* Урал, и чтоб о нем знали! Ну, это была такая благородная идея: выставки все эти, горки. В Питерском музее, геологическом, стоит его горка. Ну, вот такая, наверное *(показывает размер горки)*, преимущественно из драгоценных камней: изумрудов и т. д.

Ю. К.: А из современных?

М. Н.: Ну, сейчас я скажу. А тут что получилось *(возвращаясь к Денисову-Уральскому)*? Тут – революция. И он оказался то ли на даче, то ли, как киевляне, которые были отрезанными, за границей – все! Все! Так вот, он же с ума сошел от этой тоски и разлуки. И надо сказать, что земля, товарищи, в романе участвует на равных. Он оставил Екатеринбургу прекрасную коллекцию минералов. Она до нас не дошла… Вот знаете, если ты землю любишь, вот и сиди на этом месте. Коллекция его не дошла до нас, она где-то рассеялась по пути, хотя все это было даже официально оформлено.

Из современных… Ну, вы же видели, что здесь делают. Здесь, так сказать, кузница Курицыных и Славниковых. Человек, который полагал, что за ним что-то есть, что у него есть какие-то дела, немедленно уезжал в столицу. Все, на этом месте ему делать было нечего. Как бы эта земля их ни держала. И хотя Оля там и пишет что-то про уральские реалии, тем не менее она их не держит, она им не нужна.

Ю. К.: Она – им? Или они – ей?

М. Н.: Она им не нужна. Ну, и они ей, соответственно.

Ю. К.: Но они цепляются за это, берегут?…

М. Н.: Нет! Вот Мамин-Сибиряк всю жизнь за Урал цеплялся, и больше ничего не писал, больше ничего не знал. Но тем не менее добром это не кончилось. А сейчас – нет. Из нынешних людей я не припомню даже ни одного. Вот мне очень нравится позиция Геры Дробиза, хотя у него нет привязанности к Уралу. Для него это был даже, может быть, вопрос несколько мучительный, что ли: он бы мог жить в Москве. Гера Дробиз остался, как говорится, не из-за привязанности к земле, а из-за того, что здесь его семья… Он и в семьдесят пять лет больше всех на свете, конечно, любил бабушку, и его больше всех на свете любила бабушка. Ну правда, это действительно так! И то, что Гера Дробиз не оставил этого места, потому что его мама и бабушка были здесь и жили здесь – правильно, мне это очень нравится.

Ю. К.: Но ведь есть историческая родина…

М. Н.: Вот ты знаешь, этот вопрос для меня абсолютно открыт: этого понять не могу. Попробуй объяснить Пушкину или Толстому, что у тебя, Пушкин, есть историческая родина. Пушкин сказал раз и навсегда *(бьет ладонью по столешнице, отбивая темп речи, как бы чеканя высказываемое)*: «Не желал себе другого отечества и другой истории, кроме той, которую мне дал Господь!» Ну, сказано так. Написано, заметь, – мог бы не писать. Тем не менее «не желал». Само понятие *историческая родина* появилось в то время, когда человек уже очень далеко в своем нравственном отношении отошел от… Попробуй докажи Астафьеву – он никогда

не знал, что такое историческая родина – этого нет. Этим людям не важно, откуда ты, им вообще не так уж важно, какой ты там национальности. Больше того, я тебе уже говорила об этом, я не видела здесь проявление антисемизма в каких-то человеческих отношениях: то есть того, что я, например, к тебе отношусь хуже, чем к этому вот Ване, потому что ты – еврей. Я этого не видела.

Ю. К.: Ни в деревне, нигде?

М. Н.: Ну, про деревню-то и говорить не будем!

Ю. К.: А там многих евреев уважали: врачи, учителя…

М. Н.: Евреи живут не на своей исторической родине, Юра, жутко давно! И надо сказать еще одно: когда ты на эту их историческую родину посмотришь, все совершенно становится понятно: это крошечная земля, сухая и горячая. И эти, вот речечки – Иерихон и Иордан, одна речечка – не шире нашей Исети, другая высыхает за лето до состояния ручья. Эти речечки в древние времена, когда евреи складывались как народ, сам понимаешь, прокормить могли очень небольшое количество людей, а жить можно только при воде. Сколько раз они оттуда уходили: ассирийцы их оттуда подвинули, египтяне их оттуда подвинули, турки их оттуда подвинули – то есть когда в это маленькое пространство, где прокормиться можно только возле воды, входит такая огромная армия, местный народ просто вытесняется, поскольку большего количества людей просто не прокормить. И вот они неоднократно оттуда уходили. Но это ведь было все очень давно, поэтому чувствовать ту землю своей исторической родиной, когда, не знаю, десять, там, двадцать колен жило в Германии, в Польше, России, это очень трудно.

Ю. К.: А что виновато в том, что человек не чувствует связи с землей? Не чувствует связи с могилами? Масса народа уехало, очень много уезжает, почему уезжают? Что это: генетическая потребность, или цивилизация?..

М. Н.: Нет, скорее всего… Я никогда не соглашусь с тем, что это – генетическая вещь. На мой ум, это, мы опять же сейчас вернемся к главной теме Астафьева и Распутина, конечно, цивилизация, чего говорить-то… Но тут, во-первых, надо учитывать, что ни Шукшин, ни Белов, ни Абрамов, ни Распутин, ни Астафьев никакими деревенщиками, конечно, никогда не были. И еще одно, почему я говорю, что эти писатели кажутся мне, несомненно, более интересными, чем, скажем, «городская тема» Трифонова и так далее? Почему?.. Понимаешь, они говорили о гораздо более важном, о гораздо более существенном. Есть такой академик Лю́бищев, или Любищев – так и не могу это ударение уловить, – который сказал, что потенция или идея лежат в основе всякой деятельности – вот

они все двигают, а факты те или иные просто, так сказать, подстегивают, подмешивают… Потенция или идея! Таким образом, городские писатели – это вот эти подстегнутые, отслеженные факты, а те люди, которых мы называем деревенщиками, – это мощное первоначальное движение. Деревенщиками они являются потому, что они совершенно справедливо считают и видят, что хранителями традиций и культуры являются крестьяне в деревне, которой больше нет. Ну, тут как получилось? Об этом больше всего говорил Астафьев. Астафьев, во-первых, сам из крестьянской семьи, и крестьянская традиция и крестьянская культура – за ним. Можно, конечно, тут сослаться на то, что здесь крестьянская культура и культура дворянская. Но давайте почитаем Толстого и вспомним слова, описывающие танец Наташи Ростовой, давайте почитаем Бунина: где-то эти культуры, дворянская и крестьянская, представляют собой нечто абсолютно единое.

Ю. К.: Нет, тут просто два варианта одной культуры – русской.

М. Н.: Ну, во всяком случае, это все равно была единая культура, и Бунин, и Толстой это прекрасно отразили. И вот эта культура в городе разрушена, а в деревне – нет, поскольку люди, которые живут в деревне, связаны с землей, естественно вписаны в природный цикл. Человек теряет лицо и становится никем, когда он уходит в город от этой вот земли, от своей пашни, от своего режима, где он с зарей встает, с зарей ложится… В городе он становится практически никем. Когда я видела, как в Москве, в Черемушках, сидят мужики – босые ноги под лавкой – и на гармошках играют, это вот да… Нет, может быть, когда-нибудь в каком-то месте их дети где-то, куда-то впишутся, но потери будут чудовищными. И то, что в одно и то же время и Белов, и Абрамов, и Шукшин – все они заговорили об одном и том же – ведь это же абсолютно не случайно. Говорили они все об одном, просто у них были разные голоса, интонации. Но все эти люди талантливы.

Самый мощный, на мой ум, Астафьев, самый такой яростный. Я не могу сказать, что, допустим, Распутин где-то хуже, но интонация у него несколько мягче и лиричнее. Но сегодня, после «Проклятых и убитых», я думаю, что Астафьев отличается безумной мощностью, он своей ярости абсолютно не скрывает и ее ни в какие культурно-литературные рамки не вводит. Значит, вот о чем они все говорят: о том, что народ, сбившийся с круга, сошедший со своей исторической колеи, становится никем. Вот вспомним слова, с которыми Астафьев умирал: *«Я пришел в мир добрый, родной и любил его бесконечно. Я ухожу из мира чужого, злобного, порочного. Мне нечего сказать вам на прощанье».* В его рассказах о детстве была традиция. Между прочим, в Древнем Китае, да и не только

в древнем, степень достоинства человека можно было измерить степенью его приверженности традициям. Очень интересно, как Пушкин определял человеческую зрелость: образованность, начитанность, уважение к традициям, осмотрительность. Вот эти люди, деревенщики, появились в литературе тогда, когда еще можно было что-то удержать. Заметь, в эпоху капиталистическую, сейчас, ничего удержать нельзя. Вот тогда еще можно было что-то удержать, сейчас – уже нет. И если взять произведения Астафьева о детстве, где, несмотря на бедность, сиротство, пьяных родителей, есть ощущение родства с людьми, с землей, с местом. Вот это остается раем, который был при нем всегда и который, между прочим, держался очень долго. И даже когда, когда «Царь-рыба», такая очень… вот не думаю, что сегодня это активно читаемая вещь. Там такие огромные прекрасные описания всяких этих перекатов…

Ю. К.: У нас на филфаке студенты не читают…

М. Н.: Ну, сейчас вообще никто ничего не читает. Все эти речные перекаты, вся эта таежная глухомань, вся эта роскошь, где встает этот медведь, обнажая эти бабьи подмышки. Ну, с ума сойти можно! И вообще, там земля и человек на земле. В отличие, скажем, от Шукшина, мне герои Астафьева нравятся больше вот по какой причине: в героях Шукшина всегда есть какое-то мучительство и вот всегда какая-то такая готовность подна́чить, какая-то неловкость его местонахождения и поведения, а у Астафьева человек на своем месте.

Ю. К.: Шукшин пишет о людях, а Астафьев – о мире.

М. Н.: Ну да! Дело в том, что эти люди до сих пор живут в природе, и там поразительные вещи происходят: вот, например, браконьеры. Эти люди – участники жизни, которая сбилась с круга. Вот они все еще люди, но жизнь их организована до такой степени неправильно, что они втягиваются – несмотря на эту роскошную реку, на эту дивную тайгу, – они просто втягиваются в какой-то сплошной трагический поток, и, в конце концов, там один браконьер, такой лихой чеченец, такой красавец-мужчина… Вот как он удирает от рыбнадзора на лодке – ну классно! – «погоня в горячей крови». Он еще и рыбиной покачал, что, дескать: «Вот вам!» Есть у него одна только любовь: дочка его, которая всю его стать унаследовала, только в маму белокожа. Он рушит, он – браконьер, они все себя считают браконьерами, – им это слово очень нравится, потому что в нем есть какая-то таинственность: они же странным ремеслом занимаются. И потом эта дочь умирает: ее сбивает машина. И, в общем-то, это случается за его неправедное поведение – грабить природу. Но этого никто не понимает, и он эти вещи не связывает.

Есть еще рассказ – наповал! Женщина, у нее там восемь, что ли, детей (первого она где-то в шестнадцать лет родила). Ну, вот такая она! Так там ее даже никто ругательным словом не назовет, и даже ветреной не называют, поскольку она – ну, вот такая. Он ей пряников дал и даже еще чулки, что ли, подарил: ну как его не полюбить. И ее дети становятся деловитее и мудрее, чем она. И как они все рыбу ловят… Но кончается-то это чем? Ну, они так живут!.. Но, с другой стороны, они в людях живут, они живут в человеческом обществе! И как гибель, все кричат: «Дети наши! Наши!» Бедная изба, но все-таки сколотили, как-то помогают. Они все – часть природы, но все они втягиваются в это неправедное человеческое общежитие. Они постоянно совершают какие-то грешные, неправедные поступки, не осознавая этой греховности, потому что так прет, тяга такая. И она вытравливает седьмого ребенка какой-то операцией в деревне и помирает. Просто остаются семеро этих детей. Все эти рассказы, все это вышло так: поначалу это Енисей, он с сыном видит эту красоту, счастливая рыбалка, все это даже очень здорово. И это напряжение идет-идет от рассказа к рассказу, и кончается так: есть время собирать камни, время бросать камни, время учиться, время работать, время жить и время умирать. Ну так жизнь устроена. «Что ж я мучаюсь-то?» А вот мучается он, полстроки он недопонимает – вот это для него предмет мучения. Ну так, тяга такая, жизнь такая сбилась с колес, с круга.

Астафьев идет гораздо дальше, чем Шукшин, Абрамов… Насколько я понимаю, Абрамов вообще предполагал, что здоровые силы в народе сохранились. Белов тоже полагал, что это наше долготерпение еще как будто нам послужит. Чудики шукшинские, честно говоря, мне не нравятся. Василий Лановой говорил: «Василий Макарыч всегда не любил нас, красивых мужчин». Нельзя этого делать! Во-первых, нельзя так говорить, а во-вторых, нельзя допускать, чтоб так про тебя сказали. Все его чудики оставляют такой вот задаток, чтобы можно было так сказать. Но, с другой стороны, в чем тут дело? Как там дед его говорит: «Ну куда вы там едете? Здесь жить надо!» Но он-то пишет об этом, уже уехав. И больше того, совершенно понятно, что он больше уже не вернется.

Что касается Астафьева и Распутина, тут другое дело: они с землей не расстались. «Проклятые и убитые» – ой, товарищи, более яростного, более голого, более отчаянного и страшного обвинения – что вы, гады, сделали с жизнью?! – на мой ум, просто никто не писал. Он обвиняет большевистскую власть, Ленина: выроды, выродки из выродков, самой природой наказанные бесплодием, сделавшие бесплодной самую плодородную землю в мире, лишившие людей терпения и кротости, – прямо так, совершенно прямым текстом это говорит. Надо сказать, вещь у него

такая: в начале там сказано, что все, кто развязывает эту вонь, эту войну, они все будут прокляты и убиты. Вещь совершенно страшная, хотя, заметьте, «Пастух и пастушка» – вещь совершенно другая, она какая-то не астафьевская. Я ее не то что не люблю, я ее выделяю. Она какая-то не астафьевская – она мягче. Читали «Проклятые и убитые»? Ну, вещь такая: от расстрела до расстрела, где двух пацанят… Мать им написала, что корова теленка родила, они поесть домой пошли, всех их там хлебом угощают, а их как дезертиров расстреляли. Вот заметьте, они до конца ничего не понимали, они необразованные, они темные. Вот он стоит, ремни уже поснимали, штаны спадают, сопли не может утереть, и дула уже на него направлены, и вдруг он закричал: «Дяденька, дяденька!» Жутко! То есть он еще верит, что услышит человек – и не выстрелит. И в последний миг закрывает собой брата, они близнецы. Ну немыслимо просто! Но там и есть такая вещь: Астафьев обвиняет всю власть. В общем, конечно, товарищи, – это культурная цивилизация. Культура, наша национальная культура обходит те деревни, которые вы убили. Да, у него есть такая штука, когда читаешь, такое ощущение, что вроде какая-то брезжит надежда: когда они находят несжатое поле и начинают убирать урожай, их это как-то очеловечивает, даже какие-то отношения с женщинами начинаются – жизнь какая-то появляется. И он, между прочим, даже и говорит, что вернутся они, снова припадут к этому хлебному полю и оставят свою власть – толпы трепачей, болтающих лодырей, забывших, что такое труд. На чем держалась вся культура? Вся культура держалась на союзе с землей, на труде, на почтении к традициям, она держалась на деле, на памяти самых священных мест – к чему власть не имеет никакого отношения. Вещь эта написана в начале 90-х годов, когда всем было понятно, что никто не вернется к традиции, к труду. Что все со свистом проехали мимо. И заметьте: люди, которые есть, не прокляты и не убиты. Он пишет: «Мне нечего сказать вам на прощание». Вещь совершенно страшная, но, между прочим, обида его совершенно понятна, несмотря на то, что очень долго держалась в нем надежда на то, что, может быть, что-то изменится, может быть, кто-то опомнится.

Ю. К.: Гоголь и Шукшин. Как тебе эта оппозиция?

М. Н.: Полное собрание Гоголя и полное собрание Шукшина. Я не желала никого оставлять – я вообще очень серьезно отношусь к литературе. Я прочла всего Гоголя и всего Шукшина. Я три дня ходила в полном столбняке: прямо иду в степь и встаю, как свечка. Василий Макарыч – гениальный писатель.

Ю. К.: А Гоголь – нет?

М. Н.: Когда я читаю одного Шукшина, я, например, плохого сказать не могу. Но когда рядом с Гоголем…

Ю. К.: Шукшин вызывает симпатию, Распутин вызывает уважение. Гоголь – это какое-то дикое чудо, ненарекаемое, но оно вызывает, у меня, по крайней мере, восторг.

А труд, действительно, исчезает. Из городов. В офисах все производят бумажки. Никто не производит вещь, предмет…

М. Н.: Приедешь в наши республики, и понять невозможно, что в них делается.

Ю. К.: Никто не работает.

М. Н.: Никто не работает! С утра, в десять часов, все кафе и рестораны полны, все в белых креслах, в белых пиджаках. Никто не работает!

Ю. К.: Земля была благодатная, виноград растет там десятилетиями, овцы пасутся…

М. Н.: В районах с благодатным климатом, где все равно вырастет еда и попадет к тебе в рот, образ жизни сильно отличается от нашего. Поэтому я очень хорошо понимаю, почему Астафьев помнил, что наш северный образ жизни раскачать, в общем-то, трудно. Мы же просто сдохнем, скоро сдохнем! Наш народ же полиэтничен. Вот это ужас, что мне тут сказали: 6–5 % нынешних поступающих, окончивших школу, имеет одну мечту – работать в «Газпроме». Ни врачами, ни летчиками, ни океанологами не желают работать – они желают сесть в кресло где-нибудь…

Ю. К.: Это катастрофа.

М. Н.: Катастрофа полная! Самое поразительное, что *это* называют мечтой! И еще мне очень понравилась вот какая деталь: мечтой сейчас могут назвать машину определенной марки. Кошмар: мечта вот такой-то марки, да еще и машина, хорошая машина. Я вообще машин не различаю. У меня однажды был безумно смешной случай: я иду, а у меня очки запотели. Думаю, надо зайти в магазин – протереть очки. И тут смотрю, витрина какая-то, думаю, подойду к витрине. И стою, очки-то протираю и не вижу, что передо мной. А тут ко мне, поскольку мадам вся в меховых шубах, подходит продавец и говорит: «Что это Вы?» – а я, глаза так поднимаю, а там для машин всякие причиндалы. Ну, не бежать же! Он говорит: «А у Вас какая машина?» – И я говорю: «Красная». *(Смеется.)*

Ю. К.: Он понял, что ты еще та штучка: красная! *(Смеется.)*

М. Н.: Вот так! Просто какой-то вопиющий идиотизм. Но я так ответила: «Красная». Он: «Какой коврик у красной машины?» – но тут-то я уж нашла, что ответить, я уж не такая идиотка. Он мне подобрал какие-то штуки на сидение. Я ему говорю: «Правильно! Такую идею хорошую подсказали. Очень хорошо: подарок на Новый год». Жуткое дело, идиотка.

Машка дала мне компьютер, я, значит, вчера включила: пользоваться не умею. Прихожу к соседу. Он говорит: «Ой, Май, я не умею. Иди к Сергею». Ну и Сергей взялся: «Сейчас, – говорит, – посмотрим». Тыкал, тыкал, полчаса там разбирался. Ну, разобрались. Машка говорит: «Ну, вот видишь: научилась!» – «Ты что, Маша, научилась! Никогда в жизни этому не научусь!»

Ю. К.: А я не хочу этому учиться.

М. Н.: Да и я не хочу!

Ю. К.: От него какой-то странный эффект. Я много стал думать об этом: люди, работающие за компьютером, что-то там записывающие, теряют предметный мир.

М. Н.: Нет, к компьютеру я даже не подхожу!

Ю. К.: Мир внутренний, жизненный мир теряют…

М. Н.: К компьютеру я даже не подхожу. Я себе позволила дожить так.

Ю. К.: Я же вижу, что происходит с людьми: всякий бред, фотографии смешные, все балдеют, всем смешно. Какие-то «примочки» там. Как так?

М. Н.: Нет, мне не надо! Я этого не люблю. У меня на даче цветет курильский чай, вот я вдоль этих чаев хожу – зачем мне этот компьютер нужен?

Ю. К.: Какой чай?

М. Н.: Курильский. Такой красивый очень, с цветами.

Ю. К.: Знаю, знаю…

М. Н.: Этот цветочек похож на небольшой шиповник. Он начинает цвести в июне и до октября цветет.

Ю. К.: Он хорошо растет у нас?

М. Н.: Хорошо растет! Я теперь изменила тактику: я теперь буду садить только то, что хорошо растет.

Ю. К.: Тоже правильно! У меня, знаешь, что произошло? У меня от соседа, Валентина, видимо, вегетативным таким способом перешли ко мне, выросли чайные розы. Ну, красивые такие…

М. Н.: А вот этот курильский чай – только так! Это меня научили умные люди, поскольку, оказывается, он наш, сибирский, он хорошо тут растет. Вот он уже цветет две недели и будет цвести до октября. Вот буду теперь садить только то, что растет. У меня работы там – Боже мой!

Ю. К.: Ой, не говори. Я уже два раза туда не ездил. У меня там все заросло. Я посадил яблони – четыре штуки.

М. Н.: Ну яблоки-то растут?

Ю. К.: У меня одна уже есть. Ее теща покойная посадила, Маша. Были яблоки. Ведро собрали, причем не всю обобрали ее.

М. Н.: Мне ничего не надо. Мне – красиво цветущие палисадники, больше ничего не надо. Ни клубники, ни огурцов – ничего не надо. Я куплю на базаре. Мне очень нравятся рябины. Сосна, по-моему, из лучших деревьев на свете. Все говорят: «Пальмы, пальмы!» Они бы сосенку увидали… Вот, когда сосна растет одна… Боже! Какое величественное, роскошное дерево, красавица.

Ю. К.: Ты елку видела? С мягкими иголками?

М. Н.: Ну, конечно! Она – пихточка. Елка с мягкими иголками – это пихточка.

Ю. К.: Я ее такой вот посадил, она выросла почти с меня ростом.

М. Н.: Нет, у меня где-то лет через пять, конечно. У тебя сколько твоей Каменке лет?

Ю. К.: Ну вот семь будет.

М. Н.: Ну вот.

Ю. К.: Я первое время дом строил. Я три года дом строил.

М. Н.: Года через три – уже будет. Вот и сейчас, я смотрю, в это лето уже третий год – это уже вполне оформленный, красивый куст; цвел, все как есть. Все дело – в цветах.

Так что, на мой ум, что касается этих писателей – они все гораздо интереснее, чем вот эти товарищи городские. Потому что товарищи городские только описывают, фиксируют факты. Вот у Трифонова, скажем, мещанство давит. Самые глобальные пафосы они уже выразили, притом, если уже говорить о художественности, то очень хорошо.

Ю. К.: Да, у Трифонова – классно. Эти рассказы замечательные.

М. Н.: Нет, но эти люди, на мой ум, сказали главное. И больше того, этих я помню гораздо лучше, с этими я согласна гораздо больше.

Ю. К.: Вот извини, я перебью. Вот Шукшин, я что-то так задумался… Мы же его любили, читали в свое время. Ты помнишь? Вот я сейчас подумал: он же идиотов изображал. Вот, скажем, Юрий Казаков изобразил тоже идиота в рассказе «Трали-вали» – мой любимый рассказ из всех рассказов, ну не считая Бунина. Он живет на реке, бакенщик, помнишь, здоровый, косолапый (он сам себя написал, свой автопортрет).

М. Н.: Он что, косолапый был?

Ю. К.: Казаков, когда я его видел, ростом был с меня, очень полный, здоровый, испитой дядька… Пьяный вечно… Он изобразил такого же героя: работает бакенщиком, пьет страшно, живет не в деревне, а на противоположном берегу. Река большая, типа Иртыша, я не знаю. Вот он – бац! – и пьет, бац! – и пьет, бац! – и не пьет. Но раз в две-три недели

к нему приезжает женщина, стирает ему все, моет, готовит еду, они идут в баню париться, потом обедают хорошо, потом выпивают крепко – он выходит на берег. Он бледнеет страшно, у него лицо синее становится. Она тоже усаживается. Вот он сидит на берегу реки, начинает что-то напевать – сначала хриплым голосом, потом полным голосом, потом страшный тенор.

М. Н.: А над рекой так хорошо слышно.

Ю. К.: Казалось, тоже дурака показал, как и Шукшин. Но показал так – не знаю… Суть русского таланта, природного таланта.

М. Н.: У Шукшина сплошные какие-то другие, они какие-то «подна́чники».

Ю. К.: Но тут есть некая разница. Шукшин все равно работал, мне кажется, «на публичку». На читателя. Вот тут – смеяться, а вот тут – вот так, а тут – сяк… А Казаков, а Астафьев – нет.

М. Н.: Шукшина всегда волновало то, каким он обладает методом, как он пишет, как он смотрит, как он отреагирует. Это какое-то такое ехидное мучительство жило в нем всегда. Что касается Распутина, он от этого абсолютно свободен.

Ю. К.: То есть у Шукшина есть какой-то «комплекс урода».

М. Н.: Да, конечно, конечно!

Ю. К.: Комплекс чудака, прежде всего.

М. Н.: А у Астафьева видно, что мужик крутой, не сильно-то добрый, жутко сложный, запутанный, но комплекса неполноценности в нем нет никакого. Я ведь понимаю, что, вообще-то, пришлось ему зверски трудно, но тем не менее ему делает честь то, что он не полез в московскую тусовку, то есть это какой-то природный ум… Надо сказать, за Астафьева судьба сильно вступилась. Во-первых, крестьянское происхождение, во-вторых, Сибирь – с Сибири, уже с Урала, начинается народ совершенно особый. Потом постоянная близость к этим жутким мощностям… Я не понимаю, как человек, который приперся с Иртыша или Байкала будет пробовать у них писа́ться. Ну, это невозможно! Я удивлялась очень, зачем это сделал Ким. У него такая роскошь, такая мощь – последний наш великий прозаик. Кстати, у этого человека есть то, что в литературе встречается чудовищно редко – то, что в человеке называется порода.

Ю. К.: Он просто дворянин… В нем же царская кровь течет… Я очень люблю его. Особенно «Луковое поле».

М. Н.: Что касается этой царской крови – это было когда-то, это осталось в веках – от тебя зависит то, как ты в себе эту кровь несешь.

Ю. К.: Правильно!

М. Н.: В этом отношении – да!

Ю. К.: А кто в XX веке самый крупный прозаик все-таки?

М. Н.: В XX веке…

Ю. К.: Поэт, понятно, Мандельштам.

М. Н.: *(Смеется, подтверждая вышесказанное.)* Одного назвать трудно. Дело в том, что, когда начинаешь говорить об этом, сразу вскрывается некоторая блистательная подробность, о которой не сразу скажешь. Скажем, что касается Анны Андреевны Ахматовой, Анна Андреевна Ахматова работает со словом, как со скатным жемчугом. Она никогда не поставит слово в спекулятивную позицию, в какое-то перенапряжение – никогда! Она никогда не сделает, что делает, скажем, Маяковский, то есть не придумывает: «А вы ноктюрн сыграть могли бы?..» Тут вспоминается, товарищи, Бунин: «Заумное есть глупость». В этом отношении никогда Ахматова себя ни в чем не винила. Никогда никакого намека на истерику у нее нет. Это все надо ценить, это все надо уважать. Блок ведь был совершенно прав, говоря, что от перенапряжения метафорического сознания уже разит смертью, то есть от этой игры слова умирают. С этим очень сложно в русской литературе, поскольку русская литература – это человечность, совесть. Вот совесть – боль, совесть – боль, совесть – боль – это как-то страхует, как-то придерживает. То есть ценить надо то, что достойно того, чтобы его ценили, отвергать то, что должно быть отвержено. Заиграться с этим жутко легко!

Ю. К.: Вот Астафьев – классный прозаик.

М. Н.: Да, Астафьев – классный прозаик. Еще Ким! После Кима я не знаю никого, это просто золотая проза по языку, по идеальной взвешенности – вот прямо за Буниным он пойдет. Но мощность Астафьева невероятна. Кто-то его сравнивал с Шолоховым, я бы не сравнила.

Ю. К.: Послушай, а Солженицын… Как тут сложилось?

М. Н.: Ты знаешь, про Солженицына мне говорить очень трудно.

Ю. К.: Угу. Мне тоже.

М. Н.: Мне говорить трудно! Во-первых, «ГУЛАГ» – это не художественное произведение. «Двести лет вместе» – это очень интересно, но это не художественное произведение. И надо сказать, что все его художественные произведения, кроме, может быть, «Матрениного двора»…

Ю. К.: «Матренин двор», «Иван Денисович» и «Случай на станции Кречетовка».

М. Н.: Убрать большие его произведения.

Ю. К.: Вот три…

М. Н.: Особенно «Матренин двор», который, бесспорно, очень хорош. А все остальные его творения практически одухотворены и воплощают все то, что сказано в этих вещах. Я не знаю, как к этому относиться.

Я не берусь это оценить. Я не знаю, как относиться к писателю, который открывает мне глаза на исторические факты, которые раньше по идеологическим причинам от меня скрывали. Поэтому мне, в сущности, не нравится этот «Дом на набережной». Мне просто…

Ю. К.: Пустышка.

М. Н.: Я не скажу, что это пустышка, но мне такие вещи не нравятся потому, что вот этой мощности художественной литературы, которая должна быть, там нет. Что касается поэзии, я всегда подчеркиваю то, что она – не литература. Мы уже говорили, что она берется оттуда, откуда идет этот первоначальный трепет, не выраженный словом, ибо невозможно это выразить, так как ты, окромя волны и трепета, ничего не слышишь. Вот сама невозможность это выразить и является главным стимулом того, что человек берется это выражать. Так вот в прозе этой невозможности выражения нет. Прозаик, в сущности, знает, о чем он будет говорить. Поэтому содержание прозаического произведения в какой-то мере, конечно, пересказать можно – и ты что-то поймешь. Тогда как содержание стихотворения пересказать нельзя! Надо только слышать его, весь его ритмический рисунок, всю его стать и походку…

Ю. К.: Придумать можно. Можно представить…

М. Н.: Ну да! Вот тут-то как раз и есть глобальная разница, что и говорить! Я понимаю, конечно, что степень этой невозможности выражения у прозаика зависит от многих вещей: тут и включаются всевозможные политкорректности, инстинкт самосохранения – что только не включается. Хотя ничего включаться не должно! Должно включаться только идеальное чувство меры: вот как «Капитанская дочка» и «История пугачевского бунта». Но, надо сказать, когда находится писатель, способный подняться над всеми инстинктами самосохранения и всякими идеологическими соображениями, получается вещь первоклассная, первостепенной важности. Из тех, кого мы только что назвали, пожалуй, будут только «Царь-рыба» и «Проклятые и убитые» Астафьева. Вот мне нравится «Прощание с Матерой» Распутина, но оно красиво, при всей моей нежнейшей любви к Валентину Григорьевичу. Неслучайно сняли по нему кино.

Ю. К.: Да-а-а. Фильм – ничего, кстати… Л. Шепитько сняла…

М. Н.: Да, фильм ничего. Ну у нее, видишь ли, еще вкус на артиста есть. У меня есть такое ощущение, что у Валентина Григорьевича есть возможности, которые до сих пор еще не реализованы. И кто его знает! Вот у него есть такой рассказ «Что передать вороне?», это одна из его последних записей, сейчас он мало пишет, и там есть одна штуковина, которую он никогда не делал раньше. Вся эта его мифология, которая тянет его в притчу или в какой-то такой мифологический крен, здесь есть, но

есть и другая вещь. Он идет по лесу. И он идет и оборачивается – и видит по склонам – ничего. Снова он идет по лесу. То есть он уходит совсем… «Уроки французского» – ну что ты! – товарищи, это просто мощный роман! Этот мальчик, этот Будда! И то, что он, вообще, нашел такую пару, там сразу видно, что он может что-то такое!.. Вот у него – «Уроки французского», «Матера» и «Что передать вороне?». Скажем, все остальное – «Деньги для Марии», «Живи и помни», – я согласна с этим, но некоторое какое-то нравоучительное… Я ничуть не удивлюсь, если он напишет что-то совершенно неожиданное. Правда-правда!

Ю. К.: Его подпортили…

М. Н.: Да-да! Его жутко рано начали хвалить как раз за то, за что бы его хвалить не надо. Потому что начали хвалить «Деньги для Марии», «Живи и помни». Между прочим, даже и в «Живи и помни» есть момент: когда уже она смотрит-смотрит-смотрит с этой лодки, нам уже понятно, что будет. Уже давно понятно, что будет. Между прочим, в «Живи и помни» есть столкновение сознания европейского и нашего – в ярчайшем виде, просто, знаете, в сим-па-тич-ном виде! Потому что, в сущности, что такое права человека, за которые мы все так ратуем? Права человека – это «я желаю, чтобы ты признал: всего ценнее на свете моя жизнь, моя». Я не буду воевать с фашизмом, я родителей отдам в дом престарелых, потому что моя жизнь дороже всего. И они так прекрасно живут! И им нравится! Я не хочу этих людей ругать. Боже мой, они живут так, как они живут. И еще одно: я и сейчас говорю, что у деревенщиков есть чему поучиться.

Значит, о чем мы там договорились? А! Мы говорили о Распутине. И вот она смотрит с лодки, и уже понятно, что будет, и там, на дне, словно спичку зажгли. И она склоняется к этому огню – и тут ей только орут, что, как бы, не смей этого делать. И еще очень хорошо в конце: ее хотели похоронить как утопленника, но бабы не дали и похоронили ее со своими.

Ю. К.: Майя, а вот «свежих» писателей ты читала? Таких, как Довлатов?

М. Н.: Ой, ты знаешь, лучше о них не говорить: Довлатов как писатель очень интересный, очень приятный. Но мне лучше про это не говорить. И еще одно: избави Бог, такой роскошный мэн, что просто блеск! Но вот когда его читаешь, эта прелестность совсем не нравится. Когда я его прочла… Ну, и на этом наш контакт кончился. А Астафьева я забыть не могу.

Ю. К.: А вот смотри, Майя, после войны были опыты мемуаров. Солженицын – это же мемуарная повесть. И сегодня мемуары выходят на одно из первых мест в отечественной литературе. И тут такая фигура по-

является интересная – Надежда Яковлевна Мандельштам. С ней в каких ты отношениях?

М. Н.: *(Вздыхает.)* Надежда Яковлевна, ну как тебе сказать, в каких я с ней отношениях… Трудно говорить. Надежда Яковлевна – женщина очень умная, вне всякого сомнения. Умная, образованная – правда. Но очень недобрая.

Ю. К.: О-о-очень недобрая.

М. Н.: Понимаешь, мне лично трудно судить о человеке, который очень недобрый, потому что в моем русском раскладе доброта находится выше ума и перед ним стоит. И она определяет. Вот если человек добрый и умный – это уже Господь одарил, это уже все…Что тут надо сказать? Читателю очень интересно…

Ю. К.: …читать о Мандельштаме.

М. Н.: Особенно, если мы рядом читаем и других авторов. И получается, что мы можем смотреть разными глазами, с разных сторон – он получается многогранным. И поэтому читать для любого умного человека всегда интересно. В мемуарах есть очень странное свойство: человек всегда пишет о себе. Вот о Мандельштаме я пишу или о Пушкине – я все равно пишу о себе.

Ю. К.: Надежда не писала…

М. Н.: Нет, ну это, наверное, закон жанра. И никуда деваться невозможно. Я пишу о себе. А поскольку она пишет о Мандельштаме, то в писании о себе он как-то подвертывается четко: она знает о нем. Можно подумать, это она все написала и она все это сделала. И вот это меня смущает. Ты знаешь, меня совершенно не смущает, что она кого-то там обругала, ради бога – дело житейское. Ну подумаешь! К старости характер человека, как правило, портится, очень редко не портится. Но, понимаешь, когда мы все это читаем, мы читаем все это как летопись чрезвычайно значительной и чрезвычайно страдательной жизни. Точно так же, как постоянно делают страдальца из Бродского. Постоянно делают страдальца из Пастернака. Недавно мне сказали, с каким мужеством Андрей Андреевич Вознесенский переносил муки. Какие, товарищи? Какие? Вот о чем мы говорим?! Это были люди, которые жили, общались с людьми высокой пробы, которые никогда ничем не занимались, кроме своего высокопробного дела. В сущности, назовите мне человека из близсидящих, который прожил так жизнь. Только этим они и занимались.

Ю. К.: Ты вот сейчас говорила: «Назовите мне из близсидящих, кто бы так прожил жизнь». Пастернак, что ли?

М. Н.: Да, вот назови! Ты знаешь тех людей, которые вот так прожили жизнь? Занимались только любимым делом…

Ю. К.: Не знаю.

М. Н.: И я не знаю! И только любимым делом занимались. Вот назови мне человека. Вот, скажем, Пастернак: всю жизнь с любимой женщиной, всю жизнь на любимом месте! Товарищи! Это же Божий избранник! Ну, счастливей просто не придумаешь! И что касается послевоенного времени, ужасов этой безумной нищеты, того, что мы видели, слышали и пережили… Мы же все ходили в таких вот расплывающихся синих пятнах от недоеду, у нас всюду были коросты, всюду все рвалось. Вот поэтому книгу о Вознесенском я отложила. *(Смеется.)*

Ю. К.: Я тоже. Я полкниги прочел.

М. Н.: Ну конечно! Какой же он страдалец! И еще одно: они только что вышли из жизни, которая была устроена совершенно иначе – как им не страдать. Совсем недавно мне писали из Воронежа приятели, прислали книгу одного исследователя: он там поднял какие-то дела мандельштамовские. Выяснилось, что им в Воронеже очень много помогали, что им выделили там какую-то пенсию, что какие-то там помоществования были денежные, притом немалые. Но их полная безумная непрактичность и – самое главное – постоянная уверенность в том, что им должны выдать снова!.. Вот понимаешь, пусть я буду пошлая дура, но я отключиться не могу, вот на сегодняшний день, отключиться не могу. Я понимаю, конечно, что жили они не сахар, какой разговор, но, с другой стороны, давайте разберемся. Она сама говорит: «Вот эти живут хорошо – они стали советскими писателями», вы – не стали, стало быть, вы настаиваете на своем! Стало быть, вы живете так, как вы считаете должным. Стало быть, товарищи, надо оценивать это по-другому. В этом случае надо бы вспомнить Блока: «Каждый человек имеет то, что он хочет». Ты знаешь, вот когда я приехала туда, где они жили в первый раз – было это где-то сорок лет назад, – тогда я была, естественно, полна всевозможного сочувствия, потому что Мандельштам – это Мандельштам. Тебе выделяют деньги в голодном Воронеже, а ты идешь их тратишь на пирожное и дорогое вино.

Ю. К.: Абсурд!

М. Н.: Ради Бога! Пусть абсурд! Я ничуть не против абсурда. Вот ты только что рассказывал, как живет русский человек – напьется и поет песни. Абсурд! Ты знаешь, когда меня спросили: что это в нас говорит? Это говорит в нас национальное! *(Смеется.)* Абсурд – это у нас национальное. Но есть такая штуковина, очень много объясняющая: Н. Я. Мандельштам в конце жизни своей, когда у нее была однокомнатная квартира, к ней стали приходить, ездить всякие люди из издательств, всякие зарубежные люди, к ней этих людей приводили как к местной достопримечательности, и она стала «дежурной» страдалицей – и роль этой «де-

журной» страдалицы она приняла. Вот это ужасно! Если на то пошло, ну, откажись, что ли, от нее. Больше того, судя по всему, ей это нравилось. Ей очень нравилось, что все ее реплики записываются… И вот когда к ней пришли в чью-то пользу подписать (были там какие-то гонения), она сказала им: «Вот, знаете, у меня есть собственная однокомнатная квартира, свой пятак – и я никогда от него не откажусь». Это очень объясняющий момент. Я понимаю, действительно, старая женщина – я могу ее понять. Да и за что?! Осипа Эмильевича уже давно нет: совершенно правильно, страдать уже больше не за что, но можно было этого не говорить. Я только об этом. Ради Бога, можно было сказать: «Плохо себя чувствую», – но она сказала так. Я совершенно равнодушна к тому, что она кого-то там ругает, или она кого-то мало ценит – это их дело. Меня, например, мало волнует, когда она там описывает романы Мандельштама, – какие там романы? Я ни одного романа не знаю, потому что там, где это описывают другие авторы, это выглядит совершенно иначе. Да ради Бога! То, что ей не нравится, что у него были с кем-то романы – да ради Бога! Пиши ты что хочешь! Но вот эта вот ее последняя роль, которую, как она считает, она заслужила, мне кажется, что это – мало, что эта роль – мала.

Ю. К.: Скажи, вот Бродский строит ряд писателей XX века: начинается он Платоновым, а заканчивается именно Надеждой Яковлевной Мандельштам. Бродский считал ее прозаиком.

М. Н.: Нет, ради Бога! Вот, по-моему, прозаиком был Мандельштам – он писал классно.

Ю. К.: А вот интересно, такой феномен есть странный: диссиденты, изгнанники ненавидят власть: Надежда Яковлевна, Бродский, например. Но потом это приелось, и они автоматически переводили это на страну («совок», «советы»), а потом и на народ. Вот если Бунина вспомнить: Бунин же ненавидел Советы, но народ-то он никогда не трогал.

М. Н.: Между прочим, об этой способности писателя постоянно тяготеть к власти сам Мандельштам говорил. Это очень легко объясняется, потому что огромное количество людей пишущих, кроме тех избранников, которые считают своим долгом написать и больше ни за что не бороться, нуждаются в признании, в том, чтобы их поняли, чтобы их оценили, стало быть – во влиянии. Я прекрасно помню, когда перед началом нашего российского периода какой-то значительный, первоклассный актер (не буду называть имя, чтобы никого не обмануть), когда его спросили, мол, что же вы, так сказать, в такой низкопробной рекламе снялись, ответил: «Это моя профессия». И когда зашел разговор о том, что было при той власти, что – при этой, он просто так и сказал, что эта власть – лучше, потому что платят больше. О том, что разные гонорары, я узнала

поздно, когда советская власть кончилась. Вот эта борьба за гонорары, за переиздания – это была мощная такая практика. Надо сказать, писатели в ней участвовали, когда считали строчки за каждую копейку гонорара – я бы хотела этого не знать, но это всегда было. Между прочим, вот эта борьба за гонорары, за тиражи – это, товарищи, борьба за влияние. А раз борьба за влияние, значит, я на многое пойду в контакте с властью, ибо самое большое влияние будет тогда, когда я этой властью буду замечен.

Ю. К.: У Мандельштама это проговаривается, он тоже прикопался к власти, шел к ней, есть факты. Любая власть отвратительна, как руки брадобрея, посмотрите на руки власти.

М. Н.: Он вступал с ней в отношения несколько раз. Нет, дело в том, что тут есть такая старая-старая обида русской интеллигенции, которая никогда не занимала в нашем российском раскладе такого места, на которое она могла всячески претендовать. Они ведь никогда не были духовной элитой или советниками – ничего подобного! Они где-то всегда были очень даже вытиснутыми! И вот обида эта даже очень срабатывала. Ну, что касается советской власти, я говорила, что все было абсолютно честно: чем я активнее, тем лучше я оплачен, тем лучше я замечен и т. д. Если ты нейтрален, то и к тебе – нейтрально. Если ты против, то и они против тебя. Тут все совершенно понятно, поэтому я вам так скажу: у человека выбор был – пожалуйста, выбирай! И люди выбирали.

Е. Д.: Ни у Мандельштама, ни у Ахматовой не было никаких идеологических, политизированных текстов.

Ю. К.: Нет, Лена, это не так, не совсем так.

М. Н.: Нет, это не политические. «Мы живем под собою, не чуя страны…» – это верх гуманизма.

Е. Д.: Они появились уже после контактов…

Ю. К.: Он хотел выжить и написал оду Сталину!

М. Н.: Что касается Сталина, обратите внимание на исторические факты: фигура Сталина привлекала очень многих и у нас, и за рубежом. И это можно понять.

Ю. К.: Он написал «Мы живем под собою, не чуя страны…», за это он был арестован, за это его месяц целый мучили в тюрьме, сожгли ему глаза, свели с ума, отправили в Чердынь. Он выбросился со второго этажа – вывихнул ключицу. Перевели в Воронеж хлопотами друзей… Потом, когда он понял, что приходит конец, написал оду. Это факт, я знаю, все знают. И он написал не оду, а инвективу. Это получилась инвектива. Он опорочил Сталина – вот в чем дело. То есть талант не дал ему солгать. А, кстати, Бродский отмахнулся от своей земли. И Ахматова вовсе не со-

трудничала с властью: она хотела спасти Льва Николаевича, сына своего, в ноги падала.

М. Н.: Ну что касается «спасти сына своего» – надо писать и падать!

Ю. К.: Так это понятно, я же не осуждаю ни его, ни ее.

Е. Д.: Ну вы же сами сказали так: «Кто нейтрален, к тому нейтрально и относятся». А Бродского за что?

Ю. К.: Нет, Бродского совершенно справедливо: за то, что колхозный строй критиковал.

М. Н.: Самое главное – чтобы человек не начал думать сам. Если на то пошло, то ничто с такой мощностью не заставляет человека думать самостоятельно, как поэзия.

Ю. К.: Вот, господа, смотрите! Вот, советская власть, вот уровень некий… Вот появляется человек, который начинает ее ругать.

М. Н.: Ну что! Конечно!

Ю. К.: Потому что это и есть тирания. Бродский уезжает. А Тихонов спрятался, Тихонов же талантливейший поэт, у него были блестящие книги. Тихонов ниже ростом стал – вот и все. А Ахматова высилась, Пастернак выделялся, Мандельштам возвышался.

М. Н.: Нет, вы знаете, дело-то в том, есть ведь люди, которых испугать просто нельзя.

Ю. К.: Да, Ахматову нельзя испугать.

М. Н.: Вот нельзя – и все!

Ю. К.: Вспомните разговор с английскими студентами, которые приехали в Ленинград и вызвали Михаила Михайловича Зощенко и Анну Андреевну. И провокационный вопрос был такой: «Как вы относитесь к постановлению 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград»? И что ответила Ахматова: «Я полностью согласна с критикой в этом постановлении». Что сказал Зощенко: «Я – не согласен!» Зощенко погиб. Она опять, не знаю, ради сына, ради традиции. Потому что, если бы она погибла, сын погиб, это однозначно.

М. Н.: Это 46-й год, товарищи.

Ю. К: Ну да, это был не 46-й, это был уже 48-й… Страшное время было.

М. Н.: 48-й. Если взять и посмотреть ситуацию в стране – Боже мой!..

Ю. К.: Тот же самый Платонов подметал тротуары.

М. Н.: Ну это, говорят, придумано. Это была такая легенда, которую, если даже ее не было, стоило придумать.

Ю. К.: На самом деле он сидел с умирающим от туберкулеза сыном – вот чем он занимался.

М. Н.: Тогда лучше гораздо мести мостовую.

Ю. К.: Это трагедия Платонова – умирающий сын.

М. Н.: Что касается кочегарки и подметания улиц – ничего страшного. Ничего! И сами люди, делающие это, нисколько не относились к этому как к гонению – ничего подобного!

Ю. К.: Ну вот смотри, я в 81-м году – в принципе тогда была советская власть суровая – стал преподавателем в университете, я не сидел в кочегарке. Это хорошо или плохо? Ну я имею в виду, это не сотрудничество с властями?

Е. Д.: Ты талантливый, мудрый.

Ю. К.: Нет, ну что значит талантливый, мудрый?

М. Н.: Никому не нужны талантливые и мудрые.

Ю. К.: Майя знает, какой я был мудрый. Полный дурак был.

М. Н.: Нет, ну не то, что дурак. Талантливый был, мудрый еще не был.

Е. Д.: Но главное – в науку пошел. Это самое главное.

М. Н.: Ты был прекрасен, как орхидея. Сам собой был хорош – это поразительно. Посмотришь на его отца, его мать – товарищи! Божий промысел! Орхидея, красавец, жуть, как хорош собой. Пластика! Как он бежал! Просто поразительно. Ну такие долго не живут! Среди всех, так сказать, талантливых дураков, безбашенных в университете были два человека, которые отличались самым основательным, самым феноменальным, таким совершенно неподдающимся никакой редакции упорством в деле, которым будут заниматься, – это ты и Саша Верников.

Ю. К.: Для меня стихи – это самое главное в жизни.

М. Н.: Ну вот! Ты и Саша Верников. Даже что касается Жени Касимова, уже тогда было понятно, что… Женя был такой человек незлобный, вполне приятный, контактный, вообще, очень милый. Но, допустим, он мог писать рассказ про старуху и тут же, допустим, про яблоню красивое стихотворение. И тогда уже можно было понять, что это не будет для него ведущим. Вот это было просто видно. И еще вот как-то всегда читаешь – это Сережа Кабаков и зачеркнуто, зачеркнуто – это у нас национальное. Упал в эти стихи, как в прорубь с головой – и уже не вытащишь.

Ю. К.: У Сережки Кабакова что-то другое, ему что-то мешает всегда. Я не знаю, что.

М. Н.: Значит, Серега был человек какой. Когда он ко мне пришел, он не умел даже записывать стихи, записывал в строчку. И я ему правила. Он совершенно не понимал, откуда это все идет. Он не отличал стихи хорошие от плохих, чужие от своих – это черти что было, это просто тундра.

Ю. К.: Дело еще в том, что он был просто необразованным.

М. Н.: А теперь пункт второй: Сережа – это был человек, которого, как Николая Васильевича Гоголя, нельзя было учить.

Ю. К.: Да.

М. Н.: Он же начал учиться в университете. Но когда он оттуда ушел, я говорю: «Сережа, и не жалей!» В эту тундру и нечего соваться. Тундра, между прочим, очень ранимая структура. Там, когда американцы работают, они полиэтиленовые коврики расстилают со специальными отверстиями для продыху, и только по ним шагают. Так вот Серега, при всей своей громадности, был такой структурой… В чем тут еще дело: когда Серега читал Бунина, он писал, как Бунин, когда – Блока, писал, как Блок, когда читал Есенина, был как Есенин. Жуткое дело! Он как-то так немедленно это все вдыхал и выдыхал – просто ужас! Я говорю: «Серега, никого не читай». И надо сказать, когда он полюбил Катулла, это сразу была какая-то не то, что любовь, это было сразу попадание точку. Товарищи, он же теперь меня по часу на латыни долбает по телефону – вот до чего Катулл-то его довел.

Ю. К.: А вот Калужский Саша уехал, кто еще… Ленька, ну Ленька – понятно.

М. Н.: Саша и сейчас пишет хорошие стихи просто валом.

Ю. К.: Ну, у него нет связи с землей. Взял Лермонтова перевел.

М. Н.: Саша вообще сложный случай… Во-первых, так: идеальный случай, когда твой дедушка закончил университет, потом – отец, потом – ты. То есть ты стоишь на готовом фундаменте. У Саши фундамента никакого. Он, так сказать, первый был каменщик. Это важно. Второе, что очень важно: он родился в поселке Беринга – там лютота, Колыма. Надо сказать, что огромность этой лютоты, земли и океана в человеке, хотя он уезжал оттуда ребенком, каким-то образом сказывается. Потом Саша ужасно красивый.

Ю. К.: Необычайно.

М. Н.: Ну немыслимо красивый! Это тоже очень важно. Дело в том, что, понимаешь, всю эту красоту снести трудно. Притом бывает фрачная красота, бывает герой-любовник, бывает как Юра Казарин – у него внешность, сейчас я вам скажу какая: ну вот за ним стоят полки с разорванными знаменами, так вот на фоне этих полков ему самое то! Это лучше, чем фрачный красавец, лучше, чем там… Но при всем при том это очень трудно вынести. Ну, трудно постоянно слышать вот эти полки с разорванными знаменами. Ну, Саша-то красив, за ним античная Греция.

Ю. К.: Вся культура.

М. Н.: Да, вот это все! И для того, чтобы быть этого лика достойным, вы знаете, нужно как-то вникать в себя. Трудно! Поэтому трудности в нем

много, это точно. И потом в него, как говорила моя умнейшая бабушка, порченая кровь попала. Я, знаете ли, Сашу люблю, очень хорошо к нему отношусь, и сейчас у нас с ним хорошие отношения, но как-то я его спросила: «Саша, у тебя в ближайших предках никто не утонул в холодной воде?» Вот, понимаешь, что-то такое. А это, между прочим, таскать в себе очень трудно. Вы знаете, если человек покончил жизнь самоубийством, то и детям его достанется неполная жизнь – и пойдет, и пойдет, и пойдет.

Ю. К.: У меня дядя повесился в 74-м году, его сын, Славка, умер сорокалетним, его дочь спилась.

М. Н.: Ну вот! Массу вещей делать нельзя. Вот неслучайно и Распутин, и Шукшин, и Астафьев хором закричали: тогда еще можно было что-то сделать. Тогда оставались бесперспективные деревни, где доживали две-три старухи, но эти две-три старухи были, как моя бабка, средоточие народной мудрости. И не уходили они оттуда, потому что живая земля должна быть живой. И только они, между прочим, такую величайшую миссию выполняли и помнили это до конца. И все эти люди это все слышали. И потом, правда, правильно сказал Распутин, прошлого не вернешь.

Ю. К.: Сейчас люди пошли ведь обратно в деревню, не много, но пошли. И не алкоголики.

М. Н.: Да, дай-то Бог. Я всегда говорю, пусть хотя бы будут летние дачи.

Ю. К.: Нет, нет! Они живут там! В Каменке у меня сосед здоровый мужик 38–39 лет живет, Вовка Попов, местный причем, вокруг них образовалось: Мельников Володя – замечательный художник, Женя Серебренников – плотник…

М. Н.: Лишь бы только живое место осталось живым местом!

Ю. К.: Я посчитал, там двенадцать человек мужиков – не алкоголиков! – живут там круглый год, постоянно.

М. Н.: Ну это же хорошо! А я вот была в одной деревне – красотища невероятная, соловьи орут, аж деревня качается! – зимует один человек. Один.

Ю. К.: А где это?

М. Н.: Ой, забыла. Один человек зимой – никто не зимует!

Ю. К.: Нет, в Каменке не так. Там есть местные: Юрка да Вовка ходят.

М. Н.: Ну ты что, часто бываешь там?

Ю. К.: Я постоянно там.

М. Н.: Вообще, надо сказать, что самая такая тяжелая судьба, это когда человек в деревне живет, потом в райцентре, потом побольше…

Ю. К.: Вот ты говоришь, Виктор Петрович Астафьев говорит: мы вернемся обратно! Постепенно.

М. Н.: Вот ты знаешь, Юра, я понимаю, что надо верить. Надо верить так же, как мы верили в победу в 43-м году и в 41-м! Но очень трудно.

Ю. К.: Нет, надо верить. Мне кажется, что не может такой народ пропасть. Народ с такой культурой, народ с такими традициями.

М. Н.: Девочки, такой красивый! Теперь, когда мне говорят: «Ну, настоящая парижанка!» – я говорю: «Посмотрите на тех парижан!» Какие там некрасивые люди: все женщины некрасивые, все мужчины мелкие. Они все с меня ростом! Мужик с меня ростом… Вот он идет в таком и так *(что-то показывает)* – я просто чуть не упала! То есть это для них естественно. И они правы, потому что Наполеон, в конце концов, был на сантиметр ниже меня, на сантиметр – метр пятьдесят один был Наполеон.

Ю. К.: А ты – пятьдесят два?

М. Н.: Да.

Ю. К.: У меня мама пятьдесят пять была.

М. Н.: Нет, я ходила на таких вот каблуках – это сейчас уж.

Ю. К.: И ты все время ходила в роскошных шубах. Но не все время, в те годы.

М. Н.: Сама шила – сама.

Ю. К.: И – кольца! Кольца были на руках! По штуки три.

ВЕЧЕР ТРИНАДЦАТЫЙ

Ю. К.: Мы остановились на шубах и «вся в кольцах узкая рука»…

М. Н.: Что касается моих роскошных шуб, сейчас скажу: я шла в какой-нибудь магазин комиссионный, покупала себе большую шубу, у которой там был потерт край и т. д., раскладывала на пол, кроила и шила себе другую. А поскольку у меня нет машинки, которая шьет, я шила это все себе, товарищи, в две дыры. После того, как я все это сшивала, я ходила неделю, не снимая перчаток, потому что все руки были в крови. Но зато, ой! Я шила себе много шуб, самая моя любимая была – вот та самая.

Ю. К.: Гордячка Майя. Мне Сахновский говорил: «Слушай, Юр, Майя уже в четвертой шубе». Ну, классно!

М. Н.: Надо сказать, талант был такой – не работал!

Ю. К.: Наступила эпоха посткнижной культуры. Не думаю, что это катастрофа, но это нечто невообразимо иное.

М. Н.: Я так полагаю, что книжная культура уходит окончательно и никогда не вернется. Видимо, знаете, уже наверное, ничего не сделать.

Ю. К.: Массовое явление.

М. Н.: Массовое! Нет, конечно, останутся какие-нибудь избранники.

Ю. К.: Тот, кто пишет.

М. Н.: Да. И какие-то, может быть, будут небольшие хаотического круга компании. Массово – уже никогда, никогда. Но вот сейчас в мире, вообще-то, читают не много, просто надо знать, как считают, чтобы это понять. Допустим, я пришла в библиотеку посмотреть свежую газету или какую-нибудь статью, ведь меня уже учли, а ведь я не читатель! Точно так же категорически не являются читателями люди, которые берут подписку литературы, чтобы сдать дипломные работы. Я работала несколько лет в библиотеке научного института: человек набирал, набирал, набирал, но он же не читатель, он защищал кандидатскую диссертацию. Он сдавал, и больше никогда ничего не брал. Это не читатель. И таких людей вообще учитывать бы не надо. Это был совершенно такой рабочий интерес, когда человек читает не для себя, не для того, чтобы чего-то узнать.

Поэтому всевозможному учету книжному доверять нельзя. Кроме того, мы уже сколько раз говорили, что книги-то покупают, но кто нам сказал, что их читают! Я знаю сколько угодно людей, которые книги не читали. Мы пережили целую эпоху, когда все читали.

Ю. К.: Книгу – в каждый дом!

М. Н.: Да! «Книгу – в каждый дом!», «Лучший подарок – книга!» Книги читали, действительно. Это было такое массовое чтение в 60-е годы, когда читали все журналы. Я сама выписывала восемнадцать газет и журналов – и все читала. И за журналами стояла очередь. И надо сказать, что вот этим всем товарищам, о которых мы сейчас говорили: и Распутину, и Астафьеву – им очень крупно повезло, потому что все их прочитывали. И притом, ведь это правда, о книгах, о литературе говорили в трамвае, троллейбусе, говорили на улице…

Ю. К.: Майя, а какие журналы ты читала?

М. Н.: «Иностранную литературу». Во-первых, я брала в детской библиотеке «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Современник» и т. д. – там все они были, и все их я там читала. Себе я выписывала «Новый мир», чтобы то, что там печатали, можно было оставить себе. Потом я себе выписывала несколько журналов: «Вокруг света» там и т. д. Потом выписывала несколько журналов с венгерскими повестями – повести читала, а остальное, как тебе сказать, для картинок. Потом я выписывала «Науку и жизнь». Литературные газеты – да, «Литературная Россия» – очень много. Тогда ведь все это было очень дешево. Правда, читатели были разного пошиба, те, кто в библиотеке работали, могут посвидетельствовать, что читателей высокого пошиба, которые читают высокоумную потрясающую, замечательную литературу, которые реагируют на нее, говорят, думают, очень мало. Это количество читателей, как радужная нефтяная пленка на воде, – она безумно тонкая. Но уровень культуры, начитанности нации определяет она, потому что они читают самую потрясающую литературу: «Божественную комедию», по несколько раз перечитывают. Джойса, Толстого: в детстве – Толстого, в молодости – Толстого, в зрелости… Таких людей мало. Но дело в том, что это количество людей держится всегда, и можно сказать, что оно постоянно. Может быть, и сейчас это малое количество людей существует.

Ю. К.: Называют сейчас 7 % читающих.

М. Н.: Большая часть читает литературу среднего пошиба. Ну, правильно товарищ Гёте говорил, что человек читает то, что понимает, а понимает то, что про него. Поэтому зазор, пропасть между писателем или поэтом экстра-класса и средним человеком невероятная. Он практически не слышит того, что услышал поэт, потому что поэт начинает писать от

невозможности выразить, и практически эта невозможность остается, но человек другой слышит: тут что-то есть, какое-то волнение остается. И я считаю, что это достаточно ценно. Массы читали среднюю литературу: Анну Караваеву и т. д. – да ради Бога! Может быть, лучше читать это, чем Донцову и Устинову. Я считаю, что лучше. И еще одно: тамошняя жизнь тогдашним читателем опознавалась как жизнь, имеющая право быть вокруг него. То есть это наша жизнь – мы живем так! Поэтому очень много было читателей, очень много (это я вам говорю, как человек, проработавший в библиотеке очень много лет), которые полагали, что писатель – это тот самый человек, который просто пересказывает случаи, которые он узнал из жизни. Вот больше половины читателей уверены, что это так. Вот это странно, но это так. И вспомним соображение Блока о том, что поэт – это не тот человек, который пишет стихи. Как раз все наоборот: человек пишет стихи, потому что он поэт. Вот это практически не понимаемо, не признаваемо. Так вот весь этот невероятный успех поэтов-шестидесятников так называемых был в том, что они узнавались и понимались. Вот Мандельштам – нет, а они – да.

У меня был удивительно смешной, но очень показательный случай: когда я университет кончала, была практика в вечерней школе. А надо сказать, что мои студенты – они все были из какой-то рабочей конторы, и они все регулярно ходили ко мне. Со мной была такая стройненькая девушка – и они к этой девушке ходили. И этим обеспечили мне полную явку. К тому же, я вижу, какая это публика: я им рассказывала всякие интересные истории. И я им как-то решила рассказать про Тарковского: просто, что вот это – хороший поэт. А потом, думаю, надо мне какую-нибудь такую пару, чтобы показать, что это тоже поэт, но чтобы он был другого калибра. Идея в том, что одно и то же можно сделать по-разному. У меня было на магнитофоне записано: Тарковский читает и Евтушенко. Когда стал читать Тарковский, кто-то плохо слушал, кто-то, наоборот, внимательно, и молчали. Но когда стал читать Евтушенко – я им все порассказала про Евтушенко, всякие вещи приятные – они так хохотали, что катались по парте. И вот когда они отхохотали, я им говорю: «Так, а вот теперь вы мне скажите, что смешного вам там показалось?» И тут они мне сказали: «Ой, а как же? Ведь тут-то все про нашу жизнь! Вот там вот, кто первый читал – ну тут что-то вот… что-то такое… А второй – про нашу жизнь ведь!» Таким образом, эта приятность понимания во многом обеспечивала вот такой вот жуткий успех. Кроме того, я уже говорила, в чем они были одеты, как они держались и все такое прочее. Это были вестники чего-то иного. И это всегда видеть приятно. Они же очень артистично держались – это вообще никто не делал. Но тогда,

действительно, читали их сплошняком, переписывали стихи в тетрадки, записные книжки.

Другое дело – кто что переписывал! Я собирала Мандельштама, Волошина переписывала. Познакомилась с Мануйловым, который хотел делать его книжку. Он меня туда привел, я в этом кабинете, что хотела, то и делала – читала, конечно, и писала. И там он собирал книгу, которая пойдет в издание, а это были, дескать, те, которые еще было рано. И так я все это дело переписывала, но тем не менее переписывание стихов в тетрадки было явлением просто массовым.

Но тут есть еще одна такая поразительная вещь: как-то ко мне обратился один человек, который очень любит Вознесенского. Я ему говорю: «Вот за что ты любишь?» – «Вот понимаешь, вот читаешь… Я ведь его читаю так: положу листочек под строчку, листочком вожу – и ничего не понимаю!» Я говорю: «Покажи, где ты не понимаешь?» – «Вот здесь ничего не понимаю! Вот, что вы мне на это скажете?» – «Тут нечего сказать». С одной стороны, все понятно, с другой стороны, причастность к чему-то сложному – это тоже читателя удерживает. Но то, что это в действительности большой талант, это обсуждалось, говорилось, и в действительности это правда. И то, что мы были самой читающей страной в мире – это чистая правда. Читали всюду – что было, то было.

После этого молодые поколения, скажем, уже начали читать меньше, тем не менее держалась такая традиция, что по окончанию школы всю русскую классику – как минимум – ты прочесть должен! Да, а потом еще была же мода: то, что модно, то и читали. Потом моды стали проходить, и уже в 90-е годы не читали. Потом еще вот эта сумятица, которая произошла, и которая людей выбила из режима, который устоялся годами: журналы выходили очень четко, никогда не опаздывали, приходишь – почтовый ящик набит, и тут еще, даже если ты что-то не прочел, ты обязательно видишь, кто напечатан; а еще было такое правило: читали не только литературу, но и всю критику о ней. Критики работали вовсю, а еще «Вопросы литературы» же был. Критики работали исправно, и у кого-то были любимые критики: такого направления, другого направления…

А потом жизнь изменилась категорично, странно, быстро… Никто из наших политиков – из наших дураков и крикунов трибунных – никто никогда не сказал татарам: «Да вы нами три века торговали!» Заметьте, мы никогда никого не грабили, мы не торговали рабами, но нами-то торговали! Татары, Крымское ханство жили исключительно только этим. Но, заметьте, как бы они себя ни вели, никто не встал и не сказал всего. Да! Никто никогда не встал и не сказал товарищам прибалтам: «Вы сдельно работали в карательных отрядах у немцев». Да, действительно, мы

пьяные, драные, безбашенные идиоты, но мы героически терпеливые и великодушные. Так вот что удивительно: ни революция, ни Гражданская война – чудовищное испытание, ни Отечественная война как-то народ не поломали. Я была совершенно уверена, что периоды эти будут более длительными, более мучительными, но это ужасное «обогащайтесь!», «живите в суверенитете, пока не захлебнетесь!» – вот это все сработало так молниеносно и так быстро, что все ценности, которые действительно народом почитались, вечные ценности: сострадание, человечность, совесть – все это стало смешно, все это стало не модно, не нужно. Вот когда я в первый раз услышала фразу: «Это ваши проблемы», я поняла, что, в сущности, – это принцип жизни европейской: вот это – мои проблемы, а это – ваши проблемы. А у нас так никому не казалось: чужого горя не бывает. Даже у того же Виктора Астафьева: «Чьи дети?» – «Наши! Какой разговор?», она у них, как говорится, местная «давалка», а дети – наши. Эта правда держалась, это долго казалось правдой. И потом все так тряхнулось, и еще всем было продемонстрировано: что же вы, дураки, лохи, книги читаете? Грабить надо! Когда стали захватывать заводы *(смеется)*, все эти пирамиды – всем продемонстрировали: «Вы что? Вот как надо!» И как-то это странно, удивительно…

«Проклятые и убитые» – правда. Астафьев этим был потрясен, тем, что это случилось. И что он сказал там – ну, правда! Там же сказано, что мы вернемся еще, припадем к этому хлебному полю, к этому труду. Но вот не припали! Напротив: все поля засеяли репкой. Я понимаю, это, может быть, грех – впадать в отчаяние, но он умер, конечно, в величайшей печали, и я его вполне понимаю… Ему ведь досталась жесточайшая участь: пехота, 41-й год, отступление – он сколько раз говорил об этом, рассказывал и писал, когда бегут все в ужасе, никто никого не жалеет, машины по живым и мертвым едут-едут: и только когда машину тряхнет, значит ты едешь по трупу, который еще не раскатали. И при всем при том: «Да что вы там, товарищ! Все только бежали, как испуганная скотина!» И тем не менее тут же он рассказывает, что надежда в нем сохранялась до самого конца: друга его, Ваньку, ранили, и все бегут, а он Ваньку ищет. И нашел, Ванька там перебит – тащить надо, и Ванька кричит: «Брось меня, Витька! Брось!» А Витька его тащит. И вытащил. И то, что он это рассказывал на пару с этим страшным случаем, уже говорит о том, что он-то вытащил, значит, что-то такое человеческое в них оставалось.

Все эти ужасы конца 80-х – начала 90-х он видел, конечно, хорошо. Он уехал к себе обратно в Овсянку и там, как говорится, жил при любимой тайге. Но тем не менее можно понять, насколько это тяжело и страшно. Самое страшное, что все это произошло достаточно быстро и

было внешне ужасно яростно оформлено! Очень трудно представить, что книга уцелеет.

Я была позавчера в Областной детской библиотеке, где у нас всегда читальный зал был полнехонек, сейчас они даже убрали столы – никаких читателей нет. Люди, конечно, приходят, но это совсем другое дело. И сразу появилось убеждение, что книги – не литература, а литературная деятельность, на которой люди делают хорошие деньги. Я снова процитирую Распутина: «Что ушло, того не вернешь». Я вообще понимаю, что существуют ритмы, и кризисы наши экономические подчинены определенным ритмам, может быть, и будет что-то еще, но дело в том, что люди очень изменились. И то, с чего мы начали разговор: 5–7 % выпускников, три четверти – пусть рекорд, желают получать в «Газпроме» деньги – и все. Теперь прикинь, какими будут дети. Правда, есть такая точка зрения или заблуждение, или надежда, что чем дальше от Москвы, тем лучше. Вот я, в какой-то мере, готова в это верить, что, действительно, дальше несколько другая ситуация. Но все равно молодые сотрудники из института уезжают, потому что там будут больше платить, чем здесь. Мы давно предпочли удобство ценностям – никому не нужны ценности, всем нужны удобства. Раз никому не нужны ценности, значит, подлинники из жизни выбывают, потому что общение с подлинником требует величайшего душевного напряжения: любви, уважения, восхищения – того, на что, человек, предпочитающий удобства, тратиться уже не будет. Он будет тратиться на другое. Вы заметили, как сейчас люди живут: дети два раза в год меняют мобильники. Что уж говорить о потреблении общества – обществу в потреблении не нужны подлинники. Если посмотреть на нашу рекламу – это просто страшно! Райское наслаждение – это конфетка «Баунти»: человек, если мечтает, то о пиве каком-нибудь. Это просто какой-то кошмар! Все эти вершины опустили – и все! Так удобнее жить, потому что, если надо мной не стоят вершины, ничто меня своей высотой не угнетает!

Вот это случилось с большой скоростью! Сейчас для того чтобы узнать все ответы, достаточно просидеть день перед телевизором. Я как-то «провернула» такую работу – прямо хоть пиши отчет. Вот сесть с 9 утра: «Модный приговор», все эти «А ну-ка, девушки!», все эти, как улаживать семейные отношения – жуть! И до самого конца. Ну, правда «Камеди клаб» я уже не смогла, не выдержали уже мои нервы, но, вообще-то, это страшно! Совершенно ясно, кто у нас теперь элита: Анфиса Чехова теперь элита. Ну что тут говорить?! Это же просто какой-то кошмар! Правда-правда, когда спрашивают Донцову: «Не смущает ли Вас то, что Ваши тиражи в двадцать раз больше тиражей Достоевского?», она отве-

чает: «Единственный критерий оценки писателя – это тиражи!» Значит, она согласна, что она в двадцать раз лучше Достоевского! Она говорит об этом вслух! Так что, если говорить об уровне культуры, то он ниже плинтуса. Я ниже не видела за всю свою жизнь. И если уж на это пошло, в страшные годы нищеты и ужаса, вы вспомните, песни военные были. Это были песни хорошие, просто очень много хороших. А вот сейчас – ничего такого нет…

Ю. К.: Ну, если ушла культура, та культура – духовная, ушла культура души, значит, человек перестанет быть человеком.

М. Н.: Я думаю, что да. А о чем речь у Астафьева-то идет? Какой разговор? Именно об этом! Когда вот эта сцена, где этих пацаненков расстреливают, и один орет: «Дяденька!» Человек только тогда человек, когда за ним эти духовные вершины есть. Я не говорю, что каждый человек должен быть жутко образован, сведущ во всех науках, читать наизусть Мандельштама и музицировать Моцарта – вовсе необязательно. Но понимать, что эти высокие ценности предорогие – вот это да! Между прочим, вспомним все эти детские рассказы Астафьева: вот они законы духовные, все – бабушка меня любит, и я свою бабушку люблю, вот она моя родная земля, и лучше ее нет, вот она река, вот мой отец, какой бы он ни был, да пусть пьяный – но ведь папка! А все эти явления этих братцев: «Я братишка твой!» – это же просто классно!

Ю. К.: Майя, давай о новом жанре «Диалоги с…» поговорим, тем более этот жанр мы сейчас как раз создаем. Разговор Эккермана с Гёте. Он постоянно рядом с гением чувствует себя неуютно.

М. Н.: Рядом с гением – так и говорит?

Ю. К.: Да!

М. Н.: С кем? Нет, ты когда-нибудь с гением говорил? Говорил с таким человеком, чувствовал себя неуютно?

Ю. К.: Да, говорил, но не чувствовал себя ничтожным.

М. Н.: Вот я, как тебе сказать, прекрасно знаю, что если бы я могла говорить с Пушкиным или Блоком, я бы никакой неуютности не почувствовала. Может, это и нехорошо, и неприлично, но я знаю – не почувствовала бы.

Ю. К.: Ты сама гений. Ты – очевидный гений. Эккерман – ничего подобного. Там читаешь – просто слезы и сопли про человека, который сам себя называет гением.

М. Н.: Гения принято почитать. Даже не то, что гениев, а высокопоставленных лиц – почитать совершенно стилистически определенным образом.

Ю. К.: А вот Соломон Волков в «Диалогах с Бродским»… Книга интересна только одной вещью: тавтологии там никакой, куда больше энергии. Там просто Бродский постоянно говорит что-то с умным и серьезным видом…

М. Н.: Так это о чем говорит?

Ю. К.: Волков заработал на этом неплохо, потому что эта книга издается до сих пор. Больше ничего подобного я в жизни не читал. Если исключить все остальные книги о Бродском – это будет, конечно, очень большой круг. Но первая никулинская книга такого жанра будет уникальна. *(Смеется.)*

М. Н.: Фантастика!

Ю. К.: Зуб даю! «История литературы от Майи Никулиной», «История русской литературы от Майи Никулиной»!

М. Н.: Вот на мой ум, я читала всегда много *(смеется)*, что касается русской литературы – особенно XX века, особенно после революции, особенно советской формации литературы (хотя я, в общем-то, вовсе не ругаю советскую литературу: напротив, я всегда говорю, наступит такое время, товарищи, когда соцреализм будет считаться вполне интересным литературным течением – совершенно точно! Когда его прочтут прохладным, таким остывшим умом. В свое время Николай Васильевич Гоголь сказал совершенно правильно, что великая лирика пишется двумя путями: обожегся – и ору, или подумать и остыть, и тогда написать… Очень может быть, что Гоголь сильно прав), так вот, на мой ум, чем были не правы наши литературоведы, которые «прочитывали» литературу и давали ей оценки… Вот я в свое время прочла Чижевского, потом прочла Фёдорова и прочла про Циолковского, его высказывания и т. д., очень неоднозначные (самый цельный, на мой ум, и чистый человек из них – Чижевский) – так вот, только вооружившись всем этим, надо бы читать Платонова.

Платонов, на мой ум, не отвергал практику социалистического строительства, и не выступал против тоталитарного режима – по-моему, он делал совершенно другое дело. А делал он вот что: его пугал всякий прогресс, основанный на тщеславии и технике. Вот тот самый, который обречен. И, между прочим, «Котлован» как раз об этом. А уж, когда прочтешь «Ювенильное море» – совершенно понятно, что любой прогресс, который основан на «делании», на строительстве, на модернизации и т. д., чудовищным образом рождает огромное количество того, что сейчас называют бюрократией – людей, которые, ничего не сделав, спокойно чувствуют себя историческими персонажами. И надо сказать, когда читаешь одну вещь, допустим «Чевенгур», соглашаешься с тем, что Платонов –

писатель совершенно потрясающий: только своим языком говорить – это мало кто мог. Но возьмите прочтите «Котлован», «Чевенгур» и т. д., возьмите «Ювенильное море», и получится вещь – ой! Он посмотрел на женщину как на федеративную республику, или когда бык умер от усталости какого-то – забыла – дела, для работы на ненужного человека, и когда вот эти классические жемчужины, так сказать, Платонова начинают такой породой идти в этом «Ювенильном море». А там, кстати, есть ужасно интересная вещь, которая очень учитана, и которая очень в жуткой куче времени – это Вернадский, это – жуткая куча времени! Потому что тогда у нас отгорело и отгремело во время богоискательства и богостроительства, конец XIX – начало XX веков, на которое очень многие еще, действительно, надрывались и страдали совершенно искренне, вот тогда пошли… У нас очень долго об этом не говорили, я понимаю, что у Блока стихи лучше, чем у Чижевского – так и должно быть. Поэтому Блок, так сказать, больше – Прекрасная Дева и Вечная Женственность, а этот – устройство мира на научной основе. Но, когда вступили в осмысление мира люди, которые понимают его на научной основе, он стал выглядеть, как тебе сказать, очень угрожающе, очень странно. И эта постоянная угроза, что, когда мы этот мир построим, и он будет, у Платонова – помоему, самое главное это, а вовсе не опыт. Циолковский, кстати, очень такой не безынтересный человек. Мы-то все понимаем, что он, дескать, такой мечтатель с серьезным видом, а, между прочим, он ведь тоже выдвигал эту точку зрения – они все люди, имеющие право быть на равных вписанными в историю. У Платонова есть такая мысль, что Земля сама живет в ритме Вселенной, в своей – земной – трясучке и т. д., и на Земле сами по себе, независимо от наших революций и строительств, происходят всевозможные события, которые могут быть и разрушительны – просто сказано то, что, по сути, никто никогда не говорит.

Ю. К.: Лев Николаевич Гумилев об этом говорит.

М. Н.: А, ну Лев Николаевич Гумилев – да! У Льва Николаевича все об этом написано.

Ю. К.: Геосфера влияет на биосферу, биосфера – на всю ноосферу, происходит все, что угодно!

М. Н.: К счастью, он еще очень хорошо писал!

Ю. К.: Да!

М. Н.: И читать его очень интересно. Вот этого у Платонова достаточно много. Ну не знаю, я даже вычитывала, но я понимаю, конечно, рая он в жизни не видел, но, на мой ум, вовсе не только потому, что это была воля правительства, большевиков и т. д. Он вовсе не ставит вопрос так, как его ставил Астафьев: «Проклятые и убитые», где прямо все –

«выродок из выродков», все совершенно прямо, на Владимира Ильича – вот такой-то, такой-то. Ничего подобного здесь нет, но тем не менее об этих ритмах земли, о том, что она раскручивается, вертится по каким-то своим законам, и на нас эти законы скажутся – это все у него есть, и все это, может, как тебе сказать, очередная болезнь, такая очередная короста. Я не до конца уверена, что в том, что эту очевидную болезнь, очевидную коросту он связывал непосредственно с опытом тоталитаризма и т. д.

Ю. К.: Он связывал вообще все вместе.

М. Н.: Да!

Ю. К.: Платонов же говорил, что когда мы решили, что все познаваемо: мир познаваемый, душа познаваема, Бог познаваем, мы решили построить свой мир. Платонов говорит о том, что ничего построить самим нельзя! Ничто не построится само, и ничто не построится кем-то. В общем, аспекты сходятся – и философский, и социальный и природный.

Что это ты там, Майя?

М. Н.: Это я пришла к ювелиру и сказала: «У меня вот есть берилл, вот такой величины, вот такой камень. Вот можно его…?» Я просто ему принесла, чтобы он знал – они же все конкретные люди, это у меня Леонид Федорович – чистый гений в ювелирке, просто невероятно, с полдыхания уже все понимал.

Ю. К.: Это берилл, ага?

М. Н.: Этот – хуже. Твой берилл – тот лучше.

Ю. К.: А вот смотри, ты там про литературоведов заговорила. А, вообще, кого ты из литературоведов выделяешь?

М. Н.: Ой, ты знаешь, что касается литературоведов, я, ой, не знаю, это сколько мне задавали вопрос: почему вы, Майя Петровна, не пошли учиться дальше? – Я не хочу! Заниматься литературой в профессиональном плане. – Я не хочу. Это совершенно не мое дело. Я тебе скажу, почему. Я, как Бажов: каждый думает, что думает, а я – по-своему. Никогда в жизни я с этим сделать ничего не смогу. И вот когда я читаю Бахтина, я совершенно с ним согласна: эти все полифонические звучания и слияния, но слушай, почему так относятся только к роману XIX века и только к Достоевскому? Это, извиняюсь…

Ю. К.: Это общий закон.

М. Н.: Конечно! Это общий закон! И еще одно: Бахтин – не спорю. Тут у меня сложность вот какая: хорошо о литературе писали все о ней знали, и зверски интересно читать только тех людей, которые пишут сами. Притом я вовсе не ругаю, знаешь, таких откровенно советских литературоведов – они профессионалы, зарабатывали себе на жизнь. Я взяла и прочла все, что написано о Павле Петровиче Бажове. Писали люди не

дураки, но почему все вытягивают его как социального писателя?! Этого в помине нет! Ну было такое время, дышали таким воздухом. Я больше того скажу, я была знакома с людьми, которые писали, на мой ум, интересно, но не очень талантливо. Либо он, видимо, работает на пределе, ты – на пределе, Блок – на пределе, Пушкин – на пределе, все. Другое дело, что предел должен быть такой, чтобы тебе не колотиться головой о крышу. Поэтому, кто писал хорошо: Тынянов писал хорошо.

Ю. К.: Тынянов. А вот Лихачёв Дмитрий Сергеевич? Который занимался текстологией вообще здорово.

М. Н.: У него, как бы сказать, культура и вообще…

Ю. К.: У него прямо поэзии касаются вещи… География поэзии. Поэтический топос.

М. Н.: Это называется литературное краеведение.

Ю. К.: Ну, литературное краеведение, литературная поэтика.

М. Н.: Нет, я не против, этим занимался Ираклий Андроников.

Ю. К.: Да, Андроников Лермонтова изучал. Например, московский Мандельштам, петербургский Мандельштам, закавказский Мандельштам…

М. Н.: Юра, ты считаешь, что безумно важно знать, где была та или иная вещь написана?

Ю. К.: Нет! Как человек, пишущий стихи, думающий стихи, я не считаю так.

М. Н.: И я не считаю так.

Ю. К.: Если преподавать в школе так, я думаю, это, по крайней мере, поднимет интерес.

М. Н.: Что касается литературного краеведения, это, возможно, самая живая часть и самая, возможно, читабельная, поскольку в ней есть сюжет, там есть за чем следить и т. д.

Ю. К.: Вот когда студентам объясняешь, рассказываешь про текст и показываешь реальную фотографию, они действительно верят, они понимают, что поэзия – вот она, в данном случае в предметном виде.

М. Н.: Нет, я все это понимаю, тут начинаешь цитировать: «Когда б вы знали, из какого сора…».

Ю. К.: Ну да!

М. Н.: Ну понимаешь, дело в том, что это такая дежурная фраза, где сором может быть объявлено все. Поэтому эта фраза, она одновременно очень удобная, но одновременно она практически ни о чем не говорит. Меня вообще такие формулировки пугают ужасно. Потому что когда говорит Борис Леонидович Пастернак: «Быть знаменитым некрасиво», – я согласна. Но тогда зачем ты все это делаешь?

Ю. К.: Да! *(Смеется.)*

М. Н.: Тогда зачем вся эта борьба за издания, «Доктор Живаго», зачем? Вот ты хотел быть таким человеком, таким начитанным, порядочным, чистым. Вот как он попадает в свой капкан, как он сохраняет свою душу и что он делает, чтобы она осталась жива. Тогда зачем все это, зачем подключать сюда огромное количество людей? Ну я не знаю! Это, кстати, одно из сомнений, которое меня постоянно гложет по поводу своей книги, ибо я сама полагаю, что это некрасиво, и, больше того, ни к чему и вообще никак. Я сама полагаю, что это так!

Ю. К.: По поводу какой книги?

М. Н.: Которую ты собираешься писать.

Ю. К.: А! Так мы ее уже пишем! Мы ее уже написали!

М. Н.: Я уверена, что мы поступаем некрасиво! И больше того, совершенно ни к чему.

Ю. К.: Майя, а вот рядом с Платоновым кто может быть поставлен? Я имею в виду…

М. Н.: Вот философский ряд я для себя выстраиваю такой: это Циолковский, это Чижевский, это Фёдоров, вот это где-то оттуда.

Ю. К.: Это Фёдоров занимался бессмертием?

М. Н.: Да! Притом бессмертием, но какой дорогой ценой! Это тоже весьма интересное бессмертие, т. е. мы будем поднимать мертвых, но и себя не пощадим.

Ю. К.: Но Гумилёв-младший!

М. Н.: Гумилёв-младший гораздо интереснее их по такой простой причине, что они просто ученые, а он…

Ю. К.: А он еще и поэт.

М. Н.: Нет. Всюду, где приступает история, археология и т. д., но там уже начинается время, все живое…

Ю. К.: Стихотворение! Классные стихи, между прочим, писал Лев Николаевич.

М. Н.: Лев… И Чижевский писал стихи. Когда он начинал писать, было все в меру и хорошо, потом стих его стал, так сказать, как войлок: не продышать, как глина: не пробиться. Стих его стал густой и тяжелый, и вот такой высоты тяжести, на мой ум, никто не достигал! То, что сделал, допустим, Белый – это совсем другое дело. Там стих построен, перекручен, но такой безумной глиняной и войлочной тяжести нет.

Ю. К.: А вот интересно, в поэзии ведь тоже бывают «густые» тексты, вот у Мандельштама очень «густой» текст, а воздуха очень много.

М. Н.: Нет! У Мандельштама безумно ритмически разнообразные стихи…

Ю. К.: Это называется музыкальностью.

М. Н.: Я не знаю, называется ли это музыкальностью, потому что музыкальность обычно понимается так: если на ваши стихи песенку хорошую спеть…

Ю. К.: Не-е-ет!

М. Н.: Это ужасно!

Ю. К.: Музыкальность – это ритм, интонация…

М. Н.: Не только это, дело в том, что это такой тоннель, из которого энергия выходит: «Выхожу – и тут пауза – один я на дорогу – пауза», она идет до самого конца в тех местах, где особенно на «у» – ну не говори. Поскольку у нас «у» – жуткая нагрузка, более чудовищная нагрузка – только «ы», и так нам страшно все это тащить. Что касается «ы», мне один ребенок пятилетний сказал, я их спрашивала, какого цвета какая буква, и один мальчик сказал: «ы» – это такая страшная буква. И когда мне в колледже кто-то: «Перепелка – птица серая, скрытная…»

Ю. К.: Это Коля Рукавичкин.

М. Н.: Да-да. Я говорю: «Коля, это все!» Как это: *«И уеду я, перепелка моя, птица серая. / Взяла меня печаль моя унылая, / Перепелка моя, птица серая и скрытная…».* Любовные стихи! Два «ы» прямо стоят как под молнией – с ума можно сойти! Если вот эту фонетику, где, допустим «у» загоняет в угол или еще что-то, если это считать за музыку, то конечно! И еще там есть паузы.

Ю. К.: Да, паузы…

М. Н.: И потом еще одно, у Мандельштама стихи очень густые, я понимаю. Тут еще что надо сказать, Мандельштама все будут считать великим, ибо за каждым его словом открывается пространство такое огромное, там все дышит и хлещет! Я ничего подобного даже не знаю. Нечто подобное, где стоят безумные пространства – я уже говорила – это болдинская осень Пушкина. Но там у него не за словом все-таки стоит, а там, скажем, Испания – «Дон Жуан», потом Англия и т. д. – все эти «Маленькие трагедии». А у Мандельштама – за словом. Это невероятно! Равных, пожалуй, не найду.

Ю. К.: А в прозе есть поэзия?

М. Н.: Ой, в прозе есть поэзия… Понимаешь, если так сказать, – да. Я уже как-то об этом начинала говорить, вот эти геологические «шевеления», вот эти волны – все то, что лежит в основе стиха, и что ты слышишь, и что потом ты, вытаскивая, одеваешь в слова и т. д. – это все видно, это точки, которые гению главное зафиксировать. И, кстати, Мандельштам, в двух местах так точками и оставил, умный поймет. И вот понимаешь, в сущности, то, что ты слышишь изначально, – сло́ва там нет, там еще ни-

чего не говорит. И невозможность *это* услышать словом и является тем самым мотором, который тянет, той самой причиной, которая заставляет тебя писать. Это только в поэзии, в прозе этого нет.

Ю. К.: То есть энергия вот этого невыразимого…

М. Н.: Да! Кажущаяся невыразимость этой энергии – вот она является главной энергией жизни, она является главным движителем. Поэтому содержание стихотворения рассказать совершенно невозможно, его надо читать. Но, конечно, можно рассказать сюжет: «Как ныне сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам…»

Ю. К.: Ну, нет!

М. Н.: Да! Но это будет совершенно другое.

Ю. К.: А Бунина рассказы короткие – ведь там потрясающие вещи!

М. Н.: Ой, Бунин, вообще, и так поэт, и я его как поэта и ценю. Бунин – это вот так: если взять его прозу, то лучше писать нельзя.

Ю. К.: Это предел.

М. Н.: Это предел! Лучше прозу писать нельзя. Бунин практически постоянно, как по лезвию бритвы гуляет: вот сейчас или ты заорешь, или он не выдержит! Но не происходит ни того, ни другого. Уровень напряжения красоты, которого достигает Бунин, невероятно высок. Я всегда, когда читаю «Чистый понедельник», где все это описывается: комната, любовь – все! – все эти наряды, туфли из лебяжьего пуха – и уже, кажется, все! Но тем не менее никогда этого не происходит, ни с читателем, ни с писателем. Он всегда оставляет это… Оно всегда остается, ну как тебе сказать, прозаическим рассказом. Бунин ведь был сам жутко страшный человек.

Ю. К.: Да.

М. Н.: И в этом есть разгадка.

Ю. К.: Притом во всем.

М. Н.: Притом во всем! Вот я человек, совершенно не любящий Чехова – ну никогда! Ни в одном произведении!

Ю. К.: Курение: Бунин курил одну за другой, его нельзя было остановить. Он – матерщинник страшный, он всех этим удивлял.

М. Н.: Не страшный, а страстный! У нас это одно и то же.

Ю. К.: Он же сказал: «Писать нужно только о красивом и страшном». И вот это хождение по лезвию: идешь, потому что красиво, и не падаешь, потому что страшно.

М. Н.: О красивом и страшном – вот об этом он и писал. Но тут еще есть одна вещь у Бунина, от которой я всегда трепещу и которую возношу: вот все о красивом и страшном я читаю, и я точно знаю, что все это сказано про меня. Не знаю, может, кто-то его не так читает и не так

считает, но когда я читаю Чехова, у меня такого ощущения нет совершенно. Ведь у Чехова, у него есть, скажем, «Нищие студенты», такая милая приятная вещь, и там есть такая умная старшая сестра Лидия, которая проповедует теорию малых дел. И вот она, между прочим, не хороша только потому, что она не нравится Чехову – все, больше у нее минусов нет! Так вот у Бунина этого нет! У Бунина этого нет нигде! Бунин, прежде всего, любит жизнь до такой страшной степени, что практически… Ну, единственный раз, когда он возненавидел что-то как смерть, даже не как смерть, а как антижизнь – это власть большевиков. Это «Окаянные дни»: вот «ненавижу!» Все остальное, все, что живо, что шевелится и все такое прочее – максимум его доверия к жизни.

Ю. К.: Вы очень похожи с Буниным, Майя Никулина и Иван Бунин, я давно заметил. Бунин терпеть не мог абстрактных разговоров, полемики, теоретизирования. Вот покажи ему цветок, покажи ему камень – вот тут да, тут он может и поговорить, и расплакаться, и расчувствоваться, или, наоборот, что-нибудь такое сказать. Бунин любил ходить часами, просто ходить, смотреть на цветы, на закат, на море, на барышень, на мужиков каких-то: отмечать, какие у них шляпы, какие башмаки, какая у барышни талия, каким она пояском перетянута…

М. Н.: Вот это и есть та жизнь, которая для него всегда была бесконечна, замечательна и интересна. Даже его боязнь смерти – это не столько боязнь смерти, сколько непонимание того, что вот этого максимума жизни может не быть.

Ю. К.: Если выражаться его языком, смерть – это просто страшно. Он покойников боялся, не ходил на похороны. Я сейчас много прочитал, именно смерть глазами Бунина.

М. Н.: Я очень была обижена на эту барышню, по которой сняли про него кино. Это ужасно! Никто не имеет права так относиться к Бунину. Это его личное дело, это личная печаль и страдание, это категорически нельзя было показывать. Вот есть вещи, которые, как сказать… Вот *можно* опубликовать письмо Пушкина к Каролине Собаньской, которое, помните, он пишет перед свадьбой, где «вся моя жизнь – это только идти за тобой, упасть и сдохнуть у твоих ног!» А вот тут – у него любимая девушка Наталья Николаевна. Потому что любовь вообще, и у Пушкина тоже, – это как костер, как фонарь, кто вошел в круговой свет, тот освещен, тот причастен, это жутко сложно, и у Пушкина жутко сложно. Вот это обнародовать можно, потому что очень многие души готовы согласиться с тем, что любовь – это жутко сложно, что это совсем не радость, что это совсем далеко от удовольствия и счастья, что мучений там ничуть не меньше. И все это понятно! Больше того, очень трудно назвать того,

кого я вообще люблю! Вот это правда, это абсолютно так! Более того, возьмем того же Бунина, кого он только ни любил! А что? – Час придет, Господь сына блудного спросит: «Был ли ты счастлив в жизни земной?» И что он припоминает? – Деревья и запахи трав… И вот тут он заплачет и к родителям на коленях приползет. Вот так. Вот этот самый центр жизни – любовь, которая у Бунина жива всегда. Самое удивительное у него, где девушка дворовая полюбила барина… Это, товарищи, ничуть не мелко, не примитивно. Это сумел услышать и понять только он один, и только у него получилось, как сказать, уровень страсти не остывал. Я готова предположить, что, может быть, кто-то за это, обливаясь кровью, берется, но что-то остывает в процессе работы. У Бунина – ничего.

Так что касается, можно ли считать его рассказы стихами, скажем, обожаемые мной «Журавли». Но вот, наверно, нет.

Ю. К.: То есть все-таки поэзия возможна только в формализованном, ритмизированном виде, грубо говоря?

М. Н.: Ну там слово под другой нагрузкой гораздо стоит. Вот где: «*Зачем под мерный шум дождя, / Томясь всем миром и сторожкой, / Большеголовое дитя / Долбит о подоконник ложкой?..*»[99] – это судьба России.

Ю. К.: Жуть!

М. Н.: Ну что ты! Страшно. А вот когда он орет: «Барин! – и падает на землю. – Журавли улетели!» – это проявление национального характера. Можно сказать, что это связано с судьбой России, потому что мы все такие безбашенные придурки, но тем не менее мне это очень нравится, и пусть такими мы будем. Поэтому, полагаю, что нет, ибо в поэзии слово стоит под другой нагрузкой, под большей.

Ю. К.: А если уйти от слова, скажем, и взять поэзию неязыковую, поэзию языком не оформленную – невербальную поэзию.

М. Н.: Это которая чисто фонетика.

Ю. К.: Нет! Вот идешь где-то, и увидела дерево прекрасное, птичку красивую, и у тебя возникает этот элемент, этот мельчайший квант какого-то, не знаю…

М. Н.: В таком случае должно немедленно включится огромное количество связей. И вот когда это огромное количество связей включается, тогда это получается та же самая вещь, когда ты пишешь стихи. Больше того, я согласна, что у нас, может быть, в прозе есть вещи, в которых слова стоят под такой же самой нагрузкой в силу того, что у нас язык невероятный. У нас сам язык просто невероятный. Ничего подобного

[99] И. А. Бунин. «Льет без конца. В лесу туман…».

я не видела и не слышала – и по красоте, и по мощности. И потом, у нас каждое слово многозначно, поэтому наше тяготение к поэзии, видимо, это наша боль и наше счастье. Правда-правда! Говорить многозначными словами – это, вообще-то, конечно, труд.

Ю. К.: Самый многозначный язык.

М. Н.: Нет, он еще, на мой ум, фонетически безумно крепкий.

Ю. К.: Фонетически очень разнообразный, широкий. Каждый звук может иметь четыре – четыре! – разные оболочки. Он может быть твердым, мягким, звонким и глухим, его может не быть вообще как такового. А вот, скажем, ну есть такая поэзия в чистом виде, есть она – ощущение поэзии же есть. Вдохновением еще это называют…

М. Н.: Ты полагаешь, что это всем дано?

Ю. К.: Нет!

М. Н.: Я тоже полагаю, что это не всем дано.

Ю. К.: А может ли эта поэзия, это ощущение, вдохновение – черт знает, как это еще назвать – может ли это состояние приближать к стиху?

М. Н.: Это, знаешь, напоминает мне одно любимое заблуждение советской школы, что, дескать, существуют ломоносовы и пушкины, которых мы не разгадаем. Мне не хочется говорить, потому что Пушкин и Лермонтов – это то, что написано. То есть это обязательно, чтобы это было зафиксировано. Ты как-то спрашивал, писал ли Костя Белокуров стихи. У него было несколько стихотворений. Костя при всем своем потрясающем таланте, немыслимом уме: Костя – это был, вы не можете представить, что это такое было! Костя связывал все на немыслимом уровне! Это были обобщения на уровне яви – это просто страшно! В сущности, было очень мало людей, которые могли с ним разговаривать. Мы с ним не то что часто встречались, мы с ним расставались-то редко. Потому как были люди, с которыми он действительно мог говорить. Но была очень странная вещь: он совершенно – просто совершенно – был лишен необходимости все это записать. И больше того, когда мы делали эту книгу о «Слове о полку Игореве», я ничуть обидеть его не хочу, и это не обидит его нисколько, я действительно ходила, его вытаскивала, отлавливала: «Все, Костя, давай, тут сиди!» Точно также мы с ним делали про Романовых, у него это очень хорошая статья: «Давай, Костя, делай это, это, это». Вот у него этого не было! Ну кто его знает, у меня были уже такие подозрения, может, голова у него была так перенагружена, что, как говорится, до этого он не доходил. Но этого не было совсем.

Ю. К.: А у тебя были такие моменты, когда откуда-то – ш-ш-шить! – прилетала строчка, строфа, и тебе было жалко записать ее?

М. Н.: Конечно! Нет, не то, что жалко записать. Юра, я много лет жила…

Ю. К.: Или страшно записать. Жалко, страшно…

М. Н.: Мне просто, как тебе сказать, ну ты сам понимаешь, ты видел, как я жила, всякое писание занимало в моей жизни самое минимальное место. Я вообще говорю, у меня в тот момент было такое подозрение, что каждая жизнь записана загодя, и режиссер уже все расставил, все, как говорится, от малейшего, на двадцать пять лет поставил меня санитаркой и уборщицей – и все, такая я бедная и несчастная. А тут вот он поставил галочку: если бы я этого не читала и не писала, я бы с тобой просто не встретилась, я бы совершенно честно и добросовестно сделала то, что я сделала, поскольку я полагаю, что человеку не то чтобы не надо над всем в жизни трястись, а вообще не стоит принимать каких-то кардинальных решений, все уже сделано. Так считал, кстати, Пушкин. Это по Пушкину: надо жить естественно. Я полагаю, что надо просто с достоинством, с максимальной победой, вынести то, что выпадает на долю. Поэтому я бы, конечно, за естественное – за то, мое! И родители мои были за это, и ребенок мой… А если бы не эти стихи, я бы не имела какого-нибудь определенного, я и сейчас не имею совсем определенного…

Ю. К.: И, слава Богу, еще не имеешь!

М. Н.: Юра, я годами, буквально… Это понятно! Люди годами не могли найти социальную роль. Можешь себе представить, что мне там надо было делать, вся моя жизнь была сплошной бедой… Притом, к счастью, я прямо так за это себе благодарна: я совершенно равнодушна к каким-то там удобствам, мне этого не надо: есть я могу, что хочу, спать, где угодно – мне это все равно. Совершенная бедность никогда не пугает. Но не знаю, может, это военный опыт, а скорее всего, это моя мудрейшая бабушка – средоточие народной мудрости, никакой ни грязи, ни крови – ничего никогда не боялась, ничего ее никогда не пугало. Поэтому в этом плане я массу вещей, как тебе сказать, забыла [о стихах своих] и т. д., поскольку не было времени, минуты, чтобы зафиксировать, записать, к тому же я никогда к этому не стремилась.

Ю. К.: Я как-то находил твои листочки, где было полторы строчки, одна, две-три строчки. Я, честно говоря, пытался прочитать, что там написано, но не мог.

М. Н.: Многое потеряла, не спорю.

Ю. К.: Шифрованным почерком.

М. Н.: Да нет, не шифрованным почерком. Я же практически все могу записать: вот ты будешь читать свои стихи, и я их запишу. Но расшифровывать их надо будет три часа. Такие вот дела.

Что касается Лихачёва, понимаешь, он для меня слишком ученый: ему слишком нужно все систематизировать, не допустить никаких вариантов, не допустить никаких предположений. Я, допустим, считаю, что человек, который пишет о литературе, совершенно, естественно, должен допускать предположения. Совершенно естественно! Потому что, когда все это делалось, все это стояло дыбом – и все это естественно надо учитывать. Когда они все это отсекают и мне предлагают один вариант – этого мало. Что касается Лихачёва, есть у него одна книга про сады, это мне всегда очень нравится – про сады, про камни, потому что это невероятная тема, к тому же можно взять сады и на садах рассказать всю нашу историю, про все наши эстетические искания, но при этом говорить вам только про сады. Правда, удивительный факт, что ни один регулярный фактор в России не получался, но разве наша душа вынесет все эти сумасшедшие идеи? Конечно, не вынесет! Кроме того, я никак не могу понять, может быть, это и красиво, но ведь, товарищи, это тесно, это мало, это узко, это делается от малости пространства. Но когда я взяла эту книгу, про сады, у него настолько все расписано, что сад как бы перестает быть садом. Это чтение – не для меня, это не чтение для человека, который любит литературу, не чтение для человека, который любит сады. Он так все там разложил по полочкам…

Ю. К.: Это чтение для ученого.

М. Н.: Да! Это взгляд на жизнь ученого. А взгляд на жизнь ученого не допускает очень многого, он допускает только то, что проверено, перепроверено и установлено. И вот этим категорически человек с ученой головой отличается от человека, который, допустим, пишет ненаучные тексты: ему это совершенно не надо, вот эти допущения, варианты. И потом никто никогда не думает: это абсолютно правильно, а это не абсолютно правильно. Тем не менее, если мы вспомним, как часто писатели были просто чудовищно правы. Обратите внимание, никакие философы, никакие политологи, экономисты не предсказали ни Великой Октябрьской революции, ни Великой Отечественной – никакие. Но она была расписана прямо по ролям даже раньше Достоевского, прямо так с Тургенева пойдем, они все были расписаны, все там было написано: что они скажут, как они выглядят – просто удивительно! И никто ведь не спохватился, не заорал: «Ребята, в чем дело?!»

Ю. К.: Это же литература… Дело в том, что здесь просто разные типы мышления. Я постоянно грущу, печалюсь, мучаюсь: наше мышление, как только мы попадаем куда-нибудь – в университет или в институт, вообще, в научное какое-нибудь учебное заведение, в школу, например, – наше мышление превращается в какую-то машинку для выработки

какой-то классификации, типологии, иерархии. Я смотрю в окно и думаю: вот иерархия – дерево, кустарник, цветы, трава. Вот эта иерархия, основанная на продолжительности жизни растений. Но в природе нет никаких иерархий, в природе нет никаких классификаций, никаких типологий. Природа сама по себе едина, она цельна, там нет сравнений и классификаций.

М. Н.: Вот, когда мы начинаем это, достаточно того, что я все выстраиваю в ряд.

Ю. К.: И наше мышление оно как раз отягчено вот этим. Потому что мы всегда пытаемся сравнивать и типологию делать и классификацию. У художника мышление анархично.

М. Н.: Поэтому, когда начинает писать великий художник, никаких систем не может быть.

Ю. К.: А у этого – иерархия. У художника – анархия, а у ученого – иерархия.

М. Н.: Я не знаю, называется ли это анархией, это, скорее всего, не анархия. Потому что анархию придумали люди.

Ю. К.: Нет, это не в философском смысле, а мышление – стихия. Нет, не стихия, что-то другое… Может, природное мышление.

М. Н.: Что касается природы, в природе есть и хаос, и гармония.

Ю. К.: Природе все равно, что у нее там: хаос или космос.

М. Н.: Не совсем все равно, ибо цель природы – это разнообразить, все остальное она отщелкивает.

Ю. К.: Это понятно, но ей же все равно, что отщелкивать, что ставить ненужным. Поэтому она и отщелкивает целые города – Лиссабон, Помпеи и т. д. Просто все дело в том, что мы больны умом – у нас ум слишком правильный.

М. Н.: Блок говорил об этом. Он говорил о том, что от этого давно уже пахнет смертью.

Ю. К.: Да.

М. Н.: Вот я покажу: вот это – малахит африканский. А вот этот, видите сверху, – это уральский. Это просто такой сорт. Это было пресспапье, на столе лежало у горных инженеров и т. д., вообще, было модно. У царя, например, у Александра I, лежал четырехсотграммовый самородочек золота. Наши золота не держали, но… Вот это наш, видишь, по нему ходит свет, как по шелку муаровому.

Е. Ш.: А вот на счет того, что малахитом печи белили…

М. Н.: Печи белили всегда белым, рыжим малахитом, но не самым ходовым, не тем, из которого мы делаем серьги и т. д. Который похуже,

его размалывали в муку, разводили с олифой и красили крыши. Они долго не ржавели, ты не думай, что мы все такие тут были придурки. Вот так.

Вот такая вот разница, только в нашем, больше никаком, свет ходит.

Ю. К.: Майя, поговорим о травах. Знаю, ты их страшно любишь. И Машу травами лечила.

М. Н.: Значит так: вот сначала трава, она должна быть в ней постоянно, то есть каждые сорок минут-час ее нужно менять. Мы ее в ванну садили, оказывается, через кожу впитывалось – жутко лечебное действие, мощность всяких трав, минеральной воды, почему-то через кожу: самое надежное. Ее я держала за подмышки, в этой ванне – кстати, пахнет хорошо – и мне, и маме, представляешь, каждые сорок минут нужно было свежую заварить, процедить и довести до температуры тела – каждые сорок минут! Длилось, наверное, это месяца четыре. День и ночь, делать это можно только руками…

Ю. К.: А что за травки?

М. Н.: Ну, милый мой! Там травок много. Одной травкой нельзя. Минимум шесть, потому что организм выбирает из букета, он может отвергнуть все. Остальные все пройдут – беды не будет. Первая наша ванна была – 36 трав. И мы их день и ночь парим, процеживаем и снова суем. Потом второй раз – четыре часа. Пахнет удивительно совершенно! День и ночь мы парили в этих кастрюльках. Но мать моя все это героически переносила. Бабка была такой святой человек, денег брала чудовищно мало, потому что нельзя: кто лечит за деньги, тот проклят. Можно брать только то, что идет на еду. А раньше и платили так: молоком, хлебом, яичками. Наш роман с бабушкой – это у меня, товарищи, был классный роман – длился лет семь. Поскольку она еще и меня в детстве спасла: у меня уже был установлен диагноз. Диагноз совершенно неизлечимый, ни один врач не взялся. А бабка, да. В общем, тоже мне очень помогла. И я ходила к ней, ходила. А это был край Уралмаша, тьма жуткая. А вещей с собой было много: я с мешком туда шурую.

Ю. К.: На Коммунистической, что ли?

М. Н.: Там уже ничего нет. Прямо далеко-далеко туда, там уже маленькие деревянные дома стоят.

Ю. К.: Да, Коммунистическая улица…

М. Н.: А она уже была очень старая. Но надо сказать, что это труд жуткий: допустим, какую-то траву, пусть землянику, ее можно выкапывать только с корнем, и только пока держится цветок, и пока не высохла роса. (Костя мне очень часто земляники приносил.) Это она выходила ночью, там ночевала под деревом, сама выкапывала. Труд, конечно, надо очень много знать. Я с этими мешками все ходила-ходила, а она уже ста-

рая – ноги у нее опухают. И она все на меня так смотрела-смотрела, поскольку дело можно передать человеку, которому я всецело доверяю, который не сделает из этого прибыльного дела, в общем, вот такому. А у нее никого нет, она одна. Как-то к ней прихожу, а она нашла под Невьянском преемницу и повезла травы. А надо сказать, травами она лечила только местными, а если обменивалась с кем-то, то ни в коем случае не с Кавказом, Крымом, а можно только с Алтаем, где одинаковая погода – а вообще, все местное. И вот она уже договорилась с нею и пошла, а я пришла с ней попрощаться (вот на таких каблуках). Она выходит из дому, повезла в Невьянск этой, ну, которой секрет передает. И вот мы вышли обе – ну классно! *(Смеется.)* Сплошное кино! – на мне вот такие каблуки, а бабка, ну понятно, в чем может быть: естественно калоши, естественно плюшевый жакет. Все путем! Голубой платок на голове. Она один мешок несет, а я – другой. Вышли с этого Уралмаша с двумя мешками. Я ей: «Давайте на такси поедем». Какое такси! Мы с ней – ну что ты! – на трамвае. Доехали. Посадила ее в вагон. Я ее подсаживаю, мешки туда же. Ну, кино жуткое!

Мы когда с ней вошли на вокзал… *(Смеется.)*

Ю. К.: *(Смеется.)* В калошах и в итальянских туфлях.

М. Н.: Да! В платье и в перчатках, да еще в этих туфлях. Мужики просто падают. Картинка просто маслом! Потом через какое-то время пришла. Этой бабки дома нет: дом снесли. Но она уже была очень старая. А теперь таких нет. А то были даже две на город наш. Они такие чудеса творили. Ну просто жуть, кого они вытаскивали! Гоняли, правда, их.

Е. Ш.: За что их гонять-то?

М. Н.: Милиция постоянно. Это жуткое дело! Однако у нас бабушка была, ее постоянно гоняли. И однажды там какой-то милиционер: «Внимание: облава!» И она ему – она такая маленькая, с умным лицом: «Что ты кричишь, что ты надрываешься?» А он матерщинник. Матерится как-то так: начнет и пауза. Она ему говорит: «Ты знаешь, жив он будет, но ты-то думай!» Все так оно и было. Киносюжет.

Мы все ужасно были бедные тогда. Подруга моя устроилась работать в детский сад – чистить картошку. Но надо сказать, она ничего не умела делать по хозяйству. А я как раз все умела делать. Но нельзя же подругу бросить! Я каждую ночь своих обихаживаю… А лихое было время. И сама бегу к ней помочь. Надевала старую курточку и в руке несла нож. Нож нужен свой, другого там не было. Бегу с этим ножом, в этой курточке. В это самое время, ну, ты знаешь Николая Григорьевича…

Ю. К.: Никонова.

М. Н.: Да. То ли он прогуливался в порыве вдохновенья, то ли так просто. Это надо было видеть! Уж он смотрел-смотрел… Это было жгуче интересно, потому что он вообще не подумал, что это я, но тем не менее… Но похожа же! (Он как-то мне сказал: «Но до чего она, гадина, на тебя похожа!») Самое интересное: я иду одна, и он идет один – я вижу такая мужская фигура. И в руке у меня нож. *(Смеется.)*

Ю. К.: У библиотекаря. Как вор.

М. Н.: И надо сказать, ладно я хороша, но он тоже! Он тоже! Просто феномен. Кстати, он молодой был хорош собой. Ну просто чистый русский степной помещик. Это типаж такой. Но он, по-моему, не знал об этом.

Ю. К.: *(Смеется.)*

М. Н.: По-моему, он об этом не знал. И как-то зашел какой-то разговор, я сказала об этом, и он даже как-то обрадовался. Он просто не знал об этом. А был русский степной помещик – и все. Вся его фактура, медленные его движения – ну все.

Ю. К.: Он и в старости был вальяжный такой.

М. Н.: Нет, вальяжность – это, ну как тебе сказать… Но, вообще, надо сказать, он мужик-то видный.

Ю. К.: Да.

М. Н.: Он просто хорош собой. Просто хорош!

Ю. К.: Мы как-то его видели вместе с Касимовым. Книжный магазин, на углу раньше, знаешь, был… Сейчас не знаю, что там.

М. Н.: Очень хороший магазин.

Ю. К.: И мы с Женей Касимовым зашли туда, выпившие, естественно. Какие-то книжечки стихов смотрели-выбирали. И Никонов заходит. И мы к очереди подходим, по брошюрке тоненькой выбрали себе. За нами – Никонов! И Женя баритоном: «Вот, знаешь, кто это? Это Николай Никонов – бывший полковник КГБ!» *(Смеется.)*

М. Н.: Вот все его так и представляли. Полковником КГБ он не был, а хорош собой был! Надо сказать, что он и писатель такой очень небезынтересный.

ВЕЧЕР ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ

Ю. К.: Ну, расскажи теперь про камень.

М. Н.: Да *(вздыхает)*. Рассказывать нужно, чтобы все видели, что там внутри кристалл – гора такая, горка. Могущество камня, все тайны его – не обаяние, нет, это гораздо такое более страшное. Ибо обаяние, в общем-то, это прельстительная и приятственная вещь, а это нечто страшное. Но тем не менее в руке держать можно. И даже, как вам сказать… Масштаб не убивает – вот так. Вот, что в руке у меня – два с половиной миллиарда лет, еще раз говорю, объяснять не буду, но есть у меня точные сведения.

Ю. К.: Это Якутия.

М. Н.: Да, якутский. Значит так, как получается кристалл. Я буду с начала говорить.

Когда вот это все было в стадии расплава, и когда земля находилась в стадии «шевеления»… Она и сейчас находится в стадии «шевеления»! Это мы ходим по ней, по верху по твердому, а там внутри… Это она нас просто туда не пускает. Самое большое – на одиннадцать километров пустила, в шахту «Свердлова» – все! А там вся тектоническая пыль, а там все эти воды. Я сама на буровой работала. Но это, товарищи, то же самое, что взять пудовый арбуз, и царапнуть по нему ногтем! А дальше мы не можем попасть, и о том, что там делается, знаем только при помощи приборов. Есть всякие геофизики – умные ученые – они все прослушивают, но глазами мы этого не видим. Единственное, когда мы это видим, – это извержение вулкана, вот оно нам подсказывает, что там делается.

Так вот, значит, когда все это было в стадии расплава, этот расплав попадает сквозь какую-то щелочку в пространство. Если маленькое пространство, то кристаллики будут маленькие, а если пространство большое, то кристаллы будут большие. И мой кристалл говорит вот о чем: когда-то, два с половиной миллиарда лет назад, этот процесс вырвался в какую-то пустóту, полость и начал появляться кристалл. А потом (земля наша живая, перевернулась, что-то делать начала) полости этой не стало,

он там остался. А потом проходят какие-то великие и страшные миллионы лет, и снова открывается здесь же полость, и снова в эту же полость попал расплав. И когда он сюда попадает, он стал (поскольку он горячий) расплавлять этот старый кристалл и расти дальше. И вот эти все рисочки-полосочки – его возраст. Обычно, когда продают кристаллы, их шлифуют, чтобы они красивше выглядели. А часто его берут и просто вырезают, шлифуют живой кристалл. И вот это его возраст.

И он стал расти снова, а вот того, прежнего, стал собой растворять, но он не пропал совсем – память о нем осталась. И это называется фантом. Вот, если на то пошло, помните стихотворения Лермонтова «В полдневный жар в долине Дагестана…»? Идеальный фантом, где он видит во сне другого человека, который видит во сне… Это просто абсолютный фантом! К чему я это говорю, совершенно не случайно и Мандельштам, и Блок, и прочие наши великие люди говорили, что это процесс природный, почти геологический. Правда-правда! Если брать цикл стихов – это будет, вне всякого сомнения, друза. Это, так сказать, побольше и поменьше – один из другого выходит, и образуют единое целое, не механическую сумму… Кстати, чаще цикл стихов – механическая сумма, и никто не замечает разницу. А они, в том то и дело, идти должны как друза – это будет цикл стихов. И «В полдневный жар в долине Дагестана…» будет, вне всякого сомнения, фантом. И я детям говорю: «Что такое два с половиной миллиарда лет?» Они представить не могут, и я никогда об этом и не говорю. Ты представляешь, это никого не было: ни людей, ни городов, ни лесов, ни зверей – ничего. Все было не так, и как в сказке. Самое понятное объяснение этого времени – «как в сказке»: все было совершенно не так, в другом мире и без людей, то есть это уже совсем что-то такое невероятное.

Надо сказать, что вообще фантомов не очень-то и много. Это явление не такое частое. Но это редкое совпадение, чтобы все это повторилось. Тем не менее вот это все к нам может иметь прямое отношение: к Слову, к Поэзии – просто самое прямое отношение. На мой ум, самое прямое, поскольку Слово и Камень – это какая-то жуткая родня. Это не случайно: пройдитесь по всей мировой литературе.

Ю. К.: Вот я сейчас читаю – был такой немецкий отличный поэт Пауль Целан.

М. Н.: Он очень хорошо переводил Мандельштама. Немецкий переводчик, который слышит размер русских стихов.

Ю. К.: И поэт он замечательный. Я вычитал в комментариях, что он интересовался трудами по кристаллографии и сравнивал их рост со структурой стихотворения.

М. Н.: Что касается трудов по кристаллографии, я думаю, что это никому не интересно. Вот допустим, все кристаллы распишем: такой тип, такой тип и такой. Можно точно также все эти ритмические рисунки расписать, – товарищи, уверяю вас, родство будет. Один товарищ пробовал, я его уже называла, могу уточнить. Он уже пробовал Катулла, нашел полное совпадение.

Ю. К.: С ростом кристалла какого-то, да.

М. Н.: С формой, строением. Совершенно все распишется, потому как все зависит от расположения, структуры внутренних частей, и от этого он будет расти так или иначе: у него будет шесть граней, три или восемь. Практически взаимоотношение формы и содержания – это абсолютно стихи, просто абсолютно.

Кристаллография, надо сказать, совершенно потрясающая, очень сложная, но совершенно потрясающая наука. Я когда в первый раз с ней познакомилась, я уже вам говорила, у меня было такое ощущение, что это и есть про все. Вот она объясняет все. А уж если она объясняет старинные камни и старинные стихотворения… Я уже тоже вам об этом говорила. Вот самое потрясающее, самое – наповал, самое убедительное, где человек видит: «Да! Это совершенно верно!» – это кристалл и стихи. Тут уже каждый слепой и глухой согласится с тем, что и там, и там, и там есть такая штука. Ну конечно! Это правда. Это, действительно, так. Просто никто этим не занимается, поскольку у нас науки зверски гуманитарные или зверски технические. Ну там разделения, как в природе, никто не делает! Так и туда идут люди совершенно, совершенно разные. И вот сейчас у нас было несколько выпусков, были совершенно способные люди. Нет, нет, нет – вот он на компьютере. Я говорю: «Ну, слушайте, он у вас совершенно не «технарь», это гораздо более интересная голова, ему надо заниматься лингвистикой или чем-то другим!» Нет, нет! Вот, знаете, все ощущают эту безумную границу, и границу эту и видят. Только Мандельштам и Блок – никуда не денешься – вот только они не видят.

Ю. К.: Два с половиной миллиарда лет назад ведь не было никаких людей, лесов и т. д., по крайней мере, таких, как сейчас. И что было дальше?

М. Н.: Что касается «не было»… Ой, вот, если бы я знала, что ты заговоришь об этом, я бы принесла бы вам фотографии шахты соляной. Значит, эти фотографии… Ну, понимаешь, эти жуткие годы 90-е, всем было наплевать, лишь бы навороваться.

Ю. К.: А ты приносила же.

М. Н.: Нет. Так вот там женщина сфотографировала все это и поднялась наверх. (Я была в соляной шахте и с людьми общалась.) Это не-

вероятно! Человеку, который обеспокоен серьезно мировоззренческими вопросами, надо обязательно пойти в эту шахту. Это просто что-то невероятное.

Пункт первый: там никакая не чернота, а там абсолютная красота. Так что Павел Петрович Бажов про медную гору был абсолютно прав. Во-вторых, там вовсе не такая плотность – все это совсем не так! Там есть и пустоты, есть и движения, там постоянно происходят трагедии: все эти взрывы, там постоянно происходит какая-то жизнь невероятно интересная, и полно движения.

Так вот фотографии, которые делала эта женщина, лежат у меня. И на них, допустим так: вот так вот – женское лицо, вот так – мужское – точно: лоб, нос, ресницы, шея, серьга в ухе, волосы. Она чуть повыше, Хозяйка, ей добавили элементы кое-какие – все равно! Совершенно четко, вот его лицо: глаза опущены, ухо, шея, прическа – совершенно четко. Или, допустим, церковь – купола и кресты. Там есть елка, цвет совпадает, прямо зеленая, и на ней – петушки, шарики, лапти, гребешки красные и свечечки – вот свечечки и оранжевый огонек! Шесть свечечек и пять звездочек. Кто это делал? Я понимаю, что не было ни людей, ни динозавров, но тем не менее Тютчев как-то высказал такую мысль, что существует некий закон общий для природы живой и неживой, поскольку она этой разницы не видит. Так вот четкость этих картинок – просто невероятная! Восточная красавица с черной косой, русская красавица в кокошнике – просто невероятно. Я всегда детям рассказываю, что у нас, на Урале, никто не ушел отсюда по земле, у нас ушли в подземелье, под землю. Отсюда уезжают «перекати-поле», а такие обычно в Москве. Нет, это нормально. А люди, которые жили здесь, и которые себя здешними полагали, уходили только туда. И этот миф, когда чудь ушла, им был срок: как только появятся белые деревья, взойдет царица, на скале сырой (скала до сих пор называется Дева) листва опадает с белых деревьев – значит, наши сроки идут. И они уходят все под землю, и оставляют знаки за собой. Люди знаки разгадают и гора откроется.

Обратите внимание, когда русские пришли. Они на эти знаки (это действительно так!) выходили постоянно. Больше того, научные экспедиции при Петре I повсюду находили печати и следы неизвестного древнего народа. Этому всему, ну 350 миллионов лет. Эти слои соли отложились тогда – это остатки древнего океана, все понятно. И понятно, почему соль цветная: и малиновая, и розовая, и красная, и синяя и т. д. Ну я не знаю, как вам рассказать: включают прожекторы, и кристаллы отливают разными цветами. Невероятное зрелище!

Так вот эти картинки: было это 350 миллионов лет назад. Тем не менее вот петушок, вот женщина, вот олень, вот мужчина – куда от этого денешься?! Не знаю. Но думать над этим считается смешным. Но тем не менее когда я в первый раз увидела эти картинки… Я к тому, что я ее понимаю: когда спускалась в эту шахту, видела, как яшмы формировались. То есть она зафиксировала задний вид земли в тот момент, когда эти яшмы формировались. Но дрожь по сердцу, когда видишь: это крымские виноградники перед тобой, это – оренбургская степь, вот это – осень, а это – лесная чаща, а вот это – озеро и паутинки над озером. Не тот вид, который был, когда все это формировалось, а нынешний пейзаж на тебя глядит.

Просто природа… Как вам объяснить? Мы не правы, когда смотрим на нее свысока и называем себя царями природы. Более того, мы никогда не будем счастливы из-за того, что от нее ушли, и наше царство счастливым никогда не будет. Нам будет только хуже, хуже и хуже. А надо настаивать на том, что мы – ее часть, часть и часть. И все! И больше ни на чем! И никому этого ни за что не уступать.

Ю. К.: Получается, что стихи – это природная неизбежность, природная необходимость.

М. Н.: Я готова с этим согласиться, потому что, когда читаешь «Сказание о Гильгамеше», я вам уже говорила, что я не постигаю ткани этого текста. Ему три с половиной тысячи лет. Что он хуже нынешнего? Он просто прекрасен! Среди древних текстов есть просто немыслимые. Я уже не говорю про Древнюю Грецию, тексты которой для нас эталон. Есть вещи просто прекрасные! Это великая замечательная поэзия, я уже не говорю про Гомера. Что такое вообще человеческий талант, если человек пришел, наслушался всех этих россказней, всех этих мифических дел, и из них создал неистовой красоты вещь. Более того, она набита чудовищно красивым содержанием, которое мы никогда не желаем всерьез воспринимать. Это, конечно, авторское произведение, потому что мифы он так выстроил, что появились совершенно особые смыслы.

…Русский язык совершенно заряженный. Он рифмуется вдоль и поперек, по диагонали – куда деваться? Или когда маленький ребенок начинает идти и: «Шла Маруся по дорожке, у нее замерзли ножки…» – ну куда деваться-то, если у нас язык такой! Значит, это языку свойственно, это в нем заложено.

Ю. К.: Так это не наш язык. Это язык природы нам данный на самом деле. Есть разные концепции, но вот эта концепция, так скажем, природного происхождения языка связана с началом, серединой и концом ментальной нашей природы – она закончится когда-нибудь…

М. Н.: Конечно! Но нам до этого не дожить.

Ю. К.: Нет, мы до этого не доживем, но она не закончится, потому что там есть другая ментальная природа. И там будут такие же кристаллы, такой же язык природный. Ведь язык русский, почему он такой красивый, точный, разнообразный, потому что он – явление природы прежде всего. Все заимствования, которые к нам приходят: латинизмы, англицизмы и прочее, прочее, прочее – слова, которые обозначают реальные предметы. Вообще явления и процессы природы называются нашими словами: *рушится* (здание), *бежать, дышать* – все это явление природы. Поэтому стишки – тоже явление природы. Получается, что мы не напрасно пишем. *(Смеется.)*

М. Н.: Ой, ну как не напрасно? Раз оно существует. И потом существуют ведь стихи всегда. Как бы ты далеко не вспомнил все это, какое бы ты время не вспомнил, там обязательно кто-то стихами скажет.

Ю. К.: Почему раньше древние к смерти относились как к явлению нормальному, явлению практически родственному жизни?

М. Н.: Ну, во-первых, они себя не извлекали из природы – частью природы оставались. И в том, и другом виде я в ней остаюсь. Они же себя никак не отличали. Когда начались эти отделения, тогда и начались вот эти безумия человеческие.

Ю. К.: И люди сразу стали боятся смерти.

М. Н.: Конечно. Больше того, мы ведь не просто выделились из природы – мы выделились из нее на правах победителя, что само по себе просто ужасно.

Ю. К.: И мы не смогли совладать с этим ужасом смерти.

М. Н.: А мы и не совладаем.

Ю. К.: Сейчас мы думаем так: ты умрешь и исчезнешь навсегда. А раньше не так: дух вечен.

М. Н.: Очень ведь часто и хоронили их под полом жилого дома. Конечно – быть всем вместе.

Ю. К.: То, что мы сейчас говорим о жизни и о смерти: сравниваем наше и мифологическое сознание. Или все это близко к правде – к природной правде.

М. Н.: Юра, сознание – оно практически всегда мифологическое. Я не знаю, может быть, есть какие-нибудь математические или компьютерные гении, у которых оно иначе совершенно устроено. Но у человека нормального, живого человека сознание мифологическое. Но оно в разной степени мифологическое. Я помню, когда я была в Армении, я вообще была поражена. Они вообще до такой степени мифологичны… В сущности, если человеку так удобнее жить, это никому не мешает. От этого

жизнь становится многограннее. Сознание мифологично. К тому же оно в поэзии – такое, в фольклоре – такое, в сказке – такое. Значит, человеку свойственно сознание такое. Мне кажется, если у человека сознание исключительно научное – это какие-то киборги.

Ю. К.: Как раз я пишу по случаю про посткнижную культуру и делюсь своим пессимистическим взглядом на все на это. Зачитывать не буду. Но! Мы вышли из природы, мы часть ее. Но ведь часть этой части, вышедшей из природы, все-таки не ушла от природы – осталась. Кто-то же будет читать. И читают: 7 % остаются всегда.

М. Н.: Какие-то люди, конечно, будут читать. Не будет того, что было. Я просто говорю про то что, когда я работала в библиотеке, я видела эти жуткие очереди за журналами, книгами. Мы правда были самой читающей страной в мире. И читали все жутко много. Этого больше не будет никогда. Очень печально и очень жалко. Сейчас – все эти ночные клубы, развлекалочки. Я совершенно не могу понять, что там человеку делать, как им там не страшно. Я телевизор не смотрю никогда, но как-то пришла, говорю: «Маша, Господи, кто это?!» А это какой-то Гарик Бульдог – но это просто ужасно. Так вот, человек раньше читал книгу, а теперь он смотрит на это.

Е. Д.: Майя Петровна, помните, Вы говорили, что есть общая память и она избирательна – народная память. Она же никуда не уходит.

М. Н.: Что касается народной памяти, надо, девочки, тут еще разобраться, что такое народ как таковой. Конечно, мы уже с вами начинали говорить, что нельзя сказать, что есть представитель народа, а есть – не народа. Но, с другой стороны, мы можем говорить о народе как о народе, когда он или поднимает какое-то дело, или одной какой-то мыслью ведом. И вот тогда мы его видим: Отечественная война, или когда поднимется партизанщина и начинает гнать Наполеона. До этого они сидели по селам и пели народные песни, и когда все поднимаются и делают одно какое-то общее народное дело – вот тогда, да. Сейчас я этого не вижу. Я жутко боюсь. Мне очень нравится русский народ, я ничего равного ему и не видела, правда.

Ю. К.: Я сегодня утром смотрел телевизор, просматриваю каждый день новости, к сожалению, – с журналистами работаю, и там был такой сюжет: Кузбасс накрыло. И показывают там девушку лет, я думаю, 20–22. Очень молодая женщина, с коляской, с ребенком – младенцем буквально, ребенку месяц-полтора. У нее муж погиб, сгорел. И она улыбается. И потом я понял, в чем дело. Она говорит: перед тем, как муж погиб, он дубок посадил. Вот он со мной разговаривает.

М. Н.: Я к этому отношусь совершенно серьезно.

Ю. К.: И я вдруг понял, что ничего не кончилось!

М. Н.: Я смотрю в школе на детей: так много красивых детей. Товарищи, Бог не фраер! Но не будет столько красивых детей, если будет негде и незачем жить! Так не бывает.

Ю. К.: Значит, есть какая-то сила вот этого первичного. Основная жизнь.

М. Н.: Жутко заметно, что жизнь на Урале категорически отличается от жизни в Москве. Жутко заметно, что жизнь в Сибири отличается от жизни в Москве в лучшую сторону. В ту самую сторону, где вот эти самые основы, где вот эти проявления того, что мы называем народным, в Москве этого уже нет совершенно. Меня как-то страшная мысль такая остановила, думаю: «Не приведи, Господи, если такое что-нибудь случится, как говорится, развалится Россия по Уральскому хребту, никто не пожалеет о Москве». Это ужасно, потому, как нам сказано, ничто так русских не объединяет, как Бородинский бой. То, что я сама видела, я считаю, что это был настоящий народ. Про войну и не говорю – после войны. Это что-то невероятное. У нас история вообще абсолютно романическая, народ совершенно невероятный.

Есть даже детская книжка… Раньше в детской литературе можно было писать то, чего нельзя было во взрослой. И я очень много сведений оттуда вычитывала. Как, например, Ленин был сослан в имение своей бабушки Капустино – не в деревню, а в имение и так далее. А тут было так: когда была ялтинская конференция, то товарищи Черчилль и Сталин решили посмотреть на развалины Севастополя. Я считаю, для того чтобы доставить себе удовольствие. Черчилль всегда очень не любил Россию. Считаю, чтобы доставить себе удовольствие или посмотреть, во что нам обошлась эта победа. А Севастополя тогда не было, были одни развалины, нельзя даже было проследить, где проходили улицы. Был даже план: давайте все расчистим и поставим все на новом месте. И когда они приехали, тогда Рузвельт и сказал: «Это вам полвека поднимать, минимум! И то в том случае, если мы вам поможем». А Иосиф Виссарионыч приказал немедленно предоставить ему довоенные снимки. Сталин снимки посмотрел и написал: восстановить все как было. И Севастополь подняли мгновенно. Вот это правда! Вот это то, в чем я узнаю себя и свой русский народ. И Севастополь подняли мгновенно. Притом где они жили – ой, и говорить страшно. Но подняли и сделали все, как было.

Сейчас я просто не вижу такого действия, такого проявления. Но с другой стороны, может, я чего-то не знаю. Люди, которые были в Афганистане, говорили, что Красная армия воевала классно, – это возможно. Но тем не менее то, что русские своих не бросают – это не мы сказали, это

они сказали. Но могу с уверенностью сказать, то, что я видела в Иркутске, там совсем другой народ. Можно сказать, что дальше от Москвы – все другое. В Москве – отвратительная картина, какое-то безумное хамство. Я никогда не могла себе представить, что хамство может существовать в таком концентрированном и страшном просто виде. Но с другой стороны, у нас есть масса вещей: тысячи не похороненных – грех ужасный.

(Ю. К. показывает М. Н. журнал «Врата Сибири».)

М. Н.: У-у-у! Как много понаписали! «Врата Сибири» – это что?

Ю. К.: Тюмень – столица деревень.

М. Н.: В XVIII веке вратами Сибири были мы.

Ю. К.: Мы?

М. Н.: Ну конечно! У де Геннина была книга «Описание уральских и сибирских заводов» – это наши, ибо Сибири тогда еще не было. Так что Сибирь начиналась отсюда.

Ю. К.: Как тебе, Майя, наша молодежь?

М. Н.: Они не то, что ленивые, но полная ненадобность жизни в них меня просто сокрушает.

Ю. К.: У них нет стремления ни к какому труду. Ни к физическому: меня дед воспитывал – я знаю. Картошку окучивали – у меня все руки в крови, но я сказал: «Я это сделаю!» Я и сейчас картошку сажу.

М. Н.: А я нет.

Ю. К.: Мне необходимо с землей возиться – я по-другому не могу. У меня есть рябинка маленькая – она, когда меня видит, тянется ко мне. Приходишь ночью – и то же.

М. Н.: Это – правда, это такое есть.

Ю. К.: Она пожелтела: сохнет-сохнет-сохнет. Я к ней подхожу и разговариваю. Ночь с ней просидел. Уговорил не умирать. Рябинка ожила!

(Чаепитие.)

Ю. К.: Майя, ты очень здорово, красиво говоришь.

М. Н.: Но, вообще-то, пишу я лучше, чем говорю!

Ю. К.: Вообще-то, пишешь ты классно, но говоришь ты тоже замечательно! Устная речь – она свободнее, интонации, паузы у тебя очень хорошие получаются.

М. Н.: Я свои публикации не коплю.

Ю. К.: Что, вообще публикаций нет?

М. Н.: Нет, книжки какие-то есть. Я даже иной раз думаю, надо же было как-то собрать в «Урале», да все как-то не до этого.

Ю. К.: Поговорим о драматургии, наконец?

М. Н.: Да, о ней. Как раз драма обслуживала всю идеологическую линию очень хорошо! И в театре, и в кино все обслуживалось очень хоро-

шо. Надо сказать, что все это было достаточно профессионально. Правда, я почему-то не проследила, как это все воспринималось зрителями и читателями. Что-то никогда этим не занималась.

Ю. К.: А что в библиотеке это не отслеживалось?

М. Н.: Нет. Через библиографический отдел это не шло никак. Этого никто даже никогда не спрашивал. То, что драм у нас не читали, – это да. Я сама читаю, например, только Островского.

Ю. К.: Я Шекспира читаю.

М. Н.: Я про Шекспира и не говорю. Из наших, если для удовольствия, для души, то Островского. Ей-богу! Ни Чехова, ни Горького. А Островского – да. Больно они там говорят живо. Чехов – величайший писатель, но когда я читаю Чехова, я понимаю, что люблю Бунина. И совершенно понятно. Я с этим поделать ничего не могу, я с этим делать ничего не желаю. Это наше национальное требование к искусству: всех этих петрушек, хороводов. Чтобы рвать на себе рубаху – на разрыв аорты.

Ю. К.: Последний чудный черт в цвету!

М. Н.: Но самое поразительное, это русское качество – вера. Ты что! До гроба! Вот это до гроба – я уже сто раз об этом говорила – это не так и хитро. Просто гроб поторопить. Гораздо труднее любить тебя, как бабушка, чтобы сварить тебе картофель, чтоб ты вернулся и поел[100].

Тут есть такая штука, что одно дело, когда я говорю «до гроба» (я как слушатель слышу эти слова), и тогда это не правда. Но есть люди, которые издохнуть смогут. Не сделают, но готовы. И вот этот пафос тоже слышится. Что-то мы принимаем за правду, что-то нет. Так вот эта готовность в русской традиции должна быть – и все. И безумное пламя жизни. Вот так – они у меня одним костром горят.

Вот, правда: на разрыв аорты – вот это Мандельштам все и делал. Притом в чрезвычайно драматической форме. Притом мне очень нравится это у Блока, где это стоит: максимум жизни, максимум смерти. Где *«летит степная кобылица и мнет ковыль»* – что тут говорить? Блок это очень хорошо слышал. Но совершенно другая интонация у умнейшего Волошина, который прекрасно слышал все эти сложности, все эти трагические наши знаки. А вот интонации такой нет.

Ю. К.: Он как-то пожиже. А стихи красивые у него.

М. Н.: Очень красивые: *«Как ты бежала… вся в цветах…/ Вся в нимбах белого пожара…/ Кто ты? дитя? царевна? паж? / Такой тебя и принимаю: / Земли полуденный мираж, / Иллюзию обманность… –*

[100] Из стихотворения Ю. Казарина «Полжизни бабушка встречала…».

Майю»[101]. Классный кусок, очень классный. Но, понимаешь, он очень понимающий человек, всегда зрел в корень, но вот так, чтобы насмерть – вот этого нет. Но поэт интересный.

Ю. К.: Ты в Коктебеле была же?

М. Н.: В Коктебеле – конечно!

Ю. К.: И в доме его была?

М. Н.: Это очень интересная история. Во-первых, у него никогда не было жены. Но мне это не интересно. Я считаю, что это его личное дело. Из всех жен мне нравится Наталья Николаевна [Пушкина].

Но так вот: Мария Степановна, мать Волошина, в то время была уже сильно не молода. Коктебель был безумно в моде. И вся литературная Россия там паслась – все самые модные поэты и прозаики. Кто считал себя занимающим место в литературе или в историческом литературном процессе, обязательно должен был отметиться в Коктебеле.

У Марии Степановны жизнь была, скажем, не очень счастливая. По разным причинам. Они все там о высоких материях, о поэзии – она стоит на кухне посуду моет. Потом война, страшная вещь. Ой, о войне можно написать совершенно страшные и жуткие вещи. Когда высаживали коктебельский десант… Коктебельский десант высаживали для того, чтобы «пошуметь» на берегу. Он даже был отвлекающим, потому что маломощный. Но тем не менее в Евпатории у них получалось достаточно хорошо. И вот когда высаживали его на берег, – это была верная смерть, корабли сразу отходили. Десант – это что-то невероятное. Это просто верная смерть. Но они так были обучены, что укрепились, а потом из отвлекающего превратились в главный и штурмовали потом Севастополь. Таким образом, Коктебель – это было место, где «пошуметь». И там осталось несколько человек – матросики. Десантники – все молодые. И они встали на берегу и увидели один дом – Волошина. И они встали под балкончик, чтобы была хоть какая-то стенка, чтобы их так не расстреливали: напрямую. И ее задача была – сохранить архивы Волошина, чтобы они были в целости и сохранности. Она действительно сохранила их. Там еще были книги, библиотека, скульптуры – все было закопано в саду. И она сидела дома, а этих мальчиков добивали.

Я не знаю, это ужас, конечно. Если бы я хранила архивы, то я бы выбежала на помощь или еще как-то. Но она, конечно, не вышла. Они стояли по ту сторону стенки, а она – по эту. Это с ее слов рассказано. Ужасно, конечно. Можно рассуждать, что они все равно бы все погибли. Можно всяко рассуждать. Женщина тогда она уже была совсем не молодая,

[101] М. Волошин. «Над головою поднимая…».

и поскольку место стало модным, то вся московская элита литературная к ней – с черным хлебом, с селедкой, – демонстрируя, так сказать, связь поколений. Также русские подарки. И все туда рвались, хотели в этом доме побывать, хотя, нужно сказать, туда не пускали. Но был Володя Кочкаренко, для которого закрытых дверей не существовало.

И вот идет, в рваных шортах закатанных, босой. Красивый: загорелый и босой. И подходит к Дому творчества.

– А вы куда, молодой человек?

– Я внук Эренбурга.

– Проходите, пожалуйста.

Вот он загорелый, в рваных шортах поднимается, заходит в этот дом. А я вообще в сторону моря отошла, дескать, я отношения не имею. И минут через двадцать – не больше – на террасе появляется Мария Степановна, обнимающая Володю. И он: «Майечка!» Мы заходим – все. Он просто был такой человек.

Но это не моя история. В это время в доме Волошина сидел Мануйлов – был такой литературовед, который собирал книги, – издания Волошина. И вот я как-то иду по Коктебелю. А я была такая… Во мне было 38 килограммов веса. Волосы светлые, зеленые глаза, в голубом выгоревшем сарафане. Вот он: «Девушка-девушка! Вы куда идете и так далее». И он меня туда – в кабинете Волошина, я там дневала-ночевала. Читала, переписывала. Я, конечно, переписывала его стихи. То есть я там была очень часто, фотографии смотрела – все, что угодно. Его, поскольку он книгу Волошина делал, Мария Степановна туда запустила.

Но мне Коктебель… Тогда еще было ничего. Место прекрасное, место очень хорошее. А потом – нет. Потом оно стало другое. Тогда по Коктебелю ходила Анастасия Ивановна Цветаева, еще какая-то бабулька – великие старухи назывались. Тогда еще великие старухи были живы. Великие старухи – Надежда Яковлевна Мандельштам, Анастасия Ивановна Цветаева и еще какая-то. Они в панамочках по Коктебелю, значит, ходили. И там, действительно, были люди, которые относились к Крыму, Коктебелю, Волошину и так далее. То время не было хамским. Уж если я пошла в дом Волошина, то я знала о нем немногим меньше, чем тот, который книгу собирал. Иначе я бы не пошла никуда. Это считалось нормой.

А потом все это стало как-то терять масштаб и качество. И так просто сплошная тусня получилась. В то время Коктебель был… Ну, в то время там был Вася Аксёнов.

Ю. К.: А камушки там подходящие были?

М. Н.: Тогда там камушки еще держались, и можно было найти сердоликовые галечки. Это еще до Маши, то есть это, считай, полвека назад. Действительно, были сердоликовые бухточки. Теперь уже нет. Кстати, на сердоликовые бухты можно было попасть только морем: надо было дойти до определенного места, раздеться, держать свою одежду в руке, оплыть скалу, и поэтому это каким-то образом в некой неприкосновенности содержалось. И потом тогда в Крым ездило народу мало. Туда ездила литература московская, потому что там Дом творчества был. Дом творчества – Коктебель. И они там просто паслись. Тогда же не ездили в Венецию или на Майорку. И поэтому действительно они там все лето проводили. И все модные юбки и кофты – все это носилось там. Хотя место было совершенно не гламурное, ничего подобного. И очень скоро Коктебель стал в моде – это первое место было, где можно было ходить в купальниках по городу. Хотя, если бы можно было штрафовать за это, я бы штрафовала. Потому что нельзя ходить в купальниках через севастопольские бухты, нельзя.

Ю. К.: А какие погибели там были?

М. Н.: Значит так: первая большая погибель как раз тогда, когда Севастополь строили. Суворов и Ушаков – два титана Севастополь строили, по ушаковскому плану. Тогда у нас больших потерь не было. Потому что турки, придя и увидя, что через год уже стоит крепость – сразу повернулись. И больших потерь тогда у нас не было. Большие потери были в войну XIX века, 1855 год, это да. Но и тут преимущественно потери наши были наземные, потому что Нахимов флот затопил, морских боев не было, и потери наши были наземные. Потеряли мы достаточно много. Но я бы так сказала: я никогда не считала и не буду считать ту войну проигранной, проигрышной. И Севастополь, Крым, дался тем настолько дорого, что у них там есть Севастопольский бульвар (постоянно названия такие есть).

Но, например, что касается англичан, английскую конницу там наши просто кончили. Там были союзные силы у нас, и наши отставания в технике уже были. Потом, что касается героизма, этот элемент народной войны, с этим было все совершенно прекрасно.

Кстати, у Льва Толстого все об этом написано замечательно. Тот безумный героизм был абсолютными буднями: никто не видел в этом ничего особенного, что было, между прочим, и во время других войн, но это такой знак места. Вот тогда потерь было много. Вообще-то, причиной этого называется плохое командование, но это глупость. Если я плохо знаю местность, если я плохо знаю возможности своих войск – значит, я дурак, что уж говорить-то.

Что касается Малахова кургана, я уже об этом говорила, это была самая высокая точка, поэтому туда ставили артиллерию. А в Великую Отечественную была Сапун-гора. Мы там и держались совершенно героически. Что касается наших инженеров, они работали там просто превосходно. Что касается наших минеров, даже они признают, что наши были гораздо искуснее. Их было больше, но они носятся со своей победой. Но не такая уж это была и победа! В Севастополе даже перед началом Великой Отечественной было всего тысяч сорок. Это же маленький город! Это – крошечный город! Ну и были грубые ошибки командования. Тогда было очень много сухопутных потерь.

Страшные потери были в Севастополе в 20-й год, когда Красная армия вошла в Крым. Фрунзе обещал всем оставшимся белым солдатам и офицерам жизнь – их убили всех.

Что касается Великой Отечественной войны, тогда потери были очень большие. Я так скажу: все говорят Хиросима-Хиросима, Севастополь – несколько Хиросим. Сколько было сброшено бомб на Севастополь – это несколько Хиросим. Четыре Хиросимы – это первая бомбежка Сталинграда.

Ю. К.: По мощности, да?

М. Н.: По мощности. Вообще, надо измерять не хиросимами, а сталинградами и севастополями. Полторы тонны на квадратный метр! Ужас! Это просто ужас! Притом они объявили его крепостью. А это маленький город, совершенно открытый в сторону степи. А шли они как раз со степи. Там было несколько достаточно мощных батарей – я все их облазила. Это, наверное, наш национальный идиотизм, но на всех этих батареях пушки не разворачиваются. Таким образом, были мощные сооружения, с пятиэтажный дом в глубину, но они не разворачивались.

Бомбили непрерывно! Я уже вам говорила – это называется «карусель». Сыпались бомбы непрерывно.

Вообще, есть много непонятных вещей про войну, которых мы, наверное, никогда не узнаем. Генерал Петров тихо, тайно, из-под носа немцев увел армию в Крым, и при этом не было ни одного пулемета. То совершенно целая армия пришла в Крым… Как случилось так, что мы остались в Севастополе без всего: без танков, без самолетов – без всего? В этом очень трудно разобраться, это навсегда останется тайной. Может быть, где-то через сто лет это и выяснится, но через сто лет это будет уже никому не интересно. Так вот, эта армия, которой командовал Петров (он, кстати, командовал гарнизоном, обороняющим Севастополь), ушла из Крыма на двух последних подводных лодках: на одной – штаб Петро-

ва, а на другой люди, которые ремонтировали подводные лодки и корабли. На этой лодке был родной дед моих севастопольских брата и сестры.

Этот дед, Иван Петрович, – замечательный человек. Он был в числе тех самых четырех человек, членов Комитета флота, которые приходили к Колчаку. И когда всем рассказывают, что, дескать, к Колчаку ворвались в каюту – ничего подобного! И я не верю всем этим авторам книг, поскольку мой дед был в числе тех четырех, сам был очевидцем. И он сказал, что никто и никогда не посмел бы ворваться к Александру Колчаку в каюту. До такой степени его уважали! Они доложили о своем приходе дежурному – и спустился Колчак. Разговаривали в высшей степени вежливо. Они доложили, что он больше не командует флотом. Он сказал, что, поскольку он не понимает, что происходит, он принял решение съездить в Москву и узнать. Ибо он как человек военный прекрасно понимал, что флот стране всегда нужен. Я спросила: «Как вы, Иван Петрович, к этому сами относились?» – «Время было такое». Так вот этот Иван Петрович, почетный житель Севастополя, придумал какой-то способ надежного ремонта лодок. И они на этих лодках ушли. А так, конечно, жуткое количество людей погибло.

Что касается того, скольких там сдали в плен, сдали тысяч семьдесят. Поразительно то, как брали город. Люди рассказывали, что их так напугали, что они от Сапун-горы… А от Сапун-горы до города на автобусе надо сорок минут ехать, а они это расстояние за несколько часов прошли ногами.

Ю. К.: А брали с суши или с моря?

М. Н.: С суши. А море все заминировано было. Симферопольское шоссе, Ялтинское и Ярославское – я все их прошла, прошла теми путями, которыми наши части подводили, там, где Сапун-гора, была… Сапун-гору взяли штурмом после артподготовки, и, говорят, там три или четыре раза был повторен подвиг Александра Матросова. Но я сама слышала, как наш ведущий Владимир Молчанов говорил, что это вздор, что это бессмысленно… Люди с полосными ранениями, зажав кишки рукой, бежали, потому что надо было освобождать Севастополь.

Я разговаривала со знакомым – с Тихлаковым, который командовал бригадой морской пехоты, которая стояла за город. Он говорит, так стояли, что аж зубами выдирали этот город. Это, товарищи, Великая Отечественная война! Я много раз говорила с людьми, которые там воевали. Они рассказывали, что когда кончались патроны, они сидели в траншеях и ждали того, когда немцы пойдут, чтобы буквально вцепиться им в горло. Таких рассказов я слышала очень много.

Севастополь – это дважды Россия. Это так. Судьба проверяла Россию, как она будет вести себя в самый трудный час. И сейчас она проверяет нас снова. И когда ушли в Осетию корабли, когда там была война, люди стояли на берегу с плакатами: «Севастополь – Россия. Драться с Севастополем – национальный позор». Я это к чему говорю, стало быть, бывают какие-то такие чрезвычайные обстоятельства, когда я понимаю, что я – народ, и я встаю и что-то делаю.

Другое дело, что на сегодняшний день народ оскорблен, унижен, истоптан, обобран… Но тем не менее совсем недавно весь Севастополь митинговал. Они обратились (сейчас, правда, украинизация идет страшная) к руководству города с просьбой дать им хоть какие-то деньги, так как город очень сильно пострадал, дома разбомбили… И руководство города им отказывает. И они все вышли на митинг. Я на всех этих митингах была, все это записала. Надо обратить внимание на то, что нам очень трудно митинговать: мы ведь не французы, которые за невыполнение обещаний выходят жечь машины. У нас не так. Но тем не менее я сама это видела: город вышел, люди митинговали. Значит, что-то есть еще в каждом человеке, что поднимет его… Вообще, Севастополь дался нам чудовищной кровью, что и говорить.

Ю. К.: И в купальниках – сейчас по улицам почти голые хозяева жизни.

М. Н.: Да-да-да! И это ужасно! Есть вещи, уровень падения которых просто немыслим. А вот ходят. Надо сказать, что та славная гордость, которая жива в каждом жителе Севастополя, не показная, а самая высокопробная. Я уже вам говорила про культуру Севастополя: никто не проверял билеты в кино и театр. Подходит троллейбус: мужчины делают два шага назад, женщины садятся, потом садятся мужчины.

Ю. К.: И в Свердловске так было.

М. Н.: Люди все это поддерживали, люди считали, что все именно так и должно быть. Надо сказать, и здесь, конечно, было гораздо лучше.

Ю. К.: И стариков пропускали, и женщин.

М. Н.: Но, во всяком случае, я прекрасно помню, как приезжал какой-нибудь БДТ, весь зал был наполнен, на первые ряды одни девочки садились. Это просто было такой традицией.

Ю. К.: У нас одна тема осталась – про ювелирное искусство.

М. Н.: Ювелирное искусство на Урале не самое древнее. Потому что Урал был нужен, в первую очередь, как промышленный регион, как военно-промышленный комплекс. Ювелирное искусство у нас развивалось стремительно. Город еще строился, а де Геннин уже посылал людей за горным хрусталем. Обратите внимание, мы только что поставили здесь

самый мощный в мире завод, и тут же открываем золото. Место появилось тогда, когда Бог указал на Россию как на великую державу. А дальше стало золотым все. У нас была просто Золотая долина: мы все ходили по золоту.

А вообще самые главные открытия драгоценных камней – бриллиантов, изумрудов – случились в XIX веке. В 23-м году построили наш завод – железоделательный, в 25-м – завод по чеканке монет, в 26-м – камнерезный завод. Тут же! То есть город сразу был разносторонним и многоплановым.

На камнерезной фабрике сразу стали делать что? В то время строился Петербург, и его надо было сразу украшать, а по замыслу Петра I он должен был быть не хуже европейских. Надо сказать, что в украшении Петербурга Петр I очень преуспел, потому что по роскоши каменного убранства ничего равного Петербургу в мире я не видела. Здесь делали мраморные плиты для петербургских парков. Потом стали камни искать, а камней было настолько много, что у деревенских жителей стояли мешками в сенях хризолиты, изумруды, аметисты, топазы. Зафиксированы поразительные случаи: двое мужиков пришли с родонитами, чтобы сдать (а здесь была контора, и им выдавали деньги), а контора закрыта. А они в речку камни выбросили, мол, камней много – еще найдем. Камней было много.

Поэтому у нас такая мифология – каменная, мощная как-то не прижилась, поскольку наш камень был знаком места. Идея того, что он кому-то помогает в любви или в военных действиях, или в торговле, как-то у нас не прижилась.

Камней было много: пудами – изумруды, пудами – александриты. Но ювелирка родилась здесь не сразу. Мы-то вообще чем славились очень? Роскошными камнерезными вазами. А эти вазы делались на потребу двора, потому что стоимость их была невероятной. Это был государственный заказ. Потому что оплатить такую работу может только государство. Вазы делали очень долго: десятилетиями иной раз. Яшмовые вазы – из цельного камня, а из малахита – мозаика. И обратите внимание, техника точения была не такая, как сейчас. Никаких алмазных пил не было. И еще одно: сначала выбирали камень, находили камень-глыбу. То есть нужно было найти огроменный многотонный камень. С рисунком! Ведь по вазе еще рисунок шел, потом они все пилили-точили, потом доставляли туда. Это очень сложная и трудная работа. И слава нашей камнерезной фабрики – вот эти каменные изделия. А еще столешницы.

А потом, когда начался век малахита, было так: сначала мы пластали малахит прямо листами. В Риме были, например, гостиные, украшенные

малахитом. Каждый человек, который считал себя богатым, имел у себя что-нибудь, украшенное малахитом. Все зависело от того, насколько ты был богат: приборы письменные, подсвечники, рамы – все могло быть украшено малахитом.

Малахитовую глыбу найти было невозможно. Яшму еще можно было. Большая малахитовая глыба одна была найдена в 1832 году в Меднорудянском месторождении – 20 лет на это потратили. То ли 9 лет вычищали под землей, 12 лет тянули, то ли наоборот. В общем, 20 лет вытаскивали ее. Но больше таких плит нет. А достать можно было только небольшие куски. И тогда наши придумали, так называемую, русскую или уральскую мозаику. Ее придумали только здесь, и выполняли только здесь. До того была флорентийская мозаика, которую наши мастера прекрасно умели делать. Наши мастера все умеют делать!

Что касается наших камнерезов и ювелиров, никаким фаберже, никому не уступим. Они умеют делать очень классные вещи.

Что касается флорентийской мозаики, то она делалась вот так: допустим, я делаю цветочек. Розовое, красное я делаю, скажем, из родонита, оранжевое – из сердолика, зелененький листочек я вырезаю, скажем, из нефрита или хризопраза, и таким образом я выкладываю цветочек или птичку, например. Выпиливаю крылышко и складываю. Это умели делать и мы.

Но с малахитом наши поступали иначе. Это то самое, про что как-то сказал Мандельштам, что если бы из камня сделали памятник в честь, в знак самого камня, – это и была бы уральская мозаика. Пилили малахит, а дальше из него выкладывали узор, но не птичек и цветочки, а выкладывали такой узор, который создавала сама природа. У малахита, я показывала кусочек, есть волны, палочки – масса всякого. Но, во всяком случае, это сложный узор! Из этих кусочков складывали природный узор. То есть мастер выступал сотрудником природы: он делал так, как делала природа. Узор был рожден не в человеческом мозгу, узор был рожден природой.

И все наши столешницы и вазы – русская мозаика, которые жутко были в моде в середине XIX века, – это действительно очень красиво, и работа это большая. Причем идеальные мастера складывали так: щелочки затирались толченым малахитом и все заново шлифовалось. Говорят, что не то, что пальцем (я пробовала), но и даже языком не почувствовать, где эти щелочки – настолько классные были мастера.

У нас в городе почти ничего не оставалось, все, что делалось, увозили туда. Стоят две вазы – не самого лучшего качества – в Геологическом музее, и столешница хорошей работы – в Геологическом музее и Музее камнерезного искусства. Наши мастера достигли такого искусства, что

с ними уже никто и не тягался. Малахит у нас был очень хороший: посмотришь на столешницу или на шкатулку – и сразу видно, что это действительно уральский подход к камню. Никто не заботился ни о заработке, ни о славе: многие работы даже не подписаны. Это никого не волновало на Урале, волновало только то, какой камень.

С изумрудами у нас было так: все изумруды, которые находили здесь, увозили в Питер, дальше – в Европу и так далее. В 52-м году все эти наши копии изумрудные сдали французам – в компанию, концессию, но французы вели себя по отношению к нам, как все европейцы: мы придурки, а они – умные. Они складывали их в специальную тару, замок закрывали. А разбирали и оценивали там, то есть, сами понимаете, что они оценивали исключительно не в нашу пользу.

А потом здесь чинили всякие сложности: запрещали работать с драгоценными металлами, даже в советское время классным нашим ювелирам, которые блистали в Париже, запрещали работать с драгметаллом. Но наши, надо сказать, титаны в этом отношении, они делали работы с недрагоценными камнями – яшма, малахит, халцедон, и делали классные вещи! Потому что у них совершенно особенное отношение к камню. Так вот государство очень долго нашим ювелирам чинило всякие препоны. С одной стороны, это связывало им руки, а с другой стороны, заставляло их думать. И люди находили всякие выходы. Они находили лавки в Питере, они возили камни отсюда в Европу. То есть выходы находились.

Но зато, когда в ювелирном магазине в Питере я смотрю камень и говорю: «Камешек-то хороший, но огранить можно было и лучше». Мне говорят: «Ну, лучше! Гранили-то в Екатеринбурге». Вот это особое отношение к камню, которое жутко видно в нашей ювелирке. Ибо уральская ювелирная школа существует.

Что касается ювелиров, Леонида Федоровича Устьянцева я знала очень хорошо и любила, Владислава Михайловича Кравцова знала, Комаров был – они все отличались вот этим самым уральским отношением к камню. Все они классные мастера. Все они прекрасно могут сделать, уверяю вас, все то, что делал Фаберже, которому нас заставляют удивляться. Когда к нам привезли Фаберже, на два квартала ниже была выставка Леонида Федоровича Устьянцева, на мой ум, гораздо более интересная. Но выставка Фаберже была жутко раскрученная, и машины привозили людей каждые пять минут. Я не ругаю Фаберже, но наши мастера работают совершенно самостоятельно. А Фаберже, в общем-то, европейский мастер.

Наш мастер против камня не пойдет, его мастерство заключается в том, что ты вдохновился и очаровался камнем. Он все может сделать –

и бабочек, и цветочки, и все, что угодно. Если взять, допустим, французскую ювелирку, я не говорю, что это плохо, но она совершенно не похожа на нашу: у них другая культура камня, у них все другое.

Притом мне очень нравится, что у нас с одинаковой любовью и почтением работают как с драгоценным камнем, так и с недрагоценным: бриллианты, изумруды, но точно также могут взять халцедоновую щепку, могут взять кусок пирита – и будет прекрасная замечательная вещь. Потому что к камню относятся пиететно и благоговейно, до такой степени, что Януцович, например, сделал подвеску: в золоте изумруд. Так он взял изумруд с куском сланца. Он сказал: «Как я могу его оттуда вытащить – он живет так». И если он живет так, значит, он так и сделал. И это очень здорово, это почерк наших мастеров. Работают они, конечно, очень здорово. Мы мало это замечаем. Мало мы это любим. Потому что мы вообще не приучены.

Ю. К.: К красоте.

М. Н.: Ты знаешь, от такой красоты нас отучали долго. Раньше-то, может быть, изумруды не каждая девушка носила, но топазовые бусы были у всех, дешевенькие какие-нибудь. А потом нас от этого отучали. И потом просто люди были бедны. Не могу сказать, что это совсем забылось, потому что в старых домах это хранилось у бабушек-прабабушек.

А сейчас, что касается нашего отношения к камню, – это такая печаль. Никто не заметил, что наш завод ювелирный, который открылся в 1726 году, практически с самого начала нашего города, прекратил свое существование. Никто этого не заметил.

Ю. К.: «Уральские самоцветы», что ли?

М. Н.: Да. Его скупили. Не знаю, может, он в какой-то степени и существует еще, но он перестал быть тем, чем он был раньше. Но Кравцов, Комаров и Устьянцев, я видела, как они работают в мастерской, они были и остаются уральскими мастерами. И свое отношение к камню они сохранили до конца. А что касается Леонида Федоровича, он имеет и народные звания, и призвания, он, безусловно, всего этого стоит. Его звали в другие места и фирмы, и он, между прочим, несколько лет работал в Смоленске, потому что там тогда работали с бриллиантами – гранили. А потом он говорит: «Нет, я без уральского камня не могу». То есть он общаться с ним должен постоянно. С Елизаветой Михайловной они ходили камни собирали. То есть он без этой земли не может.

И то, что наши мастера умеют все, – это да. Действительно, очень классные мастера. Тут был знаменитый «Гизехский сфинкс», который сделала Елена Опалева, совершенно молодая женщина. У ювелиров есть такой порядок, обычай, традиция, такой же, как «гамбургский счет»

у боксеров. Раз в пять лет они собираются, совершенно это не обозначив никак, не привлекая к этому ни государство, ни известные фамилии. Это и есть «Гизехский сфинкс». Оно совершенно не в уральской традиции сделано. Вещь очень красивая и является доказательством того, что у нас могут сделать все. Но с другой стороны, людей, которые относятся так к камню, которые испытывают пиетет к нему, стало меньше. Правда, Леонид Федорович оставил двух своих внуков – они тоже ювелиры очень хорошие, молодые симпатичные парни. Не знаю, что из них дальше получится, но, во всяком случае, своему ремеслу он их обучил. Как он к камню относился! Например, говорил: «Но не живет он здесь, не живет». О камне исключительно как о живом. Причем такое же отношение, как в «Малахитовой шкатулке»: нельзя делать перстень под палец чей-то, не всякая женщина подойдет к нему. Камень сам выбирает себе хозяина.

Он успел еще издать альбом, там, правда, ему с цветами очень погрешили. Из них двоих Владислав Михайлович был более склонен к современному решению. А Леонид Федорович все это мог, но всегда был верен уральской традиции и никогда ей не изменял. А, в общем-то, ювелирное искусство как таковое – искусство совершенно поразительное. Юра в своих стихах говорит такие слова, за которыми открываются огромные пространства! Вот в ювелирке точно такая же штука! Потому что в камне – вечность. Невероятно еще то, что от тебя как от мастера зависит красота его. Вот сейчас она или воссияет, или ты ее не увидишь. Это поразительно. Для того чтобы это понять, надо все это видеть с самого начала. Это то же самое, что мы говорили о стихах и о Блоке.

Ю. К.: То есть ювелир совершает дело поэта?

М. Н.: Да, практически ювелир – сотрудник природы, планеты. Причем, что самое поразительное, что сотрудник – на последнем этапе. Поэтому жутко тяжело работать с заказчиком. Если у нас идешь по улице и читаешь: «Дарите чувства в бриллиантах!» Но куда можно дальше падать?! Чувства в чувствах надо дарить, не в бриллиантах! Все это пошлости – бриллианты и так далее! Кошмар!

Когда наши камнерезы резали по чертежу, страдания их были ужасными, потому что рисунок камня, который можно было вытащить, приходилось резать. Это, товарищи, описано в «Даниле-Мастере»: когда по живому режешь заданный тебе рисунок, ты убийца. Камень должен остановить тебя и осчастливить – это будет идеальное решение. У меня есть кольцо, там черный опал, но часть узора на нем была закрыта каменной корочкой. Я прихожу в мастерскую, чтобы как-то ее снять. Мастер мне сразу: «Нет, конечно. Он так живет». А другой бы какой-нибудь – снял.

Ю. К.: Вернемся к камню.

М. Н.: Как-то я зашла в геологический музей в Петербурге. Я там все посмотрела, мне все показали, а потом говорят: «Вы что, с Урала, что ли?» Я отвечаю: «Да, с Урала». А они мне: «Ой, нам вас будет нечем удивить». А я говорю, что приехала не удивляться, а по делу. Дело мое касалось горки, которую Денисов-Уральский сделал. Но она у них там замкнута, не на всеобщем обозрении. При всей моей большой любви к Денисову-Уральскому, она какая-то такая… Но, что удивительно, она делалась ко дню рождению одного горного деятеля. Можете себе представить, какие подарочки были горным деятелям. Она такой вот высоты *(показывает)*, и такие изумруды, прямо сплошняком.

Е. Д.: А камень, который в кольце, он живой?

М. Н.: Живой тот, который природный. Хризолита искусственного пока не делают. Вообще-то, если ты веришь во все это, нужно самой найти, что очень трудно. Бриллианты будут 9 лет к тебе привыкать, а могут и не привыкнуть. А вообще-то, вовсе и не обязательно, чтобы это было серьги или кольцо: можно просто камешек иметь. Тоже будет твой камешек.

Ю. К.: Ну что, попьем чайку?

М. Н.: Да-да… «Ах, война, что ты, подлая, сделала?..». У меня одна сошла с ума, прямо так, ее в «дурку» увезли, другой уже нет на свете. Они беженцы были, бежали от бомбежки. Они меня постарше, когда человек бежит от бомбежки в обнимку с мамкой, он мало понимает, а вот когда в лет шесть – это уже совсем другое дело. И вот они всю жизнь прожили, а одна в конце жизни: «Немцы в городе!», – и все. И кончилось это тем – а она действительно сошла с ума, – она решила, пусть лучше все пропадет, но немцам не достанется (она была здоровая, носила 42-й размер): с балкона выбросила телевизор и холодильник. Ты представляешь!

И обе они запасали сахар. Сахар в войну был невероятным событием, я же вам тогда рассказывала, как я болела-помирала, и врач говорит: «Вот бы ей сейчас чаю с сахаром». И они запасали сахар, он стоял у них коробками. Потому что считается, что самое главное – хлеб и сахар. Что вы! Для меня самое главное – это хлеб, сахар и картошка.

Ю. К.: У меня бабка всегда запасала соли мешок.

М. Н.: Соль – это да.

Ю. К.: И ящик мыла.

М. Н.: Мыла же вообще не было.

Ю. К.: Один ящик хозяйственного: для стирки. Его же варили, и уже в жидком стирали. И ящик банного мыла. А сахар был такой, кусками. Раньше головы были, головы просто рубили.

М. Н.: Я сахар такой помню, ух, это было такое чудо. Отец у меня такой поразительный фокус знал. Надо брать стакан – не граненый, а тоненький-притоненький, который ставили в подстаканники. И вот он голову сахара вертел-вертел, а потом этим стаканом – бум! – и сахар распадался на куски. А стакан цел. Что ты, Боже мой! Это же можно роман написать! Про продукты роман можно было написать. Понятно, что когда учились, несколько стаканов разбили, а сейчас и стаканов таких нет.

И еще одно, что меня, конечно, Юра, совершенно потрясает: каким же вы это тиражом собираетесь издавать? [О планируемой книге «Беседы с Майей Никулиной».]

Ю. К.: 40 тысяч.

М. Н.: Да ладно!

Ю. К.: Я думаю, что мы сделаем 1000 экземпляров точно. А на самом деле мы сделаем 500 экземпляров, разошлем по библиотекам.

М. Н.: Часто мне во сне снится, что я курю.

Ю. К.: Ну ты же курила.

М. Н.: Ой, если мне жизнь излагать такой, какою она была, то знаете, товарищи, это впятером не придумать. Это действительно нечто невероятное. Дело было так: жили мы в Севастополе – Маша, Гришенька и Тарас – все были маленькие. И на Севастополь напала какая-то напасть, там 3 дня лил такой сплошной дождь, что не было видно струи, а дышать было трудно: воздуха не было. А за 4 дня до этой грозы я ползала на четвереньках по квартире и говорила: «Да что это такое! Где тряпка?» И наступил этот дождь. А поскольку там никогда не бывает дождей, то там не сделано никаких дренажных систем, потому что людям этого не надо. И поэтому, когда все это началось, вода встала просто в подъезде, и появился этот жуткий запах. А что началось дальше, никто не может объяснить. К нам «скорая помощь» приехала, 42-я за день, они говорили: «Девочку спасайте, как хотите». Не знаю, что это такое. Потому что дети, особенно приезжие, заболели все. Температура 40, горло опухло, глаза гноятся – жуть какая-то. И они оба лежат – и Гриша, и Тарас, совершенно красные, веки гноятся. И длится это, длится – время идет, их колют, но ничего не помогает. Я их поднимаю прямо за подмышки, они на руках болтаются. Жуткое дело! Тогда я взяла ушла, закрылась в ванне, встала и так сказала: «Мама, бабушка, вы видите, что делается с детьми. Пусть на этом месте буду я, а не они». На следующий день дети встали, а я вырубилась абсолютно. Без сознания. И Машка стала уже лечить меня. И я прекрасно помню, что это было: мы на первом этаже жили (квартира на окраине, мне этот район не очень нравится), и *они* из-под земли вылезли, сели и сидят. И говорят: «Мы в горе живем. Что тебе здесь делать?

Давай к нам». И они все ближе: сначала они стали через окно перелазить, потом совсем уже около кровати сидят.

Ю. К.: Это бред.

М. Н.: Бред. Это не люди, а какие-то такие существа. И когда Машка стала кормить меня (я еще вся в судорогах была – страшное дело!), я не спускала ноги с кровати, потому что *они* там сидели. Потом куда-то они делись. Через несколько дней я встала.

Ю. К.: Небольшие?

М. Н.: Небольшие, да. Причем я, когда с постели встала, поняла, что это, товарищи, не уральская традиция. *(Смеется.)* У нас маленьких не было. И когда я отошла от всего этого, похудела на килограмм 5. Все: ходить не могу, мне даже казалось, что я глотать не могу. И я пришла на кухню, а там на столе лежит Marlboro – мои сигареты. И взяла их – и положила на полку. И все! С этих пор я больше не курю. Кто-то там пытается бросить, а я – ты что! – никогда бы с собой бороться не стала, ибо мысль о том, что я могу победить, всегда сокрушает меня. Если я сама себя, так сказать, «победю», то что я буду делать? Ну не знаю.

Ю. К.: Но я же себя в пьянстве победил.

М. Н.: Так это твоя вражина была! И то, я тебе скажу, когда Леша Решетов говорил: «Я выпью бутылку и все забуду», да я сама б ему за бутылкой сходила, потому что мучения от того, что он не может забыть, были гораздо для него разрушительнее и страшнее. Я всю жизнь – слава тебе, Господи! – общалась с пьющими людьми, всегда говорила и сейчас скажу, есть люди, которым я сама встану и бутылку куплю. Потому что надо посмотреть, что человека мучает, и какая мука страшнее.

В общем-то, конечно, надо сказать, что он [А. Решетов] по своим мощностям был не самый выдающийся человек. Ему, видимо, противостоять, построить, так сказать, какие-то оборонительные укрепления, возможно, было совершенно не по силам. Возможно, это так и было. Более того, доходило до того, что его мама говорила: «Только через мой труп» – и ложилась поперек двери. Что делал Леша Решетов? Он через нее перешагивал. Мама просто перестала это делать, единственно потому, что она, естественно, его любила и не хотела подвергать его этакому унижению.

Ю. К.: Нет, но тут сама мама не права, так скажем.

М. Н.: А с мамы трудно спрашивать! Понимаешь, бабушка, у которой он рос на ручках, вернулась из лагеря. Дело в том, что когда мой ребенок – дистанции нет. Это потом, когда он уже вырастает, я начинаю уважать его как взрослого человека.

Ю. К.: У меня с моей матерью не было дистанции никогда.

М. Н.: Так ты ведь, во-первых, с ней всегда и жил! Больше того, ты всегда признавал, что она твоя мама, и ты ее любишь. Правильно говорила моя баба Саша, до трех ребенка необходимо с рук не спускать. Тогда ребенок просто защищен. А как ты относился к своим деду с бабкой, за одно за это тебя просто можно уважать. Ты никогда не отдавал себе отчета в том, что это почти никто не умеет.

Ю. К.: Эта любовь никогда не вербализовывалась. Никто не говорил: «Я тебя люблю! Я тебя люблю!»

М. Н.: Так потому что не надо!

Ю. К.: Я знал, что она [мама] 20 лет сидит и обмахивает мою фотографию, и смотрит на меня.

М. Н.: Притом самое удивительное, то, что нас было трое, но бабушка все самое семейное передавала мне. На всех фотографиях она держит только меня, и я вообще выросла, держась за ее подол. Она шла, я сразу же за юбку – все! Я помню прекрасно, как у нас было одно картофельное поле за Вторчерметом, там был какой-то полигон, где проходили стрельбы. И нужно было переходить через этот полигон, а потом мы заходили на наш участок.

Ю. К.: Вы гильзы собирали?

М. Н.: Да ты что! Маша моя училась в первом классе (она в школу не ходила, была очень больна), и где-то в 2 часа ночи пришел молодой человек, мол, я папа мальчика такого-то из Машиного класса. Оказывается, папа и мама приходят домой: мальчика нигде нет. Заходят в ванну, а мальчик там сидит на снаряде и ломиком счищает с него ржавчину. Сидит на нем и счищает. Они: «Где взял?» Он говорит, что там за дорогой строят дом, и экскаватор вытряхивает их. И вот они все растащили. И вот этот папа пришел и спрашивает, есть ли у нас эти снаряды.

Да ты что! Мы тут все были вооружены. Конечно, не так, как в Севастополе. В Севастополе – гранатами, автоматами. В последний раз 7 мальчиков взорвались в степи, 40-летие освобождения города было.

Ю. К.: Ну там война была: понятно. А в Екатеринбурге у меня весь дом был завален гильзами, патронами.

М. Н.: Слушай, а где все это делали, если не здесь, в Свердловске?

Ю. К.: Нет, так это все траченое было, стреляное. Я не знаю, откуда. К дяде Сереже зайдешь, у него по всей квартире было: там пистолет, там еще что-то.

М. Н.: Сюда еще много приходило, когда шло на переплав. И было этого вооружения полно. Чермет, который пришел на переплав. У нас вполне в этом отношении были боевые места. Я помню, что мы постоянно что-то складывали под трамвай.

Ю. К.: Гильзы.

М. Н.: Все это взрывается, сверкает. И что-то бросали в реку и взрывалось.

Ю. К.: Капсюль. Взрыватель от гранаты.

М. Н.: Ну где-то же мы их брали.

Ю. К.: Брали.

М. Н.: Ну, видимо, этого было настолько много.

Ю. К.: Так же, как и камней, ты рассказывала. Камней было настолько много, что они были в каждом доме. К кому бы я домой не зашел, у всех были подоконники завалены этими камнями.

М. Н.: Я безумно рада, что это все возвращается. На «Минерал-шоу» многие приходят. Те, у кого есть деньги, могут покупать коллекции, сейчас старые коллекционеры продают. Просто потрясающие коллекции. Что, надо сказать, прекрасно, потому что в каждом доме – это договор с землей. Именно эту роль выполняют все эти коллекции, горки и так далее.

Ю. К.: А кварц?

М. Н.: Да с кварцем вообще идеально общаться.

Ю. К.: А это что за камень?

М. Н.: Это керченит.

Ю. К.: А! Керченит. У него какая структура? Вот эта штука, песчаник, образование его понятно.

М. Н.: Я всегда образование песчаника детям объясняю очень просто: ведро воды поднимали-поднимали: тяжело-тяжело. А теперь представьте себе, толщу воды с 20- этажный дом – это такая жуткая тяжесть, что вот это все спрессовывается, и получается песчаник.

Но самое интересное – керченит…

Ю. К.: И у нас такие камни есть. Камни со следами рыбок.

М. Н.: А как же. На Чусовой – раковины сплошные в известняке, и листочки, все есть.

ВЕЧЕР ПЯТНАДЦАТЫЙ

Ю. К.: Теперь, Майя, от камня к Грибоедову, да?

М. Н.: Да. О Грибоедове. История была такая: я, так сказать, таская воду ведрами на грядку, вдруг вспомнила, что Лермонтов очень любил Одоевского. Надо сказать, очень интересно, как упакован «Мцыри»: «*Упьюся я в последний раз, / Оттуда виден мне Кавказ*…»; у Одоевского все то, что он анализирует, – это море, степь и горы. И там все точно так же – степь и горы. И его же очень любил Грибоедов, он был какой-то дальний родственник: наше дворянство, там все были в каком-то дальнем родстве. И надо сказать, эта любовь была очень похожей. Для того и для другого это было достаточно нелегко, потому что на такую, просто сплошную, нежность ни Лермонтов, ни Грибоедов, во всяком случае где-то в устном рассказывании, просто не были способны. Они были для этого достаточно крепки. Известно, что Одоевский был человек прелестный во всех отношениях, очень мягкий, очень гуманный, готов был пойти всем на встречу. Сам он себя считал человеком слабым. И тот, и другой подчеркивали вот эти его голубые глаза, а вообще, голубые, лазурные глаза – это то самое детское, то самое ангельское начало.

И тут я стала думать: Лермонтов-то в литературе занимал, конечно, совершенно особенное место. Но такого, как занимал Грибоедов, на мой ум, не занимал никто. Более такой одинокой, уникальной, единичной, в стороне стоящей, ни на кого не похожей фигуры, как Грибоедов, в нашей литературе не было, и нет до сих пор.

Ю. К.: Это гениев беда.

М. Н.: Это в целом беда. Тут очень интересно то, о чем мы говорили в самом начале, что литература, действительно, так выстраивается, что слышно и видно это нарастание тревоги о том, что будет с Россией, и эта тройка, и так далее. Кстати, ужасно интересный момент: пишет Рильке первые стихи о России: «*Вечер в России. Топот коня*»[102]. Летит над нами

[102] Р. М. Рильке. «Преподал тварям ты слух в тишине…».

тройка, понимаешь *(смеется)*. Знаки этого движения! Ну, в первой строке. Первое стихотворение о России, и появляется топот коня.

И вот эта тревога не то, что выстраивается: ее слышно. Появляется эта тройка, которая летит неизвестно куда, об этом потом будет говорить Лесков, потом Достоевский. Все совершенно спокойно сюда укладывается. Но вот что в этой линии есть интересного: вся эта тревога уравновешивалась верой в то, что нам дано какое-то особенное будущее. Причем совершенно отчетливо слышится, что какого-то мистического характера. И тут, конечно, сомневаться нечего. Вот мы говорим: наше православие, наше православие. Русские были такими потому, что они уже были такие. Они себе выбрали православие потому, что оно им больше подходило. Ибо Пасха. Ибо только в православии сказано: «Царствие Мое не от мира сего». Мы постоянно живем как бы свесившись за черту дозволенного. То, что совершенно не допустимо, порочно и глупо, и неразумно в Европе, для нас самое то, для нас норма. Именно такими мы себя любим. Именно такими мы видим всех своих героев. Нам это нравится, именно от этого мы категорически не можем отказаться.

Очень интересно, что мистическое начало было практически во всех людях, и они мучительно думали над судьбой России. По крайней мере, для Запада все это так мучительно не было, для них как раз все было ясно. Но обратите внимание на такую фигуру, как Чаадаев. Ни на кого русское общество так страшно не обижалось, как на Чаадаева, за то, что он сказал, что Россия находится на периферии исторического процесса. Хотя, между прочим, я над этим думала уже много раз: вот была греко-римская цивилизация, вот она кончилась, вот получилось европейское государство – те цивилизации, у которых был свой ареал внимания. И то, что мы оказались на периферии, я лично ничего не вижу в этом обидного. Совершенно понятно, что был Рим, а потом они пошли туда, они были ближайшими соседями, мы находились дальше. Совершенно понятно, что мы были на периферии их внимания и влияния, но я совершенно не могу понять, почему это для нас было погибельно. Так вот, что касается Чаадаева, он действительно сказал, что мы выпали из исторического процесса и что у нас нет какого-то импульса исторического действия. И это все было воспринято как обвинение и весьма обидное, но я не помню, что его объявляли сумасшедшим, хотя об этом говорили очень многие. Но вспомним, что у Чаадаева была написана «Апология сумасшедшего», в которой черным по белому ясно и понятно написано, что в этом самом нашем отставании, в этой самой слабости он и видит залог нашего избранничества и нашей самости. И что, может быть, это отставание будет причиной того, что нам предписана совершенно особенная судьба, судьба

вселенской совести. И вот может быть, мы в свое время выступим как судьи как раз потому, что мы прошли эту особую стадию. То есть точно так же и у Чаадаева: этой мысли нет в «Письмах», но есть в «Апологии сумасшедшего». «Апология сумасшедшего» кончается прекрасно: «причины тому особенности географические». Дальше стоит точка, и продолжения никогда не было. А «причины географические» – это то же самое, о чем мы с вами уже говорили: мы одни. Мы одни живем на земле, где жить нельзя, где климат крутой настолько, что с нашей природой нельзя договориться, ее нельзя победить. Достаточно приехать в Грецию или на Кипр и увидеть: понимаете, абсолютная пустыня, сушь – четыре урожая в год.

Я как-то думала, представляете, сказать Александру Сергеевичу Пушкину термин «историческая родина». Меня бы объявили более сумасшедшей, чем Чаадаев. А сейчас совершенно свободно и нормально, это что-то совершенно невероятное.

Так вот, у Чаадаева это написано совершенно ясно, и это мистическое начало (про Гоголя и говорить не буду) есть у Лескова, оно есть у Блока. Я бы вообще так литературу в школе преподавала.

И посмотрите, что с этим мистическим началом происходит: ужасы Гоголя – Вии, черти и так далее – куда как менее страшны, чем бесы Достоевского. Это мистическое есть у Астафьева «Проклятые и убитые». Оно есть всюду. До Распутина оно есть всюду. Так вот, единственный человек, писатель, гениальный, жутко умный, который занимался и мучился судьбами России, но который лишен этого мистического начала, был Александр Сергеевич Грибоедов. И вот это совершенно невероятно.

Александр Сергеевич Грибоедов выпадает из общего нашего представления писателя по очень многим причинам. Но я бы сказала, что это произошло трудами советских не столько даже литературоведов, сколько политтехнологов. Нам была навязана мысль, что если я писатель, то я обязательно нахожусь в оппозиции к власти. Ничего подобного! Грибоедов никогда не был оппозиционером власти. Грибоедов был человек, который строил карьеру, который был делом очень озабочен и который делал реальные шаги и поступки для того, чтобы эту карьеру организовать и двинуть. Потому что, чтобы она сбылась, этим надо заниматься. Он был совсем не единственный, кто сотрудничал с властью, имел с ней хорошие отношения, и был отмечен ей и награжден. Посмотрим раньше: Державин – да, Жуковский – да, Карамзин – да. Александр Сергеевич Пушкин был в очень хороших отношениях с властью.

Ю. К.: Ну а Салтыков?

М. Н.: Салтыков, да, губернатор. Эта штуковина нам была навязана в совершенно недавние времена. То есть прекрасный у нас собирается ряд людей, работающих в литературе, живущих ею, которые в никаком диссидентстве не нуждались.

Что касается Грибоедова, если на него посмотреть, трудно его приписать к какому-то конкретному времени. Он умер раньше Пушкина. Как будто бы он попал туда из какого-то другого времени. Человек закрытый, человек таинственный, в высшей степени светский и уважающий все законы светского общества. Кто что знает про Грибоедова, товарищи? Никто ничего не знает. Никто не знает ни одного его романа, хотя он сам говорил, что его несчастная любовь сердце его превратила в уголь. Никаких следов. Никаких близких, доверительных друзей. Еще одно: я совершенно не могу себе представить, чтобы Александр Пушкин, очень возвышенно относившийся к Жуковскому, к Карамзину, нежно любивший Дельвига, вдруг изменил к нему отношение настолько… Это невозможно! Ибо это был бы не Пушкин. Но это совершенно возможно для Грибоедова. Когда он служил на Кавказе, у него была дружба, близкие служебные отношения с Алексеем Петровичем Ермоловым, с блистательным человеком, что касается в плане спиритическом – абсолютное совершенство! Фигура настолько мощная и настолько самостоятельная!..

Ю. К.: Кавказ, покорись!

М. Н.: «Смирись, Кавказ, идет Ермолов!» Фигура абсолютно потрясающая, причем личное обаяние совершенно сокрушительное. Пушкин просто был абсолютно очарован, и очарован был Грибоедов. Но потом меняется его карьера, передвижения по службе, меняют Ермолова на Паскевича. И вот его переориентация на Паскевича. И ведь известно, что отношение Грибоедова к Ермолову изменилось настолько, что Алексей Петрович – человек умный и очень мощный – никогда это до конца не простил, обида в нем осталась. Вот Пушкин пишет о Ермолове: он потрясен, он очарован, он видит перед собой титана. Даже трудно это себе представить, поднять душу на это. Грибоедов смог. То есть он – человек совершенно ни на кого не похожий. Больше того, в плане этическом и эстетическом он выламывался из ряда того, что было принято.

Ю. К.: Он был расчетлив и холоден?

М. Н.: Нет, он был страстен.

Ю. К.: Он был страстен, но расчетлив. Человек «малотравматичный».

М. Н.: Да, но он был человек не просто деловой, ибо его планы экономического преобразования Грузии – это мощное капиталовложение, это современный экономический процесс. Это был план превращения аб-

солютно отсталого феодального государства (а она была такой в то время, это есть и в записках Ермолова) в современную страну. Я не знаю ни одного такого проекта. Более того, он ему очень нравился, он собирался принять самое активное участие в его воплощении. Совершенно поразительно! Притом это говорит не только о его разносторонности: он и дипломат, и экономист, и совершенно гениальный поэт. Он вообще человек любого калибра.

Что еще тут надо вспомнить. Поглядите на «Горе от ума». У нас две Москвы: когда мы говорим пушкинская Москва, мы имеем в виду те места, где был Пушкин, в которых он жил, которые он любил. Но грибоедовская Москва – это им описанная Москва, это то, чем они жили, о чем они говорили. Существует еще на разных уровнях Москва замоскворецкая – купеческая Москва драматурга Островского. А все остальное – это Петербург, где он жил в своих квартирах. Но грибоедовская Москва не с ним связана, она связана с тем, что написано в «Горе от ума».

Я много раз читала «Горе от ума», на мой ум, оно так и осталось загадочным произведением, поскольку обратите внимание, что происходит. Когда нас в школе учили, то нам говорили, что Чацкий высказывал идеи декабристов. Товарищи, какие идеи декабристов? Обратите внимание, что делается с Чацким в «Горе от ума»: он с утра с парадного входа вбегает в дом, где он вырос, можно сказать, в почти родной, и ночью оттуда через черный ход со словами: «Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок!» Он туда больше не приедет. Отношение Грибоедова к декабристам известно: он относился к этому отрицательно. Он понимал, что дело бросовое, что ничего не получится – рано, что все это делается не так. Поэтому, если допустить то, о чем нам говорили в школьных учебниках, что Чацкий выражает мысли декабристов, то ужасно интересная получается картина: как относился тогда Грибоедов к тому, что говорили декабристы. Во-первых, произноситель Чацкий только произноситель слов, он только говорит. Второе: его никто ни разу не услышал. Даже на балу никто не оборачивается. Он говорит так, сотрясая воздух. То есть ожидать, что эти слова будут услышаны, что это зерно прорастет, совершенно невозможно, если посмотреть, в какие условия его ставит Грибоедов. Сколько я ни читала «Горе от ума» – Чацкому сострадать, сочувствовать и любить, как мы приучены любить, невозможно. Ибо, товарищи, не за что. Им только дорожить.

Ю. К.: То есть он сочувствия не вызывает?

М. Н.: Не вызывает. Более того, он не вызывает и понимание. Причем понимаешь, сколько бы мне ни говорили, что Печорин эгоист и так далее, я любила его и буду любить по одной простой причине: когда Лер-

монтов писал его, он его любил. Но здесь просто невозможно. Обратите внимание, я видела много «Горев от ума» – играл его Царев, играл его Юрский, играл его Меньшиков – никого любить невозможно. Царев, потому что он просто резонер, он даже стоит и говорит один, он говорит, как декламатор. Юрский из него сделал вообще придурка. Он, видимо, желая его оживить, сделал это так, что в очень многих случаях получалось смешно – карикатура. Когда сцена крутится, и он, спотыкаясь, переходит из комнаты в комнату, падает и говорит: «А вы уж на ногах, и я у ваших ног». Получилась карикатура. И еще, я уже много раз говорила: его играл Юрский, а Молчалина – молодой, очаровательный Лавров в жемчужно-серых тонах, Молчалин вызывал интерес.

Так вот, что касается безбашенности Чацкого – это совершенно не то, что нравится нам. Он – резонер, он поучает, а это то, чего русские читатели не выносят.

Вспомните, «тайные» планы декабристов практически знали все. Ну, вся Россия про это знала – во всех гостиных это обсуждалось. Если Россия относилась к этому так, как это нам показано в «Горе от ума», то совершенно понятно, что ничего не получилось, ничего и не могло получиться. И Грибоедов был совершенно прав. Вот так вот. И о чем конкретно написано это, я не знаю. Я много раз читала и видела, – я не знаю. То, что это не связано с декабристами, это совершенно точно. Но понятно, что в плане уважения, достоинства, чувства долга, ревностного отношения к России. Да, я б еще посочувствовала, но умственно, но не более того.

Ю. К.: Но Александр Сергеевич Пушкин тоже декабристам не шибко верил.

М. Н.: Вне всякого сомнения. Мы уже об этом говорили: они не были особо близкими друзьями. Александр Сергеевич Грибоедов всегда чувствовал себя неловко в присутствии Александра Сергеевича Пушкина. Александр Сергеевич Пушкин был ближе, нежнее, открытее, чем тот. Я даже готова понять, почему в друзьях у него был Булгарин, хотя уже который век удивляются, почему. Ну, во-первых, сила силе не нужна. А потом человеку столь жесткому, столь живущему сам по себе, я не знаю, в какой мере ему нужен был друг, для каких признаний и откровений. Он на это был не способен, если о нем до сих пор никто ничего не знает.

Ю. К.: А Кельт же похож на Грибоедова?

М. Н.: Я знаю Кельта лучше, чем ты. Кельт человек не столь закрытый, просто он, как все умные, не будет разоблачаться перед каждым. Что касается его монологов – это абсолютная классика художественного творчества. Эти два его прекрасных монолога, свидетелем я которых была, о российском холопстве и о финском лесосплаве. Я вам так скажу: так

владеть языком – это Бродский плачет. И это в пьянке, когда он опоздал на серовский поезд и ехал с вокзала до меня, я уж не знаю, что ему сказала кондуктор в троллейбусе, но речь о российском холопстве началась именно с этого. То есть он оказался в квартире уже с пеной на губах, а дальше пошло, что это не только наше явление, и кругом холопство, и всех туда вписал. Притом это было 40 минут, немыслимо гениальная речь без единого передоха. Вот как открыл рот, так и до конца. И что все они холопы, кончая Фолкнером.

Ю. К.: Ну, как Чацкий.

М. Н.: Не-не-не. Чацкий никого не обличал. Это была абсолютная импровизация, абсолютное художественное творчество.

А финский лесосплав! То есть это абсолютная импровизация, абсолютное художественное творчество блистательного уровня. Но оно должно было звучать именно в устном исполнении, потому что прочесть это было невозможно.

И если говорить о нашей литературе без Грибоедова, скажу: с одной стороны, это фигура, имеющая отношение ко всем этим магистральным страданиям и пыланиям русской литературы, а с другой стороны, он занимает особое место, которое больше никогда не занимал никто, и даже никто не приблизился. Что касается художественных особенностей «Горя от ума» – это абсолютно гениально, совершенно потрясающе.

Ю. К.: Я считал: около сотни фразеологизмов вышли из «Горя от ума».

М. Н.: Это невероятно. Там полно всего. Но я не вижу вот ту позицию, которую ему приписывают. Самое ближайшее, до чего я догадалась, что если смотреть на все эти движения: на всех репетиловых, молчалиных и так далее глазами москвича, то это выглядело как еще одно говорение. Больше того, может быть, со стороны это казалось не менее смешным. Там же было у декабристов и романтизм, и восклицания: «Как славно мы умрем!» Это было как детский крик на лужайке. Дело в том, что всякая революция – это ужас. Что английская, что французская – все ужасны. Что касается нашей, вот эта наша готовность вешаться через край, вот эта наша готовность заглядывать в какие-то мистические бездны: «Царствие Мое не от мира сего»… Между прочим, наша революция была совершенно не случайной. Наша готовность верить в безумные сверхидеи была у нас всегда вместе с нашей безбашенностью.

Ю. К.: Знаешь, что хочу спросить. А вот этот наш первый самиздат, это ведь «Горе от ума», он же в списках был.

М. Н.: Да, совершенно верно. И мгновенно расходился. Что еще надо отметить, все эти наши пылания, все эти наши поиски напоминали

Грибоедова и Пушкина, столкновения славянофилов и западников – все это были исключительно столичные игры, но, может быть, в какой-то мере и Киев, не знаю. Ведь тогда других центров и не существовало, это потом появились промышленные – Екатеринбург, университетские города и так далее. А тогда были исключительно столичные игры и больше никакие, поэтому, что касается читателя, никакого массового читателя и не было. Гимназии не было даже в Екатеринбурге. Если на то пошло, во времена Пушкина 1831–1834-е годы появился первый горный журнал. Это было исключительно техническое, промышленное, заводское издание. Промышленность у нас была умна, но их не интересовало…

Ю. К.: Но это связано с местом.

М. Н.: Да. Конечно! И когда Чаадаев в «Апологии сумасшедшего» пишет о географических особенностях, он имеет в виду именно это. Это народ в стадии его формирования и оформления, наделенный всякой доблестью, смелостью, терпением – всякими жутко мощными достоинствами (про недостатки я пока не говорю) устремляется куда? На северо-восток, в эти дебри, снег, полярную ночь. Ну, кто еще когда это делал? Поэтому всего, что называется нашим терпением и даже холопством и рабством, что угодно со мной делайте, я никогда этого не видела.

Ю. К.: Вот Европа считается центром государственности, центром культуры – чего угодно. А кто сказал, что центр именно там? Мы были более дикими, более безбашенными, более порочные, с точки зрения Европы, грязные, холопы и рабы и так далее. Но мы были ближе к природе, мы были ближе к нравственности, в нас была естественная, натуральная, природная нравственность. Если это так, то, в принципе, здесь центр тоже какой-то был.

М. Н.: Идея и религия наши пришли с Византии.

Ю. К.: Я не об этом говорю. Какая разница, вот я, например, к религии отношусь никак. Вот она поменяется, и ничего не изменится, потому что я как верил или не верю, так и буду верить или не верить. Я не об этом говорю, а я говорю о том, что есть народы с достатком. Некие швейцарцы, например. Но я смотреть на них не могу. Что они умеют делать, кроме часов? Да ничего они не умеют делать!

М. Н.: Нет ничего скучнее Швейцарии. Моя дочь там была, она очень любит всякие цивилизации, Европу, так она говорит: «На второй день я уже хотела по шпалам идти отсюда. Только отсюда». Ибо живут они так: все, действительно, чисто, культурно. Под каждым домом бомбоубежище – все безумно дрожат за свою жизнь. У них там в 9 часов завтрак – едят одно и то же. В общем, уверяю вас, товарищи, что кормят лучше всего, конечно, у нас. Это наша система: что в печи, все на

стол мечи. А у них там плавленый сыр (как в фондю, в сыроварке варят) и какой-то кофе. Маша говорит: «Я три года не могла смотреть на сыр». Это каждый день. Почему? Потому что это легко переваривается, легко усваивается. Когда мне объяснили во Франции, почему все ужинают, завтракают в кафе, потому что на электропечи тратится денег гораздо больше. Вот почему! Так вот в Швейцарии их хозяин по вечерам ходил в кафе и сидел там час-полтора пил кофе и читал газету. Маша говорит, так зачем вы ходите туда читать газету – выпишите ее себе на дом. Он ответил: «Мария, это действительно было бы выгоднее, если бы я читал всю газету, а так как я читаю всего два столбца – спортивные новости, то мне на столько-то выгоднее ходить читать в кафе». Я не представляю нашего самого скупого, который догадался бы это сделать.

Ю. К.: Я дружил, общался с французами и шотландцами в Индии – это конец. А тебе Маша говорила же, что, если в 9 утра кто-то не выйдет…

М. Н.: То убирается твоя чашка.

Ю. К.: Нет. Если не выходит никто из домика, то вызывают полицию, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь, все ли нормально.

М. Н.: Это как раз очень хорошо.

Ю. К.: Это очень плохо. Поспать не дадут!

М. Н.: Мне еще нравится, они остановились в отеле в Альпах, где в 9 часов все отели закрывают изнутри. Они стучали-стучали, а им сказали: «А зачем гулять, уже темно – смотреть не на что». Ты можешь себе представить, да хоть где, хоть на Эльбрусе. Да твое какое дело, на что я иду смотреть. Но вот так.

(Чаепитие. Разговор о войнах.)

Ю. К.: Фашисты зашли *на* или *в* Украину и стали расстреливать всех. Точно так же мы вошли в Афганистан и стали всех расстреливать. Вот и все. Никакой разницы нет.

М. Н.: Разница там есть. Вот мне до сих пор не объяснили, почему это было сделано.

Ю. К.: А Чечня!

М. Н.: Что касается Чечни, люди, которые там жили с самого начала, у них присваивающий тип хозяйства – они больше ничем жить никогда не могут. Отбивать они могут только у нас, как и отбивали у нас. Что делать с таким соседом? И Грибоедов исходил из того, что благо, которое привнесет его экономический план, будет благом для Кавказа и для России. Он, кстати, во многом был прав. Они сами себя не прокормят, они могут жить только так. Дальше, они все вооружены. Когда чеченцев выводили с гор, они были все вооружены до зубов. Но скажите мне, как после того,

как прошли такие страшные войны, они не будут держать у себя оружие, и притом они воины? Были вооружены все татары, были вооружены все горцы. Почему? Вот и напишите мне все, как было.

Ю. К.: Американцы, когда затеяли войну во Вьетнаме, собрались перед Белым домом и навалили там, набросали кучи, высотой 10 метров, военных медалей и орденов.

М. Н.: А ты не слышал, как они рассказывали: мол, мы пошли туда с радостью, мы были готовы убивать коммунистов, мы, наконец, поняли: мы убиваем их меньше, чем надо. Вот ужас, еще пострашнее фашистов. Это потом они кучи медалей навалили, когда им, наверное, мало заплатили за их увечья и заслуги.

Ю. К.: Я думаю, они стали людьми.

М. Н.: А я думаю, что не стали.

Ю. К.: Пока не убьешь, не поймешь, что…

М. Н.: Не знаю. Человек, который жег бегущих детей и джунгли, и горы, и поля… Да, что ты из них людей-то делаешь?

Ю. К.: Советские войска в Афганистане то же самое делали.

М. Н.: Вот я хочу знать, почему это произошло. У нас всегда были с Афганистаном очень хорошие отношения.

Ю. К.: Политика.

М. Н.: Вот я хотела бы знать, не то, что я кинусь защищать, но хотела бы узнать. Потому что говорят: вот выселили татар, скажите, почему. И сейчас знаю, почему, и я готова сейчас защищать Грузию и татар. Я знаю многие семьи, которые татарам помогали: бросали через забор ночью муку.

Ю. К.: У нас в Шабрах были несколько семей и тут живут.

М. Н.: Много разведчиков было, партизан – татар.

Ю. К.: Их селили здесь.

М. Н.: Красивые, кстати.

Ю. К.: Да-да. У нас жило семей, наверное, десять – поляки, украинцы, татары. Они все были абсолютно классные агрономы, инженеры, техники, охранники.

М. Н.: Потому что они относятся добросовестнее к делу, чем мы. У них покупка диплома, как говорится, пустая трата денег. Они не будут тратить деньги на такое дерьмо.

Ю. К.: Басаев?

М. Н.: Но он у них национальный герой. И Чингисхан сейчас национальный герой – кругом ему памятники стоят.

Ю. К.: Упырь.

М. Н.: Но посмотри, как только человек придумал надежное оружие из бронзы, войны не кончаются. Нет предела, не кончаются и не кончатся никогда. Но самое потрясающее вот что: вот сейчас накроет нас, как накрыло, например, шумеров. Через несколько тысяч лет от нас не останется ничего. Все пластики, все металлы, все сверхпрочные материалы – все абсолютно природа переработает. А от цивилизации остается то, что природа не может отработать. Это каменный топор и каменный нож. От нас ничего не останется, ничего. Самый надежный материал оказался – глиняная табличка.

Ю. К.: Это как делал Миша. У меня дома есть табличка с моим портретом…

М. Н.: Я тебе же рассказывала, у меня есть один мальчик, он исписал иероглифами всю тетрадь…

Ю. К.: Сошел с ума и пошел по дорогам…

М. Н.: Нет-нет. И иероглифы египетские очень красивые.

Ю. К.: Особенности русского народа.

М. Н.: А что русского народа? Яростный народ, я всегда говорила, что яростный.

Ю. К.: Ну, безбашенность, ты говорила.

М. Н.: Нет-нет-нет. Как тебе сказать, это не про русский народ. Сейчас я вам расскажу про русский народ.

Ю. К.: А Грибоедова убили нерусские.

М. Н.: Что касается смерти, то смерть у него была такая доблестная, мужская. В бою.

Ю. К.: А может, эпиграф для книги такой взять: Пушкин: «Кого везете? – Они *(с акцентом)*: «Грибоедова везем»?

М. Н.: Так ведь он [Пушкин], без сомнения, видел.

Ю. К.: Если это зафиксировано в его путешествиях, почему и нет.

М. Н.: Найти его тело, судя по документам, было практически невозможно. Все были изрублены в фарш.

Ю. К.: Вот были люди природными дикарями, к ним приехали из Европы пресловутой и что-то захотели поменять. А мы вновь пытаемся войти в эту воду, а зачем.

М. Н.: Не знаю.

Ю. К.: Я вот что хотел сказать. Вот в Европе – государственность и так далее, но когда была Вторая мировая – Великая Отечественная, весь центр сюда перенесся, духовный, физический. Сюда везли англичане танки, самолеты, металл – сюда. Мы – центр. Мы уничтожили Германию. Центр цивилизации здесь был. Спасение цивилизации было здесь. На Урале и в Сибири.

М. Н.: Что касается Урала и Сибири, то, может быть. Потому что, если почитать мемуары немецких военачальников, то там написано: «Бессчетные орды с Урала и Сибири». Они слышали что-то отсюда. Это – правда, за этим есть правда.

Про русского человека говорить трудно. Что касается воспетого рабства и холопства, я этого не вижу и не видела. Не могу согласиться. То, что они называют этим словом, назовите иначе: это что-то другое. Точно так же, что касается нашего долготерпения – это не терпение, это что-то абсолютно другое. Потому что нашему долготерпению предела нет. Это я видела в войну и поняла умом и душой, и глазами и так далее. Мы не носимся каждый со своей личностью, что, в конце концов, их и погубит. Поэтому, если уже есть угроза идеи индивидуализма, то нет самого этого индивидуализма. Здесь никто не носился со своей личностью, все превратились в одно несокрушимое нечто. Вот это – правда. Вот это наш народ может.

Ю. К.: Но это рабство. Рабство, холопство, долготерпение. Я тоже это понял, я тоже был холопом, рабом, наверное. Но, мне кажется, что это совсем другое.

М. Н.: И мне кажется.

Ю. К.: Каждый сотрудничал с властью. Да, я входил в какие-то партийные организации. С другой стороны, я прекрасно знал, что я свободен с точки зрения публикования. Какое-то время очень хотелось публиковаться, страшно хотел публиковаться, страшно хотел книгу. Потом это все закончилось. Все.

М. Н.: Поумнел.

Ю. К.: Наше внешнее, что кажется рабством и холопством, – это не рабство и не холопство. Это наша абсолютно никем не инкриминируемая, никем не объясненная внутренняя свобода. Русский человек имеет абсолютную внутреннюю свободу. На внешнюю свободу ему наплевать: он может в цепях быть, но он внутренне абсолютно свободен. Я могу читать какую-то ерунду там 25 лет и в это время сочинять «Горе от ума», в это время писать стихи, в это время думать стихи о прекрасной незнакомке. Вот эта внутренняя русская абсолютная свобода – она есть. И ни в ком больше ее нет. Нас мало – пространства огромные. В Исландии тоже их мало – пространства огромные. Населения всего 40 тысяч, и огромный остров.

Канада, Америка, Китай – это давно и плотно заселенные страны. У меня у друга сын учится в Канаде, он говорит, что там есть класс, где учится только 2 не китайца, в классе 32 человека.

М. Н.: Во Франции тоже интересно: если населенный пункт 1,5–2 тысячи, там нет арабов и негров… Чуть больше – все, они есть. Про Париж я уже не говорю.

Ю. К.: Вот сейчас везде говорят, что демографическая проблема самая важная на земном шаре. Перенаселенность. Это перенаселенность Европы, скорее всего.

М. Н.: Что касается перенаселенности, то у меня был первый вопрос: «Как вы тут живете?» Ощущение совершенно игрушечного, крошечного пространства, где совершенно не понятно, что делают там люди.

Ю. К.: У нас тундра не заселена вообще. О каком перенаселении идет речь? Мы сейчас о лучше о Высоцком будем говорить.

М. Н.: Ну, что касается Высоцкого, он, скорее всего, действительно гениальный человек. Действительно гений, которого мы все видели и слышали и с которым рядом жили, потому что жизнь у него была абсолютно яркой.

Ю. К.: И ходили на его спектакли.

М. Н.: Жизнь у него была абсолютно яркой, и она была всем нам предложена. Притом, заметьте, во всех видах – в виде высоких воспоминаний, в виде самых желтых сплетен. Нигде и никогда ни в чем он не терял лица и нашей любви нигде не потерял.

Что касается русского человека, то Высоцкий был русским человеком, который нам нравится, в котором было то русское, которое мы готовы любить. Эта полная безбашенность, полная неоглядность, полная страстность, эта абсолютная ориентация на смерть. Но, кроме того, он был человек очень талантливый – за это его все так безумно любили. Это было время, когда считалось доблестью отбыть куда-нибудь в Мюнхен, поучать нас, как мы тут должны жить, какие мы грязные и немытые рабы. И были все эти грязные журналы, которые невозможно было читать. Ответ его всегда был: «Не дождетесь!» Это не то, что вменяли ему в заслугу, но все где-то в глубине души полагали, что только так и можно. Нужно не как Максимов, и не как Аксёнов, и не как Войнович, а нужно так, как Блок, Ахматова, которые сформулировали черным по белому: уезжать из России нельзя, так как это значит обеднять, умалять и разрушать ее культуру. Те люди, которые уезжали сами (я не говорю про Солженицына и так далее), никто из них не находился в безвыходном положении. Никто из них не написал там что-то такое, ради чего стоило уезжать. Вообще, никто и ничего особо хорошего там и не написал. Все это, как сказал Блок, предательство, это измена России; как сказала Ахматова: «равнодушно и спокойно замкнула слух»; и, как считал Лозинский: «уезжать из России – обеднять, умалять и разрушать ее культуру». Лозинский,

во-первых, был героем, совершенно героического темперамента в плане отношения к жизни, труду. Если хотите, чтобы здесь было хорошо, поступайте как Лозинский, а не как Аксёнов. И вот они что-то рассказывают, я думаю, человек обрел свободу, вот он по утрам бегает, кофе пьет в парижском кафе – да это просто ужас! Когда я все это увидела, я подумала: «Господи, неужели человеку так мало надо?!»

Так вот на все такие поползновения Владимир Семенович говорил: «Не дождетесь!»

Ю. К.: Его все звали Володя.

М. Н.: И еще одно: как-то так получилось, что это наше национальное достояние. Это наше, и это мы не сдадим! Вот это я считаю чрезвычайно важным. Кроме того, он понимал свое невероятное место абсолютной всеобщей любви и признания, то есть человек себя ощущал прямо как на посту – уйти отсюда нельзя. Если ты понимаешь, что можно, я уж не говорю: пойди и застрелись, пойди и подумай. И еще одно: это было сказано вслух, просто отработано, это был классный пример, что поступать надо вот так.

Что касается того, что он делал. Я не считаю, что это литература, книжная поэзия. Это уникальное явление, которое существовало – и было превосходным и сногсшибательным – только в его личном исполнении, при его личном присутствии, при его личном голосе. Он был, вне всякого сомнения, мужчина. Он был, вне всякого сомнения, воин. И при этом человек не с этим болезненным чувством собственного достоинства, которое нужно постоянно защищать. Я всегда думаю: да, что это такое за чувство достоинства, если за него всегда надо бороться и защищать, соревноваться? Вот оно у него было и все.

Все было превосходно и прекрасно только в его исполнении, поэтому всегда получалось все, что он делал. Все это разошлось мгновенно по стране, он выступал, где мог и где не мог.

Ю. К.: Он хотел опубликоваться – это точно.

М. Н.: Опубликоваться – это одно, но когда начинают говорить: он поэт – да зачем ему такая защита? То, что он писал, должно звучать в таком живом воплощении, как он и делал. Вы посмотрите на его стихи – это монолог, это диалог. Это должно действительно в живом виде существовать.

Что касается его живой речи – это превосходно. Что касается его языка, то он замечателен тем, что он одинаково понятен и одинаково приятен всем – и работнику, и тем, кто в академических кабинетах сидит. Хотя он вышел на самые болевые и проблемные, мучительные мысли, которые тогда занимали всех, он нигде лица не потерял, нигде качества

не уронил. Все что он делал, было для того, чтобы избежать прямого назидания, прямого поучения, покачиваний кулаком под носом. Он вводил меня, как говорится, в пространство обустроенное, где мне переживать, смеяться, плакать или рыдать было наиболее сподручно и удобно. Это жутко трудно сделать.

Я готова на этом единственном примере согласиться с тем, что это был человек, который не попадает в те представления, которые я считаю для себя окончательными. Этот человек, который писал не только для себя. Он, видимо, свою гражданскую, свою мужскую и так далее функцию понимал так и осуществлял так. Это говорит только о том, что это были не в полной мере стихи, как например, поэзия, которая есть у Рильке. Это было нечто совершенно иное.

Но, с другой стороны, обратите внимание, как бы ни был прекрасен Рильке, это поэт для узкого круга. И это замечательно. То, что Владимир Семенович был для всех, вот это невероятно.

Тут еще вот о чем нужно подумать, что такое песня. Ни один вид химии, ни один вид искусства – ничего так не берет в плен человека так молниеносно и так чудовищно страстно не ведет за собой, как песня.

Ю. К.: Это русское явление?

М. Н.: Мне кажется, что да. Мне трудно, конечно, говорить, ибо я не знаю народных песен немецких, французских и так далее. Русская народная песня просто душу выматывает. Причем, если ты русский человек, она тебя доймет. Если это ярость, то на смерть, если это тоска, то до смерти. Жуть! Песня это очень умеет, тем более есть такие русские песни, что можно сойти с ума.

Он открывает рот, и на второй строчке я твоя. Есть это яростное речевое обращение, которое приписывалось лейтенанту Шмидту, даже если ты с ним будешь не согласен, то встал бы и пошел за ним. Например, я смотрю на Жириновского, он не артист, я вижу, что это его душевное состояние в чистом виде. Я скажу, что это – истерический темперамент. Истерический темперамент – это тот темперамент, который собой не владеет.

И поэтому то, что это произошло, что это проняло всех, и это любили все и то, что это имеет связь с песней – все это не случайность. У нас с песней всегда особые отношения. Я не имею в виду эстраду – это все несерьезно. Я, напротив, когда слышу: «*Ты такой холодный, как айсберг в океане…*», мне жутко стыдно. Мне стыдно! И когда его называют великим поэтом – это просто срам. Но когда: «*Как пал, как пал туман на поле чистое…*» – это все.

Ю. К.: Есть и авторские такие песни.

М. Н.: Ты что! Все уже забыли. *(Поет.) Ой, поле, поле, поле. / Ой, поле, поле, поле – / А что растет на поле? – / Одна трава, не боле…* Вот так. А потом: *Летят над полем тучи – / Небесные громады. / Идут по полю люди – / Военные отряды*. А «Дороги» – за что я люблю автора, хотя он был плохой поэт.

Более того, вспомним песни Великой Отечественной войны, которые помним до сих пор, лучше которых нет. А все потому, что в войну случилось то, что судьба Отечества стала судьбой народной. Попадание абсолютно полное.

Я понимаю, что Высоцкий – гений, видимо, повезло в жизни. Но, когда это читаешь в книжке, – это не то, самое потрясающее – это когда поет он.

Ю. К.: И ведь часто так: слушать писателя намного интереснее, чем читать писателя. Я вчера с удовольствием слушал Евтушенко (которого не люблю).

М. Н.: Писателя надо слышать, притом живого.

Ю. К.: Я заразился, стал его слушать. А читать как-то…

М. Н.: Евтушенко, я уже говорила, что я его защищаю и так далее, поскольку Евтушенко относится к числу поэтов и людей, которые живут на уровне первого ощущения по праву. Допустим, если мне прищемили дверью палец, я ору, и у меня чистый голос, он ничем не спровоцирован, не поправлен, не введен в берега. И поэтому на уровне первоначального ощущения Евтушенко всегда прав. И еще одно достоинство: он может делать стихотворение вот такой длины, вот такой ширины, но он всегда его доведет до такого уровня тепла, что будет по-человечески приятно и приемлемо. Это, между прочим, жутко важно. В русской, вообще, культурной традиции. Ибо этот уровень тепла мы унаследовали от греков. Мы читаем греческую литературу личного пристрастия и тепла. И этот градус перешел не *туда*, а *сюда*. Мандельштам об этом прекрасно говорил, поэтому для нас это чудовищно важно, поэтому для нас очень умный и говорящий совершенно серьезно Максимилиан Волошин, кажется холодноват. Потому что он не делает это тепло.

Ю. К.: Вот он [Евтушенко] вчера читал стишок. Начал вяло, а потом все перешло в его искреннее, подлинное состояние. Это было потрясающе. То есть он, конечно, актер.

М. Н.: Вот я знаю таких людей, которые говорят: «Все, умру!» И он, конечно, не умрет, но на тот момент это – чистая правда. Это не есть плохо. Если на то пошло, в этом есть прорва обаяния. И вот на этой «короткой» правде прекрасно держалась авторская песня. Вот это и есть модель, как у меня сказано, великого пути и страшного конца. То есть, работает та

же модель, но тут она работает в каком-то ином пространстве. Но, между прочим, она требует такой же душевной отдачи. И правильно в свое время сказал Нагибин, когда нас пытались много раз поссорить и так далее, что его надо просто любить. Между прочим, точно так же надо относиться к Блоку. Допустим, я не могу сказать, что я пылко и страстно люблю Грибоедова, но могущество этой персоны и его произведения не требуют его любить, больше того, он в этом не нуждается. А вот Евтушенко нуждается, значит, надо его любить, никуда не денешься.

Это же касается авторской песни, это очень интересное явление, оно совпало со временем, оно появилось тогда, когда в нем была потребность.

Ю. К.: Отжило печатное слово.

М. Н.: Да. И больше того, вот это человеческое тепло, человеческий контакт короткий без потерь. Если я возьму эту штучку: «*Ты у меня одна, / Словно в ночи луна, / Словно в степи сосна, / Словно в году весна*». Не ах, какие стихи.

Ю. К.: Стихи очень слабые.

М. Н.: Да. Надо сказать, что все это достаточно приблизительно. Но уверяю вас, это сработает у любого костра, на любом привале, в любом общем вагоне – где угодно. Более того, каждый человек, которому эта песня поется, прекрасно знает, что я у тебя не одна. Но все срабатывает.

Ю. К.: Но вот Визбор и Высоцкий. Почему у Высоцкого всенародная любовь?

М. Н.: Нет, это очень мило. Визбор – это человек, которого нужно ценить, уважать, потому что ему в жизни жутко теплоты не хватает, ему нужно это тепло.

Ю. К.: Ну а Володе?

М. Н.: А у него мощность страшная! У Визбора никогда не было такой мощности. Высоцкий – чрезвычайной мощности явление, что и говорить! Более того, его уровень включенности в то, что он пел – это просто невероятно.

Ю. К.: Без Высоцкого не обходилось ни одного дня.

М. Н.: Я не могу сказать, что Высоцкий обличал.

Ю. К.: Нет!

М. Н.: Нет! Я, например, никогда не любила Галича. Я понимаю, что это очень остроумно. Я вообще не люблю людей, которые начинают ковыряться в наших коробках, обличать, понимаешь ли.

Ю. К.: У него мещанская ирония, понимаешь.

М. Н.: Ну не знаю.

Ю. К.: У него и материал другой был. Не общероссийский.

М. Н.: Но никто из них никогда не достигал таких мощностей, как Высоцкий.

Ю. К.: У Высоцкого такая разная любовь была, яростная любовь была. У него же разные любови были: «*Я поля влюбленным постелю…*»

М. Н.: Но, если уж на то пошло, его безумная ярость, надрыв – это же просто как народная песня! Все эти кони.

Ю. К.: И у Есенина был надрыв.

М. Н.: Да. А Есенина мы тоже любили, потому что он был русский человек – никуда не денешься.

Ю. К.: Очень хорошо Гандлевский написал о Есенине статью.

М. Н.: У него, кстати, лицо прелестное.

Ю. К.: У Есенина?

М. Н.: Да.

Ю. К.: Ангел!

М. Н.: Такое русское.

Ю. К.: У Высоцкого очень красивые линии лица. И даже, когда он умирал, есть такая запись на телевидении (он пришел, видимо, у него «отходняк» был, ему какие-то уколы поставили). И он спел песню – очень тяжело спел, – а потом стал петь, то ли «Кони», то ли еще что-то, и он стал забывать слова. И у него слезы на глазах. И в этот момент он был настоящий поэт. Именно тогда, когда не смог спеть песню до конца.

М. Н.: Тут еще то, что было понятно, что он ненадолго. Эта всегда очень заметно.

Ю. К.: Ему сорок было?

М. Н.: Так ему сорок и было. То, что ненадолго, это всегда люди видят.

Ю. К.: Майя, расскажи о себе. То есть родилась там-то, прожила там-то… Чтобы потом тебя не мучить по телефону, не дергать.

М. Н.: Божьим промыслом, кстати, было сказано у Чаадаева в «Апологии сумасшедшего»: «Все было так, как было по Божьему промыслу». Так что это очень существенно. Поскольку ты рассуждал о замысле и промысле, это очень существенно.

Так вот по этому самому промыслу так получилось, что у меня две родины, которые я, Слава тебе, Господи, с благодарностью восторженно принимаю, и не от одной не откажусь. Они обе мои, ибо мама моя оттуда – из Крыма, отец мой отсюда. Отец ничего другого не признавал. Сестра моя Ирина родилась еще там, в Севастополе.

Ю. К.: Она на сколько тебя старше?

М. Н.: На три года. А я привезена сюда за 3 месяца до родов. Записали, что я родом из Севастополя, но родилась я в городе Свердловске.

Ю. К.: А Боря помладше…

М. Н.: А Боря через год после меня родился. История абсолютно такая, как с моим отцом. Мама ходила ужасная, совершенно умирала, пропадала, а ей сказали, что ни на какого ребенка надеяться нельзя – ничего не будет. История совершенно повторилась.

И я как сразу родилась, так и бабушке моей на руки попала.

Ю. К.: А где вы жили?

М. Н.: Жили мы тогда на улице Розы Люксембург, 59. Я жила в самом красивом, фешенебельном, в самом жилом и теплом районе Екатеринбурга. Наша улица была самая красивая в городе. Рязановские особняки, дом Железнова, два особняка Панфилова, особняк Блохиных, старый пивоваренный завод, Царский мост. Притом это был кусок города совершенно потрясающий, ибо только там были целые мостовые и тротуары. Мостовые были из черной брусчатки, и поскольку по ним ездили, они выглядели, как лощеная кожа: отливали нефтяным блеском. А тротуары были, поскольку особняки богатые (в городе Екатеринбурге, чем богаче особняк, тем богаче тротуары), из громадных плит, да еще и с тумбами. И мы жили в таком каменном городе, а поскольку в городе было чрезвычайно мало машин, мы с этой белой мостовой перебегали как через реку по этой черной брусчатке и бежали к Железновскому совершенно роскошному парку. И все наши первые фотографии, там меня еще баба Саша на руках держит, – все в этом Железновском парке.

Поскольку машин было в городе чрезвычайно мало, улица не отделяла нас, мы вообще считали, что мы с одного двора. Был наш парк, наш дом – там все мы и жили. Самый красивый кусок города был именно этот. У города до недавних времен были возможности оставить роскошный музейный кусок города – с мостовыми, тумбами, с большими кусками камня – это было принято в городе. В нашем квартале от бани до Царского моста шесть гранитных валунов лежало. И пусть бы лежали. И когда отец из Петербурга приехал, он сказал: «Из красивого города – в красивый город». И поэтому, действительно, у меня никогда не было основания сомневаться в том, что я жила в очень красивом городе. Исеть была совершенно чистая, в Исети все купались, полоскали белье, поливали огороды. Наш дом был каменный, а тогда Свердловск был преимущественно деревянный. Просто частные домики, примерно на том уровне, где жил Павел Петрович Бажов – там уже не было никаких каменных больших домов, там начиналась частная деревянная застройка. И мы – этот кусок Чапаева, кусок Розы Люксембурга – стояли таким старым городом. Вот в этом старом городе я и жила.

Ю. К.: А школа номер какая была?

М. Н.: 13.

Ю. К.: А в каком году школу окончила?

М. Н.: В 54-м. И что касается войны, в войну же не было энергии и денег на разрушение старого. Я всю войну полностью в этих старых кварталах прожила, и поскольку самая главная наша задача была решение продовольственной программы, это ночные очереди за хлебом, посадка картошки и собирание травы. Крапиву, мокрицу, щавель – все тащили домой и запасали какую-то кормежку. Так вот при этих самых старых особняках всегда были свои парки, при Рязановском особняке был свой парк, дубовые аллеи – все было живо.

Надо сказать, что знаки старого Екатеринбурга существовали. Я их видела. В квартирах были все эти полочки туалетные золоченые. У меня до сих пор на стене висит портрет – один питерский художник делал какому-то здешнему человеку портрет его дочери, прелестная девочка. Называется «Машенька». Я помню прекрасно, как приехала сюда одна прекрасная дама, приблизительно моей комплекции, вся седая – Елизавета Африкановна. И вот тогда мое первое было столкновение с тем, что такое украшения из золота и драгоценных камней. У нее в ушах висели изумруды, жуткие, светящиеся.

Ю. К.: Наши, малышевские?

М. Н.: Не знаю. И они у нее до такой степени тяжелые, что порвали дырочку и держались на тоненькой-тоненькой, уже прозрачной полоске кожи. Точно знаю, это было в лето 47-го года. И я ей показываю и говорю: «Как бы не упали». И она совершенно спокойно: «До конца жизни мне их хватит». Так что знаки старого города бывали. Люди из старых семей, они и сейчас есть, но тогда они были более заметны.

Тут и была та самая квартира, где нас в войну жило 21 человек. А когда из Севастополя мы приехали, в нашей комнате в 20 метров проживало 10 человек.

Ю. К.: А когда переехали оттуда?

М. Н.: Где-то в 61-м году на Декабристов. Мы являли собой такой классический образец военного свердловского жития. Двое – из блокадных. Должна вам сказать, что весь тот ужас коммунальной квартиры – я его не знаю. Уверяю вас, что это зависит только от личности и душевных качеств человека. Мы были просто одна семья. И еще одно, что никто никого не знал, – это ложь. У нас за стенкой жила тетя Маруся, прелестная, деликатная, культурная, муж у нее в тюрьме. Рядом жила тетя Клава – крутая такая, бойкая, красивая, хорошая, муж ее тоже в тюрьме.

Ю. К.: Политические или уголовные?

М. Н.: Политические. Совершенно было понятно, кто сидит в тюрьме. Это было никакое не клеймо, ничего. Просто жизнь была устроена так. В этой жизни счастья, радости и всего прочего было не меньше. Просто люди были другие.

Что касается рабства и так далее. Вот, мол, сплошной лагерь. Жизнь была другая. Что касается человеческих отношений, то такого уровня человеческих отношений я не видела никогда. У нас были моя бабушка, моя мама, тетя Маруся, тетя Клава, севастопольская мама и ленинградская. Ни одна из них никогда не уносила свою кастрюлю из общей кухни к себе в комнату. Ни одна! Вот так жили все. Я никогда не видела, чтобы кто-то дрался или возникали какие-то склоки. В нашем доме этого не было. Надо сказать, что у меня очень большой опыт, ибо наш дом пятиэтажный – пять подъездов: много жило людей-то. И когда все набились: беженцы были из Белоруссии и даже из Прибалтики. Но все так и жили одним двором.

Ю. К.: Именно дворами жили.

М. Н.: Да. Между прочим, очень важно, что сейчас очень жалко, что это потеряно. Все жили двором.

Ю. К.: Из какого двора спрашивали.

М. Н.: Дворами играли, пилили дрова, сушили картошку, сушили белье – все это было во дворе. Все про всех знали все, но при всем при том я не помню каких-то злых женщин, этого просто не было.

Ю. К.: Дети все вместе играли в лапту.

М. Н.: Что касается лапты, играли классно.

Ю. К.: В чику играли.

М. Н.: Потом после войны родители заливали каток. Все катались на катке. И потом мы такими большими командами – голодные, плохо одетые… Все мы, кстати, очень хорошо катались на лыжах, просто классно. Мое одно катание закончилось одной из моих множественных черепно-мозговых травм. Мы катались на лыжах в парке культуры, одна у меня лыжа была беговая – тонкая, а другая широкая, детская. Это же верная гибель. А тут пришли парни. А я каталась очень хорошо, и была безбашенная девица, и очень долго ничего никогда не боялась. И я конечно на такой скорости кубарем. И мы вечно куда-то ходили, куда-то купаться, на какие-то озера ездили на электричке. Мы знали весь город, проходили под всеми мостами Исети.

А на эту квартиру мы переехали в 61-м году. В том дворе, конечно, никого нет из старых.

В 64-м году я поступила на геологический факультет университета. В университете тогда был геологический факультет, прекрасный совер-

шенно, вот такой, какой должен быть в Уральском университете. С мощными предметами – с палеоботаникой, с палеонтологией, с минерологией, с кристаллографией. Просто очень хороший факультет.

Ю. К.: А училась ты там сколько?

М. Н.: Я там проучилась, всего-навсего, один год. А так-то считается, два. Потом произошла эта самая история.

Ю. К.: И работала ты на Севере…

М. Н.: Не на Севере, а на севере Казахстана. Ну, тогда, в общем-то, было одно дисциплинарное воздействие: выгнать, сослать и так далее. Но вот жизнь была устроена так.

Ю. К.: Потом в 66-м ты возвращаешься, поступаешь на филфак.

М. Н.: Нет. Тогда были такие правила: 3 года нельзя было никуда поступать. И тут я иду по улице, и идет Давид Абрамович Биберган. Я ему говорю, вот, такое дело, теперь меня в университет не возьмут. А он мне говорит: «А я тебя возьму». А тогда было много людей, которые имели образования высшей партийной школы, не имели чисто профессионального образования. А Давид Абрамович был первый человек института подготовки профессиональных кадров – в общем, экономика. И он мне: «Приходи ко мне. Знания лишними не бывают».

Я у него 4 года изучала экономику, вполне пристойно училась на вечернем. Но смысл в этом обучении был только один: я поняла, что я лучше буду мыть в казармах туалеты, но никогда не буду экономистом. Ибо экономист – это характер, нужно уметь видеть в этом тайные движения – эта область знаний была абсолютно не для меня.

Ю. К.: Это институт какой-то был?

М. Н.: Институт подготовки профессиональных кадров. И только после этого я поступила на филфак. Это был 69 год, что-то в этом духе. А у нас же ведь особая страна – никто меня ни о чем не спросил, когда это было. Я поступила на дневное. Даже съездила в колхоз и тотчас ушла: мне очень не понравилось. Мне показалось, что все бездельники. Надо сказать, что я была во многом очень права, потому что моя позиция была такая: я читала роман за ночь. Вот я беру, и пока я его не прочитаю, я его не откладываю И еще: мне было 18–19 лет, когда отца разбил паралич. И с этого времени я как встала. И надо сказать, что моя вот эта санитарно-медицинская, не знаю как назвать, деятельность началась, когда я пришла к отцу (там несколько человек в палате), и я вижу, что он умирает. Мне стало тяжело и печально, и я поняла, что он один, и это не хорошо. И я к нему подошла, и по плечам глажу. А у меня на пальце колечко было, которое мне мама подарила. А он смотрит, что его гладят, и вот его вырвало прямо мне на руки, он откинулся и умер. Я это кольцо сняла и положила

в карман. Но я тогда не знала, что он не умер. Это я потом узнала. А потом вечером прихожу к нему, и кольца уже нет. И мне говорят: «Ну что, у нас сегодня на практике было 47 студентов, и каждый халат надевали по три раза». Но у меня, конечно, надежды никакой не было. Я запускаю руки в первый попавшийся халат, и обнаруживаю кольцо. И тогда я подумала, нет, мамины подарки – это не просто так.

И вот с этого самого времени я была занята так: отец после паралича, мама за 15 лет до смерти слепнуть начала. И я была единственно сиделкой, уборщицей, работником – всем.

Ю. К.: И ты, когда училась на заочном, ты же работала?

М. Н.: Конечно. Когда я училась на заочном, я сначала работала у мамы на комбинате «Свердлес», там было ЖКО, но мне все равно, где работать. Мне и сейчас все равно. Потом я работала в НИИ коммунального хозяйства: там у меня была очень интересная работа. Понимаешь, если к работе относится механически, то всякая работа будет дрянь. Но, если вспомнить, что эту работу мы и проделали по моей инициативе, мы нашли и исследовали все старые парки у нас в городе Екатеринбурге, когда они были посажены, а это совершенно уже другая ситуация.

У нас был руководитель сектора. Во-первых, он мужик был умный, а во-вторых, мало того, что он любил симпатичных девушек, он еще любил, чтобы они умные были. И поэтому мне была предоставлена полная свобода. Он говорил: «Мне все равно, Майя, где ты будешь там – в кино, в Ялте – мне без разницы. Главное, чтобы работа была сделана». Таким образом, когда я училась в университете, у меня был достаточно свободный порядок дня, так что мне было для дома и для всего очень выгодно и удобно. Я ему через месяц такой отчет принесла, что он мне сказал: «Ну, знаешь!» У меня две статьи есть в каких-то журналах о пересадке деревьев!

И я поехала в Туринск, в Ирбит – все эти старые посадки исследовала: очень интересная была работа. Но мне всегда платили очень мало. И библиотекарям, и музейщикам всегда платили мало. И тут из этого института я ушла потому, что уже Машенька была большая.

Ю. К.: А Маша когда родилась?

М. Н.: А Маша родилась в 63-м году.

Ю. К.: А окончила ты в 65-м?

М. Н.: Нет, я окончила в 67-м или 68-м. Я же еще помирала. И мне всегда все смертельно доставалось, Маша тоже так. Но надо сказать, что я никогда над этим не думала, больше того, я всегда говорю: моя Маша этого стоит. И я бы с ума сошла, если бы это было в другой стране, я бы хотела говорить только на этом языке, и слышать только этот язык, и

больше никакой! И, вообще, меня совершенно устраивают мои родители, меня устраивает Урал, я обожаю Крым, мне не надо другого ребенка! Все это как я говорю, какой разговор. Если бы можно было больше, заплатила бы больше.

Больше того, все, что я любила, я и сейчас люблю. Вот я Лермонтова полюбила в 5 лет, я его и до сих пор люблю. Это – большое счастье, это очень большое благо. И еще одно, я так полагаю, поскольку мне был предложен такой вариант жизни, – Бог не фраер, это точно. Я могла 3 дня не спать и этого просто не замечать. А личный мой рекорд – 7 дней, но это ужасно, это уже полное помутнение рассудка. А ночь – так это запросто. А поскольку я работала не на одной работе, а на трех-четырех. Бывало так, я приходила с работы, умывалась и уходила в библиотеку.

Ю. К.: А в библиотеке с какого года?

М. Н.: Когда этот институт коммунального хозяйства, где я работала, переехал, я тогда в библиотеке работала уже. Он переехал на Вторчермет, и это было слишком далеко от моего дома, где все уже лежали тяжело больные.

Ю. К.: И ты пошла в Областную детскую больницу.

М. Н.: Это, наверное, был уже год 70-й.

Ю. К.: Библиографом, да?

М. Н.: Да, и я там проработала лет 20.

Ю. К.: До 90-х.

М. Н.: Да. Там у всех были хорошие отношения. Но иной раз, придешь с работы, папа лежит, но вы можете себе представить, лежит человек и до него не доходит: головы-то у него нет. Он просто однажды как-то схватил табурет и на мать замахнулся, и голову ей разбил. Вот я прихожу домой, и мама моя, которая уже ничего не видит, держит Машу на ручках и рассказывает. Я поступала позже так: я все с себя снимала, потому что себя отмыть быстрее, чем все стирать. И с тряпками, с ведрами, потому что все было… Но у меня нет слов сказать. Это жуть: это сплошная мойка, стирка. А потом было, когда они уже не ходили.

Ю. К.: А отец родился в каком году?

М. Н.: Отец родился в году 92-м.

Ю. К.: А умер?

М. Н.: В 76-м.

Ю. К.: А бабушка?

М. Н.: А бабушка прожила 94 года, она на 13 лет отца старше. Так-то она моя тетя, но, вообще-то, она моя бабушка. За мной насыщенность биографическая совершенно немыслимая. Моя бабушка была очень умный человек, и дедушка был очень умный человек – совершенно потряса-

ющe образован. Это, когда я читаю, допустим, Грибоедова – английский, немецкий, французский, итальянский, арабский, – это не много. Немецкий, английский – это считалось нормально. Тогда было так принято, то есть никто даже не удивлялся. То есть люди, которые кончали, допустим, Петербургский университет, они были образованы так. Отцу моему это очень было надо, он сам всего этого очень хотел. Но в семье у него было так: все его братья предыдущие умерли, и его мать просто вымолила его у Бога. Баба Саша пошла, как это было принято, пешком на деньги, заработанные собственными руками, в Киево-Печерскую лавру. Их мать тогда обезножила. И она уходит с учебы, и Петеньку они выучили. Был у него брат двоюродный, кто-то сказал, что сиротой остался, что какие-то дяденьки, тетеньки его пристроили на маслобойку работать.

И вот тогда – бабку-то я свою совсем не видела: рано умерла. И вот она: «Посадите меня в кресло». Не приехала к тем выяснять отношения, она приехала на маслобойку и увезла его. Те еще устои были. Самое главное – ребенок, все остальное – ценности – не ценности. Такой северный эпос.

А у мамы все наоборот: такие безумные страсти. Но, с другой стороны, тоже немыслимая судьба. 29 октября 1924 года в 17 часов 25 минут – вот когда кончилась монархическая Россия. Это когда спустили флаг с Императорской Черноморской эскадры, потому что, пока эскадра стоит под флагом, значит, территории государств держали. И у меня часы такие были под старину, и я смотрю, и эти часы остановились на 17.25. После того, как здесь все кончилось, гражданская война, большевики победили и так далее, императорская эскадра еще стояла под государственным флагом, и стало быть, Россия еще держалась.

Ю. К.: В журнал «Урал» ты пришла в 89–90-м.

М. Н.: В журнал «Урал», нет – перед этим я еще работала в «Науке Урала», куда забрал меня Геннадий Андреевич Месяц – и, в общем-то, правильно сделал, из библиотеки меня как раз в это самое время, когда меня избили в собственном подъезде, и врачи-то Маше сказали так: «Надежды мало, но, может быть, и к лучшему, потому что, если она останется жива, то это будет полный паралич и полный идиотизм». И когда они за мной приехали в больницу, и говорят: «Ну что, умерла?» – «Почему это умерла? Вон она стоит». Но это вообще был ужас, потому что меня увозят в больницу, Маша остается с Гришей, а на Машу смерть напала, ужас! Гришу на руках категорически нельзя держать, потому что ей такую тяжесть держать нельзя. Маша просто погибает. И меня полумертвую увезли, и такие вещи ей сказали. Но Машин оптимизм победить невозможно, Маша моя просто кремень в этом отношении, а Гришин папа путешеству-

ет с «Наутилиусом Пампилиусом» по стране. И тут явился спасителем Леня Ваксман, который заселился и за Гришей стал смотреть, кормить, поить, мыть. Я всегда говорю: «Леня, все мое – твое». Григорий два раза жил у Саши в Калифорнии, я говорю: «Ну что, Гриша, и на следующий год в Калифорнию поедешь?» На что Гриша, совершенно серьезно отвечает: «Нет, Майя, жить можно только в России». Я говорю: «Вот видишь, как хорошо пожить в Америке, чтобы понять, что жить лучше в России».

Уровень европейских несвобод для меня непереносим. Я не могу понять, почему я должна есть в это время, а не в другое – вот уровень такой несвободы мне не понятен совершенно. Я в это время есть не хочу. Или так: в это время по улицам уже не гуляют. То есть как не гуляют?! Моему российскому сознанию это совершенно не понятно. Потому что по нашему российскому сознанию я гуляю, где хочу, сколько хочу, с кем хочу, потому что это мое личное дело. Там масса вещей совершенно для меня не понятных. Многие нравы европейские стали для меня относительными после того, как я посмотрела на них лично. Скажем, уровень их, так называемой культурности – это очень относительные ценности. В Лувре народ есть всегда, но вы не думайте, что все так любят красоту – это иностранцы. Придите в прекрасные дивные музеи, скажем, в музей ремесел – товарищи, там нет никого! К тому же их постоянная расчетливость: выгодно-невыгодно. Я в свое время получала абсолютные гроши, я не знаю, что для меня выгодно и что для меня не выгодно. Ибо бабка моя всегда говорила так: вот если ты мучаешься, что купить – кольцо или сапоги – конечно, кольцо! Потому что, если ты будешь носить кольцо, ноги уже не замерзнут. И я считаю, что это совершенно правильно. Вот я так всегда всю жизнь и покупала.

Ю. К.: В «Науке Урала» ты, получается, сколько лет отработала?

М. Н.: В «Науке Урала» 5 лет. Там была хорошая работа – Аркаим, это действительно очень интересно. К тому же подо мной были все эти гуманитарные науки. Были интересные события. Исторически очень насыщенные времена, все эти археологические конференции – я везде была. А потом с участием Геннадия Андреевича события, конечно, очень изменились. Геннадий Андреевич, конечно, человек очень широкомыслящий, таких людей очень мало.

А поскольку Валентин Петрович Лукьянин зазвал меня в «Урал», я ему сказала: «Валентин Петрович, вот вам телефон Геннадия Андреевича, звоните ему. И я поступлю так, как скажет Геннадий Андреевич». А Геннадий Андреевич, как человек умный, сказал: «Я прекрасно понимаю, что для вас художественная литература гораздо ближе, чем журналистика».

Ю. К.: В 90-м году ты перешла в «Урал».

М. Н.: Да. Мне уже было 50 лет, когда я работала всего лишь на одной работе. Всю жизнь я работала на трех, на четырех. Притом этих рецензий – Боже, ты мой! – я не знаю: тысячи.

Ю. К.: Это ты открыла литературную страницу там?

М. Н.: Да. Надо сказать, что и газета в то время была интересная и хорошая. И, кстати, газета научная гораздо лучше, чем общественно-политическая, ибо над ней никаких, я не говорю гнета, правил нет. И у нас там достаточно симпатичные люди собрались: каждый занимался своим делом. Там интересные события мне достались – это была неплохая работа. И это была первая единственная. И, когда я приходила домой (семья моя была Маша и Гриша), обычно я выкладывала на стол другую работу, а тут я в первые дни вообще не знала что делать. Потому что работала я так: когда в детской библиотеке, у меня не было ни одной субботы, ни одного воскресенья. Я приходила на работу на час раньше и уходила на час позже. Потом я в субботу-воскресенье дублировала свой каталог, который делала для детской библиотеки. То есть у меня никаких суббот-воскресений не было. А что касается ночей, то я же без конца писала рецензии. Я с ними ходила без конца. Я садилась в самолет, открывала папку и начинала углубленно их писать. Вот такая была моя жизнь.

Е. Д.: А когда Вы в первый раз побывали в Севастополе?

М. Н.: Это был 1957 год. Потом я в Севастополе бывала каждый год и даже не по разу. И поэтому жизнь моя всегда была тут и там, тут и там. Ну что ж, русский человек, он безбашенный придурок! Тогда в СССР билеты – слава Богу – были подъемные, это сейчас неподъемные.

Ю. К.: А из «Урала» ты уже ушла…

М. Н.: А из «Урала»… Я, еще работая в «Урале», уже работала в школе частично. Но в «Урале» уже, надо сказать, были такие времена… Если честно говорить, то там сидели до конца я и Николай Мережников. Но, с другой стороны, можно понять. Я никого – избави Бог – не сужу. Зарплат не давали, гонораров не давали, журнал выходил не каждый месяц. Был уже такой развал! Опробованный коллектив авторов распался. Но надо сказать, что журнал держался до последнего номера. Мы все соблюдали, все тщательно проверяли, редакторские правки – все мы это делали. И до последнего номера он был хорош. Я вообще очень уважаю Валентина Петровича, склоняюсь перед его героическим терпением. А когда стало понятно, что не будет ничего…

Ю. К.: То есть он спасает журнал, выбивает деньги. Такой был подвиг.

М. Н.: А он вообще человек был очень героический, порядочный, который никогда не будет говорить об этом, кому-то рассказывать, брать себе в заслугу – никогда не будет. Он в высшей степени порядочный, достойный человек. Я никогда не слышала от него всяких заспинных разговоров, хотя в литературе это не редкость, вот просто никогда. Надо сказать, что мы с ним две книги сделали. Он очень добрый человек. Он очень семейный человек. Человек очень надежный. Хороший человек.

Ю. К.: То есть ты где-то с 98-го года ушла.

М. Н.: Да где-то с 97-го.

Ю. К.: Миша, мой сын, пошел где-то с 98-го, значит, ты в 98-м ушла.

М. Н.: Потому что, сколько можно работать. Работать столько нельзя – это неприлично.

Ю. К.: Нет, ну, если ты хочешь работать, то зачем уходить.

М. Н.: Нет, я хочу как раз не работать. Я всегда прекрасно понимала, что я могу работать где угодно, делать что угодно. Но, понимаешь, я всю жизнь работала настолько много – но это же ужасно! Потому что зарплата моя в библиотеке была где-то 75. И, наконец, 120 – это был предел. Мне же этого хватало для того, чтобы моя семья была сытая на уровне хлеб, сахар, картошка.

Если говорить о магическо-мистической стороне моей жизни, то это интересно. А если о реально-бытовом раскладе, то я всю жизнь была с семьей, которая болела и умирала. Это была моя главная работа, забота и занятость.

Я человек достаточно сумасшедший. Чем отличаюсь, я тебе скажу: полным отсутствием честолюбия, тщеславия и даже какого-то самолюбия, это плохо. Это не есть хорошо. Чего нет, того нет. Но с другой стороны, я только Богу благодарна, потому что та судьба, которая мне выпала, если бы у меня еще и тщеславие было – что бы со мной было!

Ю. К.: Вот мы и побеседовали с тобой… Ровно три месяца. Думаю… Нет, уверен, что это не конец, не финал. Спасибо тебе, Майя. И прости, если я сделал или сболтнул что-то не так. Спасибо и вам, девочки: тебе, Лена [Шаронова], тебе, Лена [Дуреко]. Без вас нам было бы здесь темно, неуютно и голодно. Знаю, что это 50 часов прошли для нас не напрасно. Майя Петровна не даст соврать, что, когда говорят друзья, – даже ангел прислушивается. А он здесь есть. Тот самый, который обитал здесь при Бажове.

Поэт Майя Никулина[103]

Поэзия – явление повсеместное, постоянное, вечное. Она присутствует в потаенном виде во всем и во всех. Поэзия – сущность природная, космическая; красота не больна востребованностью: водопад знает, что он величественно красив, мощен, звучен; минерал понимает, что прекрасен и обладает огромным запасом геологической памяти; лес совершенен своей совокупностью разных пород деревьев, рек, озер, гор, долин и пропастей; животное осознает свою силу и красоту (лось, медведь, волк!). В этом мире, на земле, все – поэзия. И все обладает своим языком. Языки природы, эстетика природы, ее этика – вещи абсолютно божественные. Человек совместил в себе все виды природной силы, красоты и духа. Человек учится языкам природы, потому что он познает себя и мир и потому что он хочет запомнить себя в этом мире, на своей земле под своим небом. Человек щедр. И он становится толмачом природы, переводчиком и соединителем всех (или многих, или немногих, или некоторых) языков в один – в свой человеческий язык. Поэт – переводчик, толмач иноязычного, но родного мира, и одновременно он – творец, или со-творец природы (в идеале, конечно; в жизни оказывается все далеко не так: чаще он разрушитель). Красота, прекрасное и ужасное, ждет своего имени, не языкового, но иного, более точного, ясного и большого. Имени первого своего. Первичного. Природа создает людей и ждет появления среди них такого номинатора, дарителя имени – поэта. Природа и «появляет», и проявляет его, и он, опираясь на воздух культуры, словесности, – на воздух, сгущенный вибрацией и дрожью душевной, – напрягает горло и начинает молвить. Дивно и чýдно молвить. Молвить, восклицать, плакать и петь.

Поэзия на Урале, поэзия в ее широком природном смысле, была всегда. И есть. Наш гениальный Бажов слушал ее и слышал. И записывал.

[103] Очерк является частью книги «Поэты Урала», написанной Ю. В. Казариным по заказу Министерства культуры и туризма Свердловской области.

Бажов – первый поэт. Поэт природный. Его не очень заботила литература, потому что он был весь в поэзии.

Литературное стихотворчество на Урале – явление не очень старинное, но всегда обусловленное социальностью (в узком, вульгарно-прагматическом спектре), идеологией, государственным заказом (в большей степени – партийным, политическим). Стихотворчество на Урале, естественно, содержало в себе отсветы и отзвуки поэзии, но тем не менее оно в большей степени было занято не поэтическим познанием мира (и созданием поэтосферы), а созданием, скажем, «поэзии рабочего Урала» (поэтому и требовали от сочинителей в 70-х годах в журналах «Урал», «Уральский следопыт» стихов о заводах, о станках, о трудовых династиях и т. п.). Стихотворцы на Урале были талантливы, но несвободны. Я говорю о свободе не слова (она была, есть и будет всегда, потому что свобода слова не в СМИ и издательствах, – а в голове, в сердце, в душе). Я говорю о поэзии. Потому что поэзия есть прежде всего свобода. Свобода жизненной силы и поэтической энергии.

Майя Никулина – первый настоящий, подлинный, независимый от социально-политического давления поэт. Истинный поэт. Повторю: в Екатеринбурге и на Среднем Урале поэзия родилась в тот момент, когда М. Никулина написала свои первые настоящие стихи (1953–1955) и когда вышла в свет (в прямом значении) ее первая поэтическая книга «Мой дом и сад» (1969). Тогда, в то время, в те годы, мало кто заметил это событие. Единицы. Но они были. Они есть. И они будут. Потому что истинных читателей (со-поэтов) поэзии – единицы. Нет, читают, конечно, многие, но отличают подлинное от подделки только те, кто ощущает и чувствует поэзию не только в слове и в звуке, но и в дрожи тектонической, в вибрации воздуха, в звуке неслышимом и в свете безвидном, но ослепительном.

Время (десятилетия!) сотворило редкий для Екатеринбурга и Среднего Урала феномен общеизвестного, всеми уважаемого и любимого человека-художника (и это не эффект моды, рекламы-пиара, бренда и шоу-популярности!). Первый в ряду таких художников – Павел Петрович Бажов. В 70–80-х в таком статусе проявились Виталий Михайлович Волович и Миша Шаевич Брусиловский, рядом и вровень с ними – Майя Петровна Никулина. (Эрик Неизвестный уехал сначала в Москву, затем в США, потому сегодня его знают немногие: звание народного любимца, прежде всего в сфере культуры, не может быть заочным.) Сегодня Майя Никулина есть незыблемая константа и культуры, и духовности, и словесности, и нравственности.

Нестоличность литературы, искусства и культуры в настоящее время с утратой метрополиями (Москва, Санкт-Петербург) былой силы и славы

(прямо говоря, столичная культура монетизирована тотально, а культура – это прежде всего сфера творчества бескорыстного и независимого) превращается, преобразуется – естественным и законным, закономерным образом – в иное качество: сегодня нестоличная – значит, русская, российская. Или – русская/российская литература, искусство, культура. Все встало на свои места: децентрализация художественной сферы страны завершена (завершается – точно), и происходит воссоединение всех частей – и надтерриториальных и территориальных/региональных – словесности и культуры в единое, прежде разорванное, рассеченное, разобщенное целое. Стоит ли здесь говорить о возрождении культуры как явления всероссийского? Не думаю. Но словесность, безусловно, окрепла везде: в провинции, на окраинах и т. д. Культура же в целом, как и словесность, переживает сегодня экспансию посткнижного состояния литературы и искусства, когда визуализация всего на свете приводит (и привело, и приведет) ко всеобщей глухоте, немоте и, в конце концов, к слепоте, т. е. к способности воспринимать только пошлое, низкое, гламурное, глянцевое и в прямом смысле съедобное. Но это уже другой разговор, который, уверен, уже пора заводить на общенародном, на государственном уровне.

Майя Никулина – стремительный человек. Именно стремительный: она всегда – и внутренне, и внешне – устремлена ко всему самому важному, глубокому, конститутивному, необходимому жизни, людям, городу, миру. Никулина всегда в движении: ее стремит, не несет, не влечет, а зовет и притягивает то, что бесценно, цельно и огромно; Майя стремима светом, его энергией, его силой, его теплом, пеклом и льдом, его невообразимой скоростью, его способностью рассеиваться и рассеивать, расфокусироваться и фокусироваться, сгущаться, концентрироваться, вытягиваясь в копье, в стрелу, в иглу. В Майе – свет сфокусированный, его острие. И она сама – острие света. Майя Никулина не просто красивый человек, зеленоглазая, медноволосая, женщина-богиня, она материализованная душа. Таких людей – единицы. Они видны сразу. Даже если сидят где-нибудь в уголке и молчат. Когда смотришь ей в глаза, понимаешь: поэт, да, поэт; эти глаза видят все. Глаза и взгляд Майи Никулиной способны выражать мысль, оценку, отношение, поэтому с ней хорошо говорить понемногу или просто молчать. Ее глаза – лучезарны и мыслезарны, вернее – мыслеточимы, мыслеструящи. Ее глаза – живая вода. Но не дай Бог увидеть их во гневе (что бывает крайне редко) или натолкнуться на их безразличие и холодность: их пекло и лед непереносимы, их отрешенность (задумчивость, самоуглубленность, когда Майя Никулина смотрит одновременно в себя и туда, куда глядеть нельзя) пугает. Не отталкивает, а притягивает и пугает, затягивает в озноб: помню этот взгляд Майи

Никулиной в день похорон ее матери; в церкви, где отпевали Алексея Решетова; или ночью, в ее доме, полном страждущих родных, в минуту погружения в себя, в мысли свои, в стихи, едва слышимые, в темноту, во тьму судьбы, в этот слепящий мрак, убивающий любого, но не Майю Никулину. Майя Никулина – сильный человек. Женщина многожильная. Женщина тонкая, нежная. Хрупкая (но душевно и телесно очень крепкая, физически просто сильная – ей к тяжестям и тяготам не привыкать: она выхаживала, вырывала из смерти отца, мать, дочь; сегодня борется за здоровье и жизнь внука), субтильная (тонкая кость, «дворянская косточка»), стройная, гибкая, – она как сама жизнь источает окрест то безвидное вещество, которое укрепляет воздух. С Майей поговорить – сил набраться. С Майей помолчать – жизни набраться. С Майей побыть рядом – судьбы изведать. В Майе Никулиной сразу видна порода: ее ДНК – как память дворянского рода – очевидна, ее поэтическая ДНК как память духа, души, ума, разума и мудрости (а Майя с детства, с отрочества мудра: дитя войны и поэзии) явлена во всем: в голосе, низком, сильном, грудном – оперная певица позавидует; во взоре всепроникающем; в устремленности всего тела ее вперед и вверх, в осанке и стати древнеегипетской-древнегреческой богини и царицы (есть замечательный скульптурный портрет ее головы – как есть Нефертити); в ее красивых, сильных руках, умеющих делать все; в ее стройных стремительных ногах, в походке, ровной и бегущей – не угнаться; в ее красивом лице, одновременно по-женски милом, нежном и по-царски строгом и определенном.

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
Уже до всего допросилась.
Легко свое бедное тело ношу –
До чистой души обносилась.

До кухонной голой беды дожила.
Тугое поющее горло
Огнем опалила, тоской извела,
До чистого голоса стерла.

Если у судьбы есть голос, то это стихотворение произнесено судьбой. Стихи потрясающие, удивляющие прямоговорением и силой произнесения приговора себе, жизни, судьбе, смерти, любви, времени и душе. И если А. Решетов в своих автометафорических стихах, или в автоидентификациях, честный и покорный судьбе и жизни констататор, то Майя Никулина – беспощадный к себе и року преодолеватель судьбы. Это стихотворение – о поэте и о поэзии. Без условных красот, тонкостей и ритуальных пафосных фигур. Здесь – портрет судьбы (поэта) и автопор-

трет (человека, женщины) соединяются в новую сущность – не-портрета, не-изображения, – но в голую страшно натянутую и натяженную голограмму правды. Правды жизненной, роковой, – страшной и светлой одновременно: здесь то самое острие света, расщепляемое острием боли и силы поэта, прокаленного, расплавленного и вновь кристаллизованного в космической стуже того, что мы привыкли называть подлинностью. Здесь, в этом стихотворении, поэт есть царь, Майя Никулина – царица, и это взгляд не раба и не героя, это взор победителя, властного над всем (темным, трудным, смертельно опасным) и могущественного, могущего все. Есть фотография: Майя Никулина сидит в помещении, одна, на фоне светлого окна, рядом с батареей парового отопления, где-то в Нижнем Тагиле, куда часто ездила (и ездит) по приглашению тех, кто живет поэзией. На фотоснимке она – одинока. Но это одиночество поэта и царицы, припоминающей гекзаметры Гомера. Люблю этот снимок, и поэтому, видимо, появились у меня такие стихи:

М. Никулиной

Мужских очей объятье
С тобой – в тоске квадрата:
Минутное распятье,
Прикус чужого взгляда.

Не проиграть в молчанку
Тебя с тобой в обнимку –
Внучатую гречанку –
Косому фотоснимку.

На фоне парового
В Тагиле отопленья,
Где только ты и слово
В порыве говоренья.

Где вечно полвторого –
Зима, разлука – время.
Когда целуют слово
И в родничок, и в темя, –

Озябшую царицу
На весь обратный путь
В рогожу роговицы
Пытаясь завернуть.

Майя Никулина – человек мудрый. Эпитет «умный» здесь явно слабоват, дрябловат и неточен. Майя Никулина, естественно, умна и образо-

ванна: во многих сферах и областях науки (геология, кристаллография, философия, филология, история, культурология, краеведение и т. д.) она эрудит. Но в сфере поэзии и литературы Майя Петровна мудра. Поэтическая мысль – явление шарообразное, порождаемое музыкой и языком и одновременно обтекаемое в них, бинтуемое ими. Это уже не мысль как результат мышления, а само мышление в чистом виде – собственно процесс поэтического, а значит душевного, духовного мышления.

Я так долго со смертью жила,
Что бояться ее перестала –
Собирала семью у стола,
Ей, проклятой, кусок подавала.

Я таких смельчаков и юнцов
Уступила ей, суке постылой.
Наклонялась над ветхим лицом,
И она мне дышала в затылок.

Что ей мой запоздалый птенец,
Вдовья радость, цыганские перья?..
А она караулит за дверью…
– Уступи мне его наконец.

Ну сильна ты, да все не щедра,
Я добрее тебя и моложе…
И она мне сказала:
– Сестра,
Посмотри, как мы стали похожи…

Вот – процесс порождения поэтической мысли, когда повествовательность исповеди, закручиваясь сначала в спираль, затем в пружину и, наконец, затягиваясь в узел, – вдруг мгновенно взрывается – без раскрутки в обратную сторону, без ослабления и распускания узла, и – без его разрубания (гордиев узел!), – вся энергия, стянутая в узел, взрывается – и освобождает невероятной глубины и высоты апокалиптические и одновременно катарсические смыслы, чреватые прозрением и всевиденьем: сестра смерть и дочерь жизнь! И поэт – любовь. И все родные, и все непреодолимо смертельные, и все неотвратимо бессмертны. И частное страдание – божественно, всеобще и всеобъемлюще: оно уже обо всех и для всех; оно и есть жизнь! И поэт добрее всего и моложе. Моложе мира. Поэт здесь – весь из досотворения мира. Поэзия Майи Никулиной обладает уникальным качеством: если проза и поэзия Бунина исцеляет от недугов (в прямом смысле и в прямой функции словесности), а поэзия Мандельштама отвращает от смерти, то стихи Никулиной наполняют жизнью. Не новой,

не освещенной, не переосмысленной, а жизнью как таковой. Майя Никулина как поэт – не небожитель. В ее стихах происходит чудо сращения, синтеза (без какой-либо доли атомарности) человека и поэта. Никулина – поэт с человеческим голосом. Не с голосом толпы (Маяковский, Евтушенко), не с голосом современного человека (Бродский, Гандельсман и весь постмодернизм), не с голосом раба и сервилиста *(см. голос толпы)* и не с голосом, искаженным нарочно до фальцета или баса петушиного *(см. то же самое)*. Голос поэта Никулиной вообще человечен, это голос свой, первоприродный, природный, как у Пушкина, Блока и Мандельштама. В нем нет сарказма и горечи Г. Иванова, Ходасевича. В нем нет всеобщей, милой для всех иронии (типичной для XXI века). Поэтический талант Майи Никулиной – это дар пушкинского рода и ряда: в силу подлинности поэтического высказывания каждое ее стихотворение – это духовный поступок (не языковой, как у авангардистов и экспериментalистов, не культурный, как у эстетов – кстати, Майю Петровну в советские времена ругали эстетом и сравнивали с Тарковским; думаю, уверен, знаю, что это абсолютно не так: Майя Никулина, скорее, этик и «нравственник», а Тарковский – просто и безусловно крупный поэт – не стилистический, как у постмодернистов). Каждое стихотворение Майи Петровны (как и у Пушкина, Блока, Мандельштама, Ахматовой и Заболоцкого) – это материальный и ментальный знак духовного роста, когда ты видишь не перемены, произошедшие в авторе текста, а – его полное перерождение и обновление (слово – гибель – воскрешение – слово).

Зимний воздух. Йодистый, аптечный
Запах моря. Катерный маршрут.
На задах шашлычных-чебуречных
Злые чайки ящики клюют.

Это тоже юг. И, может статься,
Он еще вернее оттого,
Что глаза не в силах обольщаться
Праздничными светами его.

Только самым голым, самым белым,
Самым синим и еще синей
Страшно полыхает за пределом
Бедной географии твоей.

От пустой автобусной стоянки
До пустого неба и воды
Длятся невозможные изнанки
Сбывшейся несбыточной мечты.

И, вдыхая воздух отбеленный,
Попирая первобытный мел,
Ты не знаешь, заново рожденный,
Точно ли ты этого хотел.

Талант Майи Петровны, ее гений, безусловно, имеет двойное происхождение (земля и небо) и двойное притяжение (недра и бездна), двойную гравитацию, которая создает небывалое натяжение души и напряжение поэтического текста: «самым голым, самым белым, самым синим и еще синей» – вот словесное облачение такого натяжения и напряжения. Земное и небесное (настоящее и будущее с прошлым), телесное и душевное/духовное – вот вещество, из которого создан талант и гений Майи Петровны. Здесь я не оговорился – «гений»: дело в том, что у Майи Петровны нет ни одного «проходного», слабого или пустого стихотворения, нет ни одной такой строфы, строки, нет ни одного такого слова. Как у Пушкина и Мандельштама (больше не знаю никого, у кого бы не встречались стихотворные пустоты). Талант всегда неровен: у него есть взлеты, падения, и «гладкие» участки заурядного стихоговорения (Блок, Заболоцкий). Гений существует и осуществляется на такой высоте и глубине, что неровности его полета или погружения скрадываются прямой перспективой или, напротив, укрупняются до прозрений перспективой обратной, иконной. Поэтический звук Майи Никулиной вертикален, и он движется одновременно вверх и вниз – до разрыва, который у гения невозможен. Земное и небесное – вот содержательный столп ее стихов (и опять – страшное натяжение души, без растяжек и надрывов). Любовь к родной земле, истории, к людям и героям – вот ее эмотивная энергия. Кровное родство с жизнью, смертью и любовью – вот ее душевная сила.

Мы прошли уже на ощупь
За своим поводырем
Через мостик, через площадь,
По дороге и потом

В переулок непроглядный,
В опрокинутый чердак,
В тесный, влажный, виноградный,
Темно-августовский мрак,

В треск цикад, в сухие звоны
Невесомого труда,
В жарко дышащее лоно,
В бесконечное туда,

Где у скомканных обочин,
У колодца, у реки
Молодой хозяин ночи
Ставит сети и силки,

Чтоб до самого рассвета,
В долгожданной темноте
Выкликали: «Где ты? где ты?», –
Потому что он нигде.ъ

«Бесконечное туда»… Куда?.. А где (и кто он?) «хозяин ночи»? И – «сухие звоны невесомого труда» (ну да, это ведь цикады; нет! – это больше, чем насекомые; это и насекомые звезд, и «босикомые» ангелов, и «отсекомые» мыслей, чувств, счастья, ужаса (перед «долгожданной темнотой»), ужаса сладкого, терпкого, медового и спиртоносного, и жизненосного, и смертоносного, и любвеносного, и подового, подспудного, венозного, артериального, сердечного. Стихотворение ни о чем, значит, – обо всем, но самом главном – о сердцевине бытия. А какова она и что она – решайте сами.

Сегодняшний и завтрашний Екатеринбург непредставим без Майи Никулиной. Как Пермь (и Березники) – без Алексея Решетова. Для этого огромного города, притянувшего к себе громадную область с горами, тундрой, тайгой, лесами, реками, озерами, деревнями, селами, поселками, городками, заводами, шахтами и людьми, Майя Никулина – первый поэт. Первый поэт и по счету, и по гамбургскому счету, по объему и качеству таланта огромного дара. Дара божественного, природного – дара слова. Майя Никулина «отстояла» Екатеринбург, отбила его от делового, политического и бездарного стихотворчества – спасла Екатеринбург своим существованием, наличием, своим талантом собирать вокруг и окрест себя, а значит, великой классической традицией отечественной литературы и изящной словесности, молодых и сильных, одаренных и талантливых, красивых и умных людей. Для Екатеринбурга Майя Петровна – первый историк Урала и краевед (вспомним ее книги и книги, написанные в соавторстве с В. П. Лукьяниным), патриот и защитник всего нашего, родного и прежде всего – места, земли, – уральской земли. Для Екатеринбурга Майя Петровна – человек, мудрец и мыслитель, заново прочитавший и открывший великого Бажова и доказавший, показавший наличие предметной правды и фактологии мифов о Хозяйке Медной горы, о мастере, о пещере, о камне и о мастерстве. Для Екатеринбурга Майя Никулина – идеал честности и чести, совести, нравственности и силы человеческого достоинства. Для Екатеринбурга Майя Никулина – писатель, живой

классик. И, наконец, для своего родного города она образец скромности, скромности мастера, уступающего свою славу своему творению, потому что Майя Никулина – один из творцов столицы Урала.

У Майи Никулиной хорошая память, замечательная память и неистребимый интерес к прошлому страны, Урала и города. Настоящего нет, или почти нет: прошлое переходит в будущее, цепляясь за нас и делая нашу жизнь (такую короткую) настоящим, а нас – настоящими.

Там по субботам топят бани,
Дымы восходят к облакам,
Письмо с казенными словами
Кругами ходит по рукам,

Бегут мальчишки в телогрейках
И бабы не скрывают слез,
Когда судьба-одноколейка
Свистит в железный паровоз.

Я знаю, как и насколько дорого Майе Никулиной ее военное, скудное, светлое, с большой Победой детство. О Великой Отечественной войне, об Урале, о Бажове, о русской литературе она может говорить часами.

Мы познакомились с Майей Никулиной в университете в 1977 г. Профессор Т. А. Снигирева в одной из своих книг вспоминает: «Был еще Поэтический театр, поднявшийся на взрыве шестидесятых (его я застала мало). Был Литературный клуб, в рамках которого велись споры о текущих публикациях и приглашались писатели (редко). Майя Петровна Никулина, мне кажется, пришла охотно: она сама заканчивала филфак. Читала стихи, отвечала на вопросы. Но вскоре отвечала на вопросы только Юры и только Юре. Это была первая встреча/знакомство, которое моментально создало поле невероятного, почти невыносимого напряжения. Я помню это ощущение, поскольку никогда больше не была в ситуации столкновения двух поэтов, которые узнали друг друга».

Я помню этот ранневесенний пасмурноватый денек. В небольшой аудитории собрались студенты и преподаватели послушать поэта. Поэтом оказалась девушка. Очень красивая и строгая. Сосредоточенная на чем-то очень важном и серьезном, может быть, даже главном, – на том, чего пока не замечал никто. Я видел ее почти в профиль, вполоборота, на фоне светлеющего еще, но уже вечернего окна. По-моему, она или волновалась, или была чем-то озабочена. Я слушал, как она читает стихи, и вдруг меня пробрал озноб: я осознал, что впервые вижу *настоящего поэта*. Девушку-поэта. Красавицу-поэта. Вот оно! – таков поэт: не ломающиеся и работающие на публику мужички-стихотворцы, декламирующие,

почти кричащие свои барабанные строчки, а эта девушка, очень молодая женщина со строгим прекрасным лицом. Девушка, похожая на молодую древнеегипетскую царицу или на царицу древней Греции, одной из ее провинций, небольшого царства-государства (Крит, Македония, Спарта). В общем, участь моя была решена: поэзию не слушают – ее видят и слышат. Не все. И слава Богу.

Говоря о Решетове, Майя Никулина заметила: «Любовь, в сущности, бессюжетна и в изложении проигрывает». Да, любовь бессюжетна, но вполне фабульна: протяженна во времени, сосредоточена в том или ином месте, а может быть, и рассеяна в просторах нашей необъятной страны (Екатеринбург – Крым – и т. д.), рассредоточена, чтобы время от времени сбегаться, стекаться в одном месте, сгущаться в нем. Место – дом Майи Никулиной. Время – последняя треть XX века.

Дом Майи Никулиной – это двухкомнатная квартира в здании «сталинской постройки» на ул. Декабристов. Домище – как казалось тогда: буквой П с «перекладиной» на восток; вход во двор с юга и с севера, и с востока – через арку, выходя из которой со двора, можно было попасть (особенно в нетрезвом состоянии и в темноте) в какие-то колючие кусты, обдиравшие своими ветками мое лицо не однажды. На север – парк Павлика Морозова, с гипсовым памятником герою-пионеру, с двойным сквером, со скамейками (тогда, в 70–80-х все будет разрушено, разломано и растоптано), с ажурной телевышкой за забором (темно-зеленым), упиравшимся почти в ворота, выводившие на ул. Луначарского: налево долгое здание телестудии и за ними гастрономчик «Четырка» (Майино словцо), т. е. № 14, куда часто бегали за тем, что утоляет жажду. Онтологическую жажду.

Квартира была небольшая, но с высокими потолками, большими светлыми окнами (как тогда казалось), с балкончиком, с которого мы иногда (Саша Калужский, поэт и флибустьер, ныне американец, и Саша Верников, Верникеш, Кельт, абсолютный гений и шалопай) поливали прохожих водичкой с высокого этажа. В дальней комнате всегда кто-то был (отец, мама Майи Никулиной, а позднее дочь Мария, красавица, умница с безусловным витальным талантом, философ, но с норовом серьезным, редким – адская смесь характеров отца – поэта и путешественника Владимира Кочкаренко и матери – Маий Никулиной, поэта, дворянки, пахаря великого, труженицы редкой). Комнаты были смежными. По праздникам сидели в ближней за большим столом (я обычно, первое время, помалкивал и рвал глаза, переводя их с Майи на книги (их было много – редких и красивых) и обратно). Большее же время проводили на кухне, располагавшейся влево от коридорчика прихожей, в которой мне постоянно падали

на голову стихи – именно сваливались на меня, как шапки зимние с полки для головных уборов. Обитали мы в кухне, но запаха кухни не помню: не было ни чада, ни грома кастрюль, зато стоял аромат трав и приправ, относивший, уносивший мозги к югу, на юг, поближе к Греции и Крыму.

Хозяйка поспевала всюду: обихаживала и лечила родных (в дальней, «северной», комнате), укладывала самых слабых из нас в «южной», сидела-стояла-готовила-слушала-говорила-что-то записывала на клочках бумаги-оглядывала всех и каждого-кормила-поила-встречала-успокаивала-давала советы-провожала (никогда не видел, чтобы выпроваживала)-слушала наши речи, стихи – редко сама моногологизировала, очень редко, – одним словом, жила и наблюдала жизнь.

Однако между домом Майи Никулина и первой встречей с ней в университете было еще одно знакомство: Майя Никулина тогда руководила литературным объединением завода «Уралэлектроаппарат», куда я и приехал однажды (на Эльмаш, который был явным младшим братишкой Уралмаша, моей «малой родины», где я имел счастье родиться и жить до службы в армии), – приехал с женой, молодой и красивой, ревновавшей меня и к Майе, и к стихам, и к черту лысому. Именно там, в Никулинском литобъединении я наново познакомился с однофакультетниками Виктором Смирновым, очень самобытным поэтом; Андреем Танцыревым (тогда – Сафоновым), поэтом европейского склада; Александром Койновым, талантливым поэтом и рассказчиком; Анатолием Фоминым, поэтом и ученым; Евгением Касимовым (мой старый знакомец, ставший другом на долгие годы – и опять благодаря Майе), ярким человеком, одаренным буквально во всем, эрудитом, талантливым прозаиком-рассказчиком, поэтом, знавшим иную музыку, и др.

В то время я почему-то страстно хотел, жаждал издать свою книгу. Однажды зимой мы все вместе шагали от ДК Электротяжмаша к трамвайной остановке, и я, смущаясь до слез, заикаясь (тогда я еще крепко заикался) и сгорая от стыда, обратился к Майе Никулиной с косвенной просьбой-непросьбой, с намеком, что ли: как бы, мол, мне издать книжку-то стихов-то моих-то?.. Ответ Майи был скор, внезапен, даже и категоричен: издать трудно, но, видимо, можно. Но! Юра, ты о таком издании будешь жалеть всю жизнь… Тогда я смутно представлял себе – почему буду жалеть. Но через месяц-другой понял: стихи слабые. Рано. Майя была права. Первая книга моя вышла тогда, когда мне было почти 36, в 1991 г. Книга большая, состоящая из трех книжек, страниц на 240, за которую мне не стыдно до сих пор. (15 лет я жил, как и многие из нас, со спокойной уверенностью в том, что в СССР моя книга не выйдет никогда, – перестройка «помогла» – и одну книжку в государственном

издательстве мне все-таки выпустить удалось – не без помощи М. Никулиной, С. Марченко и Е. Зашихина, в те поры главного редактора Средне-Уральского книжного издательства).

Кухня Майи Никулиной – это академия культуры, философии, истории, языкознания и художественной словесности. Академия, работавшая по типу академий древнегреческих: учителя и ученики общаются, взаимообучаются и взаимовоспитываются (в поэзии учеников нет – есть учителя, живые и вечно живые: живая Майя, не уча, научила меня, показала мне – своим примером, – каким должен быть поэт в жизни и в литературе; а вот в поэзии – думай, мучайся и расти, дорастай сам). Майя Никулина была образцом человека чести, культуры, литературы и поэзии. Без преувеличений: никогда и нигде я не встречал такого, как Майя, человека и поэта: честного, достойного, мудрого, гениального во всем. Кухня не была кухней. Кухня была островом везения для десятков талантливых людей, – островом русской культуры. Все здесь было просто и прямо – по-дворянски, по-крестьянски, по-русски: никто не был любимчиком, хотя любимцы были – и это нормально. (Позволю себе в этой главе показывать время от времени свои стихи, написанные в разные годы и посвященные Майе Никулиной: в них, как мне кажется, есть воздух Академии Словесности Майи Никулиной, есть дух поэтической свободы дома на Декабристов, есть вещество любви – любви к Майе, к России, к русской поэзии, к русскому способу жить, любить и умирать.)

Майе Никулиной

На тесной кухне с газовой плитой
Мы хорошо о жизни говорили.
И мы, бывало, время торопили
Под лампочкой бесстыдно-золотой.

Пока декабрь и в горле горячо –
Особенно с утра, когда по-детски
Хозяйка поглядит через плечо,
Отмахивая с неба занавески.

И вваливалось снежное окно,
Под стать не шатуну, а мужичине,
Такому до апреля все равно –
Что в пиджаке, что в чертовой овчине.

Когда от счастья зябко и светло
И ест глаза тропинка вдоль забора
За сладкое пайковое тепло
Свободного, как воздух, разговора.

Когда смеется самый молодой,
Веселый и голодный спозаранку,
Целуя в лоб горячую буханку
На тесной кухне с газовой плитой.

Дом Майи Никулиной – это воздушный столп свободы. И дышалось в нем – вверх. (Не стоит забывать, какие тогда были времена: однажды я забыл, оставил в университетской аудитории, в парте, выпуск «Роман-газеты» с солженицынским «Иваном Денисовичем»; ну, думаю, все – отучился, выгонят точно (книга была запрещена, да и Диму Воронкова, поэта и барда, жалко – его журнальчик), отчислят или втихую, или с шумом, с собраниями комсомола и коллектива, с волчьим билетом, – вот откуда «сладкое пайковое тепло свободного, как воздух, разговора»; ничего, прилетел в универ в 6 утра, вошел в здание первым, взлетел на четвертый этаж в 417 аудиторию – и, слава Богу, нашел в парте Солженицына!). Поэт должен научиться дышать вверх – в небо, в космос, в бездну. Там воздух иной. А земного воздуха и так перепадет – не надышишься, не накашляешься, не назадыхаешься (вспоминается Мандельштам. И – Пушкин после дуэли. Умирающий Пушкин). Земной воздух – разный: и злой, и сладкий, и теплый, и ледяной. И горький. Выбирай какой хочешь.

И пусть моей души не тронет зависть
К загадочным способностям людей –
За почкой видеть лист, цветок и завязь
И в белом цвете семь его частей.

Осенняя тоска всепониманья
Пускай минует и простит меня.
Как мне вернуть счастливое незнанье
Далекого мифического дня,

Когда все было розово и пусто…
И женщина с торжественным лицом
Нашла меня под утренним, капустным,
Счастливым и заплаканным листом.

Всеведенье поэта шарообразно, но прежде всего – вертикально. Майя Никулина в этом стихотворении жаждет иного знания: знания-незнания. Не – желание начать все с нуля (и уж, конечно, речь здесь идет не о познании как таковом), а способность иметь в себе Великое Незнание того, что было до сотворения всего на свете (и мира в том числе), вернуться в досотворение, где незнание ничего есть знание всего – не истоков и основ, и не ядра, не центра, не сердцевины, а – сердца Бездны, сущности не-

представимой, невообразимой. Ибо знание незнаемого, непознаваемого и есть некое вещество взгляда, взора (вот откуда такого рода взгляд-взор у Майи Никулиной) не Творца, а сотворителя Творца, лучше – задумывателя Его! Вот та страшная и счастливая мысль, которой владеет поэт Майя Никулина и которая оправлена в сосуд этого стихотворения.

Знаешь стихи Майи Никулиной давно; многие наизусть, и тем не менее они всегда внезапны: они настигают тебя или встают поперек глаз и горла, или пережимают аорту, холодят сердце и мозг своими глубинными и высоченными смыслами, открываясь тебе раз за разом (по десятому-сотому прочтению) как нечто неслыханное, невиданное, невообразимое. Майя Никулина создает неслыханные стихи.

Я счастлив тем, что я был и остаюсь слушателем Академии Майи. Именно она познакомила меня с выдающимися и интереснейшими людьми. Добрейший и благороднейший Марк Рыжков, врач и переводчик. Ученейший Константин Белокуров, энциклопедист, полиглот и поэт-философ. Константин Мамаев – человек-загадка, гений, колдун, писатель, художник, явно появившийся здесь из ниоткуда – отовсюду и движущийся в никуда – т. е. в повсюду. Благородный, прямой (офицерская выправка наследственная?), с трубкой, немного зануда, но стихотворец талантливый («Есть у меня еще Россия и доченька Анастасия!..») Андрей Комлев. Богатырь Сергей Кабаков, поэт и переводчик («Визгливые струи / любви деревенской / к горе подступили – / и смята, как шапка, гора!»), тонкий и нервный поэт Игорь Сахновский (мой сопартник – сосед по университетской парте), знаменитый ныне прозаик. Красавец, поэт Аркадий Застырец, переводчик Вийона, драматург и умнейший человек. Добрейший Евгений Касимов, поэт, писатель, журналист, работающий с интонацией и музыкой стиха-фразы как никто. Похожий на кентавра длиннокудрый Александр Калужский, переводящий Лермонтова (блестяще) на английский, поэт, живущий в США. Гениальный Кельт (Келя, как зовет его Майя Никулина), Александр Верников, прозаик (блестящий), поэт и фитофилософ, экспериментализт, ориентолог-индолог, кастанедовед и майяникулиналюб (один из ближайших сегодня друзей Майи Никулиной), человек, написавший свою Нобелевскую лекцию за несколько десятилетий до получения/вручения ее, друг Бориса Рыжего и мой друг-враг (его словцо), полиглот, точнее полилингвоэтимолог, автор финно-угорского эпоса, в сущности очень добрый и нежный человек. Наконец Майя Никулина дважды познакомила нас с Решетовым. Оба раза в присутствии обоих и оба раза в частичном – по очереди – отсутствии одного из нас.

Майя Никулина, как я это вижу и понимаю сегодня, ценила и любила всех: все мы (и вместе с ней) представлялись ей невероятным, огромным,

беспредельным совокупным талантом-гением. Мы часто вспоминаем те годы и всех, кто был с ней, с нами, с кухней-академией, с домом Майи. В сущности, дом остался: просто он разросся до размеров города, области, края и страны – до тех пределов, где находятся наши.

Майя Никулина любит людей красивых, сильных, героических. Естественно, красота, сила и героизм могут быть разного рода: красота души, например, сила духа, характер или тихий, незаметный героизм человеческого существования в полупогибшем быту, в разваливающейся стране, в «живых» и глянцевых картинках «современной» культуры. (С культурой вообще происходят странные вещи, вернее, с восприятием ее и пониманием: во-первых, появились, оказывается, потребители культуры, а сама культура рассматривается как товар; во-вторых, вдруг из культуры стали выделяться некие субкультуры – байкеры, рэперы, гомосексуалисты, бойлаверы, хипхоперы и проч., – скоро, видимо, объявят о существовании сублитератур и субпоэзий). Знаю, как Майя Петровна к этому относится, как остро и глубоко переживает «эпоху» посткнижной культуры, или посткнижности, прямо говоря – бескнижности, безкнижности. Она трезво смотрит и оценивает современный мир – и как историк, и как мыслитель, и как культуролог, и как геолог, и как филолог, и – главное – как поэт. Прогнозы здесь невеселые. Расчеловечивание человечества продолжается.

Человеческое время циклично: это проявляется и в поколениях, и в биологическом возрасте человека, и в смене частей дня и времен года, и в чересполосице несчастий и удач, и в перемене настроения, психологических и эмоциональных состояний. Поэзия Майи Никулиной, весь свод ее лирики представляет собой очень сложный поэтический-душевный-языковой поток, влекущийся и влекущий мощно вперед и вверх, и содержащий в себе водопады, омуты, водовороты (стиховороты). Именно последние внедряют в поэтический континуум и взлет Никулиной циклы. Циклы стихотворений (их несколько, и о них мы поговорим позже). Здесь же хотелось бы упомянуть (но не более того) цикл стихотворений (с посвящением и без), обращенных к Геннадию Шнайдеру, близкому другу (ныне покойному) Майи Никулиной. Геннадий Шнайдер (я никогда не видел его – не судьба) для меня – миф. Вернее, человек-миф. Как Одиссей. Ростом под два метра. Красив. Телосложение бога. Древнегреческого. Крымец (а Крым – «Древнегреческая Колыма» – для Майи не просто родной – он ключ ко всем временам: историческим, культурным, мифологическим, художественным, – одним словом ключ к вечности [и – от вечности]). Познакомились они в Крыму. Потом Геша (так его до сих пор

зовет Майя Петровна) часто наезжал в Свердловск (он учился на заочном отделении истфака).

Г. Ш.

Любовь моя бедна –
Не дарит, не карает –
Последняя – она
Всегда такой бывает.

Она была такой
Всегда. Да мы не знали,
А мы ее порой
Случайной называли.

Не зла, не хороша,
С начального начала
Как старшая душа
При младшей продышала.

Высокие дела
И вечное сиротство
Она перемогла
По праву первородства.

Не слава, не слова,
Не подвиг, не награда,
Она еще жива,
Когда другой не надо.

Она в последний час
Присядет к изголовью,
Она и после нас
Останется любовью.

Задумаешь понять,
Да по ветру развеешь.
Затеешь вспоминать –
И вспомнить не успеешь.

Это стихотворение метаэмоционально насквозь: оно не о любви и не про любовь. Оно есть само по себе вещество любви. Язык в нем свободнее, вольнее и многозначнее птичьего щебета, посвиста ветра в осенних голых плетях виноградника. Это уже не-язык, но чистые смыслы, точнее – их мышцы. Мышцы смыслов: сила невероятная сталкивает конец и начало, сращивает их и гонит по кругу жизнь-смерть-любовь-жизнь-

смерть-любовь. Это песня соловья: если попросить его убрать все свои трели и коленца и издать единственный, главный звук (не тон, не ноту – но звук!), – то он запоет – выдохнет ультразвук, от которого полопаются стволы сосен и опадет июньская крепкая листва. Это – ультразвуковые стихи.

После трагической гибели Геннадия Шнайдера Майя Никулина создает цикл «Г. Ш.» из пяти стихотворений (о нем мы также поговорим позже), в которых проступают, как палимпсест (иконный: более древнее изображение лика любви мерцает и просвечивает сквозь верхний слой более позднего иконописного рисунка), как отражение неба в воде, уже отразившей лес и само небо, отраженное лесом, его листвой («Отражается небо в лесу, как в воде, – и деревья стоят голубые…» – В. Высоцкий), в которых светятся и эхолалируют семь четверостиший процитированного «Любовь моя бедна….»; особенно первая, третья, шестая и седьмая строфы: любовь-смерть-любовь, и все это – жизнь, но уже иная. Эта жизнь состоит из дожизни, из собственно жизни и из послежизни. Очевидно, что стихотворение «Любовь моя бедна…» представляет собой архетекст не только цикла «Г. Ш. », но и всей «любовной» лирики Майи Никулиной (вообще-то, поэт всегда и везде говорит, плачет и поет о любви).

Не буду больше говорить о друзьях Майи Петровны: когда выйдет ее аудиокнига в печатном виде, у читателя появится счастливая возможность услышать/прочесть рассказы о них из первых уст.

Свою книгу «Имена» (вторая по счету) Майя Никулина подарила мне сразу после ее выхода в свет с такой дарственной надписью: «Юре Казарину. Желаю Вам грозной судьбы. М. Никулина» (это произошло после собрания литобъединения, и мы еще были на вы). Этот инскрипт, содержащий необычное (ну, явно не банальное) пожелание, определил течение, скачки, провалы и взлеты всей моей жизни и судьбы. Пожелать грозной судьбы – все равно что пожелать беды, несчастья, испытаний и много еще чего горького и тяжкого. Но ведь судьба поэта иной и не бывает (за редчайшим исключением). Поэт всегда в драме, в трагедии, в катастрофе, если он, конечно, не велеречивый и бесталанный глупец – глупец самодовольный. Так оно и есть. У Майи Никулиной судьба, несомненно, грозная.

Есть люди, которые живут только жизнью. Есть люди, живущие исключительно воображением – в мире своем, строящемся фантазией, – живущие жизнью «внутрижизненной». И есть люди, которые живут и жизнью, и воображением. Первые – прагматики, «конкретики», материалисты, считающие, что мир познаваем и все познаваемо до конца (наив-

ный позитивизм). Вторые – мечтатели, маниловы, часто это или дураки, или хитрецы, или художники-примитивисты (в широком смысле). Третьи – деятели, они креативны, изобретательны и, как сегодня говорят, успешны. Есть люди, которые совмещают в себе черты всех описанных типажей. Майя Никулина – другая. Иная. Она успевает и жить, и творить иную жизнь, и создавать, сотворять абсолютно новое, невиданное (ее стихи, ее проза, ее исследовательская, научная проза), неслыханное, ультразвуковое, ультратактильное, ультрарецепторное в целом. Майя Никулина совмещает в себе черты и человека, и «дочеловека» (незнание ничего, напомню, – есть до-знание до-всего), и «послечеловека»: она как поэт существует, повторю, одновременно в праматерии, в материи (в антиматерии) и в постматерии. Таково свойство и качество ее поэтического сознания.

Так среди прочих щедрот,
Летних, садовых и влажных,
Вздрогнешь и вспомнишь однажды –
Господи, липа цветет!

Мед от земли до небес,
Утренний воздух дареный –
И среди прочих чудес –
Венчик ее оперенный.

Ласковый шелковых пух
Бедные губы щекочет –
Слово не найдено. – Дух.
Дышит.
И дышит, где хочет.

Но быть, существовать *таким* поэтом Майя Никулина может только в жизни – в реальной, медвяной, знойной, терпкой, влажной, цветущей, горькой, страшной, счастливой, любимой, теплой и живой. Дух дышит, где хочет… Sic! Дух там, где свет, свет любой: и белый, и серый, и черный, и иной. Сила духа, сила света дана тому, кто одарен и озарен, и готов к воспалению светом. Человек должен быть сильнее себя, чтобы воспользоваться таким даром. Гений – тот, кто сильнее себя. Такова Майя Никулина.

Майя Петровна Никулина родилась 9 февраля 1937 г. в Свердловске в семье лесного специалиста, выходца из дворян. Очевидная автохарактеристика Майи Никулиной содержится в ее же мыслях и словах, адресованных Алексею Решетову: «Он был представителем совершенно особого поколения: с ним и доживали, и выдыхались две великие

российские культуры – дворянская, ведомая идеалами чести («Мой долг – служить Отечеству»), и крестьянская, естественно включенная в природный круговорот (землю надо любить); и именно они, эти отцы и дети, спасли нашу культуру и память после – тогда говорили именно так – Великой Октябрьской Социалистической революции и Великой Отечественной войны. Лишенные имен, земли, дома и быта, они удержали главное – язык и традиции» («Урал». 2002. № 12). И в Майе Никулиной, и в Алексее Решетове, следует заметить, дворянская культура не выдохлась (до конца), кто общался с этими поэтами и людьми, знает и помнит ощущение серьезной силы достоинства и чести, сдержанности и душевной глубины, обеспеченной родовой энергией благородства, накопленной многими поколениями предков, т. е. семьи. И если Ахматова была охранителем и хранительницей таких традиций и такой культуры в Петрограде-Ленинграде-Санкт-Петербурге, то Никулина делала то же самое, – природно, естественно, твердо и уверенно защищая свое, – в Свердловске-Екатеринбурге. Язык и традиции – здесь суть то, что хранимо и защищаемо, и одновременно они суть орудие защиты – мощное, совокупное, несокрушимое и неотразимое. Сегодня это особенно важно: язык и традиции в «эпоху бездуховности» (словосочетание вызывает улыбку, но остается пугающе точным, называющим все как есть), в эру денег – единственное, что осталось у русского и любого народа, что осталось у нас и всех, кто отчетливо видит и представляет себе очертание и пыльное вещество посткультурного пространства и времени. Язык и традиции (как память) пока еще защищают себя. Нами. Что будет дальше? Второе пришествие хама? Грядущий хам (Д. Мережковский) – гость неотвратимый. И он уже здесь.

В доме Никулиных традиции были сохранены: была отличная библиотека (поэзия Серебряного века и классика), была семья, живущая любовью и трудом, три поколения жили вместе душа в душу, сохраняя свой язык, свою культуру, свой дух. Майя – человек жизни и книги. Читать она начала с четырех лет и сама освоила классику. Лермонтов – первая любовь (а поэзия – вообще увлечение отца, посещавшего в столицах поэтические вечера и Северянина, и Маяковского, и других популярных в те времена поэтов). Майя Никулина рассказывала, как ее поразили (в четырехлетнем возрасте) стихи Лермонтова, в частности, его «Демон», вот эти строки:

Затихло все; теснясь толпой,
На трупы всадников порой
Верблюды с ужасом глядели;
И глухо в тишине степной
Их колокольчики звенели.

Разграблен пышный караван;
И над телами христиан
Чертит круги ночная птица!
Не ждет их мирная гробница
Под слоем монастырских плит,
Где прах отцов их был зарыт;
Не придут сестры с матерями,
Покрыты длинными чадрами,
С тоской, рыданьем и мольбами,
На гроб их из далеких мест!
Зато усердною рукою
Здесь у дороги, над скалою
На память водрузится крест;
И плющ, разросшийся весною,
Его, ласкаясь, обовьет
Своею сеткой изумрудной;
И, своротив с дороги трудной,
Не раз усталый пешеход
Под божьей тенью отдохнет…

Небо, воздух, вся природа, наконец, сам Бог – с ужасом, глазами верблюдов глядят на побоище. И над всем этим круги черной ночной птицы и тень божья! Уверен, что человек рождается поэтом (когда слышу, и довольно часто: буду писать, мучиться, страдать и, может быть, стану поэтом, – всегда удивляюсь – что вдруг? – стихописание, версифицирование – занятие игровое; поэзия, поэзиеговорение, поэзиедумание, поэзиевидение – дар первородный, то есть недремлющий по 30–40 лет; он проявится сразу: Лермонтова как поэта «разбудил» в детстве (глубоком, в 3–4 года) вещий и странный сон, ставший затем дежавю; Майю разбудили лермонтовские божественные верблюды, сам Лермонтов, взгляд и взор Природы на дикость человеческую). Поэт, родившись таковым, проявляется в раннем, нежном возрасте, как Лермонтов и Никулина, как Пушкин и Мандельштам, как Блок и Есенин. Майя Никулина до сих пор вспоминает силу воздействия на нее, четырехлетнюю, этих стихов, и произошло это в 1941 году: Майя ощутила себя поэтом – и началась самая большая и самая страшная война…

В школе Майя училась легко (все учебники прочитывались, просматривались заранее, до начала учебного года, наперед). Это – как голод. Познание – голод. Голод, который Майя Никулина узнала в годы военного детства: мы – дети войны! – чудовищный оксюморон, но номинирующий жизнь – жизнь особую, полную полунищенского существования, полуголода, которые приблизили – вернули – человека к земле, к растениям,

к травам, к картофелю, наконец! Город превратился в огород. Дворики и дворы, скверы и пустыри перекапывались, вскапывались и засаживались картошкой. Ребятишки жили своим детством между землей (в прямом назначении) и небом (тоже в прямом значении – мечтой о победе, ожиданием победы. Победы). Поймут ли дети гламура детей войны? Не думаю.

Не в бою роковом,
Мне от долгой тоски помирать…
А уже за холмом,
За шеломенем русская рать.

– Ярославна, жена,
Голубица, кукушка, вдова,
Что ты ликом темна,
Что стоишь ни жива ни мертва,

Не бежишь со двора,
Лиходейку-разлуку кляня?..
Ярославна, сестра,
Или ты не жалеешь меня?..

Иль утешилась, девка,
Дареной обновой какой,
Скоморошьей припевкой,
Юродивой правдой кривой?..

– Не под вражьей рукой,
Не за черной проклятой рекой –
Незакатной звездой
Над беленой стеной городской,

От печали лихой,
Рукавом закрывая глаза…
Все уходят, уходят,
Никто не вернется назад.

У Майи Никулиной свои, очень сложные, пристрастные, полнодушевные и полночувственные отношения: она чувствует войну, как Ярославна, как Ева и как женщина. Она ощущает и осознает войну как дитя ее, как ее сирота. Она знает войну как поэт, как мыслитель, как историк. Майя Никулина знает – досконально – ход всей Великой Отечественной. Майя Никулина знает все войны, прокатившиеся по русской земле. Майя Никулина знает все войны (с античности до наших дней). Но видит в них не только катастрофу и гибель – прежде всего она видит в войне человеческую, мужскую, воинскую доблесть, силу, стойкость, отвагу и героизм.

Взгляд Майи Никулиной на войну – это взгляд сначала гомеровской гречанки, царицы, жены, и только потом – историка и свидетеля. Ее рассказы об обороне Севастополя, о Керченском десанте, о Сталинградской битве и т. д. бесконечны: она знает сотни имен полководцев, офицеров-героев, героев – под стать древнегреческим, божественным Ахиллесам, Парисам и Одиссеям (Одиссей – любимый никулинский герой). Она знает все детали, точное время и конкретное место самых героических боев, сражений и битв (слава Богу, рассказы эти существуют в аудиозаписи). Взгляд Майи Никулиной на войну – это взгляд матери.

Вытянули рученьки по швам.
Положили в тот печальный ряд,
Где, согласно ранам и годам,
Мальчики убитые лежат.

Сколько мне заступницей дрожать
Возле колыбелей и могил –
Как бы ты души не отлежал,
Ноженьки б свои не застудил.

Пахнет неожиданной весной.
У тебя земля под головой.
Первые черемухи в слезах.
На губах земля и на глазах…

Птица засвистела не дыша.
Сыплется каленая хвоя…
До чего сегодня хороша
Вечная соперница моя…

Стихи потрясающие своим шаровым хронотопом: они охватывают все времена и все пространство Земли. Они адресованы одновременно и живым и мертвым: прошлому, настоящему и будущему. Пророческие стихи. Стихи, содержащие в себе, источающие из себя три разнонаправленных (веером, в стороны, вверх, в землю) потока глубинных одновременно эмотивных и онтологических смыслов. Первый поток – заступничество за всех живых и мертвых, сопротивление смерти; второй – сопротивление беспамятству (во всех смыслах) – «как бы ты души не отлежал»; третий поток – слиянные весна и смерть, и птица певчая, и песня побуждают только к жизни, к заступничеству, к обороне жизни, памяти и любви. Великие стихи.

Майя Никулина до сих пор переживает оборону (вторую, от немцев) Севастополя и утрату его Россией после распада СССР. Подлинная боль глубоко темнеет в ее светлых глазах.

Балаклавское шоссе

На месте великой тревоги,
Кровавых боев и потерь,
По всей Балаклавской дороге
Сажают деревья теперь.

Сравнялись могильные кромки.
И по истечении лет
Погибших героев потомки,
Наследники славных побед,

Ведомые долгом и правом,
Печальную память земли
Под общий венчающий мрамор
Торжественно перенесли.

Цветы на литом парапете,
Эпический бронзовый гул,
Счастливые строгие дети
Почетный несут караул.

А здесь только солнце степное,
Высокая даль, синева,
Качается полдень от зноя,
Пылится и сохнет трава.

С дороги сверну и заплачу
Над горькой осенней землей,
Над чашей Максимовой дачи –
Огромной, горячей, пустой…

Кто сегодня после нас сохранит, понесет «печальную память земли»? Потребительское общество, вообще тотальный потребитель печаль не потребляет. Потому что печаль не товар. И память не товар. И культура не товар, потому что культура – это традиция, и традиция – память. Неужели только война, большая, огромная – больше огромной страны («Вставай, страна огромная!») вернет память современному русскому человеку?

Майя Никулина помнит, как пришла Победа. Как воздух и свет изменили свое качество: они стали яснее, стало легче и светлее. Победа внесла ясность: мы выстояли, несмотря ни на что.

В горчайшем и победном сорок пятом,
Когда весна сбывалась на земле,
Из окон тыловых госпиталей

На нас смотрели юные солдаты.
На нас – голодных, яростных, худых,
В синюшных пятнах, цыпках и коростах,
Всезнающих, в обносках не по росту –

На судей и наследников своих.
Мы тоже жили в прахе и золе,
И все-таки мы были не такие,
Не выжившие чудом, но живые,

Рожденные для жизни на земле.
Они не отрывали страшных глаз
От наших грозных лиц, –
Уже свершилось –
Расстрелянное время распрямилось,
Вдохнуло смерть и выдохнуло нас.

Майе восемь лет. Тощий подросток, не отроковица, а почти мальчишка – само военное детство, чистое детство. Детство чистой воды, близкой и родной земли-кормилицы – и камня. Именно в эти годы Майя Никулина начинает подбирать, собирать, рассматривать и влюбляться в камень. Урал – это прежде всего камень. Камень, пересиливший все. Камень выстоявший. Время уже вдохнуло смерть – и выдохнуло жизнь.

Учась в школе, Майя записывает первые (настоящие!) стихи. Была тетрадь. И кавказский офицер, кавалерист Лермонтов, пройдя в сознании юного поэта Великую Отечественную (имея в сердце Отечественную 1812 года и «Бородино»), отозвался в школьнице, уже имевшей представление и о грозной судьбе страны, и о грозной судьбе поэта.

После окончания школы Майя Никулина учится на геологическом факультете Уральского университета, но после мутной и, в сущности, глупой истории, в которой она и не была замешана, Майя Никулина покидает факультет и в качестве своеобразного наказания проводит несколько месяцев на севере Казахстана, переживает там зиму и, крепко помороженная и обмороженная, возвращается в Свердловск. В 1959 г. Майя Никулина окончила Свердловский институт повышения квалификации руководящих кадров лесной промышленности и работает в сфере городского «зеленого» хозяйства (вот откуда у нее доскональное знание географии и топонимии города, о котором она напишет несколько отличных книг (в том числе в соавторстве с В. П. Лукьяниным). В 1968 г.

она оканчивает филологический факультет Уральского университета им. А. М. Горького и работает (25 лет!) в библиотеках Свердловска-Екатеринбурга. Я заходил к ней, на «работу», – в Областную детскую библиотеку (на Карла Либкнехта), видел, как уважают и любят Майю Петровну коллеги. Как-то мы с Майей Никулиной подсчитали-прикинули, сколько же всего пришлось прочитать ей книг, работая библиографом/главным библиографом в библиотеке. Вышла чудовищно большая цифра – более 150 тысяч книг! Вот откуда абсолютно безграничный и глубокий (и – высокий) энциклопедизм, уникальная эрудиция и когнитивная («знательно-познавательная») гениальность этого поэта!

Майя Никулина много работала: и в библиотеке, и на дому – брала рукописи для перепечатки. Сколько ни помню, ни знаю ее – Майя Никулина всегда в работе, в заботах, всегда в пути, в дороге, в беге. Но – не впопыхах. Такая беготня (простите за словцо) у Майи Петровны выглядит весьма основательной, как и все, что она делает. Дом, семья – все, все и вся (и мы в том числе) всегда были на ней (помню, как быстро и сноровисто она чистила картошку; все у нее в руках горело – «ртуть-девка» говорит о таких народ; помню, какой вкусной была еда, приготовленная ею: однажды Сергей Кабаков, ночью, принес на плече тушку сайгака (страну тогда кормили – всю – сайгачатиной) прямо из вагона-холодильника, Майя приготовила такое жаркое, какое любил, должно быть, Одиссей – с большим числом и количеством приправ это было «пищей богов», да мы и были тогда богами, молодые – все боги).

В 1998–1992 годах Майя Никулина работает заведующим отдела гуманитарных наук в газете «Наука Урала» при УрО РАН и публикует наши стихи – щедро и часто, целыми полосами да еще и с портретами.

В 1992–1998 годах Майя Никулина – заместитель главного редактора [В. П. Лукьянин] журнала «Урал». Если в «Науке Урала» Майя Никулина помогает открыть и спасти Аркаим, уникальный историко-культурный комплекс, то в «Урале» Майя Петровна открывает и спасает уральскую литературу, поэзию и публицистику (именно в те годы журнал щедро публикует среди многих и мои стихи, за что я благодарен и Майе Петровне, и Валентину Петровичу, и Николаю Яковлевичу Мережникову). В 1995 г. Майя Никулина становится научным сотрудником в Институте истории и археологии УрО РАН (до 2004 г.), и одновременно, в 1993 г. начинает преподавать языкознание и краеведение в гимназии «Корифей» (№ 210), где и работает до сих пор. В «Корифее» Майя Никулина создает уникальные учебники «Как люди научились говорить и писать» и «Рассказы об Уральской истории». Книги уникальные – и в познавательном, и в науч-

ном, и в методическом отношении (я рецензировал их; жаль, очень жаль, что они до сих пор не изданы).

Майя Никулина – талантливый преподаватель. Дети не просто любят ее (мой сын учился у нее в младших классах гимназии – я учусь до сих пор: твердости намерений и полной независимости, внутренней, душевной, интеллектуальной от мэйнстрима всех времен и эпох; учусь сдержанности, тому, чем похвалиться не могу, – одним словом, учусь жизни), дети ее боготворят. Ее уроки – это сама жизнь: жизнь языка, мысли, речи, истории – материальной и духовной. Майя Петровна постоянно выводит детей – классами – «на природу», где показывает или чудеса земли, геологии, минералогии, следы древних людей, их быта, их труда. Это еще и уроки Урала: не просто краеведение, а полное и фактическое, натуральное и естественное погружение – душевное и телесное – в мир земли, в мир истории, в мир культуры. Майя Никулина как автор глубокого, мудрого и блестящего исследования мифологических и реальных, трудовых и духовных отношений человека с землей и земли с человеком. «Камень. Пещера. Гора» является – по призванию, по определению и по признанию – не просто культуроведом, но – что очень важно в наш рыночный век – культуроводом: она сводит маленького человека (во всех отношениях: ребенка и взрослого) с культурой, она ведет – за руку, за душу, за разум – человека к культуре, а культуру (ослабшую и одряхлевшую от всеобщего смеха и денег) – к человеку. Майя Никулина – не культуртрегер, она сама часть души и сердца, сердцевины культуры. Она сама культура. Как Волович, Брусиловский, Решетов и Бажов.

Майя Никулина много переводила: с испанского, словенского, чешского, грузинского и английского языков (Цирил Злобец – ее любимый поэт из переводимых); и ее стихи переведены на словенский и украинский.

Майя Никулина, повторю, скромнейший человек. Но скромность ее иная, нежели у Решетова: скромность Никулиной излучает силу самодостаточности, цельности и этико-эстетической (нравственно-художественной) самостоятельности и автономности. Когда мы с ней составляли ее двухтомник (2007), Майя Петровна не единожды спросила меня – и весьма строго – об источнике финансирования издания: спонсорская помощь ею отрицалась и отвергалась начисто; удалось найти деньги в Министерстве культуры Свердловской области *(низкий поклон)*. Помню, как мы с Женей Касимовым (моя дикая и отчасти самоуверенно-нагловатая идея) тайком собрали и издали в подарок Майе небольшую книжку ее стихов (2002) к юбилею: притащили весь тираж (400 экземпляров в коробке в дом на Декабристов, и вдруг я не на шутку перепугался – а вдруг

Майя не примет подарок, столь самовольный и т. д., отвергнет, прогонит – и все, все пойдет прахом (я знаю, как Майя Никулина реагирует на подлость и прочие мерзости: холодно, молча, но бесповоротно и навсегда забывает подлеца или мерзавца (чего ей это стоит!). Майя Петровна простила столь бестактный и непрошенный подарок (а может быть, и бесполезный для нее – поэта истинного, но нужный и необходимый людям), посерьезнела, побледнела, взяла книжку в руки, полистала – простила, приняла. Уф, слава Богу! Пронесло. Майя Никулина никогда не заботилась о своих изданиях. Не суетилась. Более достойного человека и поэта (как человека) я не встречал. К наградам она равнодушна. Так и должно быть. Майя Никулина удостоена нескольких литературных премий и наград. Одна из них – литературная премия им. П. П. Бажова, которой Майя Петровна была удостоена за книгу о Бажове («Камень. Пещера. Гора»). Явная тавтология: за книгу о Бажове – премию им. Бажова. Но культура вообще тавтологична. И по вертикали (качество, содержание, поэтика), и по горизонтали (эстетика, роды, жанры, виды искусства). Поэзия тоже тавтологична (аллитерации дают фонетическую тавтологию; словообразовательная сочетаемость – деривационную, этимологическую; Мандельштам, например, в этом отношении явно тавтологичен, и в этом его сила, прелесть и красота). «Малахитовая шкатулка» – это «вещь в себе»: в лексико-стилистической шкатулке располагается другая – явно фольклорная, в которой размещается еще одна – более ценная – содержательная, исполненная мастерства (в поливалентном состоянии: мастерство Бажова, мастерство Данилы, мастерство Хозяйки, мастерство Земли, мастерство Природы), в этой же шкатулке прячется самая главная (в которой, наверняка есть иные, совсем потаенные, не имеющие цены и доступа простому, равнодушному глазу и уму), содержащая в себе начало и конец, между коими клубятся в вечном и противоречивом единстве любовь, мука, верность слову и делу, жизнь горячая, живая и жизнь ледяная, «мертвая», – все эти помещеньица (не этажами, не ярусами, а плотными неотрывными друг от друга слоями) не покоятся, но вырастают (как кристаллы) на чем-то грандиозном, что хочется назвать душой и сердцем Земли, мира, Вселенной, мироздания. Об этом и пишет в своей книге Майя Никулина. Премия Бажова – первому бажововеду и бажововоду (Майя Петровна как бы выводит Бажова из забвения, коим является любая литература – зачитанная и замыленная цитированием и оглаживанием поверхностными исследованиями шедевра). Премия – по праву. Премия – в точку. Так бывает редко. Но у Майи Никулиной и в Майе Никулиной все уникально: и жизнь, и судьба, и поэзия, и литература, и наука (слабое слово: лучше – лингвоархеология).

Майя Никулина как истинный поэт, как поэт большой не просто реализует свой дар (как подавляющее большинство иных, рассчитывающих на какое-либо «место в литературе»), она отчетливо представляет (ощущает, чувствует, осознает) свое место в поэзии. Если литература – это процесс и развитие (спорадическое, замедляющееся, ускоряющееся, взлетающее, падающее, останавливающееся и опять воскрешающее), то поэзия – это не процесс и не движение (в плане формальной поэтики это может быть и не так, хотя и эта сторона – звучащая – не может выйти за границы естественности мысли, воображения, речи, языка, текста, плача, смеха, крика, вопля и т. п.), поэзия – не литература. Поэзия – это естественное состояние глобальной просодически ментальной и духовной связи всего со всем, всех со всем, всего со всеми, всех со всеми и одного со всем перечисленным и в комплексном и единичном виде. Поэзия постоянна. Она есть всегда. Она константа и доминанта познания, культуры и духовности (от «душа», вне какой-либо религиозности). Майя Никулина как поэт есть часть безграничного организма – пространства – сферы – шара – вещества поэзии (поэзия – это круг, центр которого везде, а окружность – нигде: спасибо Паскалю). Майя Никулина как поэт не искала свое место: талант, и крупный, такой, как у Майи Никулиной, уже имеет свое место в поэзии – оно уже запланировано Природой, Космосом, Культурой, Познанием, оно уже есть, и оно не отменимо, и его никто не может занять. Оно – никулинское. Не «где-то между тем-то и этим-то», а свое место. Поэтово место в поэзии. Майя Никулина – как подлинный, первородный поэт, поэт по определению – есть часть того, что «былоестьбудет» в поэтосфере. Потому стихи Майи Никулиной – органическая и структурообразующая часть всей поэзии (не только национальной, языковой, но и поэзии невербальной).

Ты не друг мой любимый,
Не добрый брат,
Нас с тобою не страсть и не дом связали,
Мы с тобой породнились тому назад
Не измерено, сколько веков и далей.

Тогда хлеб был пресен
И беден кров,
И земля неоглядна, суха, сурова,
И цари отличались от пастухов
Только тяжестью крови и даром слова.

«Поэт – ты царь. Живи один…». Потому что и один – ты не один: поэты видят, знают, узнают в толпе поэта сразу, интуитивно, душевно.

Тяжесть крови и дар слова соединяют поэтов нерушимой, прочнейшей, невидимой связью: поэт всегда знает и ощущает, где, когда и какой поэт существует, думает, мыслит, страдает, говорит. Майя Никулина понимает, что в поэзии (в поэтосфере) времени нет. И смерти нет. Есть только звук державный и смысл божественный.

Майя Никулина — автор пяти именованных книг: «Мой дом и сад» (1969), «Имена» (1979), «Душа права» (1983), «Колея» (1983), «Бабья трава» (1987). И в каждой книге есть шедевры. Именно они, ключевые стихотворения, определяют и закрепляют положение поэта в поэзии и в культуре. Названия же книг, если их выстроить в парадигму, в ряд, начинают «работать» семантически и становятся интерпретативными, то есть понимаемыми (естественно, вариантно, по-разному). Вот этот ряд: мой дом и сад → имена → душа права → колея → бабья трава. («Душа права» – книга московская, и Майе она, насколько я знаю и помню, не нравится. В ней есть московско-редакторско-составительский и издательский произвол, который странным образом снижает уровень поэзии (качества), опускает его до общей литер-линии (ватерлинии) тогдашнего советского стихотворчества). Онтологически этот ряд имен книг может означать следующее: познание, фиксация и обживание своего места и времени (дом = место, сад = время) → именование мира, то есть присвоение его с последующим дарением → духовное освоение принятого, обжитого, названного и даримого (раздариваемого) → двойная интерпретация, двойной (если не множественный вообще): мой путь (куда?) — свободный и несвободный, но – мой; и дорога, которую необходимо преодолевать и, проходя ее, прокладывать свою; может быть, вообще проложить, продавить, пробить свою колею → судьба, моя судьба, судьба России, страны (тоже «баба», «женщина»), судьба (женщина) жизни (женщина), поэзии (женщина), смерти (женщина), любви (женщина). Естественно, такое понимание не является единственным и окончательным. Могут быть и чисто поверхностные, литературно-социологические толкования. Но они явно примитивны.

Так грозно во мне убывает природа,
Что время летит напрямик.
Но живы мои херсонесские своды,
Но крепко вросли в материк.

Но так на пределе, но так на просторе,
Но так у сплошных берегов,
Что манит и манит в огромное море
Дельфинья улыбка богов.

Все лучшие стихи Майи Никулиной – о времени (плохих, средних и проходных стихов у Майи Никулиной, как я уже говорил, нет, есть только настоящие, но и среди них есть шедевры). И все названия книг (онтологически, бытийно, духовно) содержат в себе смысловые компоненты/оттенки, входящие в семантическую сферу времени. Время – летит, но его удерживает пространство, наделенное памятью и теплом плоти и любви. Вторая строфа – абсолютно гениальна: здесь все сказано прямо, честно, грозно.

Читатель может здесь задать мне справедливый вопрос: а что вы считаете шедевром? Не буду повторять словарную статью из Ожегова, Кузнецова или Брокгауза. Думается, шедевр – это некое художественное произведение (любое: в живописи, в кинематографе, в прозе, в ваянии, в архитектуре, в драматургии, в музыке и т. п.), созданное по велению Божьему, по велению природы, – не по замыслу (элементы которого могут присутствовать), а по промыслу, или, если хотите, Промыслу, который есть совпадение воли природы (Космоса, Бога и т. д.), воли художника, воли случая (очень важный компонент), воли времени, воли памяти (истории), воли пространства и воли культуры. В нашем случае – еще и воли поэзии, языка, мысли, образа, музыки и гармонии. (Как, например, фильм Павла Лунгина «Остров»: все и вся совпало и породило серое – серое вещество времени, истории, жизни, греха, Бога, неба, воздуха, моря, Севера, камня, мха, головного мозга и т. д.; на этом сером и в этом сером – душа (глаза монаха (Петра Мамонова) – исконно-светлые, бесконтрольные, безмерные, сильные, вольные и абсолютно русские; вот – шедевр.)

В пяти именованных книгах Майи Никулиной – десятки шедевров. Покажу хотя бы по одному из каждой книги (оценка стихотворений обычно производится по разным критериям: язык, стиль, мысль, образность и т. п.; шедевр – совершенен, и здесь один главный критерий – красота целостности и гармония в узком смысле (взаимодействие частей) и в широком (неотъемлемая, первородная, бывшая всегда, вечная часть поэзии общей, поэзии как единого и неделимого душевного пространства)).

«Мой дом и сад»

Апрель

Короткий, южный, скоротечный,
В слезах, горячке и тоске,
Сгорающий грошовой свечкой
На сумасшедшем сквозняке,

Он начинался возле дома
И был, рассудку вопреки,
Сухой, шуршащий, насекомый,
Взлетающий из-под руки.

И резал ухо непривычный —
Еще не стон, еще не крик —
Его застенчивый и птичий,
Свистящий шелковый язык.

Он мучил гриппом и мигренью
И, утешая невпопад,
Вскипал трагической сиренью
Возле калиток и оград.

В этом стихотворении, необыкновенно красивом, нежном, чистом, прозрачном, глубоком и животворном, сливаются в одно три потока времени: время года, жизни, любви; время историческое и культурное (хотя, повторю, для Майи Никулиной и Одиссей, и Катулл, и Хлоя живы, они – живые, и наши, и не наши, они архетипичны, это – архелюди, одновременно и конкретные, теплые, дышащие, и металюди («люди людей»), т. е. боги; для Майи Никулиной красивый человек – бог); вечность. Стихотворение полно чистой энергии молодости, страсти и неба, отраженного одинаково и в глазах, и в земных шарах винограда, вообще плодов, и в море. Поэзия Майи Никулиной обладает уникальной энергией, природа, характер и источники которой, конечно, – в таланте, в даре, в гении, который адекватен миру и всему, что видно и безвидно, но, несомненно, любимо.

«Имена»

* * *

Сохнет на камне соль.
Море о берег бьет.
В сердце такая боль,
Будто уходит флот.

Парусный, молодой,
Яростный, как тоска,
Выпростав над водой
Белые облака.

Просто глядеть вперед
С легкого корабля.
Он – еще весь полет,
Мы – уже все земля.

Нами уже стократ
Вычерпаны до дна
Суть и цена утрат.
Только теперь догнал

Юный несмертный грех –
Все мы в урочный час
Недолюбили тех,
Что провожали нас.

Стихотворение как итоговый текст во всей стихотворной и поэтической маринистике (от Гомера до Лермонтова, от Пушкина и Байрона до Мандельштама). Итоговый – значит еще и начальный, изначальный, оторвавшийся от предела. Здесь мысль является на диво эмоциональной, образной и музыкальной. (Следует отметить, что все стихотворения Майи Никулиной крайне красивы, но не избыточно: эта красота тождественна земной, отразившей зеркалом океана красоту остальную, окрестную – близкую и дальнюю.) Стихотворение является образцом русского поэтического говорения. Стихи молодые, яростные, мужественные.

«Душа права»

* * *

Страданий наших долгая надсада
Преобразилась в мужество и труд –
Так ветер принимает форму сада,
Кипящего и скрученного в жгут.

И так душа парящая моя
Вплетается в обычный ход событий,
В крест-накрест перетянутые нити
Единственной основы бытия.

Уже люблю свой многостенный дом
И чту его как суть свою и ровню,
Пока шумят деревья за окном,
И облака стучат дождем о кровлю.

Уже заметно, как сама собой
Над первым криком и последней глиной
Просвечивает грубая холстина,
И видно, как над крышей и судьбой

Легко восходит ясная звезда,
И в знак того, что не единым хлебом

Живем,
Светлеет длящееся небо,
Которым мы не будем никогда.

Майя Никулина редко, очень редко пользуется в стихах словом «душа». Это существительное – опорное, базовое, ключевое в русской поэзии. Это уже даже не слово, не просто понятие, семантика, это глобальный, глубинно-высокий смысл, который может существовать и существует без поддержки других слов и их значений (душа, например, – «такая-то»). (Кстати, Бродский утверждал, что именно он возродил в стихах, т. е. вернул в стихи, слово «душа»; да, согласен: Бродский вернул эту лексему в советскую и в современную литературу, в стихотворчество; действительно же субстантив (как и субстанция) душа всегда был понятием конститутивным для отечественной культуры.) В этом стихотворении поэт возводит свод, шатер, сферу, в которой может получить отдохновение душа, преувеличенная и возросшая страданием. Душе парящей нужен только свод небесный. Но и он невелик для нее: и душа восходит ясной звездой над садом, домом и ближним (к земле) небом, и длит его, продолжает, растит его, выращивает и наращивает силой своей, обновленной и укрепленной страданием, любовью, землей.

«Колея». Диптих «Севастополь», который впоследствии станет триптихом. Здесь, в «Колее» он состоит из двух стихотворений. Вот они.

«Колея»

Севастополь

1.

Вот только тут, где рядом хлябь и твердь,
Где соль морей съедает пыль земную,
Где об руку идут любовь и смерть,
Не в силах обогнать одна другую,

Вот тут и ставить эти города,
Не помнящие времени и срока,
И легкие счастливые суда
Причаливать у отчего порога.

Вон посмотри – весь в пене и росе,
Густой толпой, горланящей и пестрой,
Седой отяжелевший Одиссей
Несет непросыхающие весла.

Вот он идет по выбитой тропе,
Веселый царь без трона и наследства,

Рискнувший заглянуть в лицо судьбе
И на нее вовек не наглядеться.

О эта страсть, терзающая грудь –
Земля и море, встречи и утраты,
Последний дом, и бесконечный путь,
И белый берег, низкий и покатый.

Светло тебе, оставленный, сиять
И сладко сниться странникам немилым…
Земля моя, кормилица моя,
Какой печалью ты меня вскормила?..

2.

Попробуй оторви меня теперь
От этих бухт в сиянии и пене,
От августовских выжженных степей,
От моряков, погибших в Эльтигене,

От обелисков с жестяной звездой…
Ох, сколько их над миром засветилось…
Так время развело, что ни вдовой,
Ни дочерью – никем не доводилась.

Так годы развели и расстоянья.
Но с каждым часом горше и честней
Наследую великое страданье
От горя почерневших матерей.

И тоже признаю простую власть
Большой земли с полями и морями —
В горсти зажать, лицом в нее упасть,
Уйти в нее – цвела б она над нами.

Наследую последние права
Любить ее, покуда хватит силы,
И матерью ту землю называть,
Где отчий дом и братские могилы.

Сразу отмечу, что первое стихотворение в «Колее» завершается многоточием, которое в последующих изданиях превратилось в вопросительный знак с многоточием.

Первое стихотворение уникально тем, что каждая строфа в нем вполне самостоятельна, не автономна, но самодостаточна, как отдельный, цельный, связный и завершенный текст. Первая и вторая строфы,

в свою очередь, образуют восьмистишие, в котором сталкиваются двойчатки смыслов: любовь и смерть – пространством (суша – море) и временем. Третья и четвертые строфы срастаются во второе восьмистишие – портрет силы, вечной молодости, красоты и страсти, не дающей веслам просохнуть. Пятая и шестая строфы – это отдельные части поэтического звучания, музыки: стихотворение здесь – поэтический концерт (инструменты – время, стихи и душа, страсть, земля), концерт четырехчастный (редкая композиция в музыке скрипичной и симфонической). Но Майя Никулина это делает. Точнее, не делает, но улавливает, «услышивает», слышит душу, землю и стихии, когда, в свою очередь, душа слышит все, земля держит все, и море носит, как время, вечного странника. Великое стихотворение. Одно из моих самых любимых.

Бабья трава

Дыханием, желанием единым
Утрату одолеть и превозмочь,
Осилить два коленца соловьиных
И повторить торжественную ночь

С боярышником, тесным и пахучим,
В древесной влажнодышащей толпе,
Где мелким блеском, кратким и колючим,
Блестит кремень на выбитой тропе,

Где наши разноцветные палатки
Большим венком уложены в траве
Под берегом, где ласточки и лодки
Живут в таком стремительном родстве,

Что ты, устав от долгого ночлега,
От легковерных дружеских забав,
Перелетел по лодкам через реку,
Реки не расплескав.

Стихотворение, как и все у Майи Никулиной, живет на предельной скорости (и языка, и мысли, и ритма, и дыхания, и музыки, и силы-энергии: вообще стихотворение гениальное как perpetuum mobile, вечный двигатель, движитель и себя, и времени – в любую сторону, у Майи Никулиной – вперед и вверх). Стихотворение – движение: здесь поэтическая кинетика разрывает в клочья языковую, речевую и мыслительную (рецепторную тоже) гравитацию. В нем сливаются в одно три вида движения: душевное (одоление утраты), онтологическое (время, светила) и физическое (вода, хляби, путешествие, перебег по лодкам с берега на другой (яв-

ное эхо Мандельштамово, эхолалия «Разговоры о Данте»: скачки ума по смыслам, как по джонкам (лодочкам китайским) через реку (Янцзы? Где ласточки?)). Есть здесь и еще одно движение – «стремительное родство» как синтез всего живого со всем, что может быть и стать живым («лодки», «палатки»). Это стихотворение, как вода живая, оживляет, одушевляет и «острастивает», наделяет страстью все на свете. Волшебные стихи.

Между книгами «Бабья трава» (1987) и книгами «Стихи» (2002) и «Стихи» (2003) – 15–16 лет. В эти полтора десятилетия могла и должна была появиться еще одна (или две) книга стихотворений. Стихи, созданные в этот период, частично вошли в названные сборники, а также в первый том двухтомника. Из них я также покажу одно стихотворение.

Таскать корзины и бутыли
В подвал, в сухую темноту,
Руками, белыми от пыли,
Соприкасаясь на ходу.

Закончить день, вернуться к сроку.
Свечу задуть и дверь закрыть
И лечь, как лодки – боком к боку, —
О чем без света говорить…

Но видеть сны – поля, погоду, —
И утром, наклоняясь к гряде,
Даруюшего свет и воду
Молить о солнце и дожде,

Просить защиты и покоя,
Смотреть, как замыкая сад,
Деревья, мутные от зноя,
Как тень от облака висят,

Качая белую ограду…
Закрыть глаза и наконец
Любовь оливы к винограду
Принять как высший образец.

«Жить естественной жизнью» – Пушкин. У Майи Никулиной всегда был, есть и будет культ земли. Майя – поэт уникальный: она поэт и воздуха, и воды, и огня, и земли – одновременно. Причем ипостаси эти вполне равноправны. Это стихотворение полно жизни и ожидания путешествия, вернее, продолжения жизненного путешествия – путешествием иным (прахом в земле: земля – к земле; душой – всюду): отсюда люди земли ложатся, как лодки (боком к боку); они (люди) всегда готовы к отплытию

(ясно – куда) и видят земные сны, полные трудов и забот, которые и обеспечат им в грядущей вечности (хотя бы персональной, своей, родной) становление и старое-новое существование любовью оливы к винограду. Потрясающе просто. И невероятно глубоко-высоко и прозрачно ясно. Эти стихи и новые, которые появились уже после 2003 года, ничуть не изменились: они такие же молодые, стремительные и грозные. Грозные своей прямотой, чистотой и абсолютной честностью.

Новые стихи («Урал». 2010. № 11). В последние год-два Майя Петровна часто заходила-забегала в Союз писателей (Дом писателя), особенно тогда, когда мы записывали беседы с ней, и почти всякий раз приносила новые стихи. Светлые (и по дыханию, и по скорости все такие же стремительные), сильные и красивые. Вот одно из них.

Только вдруг, различив следы
Птицы, порхнувшей из гнезда,
Ты припомнишь, откуда ты
И зачем ты пришел сюда.

Только выскользнув из сетей
Переулков и площадей,
Перекрученных, – как чалма, –
Желтый – солнце и синий – тьма, –
Только выбравшись из тенет
Домотканых цветных трущоб,
Выйдя враз из пяти ворот,
Затворяющих гору,
Чтоб
Из других долин и времен,
Прикрывая ладонью взгляд,
Зажимая блаженный стон,
Обернуться на вечный град...

Так старик, большеротый гном,
Не скрывая дурной слезы,
Смотрит в меркнущий окоем
Нежной порченой бирюзы,
Не затем, что так хороша
И прекрасней не может быть,
А затем, что она – душа,
И другой ему не нажить.

И вновь (как и все у Майи Никулиной) стихи из Путешествия. Но стихи иные: поэтический тон Майи Никулиной всегда серьезен, очень редко в них мерцает улыбка, правда, так улыбаются глазами – улыбка гла-

зами, взглядом. В этом же стихотворении тон (тональность, интонация, речевая походка, нет – поступь) сверхсерьезен. Почему? Оказавшись на чужбине, душа, возможно, ощутила чужбину иную – главную? (Не хочется произносить это слово.) Душа – из других долин (русских), из других времен (каких?). И старик страшноватый, а может быть, чудаковатый, с дурной слезой в глазу, глядя в небесную бирюзу (порченную – как? чем? – временем, резцом?), смотрит в себя – в душу свою. Потрясающее стихотворение. Хореический анапест – суровый метр-ритм. Мужская сплошная рифма. Анжамбеманы. Мужественные, мужские стихи. Здесь не прямоговорение, здесь говорение внутрь – и глубоко! – всего, что может слышать. Клинковое говорение (как в военном деле – «кинжальный огонь», т. е. огонь на расстоянии прямого выстрела). В этом стихотворении – прямые слова, они прямее прямой речи. Это уже язык рока, судьбы, самой земли и природы.

Поэзия Майи Никулиной, как я уже отмечал, циклична. Но цикличность эта спорадическая (циклы иногда создавались не сразу – дописывались и составлялись сами так, как это должно было быть по суровым и точным законам поэзии и поэтической книги).

Майя Петровна любит Блока. Она обороняет от ругателей и ниспровергателей этого гениального поэта (хотя я считаю, что у нас было два Блока: первый – стихотворец, второй – гениальный поэт; первый написал – много, и это многое часто невнятно, смутно и, что греха таить, безвкусно; второй создал немного – но страшно, гибельно хорошо!). Мышление Блока, как известно и очевидно, является цикличным, точнее, его поэтическое мышление и выговаривание стихов (современники Блока свидетельствовали, что Александр Александрович произносил свои стихи как раз наоборот – сплошняком, почти без пауз так, как читают вслух газету). Возможно, здесь и не обошлось без влияния великого поэта, но я все-таки думаю (и – уверен), что цикличность поэзии Маий Никулиной – явление конститутивное и, что важно, системообразующее. Повторю: у Майи Никулиной нет слабых стихов. Каждое ее стихотворение – это духовный поступок. Тогда каждый из восьми циклов обязан выражать и отмечать нечто сверхважное, абсолютно глубокое-высокое и тотально духовное. Если стихотворение – поступок, то цикл – это целая деятельность, это уже не поступок (шаг, прыжок, полет, падение), а поступь (или неокончаемый взлет, путь без конца). Цикл стихотворений в силу своей арифметической, а затем и геометрической прогрессии роста энергии и смысла есть тот самый Паскалев круг, центр которого нигде, а окружность везде.

Циклы создавались в разное время жизни, судьбы и поэзии. Перечислю их: «Танец» (4 стихотворения); «Севастополь» (3 стихотворения);

«Письма» (6 стихотворений); Без названия (первое – «Надо же сраму такому случиться…»; 3 стихотворения); «Катулл» (5 стихотворений); «Г. Ш.» (5 стихотворений); «Разговоры со степью» (8 стихотворений); «Днестровский лиман» (4 стихотворения). К данному ряду циклов можно также отнести длинное стихотворение (с поэмно-эпической интонацией) «Объяснительная записка» (208 строк). Всего 38 стихотворений и 1 стихотворение-поэма. Набирается на целую книгу. И такую книгу необходимо издать, т. к. эти 39 стихотворений суть ключевые номинаторы и выразители судьбы поэта, жизни и судьбы, души человека-поэта Майи Никулиной. Никулинские стихотворные циклы – это не просто тематические единства текстов, они сердечно, интеллектуально и душевно значимые для поэта поэтические комплексы, системы, если хотите, друзы поэтико-кристаллических образований. (По Майе Никулиной, стихотворение растет, как кристаллы. Значит, циклы стихотворений – это текстовые совокупности, появившиеся на свет как друзы горного хрусталя.)

Если внимательно прочитать все, написанное и созданное Майей Никулиной, взглянуть на ее стихи, прозу, публицистику, научную прозу и литературную критику с точки зрения порождения мысли, то окажется, что Майя Никулина как человек, личность, художник, мыслитель и поэт обладает, как человек эпохи Возрождения (Леонардо да Винчи), универсальным мышлением и, безусловно, комплексной, универсальной языковой и текстовой способностью.

Циклы стихотворений также являются организаторами, концентраторами и выразителями различных и/или всех сторон сложнейшего никулинского хронотопа (время – место). Прежде всего ясно, что пространство и время у Майи Никулиной неразрывны, но автономны: иногда место не нуждается во времени, но время всегда прирастает к определенной точке пространства. Если место называется точно и определенно (Тира, Севастополь, Херсонес, Балаклавское шоссе, страна (Россия), горы, долины (Урал, который никогда не номинируется прямо: именование происходит опосредованно через камень, лес и т. п.), море, река, Крым (создается странное впечатление, что Урал и Крым в сознании поэта существуют неразрывно, в цельном единстве); Греция (Древняя) называется (указывается) также не прямо, а антропонимично (Одиссей, Дафнис, Хлоя); Рим (Древний) – то же самое (Лесбия, Катулл); и главный номинатор места («оператор») – «земля», земля вообще, земля вся, земля как мать и твердь, и суша, и берег, и остров, и город, и страна, и сад, и дом, и огород, и растительный мир (животных в стихах немного: птицы, олень), широкий антропомир – люди (их очень много: и незнакомцы, и общеизвестные Шуберт, Моцарт, Шопен, и друзья Г. Шнайдер, Ю. Казарин – указание и

наименование посвящением и т. д.)), – итак, если место у Майи Никулиной определено, то время для поэта сущность более вольная, самовольная, неуправляемая – свободная. Время историческое – явно циклично.

Хмельной Катулл по городу идет…
Он болен, хмур, он долго не протянет…
Хотя еще влюблен, еще буянит
И даже плачет у ее ворот.

Спалит свои тетрадки сгоряча,
Шальной бокал невесело пригубит…
– Ах, Лесбия… она тебя не любит…
Она других целует по ночам.

Еще не так, не крайняя беда…
Ну, закричишь, ну, бросишь в реку камень –
И всхлипнет ночь, и поплывет кругами
Большого Тибра темная вода.

Сомнет траву у дальних берегов…
И мир другой, и песни не похожи…
Но точно так же весел и тревожен
Дремучий воздух вечных городов.

И люди умирают от забот,
И кони задыхаются от бега,
И вздрагивает старый звездочет,
Поняв судьбу измученного века.

Вчерашние веселые бои
И завтрашний, последний и кровавый…
Какой рассвет сегодня небывалый….
О римляне, о смертники мои…

Катулл прежде всего воспринимается как время, которое идет по городу, то есть пересекает, пронзает пространство. Безусловно, здесь историческое время явлено, утверждено и выпущено на волю. «Измученный век» (на излете Римской империи) глядится в темные воды (физическое время – пространство!) Тибра, то есть в зеркало пространства. Так и есть: время и пространство зеркальны, хронос и топос поочередно смотрятся друг во друга, и, видя, себя, ужасаясь или восторгаясь, наблюдают своего визави, замечая и в нем страшные или чудесные изменения. Хмельной Катулл по городу идет, – а на дворе, на улице – Россия: это Кабаков, Верников и Казарин идут по Екатеринбургу, это Блок идет по Петербургу, это Пушкин идет по Москве, это Иванов Иван Иваныч идет по Сысерти. Они

идут и вдыхают «дремучий воздух вечных городов» (гениальное поэтическое определение состояния исторического времени!). Круг замкнулся: Катулл – Кабаков (Сергей, Серега) – чудо состоялось, цикл времени освоен, вербализован и стал частью литературы, поэзии, культуры.

Время земли тоже циклично (времена года: осень – зима – весна – лето – осень…), и этот временной круг земли впускает в себя круг исторического времени.

Любовь к земле, вскормившей белый свет
И солнцем озарившей наши лица, —
Покуда это множится и длится,
Душа права, и смерти в жизни нет.

И смерть права.
И, вспомнив наконец
Слепой предел судьбы своей скудельной,
Легко самоуверенный певец
Переложил на голос плач свирельный.
И не узнал. И вздрогнул. Потому,

Что вдруг один в прозрении опасном
Увидел мир чужим и неподвластным
Ни доблести, ни делу своему.

Так гордый Рим, тоскуя по Элладе,
Не мог ее осилить и понять,
Так тяжкий дух, лишенный благодати,
Не знает правды и не может знать.

Но слышит боль.
И боязно душе
Счастливо разместиться в звуке тесном,
И слово не вмещается уже
в напеве допотопном и прелестном.

И музыка свершается одна.
И мука кровью горло обжигает,
Потом грудная жаба донимает,
И красота, как заговор, страшна.

На форумах бесчинствует молва.
Лихое семя древний город губит.
И хлеб не свят. И правда не права.
И Лесбия тебя уже не любит.

Время земли («Любовь к земле, вскормившей белый свет…») содержит в себе время человека, время любви, время мысли, время страдания – время всего на свете («И смерть права», «и душа права»). «И смерти в жизни нет» – вот переход из цикла земного времени (точнее его включение) в вечность! И душа размещается «в звуке тесном», «и музыка свершается одна», «и красота страшна». Красота уводит все времена в вечность. Вечность – понятие условное, но сущность – безусловная. Вполне ощутимая, но непредставимая. Потому что мы и есть она – мы и земля.

Время России – это время жизни, любви и смерти. Оно совмещает в себе время историческое (война, Севастополь, Победа), время мировое («Древнегреческая Колыма» – исторически – в России, до сих пор в нашем русском сознании, и это не реваншизм, а историческая картина мира России – единая и неделимая) и время земли (адекватное, по Майе Никулиной, вечности).

Попридержи себя, не торопи,
Не обольщайся истиной бесспорной –
Ты черный сторож на краю степи
У закромов ее нерукотворных.

Она кругом шевелится во мраке
И множится.
Уже со всех сторон
Возносится и мечется во прахе
Незримый муравьиный вавилон.

Разрушенная птичья колыбель
Вросла в песок и повторилась летом.
Сейчас она зайдется синим цветом
И втянет в неумелую свирель

Скорлупный треск,
И мотыльковый шквал,
И долгий крик:
– Ох, матушка, доколе?..
И обернется говорящим полем
Рокочущий и страшный сеновал.

Гениальное стихотворение. Когда ко всему циклу, особенно здесь силен двойной (как у Вивальди (Бах потом научится такому финалу именно у него, транскрибируя итальянское барокко – Марчелло, например)), удвоенный финал: «свирель» и «сеновал» – третья и четвертая строфа, где тебя (со временем и памятью) со степью, – степь втягивает в сви-

рель и делает тебя совокупным, общим звуком, а затем – одновременно – воскрешает на сеновале скошенную плоть свою и заставляет – после смерти, – разрешает говорить. Как стихи после смерти поэта. Рокочущий, заговоривший – страшно – сеновал, – это чудо времени земли, чересполосного времени погоды, сезонов и труда насекомых, зверя и человека, – труда земли. Время земли заговорило. Так и должно быть. В этом цикле («Разговоры со степью») все стихи замечательны, но одно из них просто чудесное (№ 5) – «Все горец птичий, все кукушкин лен…».

Все горец птичий, все кукушкин лен,
Все таволга, да заячья капуста
Нежней, чем тихо, и тесней, чем густо, —
И до, и после, и со всех сторон,
Все мятлик, мята —
Все шуршит, летает,
Все гонит цвет и сыплет семена
Рожает, забывает имена,
И дыры допотопные латает.

Все хмель, цикорий, дикая горчица —
Потатчица, прощальница, тоска,
Знахарка, топяница, сушеница —
Трухой в ладони, лесом у виска…

Да чем она, несмертная сыта,
Чем кормится в заботе невеликой —
Все донник, журавельник, повилика,
Крапива, чернобыльник, лебеда…

Вот – имена Земли и времени земли. Чу́дные и чудны́е имена: сама степь породила их, и, назвав себя степью, поименовала детей своих – самых красивых, умных и верных. Имя травы. Имя цветка. Имя жизни. В них таится имя времени земли, да и самой земли. Никто не знает и не помнит ее имени, потому что оно множественное, повсюдное, потому что оно – и твое имя! Поэт Майя Никулина делает это открытие – уверенно, спокойно, достойно и точно. Поэзия Майи Никулиной вообще абсолютно эвристична: в ней нет ни одного банального слова и строки, это чистая поэзия в свое прямой номинативной функции.

Поэзия Майи Никулиной «увязывает времена» (цикл «Днестровский лиман»).

Ох, матушка моя, хохлушка и кацапка,
Таврических степей двоюродная бабка,
Куда как ты зимою хороша.

Вольно тебе равниной расстилаться,
Вольно тебе полгода умываться
Снегами из небесного ковша.

К лицу тебе холодные светила.
Куда ж ты, бабка, внучку отпустила —
Под эллинов, под мраморных богов.
С больших ступеней Крымского нагорья
С разбегу в бездну Средиземноморья,
Под сень благословенных парусов.

Легко тебе, кормилица благая,
И к северу, и к югу напрягая
Рожденные тобою племена,
Катить свои медлительные реки
И крепкой ниткой из варягов в греки
Увязывать моря и времена.

Это – ода земле (хочется сказать, взяв нотой выше: «Се – ода Земле!»). Ода в форме обращения. Обычно обращение к грандиозным явлениям (к земле, к небу, к богу, к погоде, к времени и т. п.) риторично. У Майи Никулиной же здесь все чистое золото: она как человек, поэт и как сама земля слиянна с землей родной и общей для всех.

Есть в этом цикле замечательное стихотворение «Тира». Если первое в цикле стихотворение написано шестистишиями («русские» секстины), то «Тира» композиционно и дискурсивно сложнее: здесь две секстины (Греция!) разделены и закрываются русскими четверостишиями («французскими» катренами – Россия), причем первое с перекрестной рифмовкой, оно как бы и расталкивает секстины и связывает их одновременно, крестя их рифмой; а второе с рифмовкой опоясывающей, окольцовывающей, то есть опять же повторяя общее строфическое строение всего стихотворения в целом. Уверен, что Майя Никулина сделала это и именно так – интуитивно (как Блок и Мандельштам). «Древнегреческая Колыма» – (!) Овидий (в ссылке) – счастливец: его «Скорбные элегии» – это плод счастливых страданий его. Каждый поэт мечтает об уединении. Решетов мечтал о доме и о жизни в деревне. Пушкин лучшее создавал в деревнях своих (Болдино). Лермонтов, как Овидий, но Овидий воительный, писал в кавказской ссылке и на войне. Мандельштам – в Воронеже. Ахматова – по чужим углам и в Комаровской будке. Цветаева – по чужим домам и странам; и покончила с собой в чужом крестьянском доме, находясь в эвакуационной – гибельной – ссылке. Современники наши забираются на дачи (Русаков), пропадали («отдыхали») в домах творчества (Тарковский). Иные же думали свои стихи

в лагерях и тюрьмах (Даниил Андреев, Шаламов). Майя Петровна каждое лето проводила в родном Крыму, на древнегреческой Колыме, а на Урале – часто и подолгу живет в деревне, поливает деревья, кустарники, цветы и грядки. Думает стихи.

В «Тире» увязываются вещи более эфемерные, нежели «моря и времена» (оппозиция сложнейшая, поскольку море тоже есть время, может быть, материализованная часть времени, вечности («время – течет»); однако море есть также и часть океана и часть суши, покрытая водой и являющаяся дном морским, хранящим память и «геотектоническую», и «биотектоническую»). Здесь временем слова (а это время – о-словленное – есть время и деятеля, и самого дела) связаны и пространства, и времена, и время души (бессмертной?). «Тира» – вообще сгусток времени, окаменевшего, но до сих пор болящего (Колыма). Время печали. И словосочетание «грозные вехи» здесь остается в глубине лексического массива, точнее, где-то за ним, – и все еще тем не менее мерцает грозно и печально. Такова грозная печаль.

Цикл без названия (из трех стихотворений), по первому стихотворению – «Надо же сраму такому случиться…» – это самое таинственное творение Майи Никулиной (ну, одно из самых). Здесь явная (и явленная: безымянный, ненареченный, сначала и безместоименный, а потом «он», «вы», «ты», сравнение «тебе, как брату» – и в прямом монологе героя – «я») тайна. Таинственность, загадочность, энигматичность – первичное, природное качество поэзии.

1.

Надо же сраму такому случиться –
Встал над душою у всех на виду
И закричал, как подбитая птица –
Бабе сподручней жалеть сироту.

Сладко ей верить, что он, помирая,
Только и ждет ее жалких щедрот.
Если последний кусок отбирает,
Значит, уж точно, родню признает.

Да на такую обычную муку,
Да на такую беду налетел –
Как перед светом смертельной разлуки
Пообещать ничего не сумел.

Только кричал кукушонком нежданным –
Коли голодный – уже не в долгу…
Пусть будет сладок твой хлеб окаянный…
Покараулю, сколько смогу…

2.

Все ваши соловьиные затеи,
Все шепот, волшебство да колдовство….
Ты маленький, и я тебя жалею
И больше не умею ничего.

Я всякий грех прощу тебе, как брату,
Я доживу и страшно, и легко.
Я знаю все, покуда знаю правду:
Все – черствый хлеб. Ты – мед и молоко.

3.

Из какого ты царства приехал,
Доконал удалого коня,
Не за радостью, не за утехой…
– Посмотри, – говоришь, – на меня.

Я летел, времена обгоняя,
Я не помню ни ночи, ни дня…
Посмотри на меня, дорогая,
Все равно посмотри на меня.

Не всесилен же я и не вечен,
Не всегда мне дышать над тобой…
Ничего я тебе не отвечу.
Ничего у меня за душой.

Разве только случайное право
Пощадить и потом пожалеть…
Мы как жизнь и посмертная слава –
Нам друг другу в глаза не глядеть.

Отношение поэта к «кукушонку нежданному» трудноопределимо: здесь и жалость (бабья), и нежность (женская), и сочувствие (человеческое), и любовь, но любовь зародышная, еще в семени, не проросшая (но земля-то готова принять это семя!), и презрение, и отторжение, и… и т. д. (Такая модальная, эмоциональная, психологическая, интеллектуальная и духовная неопределенность – чисто русская черта, вспомним: «Я вас любил…» Пушкина, – нельзя точно сказать-интерпретировать-понять, – любит ли герой Ее (их? его? нечто?), не любит, разлюбливает, влюбляется заново, тянет время и душу, мучает себя и ее и т. д. и т. п.). Зато финал цикла однозначен: «Мы как жизнь и посмертная слава – нам друг другу в глаза не глядеть…». Майя Никулина – мужественный и сильный человек и поэт. Этот цикл грозен. Поэт здесь грозен и по от-

ношению к объекту, и к себе, и к тому сгустку чувству (как к сгустку крови), который отдает и трагедией и даже оттенком угрозы – грядущего наказания («жизнь и посмертная слава» не дотянутся глазами друг до друга). Страшные стихи. Странный, щемяще-загадочный – и жалобный, и грозный – тройной вскрик тремя стихотворениями. Самый потаенный (и интимный, как личное письмо обиде своей) цикл стихотворений Майи Никулиной.

Цикл «Письма» – это семь поэтических посланий. Адресаты угадываются, но я их не назову (так же, как и героя безымянного цикла, начинающегося со стихотворения «Надо же сраму такому случиться…»), правда, на одного из них Майя Никулина в одном из очерков указала сама: седьмое письмо – Решетову.

Экое дело –
Нам на беду
Птица белая
В голом саду.

В перышках редких
Трепет живой
С розовой ветки
Вниз головой.

Жалкого праха
Теплый комок,
Ласковой птахи
Вечный урок.

Что же ты вперил
Очи в нее,
Словно поверил
В сердце свое?

Водишь руками –
Крыша, окно,
Дерево, камень, –
Точно, оно.

Дерево, камень,
Истина, дом…
Маленький ангел
С пестрым крылом.

Все поэтические письма и послания Майи Никулиной к неизвестным лицам представляют собой стихотворения, характеризующиеся по-

вышенной энигматичностью. Интимная природа таких текстов Майи Никулиной силою ее таланта и абсолютного любовного слуха, зрения и интуиции чудесным образом превращаются в природу и характер интимных (не в бытовом, но онтологическом смысле) отношений с миром. Поэтическая интимность Майи Никулиной – онтологична насквозь: боль персональная становится болью воздуха, земли и всего на свете. Стихотворение о птице-«маленьком ангеле с пестрым крылом» (соловей? пеночка? одна из 40 разновидностей овсянок?) выражает прежде всего то место, и ту почти пустоту («в голом саду»), которые остались после ухода времени. Утрата времени. Утраченное время. Стихи мужественные, прямые и честные о том, чего уже не может быть; без каких-либо фантазий о том, могло бы *это* быть, и о том, *как* бы *это* было. Это – значит любовь. Это – значит жизнь. Это – значит судьба. Птичка поет: не судьба. Несудьба.

Майя Никулина – человек земной, а поэт – небесно-земной. И морской. И степной. И горный. Как человек и как поэт Майя Никулина (я это знаю) всегда чувствует и крепит, и осуществляет внутреннюю связь с теми, кто ей дорог. Поэтому Седьмое письмо («Птичка запела…») – это прежде всего внутренний монолог, который должен быть обязательно, непременно услышан адресатом. Это не мистика и не парапсихология, и не ясновидение, и не колдовство (хотя… это – и то, и другое, и третье, и остальное отчасти), это – прямая, непосредственная ментальная связь поэта с поэтом (не телепатия, а куда мощнее, непредвиденнее и постояннее). (Признаюсь: мы с Майей Никулиной снимся друг другу. Почему – другой вопрос. Но снимся. Объяснений много. Но главное – наличие той самой вибрационной связи (поэт всегда чувствует другого поэта, где бы он ни был: Гандлевский в Москве, Кублановский в Сорбонне, Верников в Екатеринбурге, Леонтьев в Санкт-Петербурге и т. д.), связи, которая то усиливается, укрепляется, то ослабевает, но пребывает неразрывно постоянной. Однажды мы с Майей приснились друг к другу в одну и ту же ночь. И вот – ей посвященные стихи – по этому странному для всех и обычному для нас поводу.)

М. Никулиной

Так холодно, что снится
Сама себе синица,
И это снится мне…
Так холодно во сне –
Чужом, большом, громоздком, –
Что вспыхивает мозгом
Воздушный шар зимы.

Где пара мыслей – мы:
Синица и прохожий,
На дерево похожий,
Растущее из тьмы,
А на плече – синица,
Которой бездна снится,
Которой снимся мы…

Стихи без посвящений, но посвященные конкретному лицу – самые загадочные, и частная загадка у Майи Никулиной всегда превышает свой уровень неопределенности и превращается в онтологическую (бытийную) энигматичность.

Повторю: поэтическое мышление Майи Никулиной разнообразно, и цикличность – не единственный способ поэтического погружения в мир и поэтического освобождения от персональной гравитации, притяженности к какому-либо предмету.

Майя Никулина – поэт. Истинный поэт. Но как крупная личность, как большой человек она умеет совмещать поэтическое, литературное затворничество (хотя бы на час, на день, на неделю) с социальной активностью. Майя Петровна никогда не отказывается кому-либо помочь, не избегает публичных выступлений (которые она, прямо скажу, не очень любит), постоянно сотрудничает с Музеем писателей Урала, вообще с музеями, с библиотеками, школами, с Домом писателя, СМИ и т. д.

Сама Майя Никулина, говоря о Решетове, невольно автоидентифицируется и дает определение творческому поведению (и своему тоже) поэта, литератора, вообще человека: «Единственный способ жить – это быть самим собой, иначе не стоит и начинать. Жить самостоятельно трудно всегда, безупречная самостоятельность – редкость, удел посвященных, тайна». И опять о Решетове, но и о себе: «Никогда не требовал особого отношения к себе, не унижался до сведения счетов, не обижался на время, родину и народ, понимал, что за отрицанием всегда стоит невежество, не кичился ни своим даром, ни своими утратами, говорил то, что думал, делал так, как говорил… Человек на все времена – всегда человек не ко времени…».

И здесь оказывается крайне интересным следующее: гений – явление, состояние и процесс, имеющие дуалистический характер. Двойственность (для Майи Никулиной вообще множественность) и спасает (одно поддерживает второе), и позволяет действовать без интервалов и перерывов вечно, – конечно, в рамках своей человеческой бесконечности, вечности и беспредельности. Майя Никулина является «человеком на все времена» (это бесспорно) и одновременно «человеком не ко времени»:

ее стихи пока страной (всей страной) не востребованы – они не ко времени; но ее поэзия на все времена, как и главные ее работы, исполненные в «двойной» прозе – литературной и научной. Майе Никулиной и легко, и невероятно трудно, тяжело нести такой двойной (не крестообразный ли) груз, предмет, массу своего дара, таланта, гения, который и окрыляет, и убивает. Знаю, как ей нелегко. Вижу, насколько достойно и продуктивно такое ее состояние.

Майя Никулина также говорит (и это крайне важная мысль): «Существует естественная и совершенно искренняя привязанность человека к родному краю, существует связанная с надеждой на исцеление вера в спасительную силу природы, но редкие люди могут любить землю, как живое существо, тосковать и болеть без нее и умирать в разлуке с нею. Это не тема природы и не пейзажная лирика, это главная любовь в жизни, это все обо всем… Это преданность делу, только потому, что дело – тоже любовь и служение земле». Великая мысль. Все сказано прямо. И не оценочно. Это не утверждение и не пролегомены к закону жизни, слова, дела и любви – это сам закон, сформулированный кровью.

Творец всегда и во всем интуитивен, то есть делает то и так, как этого требует кровь, душа, инстинкт (а душа, по И. Канту, В. Далю, П. Флоренскому и в целом по канонам русской философии, – это рацио, здравый смысл, основные инстинкты, воля, интенция (главная направленность деятельности личности на нечто доброе/недоброе, светлое/темное и т. д.), интуиция, предвидение, ясновидение и др.). Могу утверждать, что Майя Никулина живет душой.

Душа убывает легко,
Не слышно, не видно.
Летает не так высоко…
Да ей не обидно.

Душа убывает, как свет
Июньский, приветный.
Редеет и сходит на нет…
Да ей не заметно.

Узрела заоблачный знак
И срока не чает…
Не больно, не стыдно, никак
Душа убывает.

Ничего подобного по силе, по ясности и точности в словесности нет. Ни в русской, ни в мировой. Так сказать и такое сказать может только

Майя Никулина, поэт и человек земли. Такое выговаривается только землей (кровью, камнем, водой) и самой душой. Душа бессловесна, у нее иной, тайный язык, внятный только свету, земле, воздуху, небу, огню (и нужно быть ангелом-хранителем всех стихий, чтобы произнести нечто подобное), и этот тайный язык способен восприниматься и воспроизводиться только поэзией и музыкой. Звук (нота) и слово – толмачи: они переводят сей язык в нашу речь, не называют уже названное землей и душой («Богом»), а транслитерируют, фонетизируют чудовищно глубокие, высокие и беспредельно широкие смыслы.

У Майи Никулиной великая душа. Безмерная. Она и позволяет поэту, женщине, гражданину, писателю, исследователю, мыслителю-мудрецу быть и заниматься сразу многими делами, которые, в сущности, есть дело одно – целое, цельное и неделимое. Душа любит Майю. Доверяет ей. (Мы доверяемся душе и доверяем ей, она же доверяет не всем, а иногда просто уходит из человека, который не живет жизнью и судьбой, а потребляет их.) Майя Никулина – сплошная душа, особенно когда она думает и говорит о России, о Родине. Когда живет (всегда) и страдает любовью к Отчизне.

Здесь я позволю себе привести ряд высказываний Майи Никулиной об истории отечества, о России (из интервью, взятого Ириной Клепиковой для «Областной газеты»).

Майя Никулина об истории России и об отношении к истории должном: «Как в разные времена русский человек относился к своему Отечеству? В русской литературе это зафиксировано, рассказано, описано, воспето многократно. Начиная со «Слова о полку Игореве», где – помните? – «за землю русскую, за раны Игоря…». В сущности «Слово…» даже не столь призыв к объединению, это песнь, плач, воззвание. О своей земле. Вспомните, какая она у автора?! «Своя». «Родная». «Красавица». Встать за нее стеной, любить с ней друг друга – ничего больше не надо! Таков пафос «Слова…».

Дальше – XV век, Афанасий Никитин с его «Путешествиями…». Никитин объездил экзотические, совершенно сказочные страны, а возвращаясь назад, пишет: вот такая-то земля – красивая и другая – всевозможными красотами и благами наделена, а русская земля… И после паузы – «нет другой такой на свете. Боже, храни ее, храни. Хоть князья живут немирно, хоть несправедливостей много – Боже, храни ее, храни…». Вот отношение русского человека к русской земле!

Когда такое отношение в каждой душе «пламенем горит», тогда мы и становимся народом, тогда наша независимость обеспечена, потому что жизни своей никто не пощадит, дабы родная земля жила. По клас-

сическому российскому, традиционному представлению, земля – она все: мать, Родина, Отечество, семья, любовь… Все едино. Когда я встаю за свою землю, я защищаю не только ее, но и свое, своих детей будущее. Так ощущали себя россияне на Куликовом поле. И на Бородинском – тоже…

Шагнем дальше. XVIII век. Тредиаковский, «Россия-мать и свет мой безмерный…». Опять нет другой и большей любви, чем любовь к Отечеству. Во всей литературе XVIII века – Ломоносов, Державин – у всех только так. Вплоть до Пушкина, провозгласившего: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия…». Какая гордость!

Но и гораздо ближе к нам, у современников-соотечественников можно встретить такие чувства. Вспомните мальчиков, погибавших на полях Великой Отечественной: «Не до ордена – была бы Родина…». Совершенно то же чувство. Воевать до последней капли крови, жизни не щадить – во имя Отечества! Заметьте: тогда не произносили слова «независимость». Это подразумевалось.

И сегодня я думаю: если в душе нашей пребудет то чувство, о котором писали Афанасий Никитин, Пушкин, мальчики Великой Отечественной, – нечего беспокоиться о России, ее суверенитете и независимости. Однако именно сегодня есть очень серьезные основания для беспокойства. Когда молодой, здоровый, симпатичный человек, научный сотрудник, говорит мне, что он уезжает из России, потому что «там ему заплатят больше, чем здесь» – это страшно!»

В этих словах Майи Никулиной выражается (модально) уже не беспокойство, не призрак страха и боли за Россию, а сама боль. Думаю (и замечаю это постоянно), что процесс расчеловечивания (утрата сознанием Центра жизни, существования и мироздания в целом) сопровождается гибельным для души явлением денационализации, деэтнотизации сознания. Этнокультурные единства, группы и т. д., объединяясь сначала в население, а затем в толпу, как это ни парадоксально, не способствуют укрупнению культуры, а производят ее распад. Распад на несколько сфер, центрами которых являются шоу-бизнес, телевидение и СМИ. Словесности, а значит мышления, познания, страдания там нет и не будет. Мышление (и сознание) человека абсолютно лингвистично, языково. Нельзя мыслить танцем, кинокартиной, вообще картинкой – они не называют, а показывают готовый к потреблению образный товар. Вот и все. Визуализация раздавит левое полушарие головного мозга человечества – его понятийную способность. Голова человечества скособочится вправо, а правое полушарие может бесконечно поглощать картинки самодвижущиеся. Боль здесь, вообще боление не от того, что литература помрет

(она останется, пока есть поэзия, а поэзия есть сущность вечная и неизбывная), а от того, что пошлость поедает человека.

Майя Никулина о проблемах расчеловечивания: «9 Мая нам показывают по телевидению сюжет, где в череде интервью о блокаде Ленинграда выдержавшие ее старики рассказывают, как это было, а потом слово берут молодые, и девять из десяти говорят: да нужно было сдавать город, зачем было отстаивать его такой неимоверной ценой? – это тоже страшно. Очень страшно. Делаю скидку на возраст, на обстоятельства времени, сформировавшие молодых. Понимаю: то, что произошло в 1980–90-х годах, все это переустройство государства, смену ценностей, молодому человеку адекватно осознать трудно. Нам, старшему поколению, в этом смысле легче. Мы – из поколения победителей. Я живой памятью помню войну. Всю жизнь мы себя ощущали, образно говоря, младшими солдатами в этой армии – сыновьями и дочерьми Отечества. Мне даже один из молодых авторов сказал: «Ну, вам хорошо – вы войну помните…» Позавидовал! Но дело-то в том, что мы помним, чего стоила Победа. А еще мы свято верили, что именно так и надо поступать – не жалея собственной жизни во имя Отечества.

За нами – великая история. Героическая! Не знаю государства с равной по трагизму и величию Историей. Это надо помнить. И категорически никому не уступать. История – наше богатство, наше достояние. Так должно быть, должно чувствоваться каждым. Как, спросите, этого добиться? Да начинать надо с младых ногтей, с молока матери. Нелишне вспомнить, как это было в советское время. Мы, дети, сами голодные, дистрофики, а шли помогать семьям погибших – дров натаскать, воды принести. Никто не заставлял. Это не было результатом идеологической обработки. Мы помогали вдове погибшего, потому что прекрасно понимали: ей досталось больше, чем нам. Ее страдания больше…

Такое воспитание – гражданина, патриота, соотечественника – возможно и сейчас. Нужно только поверить, что возможно. Это во-первых. Во-вторых, знать свою историю. И категорически не допускать того, что с нею делают сейчас. Категорически!

Когда по центральному телевидению один из ведущих журналистов заявляет: «Если бы не было американской помощи, еще не известно, чем закончилась бы для Советского Союза, для России война». Да что же это такое?! Есть же цифры, статистика – количество танков, самолетов с той и другой стороны… Но дело даже не в цифрах. Победа была неизбежна. Другого не могло быть. Это было предрешено воспитанием, самосознанием народа.

Слава Богу, нашему народу свойственно в час испытаний сплачиваться, вставать единым духом. Вспомните «Волоколамское шоссе» Бека – об обороте Москвы, а это самые трагические, чудовищные моменты войны. Как командир воспитывает там своих солдат? «У тебя дети есть? Мать у тебя есть? Ты хочешь вернуться домой? Вот ради этого ты должен подняться в атаку. Это все – твоя Родина…». Или «В окопах Сталинграда» Некрасова. Другая страница войны, но то же отношение к Родине как к святыне. И война – народная, потому что нет больше на свете другой такой – родной, любимой, святой – Отчизны. «Погибну – лишь бы она жила!..»

Так было. Нельзя говорить полуправду или четверть правды. Это хуже вранья. Да, у нас были тяжелые, трагические, страшные моменты. Но в нашей Истории нет страниц, которые стыдливо нужно прятать от своих детей.

Я работаю в школе и вижу: к сожалению, все реформы нашего школьного образования решительно «пропалывают» гуманитарные предметы. Убеждена: в основе образования должны лежать отечественная история и великая отечественная литература. А у нас на первом месте – компьютеризация и английский язык. В российской-то школе! В свое время я знакомилась с образованием во Франции – сидела на уроках, изучала школьные программы. Вот пример. Когда детям рассказывают там про Наполеона – на нескольких, многих (!) страницах учебника речь идет обо всех его реформах, победах, величии, честолюбии, блеске военной стратегии, проявившейся в походах. Но вот армия Наполеона идет в Россию, и об этом в учебнике, в трех с половиной строчках сказано: «…и только страшные русские морозы заставили великую армию повернуть назад». Представляете! Наполеон-де не потерпел поражение в России. В школе об этом не говорят. Маленькое умолчание. Зато сохраняется уважение к великому полководцу.

…Самая безумная печаль (воистину – «за державу обидно») – это разрушенные в годы перестройки отношения человека с землей, со страной, в которой он живет. Эту землю должно любить. Должно! Обратитесь к нашему фольклору – песням, сказкам. Еще там предками нашими сказано: связь с родной землей – залог твоего человеческого благополучия. Если у тебя с родиной полное взаимопонимание, твои отношения с родителями, с семьей, детьми – все приложится. Это – следствие. Главное – отношения с родной землей. К сожалению, мы разрушили это главное. Эту землю оплевали до такой степени, что стало престижным ее не любить. Хотя было, есть и будет – нет большего счастья в жизни, как любить свою Родину. Нет! Именно на Урале это отчетливо слышно, заметно. Это – ос-

нова уральского мировосприятия, уральского мировоззрения, которое сформулировано раз и навсегда еще в «Малахитовой шкатулке»: не бывает отдельного от родной земли счастья. У Бажова это черным по белому. Так что «Малахитовая шкатулка» – не просто сказы. Она учебник жизни, твоих отношений с малой и большой Родиной. Только – открой, вчитайся. Задумайся…»

Здесь комментарии не нужны. Все, как и в стихах, сказано Майей Петровной прямо.

Майя Никулина о возможности разрешения проблемы образования, воспитания: «Но начинать надо с учителей, с родителей. Недавно я делала обзоры литературы в школе. По всем классам – с первого до одиннадцатого. Вспоминала события войны, а к ним «подверстывала» рассказ о литературных произведениях. Что говорить, наша литература о войне дорогого стоит. Она не просто документ времени, а Литература. Как это слушалось, как воспринималось! Но беда в том, что именно эти произведения не включены в школьную программу. Более того, некоторые учителя сами уже многого не читали из этой литературы, поскольку в свое время тоже учились по «прополотой» программе. Так что надо действительно с них начинать. С учителей и родителей. А еще лучше – с воздуха вокруг. Надо «надышать», организовать атмосферу любопытства к собственной истории, гордости за нее, чтобы вдыхался этот воздух сам собой.

Кстати, именно на Урале это легко сделать. У нас в этом отношении ситуация лучше, чем в Москве или Санкт-Петербурге. Наши дети в школе не говорили, что лучше было сдать Ленинград врагу в годы войны, чем платить такую дорогую цену за независимость. Ни один не сказал! И сочинения, которые они писали в преддверии Дня Победы, – это подлинное уважение к своей истории, гордость за наш подвиг в войне и Победу. Это написано сегодня. Нынешними детьми.

К сожалению, современная литература работает исключительно на развлекательность. Телевидение тоже. Ссылаясь при этом на запросы зрителей, читателей. Но! Вспомните недавний Парад Победы. Обратите внимание, какой момент, по общему мнению, был самым впечатляющим? Когда по Красной площади несли Знамя Победы. Это о чем говорит? Россияне способны адекватно воспринимать значимость фактов, верно расставлять приоритеты».

Майю Петровну нужно слушать и слышать: ее монологи – чистое золото. Ум, страсть, энергия, мудрость.

Майя Никулина о литературе и судьбе страны: «Сегодня очень трудно вернуть людей к хорошей литературе. Читать, скорее всего, не будут. Есть кино, есть компьютеры, есть ТВ. Сегодня телевидение – главный воспитатель. Это ужасно, но это правда. Значит, именно на этом пространстве надо организовывать умный, достойный диалог – с читателем, зрителем. С соотечественником. Вполне осуществимо, хотя понимаю: труд колоссальный.

Мне как-то по работе надо было вычислить в нашей речи мусорную лексику, слова-паразиты. Я села к телевизору. Послушайте: волосы ж дыбом встают от телевизионного бескультурья, безграмотности. Лично, что называется, убедилась в факте, который, по статистике, давно известен: нынешние телеведущие используют не больше пяти (!) процентов словарного запаса современного человека. Что же это такое, земляки, товарищи дорогие, соотечественники?! Ведь такого языка, как русский, нет больше в мире. Всеми признано. О нем, и только о нем сказано – великий. А до чего мы его низвели?! Я уж не говорю о содержании телепередач…

И вот как посмотришь вокруг, получается: страна превращена в керосиновую лавку для стран, которые считают себя цивилизованными. Заводы стоят, банкротятся или дышат на ладан, поля зарастают сурепкой. Кто помнит, кроме людей моего возраста, что раньше по всему Уралу были гречишные и льняные поля?! В наши синие горы упирались в эти розовые и голубые поля. Где они теперь?!

Небезызвестный Владимир Познер, мэтр-телеведущий, несколько лет (!) подряд заканчивал свои передачи словами: «Вот когда у нас будет как там, на Западе…» Дескать, тогда и у нас будет хорошо. Каждый вечер мне, зрителю, повторяли эту фразу. Что, мол, лишь в том случае, когда у нас будет «как там», в России станет хорошо и правильно. Нам не нужно «хорошо, как там». Нужно просто что б было хорошо. С древнейших времен существует два способа жить: искать лучшего места или делать лучше жизнь там, где стоишь. Все соблазняются первым, полагая, что это легче… Но это СКУЧНО! На этом, первом пути ты будешь делать то, что предложат, прикажут, что ситуативно складывается. Только на втором пути ты поймешь, что такое Жизнь и чего ты сам в ней стоишь. Настраиваться надо именно на это. С какого возраста? Да ясно же – с ясельного. У нас в дошкольной группе дети занимаются с трех лет, и для меня давно очевидно: и с ними можно спокойно, успешно работать в этом направлении. Дошкольная группа у меня Екатеринбург строила. А дети в четыре года вполне понимали: у Рима, Парижа или, скажем, Афин – одна история, очень похожая. А у нас, у России – абсолютно другая! Уникальная.

С детьми можно разговаривать на самом серьезном уровне. Дети – народ толковый. Все зависит от интонации. И не надо мне говорить, что Россия – на краю гибели (это нередко проскальзывает в разговорах или по тому же ТВ). Я вижу вокруг столько красивых детей. Духовно красивых. Одаренных. Они готовы заниматься чем-то серьезным, думать о серьезном. Так не надо толкать им в руки что попроще, полегче».

В пору впадать в отчаянье. Что и происходит со всеми мыслящими и страдающими (Пушкин: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать…») людьми. У Майи Никулиной отчаянье иного рода, иного масштаба: это множественное отчаянье, глобальное, когнитивное, онтологическое. Поэт вне отчаянья – не поэт: неподъемная любовь, убийственная страсть, изнуряющий быт, рутинный труд («работа»), сложнейшие отношения с бытием – с земным и небесным – все это необходимо человеку, чтобы продолжать быть поэтом. В таком состоянии поэт остается и пребывает в постоянном напряжении и готовности к очередному духовно-поэтическому поступку. Такая определенность и одновременно неопределенность, непредсказуемость поступка есть свобода. Поэтическая свобода. Свобода не сибарита и анахорета, а свобода поэта, пахаря, певца. И человека, живущего на бегу, на лету. Давным-давно я надумал для Майи стихи. Вот они.

А что за гробом? – дети и долги
Да стоптанные в беге сапоги,
Да в Судный понедельник – Воскресенье.
Где снова ночь встает не с той ноги,
И шепчется: прости и помоги
В последнее уйти стихотворенье.

Поэзия Майи Никулиной – безусловный и сложнейший объект для серьезного монографического исследования (ее стихи уже изучаются в школе и в вузах, пишутся курсовые, дипломные и диссертационные работы, в которых исследуется языковая, смысловая и концептуальная специфика поэзии Майи Никулиной); такие труды еще появятся. Этот же очерк лишь набрасывает эскиз к портрету большого поэта.

Майя Никулина, как и ее поэзия, абсолютно витальна, она – сама жизнь, умная, талантливая, любящая, негодующая, гениальная, мудрая и красивая. Майя – очень преданный и заботливый друг (она часто вспоминает добрейшего Марка Рыжкова, доктора и переводчика армянской поэзии, каким был он отзывчивым, бескорыстным и постоянным «помогальщиком» всем, кто нуждался в реальной помощи и поддержке). Однажды она передала мне письмо с точными и подробными инструкциями, как

лечиться, к кому конкретно обратиться, на какие телефоны звонить. Даже спрашивала, как у меня с деньгами, если что – поможет. Конечно, Майя не Марк, не врач, но душа у нее ревностно милосердная.

Подлинный поэт никогда никому ничего не должен, как сама природа (у которой берут все и ее саму): он никому и ничему не служит. Поэт делает то же самое, что делают земля и небо, – только звуком, словом, интонацией, голосом.

Перестояло лето. Задубело.
Замучилось в крахмальной лебеде.
Уже стрекозы сохнут в борозде.
Уже душа от счастья отупела.

И уходи. И все. И слава богу.
И северок продует пустоту,
И застучат колеса на мосту,
И время выгнет легкую дорогу.

Заблещут кони темно-рыжей масти,
Тележный дух забродит по лесам.
Заплачет осень. И усталый мастер
Приценится к соседним небесам.

Поэт, как земное время, постоянно переживает чересполосицу и смену ментальных сезонов, времен – циклов души. Он умирает от любви – и воскресает от новой. Поэт никогда не устает, если ему не пишется – значит, это перемена погоды и времени года души, значит, он «присматривается» к новым, соседним небесам (чаще – у истинного поэта – все выше, сквозь семь или девять, или сто слоев неба). «Душа от счастья отупела» – жди грозных перемен. «И уходи. И все. И слава богу… И время выгнет легкую дорогу…», – новую, обновленную, неизведанную дорогу, – по Блоку – путь, который и состоит из таких обновленных дорог.

Сервилизм начисто чужд поэту. Невозможно представить Майю Никулину, *сочиняющую* стихи. Сочинительство и есть сервилизм (в широком смысле): значит, сочинитель рассчитывает на удачу, на успех, коли он со-чиняет, под-чиняет и затем от-чиняет (а то и по-чиняет) текст для толпы, толпе – от себя, любимого. Стихотворческий сервилизм – явление не поэтическое, а чисто социальное, литературное: стихотворное прислуживание («служение»!), «шнырение» (от лагерного «шнырь» – хмырь на подхвате, «шестой номер», «шестерка» и ниже), социально-политическая рефлексия (выражусь покрасивее) могут проявляться и в бытовой, и в эстетической, и в политической, и в литературной сферах с одной

и той же целью: удовлетворение моральных и материальных амбиций. Майя Никулина абсолютно неамбициозна и тотально скромна. Помню, как она сопротивлялась, отказывалась от записи с ней наших разговоров, точнее, ее монологов (а получилось очень интересно: История литературы от Майи Никулиной; История русской поэзии от Майи Никулиной; История России от Майи Никулиной; История Урала от Майи Никулиной и т. д. Еще ряд «Историй» более узкого характера и масштаба). Мы работали с ней месяца 2–2,5. Это было для меня самое напряженное и счастливое время – чистых двое суток звучания голоса Майи! Ее невероятная эрудиция, необъемный кругозор, мудрость – завораживали меня и моих помощников. Самые светлые 48 часов 2010 года…

В один из сеансов записи, когда Майя Петровна рассказывала о своем доме, о наших общих друзьях и знакомых, я вдруг впал в странное состояние, если не дежавю, то в явно ощутимое движение времени – во «всевременье»: я смотрел в светлые улыбающиеся глаза Майи Никулиной и видел зимнюю ночь начала 80-х. Стояли страшные морозы и невероятно густозвездные небеса. Мы сидели в кухне. Напиток иссякал, а разговору не было конца. Я вызвался сбегать. Не одеваясь, выскочил в чистый спирт нашей уральской стужи – и осознал, что не добегу так, в пиджачке – зазноблюсь, заколею. Встал под балкон и прокричал: «Майя! Майя! Майя!» Она поняла все без слов и сбросила с балкона мое пальто, смахивающее на серую солдатскую шинелишку времен Великой, Первой мировой войны. Пальто взлетело (как мне показалось – вверх), расправилось, распахнулось – и начало медленно парить, опускаясь с небес на мою заснеженную землю. Я смотрел на него, задрав голову – вдруг ахнул: распахнувшаяся шинель моя на фоне густых и ярких звезд являла собой очертания России – длинной от запада на восток и широкой с севера на юг. Я обомлел: то ли Россия надвигалась, шла ко мне медленно и величаво – прямо с небес, то ли я летел ей навстречу – в небо, откуда она так важно опускалась. Часто вижу все это во сне и просыпаюсь от своего крика «Майя!».

Мы часто говорим с Майей Никулиной о том, что жить нужно в деревне (что я и делаю вот уже 3 года, деля неделю пополам – на город и на Каменку). И здесь, особенно к зиме и зимой часто вспоминаю Майю и звездное небо. Стужу и теплые глаза ее. Вот ей стихи.

Майе Никулиной

Зима в деревне холоднее:
В сугробах бездна, леденея,
Сухим огнем отражена.
Какая близкая она.

Живу в деревне – прямо в небе,
О Боге думаю, о хлебе.
И ангелы средь бела дня
С рябины смотрят на меня.

Все, что сделано Майей Никулиной, значительно. Весомо. Всегда чувствуешь и ощущаешь массу, энергию и значимость того, что сделано поэтом. Другой вопрос, почему социальное время не принимает это в себя все и сразу. Георгий Оболдуев, Аркадий Штейнберг, Юрий Белаш да и совсем молодые и ушедшие рано Денис Новиков (поэт драгоценный) и др., может быть, и не дождутся признания всеобщего – иные времена, иные способы чтения – просматривания с монитора и на мониторе. Уверен, что каждый будет прочитан. Уверен, что стихи Майи Никулиной рано или поздно будут приняты страной. Когда?..

Поэзия Майи Никулиной не современна. Современный – значит, напичканный актуальной лексикой и стилистикой (жаргонизмы, вульгаризмы, матизмы, термины, лексика «третьего языка» (объединенного жаргона общего, молодежного и уголовного), – словом, все, что есть сегодня в стихах постмодернистов, иронистов и охальников (Иртеньева, Кибирова, московской стихотворческой молодежи и покойного Бродского, норовившего оживить стихотворение лексикой «редкой», просторечной, «народной» – «сочной», «актуальной», – вульгарной, то бишь пошлой).

Несовременный – значит, на все времена. Поэзия Майи Никулиной в языковом отношении одновременно и экономна, и широка: преобладают опорные, базовые, ключевые слова, общеупотребительные, которые обрастают именами (вот откуда название второй книги «Имена»); слово Никулиной – это имя земли, имя души, имя неба, имя любви, имя смерти, имя травы, имя моря, имя человека и зверя, имя корабля и дома, сада, имена стихий, имя судьбы. Поэтическое имя Майи Никулиной – это знак языка, речи, жизни, культуры и словесности, причем знак трехфункциональный: одновременно индексирующий (называющий и организующий вокруг себя ряд имен), символический (образный, экспрессивный, коннотативный) и иконический (запечатлевающий предмет навсегда). Поэтическое имя в стихах Майи Никулиной – это, что очень важно, знак энергетический и светопорождающий. Поэтому смысл такого имени безмерен.

Темна душа. Но истина проста –
Сядь на траву, дыши ребенку в темя,
И свяжется разорванное время,
И вещи встанут на свои места.

И ты поймешь тоску оленьих глаз
И горечь осенеющей долины…
Но зрячий виноград так долго смотрит
В спину,
Что точно видит все вокруг и после нас.

Стихотворение гениальное. Шедевр. И одновременно больше и меньше, чем шедевр: оно как сам воздух, земля и жизнь, оно нерукотворно, оно естественно и природно. И если виноград долго смотрит тебе в спину и видит все, что будет после тебя, то и длина двух последних строк вытягивается душой и воздухом – до предела.

Душа, трава, ребенок, время, вещь, оленьи глаза (всего оленя из-за очей его не видно!), горечь осеннего воздуха, долина, глаза и взгляд – взор винограда – вот мир, вот вечность, в которых мы лишь преходящая, но теплая, горячая, страстная и любящая часть.

Думаю, что главное в поэте, в его таланте – интенция. Интенция душевная, рациональная, телесная, языковая, поэтическая, культурная – предметная и онтологическая. Поэтическая интенция Майи Никулиной созидательна. Майя преодолевает русскую всеобщую и проникновенную неопределенность (плохой-хороший человек, добрый-злой, сильный-слабый, красивый-ужасный и т. п.): интенционально она поглощает словом и воспроизводит, творит мир не вширь (экзистенциальность), а вглубь и ввысь. Это главное. И оно прочно закреплено в поэтике и в интонации никулинской.

Обшарил и земли, и воды,
Лихую судьбу покорил,
Пришел – засмеялся у входа
И солнце собой заслонил.

Над маленькой ночью поднялся
И крикнул в ночное жилье:
– Я жизни когда-то боялся,
А ты не страшнее ее.

Ответить тебе не успела.
Ушла и оставила дверь
Открытой в иные пределы –
Иди, разбирайся теперь.

Вот отношение поэта с миром. Адресант – поэт. Адресат – некто (друг, любовник, поэт). Другой вариант (более милый мне): поэт говорит с собой (как Онегин – Ленский, Печорин – Грушницкий). Диалог

в монологе. Любое стихотворение Майи Никулиной многомерно в этом отношении: диалог в монологе и наоборот, которые усиливаются стереоскопией символичности – индексированности – иконичности слова-имени. Здесь главные имена таковы: земля, вода, судьба, солнце, ночь, жилье (дом), жизнь, иные пределы (безмерность), действие (обшарил, покорил, засмеялся, поднялся, крикнул; ответить, успеть, оставить, идти, разбираться). Крикнуть – вот главное; крикнуть себе (прежде всего) и миру: Он (Я) идет (иду) к тебе, бескрайнему, идет (иду) в тебя, в твое беспредельное. (Когда воспринимаю это стихотворение, хочется встать и идти, разбираться.) Побудительность, императивность изумительной силы. Силы не разрушительной, но вновь созидающей новое (простите за тавтологию).

Поэзия Майи Никулиной профетична. Все стихи Майи Никулиной являются пророческими: кто знает прошлое и любит настоящее (и ненавидит, и любит), тот видит будущее. Она и в жизни пророчица. И пророк. Не буду это доказывать и иллюстрировать (есть случаи очень сложные и серьезные), лишь вспомню нечто, связанное со мной (и незначительное, но показательное). Я защитил кандидатскую, когда мне было 36. Все. Я расслабился. Все. Хватит. Науки хватит. Сижу у Майи на кухне, беседуем. И вдруг Майя, остро взглянув на меня, промолвила так в никуда и никому, в воздух: «Ты еще и доктором станешь…». И – стал. Странно.

Не хочется расставаться с пером и бумагой, с книгами Майи Никулиной, с ее образом – поэта, женщины, гражданина. Но пора. Позволю себе закончить этот очерк-портрет самого дорогого для меня на земле человека своим небольшим эссе-послесловием к книге Майи Никулиной «Стихи» (2003). Кое-что в нем повторится, но это не беда, зато здесь, как мне кажется, многое сказано без эмоций (но с отношением) и очень концентрированно, кратко. Сделаю в этом очерке двойной, как у Вивальди, финал. Итак…

Подлинная поэзия – явление редкое, но абсолютно мощное, подвижное и динамичное, то есть повсеместное. Стихи, созданные истинным поэтом, существуют в особом состоянии времени и пространства, в котором не время проверяет речь на прочность (разрушает, стирает из памяти или продлевает жизнь поэтического слова), а наоборот, язык и музыка поэта возбуждают во времени и позволяют в нем существовать на равных и прошлому, и будущему, и настоящему. Поэзия Майи Никулиной – подлинна, и это очевидно, т. к. стихи ее с годами и десятилетиями становятся все чище, глубже и непостижимее. Они хорошеют, как чудесным образом рожденный камень, оглаживаемый ветром, солнцем и водой: его прозрач-

ная непроницаемость и есть та самая красота, которая одновременно и мучает, и обещает бессмертие.

Майя Никулина – поэт природный, поэт по определению, поэт как таковой. Ее книги – библиографическая редкость, и не потому, что тиражи не стотысячные, а потому, что, слава Богу, есть в России читатель стихов, читатель как со-автор, со-творец, читатель – со-поэт. Названия поэтических книг Майи Никулиной точны и вполне адекватны ее триединой судьбе поэта, писателя-мыслителя и женщины: «Мой дом и сад» (1969), «Имена» (1979), «Душа права» (1983), «Колея» (1983), «Бабья трава» (1987) и тоненький сборничек избранного «Стихи» (2002), – пространство внутреннее внешнее именуется и становится частью времени усилием и правотой души, судьбы и слова поэта.

Поэтическое поколение, к которому по возрасту принадлежит М. Никулина, решало задачу не уцелеть биологически и ментально, как предыдущее поколение поэтов, рожденных в начале XX века, а сохранить традиции поэтической культуры и дать им возможность дальнейшего если не развития, то существования. Стихи Алексея Решетова, Геннадия Русакова и Майи Никулиной – это не просто образцы замечательной поэзии, это прежде всего череда языковых и этико-эстетических поступков, противоречащих социальному ужасу времени и гармонично входящих в общий и неудержимый поток русской культуры. Поколению поэтов, рожденных в 1937 свинцовом году, присущ особый тип творческого поведения: тихая и твердая прямота слова и взгляда, истинная скромность и наличие огромного объема поэтической и вообще культурной энергии, которая тратилась не столько на самозащиту, сколько на сохранение возможности создавать и творить себе и тем, кто будет рожден в 40-х и 50-х годах XX в.

Дом Майи Никулиной в 60–80 гг. XX века стал в Свердловске неофициальным центром культуры, литературной учебы, философских, исторических, филологических, переводческих и иных штудий. М. Никулина буквально вырастила и воспитала не одного литератора, писателя и поэта: в разные годы в ее доме дневали и ночевали такие талантливые люди, как А. Комлев, С. Кабаков, Е. Касимов, А. Громов, В. Смирнов, А. Танцырев (Сафронов), В. Мухачёв, А. Верников, А. Калужский, И. Богданов, В. Месяц, Е. Туренко и многие другие. Именно в доме Майи Никулиной я, в то время студент-филолог, впервые прочитал Пастернака, Ахматову, Тарковского и Бродского (чаще – с папиросной бумаги, пятый-шестой экземпляр машинописной копии), а также то ли полуразрешенных, то ли полузапрещенных Хлебникова, Мандельштама, раннего Заболоцкого, Ходасевича и тончайшего, ироничного и

прямодушного, до сих пор недооцененного литературоведческой наукой Игоря Северянина. Великолепная библиотека Майи Никулиной с редкими для советской эпохи книгами и первоизданиями, старинные вещи, попавшие в XX век из Древней Греции, из Крыма, древнегреческой Колымы (никулинская номинация), из другого времени-пространства, бывшего Майе Никулиной родным; редкие, удивительные люди (ученейший Константин Мамаев, серебряный голос России (так называла поэта сама хозяйка), Алексей Решетов, добрейший и мудрый Марк Рыжков и др.) и разговоры, разговоры, разговоры, чтение вслух – хором и поодиночке – стихов и прозы, пение песен (чего стоят только казачьи речитативы Димы Месяца!) – все это и была страна, моя страна, наша Россия – настоящая, подлинная, – с памятью исторической и культурной, с гордостью за прошлое и болью за настоящее, а главное – с надеждой на будущее. Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что Майя Никулина как поэт и человек в 70–80-е гг. XX века бескорыстно, твердо и вполне открыто (что, следует заметить, в те поры было небезопасно) спасала и спасла добрую часть современной литературной жизни Екатеринбурга и Урала.

Майя Никулина родилась в Свердловске, в семье лесного инженера, в которой хранились и оберегались незыблемые константы дворянской и интеллигентской культуры. Детство поэта проходило в доме, расположенном недалеко от Рязанского собора и Царского моста, напротив Железновского дома в старой, исторической части города. Петр Великий, создавая Петербург, «прорубал окно в Европу». Екатеринбург младше Санкт-Петербурга на 20 лет и являл в то время не только «окно в Сибирь», а стало быть, в Монголию, в Китай, в Японию – в Азию, но и другой проем – окно не окно, но уж колодец-то точно, – в недра, в землю, в планету, в которой спрессовано, скоплено и представлено практически все, что может существовать в ближней и дальней природе Космоса. Многие годы своей жизни Майя Никулина посвятила изучению, осмыслению и освоению всего, чем держится Урал как опора страны и Европы, – горé, камню, пещере и мастеру. Поэт как ученый и мыслитель познает значение (физическое, астральное, духовное и метафизическое) тверди – тверди небесной, сухой и тверди иной – водяной, способной выдерживать давление камня, тела и души. И здесь невозможно отделить стихи от трудов того же автора, но уже историка, геолога, мифолога, писателя, публициста – вообще словесника, естествоиспытателя и гуманитара в одном лице. Правда, в стихах все это звучало, мучилось и пело с самого начала:

Укротив высокий дух
Только жаждой беспредельной,
Только вытянувшись в слух,
В горло дудки самодельной,

В гуще каменных венцов
И негреющей соломы,
Распознав, в конце концов,
Утварь брошенного дома,

Обратившись в кровь и мел,
Перепрев под общей крышей
Вместе с теми, кто сгорел
Или в землю, или выше,

Только вытянувшись в нить,
В корень яростный врастая,
Ты сумеешь различить,
Как молчит она, рожая, –

Треск сухого полотна,
Шелест шелка, скрежет жести, –
Ты услышишь, как она
Гладит слово против шерсти <…>

Именно слово более всего – по природе своей метаморфной (то есть долго, мучительно появляясь и преображаясь, существуя и работая) – созвучно камню. Майя Никулина создает удивительный логический, физический и духовный эллипсис из камня и звука, и ей это удается, т. к. волшебная совместимость слова и камня зиждется на взаимодополняемости этих явлений: у слова быстрая, очень подвижная форма (грамматика, словоизменение) и «медленное» содержание, нуждающееся в контексте и в душе, а у камня, напротив, медленная, почти постоянная (на глаз) форма и очень динамичное, «скоростное», перенабитое информацией и красотой содержание. Камень – гора – пещера – мастер (по одноименной книге М. Никулиной) – это формы вечного существования слова («камень»), семантики, смысла, мысли вообще («пещера») и духа, души («гора», «мастер»).

Концептуально поэзия Майи Никулиной основывается не на общепринятом единстве жизни – смерти – любви (хотя – и это является структурно необходимым и неотъемлемым), а на природном, космическом, добиблейском хронотопе гора – суша – вода, то есть Урал, Египетская пустыня, Таврическая степь и Эгейское, Средиземное, Черное моря, когда в сознании сталкиваются и, дополняя друг друга, наплывая и наступая

друг на друга, соединяются и живут горы и две равнины – морская и земляная:

…и просто выйти к южному крыльцу
И разглядеть в смятении туземном,
Что небо общее над морем Средиземным,
Как зеркало приподнято к лицу…

Или:

Ну где еще о Греции мечтать,
Когда бы не Россия…

И:

Ох, матушка моя, холопка и кацапка,
Таврических степей двоюродная бабка…

И наконец:

И все-таки счастливо жить одной,
Не чувствуя подвоха и обмана,
Соседствуя с Овидием, зимой,
У долгих вод Днестровского лимана…

Поэтический и человеческий талант Майи Никулиной настоян этнически на нескольких кровях, но первоначально был он задуман, сотворен и протянут из XX века в XXI-й силою сплава четырех земель (Египет, Греция, Крым, Урал) и четырех времен (древнейшее, античное, русское прошлое и российское настоящее). Такое сложное единство исторического времени и реального пространства обеспечивает наличие в поэзии Майи Никулиной невероятно чистого, светлого и энергетически мощного художественного хронотопа:

Не какие-то грозные вехи –
Мелкий камень да козьи орехи
Да прибитая пылью зима.
Околоток античного мира,
Вековая провинция – Тира
Древнегреческая Колыма…

Пространство и время, по М. Никулиной, едины, непременны и обязательны для живых, живущих в любое время и в любом пространстве:

Мысли приходят высокие, как журавли,
Строятся клином и тянутся письмами с Понта…

Здесь М. Никулина возвращает «русскому» журавлю (как устойчивому символу славянской осени-весны) его повсеместную, природную «прописку» – африканскую, греческую, крымскую, уральскую. В этом выражается уникальная способность М. Никулиной, обобщая, уточнять, или, уточняя, обобщать. Такова природа поэтического называния не изображать и подражать (по Аристотелю), а творить, делать из ничего, из воздуха – вещь, и наоборот, из вещи – мысль и чувство:

Темна душа. Но истина проста –
Сядь на траву, дыши ребенку в темя,
И свяжется разорванное время,
И вещи встанут на свои места…

Такое свойство русской поэзии – творить (греч. poieo – творение), соединяя в одно целое эстетику и этику. Эстетика М. Никулиной абсолютно этична, совестна и сильна правдой жизни, смерти и любви. Этическая эстетика позволяет поэту возвышать мысль до метамышления, а чувство углублять и просветлять до метаэмоции:

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
Уже до всего допросилась.
Легко свое бедное тело ношу –
До чистой души обносилась…

Вечное и беспредельное, противящееся родству, Майя Никулина делает, принимает сама и предлагает нам уже как сначала сродное, а потом как свое, только свое, абсолютно родное. Такое породнение со всем и со всеми основывается на таких утверждениях поэта (за которыми – жизнь, судьба и любовь), как «душа права», «мужество и труд», «непросыхающие весла», «судьба сбылась», «смерти в жизни нет», «зрячий виноград» и многие др. Это породнение происходит, по М. Никулиной, так:

…мы с тобой породнились тому назад
Не измерено, сколько веков и далей.

Тогда хлеб был пресен
И беден кров,
И земля неоглядна, суха, сурова,
И цари отличались от пастухов
Только тяжестью крови и даром слова.

Майя Никулина – не просто эрудит (двойное высшее образование) и просветитель, она глубоко и всесторонне образованный (образованный историей, книжной и вещественной культурой, наукой, жизнью и судь-

бой, а главное – поэтической интуицией). Есть в поэзии, в характере и в натуре Майи Никулиной удивительная черта – оставаться свободной, не изменять своей воле и индивидуальности и одновременно быть частью неразделимого целого – народа, страны, языка, поэзии и культуры:

…вот тут и ставить эти города,
Не помнящие времени и срока,
И легкие счастливые суда
Причаливать у отчего порога.

Поэзия Майи Никулиной стала частью великой русской словесной культуры. Ее чистый, твердый и ясный голос звучит сегодня, несмотря ни на что. Ее поэтическое слово необходимо тем, кто мыслит, страдает и любит.

МАЙЯ НИКУЛИНА
Избранные стихотворения

* * *

В полмира снег, сугробы и метели,
сплошная ледяная благодать…
Ну где еще о Греции мечтать,
когда бы не Россия.
в самом деле, –

Как, возлюбив ее печальный дым
и в полузвездах небо жестяное,
не разобрать, что дальнее – седьмое –
должно быть теплым, синим и чужим,

что полновесный северный гранит
и долгих зим блестящие избытки
уже диктуют мимолетный Крит,
светящийся на журавлиной нитке,

что вставшая из плодоносных вод
скала обетованная всего-то
на расстоянье птичьего полета
от наших безразмерных непогод,

и просто выйти к южному крыльцу
и разглядеть в смятении туземном,
что небо общее над морем Средиземным,
как зеркало, приподнято к лицу.

* * *

Остыли тяжелые страсти,
остались простые слова…
О чем ты печалишься, мастер,
в часы своего торжества?

Недолгие светлые клены,
раскрытая на ночь тетрадь…
Замрешь ли ты снова, влюбленный,
увидя все это опять,

Сочтешь ли, что тайно обманут,
Зачем ты за каждой строкой
Струной легковерной натянут
И скручен пружиной тугой?

Замучен, заласкан, согласен
на славу, молву и беду…
Ты снова сбываешься, мастер,
имея все это в виду.

За то, что в слезах, хорошея,
ликует, звенит и поет
бездомное чудо, Психея,
почтившая слово твое,

твое полуночное знанье,
рискнувшее вдруг побороть
почти родовые страданья
души, обретающей плоть.

* * *

Травой ли стать, рекой ли течь,
понять бы птиц ночное бденье,
реки упругое биенье,
ее младенческую речь.

О, только б избежать беды –
стыдясь тоски своей упорной,
входить лазутчиком и вором
в пределы леса и воды.

Но затеваются дожди,
и снег идет, и полночь длится –

не с тем ли, чтоб забыть, уйти
и никогда не воротиться?

Не в том ли тайно повезло,
что верю трудно и нелепо,
что родственно земному лету
мое случайное тепло?

Что не безверие и зло –
а сумерки и непогода…
А быть несчастным – ремесло
уже совсем иного рода.

* * *

Осенний холод так некстати
и неспроста. недаром лес
отказывает наотрез
в спасении и благодати.

Какое небо надо мной
недоброе. и где порука,
что день не кончится бедой,
а ночь – безверием и мукой?

И как после кошмарных снов
не занемочь и на рассвете,
пугаясь недостатка слов,
не впасть в стихию междометий.

Когда молчанья не стерпеть –
хоть выдохнуть… Ведь то и дело:
ах – это ставень проскрипел,
ах – это птица пролетела.

Ах – это осень, доконав
невероятным снегопадом,
стоит ночами у окна
и выгоняет за ограду.

И, наконец, в пустом лесу
подкараулив и подслушав,
берет мою живую душу
и долго держит на весу.

* * *

Не всюду ли так пусто и темно?
И ты печален, нежен и послушен…
Былых разлук горчайшее вино
легко тревожит головы и души.

Такая тайна в медленных словах
(далась мне эта горькая забота),
что губы оставляют на губах
наивный привкус молока и меда.

Прислушайся –
уже петух поет,
смеется кто-то (и тому не спится),
скрипит перо, летит ночная птица –
привычка жить покоя не дает.

И мне ли эти боли врачевать
и силой останавливать мгновенье…
Заплакать, опуститься на колени,
сухой песок в горстях пересыпать.

И вечность будет сыпаться с руки
песком горячим в пену золотую
и, вздрагивая, встанет на носки,
твое лицо печальное целуя.

* * *

Сентябрь. А зной еще неистов
и сух.
Но шире с каждым днем
на тонких виноградных листьях
желто-багряный окоем.

И незаметно началось…
Уже острее запах сада,
и дни, как гроздья винограда,
светлы, и косточки насквозь.

Как расставания легки!..
Вдруг начинают спозаранку
снимать пустые гамаки
и клеить ярлыки на банки.

И как свиданья тяжелей!..
Как все полно тоской единой –
печалью убранных полей
и поздней силой журавлиной.

Уже, светлея, пролегла
дорога до юдоли зимней.
И дерево стоит, как символ
познания добра и зла.

Мой рай за каменной оградой
дрожит листом на сквозняке…
Выходит женщина из сада.
И держит яблоко в руке.

* * *

Но мы займем места
в том балагане утлом,
где сказочник устал
и все сюжеты спутал.

Да так ли нам с тобой
пустой порядок важен…
На этом свете боль
всегда одна и та же.

И точно ли обман
в том повороте странном,
что плачет Дон-Жуан
у окон донны Анны.

Ах, как ему к лицу
любовь, перо и шпага…
Ах, как идет к концу
хваленая отвага

(красотка, девка, верь!)
Сжигающая душу…
Как он хорош теперь…
Сейчас огни потушат…

Я плачу, я сдаюсь,
я соглашаюсь с ходу…

Сейчас его убьют,
и не моя забота,

и не моя печаль
скорбеть над легким телом…
Души вот только жаль.
Уж очень быть хотела.

Танец

1.

Ветер, уставший раскачивать сад,
сбил напоследок флюгарку на крыше.
В доме устали и весело спят,
руки раскинув, и больше не слышат,
как за оградой деревья шумят,
как затевается рай или ад –
снежно, темно, высоко, невесомо…
Вдоль неподвижно плывущего дома
гнутся пространства и ветры гудят.

Дочиста вымела землю зима,
перекрутила, представила снова
непостижимой закону и слову
и недоступной потугам ума.

Не покушаюсь назвать и понять:
нежность довременна, страсть неуместна.
Ночь отстоялась и катится вспять –
в чистую правду начального жеста.

2.

Подсказанная памятью земной,
глубинной, кровной, росной, травяной,
разверзлась высота над головой
и бездна над большими этажами,
когда мальчишка с челочкой на лбу,
перелукавив тяжесть и судьбу,
взмахнул над миром легкими руками.

И музыка, какой она была
до птичьего свистящего крыла,
до потного людского ремесла,

опомнилась и стала ощутимой,
цветком раскрыла узкую щепоть
и сделала ликующую плоть
почти одушевленной и любимой.

Вернулась по нехоженым следам,
открыла очарованным глазам
забытую незнаемую землю,
где самый юный, самый первый бог
себе обличья выдумать не мог
и был подобен облаку и стеблю.

Но точно так же безымянным днем,
который мы украсили потом
веселым ликованием и елкой,
сторуким чудом пляшет над ручьем,
качает звезды голубым плечом
и топчет разноцветные осколки.

3.

С каких неожиданных пор,
кузнечик, циркачик, танцор,
страшнее чумы моровой
любить твой язык травяной?..

Пойди, угадай, предскажи,
на горло ладонь положи –
кто может узнать наперед,
как дождь по стволам дотечет,
как станет коричневый зной
качаться над черной землей.

Узнай, покусись, назови,
опутай силками любви –
разгадка, ответ и отказ
но в том ли, что где-то до нас,
до правды, открытой речам,
до формы, приятной глазам
пока не учила слова
послушная арфе трава,
Земли молодая душа
была,
и была хороша.

4.

Не легкий гений птицы поднебесной,
но юная и грозная свобода,
вздымающая утренние бездны
за тыщи лет до нашего прихода.

Покуда мы молчали и твердели,
спеленутые в зыбкой колыбели,
доглиняной, долиственной и тесной,
вы царствовали в мире бессловесном.
Какая вам обида и преграда
в смешных стараньях младшего собрата,
в наивном слове и прекрасной боли
достигнуть вашей создающей воли,

вращающей планеты и пылинки?..
Опять перед лицом слепого танца
стою в пустой короне самозванца
под знаком маски, дудки и волынки…

В «Орлином залете»

Веселая река и щедрые деревья.
Дорог недальних пыль. Костров недолгих дым.
Все сводится к тому, что первые кочевья
шутя избрал творец прообразом твоим.

Случаен караван. Случайный кров непрочен.
Невнятны голоса, протяжны имена.
Ушедшие с утра не возвратятся к ночи.
Оставшиеся их не будут поминать.

Так явственно видны приметы Вавилона,
так близок мерный гул потопа…
А пока
властители земли спускаются по склонам
на тихий звук струны и запах шашлыка.

И длится долгий пир счастливого избытка,
веселого тряпья и нежного стыда.
Ворота на замке – так вон в кустах калитка
и белая тропа неведомо куда.

И длится до утра блаженная усталость,
(смотри – уже заря, уже кричит петух),
и все, чтоб ни одна душа не догадалась,
как ненадежна плоть и беззащитен дух,

что сладок белый день, а ночь черней и слаще,
что краток вечный свет прекрасного лица,
что бесконечно прост трагический образчик
великого пути и горького конца.

* * *

Колдующий в торжественных ночах,
творец оттенков, запахов и пятен,
Шопен кустарников и Моцарт голубятен,
как страсть твоя чиста и горяча.

То тайным свистом выманит – пора,
то жарким сентябрем пройдет по склонам,
а вскинет скрипки к плечикам каленым
и так поет, и так томит с утра,

что дом живет воротами на юг,
и встречный мальчик с тихими глазами
уж до того лукав стоит и юн –
вот-вот колчан заблещет за плечами.

И вздрогнет лук.
И мы пойдем сейчас,
сжигая душу и кляня рассудок,
неистовый, наивный шепот дудок
и шелест флейт, растущих возле нас.

* * *

На теплый хлеб и кислый виноград
меняю мудрость книжных откровений…
На целый день, на целое мгновенье
мой мир – сентябрь, мой дом – Бахчисарай.

Я знаю участь легкую свою,
мне страсть чужда и зависть незнакома,
и дивно ли, что я не строю дома,
гнезда не вью и песен не пою.

Хранит мое случайное жилье
сухой и острый запах нежилого…
И если впрямь вначале было слово,
то, господи, не имя ли мое?

* * *

Когда устала страсть
от сладости и боли,
когда судьба сбылась
помимо нашей воли,

печальна и проста,
как заговор негласный,
вечерняя звезда
скатилась и погасла.

И нежный звездный прах,
нашедший наши лица,
стал солью на губах
и пылью на ресницах,

травой взошел вослед,
и люди стали выше,
и различили свет,
пылающий над крышей.

Свободны и легки
от тяжести заплечной…
И плакал каждый встречный
от счастья и тоски.

* * *

Прощание. Голос трубы.
Рукою машу через силу –
такая обида, помилуй,
легко ли так сразу забыть…

Такая прекрасная жизнь.
Такое огромное лето.
Такая любовь… Обернись,
уверуй в нее напоследок.

Уверуйте, сделайте вид,
что вам хорошо и счастливо,
засмейтесь, замрите на миг
на фоне горы и залива.

И пусть я пройдусь под конец
на этих веселых поминках
под стоны трубы и волынки,
зубами зажав бубенец.

Как будто я снова люблю
и небо, и дальние дали,
как будто я вас веселю,
а вы и взаправду не знали,

что это фотограф-мастак
услышал отбой за горами
и сделал сознательно так,
чтоб я получилась не с вами.

Севастополь

1.

Вот только тут, где рядом хлябь и твердь,
где соль морей съедает пыль земную,
где об руку идут любовь и смерть,
не в силах обогнать одна другую,

вот тут и ставить эти города,
не помнящие времени и срока,
и легкие счастливые суда
причаливать у отчего порога.

Вон посмотри – весь в пене и росе,
густой толпой, горланящей и пестрой,
седой отяжелевший Одиссей
несет непросыхающие весла.

Вот он идет по выбитой тропе,
веселый царь без трона и наследства,
рискнувший заглянуть в лицо судьбе
и на нее вовек не наглядеться.

О эта страсть, терзающая грудь –
земля и море, встречи и утраты,

последний дом, и бесконечный путь,
и белый берег, низкий и покатый.

Светло тебе, оставленный, сиять
и сладко сниться странникам немилым…
Земля моя, кормилица моя,
какой печалью ты меня вскормила?..

2.

Попробуй оторви меня теперь
от этих бухт в сиянии и пене,
от августовских выжженных степей,
от моряков, погибших в Эльтигене,

от обелисков с жестяной звездой…
Ох, сколько их над миром засветилось…
Так время развело, что ни вдовой,
ни дочерью – никем не доводилась.

Так годы развели и расстоянья.
Но с каждым часом горше и честней
наследую великое страданье
от горя почерневших матерей.

И тоже признаю простую власть
большой земли с полями и морями –
И горсть зажать, лицом в нее упасть,
уйти в нее – цвела б она над нами.

Наследую последние права
любить ее, покуда хватит силы,
и матерью ту землю называть,
где отчий дом и братские могилы.

3.

Чего он ждет, святая простота,
зачем он ночью ходит по проселку,
зачем поверх лилового куста
глядит, как птица, пристально и долго?
Он гол и светел, как февральский сад,
он весь в огне, в жару, на солнцепеке,
как будто чей-то промысел жестокий
его тоской сжигает невпопад,
не в силах отрешиться и забыть…

Грохочет вал отпрянувшей судьбы,
и ласточки, изогнутые громом,
уже кричат и кружатся над домом.

А молодость, как крымская дорога
среди полыни и сухого дрока,
прохладны горы, море далеко,
и кажется – совсем еще немного –
прольются мед, вино и молоко,
над желтой степью встанет царский город,
тяжелый парус вздрогнет над Босфором
и поплывет, над бездной накреняясь,
и молодости черная напасть
погонит нас дорогой роковой
за белой одиссеевой кормой.

Большое солнце блещет на весле,
попутный ветер обрывает снасти,
и ночью прижимают нас к земле
почти кровосмесительные страсти.

* * *

Вытянули рученьки по швам.
Положили в тот печальный ряд,
где, согласно ранам и годам,
мальчики убитые лежат.

Скользко мне заступницей дрожать
возле колыбелей и могил –
как бы ты души не отлежал,
ноженьки б свои не застудил.

Пахнет неожиданной весной.
У тебя земля под головой.
Первые черемухи в слезах.
На губах земля и на глазах…

Птица засвистела не дыша.
Сыплется каленая хвоя…
До чего сегодня хороша
вечная соперница моя…

* * *

Экое дело –
нам на беду
птица запела
в голом саду.

В перышках редких
трепет живой
с розовой ветки
вниз головой.

Жалкого праха
теплый комок,
ласковой птахи
вечный урок.

Что же ты вперил
очи в нее,
словно поверил
в сердце свое?

Водишь руками –
крыша, окно,
дерево камень, –
точно, оно.

Дерево, камень,
истина, дом…
Маленький ангел
с пестрым крылом.

* * *

Гремит торжественная медь,
пиликает сверчок запечный,
томимы голодом извечным –
назвать, поверить и пропеть.

Поет неистовый певец
до боли, до тоски, до пота,
до смерти, может быть… Да что там –
была бы песня, наконец.

Вот для того-то и поет,
чтоб ты смутился и опешил

перед случайным, одолевшим,
берущим душу в оборот.

Чтоб ты прислушался – шутя,
чтоб ты опомнился – впервые,
как неразумное дитя,
узнав про тайны родовые…

Но даже принимая срам
всей этой муки подневольной,
как сладко замереть от боли,
пустой тростник прижав к губам.

И нежно повторяя стон
земли безводной и безгласной,
понять, как долго мы живем,
раз этой музыке подвластны,

что от единого живого
ствола шумим, и потому –
мы братья: ты, сказавший слово,
и ты, внимающий ему.

* * *

Песок истоптан, воздух зацелован,
пучина перепахана веслом,
болеет небо золотым дождем –
земля давно под пахоту готова.

Душа готова к доле круговой,
живым ростком, пробившим толщу поля,
живой бедой, сорвавшейся на волю,
и значит – переставшей быть бедой,

гудящей ветром, страстью и судьбой,
ревущей в нас, летящей между нами.
И легкий Моцарт веет над полями,
прислушиваясь к жизни луговой,

засвистывая в каждое окно:
– Люби свою счастливую работу,
просеивай привычные заботы,
перебирай тяжелое зерно.

* * *

В горчайшем и победном сорок пятом,
когда весна сбывалась на земле,
из окон тыловых госпиталей
на нас смотрели юные солдаты.

На нас – голодных, яростных, худых,
в синюшных пятнах, цыпках и коростах,
всезнающих, в обносках не по росту –
на судей и наследников своих.

Мы тоже жили в прахе и золе,
и все-таки мы были не такие,
не выжившие чудом, но живые,
рожденные для жизни на земле.

Они не отрывали страшных глаз
от наших грозных лиц, –
уже свершилось –
расстрелянное время распрямилось,
вдохнуло смерть и выдохнуло нас.

Балаклавское шоссе

На месте великой тревоги,
кровавых боев и потерь,
по всей Балаклавской дороге
сажают деревья теперь.

Сравнялись могильные кромки.
И по истечении лет
погибших героев потомки,
наследники славных побед,
ведомые долгом и правом,
печальную память земли
под общий венчающий мрамор
торжественно перенесли.

Цветы на литом парапете,
эпический бронзовый гул,
счастливые строгие дети
почетный несут караул.

А здесь только солнце степное,
высокая даль, синева,
качается полдень от зноя,
пылится и сохнет трава.

С дороги сверну и заплачу
над горькой осенней землей,
над чашей Максимовой дачи –
огромной, горячей, пустой…

* * *

Страданий наших долгая надсада
Преобразилась в мужество и труд –
Так ветер принимает форму сада,
Кипящего и скрученного в жгут.

И так душа парящая моя
Вплетается в обычный ход событий,
В крест-накрест перетянутые нити
Единственной основы бытия.

Уже люблю свой многостенный дом
И чту его как суть свою и ровню,
Пока шумят деревья за окном
И облака стучат дождем о кровлю.

Уже заметно, как сама собой
Над первым криком и последней глиной
Просвечивает грубая холстина,
И видно, как над крышей и судьбой

Легко восходит ясная звезда,
И в знак того, что не единым хлебом
Живем,
светлеет длящееся небо,
Которым мы не будем никогда.

* * *

Сохнет на камне соль.
Море о берег бьет.
В сердце такая боль,
будто уходит флот.

Парусный, молодой,
яростный, как тоска,
выпростав над водой
белые облака.

Просто глядеть вперед
с легкого корабля.
Он – еще весь полет,
мы – уже все земля.

Нами уже стократ
вычерпаны до дна
суть и цена утрат.
Только теперь догнал

юный несмертный грех –
все мы в урочный час
недолюбили тех,
что провожали нас.

* * *

Гордости последняя твердыня,
времени простое торжество.
– Помнишь, как мы были молодыми?
– Я еще не помню ничего.

Я еще живу твоей победой,
августейшим месяцем, теплом,
скоротечной сладостью побега,
звездами под самым потолком,

утренним сиянием колодца,
грозной правдой слова твоего.
– Знаешь, как все это отзовется?
– Я еще не знаю ничего.

Просто я иду в ночной пустыне
и уже не вижу с высоты,
как цветут в оставленной долине
черные и белые цветы.

* * *

Сентябрь обступает. Сгорает душа.
Уходит в тепло поднебесная птица.
Пустеет дорога. И жизнь хороша,
как утренний скверик из окон больницы.

Счастливой была и богатой была –
в свирельку свистела и в дудку играла,
построила дом и дитя родила…
Мудрец говорил, будто этого мало,
а я его, глупая, все попрекала
гордыней…
А тут и сама поняла.

Осилила ночь и встречаю зарю,
иду по исхоженной белой дороге
и камню и дереву кланяюсь в ноги.
– Ну как ты живешь?
– Хорошо, – говорю.

Уж так хорошо, что скорбеть и тужить
по бедам обыденным не успеваю,
что радуюсь, смертную боль зажимая,
уж так хорошо, что еще бы пожить.

* * *

То малые дети болеют,
то бедное сердце болит…
Поэзия нас не жалеет –
она не о том говорит.

То поле быльем зарастает,
то рушится временный дом…
Поэзия дыр не латает –
она говорит о другом.

Но мучает страстью голодной,
но пичкает звездным огнем.
Поэзия дышит свободно,
как будто мы вечно живем.

Она обступает случайно
и кажется гордой, пока

сама не напялит на тайну
веселый колпак дурака,

пока не отлюбит живого.
Поэзия тем и права,
что, ветра наслушавшись, снова
на ветер бросает слова,

в широкую зимнюю повесть,
в густое земное вино…
Она потому-то и совесть,
что совести ей не дано.

* * *

Г. Ш.

Любовь моя бедна –
не дарит, не карает –
последняя – она
всегда такой бывает.

Она была такой
всегда. Да мы не знали,
А мы ее порой
случайно называли.

Не зла, не хороша,
с начального начала
как старшая душа
при младшей продышала.

Высокие дела
и вечное сиротство
она перемогла
по праву первородства.

Не слава, не слова,
не подвиг, не награда,
она еще жива,
когда другой не надо.

Она в последний час
присядет к изголовью,
она и после нас
останется любовью.

Задумаешь понять,
да по ветру развеешь.
Затеешь вспоминать –
и вспомнить не успеешь.

* * *

Темна душа. Но истина проста –
сядь на траву, дыши ребенку в темя,
и свяжется разорванное время,
и вещи встанут на свои места.

И ты поймешь тоску оленьих глаз
и горечь осенеющей долины…
Но зрячий виноград так долго смотрит
в спину,
что точно видит все вокруг и после нас.

* * *

Звездный гонец опоздал.
Тихая почта земная,
верную службу справляя,
штопает этот провал.

Осень. Сквозной неуют.
Ветер разносит планету.
Как погорельцы, по свету
бедные письма идут.

Тянутся, тают во тьме
птицы мои одиночки,
вроде поправки к зиме
или последней отсрочки.

* * *

Лес был слепой, капельный,
в утре, в росе, в дожде…
Леший ходил похмельный,
с блестками в бороде.

Леший стоял усталый
возле больших стволов,
лешему было мало
сытных лесных хлебов.

Как он хотел в долину,
где, позабыв о нем,
женщина гнула спину
над голубым бельем.

Леший боялся шума,
всхлипывал, как птенец.
Тихо стоял и думал –
вышла бы наконец!

Лучше бы за грибами,
тропочкой, за холмы…
Встретиться бы глазами,
помнить бы до зимы.

* * *

Обеднела река, обмелела –
не спасают пустые дожди.
Можно Лету – обычное дело –
и туда и сюда перейти.

Перевозчик замшел, как колода,
а уж тоже – осел и усох,
но живет у последнего брода
непременный, как выдох и вдох.

Я так часто встречаю его,
что киваю, как злому соседу…
– Ничего, – говорит, – ничего,
если надо, еще перееду.

И на мелкую воду глядит,
Ии течение пробует взглядом…
– Погоди, – говорит, – погоди,
погуляй, – говорит, – до упаду…

* * *

До света одна посижу,
спалю новогодние свечи,
два времени в узел свяжу
и новое словом отмечу.

По белому снегу пройду,
по самому крайнему краю,
сухие кусты посчитаю
в своем повзрослевшем саду.

Взгляну, как по старым следам,
от нежного света грубея,
проходит неверный Тристан
с кровавой отметкой на шее.

И вытяну руки. И сквозь
снега, времена и наветы
увижу сплошные приметы
того, что уже не сбылось.

Так ярок и праздничен вид
окраины в снежных обновах,
так просто вмещается в быт
мираж городка ледяного,

что розовый, в светлом кругу,
застигнутый сходством невольным,
прохожий замрет на бегу,
как ангел в тулупе нагольном.

* * *

Обшарил и земли, и воды,
лихую судьбу покорил,
пришел – засмеялся у входа
и солнце собой заслонил.

Над маленькой ночью поднялся
и крикнул в ночное жилье:
– Я жизни когда-то боялся,
а ты не страшнее ее.

Ответить тебе не успела.
Ушла и оставила дверь
открытой в иные пределы –
иди, разбирайся теперь.

* * *

Я так долго со смертью жила,
что бояться ее перестала –
собирала семью у стола,
ей, проклятой, кусок подавала,

Я таких смельчаков и юнцов
уступила ей, суке постылой.
Наклонялась над ветхим лицом,
и она мне дышала в затылок.

Что ей мой запоздалый птенец,
вдовья радость, цыганские перья.
А она караулит за дверью…
– Уступи мне его наконец.

Ну, сильна ты, да все не щедра,
я добрее тебя и моложе…
И она мне скала:
– Сестра,
посмотри, как мы стали похожи…

* * *

Мой ангел-хранитель живет у больниц,
стоит у дежурных аптек,
меня узнает среди тысячи лиц –
уж видно, что выбрал навек.

Он злыми ночами за печкой стоит,
стирает и варит обед.
Мой ангел-хранитель годами молчит –
он знает последний ответ.

Он в пот мою душу изводит и кровь,
сгибает мне спину дугой…
– Ах, что же все это?
– А это любовь.
Она не бывает другой.

* * *

Ой, Сиваш, ни паруса, ни лодки,
темный берег, низкая вода –
до звезды, до горла, до пилотки –
хватит, чтобы сгинуть навсегда.

Я стою на кормочке лядащей,
на краю скудеющей земли…
Перевозчик, лодочник пропащий,
что ты там замешкался вдали?

Или ты гуляешь по откосам,
по траве, по серому песку,
или чинишь сломанные весла
сорок лет на крымском берегу?

Ой, Сиваш, свинцовая остуда,
не огонь, не суша, не вода…
Ты молчишь и правишь ниоткуда,
я зову и плачу никуда…

* * *

Одиссея рабы схоронили.
Помолчали над ним тяжело.
На могилу весло положили.
А наутро оно расцвело.

Под шумок погребального пира
лубенело, твердело в кости,
чтобы снова на темную лиру
и на верную мачту пойти,

а к началу второго потопа
пригодится на парусный флот…
Не придет он к тебе, Пенелопа,
никогда он к тебе не придет.

* * *

Перестояло лето. Задубело.
Замучилось в крахмальной лебеде.
Уже стрекозы сохнут в борозде.
Уже душа от счастья отупела.

И уходи. И все. И слава богу.
И северок продует в пустоту,
и застучат колеса на мосту,
и время выгнет легкую дорогу.

Заблещут кони темно-рыжей масти,
тележный дух забродит по лесам.
Заплачет осень. И усталый мастер
приценится к соседним небесам.

Катулл

1.

Хмельной Катулл по городу идет…
Он болен, хмур, он долго не протянет…
Хотя еще влюблен, еще буянит
и даже плачет у ее ворот.

Спалит свои тетрадки сгоряча,
шальной бокал невесело пригубит…
– Ах, Лесбия… она тебя не любит…
Она других целует по ночам.

Еще не та, не крайняя беда…
Ну, закричишь, ну, бросишь в реку камень,
и всхлипнет ночь, и поплывет кругами
большого Тибра темная вода.

Сомнет траву у дальних берегов…
И мир другой, и песни не похожи…
Но точно так же весел и тревожен
дремучий воздух вечных городов.

И люди умирают от забот,
и кони задыхаются от бега,
и вздрагивает старый звездочет,
поняв судьбу измученного века.

Вчерашние веселые бои
и завтрашний, последний и кровавый…
Какой рассвет сегодня небывалый…
о римляне, о смертники мои…

2.

Любовь к земле, вскормившей белый свет
и солнцем озарившей наши лица, –
покуда это множится и длится,
душа права, и смерти в жизни нет.

И смерть права.
И, вспомнив наконец
слепой предел судьбы своей скудельной,
легко самоуверенный певец
переложил на голос плач свирельный.

И не узнал. И вздрогнул. Потому,
что вдруг один в прозрении опасном
увидел мир чужим и неподвластным
ни доблести, ни делу своему.

Так гордый Рим, тоскуя по Элладе,
не мог ее осилить и понять,
так тяжкий дух, лишенный благодати,
не знает правды и не может знать.

Но слышит боль.
И боязно душе
счастливо разместится в звуке тесном,
и слово не вмещается уже
в напеве допотопном и прелестном.
И музыка свершается одна.
И мука кровью горло обжигает,
потом грудная жаба донимает
и красота, как заговор, страшна.

На форумах бесчинствует молва.
Лихое семя древний корень губит.
И хлеб не свят. И правда на права.
И Лесбия тебя уже не любит.

3.

Гудит под мостами весна.
Бесстрашная после попойки,
орет в подворотнях шпана,
и с форума тянет помойкой.

Не в силах дожить и доспать,
встревоженный Цезарь в румянах
нарочно под рваные раны
затеял плащи примерять.

Да время еще не дошло.
Уже до начального срока

поэты высокого слога
забыли свое ремесло.

На варварском севере снег,
как парус натянут и светел.
Подтаял незыблемый век,
и медленный северный ветер

привычные звезды задул.
И, завтрашней кровью томимый,
запел протрезвевший Катулл –
любовник последнего Рима.

4.

Всемогущая судьба
за собой недоглядела,
проворонила себя,
баба, в девках просидела.

Не почуяла греха:
на подарки поскупилась –
от такого жениха
плевой дудкой откупилась.

И покуда он играл
да за девками таскался,
Вечный город умирал
и на блестки рассыпался.

Неожиданный пастух,
завернувший на поминки,
сдуру дунул во весь дух
в опустевшую тростинку.

Только грянула труба
с поднебесья –
и доныне
не отплакалась судьба
на божественной латыни.

Между небом и землей
ходит, плачет, как живая,
к камышиночке сквозной
страшной правдой припадая.

5.

…Взошли мои плеяды…

Сафо

Он трудно отходил.
И, говорят,
в последний час за муками своими
не мог припомнить царственное имя
седьмой сестры в созвездии Плеяд.

Познавшего тщету земных трудов,
готового к забвению и свету,
зачем его тревожили приметы
других печалей и других миров.

Ужель душа, спаленная дотла,
последней волей память напрягая,
заботилась, чтоб правда нежилая
желанным словом названа была?

О чем он перед смертью тосковал?
Великий Цезарь, брата провожая,
седьмое имя – Майя, Майя, Майя –
зачем ему вдогонку не назвал?

* * *

Судьбу не пытаю. Любви не прошу.
Уже до всего допросилась.
Легко свое бедное тело ношу –
до чистой души обносилась.

До кухонной голой беды дожила.
Тугое поющее горло
огнем опалила, тоской извела,
до чистого голоса стерла.

* * *

Г. Ш.

1.

Уж как мы тебя хоронили…
Как время, стояли кругом.
На горькую степь положили,
закрыли небесным рядном.

В пустое гнездо опустили,
лицом на недавний восход,
слова и заветы забыли
в надежде, что степь отпоет.

Но враз онемела природа.
И долгое горе навзрыд
сквозь наши остатние годы
и вдовые души летит.

2.

Был живой и молодой
с молодыми и живыми.
А какой он был со мной? –
А такой же, как с другими.

О погоде говорил –
все старухи молодели.
По дороге проходил –
облака над ним редели.

3.

Грешным он был человеком.
Грешным. Живым.
Оттого
мне до скончания века
Будет беда без него.

Будет сухая забота,
в честном пиру – маета,
в теплом дому – непогода,
в долгой степи – теснота.

Если работа – поденка,
если удача – пустяк.
Не наглядеться вдогонку,
не докричаться никак.

Он, как залетное горе,
как разговор в темноту,
как лебединое море –
белое и на лету.

4.

Ничего не оставил –
ни примет, ни речей,
никого не ославил –
потому и ничей.

Без названья и срока
никуда, никакой,
перелетной дорогой
прошумел над землей,

как щемящая нота
не для нас и для нас,
просиял, как погода,
обогрел и погас.

5.

А был, как большая дорога –
так явственно виден и слышен.
Как время растащен по крохам.
Как утренний воздух раздышан.

По вдохам, по крикам, по строчкам
как вечное солнце растрачен…
Подружки твои одноночки
до смерти тебя не оплачут…

Привыкли в железных объятьях
спасать соловьиную душу…
Твои собутыльные братья
до смерти беды не осушат.

Молчим на пожизненной тризне,
сжимая сгоревшие губы.
Стоим при тебе, как при жизни,
избранники и однолюбы.

* * *

Я пишу ниоткуда, потому что живу нигде,
я забыла твой адрес, но письма еще доходят,
ни жива, ни мертва, не сгорела в лихой беде,
потерялась, как серый солдатик в ночном походе.

Моя долгая верность выцвела, как платок,
мое юное горе прошло – и уже не жалко,
я прошла за тобой столько ближних и дальних дорог
зимней птицей, жилицей, ночлежницей и постоялкой.

Рядовую, уже никакую мою беду
непростительно было б вместить в наградные списки –
только в общую землю, под небо, ветлу, звезду,
и уже никогда под строгие обелиски.

Прожила – ты скажешь. Не знаю. Прошли года,
провожала, встречала, жалела, была, сказала,
и останусь нигде, ниоткуда, сейчас, всегда
незаметной подробностью станции и вокзала.

Разговоры со степью

1.

Серая, как песок,
бабка в степи кружит.
– Это какой цветок?
– Синенький, – прошуршит, –

как водяной исток.
Матушке тяжело –
ишь, расцвела не в срок –
с дождичком повезло…

Ох, не пронять дождем
эту сухую стать.
Не обороть умом,
войлок не продышать.

Только врасти травой
в ржавчину, шерсть и мех,
ухнуться с головой
в животворящий цех,

не в молодую страсть –
в непроходимый зной,
и навсегда пропасть
в музыке скобяной.

2.

– Где твой глубокий дом,
каменный перевоз,
где ты? –
Кругом, кругом
степью насквозь пророс.

– С камешком на уме,
с денежкой за щекой,
где ты? –
Во тьме, во тьме,
в памяти лубяной.

– С белым веслом в руке,
в узкой ладье, ко дну,
где ты? –
В песке, в песке,
вытянувшись в длину.

Всюду –
в ночи, в степи,
в недрах сухой реки.
Не надрывайся, спи,
горло побереги.

Всюду –
кругом, кругом,
в долгой траве, в песке,
в белом известняке,
в омуте меловом.

3.

Птицей бессонной в степи мечусь,
черной землей дышу.
Матушка, не о себе молюсь,
не за себя прошу.

Не отвергай запоздалый крик
ужаса моего.
Не открывай свой несмертный лик,
не убивай его.

Если и по тебе хорош,
если повременить
не получается
и убьешь –
дай хоть похоронить.

4.

Цветами его засыпала,
тащила в кромешную тьму…
Ох, матушка, я ли не знала,
как ты потакала ему.

Как ты его статью прельщалась,
как за руки нежно брала,
как ты ему в ноги кидалась,
как жить без него не могла…

И то – догнала, отлюбила,
всосала в себя – не отнять,
ох, матушка, можно ли было
уж так-то его ревновать.

5.

Все горец птичий, все кукушкин лен,
все таволга, да заячья капуста –
нежней, чем тихо, и тесней, чем густо, –
и до, и после, и со всех сторон,
все мятлик, мята –
все шуршит, летает,
все гонит цвет и сыплет семена,
рожает, забывает имена
и дыры допотопные латает.

Все хмель, цикорий, дикая горчица –
потатчица, прощальница, тоска,
знахарка, топяница, сушеница –
трухой в ладони, лесом у виска…

Да чем она, несмертная, сыта,
чем кормится в заботе невеликой –
все донник, журавельник, повилика,
крапива, чернобыльник, лебеда…

6.

Узрев какой всесильный знак,
толчку послушное какому,
как будто через мор и мрак
живое бросилось к живому.

Бескрылое – в огонь и вниз,
безумное – еще не больно –
на волчий вой и птичий свист
из колыбели безглагольной,

под грозный плуг, под водослив,
под обжигающее пламя,
сплошной живот перехватив
оборонившими руками,

туда, где точно в свой черед –
над черной пахотой и новью
душа печальная взойдет
и назовет себя любовью.

7.

Укротив высокий дух,
только жаждой беспредельной,
только вытянувшись в слух,
в горло дудки самодельной,

в гуще каменных венцов
и негреющей соломы,
распознав, в конце концов,
утварь брошенного дома,

обратившись в кровь и мел,
перепрев под общей крышей
вместе с теми, кто сгорел,
или в землю, или выше,

только вытянувшись в нить,
в корень яростный врастая,
ты сумеешь различить,
как молчит она, рожая, –

треск сухого полотна,
шелест шелка, скрежет жести, –
ты услышишь, как она
гладит слово против шерсти.

8.

Попридержи себя, не торопи,
не обольщайся истиной бесспорной –
ты черный сторож на краю степи
у закромов ее нерукотворных.

Она кругом шевелится во мраке
и множится.
уже со всех сторон
возносится и мечется во прахе
незримый муравьиный вавилон.

Разрушенная птичья колыбель
вросла в песок и повторилась летом.
Сейчас она зайдется синим цветом
и втянет в неумелую свирель

скорлупный треск, и мотыльковый шквал,
и долгий крик:
– Ох, матушка, доколе?..
И обернется говорящим полем
рокочущий и страшный сеновал.

* * *

Зачем куда-нибудь, когда в Бахчисарай –
там теплится сентябрь в долинах защищенных,
и лучшие места под солнцем полуденным
не заняты никем – любое выбирай.

там внятны и легки старания зимы
и время ничего не стоящего снега
не более чем знак, склоняющий умы
к величию огня и верного ночлега,

к величию жилья на улочке кривой,
к значению семьи, работы, урожая,
к безликости любви, к обыденности рая
меж каменных опор под крышей золотой.

Там сыплется в подол сухая синева,
там все так долго есть, что хитрости не надо,
и просто обменять вчерашние слова
на яблоки из завтрашнего сада.

* * *

Зимний воздух. Йодистый, аптечный
запах моря. Катерный маршрут.
На задах шашлычных-чебуречных
злые чайки ящики клюют.

Это тоже юг. И, может статься,
он еще вернее оттого,
что глаза не в силах обольщаться
праздничными светами его.

Только самым голым, самым белым,
самым синим и еще синей
страшно полыхает за пределом
бедной географии твоей.

От пустой автобусной стоянки
до пустого неба и воды
длятся невозможные изнанки
сбывшейся несбыточной мечты.

И, вдыхая воздух отбеленный,
попирая первобытный мел,
ты не знаешь, заново рожденный,
точно ли ты этого хотел.

* * *

Да кто ты там такой? – зарвавшийся сверчок,
блаженный рифмоплет, кочующий и пьющий,
слетающий с небес за музыкой насущной
к вечернему питью в знакомый тупичок,

нахлебник болтовни, смешно довольный
взятком
с немеркнущих красот застольного труда,
застенчивый жилец, качающий украдкой
в двустворчатой строфе жемчужину стыда.

И на каких полях неведомых и за
какой иной водой цветет твой долгий словник,
когда тебе его хватает за глаза,
чтоб выстроить собор, и вырастить шиповник,

и выпростать цветок на улицу, – постой, –
как он растет легко, как он просторно дышит
прабудущей весной, как он счастливо выше
классических садов…
Да кто ты там такой,
и по каким лугам без имени и прав
ты странствуешь сейчас,
и ты ли это,
если
ты просто горько спишь, свернувшись
в жалком кресле,
тетрадку уронив,
ладонь ко лбу прижав…

* * *

Так грозно во мне убывает природа,
что время летит напрямик.
Но живы мои херсонесские своды,
но крепко вросли в материк.

Но так на пределе, но так на просторе,
но так у сплошных берегов,
что манит и манит в огромное море
дельфинья улыбка богов.

* * *

Уездная тоска – и вдруг – и в кои лета –
посланником небес – залетный Хлестаков,
столичная звезда, безбожная комета,
руководитель душ, произноситель слов,

замученный молвой, восторгами и славой,
он только здесь любим, он понят только здесь,
он близок ко двору, к персоне – боже правый –
к особе самого… Он – страшно произнесть.

Как он красноречив, как он прекрасно бледен,
какой державный жест, какая красота…
И все-то потому, что он теперь уедет,
и больше никогда… и больше никогда…

Сойдет блестящий век, как с ложек позолота,
и барышня других – мучительных – времен,
подняв огромный взгляд на молодого Блока,
от страха обомрет: конечно, это он.

Конечно, это он. И нет иной причины
для страсти и тоски. Он молод. Он хорош.
И слухи о его трагической кончине –
бессмысленная ложь.

* * *

Так среди прочих щедрот,
летних, садовых и влажных,
вздрогнешь и вспомнишь однажды –
господи, липа цветет!

Мед от земли до небес,
утренний воздух дареный –
и среди прочих чудес –
венчик ее оперенный.

Ласковый шелковый пух
бедные губы щекочет –
слово не найдено. – Дух.
Дышит.
И дышит, где хочет.

* * *

Ю. Казарину

Ты не друг мой любимый,
не добрый брат,
нас с тобою не страсть и не дом связали,
мы с тобой породнились тому назад
не измерено, сколько веков и далей.

Тогда хлеб был пресен
и беден кров,
и земля неоглядна, суха, сурова,
и цари отличались от пастухов
только тяжестью крови и даром слова.

* * *

Таскать корзины и бутыли
а подвал, в сухую темноту,
руками, белыми от пыли,
соприкасаясь на ходу.

Закончить день, вернуться к сроку,
свечу задуть и дверь закрыть
и лечь, как лодки – боком к боку, –
о чем без света говорить…

Но видеть сны – поля, погоду, –
и утром, наклонясь к гряде,
дарующего свет и воду
молить о солнце и дожде,

просить защиты и покоя,
смотреть, как, замыкая сад,
деревья, мутные от зноя,
как тень от облака висят,

качая белую ограду…
Закрыть глаза и наконец
любовь оливы к винограду
принять как высший образец.

Литературно-художественное издание

Ю. В. Казарин

БЕСЕДЫ С МАЙЕЙ НИКУЛИНОЙ: 15 вечеров

Выпускающий редактор *М. В. Дудорова*
Редактор *Е. Е. Крамаревская*
Компьютерная верстка *Н. Ю. Михайлов*
Ответственный за выпуск *И. С. Малечко*

978-5-7996-0651-0



Подписано в печать 10.11.2011. Формат 60×84 1/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Times.
Уч.-изд. л. 32,7. Тираж 1000 экз. Заказ № 1486.

Издательство Уральского университета
620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.

Отпечатано в типографии
Издательско-полиграфического центра УрФУ
620000, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4.
Тел.: +7 (343) 350-56-64, 350-90-13
Факс: +7 (343) 358-93-06
E-mail: press.info@usu.ru


ИЗДАТЕЛЬСТВО УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА